# НА ПЕРЕЛОМЕ

## ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ОДНОЙ МОСКОВСКОЙ СЕМЬИ

YMCA-PRESS

ПАРИЖ

# НА ПЕРЕЛОМЕ

## ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ОДНОЙ МОСКОВСКОЙ СЕМЬИ

(семейная хроника Зерновых)

(1812 - 1921)

Под редакцией

Н. М. ЗЕРНОВА

YMCA - PRESS
11, rue de la Montagne S^te Geneviève
Paris 5

**Из книг Н. М. Зернова**

Three Russian Prophets (Khomiakov, Dostoevsky, Soloviev) London 1944.
The Russian Religious Renaissance of the twentieth century. London 1963.
The Russians and their Church. London 1968.
Вселенская церковь и Русское Православие. Париж 1952.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ СЕМЬИ ЗЕРНОВЫХ И КЕСЛЕР




**ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ**

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## *ПРЕДИСЛОВИЕ*

*Н. Зернов*

*Хроника семьи Зерновых знакомит читателей с судьбой ее трех поколений. Она начинается рассказом о пастырской и педагогической работе моего деда, затем она переходит к детству и молодости моих родителей, и к их общественной деятельности как в Москве, так и на Кавказе. Хроника включает также отроческие переживания моих сестер, моего брата и мои. Заканчивается она, в этой книге, событиями революции, гражданской войны и нашим бегством в Константинополь в 1921 году.*

*Несмотря на все перемены, происшедшие за этот столетний период, внутреннее сродство трех поколений не было нарушено, так как все они были глубоко укоренены в жизни православной церкви, давшей единство их мировоззрению. Быт и нравы, описанные в первых частях этой хроники, были типичны для среднего круга московского общества прошлого столетия. Они зиждились, как тогда казалось, на незыблемых устоях церковной традиции и семейных преданий. В конце 19-го века новый дух прогрессивных реформ захватил второе поколение, но не увел его из церкви. Затем начались потрясения: революция 1905-6 года, первая мировая война, переворот 1917 года.*

*Когда в ноябре того же года наша семья покинула Москву, мой отец, как и многие москвичи, думал, что захват власти большевиками — лишь краткий эпизод в истории России, и собирался вернуться в свою квартиру в Хлебном переулке на Поварской если не к Рождеству, то во всяком случае к Пасхе. Его оптимизм не оправдался, ему никогда не пришлось увидать снова своего родного города, а наш отъезд из Москвы был началом длинного, страдного пути окончившегося нашим окончательным отрывом от Родины. Все значение этого коренного поворота в нашей жизни раскрылось нам лишь постепенно, по мере угасания надежды на восстановление политической и религиозной свободы в России и прекращение советской диктатуры.*

*Выброшенные на далекие берега изгнания, мы оказались в рядах миллионной русской эмиграции, ставшей значитель-*

*ным фактором в истории нашей эпохи. Трудны были первые шаги вне Родины, но русские изгнанники постепенно нашли свое место в жизни на Западе, не потеряв в то же время своей связи с русской культурой и с православной церковью. Они обогатили науку и искусство тех стран, которые открыли перед ними свои двери, но и сами приобрели опыт, который рано или поздно может пригодиться России.*

*Таким образом непосредственная повесть о жизни последующих поколений нашей семьи, иллюстрирует контраст между жизнью до-революционной России с ее укладом, устремлениями и чаяниями и ураганом революции, который смел с лица русской земли эту жизнь и в корне повернул судьбу не только отдельных семейств, но и всей нашей Родины.*

*Эта книга не претендует на объективность. В ней нет беспристрастного описания постигшей Россию катастрофы. Наоборот, она глубоко субъективна. Главная характеристика этой хроники — ее соборность, она полифонична. В ней звучат разные голоса, они перекликаются друг с другом, дополняя и обогащая повествования. Некоторые из них предлагаются в том виде, как они были записаны в свое время, поэтому они отражают настроения молодости, другие же были сделаны по памяти и они несут на себе печать последующих размышлений. Каждая из записей персональна, она выражает личность автора, но все они в целом говорят об одном и том же, о московской семье, которая дружными усилиями стремилась деятельно служить людям и творчески строить свою жизнь, сначала у себя на Родине, а потом в изгнании.*

*Есть в этой книге еще одна особая сторона, она касается религиозного опыта тех, кто писал свои воспоминания. Все они были верующими членами Православной Церкви. Поэтому, описывая события своей жизни, признавая ответственность за свои поступки, они в то же время сознавали участие в их судьбе иной и высшей силы — воли Божией, которая, не подавляя свободы людей, творит чудеса и делает невозможное возможным и чаемое осуществимым.*

## *СПИСОК АВТОРОВ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ*

### ПРОТОИЕРЕЙ СТЕПАН ИВАНОВИЧ ЗЕРНОВ

*Родился 23 декабря 1817 года. В 1844 году окончил Московскую Духовную Академию. В 1846 году женился на Прасковье Дмитриевне Лебедевой и принял священство. Пастырь, педагог и общественный деятель. Умер в Москве 17 октября 1886 года.*

### МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЗЕРНОВ

*Родился в Москве 1 ноября 1857 года. В 1882 году окончил медицинский факультет Московского Университета. В 1900 году основал в Ессентуках Вспомогательное Общество « Санаторий » для малосостоятельных больных. С 1921 по 1926 год работал курортным врачом в Югославии. С 1926 г. до своей смерти занимался врачебной практикой в Париже. Председатель Московского Землячества и товарищ председателя Общества врачей имени Мечникова. Врач и общественный деятель. Умер в Париже 31 января 1938 года.*

### СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЗЕРНОВА-КЕСЛЕР

*Родилась в Москве 10 августа 1865 года. В 1883 году окончила классическую гимназию Фишер. В 1897 году вышла замуж за М. С. Зернова. Педагог и общественная деятельница. Умерла в Париже 28 августа 1942 года.*

### НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗЕРНОВ

*Родился в Москве 9 октября 1898 года. Окончил в 1917 году гимназию Поливанова, в 1925 году — богословский факультет Белградского Университета. С 1925 по 1932 год был генеральным секретарем Русского Студенческого Христианского Движения за Рубежом. Редактор Вестника Р.С.Х.Д. с 1925 по 1929 год. Доктор философии (1932), доктор богословия (1966) Оксфордского Университета. С 1934 по 1947 год секретарь Содружества св. муч. Албания и преп. Сергия Радонежского. С 1947 по 1966 год лектор по Православной Восточной культуре в Оксфордском Университете. Принципал « Католикатского » колледжа в Патанамтитта в Южной Индии, профессор в американских университетах Дрью, Айова и Дьюк. Автор книг: Вселенская Церковь и Русское Православие (на русском языке), Москва — Третий Рим, Св. Сергий Радонежский, Церковь Восточных Христиан, Три Русских Пророка, Русские и их Церковь, Восточное Христианство, Русское Религиозное Возрождение двадцатого века (на английском языке). Лектор, автор и общественный деятель.*

МИЛИЦА ВЛАДИМИРОВНА ЗЕРНОВА, урожденная ЛАВРОВА

*Родилась в Тифлисе 17 августа 1899 года. Окончила гимназию Левандовского в Тифлисе в 1917 году, медицинский факультет Парижского Университета в 1932 году и Зубоврачебный факультет Лондонского Университета в 1938 году. В 1927 году вышла замуж за Н. М. Зернова. С 1952 по 1959 год консультант по хирургии полости рта при Лондонских госпиталях. Заведующая домом Св. Василия в Лондоне и домом Св. Григория и Св. Макрины в Оксфорде. Врач, лектор и общественная деятельница.*

СОФИЯ МИХАЙЛОВНА ЗЕРНОВА

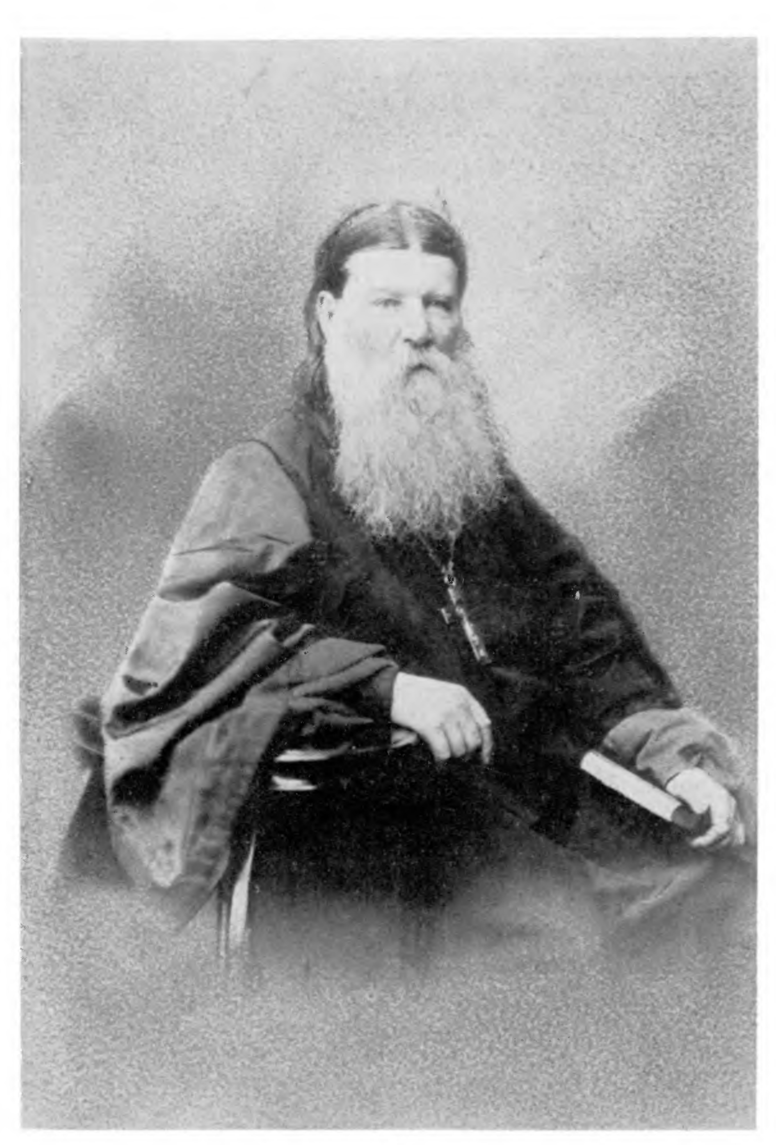
*Родилась 24 декабря 1899 года в Москве. Окончила классическую гимназию Хвостовой в 1918 году и философский факультет Белградского Университета в 1925 году. Генеральный секретарь Р.С.Х. Движения с 1925 по 1931 год. Секретарь по приисканию труда при Обще-воинском союзе в Париже с 1932 по 1934 год.*
*С 1948 по 1951 секретарь Международной Организации для помощи беженцам (И.Р.О.). Создательница и директриса Детского дома в Монжероне и генеральный секретарь Центра Помощи русским в эмиграции с 1934 г. Общественная деятельница.*

МАРИЯ МИХАЙЛОВНА КУЛЬМАН, урожденная ЗЕРНОВА

*Родилась в Москве 10 марта 1902 года. Окончила гимназию в Ессентуках в 1919 году, богословский факультет Белградского Университета в 1926 году. Создала и руководила Содружеством молодежи и Юношеским клубом при Р.С.Х. Движении в Париже (1926-28). В 1929 году вышла замуж за Густава Густавовича Кульмана (1894-1961), члена секретариата Лиги Наций и Заместителя Верховного Комиссара по делам беженцев. Основательница и председательница Пушкинского клуба в Лондоне (1954-1964). Педагог и общественная деятельница. Умерла в Лондоне 8 августа 1965 года.*

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ЗЕРНОВ

*Родился в Москве 18 мая 1904 года. Окончил Русскую гимназию в Константинополе в 1921 году, медицинский факультет в Белграде в 1926 году и в Париже в 1935 году. Работал в Пастеровском институте в Париже с 1927 по 1945 год. Автор научных статей по иммунитету и физиологии изолированных органов. В 1947 году женился на Роз-Мари Баумли. Секретарь Общества русских врачей имени Мечникова. Практикующий врач.*



ПРОТОИЕРЕЙ СТЕФАН ЗЕРНОВ



**Михаил Степанович Зернов**



**София Александровна Кеслер**



**Мария Александровна Кеслер**



**Николай Александрович Кеслер**

ПЕРВАЯ ГЛАВА

# ПРОТОИЕРЕЙ СТЕФАН ЗЕРНОВ

*Н. Зернов*

Наша семья со стороны отца уходит своими корнями в среду сельского духовенства, наиболее сохранившего особенности духовного облика Великороссии. Наш дед протоиерей Стефан Зернов был уроженцем Владимирской губернии. Он женился на внучке Московского протоиерея. По всей вероятности, предки нашего деда и бабушки в течение ряда поколений были священнослужителями русской церкви. Наш дед умер задолго до женитьбы моего отца, но память о нем чтилась всей нашей семьей. Его портрет в большой черной раме висел над письменным столом в кабинете отца. Ежегодно в день его именин, на третий день Рождества, все мы ездили на его могилу на кладбище Покровского монастыря, где служилась панихида, сопровождавшаяся поминальным обедом.

Наш дед был подлинным самородком, поднявшимся из нищеты сельского духовенства крепостной России императора Николая Первого. Он достиг всех отличий, доступных в то время белому женатому духовенству, вплоть до потомственного дворянства, полученного им вместе с орденом св. Владимира. Это продвижение по иерархической лестнице он проделал исключительно благодаря своим дарованиям, преданности пастырскому служению и верному исполнению всех возложенных на него обязанностей. Он был свободен от искательства, желания угодить начальству и установить связи с влиятельными лицами. Эти черты унаследовал и мой отец, которому были всегда чужды карьеризм и честолюбие. Личная незаинтересованность нашего деда заслужила ему любовь и уважение взыскательного митрополита Филарета Московского (1782-1867), неизменно выделявшего его из среды остального духовенства. Обстоятельная статья об о. Стефане Зернове помещена в Русском Биографическом Словаре (Петроград 1916 г. Издание Императ. Рус. Историч. Общества). Она передает основные этапы его жизни и поэтому является лучшим введением в описание его личности. Кроме этих материалов, сохранились в печати одна из проповедей нашего деда и его обращение к жертвователям Свято-Николаевского братства с призывом оказать посильную помощь сиротам духовенства.

Биографический словарь в следующих словах характеризует нашего деда: «Степан Иванович Зернов родился 23-го декабря 1817 года в селе Архангеле, Меленковского уезда, Владимирской губернии, где отец его был в то время диаконом. Раннее детство прошло в самых неблагоприятных обстоятельствах. Отец, смещенный за какую-то провинность на пономарскую должность, переезжал из села в село, и при этих условиях, конечно было не до забот о сыне. Однако нашлись добрые люди, и 10-летнего мальчика, немного подготовленного дома, отдали для обучения в ближайшее Муромское духовное училище. Как здесь, так и в Вифанской семинарии, где Зернов получил среднее образование, он отличался выдающимися способностями и поэтому шел по успехам в числе первых. В 1840 году Зернов поступил в Московскую духовную академию, по окончании которой вторым магистром (1844) был назначен баккалавром по классу библейской истории. Не чувствуя призвания к монашеской жизни, он в 1846 г. покинул Академию и по возведении в сан священника был назначен настоятелем церкви Св. Николая, что на Студенцах, где оставался около 20 лет. Священствуя при этом храме, Зернов в 1848 г., когда свирепствовала холера, с замечательным самопожертвованием исполнял возложенные на него обязанности напутствовать и погребать холерных больных. За свои труды он снискал любовь и уважение не только своих прихожан, но и многих других московских жителей. Он был увещателем заключенных за преступления, и защищал перед судом, как депутат, церковные интересы. В 1857 Зернов снова выступил на педагогическом поприще, будучи определен законоучителем Александро-Мариинского училища и Николаевского Сиротского Института. В 1864 он избран в действительные члены конференции при Московской Духовной Академии и в следующем году (1865) возведен в сан протоиерея и перемещен на более видный приход Николая Явленного, что на Арбате. Кроме того, он был благочинным Пречистенского Сорока. В том же году возникло братство Св. Николая и Зернов был назначен распорядителем его. Благодаря неустанной деятельности Зернова это весьма полезное учреждение, дающее возможность сотням сирот и детей небогатого духовенства получать образование, было сразу прекрасно организовано и поставлено на твердую почву. Зернов с особой любовью относился к делам братства и следил за его развитием. Он сам составлял его отчеты, извлечения из которых иногда помещал в «Православном Обозрении» (1870, № 10). В 1867 был издан новый устав духовных семинарий и училищ, по которому в правлениях при этих заведениях начали принимать участие и выборные от духовенства. В числе их для Московской Духовной Семинарии в первую очередь был избран Зернов, который, по обыкновению, и тут оказался полезным членом. В 1877 он был назначен членом Ду-

ховной Консистории. Помимо указанных разнообразных должностей, в которых проявлялась неутомимая деятельность Зернова, он в течение долгого времени состоял членом Московского Цензурного Комитета. « Православное Обозрение », цензором которого был Зернов 15 лет, дает о нем такой отзыв: « При неудовлетворительности устава духовной цензуры, составленного в то время, когда не существовало духовной журналистики в собственном смысле слова, Зернов, как цензор, с чуткостью широко просвещенного разума относился к интересам духовной науки и церковно-общественным вопросам современной жизни. Недостатки буквы устава он восполнял цензурным преданием первого цензора « Православного Обозрения » протопресвитера Д. П. Новского ». Заслуги и труды Зернова высоко ценились и начальством, которое не оставляло его наградами. Так Московская Духовная Академия избрала его в почетные члены. Помимо службы по духовному ведомству, Зернов нес службу и по городу, будучи гласным Думы и попечителем городского Арбатского училища ».

Скончался Зернов 17.X.1886. [1] Его сочинения: « Надгробная речь » после отпевания Филарета, Митрополита Московского, «Православное Обозрение», 1867, кн. XI. «Душеспасительное чтение », 1867, № XI. « Странник », 1867, декабрьский номер.

Эти краткие факты о моем деде дополняются и расширяются записками моего отца и матери. Отец в начале своей автобиографии, составленной для нас, его детей, пишет: « Ваш дед в детстве и молодости испытал такие лишения, о которых теперь никто не знает. Он прошел школу жестокой бурсы со всякими наказаниями и обязательными побоями. Он был глубоко верующим, бескорыстным и богато одаренным человеком. По тогдашнему времени он считался очень образованным священником, так как прекрасно знал древние языки и свободно говорил на них. Главной его особенностью, помимо самой искренной религиозности, было строгое отношение прежде всего к себе, но так же и к другим, смягчавшееся всепрощением и любовью к своей пастве. Благодаря этому он пользовался большой популярностью в Москве.

Его кончина была особенно знаменательна. Накануне его смерти с ним случился тяжелый припадок грудной жабы. Я тогда уже был врачом и попросил на консультацию профессоров Остроумова и Остроглазова. Они предписали ему полный отдых на несколько дней и особенно настаивали, чтобы он отказался от участия в торжественном архиерейском богослу-

---

[1] Прим. Некрологи о протоиерее Зернове были помещены в следующих газетах и журналах: в Московских Ведомостях 1886 г. № 288-291, в Московских Листках № 283, 290 и 292, в Московских Церковных Ведомостях № 43, 45, 47, в Православном Обозрении, октябрь 1886, № 33, в Историческом Вестнике 1889 г. № 12.

жении, назначенном на завтра по поводу освящения Александро-Мариинского института в присутствии всей официальной и знатной Москвы. Мой отец решительно отклонил наш совет и при этом заявил, что служение перед престолом Божьим для него — самое высшее духовное удовлетворение, что смерти он совершенно не боится и просит у Бога только одного, чтобы Он сподобил его причаститься перед кончиною. Мольба его была услышана. Он скончался у престола, как только принял причастие. Его привезли на квартиру в полном облачении. Тут сказалась вся его исключительная известность во всей Москве. В течение трех дней до похорон в нашем доме происходили беспрерывно и днем и ночью панихиды. Не только перебывало все столичное духовенство, но приезжали священники из других городов и губерний. В буквальном смысле слова перед его гробом была почти постоянная очередь для служения панихид. Его похороны собрали великое множество молящихся, его прихожан, почитателей, друзей, сослуживцев и учеников».

Гораздо полнее о нашем деде написала наша мать, которая использовала не только свои воспоминания, но и различные материалы биографического характера, найденные ею у других лиц.

ВТОРАЯ ГЛАВА

## СТЕПАН ИВАНОВИЧ ЗЕРНОВ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

*С.А. Зернова*

Я беру на себя смелость описать жизнь и характер Степана Ивановича Зернова, хотя я сделалась членом его семьи 12 лет спустя после его кончины. До 1897 года мне приходилось много слышать о всех Зерновых, но знала я только Степана Ивановича, отца моего будущего мужа. Я не только знала его, но и любила и уважала его, даже с оттенком особенного почитания, внушенного мне с раннего детства моей матерью. Он крестил меня и почти всех моих братьев и сестер, я всегда поминала его на утренней и вечерней молитве. Он был нашим духовным отцом, независимо от прихода, в котором мы жили. Он хоронил моего отца и именно он поддержал мою мать в ее большом горе.

У нас часто рассказывалось о следующем чудесном случае в ее жизни. Наша мать и все мы заболели тифом, доктора считали ее положение безнадежным, целую неделю она не приходила в себя. Степан Иванович пришел к ней со Святыми Дарами, но никто не знал сможет ли она причаститься. Он близко наклонился к ней и спросил: « Марья Алексеевна, узнаете ли Вы меня ? » У нее сразу явилось сознание и она ясно ответила: « узнала ». Прослушав молитвы, она причастилась и спросила о детях. После этого Степан Иванович ежедневно или сам приносил после ранней обедни заздравную « девяточинную » просфору или присылал ее с церковным сторожем. Она делилась ею со всеми нами вплоть до нашего полного выздоровления.

Помню и другой случай. Мне было 5 лет. Степан Иванович пришел к нам рано утром в первый день Великого поста, в так называемый « чистый понедельник », с « постной молитвой ». Я стояла рядом с моей матерью. Нагнувшись ко мне, батюшка, давая мне приложиться ко кресту, спросил: « А где твоя сестра ? » Я ответила: « Спит ». Тогда он сказал: « Ты знаешь, что поздняя птичка глазки продирает, а ранняя уже носик прочищает ? » Я моментально вытащила из кармана носовой платок и поднесла его к носу. Я помню его ласковый смех при том и слова: « У тебя носик чистенький ». Кладя крест в футляр он прибавил, обращаясь к моей матери: « Она поняла меня по-

своему». Конечно если бы я не взялась за платок, у меня не врезался бы этот незначительный факт в моей памяти. Теперь же я сохранила в нем все детали, я помню даже, что это было солнечное, весеннее утро, что на полу была яркая, светлая полоса от солнечного луча.

Передо мной и сейчас, как живой, стоит облик Степана Ивановича, его твердая, быстрая и уверенная походка, его строгий взгляд, его лицо, обрамленное широкой седой бородой, его длинные светлые волосы, падающие по плечам, его густые брови, прижатые синего бархата клобуком, его розовато-белую, большую руку, которую я целовала после его благословения. Особенно же я помню его улыбку; она озаряла все его лицо и не только сразу же смягчала серьезность, подчас даже суровость его глаз, но и делала их бесконечно добрыми.

Когда он исповедовал детей, то, наклонившись к ним совсем близко, он спрашивал их о грехах тихо, тихо на ухо, и дети так же тихо, как будто таинственно, отвечали ему. [1]

Я не знала личной жизни Степана Ивановича, но по рассказам моего мужа и его матери я так живо представляю ее себе; этому, вероятно, особенно содействовало то, что я всегда считала его своим, близким к нам, слушала его проповеди, молилась в его церкви. Степан Иванович служил торжественно, и его служба в прекрасном, светлом, очень высоком храме Николы Явленного отличалась необыкновенным благолепием. Как причт, так и вся паства подчинялись его строгому влиянию. Он давал правильный тон, чувствовалось, что он — служитель алтаря, служитель Бога Всевышнего. Его служба на Страстной неделе, при чтении Евангелий и при выносе плащаницы, проникала глубоко в душу молившихся. В переполненном огромном храме, при особенной церковной тишине, Степан Иванович проникновенно, с глубоким волнением, совершенно ясно, хотя скорее тихим голосом, читал о Страстях Господних.

Служба же его на Пасхальную заутреню и обедню едва ли может быть сравнена с чьей-либо. Как все лицо его, озаренное истинной радостью, так и все служение с беспрерывными обхо-

---

[1] Прим. Известный духовный писатель Е. Поселянин отмечает дар протоиерея Зернова находить особый подход к детям. Он пишет: «Очень важно детям иметь с раннего возраста общение с выдающимися духовными людьми или находиться под руководством хорошего, заботливого и ревностного духовника. В Москве был почтенный и заслуженный протоиерей, настоятель известного великолепного храма святителя Николы Явленного на Арбате, о. Стефан Зернов, обращавший близкое внимание на детей своих прихожан. Весьма благолепный старец, он служил с таким чувством, что иногда из-за душивших его слез еле мог произнести возглас. По московскому обычаю, обходя «с крестом» дома прихожан во дни больших праздников, он разговаривал с детьми и, между прочим, требовал, чтобы они знали наизусть тропари и кондаки тех праздников и тех святых, которым были посвящены все пять алтарей его храма». (Е. Поселянин. Идеалы христианской жизни. стр. 48).

дами всей церкви, в блестящих, постоянно сменяемых ризах, вызывали необыкновенный общий подъем духа, сливавшийся воедино с его восторгом. На Страстной неделе была скорбь, здесь радость.

Таков был облик священника, о. протоиерея Зернова. Чтобы охарактеризовать его домашнюю жизнь и отношение к нему его друзей и его общественное положение, я постараюсь описать один из особенных дней в их семье. При жизни Степана Ивановича у них торжественно праздновались два дня в году: первый день Пасхи и 27-ое декабря, день Ангела Степана Ивановича. Эти празднования продолжались и после его смерти, такова была его воля, он только прибавил к ним еще третий день, в который он хотел, чтобы вся его семья собиралась для его поминовения; под этим он разумел день своей кончины. Пасхальное торжество, соединенное с ночными розговеньями, проходило в тесном, скорее семейном, кругу — приглашался только весь церковный причт, да самые близкие друзья и родственники. Пасхальная ночь в Москве была светлая, вдохновенная. Ровно в 12 часов ночи ударяли в Кремле в большой колокол на Ивановской колокольне. Это был сигнал, которого ждали все сорок сороков московских церквей. Гудение и звон неслись и разливались по всему городу, вспыхивали фейерверки и бенгальские огни, стоявшие наготове крестные ходы начинали обходить свои церкви. Тут была вся Москва, с хоругвями, с крестами, с иконами, с зажженными свечами, и белыми, и красными, и перевитыми золотом, вся Москва, одетая в праздничные одежды, радостная, ликующая. Зрелище незабываемое и больше не повторимое. Конечно, в семье Зерновых этот « праздникам праздник » соблюдался особенно торжественно, все полностью отдавали ему свое сердце.

Приготовлялось все с вечера, накрывались столы, на них все ставилось, кроме куличей и пасхи, которые с красными яркими яйцами посылались в церковь для освящения. Их приносили после заутрени на огромном подносе, завязанном белоснежной скатертью. Разговлялись после обедни, все приходили не сразу, так как службы в разных церквах кончались в различное время. Степан Иванович приходил со всем причтом, начиная с « раннего » священника, дьякона и кончая церковным сторожем, служил краткий пасхальный молебен, причем пели все присутствующие, благословлял трапезу, все христосовались, обменивались яйцами и садились разговляться после долгого семинедельного поста. Во время розговенья 2 или 3 раза опять вставали и молились при общем пении. За столом еще переживались впечатления этой чудесной пасхальной ночи. Говорилось почти исключительно на эту тему, впрочем касались и достоинств пасхального стола: на славу удавшихся куличей и пасок, удачно или не совсем удачно купленных окороков и т. д. Усталости не было. Расходились, когда дневной

свет уже пробивался через оконные занавески и тушились свечи на высоких праздничных канделябрах. Так всегда, в течение всей священнической жизни, Степан Иванович встречал первый день Пасхи.

27-ое же декабря с каждым годом праздновалось шире и торжественнее, прием все более и более увеличивался, соответственно с ростом деятельности Степана Ивановича. День его Ангела впоследствии можно было назвать настоящим его чествованием. К этому дню, так же как и ко дню Пасхи в доме торжественно готовились. Все блестело, полы натирались до особенного лоска, на окна вешались кружевные занавески, которые потом снимались и прятались до Пасхи в сундуки. Столы расставлялись в двух комнатах. Приглашался повар, который начинал свою работу с вечера под бдительным присмотром двух верных прислуг, Марии Никифоровны и Александры Герасимовны, проживших чуть не всю жизнь свою в семье Зерновых. Заготовлялись пироги и кушанья на весь день с утра до вечера. В день именин матушка бывала на ногах с самого раннего утра и даже не ходила к обедне, куда шла вся семья. К их приходу из церкви все было готово, но без всякой суеты; Степан Иванович суеты не любил, но скорости всегда требовал. Матушка была в нарядном шелковом платье, с черной кружевной косынкой на голове, что очень шло к ее белокурым волосам, всегда хорошо причесанным, и белому цвету лица с голубыми глазами. Все поздравляли Степана Ивановича, и друг друга с именинником и садились пить чай. Обыкновенно к этому утреннему чаю приходил и весь причт, приносили заздравные просфоры имениннику. Такие же просфоры присылались в этот день и от Митрополита, и от архиереев, и от многих московских священников, и из Покровского монастыря, и даже из Троице-Сергиевой лавры. С одиннадцати часов начинали раздаваться звонки за звонками, приезжали поздравители. Всех просили к столу, к пирогу. Широкое гостеприимство и хлебосольство были вообще отличительной чертой как самого Степана Ивановича, так и всей его семьи, а в этот день они, конечно, проявлялись во всей своей силе. Пироги с разнообразными начинками сменялись один за другим; прекрасные заливные, разные жаркие, закуски, особенно зернистая и паюсная икра не снималась со стола на затянувшемся чуть ли не до 4-х часов дня завтраке. Число гостей непрерывно росло; со всеми гостями были одинаково ласковы, чувствовалось, что все гости были равны. Общество собиралось самое разнообразное, как разнообразна была деятельность Степана Ивановича. Тут был весь его причт, многие родственники, товарищи по Академии и по другим московским приходам, сослуживцы его по редакциям духовных журналов, где Степан Иванович был цензором, по консистории, где он был непременным членом, по братству Святого Николая, где он

был распорядителем, по двум институтам, где он состоял законоучителем, по Московской Городской Думе, где он был гласным. Кроме того, приезжали с поздравлениями многие почитатели Степана Ивановича из прихожан настоящего и бывшего его приходов, родители его частных учеников, и сами ученики и ученицы, которых было очень много до самого конца его жизни. Таким образом, собиралось многочисленное общество. Гости не были связаны друг с другом ни одинаковой профессией, ни той же службой, ни одним и тем же сословием. Степан Иванович любил этот день, когда он имел возможность дружеской встречи и беседы со всеми своими знакомыми и друзьями. В другое время он отдавал себя всецело беспрерывной работе, в день же именин он был свободен от всех забот.

Много оживления вносили сверстники пяти его детей. Тут были, благодаря рождественским каникулам, свободные от учения и гимназисты и кадеты и институтки. Среди них была представлена полностью семья Марковых, самых близких друзей молодого поколения Зерновых, а их было не более, не менее как девять человек. На двух из них впоследствии женились два сына Степана Ивановича.

Мало-помалу общество разделялось. За столом именинника сосредоточивались те, кто были постарше, а более молодые объединялись в других комнатах. После завтрака часть гостей разъезжалась, оставались обедать только самые близкие. Опять накрывались столы — в зале для солидного возраста, в гостиной для молодежи. Там бывало особенно весело и шумно. По окончании еды дочь хозяина или Саша Маркова садились за рояль. Саша Маркова, невеста, а потом жена Сергея Зернова, была ученицей и любимицей Степана Ивановича. (Впоследствии она была солисткой Большого Императорского Театра в Москве). Она прекрасно пела, была регентшей институтского хора. Конечно, в этот день, при ее содействии, устраивалось хоровое пение, которое всех объединяло разливаясь по всему дому. Солидные гости, во главе с именинником, вставали из-за стола и присоединялись к молодежи. Степан Иванович любил молодежь, любил музыку и пение и действительно наслаждался, слушая чудесные русские хоровые песни и звучные молодые голоса. Со счастливой улыбкой он расхаживал по гостиной. Именинный день кончался поздно, молодежь со своим весельем, смехом, музыкой и пением не могла разойтись далеко за полночь. Так проходил семейный праздник — день ангела главы семьи Зерновых.

Теперь я хочу рассказать о детстве и воспитании вашего деда. Его отец Иван Зернов был неудачник. Об его происхождении я ничего не знаю. Зато его мать, дочь священника, была женщина с исключительно сильным характером и умом. Ее старшая сестра вышла замуж за священника, который и получил приход их отца, как тогда полагалось в России. Она же,

как младшая, должна была соединить свою жизнь с мало обещавшим человеком. Родители не хотели выдать ее за светского, а другого жениха из духовного звания поблизости не нашлось. Брак был несчастливый, бедность была крайняя, семья голодала. Все же по настоянию матери старший сын Степан с помощью добрых людей был послан в школу. Для того чтобы его снарядить, были истрачены последние гроши. После пятилетнего обучения в духовном училище, он уже на казенный счет был принят в Вифанскую семинарию. Ему были обеспечены проезд на новое место, плата за учение и полное содержание, но обмундирования не давали. У родителей не было никакой возможности прилично одеть своего сына. Главное у него не было сапог, поэтому пришлось отправить 17-летнего юношу в лаптях. Это было настоящим горем для его матери, о чем мне потом рассказывала моя свекровь. Вероятно и самому Степану не было радостно ехать в таком виде. Правда, недалеко от них жила его тетка и она могла бы помочь, но в этой семье щедрости не было. Хотя она и принимала своего племянника по праздникам, но за стол с собой не сажала. Кормили его на кухне, где он и спал. Дарили ему спитой чай, который он высушивал, заваривал и пил, конечно без сахара, находя, что это все же было лучше пустого кипятка, который давался в училище.

В семинарии, как и в духовном училище, Степан встал в ряды первых учеников, и его вскоре назначили репетитором неуспевающих семинаристов, в числе которых оказался и его лучше обеспеченный двоюродный брат. Платы за репетиторство не полагалось и он продолжал носить лапти, но зато два раза в год, на Рождество и на Пасху, родители его учеников обязывались присылать ему съестные припасы. Кормили в Вифанской семинарии плохо. Провизия была и не очень свежая и в скудном количестве. О разнообразии, конечно, не могло быть и речи: каждый день ели так называемую семинарскую похлебку, горох и кашу. Ни вилок, ни ножей не полагалось, каждому семинаристу давалось по оловянной ложке; если она ломалась, то нужно было покупать новую на свой счет. Если бы не репетиторство Степана, то постоянное недоедание вероятно вредно отразилось бы на его здоровье. Работать в семинарии приходилось много, целью каждого семинариста было поступление в академию, куда принимались только лучшие из учеников, после публичного экзамена в самой семинарии и вступительного уже в академии.

Уча других, а сам учась по ночам, Степан в 1840 году блестяще окончил курс в семинарии и его послали на казенный счет в Московскую Академию, находившуюся в Троицко-Сергиевской лавре. В половине августа он приехал туда для приемных экзаменов. Они продолжались около двух недель. Нужно было написать три экстемпорале по латыни и по рус-

ски и отвечать по философии и по богословию. На этот приемный экзамен обычно приезжало от 30 до 40 лучших семинаристов со всех концов России. Вместе с владимирцем Зерновым приехали в лавру тверяне, ярославцы, костромичи, симбирцы, астраханцы, сибиряки, кавказцы и из польских губерний — семинаристы, перешедшие из унии.

В первых числах сентября был объявлен результат экзаменов, Степан Зернов был принят студентом Академии. Перемена в жизни была огромная. Прежде всего ему было выдано полное казенное обмундирование, начиная с белья и сапог и кончая шинелью. Правда вся одежда готовилась по одному фасону и по одной мерке, оттого, конечно, приходилось страдать худощавым и маленького роста, и еще хуже — юношам крупного сложения. Одежда для домашнего употребления состояла из серого бумазейного полупальто и брюк, а для классов шился серый суконный сюртук, шея вместо воротников повязывалась черным платком. Шинель была из синего сукна с подкладкой до пояса, а для того чтобы иметь всю шинель на подкладке и чтобы переделать хотя немного костюмы по фигуре, надо было платить портному отдельно. Кроме того, студенты получали по паре замшевых перчаток и по пуховой круглой шляпе. Все это выдавалось на два года, а белье и обувь менялись ежегодно — по три сорочки с кальсонами, по три пары нитяных носков, по две пары сапог и одной паре головок. В академической столовой студенты увидали накрытые столы, фаянсовую посуду вместо деревянной в семинарии, металлические ложки, салфетки, графины с квасом. Их кормили мясным или рыбным супом, давались котлеты, поджаренная каша. Эконом предлагал студентам составлять список любимых кушаний и прислушивался к их желаниям. По воскресным и праздничным дням полагались пироги с кашей и жаркое — баранина, а иногда и телятина. Вообще, особенно после семинарии, стол казался вкусным и обильным, не полагалось только белых булок, сахара и чая; это студенты, если хотели и могли, должны были подкупать на свой счет.

Вся жизнь студентов шла по строго определенному распорядку. В 7 часов вставали, после общей молитвы и завтрака начинались лекции, которые длились от 8 до обеда, который был в 12 ч. С двух часов начинались другие лекции, но уже по второстепенным предметам. С 5 до 8 занимались у себя. В это время запрещалось разговаривать, курить и даже расхаживать по комнатам, чтобы не мешать друг другу. В 8 часов подавался ужин, после него разрешались прогулки, с 9 до 10 снова занятия, в 10 часов вечерняя молитва, после нее студенты ложились спать. Монастырские ворота запирались и ключ относился к Наместнику. Но академия все же не была монастырь и студенты не были монахами, отрешившимися от светской жизни. Это были люди большей частью 20-25-летнего возраста,

получившие свое среднее образование в различных семинариях необъятной Российской Империи.

Каким студентом был Степан Иванович очень живо описано его другом Дмитрием Ивановичем Кастальским (ум. 1891 г.), протоиереем Московского Казанского собора, отцом известного композитора. [2]

Они учились вместе и в Вифанской семинарии и в Московской академии. Отец Дмитрий вспоминает своего друга Степана с большой любовью и даже с оттенком преклонения перед ним. Он пишет: « Хотя в семинарии я и был лучшим учеником, но я всегда смиренно уступал первенство Степану Зернову, который, по правде, был выше всех нас целой головой, догнать его никто не мог ».

Описывая свою жизнь уже в академии, Кастальский продолжает: « Доброе расположение Зернова не охладевало ко мне и в академии. Мы с ним продолжали нашу дружбу, часто прогуливались вместе, толковали о наших сочинениях, о будущих судьбах наших, опасались, надеялись, горевали. Его будущность мне всегда казалась светлее моей. С ним мы навещали и Ивана Трегубова, у которого была чайная лавочка, любимая нами, студентами. Там в веселой компании студентов мой Степан блистал красноречием и остротами. Он блистать любил и, должен сказать, он мог блистать ».

В конце своих записок Кастальский приводит автограф Степана Ивановича, который тот написал ему на память при окончании курса в академии. Вот он: « После десяти лет, которые проведены нами под одной кровлей, наконец мы расстаемся. Благодарю тебя за внимание и за те чувства, которые ты имел ко мне. Я не забуду о тебе, куда бы не был я послан. Душевно любил я и уважал тебя всегда и не изменюсь. Мое сердце желает тебе жизни долголетней и счастливой, желает благословения от Бога, любви от людей. При этих двух условиях можно жить на свете счастливо. Тебя не нужно учить, как этого достигнуть. Твоя душа, ум и сердце все имеют, что нужно для счастья. Прости и помни Степана Зернова ». Эти пожелания были написаны в 1844 году, в то же лето Зернов блестяще окончил академию.

В истории Московской академии нельзя не отметить одного поразительного явления: в продолжение полувекового периода в ней царило единство духа и единое направление в образовании. Этим академия была обязана влиянию и руководству знаменитого митрополита Филарета (1782-1867). Он возглавлял администрацию этой духовной школы в течение 53 лет, с года ее основания и до конца своей долгой жизни. Академии он отдавал свое сердце, она была его любимым детищем. Он всегда

---

[2] См. « У Троицы в Академии » Москва 1914, стр. 80-111.

не только присутствовал на экзаменах, но и читал все сочинения, как вступительные, так и курсовые и выпускные; и не только читал, но и делал на них замечания, относя их и к студентам и к профессорам. На экзаменах он сам задавал вопросы, на которые часто затруднялись давать ответы сами преподаватели. В таких случаях митрополит прочитывал целую лекцию, разрешая трудные богословские вопросы.

Митрополит, столь внимательно следивший за всем, что происходило в дорогой ему академии, вскоре заметил талантливого и трудолюбивого студента Зернова. По окончании выпускных экзаменов Филарет вызвал его к себе и предложил ему пост преподавателя при Академии для подготовки к профессорскому званию. После двух лет преподавания, Степан Иванович решил жениться, принять священство и отдать себя приходской работе. Митрополит дал на это свое благословение, тем более что ему в это время нужен был умный и энергичный священник-академик для трудного прихода в Замоскворечье, при церкви Николы в Студенцах, на Таганке.

Замоскворечье было тогда заселено зажиточным, но мало культурным, так называемым « серым » купечеством. Многие из них были старообрядцы, которые, вследствие репрессивных мер, принимаемых против них императором Николаем I, были очень объединены между собою и пользовались каждым случаем для возбуждения среди населения волнений. Вспыхнувшая в 1848 году в Москве холерная эпидемия создавала благоприятную почву для брожения в населении, особенно в замоскворецком районе. Его жители обвиняли врачей, подозревали начальство. Создавалось крайне тревожное настроение, близкое к открытому восстанию. Назначивши Степана Ивановича в такое трудное время священником в самый беспокойный приход, митрополит Филарет, очевидно, озаботился приисканием для него и невесты. Он указал ему на внучку протоиерея Остроумова, священника Николо-Студенцовской церкви. При нем жила его дочь Мария Михайловна, вдова д-ра Дмитрия Андреевича Лебедева, со своей молоденькой и хорошенькой дочкой Прасковьей Дмитриевной (1829-1916). Ей только что минуло 17 лет. О. Михаил, наверное, знал чего желал митрополит и сразу же, познакомившись с Зерновым, посмотрел на него, как на жениха. Ему был лестно выдать свою внучку за выдающегося академика, за одного из любимцев владыки, а кроме того, при таком заместителе, он, без сомнения, мог со своей дочерью остаться жить в том же доме, где он прожил всю свою жизнь. Прасковье Дмитриевне не улыбалось быть женой ученого богослова и стать матушкой в 17 лет. Может быть, поэтому Степан Иванович, как она мне потом сама рассказывала, сперва ей не понравился. Ее матери стоило не мало усилий убедить ее не противиться воле деда и согласиться на этот брак. Свадьба состоялась и они в полном согласии и во взаимной

любви прожили счастливо 37 лет. Семья их была большая: шесть человек детей, дед и мать, которые оставались жить с ними до их кончины.[3]

Степан Иванович, приняв священство, получил приход не задолго до холерной эпидемии. Без всякой боязни, молодой священник исполнял все требы, обходил больных, исповедовал, причащал, хоронил и достиг того, что население ему поверило. Может быть, отсутствие страха заразы, которым всегда отличался Степан Иванович, способствовало тому, что он уцелел. Когда эпидемия утихла, о. Стефан начал работать по вопросам раскола. Главной задачей, порученной ему митрополитом, было остановить рост влияния раскольников на православных. Зернов, с присущей ему горячностью, погрузился в изучение старообрядчества и стал устраивать беседы с прихожанами, привлекая на них и раскольников. Эти собеседования составили репутацию настоятеля, как ревностного и образованного пастыря.

На двадцатом году служения в Замоскворечье митрополит предложил о. Стефану новый приход Николы Явленного, на Арбате. Насколько Таганский приход состоял из малокультурного сословия, настолько Арбатский был сосредоточием родовитого дворянства. Я слышала, что именно дворянство просило назначить им Зернова, имя которого было популярно в Москве из-за его проповедей и законоучительства в Николаевском институте. Помимо этого ходатайства, самому митрополиту нужен был о. Стефан на Арбате, как 20 лет тому назад он был ему нужен на Таганке. В это время влиятельный К.П. Победоносцев (1827-1907) обратился к митрополиту с просьбой указать ему подходящую церковь во имя Св. Николая и подходящего настоятеля, который мог бы организовать общество помощи сиротам духовенства в память только что скончавшегося цесаревича Николая (1843-1865). Митрополит избрал приход Николы Явленного и протоиерея Стефана для этой цели. Так состоялся перевод Степана Ивановича на новый приход. Победоносцев очень скоро не только вполне одобрил выбор митрополита, но, познакомившись ближе с настоятелем, оценил его и не пропускал никогда случая, бывая в Москве, видеться с ним и советоваться с ним по многим вопросам.[4]

---

[3] Прим. Михаил Степанович Зернов в своей автобиографии так пишет о матери: «Моя мать, дочь военного врача, получила домашнее образование. Она отличалась душевной красотой, доброжелательностью и скромностью».

[4] Прим. Прилагаемый отрывок из письма моего отца к его сестре Ольге, написанный, наверное, в 1881 году, отражает мысли моего деда, а так же характеризует общее состояние церкви в России.

«Папаша, как тебе, наверное, известно, получил орден Владимира 3-й степени. Недавно он виделся с Победоносцевым, который был в Москве в Братском приюте и остался им очень доволен. Хотя Победо-

Хорошие отношения с новыми прихожанами установились сразу. Церковь Николы Явленного была одной из самых любимых московским обществом. При о. Стефане она была всегда переполнена по праздничным и воскресным дням. На службы в церкви он смотрел, как на высшую радость, и служил он за самыми редкими исключениями ежедневно. Те отличия, которые он получал за свои заслуги, он ценил, но никогда не добивался их. Незадолго до своей кончины он был у нас в первый день Пасхи. Его грудь украшал только что пожалованный ему крест, осыпанный драгоценными камнями. Моя старшая сестра Аня воскликнула: « какие чудесные камни! » Степан Иванович очень пристально, как-то даже строго посмотрел на нее и сказал: « дело не в камнях ».

Кроме богослужений и преподавания в институтах, у него было много уроков в частных домах. Работоспособность у него была исключительная. Он совсем не щадил своих сил. Он был занят с утра до позднего вечера. Когда в доме уже все спали, в его кабинете все еще горел огонь. Степан Иванович сидел за своим письменным столом, заваленным разными бумагами, со стоящим на нем стаканом очень крепкого чая с лимоном. Он или корректировал богословские рукописи, или писал по делам Братства. Кроме того, большой приход отнимал у него много времени. Нам, его прихожанам, по его внимательному отношению ко всем, казалось, что мы-то и есть его главная забота, и что у нас есть неотъемлемое право на все его время, на ранние обедни, на проповеди, на его посещения нас в большие праздники, на удовлетворение всех наших нужд и треб. Когда у Степана Ивановича появились припадки его тяжелой болезни — грудной жабы, и все в доме оберегали его покой, не было случая, чтобы он отказывался прийти со Святыми Дарами к больному, без различия его положения, бедности или богатства. Подчас он делал это через силу, поднимался на высокие этажи и спускался в подвалы, находя для всякого слово по-

---

носцев в обращении с папашей был прост и любезен, однако взгляды, высказанные им по некоторым вопросам, произвели впечатление не совсем в его пользу... Так, например, он думает, что людям, получившим образование, не место быть священниками, так как они окажутся чужими для крестьян; что хорошие пастыри те, кто не брезгуют пьянствовать с крестьянами, что высшее духовенство виновато в том, что дозволяет своим сыновьям выбирать другие профессии, и так далее.

Папаше приходится бороться против низкопоклонства членов консистории, которые « боятся сметь свое суждение иметь ». Во главе их стоит Амвросий, который, к его характеристке замечу, на акте в университете поцеловал руку у принца Ольденбургского ».

(Амвросий, в миру Алексей Иосифович Ключарев, родился в 1820 году. Он окончил в 1844 году Московскую Духовную Академию. В 1848 был рукоположен, а в 1877 пострижен в монашество. В 1878 году харитонисан в епископа Можайского, второго викария Московской митрополии. В апреле того же года перемещен викарием Дмитровским, а в 1882 году назначен епископом Харьковским и Ахтырским. Умер 3 сентября 1901 г.).

мощи и утешения. При всем этом мне не раз приходилось слышать его гневное слово даже в церкви, когда он случайно замечал, что кто нибудь ведет себя не так, как подобает во время службы. Этого он не допускал. Строгий к себе, Степан Иванович был строг и к другим, но его строгость не озлобляла и даже не раздражала, так как в основе ее лежала справедливость и честность.

В своей домашней жизни Степан Иванович был очень требователен, в особенности к своим детям. Он ничему не послаблял, внимательно следил за их учением, подчас проявлял большую горячность, но был и отходчив. « Бывало разгорячится мой Степан Иванович, рассказывала мне Прасковья Дмитриевна, я сначала помолчу, а потом и разговорю его, он скоро и успокоится, а долго он никогда не сердился ». Помню и мне он говорил на исповеди: « главное, никогда не оставлять злобы в сердце ».

Отношения его с митрополитом Филаретом сохранились самыми близкими до конца жизни владыки. На это указывает особая честь, выпавшая на долю вашего деда, — ему было поручено произнести одно из надгробных слов при погребении предстоятеля Русской церкви. Митрополит относился с любовью как к самому о. Стефану, так и ко всей его семье. Он нередко приезжал к нему запросто, ласкал детей. Первое слово, которое произнес ваш отец, было « монах », его он повторил за митрополитом, сидя у него на коленях.

Филарет умел выбирать нужных ему людей для осуществления задуманных им начинаний. На Зернова он смотрел, как на одного из своих лучших сотрудников. Он интересовался вопросом сближения церквей и особенно тепло относился к Англиканской церкви. Под председательством Филарета устраивались в Москве совещания для обсуждения этих вопросов. В них участвовал и протоиерей Зернов, который глубоко сочувствовал делу примирения христиан.[5] Хотя он и не владел английским языком, но мог общаться с английскими богословами, так как совершенно свободно изъяснялся по латыни. Вероятно, он встречался с Стенлей (1815-81), деканом собора Св. Павла в Лондоне, приезжавшим несколько раз в Москву и написавшим известную книгу по истории Православной церкви.

Я задаю себе вопрос, что именно способствовало выработке такой богатой и гармонической личности у Степана Ивановича? Казалось бы, что тяжелые условия детства и юности менее всего могли помочь развитию в нем той широты взглядов, того

---

[5] Прим. В одном из своих писем к брату Михаилу, Владимир Соловьев (1853-1900) пишет: « Ах забыл, я прекрасно сошелся с о. Зерновым. Славный старик, и я надеюсь, он поможет соединению церквей ». Знаменитый философ, будучи горячим сторонником примирения западных и восточных христиан, очевидно, нашел у С.И. сочувствие своим взглядам (В. Соловьев. Письма. Петроград. 1923. стр. 115).

правильного тона со всеми окружающими, того вкуса, которые выделяли его из среды духовенства. Я думаю, что это были его природные дары, не полученные им ни от семьи, ни от школы, но родившиеся изнутри его самого.

Сильный, умный, строгий и добрый, выработавший в себе дисциплину, Степан Иванович мог, по справедливости, быть назван истинным пастырем своей паствы. У него было редкое сочетание глубокой набожности с внешней воспитанностью. Он был образцом аккуратности, и я сказала бы, даже элегантности, если только это слово подходит к священнической одежде. Все у него было сшито из лучшего материала. Не зная и не любя роскоши, он хотел, чтобы все в доме было в порядке и блистало чистотой. Его праведная кончина увенчала его прекрасную жизнь.

В таких словах наша мать характеризует нашего деда и окружавшую его среду. Голос его самого слышится в одном из немногих его писаний, сохранившихся в семейном архиве. Таким документом является его описание дорогого ему благотворительного братства Св. Николая, напечатанное в конце книги Фомы Кемпийского « О подражании Христу » (Новый перевод с латинского К. П. Победоносцева. Петербург. 1869), изданной в пользу Братства.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

## БРАТСТВО СВ. НИКОЛАЯ

*Прот. Стефан Зернов*

Братство Св. Николая учреждено в Москве, при церкви Николая Явленного, на Арбате, для пособия бедным детям священно и церковнослужителей московской епархии, которым сами родители не в силах дать нужное образование. Всем известны крайняя бедность нашего духовенства, особливо сельского, и крайняя скудость средств и пособий, которые имеются в виду для самой существенной его потребности, — для воспитания детей. В каждом городе, где только есть духовное училище, можно встретить множество бедных учеников, которые в отдалении от семьи, едва имеющей средства к жизни, принуждены терпеть голод и холод и проходить трудную школу лишений, в скудости обучения и попечения, в скудости самых необходимых средств для жизни. Им неоткуда ждать себе помощи, потому что и благотворительность общественная, обращая свои щедрые пособия на дело воспитания, оставляла до сих пор без внимания нужды того сословия, которое дает из своей среды отечеству пастырей и учителей церковных.

Весной 1865 года, по благотворительной мысли Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Павловны (1806-1873), положено в Москве начало учреждению, которое имело целью, покуда в скромных размерах и отчасти, помогать воспитанию детей духовного сословия. Для этого доброго дела имелась в виду на первое время сумма, пожертвованная Ее Высочеством на содержание 10-12 мальчиков. Распоряжение этой суммой вверено комитету из четырех членов, по выбору Ее Высочества и митрополита Филарета.

После того, в тяжкое время всенародной скорби об усопшем цесаревиче Николае Александровиче, в кругу людей, имевших счастье лично знать его, возникла мысль соединить дело благотворения бедным детям с именем и драгоценной памятью цесаревича. По этой мысли было учреждено в том же 1865 году, по благословению высокопреосвященного митрополита Московского, братство Св. Николая.

...Деятельность братства двоякая: воспитательная и благотворительная. С первой целью основан в Москве, при церкви Риз Положения и поблизости от Донского духовного училища,

приют, содержимый преимущественно на сумму, жертвуемую Ее Императорским Высочеством княгиней Еленой Павловной. Для помещения в приют выбрано 17 беднейших и способнейших учеников донского училища. Здесь они пользуются содержанием и надзором, продолжая ежедневные свои занятия в донском училище. К счастью, на первое же время, братство успело найти для заведования приютом достойную женщину, посвятившую себя вполне детям, вверенным ее попечению. Вместе с ней заботу о детях разделяет надзиратель, помогающий им с приготовлением уроков. Независимо от училищных занятий, дети в приюте обучаются пению и рисованию и имеют небольшую библиотеку для чтения.

Благотворительная деятельность братства распространяется, по мере денежных средств его, на все духовные училища московской епархии. Здесь несравненно явственнее и настоятельнее обнаруживается нужда и бедность, требующие пособия. Сельское духовенство наше очень бедно, и трудно себе представить, как много нужды между учениками, и каким благодеянием может послужить в отдельных случаях даже незначительное по сумме пособие. Бедные родители нередко принуждены бывают помещать детей на вольные квартиры, где они проживают, без всякого надзора, в дурном сообществе. Великое благо — избавить и родителей и детей от этого зла, предоставив детям, где это возможно, готовое помещение с надежным надзором. Иные не имеют возможности платить за помещение сына даже ничтожную плату; иные ученики, даже из лучших и способнейших, вынуждены отказываться от надежды на продолжение курса в семинарии, и оставляют училище единственно по неимению средств к содержанию. Наконец, как часто в духовных училищах встречаются дети в сапогах без подошв, в рубище вместо приличного платья, без теплой одежды в холодное время; иному не на что купить бумаги для письма, или приобрести нужную книгу. Все это ежедневные случаи, в которых благовременная помощь может быть великим благодеянием, подобным евангельской чаше воды, поданной жаждущему « во имя ученика ».

На такие именно нужды братство Св. Николая распределяет свои пособия по уездным училищам московской епархии. Для сего в каждом из городов, где такие училища существуют, братство имеет корреспондентами и сотрудниками почтенных братчиков из числа местного духовенства, которые приняли на себя следить за нуждой учеников и распределять пособия от имени братства. К сожалению, средства не позволяют распространить благотворения до желанных размеров и удовлетворить полное число нуждающихся; однако же в минувшем году братство успело оказать пособие 95 ученикам. В Дмитрове из 23 учеников шестеро, имевших поступить в семинарию, снабжены полной экипировкой платья; седьмому

выдано 10 рублей на расплату за квартиру и за стол. За четверых братство внесло в училищную казну деньги за содержание, за четверых заплатило за квартиру и частью за хлеб Восемь снабжены на счет братства одеждой и обувью. В Коломне 8 ученикам выданы от братства пособия на квартиру со столом в размере от 8 до 28 рублей. В волоколамском училище из числа 14 учеников, принятых на попечение братства, троим назначено полное содержание по крайней бедности их родителей, и на 11 учеников братство выдало деньги за квартиру. В звенигородском училище пансионеры помещаются в училищном доме, где они живут вместе и пользуются от братства всем содержанием. В донском училище братство содержит некоторых из своих пансионеров в училищной бурсе, выплачивая за них следующие по расчету деньги по третям.

На первых же порах братство встретило сочувствие к своему делу и ныне считает своих братчиков во всех классах общества. В числе их первое место принадлежит почившему Митрополиту московскому Филарету, который с полным сочувствием встретил первую мысль об учреждении братства и принял на себя первые заботы об его устройстве.

Братство Св. Николая ожидает, что сердца благотворительные и впредь не перестанут отзываться сочувственно и содейственно на первоначальный призыв к доброму делу, соединенному с драгоценной для всей России памятью усопшего цесаревича. Всякое приношение, как бы ни было незначительно, послужит к усилению средств для благотворительности, в которой и малое пособие, вовремя сделанное, имеет великую цену. Желающие принять участие в братстве Св. Николая или пожертвовать на него что-либо, благоволят адресоваться к братчикам распорядителям:

В Москве — к священнику Николаевской церкви Стефану Зернову. К о. Архимандриту Даниловского монастыря — Иакову. К священнику Казанской церкви у Калужских ворот — А. О. Ключареву. К священнику Троицкой церкви на Арбате — И. М. Богословскому-Платонову. В Петербурге — к К. П. Победоносцеву (у Спаса-Преображения, д. Дементьева)».

# ПОСЛЕСЛОВИЕ

*Н. Зернов*

Это воззвание к жертвователям помочь обездоленным детям сельского духовенства выражает коренные убеждения нашего деда, унаследованные и нашим отцом и нами — его внуками, что скромные пожертвования многих лиц могут дать значительные средства для доброго дела, и что помощь нуждающимся должна строиться на личном участии в их судьбе.

Подробные сведения, приводимые автором воззвания о том, кто из стипендиатов братства получал пособие на уплату за квартиру, кто на книги, кто на пропитание, показывают, насколько занятый протоиерей лично входил во все насущные вопросы питомцев и как близко к сердцу принимал он все их нужды, когда-то сам испытав еще большую бедность. Отдавая себя делам благотворительности, он умел привлекать и других на это же поприще. Он твердо верил, что добро сильнее зла, и что эгоизм и жестокосердие могут быть побеждены Христовой благодатью. Протоиерей Зернов был глубоко укоренен в лоне Православия. Весь его облик, внешний и внутренний, излучал свет русского благочестия, строгого в исполнении обряда, горячего по вере, окрыленного духом свободы и милосердия. Ему были чужды нетерпимость, конфессиональная подозрительность. Недаром Владимир Соловьев, этот пионер экуменизма в России, нашел в нем понимание и сочувствие своим дерзновенным идеям. Недаром также протоиерей Зернов был оценен требовательным и мудрым Филаретом, митрополитом Московским, самым выдающимся иерархом Русской церкви XIX столетия.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

# СЕМЬЯ НАШЕГО ДЕДА

*Н. Зернов*

Родоначальник нашей семьи протоиерей Стефан Зернов имел сестру Татьяну, в иночестве Таисию, и брата Ивана. Братья были совсем непохожи друг на друга. Насколько старший был способен и трудолюбив, настолько младший пошел в своего отца и не обладал ни умственными дарованиями, ни физической энергией. Иван был посвящен в сан дьякона, но священства не получил [1]. Связь между братьями не поддерживалась; по слухам, Иван под конец своей жизни юродствовал, нигде не служил, ходил по богомольям. У него был сын Дмитрий, который пошел по следам отца.

Сестра Таисия походила больше на своего старшего брата. Она дожила до глубокой старости, на много лет пережив своих братьев. Умерла она игуменьей на покое незадолго до первой мировой войны. По большим праздникам к нам приходили поздравительные письма, написанные старинным бисерным почерком. Нам говорили, что их присылает из Мурома сестра нашего давно умершего дедушки. Образ этой незнакомой монахини был обвеян для нас романтической таинственностью. Сам город Муром, который невольно отождествлялся в нашем представлении с Ильей Муромцем, казался сказочным местом. В монастырях мы в детстве не бывали и не представляли реальную обстановку жизни нашей двоюродной бабушки. Однако наше воображение рисовало образы монахинь и послушниц, молящихся в потонувшем в прошлое Муроме.

К сожалению, наши родители не собрались отвезти нас к старице-игуменье и приобщить нас к теперь уже невозвратно ушедшему быту благочестивой провинции. Зато нашу бабушку Прасковью Дмитриевну, вдову протоиерея Стефана, мы часто видели. Она, пережив на тридцать лет своего мужа, жила рядом с нами, в старинном особняке, купленном для нее моим отцом. Хотя мы и были соседями, у нас, детей, не создалось близости с нею. Бабушка не проявляла к нам ни особой неж-

[1] Примечание. Очевидно, он был приятелем и собутыльником писателя А. Н. Островского (1823-1886), который упоминает в своих воспоминаниях дьякона Ивана Зернова.

ности, ни интереса. Казалось она ушла в свой мир, столь далекий от всего, что занимало нас. Она была стройной, немного суховатой женщиной, всегда очень аккуратно одетой во все темное, с красивыми белыми руками и с гладко причесанными волосами, которые скорее пожелтели, чем поседели под конец ее долгой жизни. Мы приходили к ней, чтобы поздравить ее с семейными и церковными праздниками, она угощала нас, спрашивала нас о здоровье и этим ограничивалось наше общение с нею. Сладости в ее доме покупались в магазине Скачкова, это были пряники, пастила, смоква и другие традиционные русские лакомства, отличные от тех конфет, которые покупались у нас в модных кондитерских с иностранными именами — Эйнем, Сиу и Трамблэ. Бабушкин особняк, как и сама она, уводили нас в жизнь Москвы прошлого столетия. Дом был одноэтажный с мезонином и небольшим садиком. Он содержался в безупречной чистоте и в нем царила особая, ничем не нарушаемая тишина. Желтые полы, тщательно начищенные воском, ярко блестели; ходить по ним не полагалось, и поэтому всюду были проложены дорожки, под которыми половицы приятно поскрипывали. Комнаты были с низкими потолками и маленькими окнами. Большие голландские печи распространяли тепло, а растения в горшках разного размера придавали им уют. Мебель в гостиной и столовой была солидная, добротная; нам казалось, что на ней никто никогда не сидел, так как мы не встречали у бабушки гостей, а нас она принимала в своей спальне. Весь дом обладал своеобразным слегка дурманящим запахом: смесь ладана, растений и натертых полов. Самая замечательная комната была спальня хозяйки. Она была узкая с одним окном, половина ее была занята высокой кроватью из красного дерева. В правом углу стоял огромный киот с иконами в богатых золотых и серебряных ризах. Перед ними всегда горела лампада, и ее мигающий огонек через красное стекло бросал свои прихотливые блики на суровые лики святых, в упор глядевших на нас, почтительных внуков. Наши посещения не длились долго, общего языка у нас с бабушкой не было, и мы с чувством облегчения и с сознанием выполненного долга целовали ее руку и спешили идти домой.

Бабушка жила не одна, ее мезонин занимал Иван Васильевич Неговоров, старый воспитатель нашего отца и его брата Димитрия. Он попал к Зерновым сразу по окончании семинарии и так привязался к их семье, что навсегда остался жить под их кровом.

П. Н. Милюков (1859-1943), друг детства моего отца, рисует следующий портрет Ивана Васильевича:

« Наши прогулки приняли вскоре другой характер благодаря завязавшейся дружбе с Зерновыми. Их отец взял в дом репетитора для сыновей, только что кончившего семинариста,

которого ему рекомендовал архиерей. Рекомендация оказалась замечательно удачной. Молодой семинарист колебался, идти ли ему по духовной или светской карьере. Вместо академии он решил готовиться к экзаменам в университет. В конце концов он не попал ни туда ни сюда,[2] прижился к семье Зерновых и остался там своим человеком до конца своих дней. Это было истинное благодеяние для них и косвенное для нас; Иван Васильевич Неговоров оказался прирожденным педагогом и воспитателем. С большим лбом, продолженным ранней лысиной, с глазами немного навыкате, с расширенными ноздрями и окладистой бородой — весь воплощенное спокойствие и какое-то внушающее равновесие. Иван Васильевич напоминал мне Сократа, или, может быть, бюст Сократа напоминал Ивана Васильевича. От него исходила какая-то примиряющая сила. Я не представляю себе, чтобы он когда-либо выходил из себя и сердился, и уже наверно никогда не кричал. Он любил детей, и дети любили его. Не послушаться Ивана Васильевича было невозможно — уже потому, что он никогда не отдавал приказаний и не делал внушений. Все шло как будто само собой. От него я впервые услышал слово: « хфилософия » (Он был малоросс, слова « украинец » мы тогда не знали; Иван Васильевич был далек от всякой политики.) « Хфилософию » свою он преподавал детям Зерновых, вероятно, разумея ее в самом широком смысле, включая в нее больше этику, чем метафизику. Он любил книги и покупал их по дешевке на « толкучке ». Так он составил себе небольшую библиотечку. Спрашивая себя теперь, откуда я заимствовал свою любовь к книгам и свое раннее знакомство с « толкучкой », я не нахожу другого источника, кроме Неговорова ».[3]

Ивана Васильевича мы уже застали глубоким стариком. Он умер в 1910 или в 1911 году. Его две комнаты производили на нас еще более сильное впечатление, чем даже их хозяин. На притолоках их дверей были ярко начертаны кресты, охранявшие от всякой скверны плоти и духа. Кабинет Ивана Васильевича был с низким потолком, но довольно обширный. Он весь был заставлен шкафами и полками книг. Большой диван, обитый черной клеенкой, несколько кресел и широкий письменный стол составляли его главное убранство. Но не эта старинная мебель привлекала наше внимание, мы были заворожены застекленными коробками, в которых хранились коллекции бабочек, жуков и других насекомых. Еще более поражали нас чучела птиц и мелких зверей, стоявшие под колпаками в комнате этого любителя естественных наук. Его кабинет походил скорее на музей, все в нем было необычайно, притягательно и

---

[2] Милюков ошибается, Неговоров окончил Московский университет по математическому факультету.

[3] П.Н. Милюков. Воспоминания. Т. 1., стр. 39-40. Нью-Йорк. 1955.

недоступно. Иван Васильевич не давал нам объяснений и не показывал нам своих сокровищ, мы в молчании созерцали их. Мы входили к нему как бы в некое святилище. Он казался нам патриархом, лицом непомерно древним, который был учителем нашего отца, когда тот был сам маленьким мальчиком.

В воспоминаниях моей старшей сестры сохранился рассказ о ее посещениях Ивана Васильевича. Она пишет: « Я не помню сколько мне было лет, когда я научилась читать и писать. Я была еще совсем маленькая девочка, когда моя мать решила посылать меня два раза в неделю к бывшему учителю моего отца. Иван Васильевич был очень стар, плохо видел и слышал, и моя мать обещала ему, что я буду приходить читать ему газету. Я мучительно стеснялась и умоляла мою мать не посылать меня к нему. Но она была неумолима. « Он старый и больной, говорила она, ты должна приучаться помогать людям ». Это были мои первые шаги на поприще помощи ближнему. К сожалению, они не были очень удачны. Я помню, как я поднималась по деревянной лестнице и тихо стучала в дверь Ивана Васильевича. Вероятно, я слишком тихо стучала, потому что каждый раз он долго не отзывался на мой стук. Я стояла у двери и страдала, потом стучала опять. Наконец я слышала его старческий голос: « войдите ». Он сидел на черном клеенчатом диване, большой, грузный, с широкой бородой. Я робко протягивала ему руку, усаживалась за стол, аккуратно раскрывала газету и начинала читать. Он слушал меня, прикрыв глаза, и как будто дремал. Я с нетерпением ждала момента, когда он скажет: « ну и довольно, почитала, теперь иди домой, тебя, верно, уже ждет мама ». Я быстро вставала, стараясь не слишком торопиться, чтобы не показать ему, как я радуюсь, что могу уйти. Моя мать строго следила, чтобы я не пропускала назначенных дней. Однажды она решила проверить мое чтение. Она была довольна, когда увидала меня, чинно сидящей перед открытой газетой. « Ну что, Иван Васильевич, как вам читает Сонечка ? Довольны ли вы ею ? » спросила она. « Да что же, ответил он, она мне все одно читает: горничные, кухарки, иногда дворник или повар ». « Как, воскликнула мама, только это ! Почему же вы ей не скажете ? » « Да что ей говорить ? Она ведь маленькая, ей легче объявления читать, они покрупнее напечатаны. Я же вижу, как она старается », ответил старик. Я честно читала все, что было напечатано более крупным шрифтом и что было лучше понятно мне. После этого меня перестали посылать к нему.

Так началась моя общественная работа. Вероятно, это было провиденциально, т.к. около 40 лет моей жизни во Франции я работала по приисканию труда эмигрантам и нашла многим работу горничных или кухарок ». Так кончает моя сестра свои воспоминания об воспитателе нашего отца.

Дом бабушки и его обитатели были живым осколком той

жизни, о которой мы знали по рассказам наших родителей. Немецкая бомба снесла его во время второй мировой войны.

### Остальные члены Зерновской семьи.

Протоиерей Стефан имел шестерых детей. Они делились на две группы. Старшая, как и младшая, состояла из двух сыновей и одной сестры. Старшая сестра Ольга окончила Александро-Мариинский Институт, была отличная музыкантша, вышла замуж за Груздева. Старшие братья Николай и Сергей учились в семинарии, но не пошли по пути отца, выбрав юридическое образование. Сергей (ум. 1918) был женат на солистке Большого Театре, Александре Михайловне Марковой (ум. 1926). Он успешно занимался адвокатурой, оба они любили широкую светскую жизнь, у них был свой дом в Москве, свой выезд, они устраивали большие приемы и званые обеды. Их старший сын Анатолий (1882-1942), окончивший два факультета (математический и юридический) был способный финансист, три раза приобретавший крупное состояние и терявший его в годы политических потрясений. Он умер в Париже во время немецкой окупации. Второй сын Сергей (1883-1923) тоже юрист, погиб во времена НЭПА. Младший Дмитрий (1885-1913) был композитор и музыкант, написавший музыку на слова Сергея Городецкого (1884-?) « Стоны, звоны, перезвоны ». Он рано умер от туберкулеза.

Трое младших Зерновых — София, Михаил и Дмитрий были особенно дружны между собой. Когда Соня умерла еще девочкой, мой отец был так потрясен ее смертью, что на время потерял дар речи. Они вместе с братом Дмитрием унаследовали общественное и педагогическое призвание их отца и в этом они отличались от своих старших братьев.

Дмитрий (1858-1922) был талантливый технолог и выдающийся педагог, воспитавший несколько поколений русских инженеров. Сам он закончил свое образование в Европе и Америке. Он умер на высоком посту Директора Технологического Института в Петрограде. В нем была та же прямота, то же чувство общественной ответственности, как и у моего отца, и они неизменно поддерживали друг друга во всех своих начинаниях. Но дядя Митя был суровее моего отца, радикальнее в политике, менее терпим к убеждениям своих противников, в нем был аскетизм, не свойственный нашей семье. Например он сам ездил только третьим классом и того же требовал от своих детей. Делал он это не из-за экономии, а из-за нежелания пользоваться удобствами, недоступными большинству людей. Его жена Евдокия Михайловна Маркова стушевывалась перед своим волевым, умным и нередко резким мужем. У них было трое детей: Борис (1894-1919), Вера (1895-1942) и Татьяна (1897). Семья Димитрия Степановича приезжала ре-

гулярно в Москву на Рождество и на Пасху и останавливалась в доме нашей бабушки. Их приезд был большим событием в нашей жизни. Он вносил в нее особую петербургскую атмосферу. Хотя наши кузены были и старше нас, мы не чувствовали их превосходства; где-то в глубине нашего подсознания мы знали, что наша семья и дружнее и счастливее наших петербургских родственников, и что они ищут у нас того тепла и непосредственности, которых им не хватало.

Судьба двух старших детей Дмитрия Степановича была трагична. Борис погиб во время гражданской войны, Вера умерла во время осады Ленинграда. У нашего деда было 11 внуков и внучек, носивших имя Зерновых и только один правнук — Николай, сын моего брата Владимира. Призыв к служению ближнему и к общественной работе наш дед передал моему отцу, а от него мы четверо его детей наследовали те же интересы. Эти черты, будучи общими для всех трех поколений нашей семьи, придают внутреннее единство ее хронике.

ПЯТАЯ ГЛАВА

## СЕМЬЯ КЕСЛЕР

*Н. Зернов*

Семьи моих родителей, Зерновская и Кеслеровская, имели много общего между собою. Их родоначальники не были москвичами, но оба женились на коренных москвичках и все их дети родились в Москве. Жили они по соседству в тех же арбатских переулках. Протоиерей Стефан крестил детей Кеслер и был их духовником. Обе семьи были любящие и дружные, в них царил дух взаимного понимания и свободы. Они принадлежали к кругу либеральной столичной интеллигенции. Большинство из них выбрало медицинскую и юридическую профессию. Полученное ими высшее образование не увело их из церкви. Они представляли тот творческий слой русского культурного общества, положительное влияние которого все сильнее ощущалось в стране с начала двадцатого века.

Следует однако отметить и разницу между ними. Связующим центром в Зерновской семье был ее основатель о. Стефан, непререкаемый авторитет для всех ее членов. У Кеслер это место занимала любящая и мудрая мать, воспитавшая своим трудом всех шестерых детей. Была и другая разница — насколько Зерновы принадлежали всецело к духовному сословию, постольку не все было ясно в родословной Кеслер.

Наш дед Александр Иванович Кеслер (1815 ?-10 ноября 1870), был по паспорту единственным сыном лютеранского пастора Иоханна Кеслера, жившего где-то в Прибалтике. По семейному преданию, однако, он был лишь приемным сыном пастора. Его подлинными родителями были, повидимому, барон Розенкранц и некая балтийская баронесса. Они отдали своего незаконнорожденного сына на воспитание Кеслеру. Барон, по рассказам, не забыл своего сына, обеспечив его. Эти средства дали возможность Александру получить хорошее образование, переехать в Москву и найти там хорошую службу. Трудно установить, какая доля правды заключается в этом семейном предании, но одно очевидно, что Александр Кеслер не поддерживал связи со своими лютеранскими родственниками. Он рано покинул Прибалтику, принял Православие и совсем обрусел. В его облике было что-то аристократическое, он был красив и элегантен, у него были густые черные волосы и синие глаза.

Его старшая дочь, красавица Анна, его сын Николай и моя мать больше других унаследовали его наружность.

Один из немногих рассказов нашей матери об ее отце связан с Тихвинской иконой Божией Матери, вывезенной нами за границу. Наш дед в своей молодости был далек от церкви. Однажды он увидал поразивший его сон. По улице в Москве ехала карета, за которой бежало множество народа. Наш дед бросился за толпой. В карете сидела молодая женщина необычайной красоты с младенцем в руках. Он сразу понял, что это была сама Богородица. Карета въехала в чудесный парк, но когда и он хотел пробраться туда, ворота закрылись перед ним и он услышал голос: « Подожди входить, сперва сотри пыль с моей иконы ». Проснувшись он сразу подошел к иконе и нашел ее покрытой паутиной. Как только он начал снимать ее, раздался благовест к ранней обедне. Быстро одевшись, он пошел в церковь и с тех пор стал постоянно посещать службы. [1]

Несколько лет спустя, когда в день его именин вся семья была в сборе, он заметил, что кивот иконы снова запылился. Когда он протянул руки, чтобы снять икону, она сама упала на них. Этот случай произвел на всех большое впечатление. Вскоре с ним случился роковой сердечный припадок. Перед смертью он не расставался с любимой иконой.

Наша мать сохранила мало воспоминаний о рано умершем отце, зато ее мать и наша бабушка Мария Алексеевна, урожденная Жукова (1823-1902) сыграла решающую роль в ее жизни. И дед и отец Марии Алексеевны были служащие графов Шереметьевых. Мать ее Мария Васильевна, урожденная Шереметьевская (1802-1874), рано овдовевшая, прожила всю свою жизнь со своей единственной дочерью, которую она глубоко любила. Она сочувствовала ее браку с Александром Ивановичем Кеслер и ее надежды оправдались. Они составили исключительно дружную чету. Всего у них было девять человек детей, но трое умерли в младенчестве, остальные делились на две группы (так же как и в семье Степана Ивановича Зернова). Старшая группа состояла из Анны (1850-1907), вышедшей замуж за финансиста Германа Лазарика и скоро овдовевшей, Елизаветы (1857-1937) муж которой был обрусевший армянин врач Григорий Никитич Калустов (1852-1897), и Сергея (1853-1906), доктора и зубного врача. Младшее поколение включало Николая (1861-1892), тоже врача, умершего в молодости, Софии (1865-1942), нашей матери, и Марии (1863-1937).

---

1 Примечание. Религиозная и интуитивная природа нашего деда была унаследована нашей матерью и моими сестрами. Многие события их жизни были связаны с их даром предвидения и с их способностью непосредственно воспринимать внутреннее состояние других людей.

Последняя была замужем за Борисом Васильевичем Богушевским (ум. 1910). [2] Она рано овдовела, жила с нами и была для нас как бы второй матерью.

Записки моей матери дают живой образ Марии Васильевны Жуковой и Марии Алексеевны Кеслер.

---

[2] Примечание. Б. В. Богушевский был известный помещик Воронежской губернии. Его сын Александр и три зятя Тумановский, Головацкий и Чижов были все крупные землевладельцы, ведшие прекрасно свои образцовые хозяйства.

## ШЕСТАЯ ГЛАВА

# МОЯ БАБУШКА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА ЖУКОВА

*С.А. Зернова*

Мне очень жаль, что я так мало знала о моей бабушке Марии Васильевне Жуковой. Она скончалась, когда мне было 9 лет. Я помню отчетливо ее стройную фигуру, очень красивые голубые глаза и правильные черты ее матового цвета лица. Она носила неизменный белый чепец с оборочками по праздникам и с тоненькими прошивочками в будни. Мы смотрели на нее, как на нашу неотъемлемую собственность. Она почти никуда не отлучалась из дому, только по утрам ходила в лавки — на ней лежало все хозяйство. Она строго следила за порядком, была экономна, но наблюдала, чтобы еда была сытная и вкусная. Она была негласная, но настоящая хозяйка нашего дома. У меня не осталось в памяти ни плохого у нее настроения, ни разногласий с нашей матерью. Обе они неразрывно слились друг с другом.

Я не помню, чтобы бабушка нас ласкала или говорила нежные слова, но не помню также, чтобы она сердилась или даже повышала голос. Она была необыкновенно уравновешенна и спокойна, но всю силу ее любви к нашей матери и ко всем нам мы все знали.

Ее любимицей была моя сестра Маня, но она не делала ей никаких предпочтений. Дети очень чутки на это, и мы сразу заметили бы это. Ее любовь к Мане выражалась в особом волнении при отъезде моей сестры в институт. Эти же волнения начинались с утра в приемные дни, когда бабушка ходила навещать ее. Она стремилась уйти из дому как можно раньше и отнести Мане все ее любимые гостинцы.

Теперь, когда я о ней пишу, ее образ так живо воспроизводится в моем воображении: вот она стоит за нашим столом, прямая и тонкая, и следит за раздачей еды (она с нами никогда не обедала). Я, как сейчас, слышу голос нашей матери: « Маменька, а себе-то вы оставили ? » и вижу жест бабушки головой снизу вверх и ее неизменный ответ: « Не беспокойся обо мне, не забуду и себя ». На это обычно отвечалось: « Знаю я, как вы себя не забываете ». Вижу ее в кухне с нашей кухаркой Настасьей Сковородкиной или спешно одевающейся и оправляющей белый чепец, поверх которого повязывала синий

шерстяной « шарфик-платочек ». Я никогда не видала бабушку в шляпе, очевидно она ее никогда и не носила.

Ее образ сливается у меня часто с великопостным благовестом, с ее сборами к часам и « мефимонам ». « Я всегда люблю отговеть на первой или на второй неделе », говаривала она: « Отговею и свободна, а к концу — больше суеты; чем ближе к празднику, тем душа несвободнее ». В чистый понедельник она так и представляется мне по возвращении из церкви, в черном платье и черном платочке, с особенным выражением лица умиротворенного спокойствия. Садилась она за чайный стол, пила чай с только что купленным медом, который старательно счищала ножем с бумаги, укладывала в стеклянную вазочку и распределяла на целую первую неделю. Нам тоже давали меду понемногу, а сахар бабушка на первой неделе не употребляла. « Сахар », говорила она: « приготовляется на костях, он скоромный ».

Она мало рассказывала нам о себе, в противоположность нашей няни, такой талантливой сказочнице. Впрочем, иногда она делилась с нами воспоминаниями о 1812-ом годе. Из этих рассказов я могу уяснить себе кое-что из детства и юности моей бабушки. Ее отец служил у графа Шереметьева, детей у него было трое — все девочки: Анна, Пелагея и младшая — Мария. [1] Очевидно мать у бабушки скончалась рано, до 12-го года, потому что о матери она никогда не упоминала. Все заботы о детях лежали на отце. Я так хорошо помню ее рассказ о « французах » в Москве, что могу передать его ее же словами.

« Сначала батюшка и слышать не хотел, чтобы нам уезжать. Он долго не верил, что город может быть отдан французам. А вдруг прибежал к нам рано утром, и такой расстроенный и перепуганный, и стал нас снаряжать. Я взяла с собой куклу под шубу. Вышли мы на двор, а там стояла уже тележка в одну лошадь. Отец говорил, что с ночи по всей Москве отыскивал подводу. Ни телег, ни лошадей ни за какие деньги достать было уже невозможно. Холодно было, а у отца пот так и бежал с лица. Уселись мы с ним в тележку, лошадь была старая, как он ее ни дергал, шагу совсем не прибавляла. Наконец мы добрались до немецкой слободки, а там уже стояли рогатки, никого дальше не пропускали. Тут батюшка наш разволновался и не знал, что с нами тремя маленькими девочками дальше делать. «Если бы не лошадь такая старая », говорил он: « успели бы проскочить за рогатку ». Я испугалась, видя, как отец волнуется, и заплакала, а сестрица Анна Васильевна

---

1 Примечание. По неким догадкам красивая и непохожая на своих старших сестер Мария была внебрачная дочь графа Дмитрия Шереметьева. Он отдал ее на воспитание своему служащему Василию. Наша прабабушка имела, по рассказам нашей матери, несколько ценных вещей от графа.

(бабушка всегда звала ее по имени и отчеству) на меня прикрикнула, я и замолчала. Вдруг подошел к нам человек в длинном одеянии, поговорил с отцом, успокоил его больше всего тем, что уверил, насколько было бы хуже, если бы мы заехали за рогатку, так как там было просто столпотворение вавилонское, народу множество пешего и конного, экипажей, пролеток, дормезов видимо-невидимо, давка страшная, пеших давили, лошади и те падали, а неприятель уже надвигался. « Слава Богу », говорил этот человек, « что вы с детьми туда не попали, погибли бы. Оттого ведь и рогатки поставили ».

Человек в черном одеянии был немецким пастором. Он, сжалившись над детьми, посоветовал им повернуть лошадь и ехать в немецкую кирку, где предоставил им сторожку, в которой они и разместились. « Дал нам отец », говорила бабушка, « по куску хлеба, а сам ушел. До самой ночи не приходил. Я опять стала плакать, а Анна Васильевна сначала меня уговаривала, а потом и сама расплакалась. Глядя на нее, стала плакать и Поля. Так в слезах мы все трое и заснули не раздеваясь. Совсем ночью, пришел отец, принес нам хлеба и картошки, а сам опять ушел. Так прошло несколько дней, отец приходил к нам поздно. Иногда на заре выходил с нами в поле, и мы там вместе с ним копали картошку и приносили ее к себе в сторожку. Один раз как-то отец не пришел, как обычно, ночью, а постучался к нам рано утром. Мы просто испугались, увидав его черного, совсем не похожего на себя, весь он был в грязи, оборван и очень взволнован. Он только два слова нам сказал: « Отдали Москву », и сам заплакал. Потом начались пожары, дышать было нечем от гари, копоти, по вечерам все небо так и пылало. Сначала было страшно, а потом привыкли. Мы так все время и жили в сторожке при немецкой кирке. Скоро эту кирку заняли французы. Очень нас удивляло, как они были одеты — кто в форме, а большая часть в русских тулупах и шубах. Отец нам строго-настрого запретил попадаться им на глаза, но мы как-то не утерпели и вышли на двор днем. Взялись мы все три за руки и стали глядеть в окна, крепко держала нас сестрица Анна Васильевна, чтобы, если придется бежать, то убежать всем вместе. Увидал нас какой-то француз, подошел, стал что-то спрашивать, только мы ничего не понимали и молчали, а Анна Васильевна еще крепче держала нас; француз побежал в кирку и бросил нам из окна изюму в бумажке. И такого вкусного изюму я никогда не ела. На другой день мы посмелее были, опять пошли и стали перед окнами. Тогда уже не один, а несколько французов нас обступили, что-то спрашивали, мы же все молчали, только Анна Васильевна иной раз головой покачивала. Смеялись почему-то французы, дали нам сахару и изюму. Больше мы уже их не боялись и каждый день выходили во двор и получали угощенье, большей частью, изюмом, а хлеба давали по маленькому лом-

тику. От отца скрывали, что французы с нами ласковы и угощают нас. Сестрица Анна Васильевна нам запрещала говорить отцу, потому что он рассердится, он не любит « басурманов ».

Этими рассказами о 12-ом годе и ограничивались все бабушкины воспоминания о ней самой и об ее жизни до ее замужества. Очевидно, бабушка рано вышла замуж, вернее ее выдали за Алексея Максимовича Жукова, служащаго у гр. Шереметьева, много старше ее.

Она скоро овдовела и всю свою любовь, все свои силы отдала своей дочери. Так как ее муж был на хорошем счету, бабушке дали после его смерти пенсию и пожизненную квартиру из двух комнат огромного дома на Воздвиженке.

Бабушкина сестра Анна Васильевна вышла замуж тоже за служившего у гр. Шереметьева, Николая Григорьевича Панова, а Пелагея Васильевна за военного доктора Боровкова. Графы Шереметьевы были безмерно богаты. Говорили, что их состояние превышает средства дома Романовых. У них были имения по всей России, их подмосковные владения Останкино и Кусково с дворцами и парками представляли целые города. Весь Шереметьевский переулок между Воздвиженкой и Никитской был всецело заселен их служащими. Их конторы со множеством отделений напоминали скорее государственные департаменты. Панов стоял во главе Петербургской конторы и получал большое содержание. Моя бабушка была самая красивая из сестер, но как вдове, ей жилось не легко. Наша мать нам часто говорила: « Маменька в молодости была очень красива и легко могла бы выйти во второй раз замуж, но из любви ко мне и к моей семье всем женихам отказывала ». И действительно вся жизнь Марьи Васильевны была отдана нам.

Так она жила просто и мудро. Однажды, во время ее очень серьезной болезни, к ней пришла одна знакомая и сказала: « Марья Васильевна, мне кажется, вы скоро умрете ». Бабушка нисколько не смутилась и не испугалась, а совсем спокойно ответила: « Что же, на все воля Божья ». Знакомая ошиблась, бабушка на этот раз выздоровела, но когда, в 1874 году, она заболела действительно смертельной болезнью (она скончалась от воспаления легких), то за день до кончины она так же спокойно, без малейшего волнения, сказала нашей матери: « 72 года я прожила счастливо » ! Скончалась она тихо, в полном мире, окруженная самой искренней и горячей любовью всей нашей семьи.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

## МОЯ МАТЬ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА КЕСЛЕР

*С.А. Зернова*

Так живо мне представляется дорогой, никогда не забываемый образ моей драгоценной матери. Я, как сейчас, вижу ее лицо с глубокими голубыми глазами, черными, почти без седины, несмотря на ее преклонный возраст, волосами, причесанными на пробор, с толстой косой, с небольшим ртом и такой милой родинкой на правой щеке. Я всегда вижу ее в черном кружевном чепце, подвязанном под подбородком, в накидке или шали при гостях и в простом платье с лифом, пришитом к довольно широкой юбке. Она не была так красива, как бабушка Мария Васильевна, и не унаследовала от нее ее стройности, но отличалась той привлекательностью и выразительностью лица, на котором были как будто написаны два великих слова: « ум и доброта ». У нее была замечательная улыбка, при которой на подбородке, не совсем в его центре, делалась не то складочка, не то ямочка. Когда мы в детском возрасте у нее чего-нибудь просили или, провинившись, хотели узнать, что она нас простила, мы ждали этой улыбки, увидавши ее, радостно успокаивались и целовали ее, любящую, улыбающуюся. Как она нас ласкала, как она нас любила ! Вплоть до самого моего замужества, когда я куда-нибудь уходила, она всегда просила меня пойти « по той стороне », чтобы лишний раз посмотреть на меня. И я, как сейчас вижу, как она смотрела на меня из окна в третьем этаже, и крестила меня, и кивала своей дорогой в черном чепчике головой с неизменной своей улыбкой — бесконечно доброй, бесконечно милой. Я не знала ни одного человека, который бы к ней плохо относился, ее положительно все любили, а что же говорить про нас — ее детей. Мы не только ее любили, но мы не были в состоянии сделать что-нибудь против ее желания. Иногда мы оказывали сопротивление, отстаивали свое мнение, но кончалось тем, что без ее одобрения у нас ничего не делалось. И никогда она от нас ничего не требовала, никогда не насиловала нас, но побеждала своей беспредельной любовью.

Она обладала необыкновенным тактом, он у нее был врожденным, так же, как и чувство меры, только любовь ее к нам не знала меры. Откуда же она приобрела свою воспитанность

ума и сердца ? Не мы одни, а все, кто ее знал, задавали этот вопрос, уважая ее, прося ее советов. Многие хотели знать, как могла она внушить такую любовь к себе своих детей и так хорошо воспитать их. « Никто меня этому не учил », говорила она, « воспитывала я их просто, от сердца ». Жила она для нас, нашими радостями, нашими горями, себя никогда ни в чем не выставляла, не стремилась ни к чему для себя. Она смогла окружить себя, как в семье, так и в обществе, любовью и уважением. В противоположность бабушке, она любила делиться с нами воспоминаниями своей молодости, хотя они и не были богаты событиями.

После смерти отца, она с матерью поселилась на Воздвиженке, на углу Шереметьевского переулка, в первом этаже, с окнами на улицу. Средства были маленькие, жили они на пенсию, образования дочери дорогого дать не было возможности, а потому нашли учительницу немудреную, но старательную. Любимым занятием моей матери было чтение, вышивание и рисование. Конечно, уроков рисования она не брала, но рано начала составлять разные узоры и вскоре стала вышивать по своим рисункам. Читала она много и многое знала наизусть. Современницей она была Карамзину, но увлекалась Пушкиным. Когда вы, мои дети, декламировали: « Зима, крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь », я всегда переносилась в мое детство, в нашу столовую, освещенную оплывающими свечами и видела мою мать, с ее улыбкой, говорящую нам эти стихи любимого ее поэта.

У моей матери не было наставников, которые развивали в ней вкус, разбирали с ней литературу, но несомненно, на нее оказала влияние семья ее тетки Анны Васильевны. Пановы жили в Петербурге и почти ежегодно выписывали к себе своих московских родственниц, большею частью на Рождественские праздники. Деньги на дорогу высылались заранее, месяца за два, ехали недели две, в возке, ночью отдыхали на постоялых дворах, а днем, чуть начинало рассветать, усаживались или, вернее, укладывались в возок и ехали до самых сумерек. Брали с собой перину, подушки, в видах экономии, провизию, с расчетом, чтобы хватило недели на две; на постоялых дворах спрашивали кипяток и только изредка суп или какое-нибудь кушанье. Под конец путешествия все тело делалось как будто деревянным, но усталость проходила сама собой при приближении к Петербургу. Казалось, что и ямщик веселее покрикивал и лошади бежали бодрее, радостное волнение поднимало дух. В возке начинали прихорашиваться, разбираться в вещах, развязывать и снимать с себя платки, выбрасывать оставшуюся зачерствелую провизию стаям собак, которые обыкновенно во множестве бежали за подъезжающими к столице возками. Наконец снимались валенки и рукавицы и заменялись перчатками и плисовыми на меху сапогами. В таком виде

подъезжали к дому тетушки Анны Васильевны. « Сердце всегда у меня так билось », говорила нам наша мать, « когда нужно было вылезать из возка и подниматься по широкой лестнице большого деревянного флигеля в глубине огромного поместья гр. Шереметьевых ». Анна Васильевна, а с нею и ее муж очень любили мою бабушку, и эта любовь перешла и к детям. Их у Пановых было шесть — три сына и три дочери.

Все они получили прекрасное образование. Старший сын Федор был горбат и отличался исключительными способностями. Сначала молодые Пановы учились в гимназиях, потом сыновья поступили в университет. У них собиралось много молодежи, веселились, но и занимались литературой. Федор был командирован в Германию. Вернувшись оттуда, он получил кафедру в Петербургском университете. Несомненно, общение с этой средой много дало моей матери.

После замужества моя мать ни разу не была в Петербурге. Последняя ее поездка перед самой свадьбой завершилась большой неприятностью. Анна Васильевна Панова подарила своей племяннице на приданое 4000 рублей ассигнациями. Эти деньги на одном из постоялых дворов, уже под самой Москвой, украли. Это было ужасное горе. Бабушка ни за что не хотела об этом писать сестре, но та как будто почувствовала что-то, сама написала и требовала ответа, все ли сохранно довезли ? Пришлось написать правду о пропаже денег и сейчас же ее сестра эстафетой выслала ту же самую сумму. « Маменька глазам не поверила », рассказывала моя мать, « когда пришли деньги и письмо, в котором тетушка Анна Васильевна утешала маменьку и показывала всю свою любовь к нам ».

Замужество моей матери не прекратило дружбы с Пановыми. Она продолжалась и после смерти отца. Дядя Федя Панов и его рано овдовевшая сестра тетя Маша, жившая со своими детьми у своего старшего брата, почти ежегодно весной и осенью останавливались в Москве. Они были очень дружны с Победоносцевым и проводили обычно лето в его имении в Тамбовской губернии. Они жили у нас несколько дней. К моей бабушке они относились с большим уважением и звали ее « тетушкой Марией Васильевной », а с матерью они были дружны, нуждаясь в одном ее неоценимом свойстве — ее горячем сердце. Они и подсмеивались над ее добротой и вместе с тем ею восторгались. Сколько раз я слышала их слова: « разве можно так жить ? Надо быть практичнее, мы — петербуржцы не можем понять вашей широкой московской души ». А именно эта черта нашей матери и влекла их к ней. Тетя Маша прямо говорила, что ни с кем в своей семье она не была так близка, как с своей московской кузиной. Звали они друг друга « сестрица Мария Николаевна и сестрица Мария Алексеевна ». Приезжали на два-три дня, а проживали целую неделю; говорили, что в Москве они совсем преображаются,

называли в шутку нас и наших друзей московскими хитрецами, которые умеют притягивать к себе людей, даже против их воли. Но эти приезды петербургских родственников относятся уже к позднейшему периоду нашей жизни. Я хочу еще раз вернуться к годам молодости моей матери и рассказать об ее помолвке.

Поездки в Петербург занимали всего один месяц в году, а остальное время было на него не похоже. Дни тянулись однообразно: в будни — работа, чтение, рукоделие. По воскресеньям посещения тетушки Марьи Максимовны Алабутовой, сестры покойного отца. Сейчас же после обедни шли пешком в Марьину слободку, приходили к часу, к воскресному пирогу. Шли пешком, так как извозчиков трудно было найти, да к тому же они были дороги, а омнибусов не существовало. Проводили там целый день и к вечеру возвращались опять пешком, нагруженные всяким лакомством и угощениями.

Там, в Марьиной слободке, у Алабутовых моя мать познакомилась с их родственником Михаилом Григорьевичем, который начал добиваться ее руки. Его сестра деятельно помогала своему брату. Тетка тоже одобряла это сватовство. Марья Васильевна не возражала и говорила: « он хороший человек ». Она однако, не настаивала ни на чем, а вскоре и совсем перестала упоминать его имя, так как заметила, что ее дочь отдала свое сердце другому человеку. Марья Алексеевна познакомилась через эту семью, где так хотели ее брака с Михаилом Григорьевичем, с красивым молодым человеком Александром Ивановичем Кеслером. Он был первой и единственной любовью моей матери. Знакомство их продожалось два или три года, и за этот срок мой отец бывал у них периодически, то довольно часто, то изредка. В это решающее для нее время моя мать, как и многие другие московские девушки, ходила к знаменитому юродивому-провидцу Ивану Яковлевичу Корейши (ум. 1861). Он жил в сумасшедшем доме и пользовался настолько большой популярностью, что к нему приезжали из других городов, говорили даже, что и сам государь был у него несколько раз. Этот Иван Яковлевич очень любил мою мать, всегда ласково с ней говорил и предсказывал ей много хорошего. Особенно памятно было предсказание, когда вместе с моей матерью пошла к Ивану Яковлевичу сестра влюбленного в нее человека. Как только пришли, она, не спросясь у матери, вдруг попросила у Ивана Яковлевича благословения на брак девицы Марии с Михаилом. Иван Яковлевич рассердился, затопал ногами и закричал, что не за Михаила, а за Александра выйдет она замуж, потом расстелил ковер, посадил на него мою мать и сказал: « Сядь, Маша, будь как панья, но работай, всю жизнь работай, вот тебе девять хлебцев, а три из них сейчас же отдай Богу, а шесть будут у тебя ». Странно все сбылось. Вышла моя мать не за Михаила, а за Александра, всю жизнь работала, но жила окруженная счастьем и любовью, имела 9 чело-

век детей, из которых трое умерли в раннем детстве. Никому не открывала своей тайны моя мать, но неугомонная сестра Михаила Григорьевича, конечно, подозревала и принимала свои меры, стараясь разочаровать ее. Мой отец был очень красив, мой покойный брат Коля, был его портретом, а Колина красота была известна в Москве. У отца было много знакомых, он очень часто бывал в семье Анитовых, где было много дочерей, из которых одна была влюблена в моего отца.

Анитовы были состоятельные люди, с хорошим положением, у них часто устраивались вечера, на которые, конечно, неизменно приглашался мой отец. Жили они на Никитской, и, идя к ним, отец должен был почти всегда проходить по Шереметьевскому переулку, где в I-ом этаже у окна всегда сидела со своей работой моя мать. « Ах, как часто мое сердце билось », говорила она, « когда своей скорой походкой Александр Иванович проходил мимо нас, и всегда раскланивался со мной ». Когда отец приходил к ним, бабушка моя всегда готовила ему кофе, и были у нее припасены на этот случай любимые им сухарики. Кофе бабушка приготовляла мастерски в особом самоварчике, научили ее этому в Петербурге в доме Анны Васильевны. « Раз как-то пришла к нам никогда до этого не бывавшая у нас приятельница сестры Михаила Григорьевича, и я сразу почувствовала что-то недоброе », рассказывала нам наша мать. « Села она против меня к моим пяльцам и говорит, что она прямо пришла к нам от Анитовых. Я в это время вдевала нитку, не хотелось мне, чтобы она увидала, как у меня дрожат руки, и я нагнулась, чтобы на полу поискать иголку. Гостья объявила торжественно, что у Анитовых налаживается свадьба, выдают замуж дочку за Кеслера, и тут же спросила, знакомы ли мы с ним. « Да, знакомы », ответила я, но уже совсем спокойно и стала продолжать работу, а маменька после ее ухода мне сказала: « И чего ради эта сорока к нам прилетала ? » Когда моя мать мне это рассказывала, я представляла себе эту приятельницу какой-то подпрыгивающей. Вскоре после этого посещения, еще засветло, мимо окошка прошел Александр Иванович, продолжала рассказывать моя мать, раскланялся, как обыкновенно со мной, и я не успела даже ему поклониться. Маменька его видела очень хорошо; помолчавши, спросила, что как будто сейчас прошел Александр Иванович. « Да, он », ответила я и продолжала вышивать. Вдруг, глядим, он вернулся и прямо к нам. Никогда я его приходу так не радовалась, как в этот раз, а маменька просто както растерялась. Как сейчас помню его слова, говорила моя мать: « Приглашали меня сегодня одни знакомые (не сказал, что Анитовы), я было пошел к ним, да раздумал и решил навестить вас ». Долго он сидел в этот вечер, был какой-то не то серьезный, не то рассеянный, как будто что-то обдумывал, но после его ухода я уже знала наверное, что он меня любит. И, действи-

тельно, в самом скором времени я сделалась его невестой. Этого его посещения я никогда не забуду, какие мы обе счастливые и веселые остались после его ухода.

Нехитрая повесть любви была у моей матери и сколько раз она мне ее ни рассказывала со счастливейшей улыбкой на лице, я никогда не уставала ее слушать. И эта ее очаровательная улыбка с каким-то сиянием в глазах так часто освещала ее доброе лицо.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ СЕМЬИ ЗЕРНОВЫХ И КЕСЛЕР

ПЕРВАЯ ГЛАВА

# МОЙ ОТЕЦ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ЗЕРНОВ

*Н. Зернов*

Мой отец был высокий блондин; он носил усы и небольшую бороду. Самое замечательное в его лице были его глаза — светло голубые, внимательные и очень добрые. В нем было редкое сочетание легкости, почти невесомости с настойчивостью, энергией и готовностью всецело отдавать себя на любимое дело. Он не был сосредоточен на себе и это придавало ему его особую окрыленность. Он был неутомимым строителем жизни, сам себя он называл «культуртрегером». Всюду, где бы он ни был, в России или в изгнании, он сразу же начинал работать для общей пользы, старался объединить людей для помощи нуждающимся. Он не искал ни личных выгод, ни признания своих заслуг. Его вдохновляла сама цель. Он был счастлив, когда добро побеждало зло, когда невежество, инерция и тупость были преодолены дружными усилиями. Он умел находить сотрудников, вдохновлять и направлять их, но он не был диктатором, с ним было легко и вольно работать. Он знал, как находить общий язык с людьми из разных слоев русского общества. Его ценили и в правительственных кругах и среди купечества, но принадлежал он, конечно, к интеллигенции; только в ее окружении он чувствовал себя в своей среде. Ему были глубоко чужды формализм и чинопочитание, он не мог уместиться в рамках бюрократизма. Он верил в силу личной инициативы и настаивал на немедленном и радикальном осуществлении насущных реформ. Его противники называли его фантазером, но это было несправедливо; в действительности он был практичен и знал всегда пределы достижимого, поэтому его проекты обычно осуществлялись и приносили желаемые положительные плоды. Бескорыстность моего отца тоже вызывала подозрения его недоброжелателей. Они не хотели поверить, что его настойчивость рождалась не из-за желания выдвинуться вперед, а из искренней преданности самому доброму начинанию. По своим политическим убеждениям он принадлежал к либералам, был членом конституционно-демократической партии, так называемой кадетской. Он болел отсталостью и неустроенностью России. Однако он не был рево-

люционером и выделялся среди своих единомышленников своею укорененностью в Православии, своей подлинно христианской настроенностью. Он был также более терпим, чем типичный интеллигент, так как ценил и уважал честных людей независимо от их партийной принадлежности, а это было скорее исключение, чем правило в дореволюционной России.

Отец был готов сотрудничать не только с либералами, но и с консерваторами, если они служили Родине. Он стремился строить, а не разрушать. Поэтому он отталкивался от крайних левых партий и с самого начала бескомпромиссно встал в ряды противников Ленина и Троцкого. До конца жизни он был убежден, что коммунисты являются поработителями и разрушителями подлинной России. Несмотря на свой идеализм, он был свободен от утопизма, он ненавидел ложь, насилие и бахвальство, его трезвенность и самопожертвование рождались из его веры в истинность христианского учения о любви Бога к человечеству.

П.Н. Милюков в своем некрологе о моем отце (Последние Новости 1 февраля 1938, Париж) назвал его праведником. Это неожиданное выражение в устах нерелигиозного редактора « Последних Новостей » определяет однако сущность отца. Он был целомудренно скуп на проявление своих чувств, но его сердце было открыто для тех, кто нуждался в его помощи, и окружающие ощущали его светлый дух и тянулись к нему. Мы, дети, прожившие в тесном общении с ним последние сорок лет его жизни, не видели в нем обычных проявлений зла, как, например, зависти, недоброжелательства и эгоизма. Я не помню его сердящимся, несправедливым, раздраженным, но эта ровность в обращении со всеми никогда не переходила в безответственность и мягкотелость. Мы, как и все, кто близко соприкасался с ним, почитали его и безусловно признавали его авторитет.

Спокойный и внимательный к людям, наш отец становился бесстрашным обличителем пороков русской государственной и общественной действительности; особенно возмущали его злоупотребления властью, препятствовавшие свободному и творческому развитию жизни. Сталкиваясь с несправедливостью и деспотизмом, он загорался гневом и смело критиковал тех, кто был повинен в них. В таких случаях его негодующий голос оглашал наш дом и он, во всеуслышанье наших гостей, изливал свою горечь по поводу недочетов России.

Мы дети не любили этих бурных разговоров о « политике », нам было непонятно, почему наш отец, всегда такой светлый и ласковый, приходил в возбуждение из-за поступков каких-то неизвестных нам министров и чиновников. Но именно эта неугасимая ревность о правде и давала ему силы не

склоняться перед предержащей властью и преодолевать, казалось бы, непобедимые препятствия. В этой борьбе с косностью и несправедливостью он был воистину непреклонен.

Он любил Россию и жил верою в ее светлое будущее, но он не был шовинистом; наоборот, он ценил Европу, готов был учиться у нее и всегда настаивал, что ее лучшие достижения являются достоянием всего человечества. Он был русским европейцем, сочетавшим в себе православное мировоззрение с западной культурой.

Он был исключительно работоспособен. У него хватало сил и на общественную работу и на большую медицинскую практику и на семейную жизнь. Он был талантливый врач, увлекавшийся своей работой. Он приобрел широкую известность как прекрасный диагност. Я не помню его праздным. На Кавказе, летом, он вставал каждый день в 5 часов утра и сразу начинал прием больных, длившийся без перерыва до часа дня. После обеда, обычно с приглашенными, он, не отдыхая, своей быстрой походкой шел через курортный парк в созданный им санаторий. В 4 часа он возобновлял осмотр больных и работал до позднего вечера. Такую напряженную жизнь он выдерживал в течение всего лета, не имея ни одного свободного дня.

Зимой, в Москве, он не занимался врачебной практикой, а отдавал себя общественной и благотворительной деятельности, так же как и чтению медицинской литературы. Отдыхал он в Сочи, где мы обычно проводили сентябрь. Здесь он всецело погружался в садоводство, которое горячо любил. С утра до вечера он копал землю, сажал растения, подрезал розы и уничтожал сорную траву. Наше имение « Саднаш » с годами стало образцовым для всего черноморского побережья. Его розарий, чернослив и мандаринная роща стали даже источником дохода, цветы и фрукты посылались зимою в Москву.

Попав в эмиграцию, он продолжал с прежней энергией свою медицинскую и общественную работу. Сначала в Югославии, потом в Париже он трудился для блага других до последнего дня своей жизни.

Ниже помещенная автобиография моего отца была написана им в Париже за два года до его смерти, в январе 1938 года. Она отражает не только его личность, но и дает картину общественной жизни в России накануне падения империи. Страна в эти годы переживала подъем творческих сил. Все области русской жизни были захвачены начавшимся возрождением: Церковь, искусство, наука, техника, промышленность, все они были вовлечены в этот процесс. Мой отец был одним из ревностных строителей пробужденной России.

Его записки рисуют, с одной стороны, те препятствия, которые он встречал на своем пути, а с другой стороны, они

показывают ту поддержку, которую он находил для своих начинаний в самых разнообразных кругах общества, включая просвещенных представителей имперской власти. Его опыт доказывает, как много можно было достичь частным лицом в дореволюционной России при наличии энергии и практической умелости. Вместе с тем, эта автобиография свидетельствует, что основной слабостью страны была и остается пассивность основной массы населения и отсутствие у него инициативы и гражданского мужества.

# *АВТОБИОГРАФИЯ МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧА ЗЕРНОВА*

## ВТОРАЯ ГЛАВА

## ГИМНАЗИЯ

*М. С. Зернов*

Я и мой младший брат Дмитрий учились в Первой Московской гимназии. Тогда свирепствовал « Толстовский классицизм » [1]. Строгость была такова, что обычно из 50 учеников первого класса без задержки доходили до окончания гимназии не более 4-5 человек. Но не взирая на все это, мы отдавали минимум своего старания на изучение нелюбимых древних языков. Зато охотно занимались другими предметами, не преподаваемыми в гимназиях. Одни увлекались естествоведением, другие историей, иные политическими науками. В нашей семье особенным успехом пользовалась философия. Главной причиной того было семинарское образование моих старших братьев. Тогда семинаристы последних классов могли не посещать регулярно семинарии, а только сдавать т.н. четвертные зачеты и представлять сочинения на темы б.ч. богословско-философского содержания. Таким образом семинаристы приучались к большей самостоятельности в занятиях и должны были читать много книг разного содержания. Поэтому мои старшие братья имели большую начитанность и очень интересовались философскими трактатами. К тому же располагал их к ним приглашенный воспитатель И. В. Неговоров.

Окончив первым учеником Черниговскую семинарию, он был отправлен на казенный счет в Московскую Духовную Академию, однако он решил непременно перейти в университет, куда в то время семинаристов не принимали. После усиленных хлопот, ему назначен был строгий экзамен, который он отлично выдержал и был принят на физико-матема-

[1] Примечание. Граф Д. А. Толстой (1823-89), министр народного просвещения (1866-1880) пытался бороться с либеральными настроениями учащейся молодежи при помощи усиленного преподавания классических языков. Начиная с 1871 г., пятьдесят часов в месяц были отданы латыни, а тридцать шесть — греческому. Преподавание естественных наук было упразднено, а русского языка и истории — сильно сокращено. При нем был отменен либеральный университетский устав 1863 года.

тический факультет Московского университета. Живя у нас, он окончил курс, но, получив место учителя гимназии, он до самой своей смерти не покинул нашего дома. Это был редкостный человек: широко образованный, бескорыстный, скромный, идеалист. Под его руководством мы часто устраивали беседы по разным литературно-научным вопросам. В этих интересных собраниях мы с младшим братом сперва были только слушателями, а потом сделались и активными участниками, посильно разбираясь в системах Декарта (1596-1650), Канта (1724-1804), Гегеля (1770-1831), Огюста Конта (1798-1857).

Тогда же, в середине 70-годов, в Москве большою популярностью пользовались публичные лекции профессоров Московского университета и Технического училища. Мы с большим увлечением посещали и записывали лекции по философии проф. высшей математики В. Я. Цингера (1836-1907) и по физике проф. Р. А. Колли (1845-1891). В последних классах гимназии мы стали принимать участие в общественной деятельности, имели даже свою скромную товарищескую кассу для бедных. Вообще, гимназическое время, несмотря на сухую скучную, формальную учебу, оставило во мне хорошее воспоминание разнообразной и интересной жизни, которая готовила нас к вступлению в свободный храм науки, в университет, о котором мы, гимназисты, давно мечтали, как о чем-то для нас особенно дорогом и желанном. И мечты эти нас не обманули.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

# МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

*М.С. Зернов*

Поступив в 1877 году на Медицинский факультет Московского университета, я сразу почувствовал свежую, непривычную атмосферу. Передо мною распахнулась аудитория тогдашних знаменитых профессоров гистологии А.И. Бабухина (1835-91), анатомии Дмитрия Николаевича Зернова (1847-1917), геникологии Владимира Федоровича Снегирева (1847-1916), детских болезней Нила Федоровича Филатова (1847-1902) и внутренних болезней Г.А. Захарьина (1829-97) и Алексея Александровича Остроумова (1844-1908) [1]. Трудно передать тот пламенный энтузиазм, с которым мы принялись за ознакомление с новыми для нас науками.

Пять лет моего студенчества были временем самого напряженного изучения медицины, особенно с третьего курса, когда начались занятия в клиниках и товарищи выбрали меня в курсовые старосты. Главная обязанность старосты была распределять поступающих в клинику больных между студентами, которые должны были быть их кураторами. В случае же отсутствия студента, староста заменял его при разборе назначенного на лекцию больного. Поэтому эта должность требовала аккуратной и постоянной работы в клинике, которую я охотно исполнял. Больше всего я потрудился в клиниках внутренних и детских болезней и в анатомо-патологическом институте. Отдавая массу времени этим занятиям, я получал от них большое удовлетворение.

Одновременно с научно-учебной деятельностью в университете шла шумная и беспокойная жизнь в атмосфере постоянного общественно-политического брожения. Тогда студенчество разделялось на две неравные части: большинство стремилось к организации своей студенческой жизни с правом на легальные собрания и на свои товарищеские учреждения — кассы, читальни, библиотеку, столовую и прочее. Меньшинство же, опираясь на политические партии вне универ-

---

1 Примечание. Красочное описание этих профессоров, многие из которых были большие оригиналы дано в «Московский Университет» Юбилейный сборник. Париж. 1930. стр. 355-404.

ситета, руководствовались их программой и стремились к радикальным государственным реформам. На нашем курсе из 250 студентов к первой группе принадлежало около 200, а ко второй не больше 50. Но правительственная власть не разбиралась в наших расхождениях и одинаково карала нас за всякое нарушение ее распоряжений. Особенно доставалось нам за запрещенные собрания, как курсовые, так и общестуденческие. Своими немудрыми и часто жестокими наказаниями правительство особенно раздражало нас и объединяло большинство студенчества в одну смелую оппозицию. Единственный только раз Министерство народного просвещения поняло, что нужно для успокоения студентов и пошло им навстречу. В 1881 г. Министр Сабуров (1837-1909) разрешил устройство общестуденческого совещания для выработки т.н. студенческой конституции, предоставив нам право выбрать в него по одному представителю от каждых 50 студентов. В то же время, разрешено было открыть все те учреждения, о которых мы давно мечтали, как-то: библиотеку, читальню, кассу, столовую. Удовлетворение наших желаний встретило горячее сочувствие московского общества. Знаменитая артистка Малого театра Г.Н. Федотова (1846-1925) пожертвовала студентам весь свой бенефис, который разрешено было ей устроить в Большом театре. Мы получили от нее больше 10 тысяч рублей и немедленно открыли все свои желанные учреждения. Сразу наступило относительное спокойствие в университетах, которое однако продолжалось недолго. Какой-то господин на балу петербургских студентов нанес министру Сабурову возмутительное оскорбление действием, вслед за которым последовала отставка его с отменой всех либеральных разрешений. Были закрыты и наш студенческий парламент и все наши учреждения. С этими строгостями снова начались беспорядки, которые почти беспрерывно продолжались с обычными карами: то удаление из университета, то ограничение права жительства в больших городах, то высылки... Я лично принимал самое живое участие в студенческой общественной жизни. На первом же курсе меня избрали председателем студенческой кассы и делегатом в т.н. бальную комиссию. Эта бальная комиссия устраивала ежегодный студенческий бал в «Татьянин день» и после него распределяла всю выручку между нуждающимися товарищами. Мне же всегда поручалось быть главным казначеем на нашем балу. Эта обязанность была и очень ответственной и столь же хлопотливой. Наши балы пользовались большою популярностью и приносили более 10 тысяч рублей чистого дохода, который составлялся из небольших денежных знаков. Поэтому требовалась особенная аккуратность, чтобы весь отчет отличался полной точностью. В студенческом парламенте мне тоже пришлось занимать ответственную долж-

ность. Будучи представителем своего курса, я был избран на общестуденческом собрании в числе трех для непосредственных сношений с ректором университета Н.С. Тихонравовым (1832-1893) по всем делам парламента. Одним из таких дел, была моя попытка создать стипендию имени ректора Московского университета, известного историка С.М. Соловьева, скончавшегося в 1879 году. По моей инициативе, мы тогда на всех курсах единогласно постановили основать в память его первую студенческую стипендию, внося ежемесячно на нее не менее 10 копеек или за весь год не менее одного рубля. Как ни сочувствовали тогда многие профессора этому нашему доброму намерению, из Петербурга был прислан строгий запрет, яркая иллюстрация наших конфликтов с министерством. Зато мои товарищеские отношения со студентами остались навсегда самыми лучшими воспоминаниями. Они трогательно поддерживались многие годы и переписками, и свиданиями. Когда мы праздновали десятилетие своего выпуска 1882 года, все единогласно постановили отмечать это событие добрым делом и уполномочили меня собрать капитал имени врачей Московского университета выпуска 1882 года, чтобы проценты с него шли на стипендию нуждающемуся студенту. Капитал такой был мною собран и передан в общество помощи студентам Московского университета. К сожалению, его постигла судьба всего имущества русских граждан, после установления коммунистической диктатуры.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

## МОЯ МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА

*М.С. Зернов*

По окончании курса в 1882 году, я был оставлен при университете по кафедре госпитальной клиники внутренних болезней у проф. Остроумова. Это был один из самых выдающихся молодых профессоров, широко образованный, энергичный, талантливый и блестящий преподаватель. Он пользовался большой популярностью среди студентов, которые всегда переполняли его аудиторию. Лекции Остроумова никогда не ограничивались только клиническим разбором, а представляли исчерпывающий трактат о данном заболевании. В то время бактериология только что стала прокладывать себе дорогу в медицине и профессор никогда не пропускал случая познакомить своих слушателей с ее достижениями. Отлично зная патологическую анатомию и считая ее главной основой для понимания клинической картины, он всегда подробно останавливался на результатах вскрытия и микроскопического исследования всех органов умершего. Они почти всегда подтверждали диагностику профессора и еще более поднимали его авторитет в глазах студентов. Эти исследования производились нами под непосредственным руководством самого профессора в его лаборатории, где мы ежедневно работали тотчас после клиники. Кроме этих повседневных клинических случаев, Остроумов нередко задавал нам темы самостоятельных работ: так, например, я долго занимался подробным микроскопическим изучением разных видов циррозов печени.

Точно так же, я первый напечатал на русском языке подробную статью о пиелитах, которую я докладывал на Пироговском съезде. Каждую неделю профессор устраивал у себя скромные вечеринки, на которых мы, его сотрудники, всегда принимали живое участие. Тут реферировались последние новинки из иностранной медицинской прессы, обсуждались разные интересные вопросы современной клиники и в них нередко принимали участие и другие профессора, ближайшие друзья А.А. Остроумова. Для нас эти беседы представляли чрезвычайно приятный и поучительный интерес. Кроме внутренних болезней, мне пришлось хорошо познакомиться и с женскими под непосредственным руководством

знаменитого профессора В.Ф. Снегирева. Тогда самостоятельной клиники женских болезней Московский университет еще не имел. Несколько кроватей было предоставлено для них в терапевтическо-факультетской клинике профессора Захарьина. Поэтому, профессор Остроумов предложил профессору Снегиреву читать лекции в его клинике над теми больными, которые одновременно с внутренними болезнями имеют и женские. Я был назначен его ассистентом. С чувством самой искренней благодарности и уважения я вспоминаю этих моих главных учителей. Под их руководством я приобрел те практические навыки, которые так важны и при диагностицировании, и при лечении больных. По окончании клинического стажа, я был приглашен А.А. Остроумовым быть его ассистентом в домашних приемах. В то время громкой славой в России пользовался профессор Захарьин, у которого Остроумов был первым ассистентом. Но сам профессор Остроумов вскоре стал приобретать тоже большую известность. Главная его заслуга заключалась в том, что он первый оценил громадное значение физических методов лечения и особенно тщательно изучил болезни пищеварительных органов. Несколько тяжелых и сложных случаев, не поддававшихся лечению под руководством Г.А. Захарьина, перейдя в ведение профессора Остроумова, дали положительные результаты и этим создали ему громадную популярность, так что к нему на прием приходилось записываться иногда за несколько недель. Прежде чем больной попадал на осмотр Остроумова, я подробно записывал историю его болезни, исследовал состояние всех органов, проделывал необходимые анализы и с такой подготовкой представлял его на исследование и заключение профессора. После назначенного им лечения, больной получал от меня письменное наставление, а иногда оставался под моим наблюдением на несколько дней, в особенности, если он приезжал из далекой провинции. Наблюдая прекрасные результаты при лечении электричеством и массажем, в особенности при атонических формах желудочно-кишечного тракта, я соединил оба эти терапевтические агента и ввел в широкое употребление электрический массаж, присоединив к нему еще и влияние тяжести. Мои массирующие, тяжелые, шарообразные электроды, приготовляемые известной в Москве фирмой Швабе, получили большую популярность. С таким же успехом я часто пользовался тяжелыми плоскими пластинками для электризации живота. В то же время мне удалось ввести в употребление в Москве душ Профессора Шарко (1825-93), с которым я лично познакомился во время посещения Парижа. Мое сотрудничество с профессором Остроумовым заложило прочный фундамент для нашей близости и дружбы, которая постоянно росла и продолжалась до самой кончины незабвенного и дорогого моего учителя.

## ПЯТАЯ ГЛАВА

# КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

*М.С. Зернов*

В 1886 году я был приглашен на консультацию на Кавказские Минеральные Воды и вынужден был прожить там около месяца. Ознакомившись с богатством и разнообразием их целебных свойств, я поражен был полным их неблагоустройством и тогда же решил ежегодно ездить туда на практику и постараться оказать всяческое содействие их необходимому благоустройству. Получив полное одобрение Остроумова, я со следующего же года начал свои поездки туда и беспрерывно продолжал их в течение 32 лет до прихода большевиков. Я был вполне уверен, что, по слову Евангелия: « Последние, да будут первыми », Кавказские Минеральные Воды, со своими природными данными, непременно должны были занять одно из первых мест среди лучших мировых курортов. Для ближайшего ознакомления с ними я часто после кавказского сезона посещал многие из европейских курортов, чтобы, подробно изучив их, не повторять их ошибок, а заимствовать только одно хорошее, одобренное жизнью. Вооружившись такой личной опытностью и широкой осведомленностью, я постепенно приступил к осуществлению своей задачи. Но она оказалась гораздо трудней и сложней, чем это казалось сначала. Она требовала не только больших геологических работ и крупных материальных затрат на разные современные бальнеологические учреждения, но связана была и с важными законодательными реформами. Поэтому, для разрешения этих сложных задач нужно было предварительно подготовить общественное мнение и заручиться авторитетной поддержкой врачей, а также ознакомить с необходимыми реформами само правительство. Я вынужден был нередко выступать с докладами в медицинских обществах и на Пироговских съездах, помещать статьи и в медицинской и в общей прессе, подавать докладные записки разным министрам и представителям высшей кавказской администрации. Самое большое затруднение встретилось в том, что наши Кавказские Воды находились на станичных казачьих землях, где не было ни частной земельной собственности, ни, следовательно, банковского льготного кредита. Вследствие этого,

здесь никто не мог приобретать земель для необходимых построек, а казаки при ограниченности средств, не имея дешевого кредита, тоже не могли строить новых хороших домов, ни даже капитально ремонтировать своих хат. Таким образом, наши знаменитые Кавказские Минеральные Воды были осуждены на полный застой и прозябание. Условия жизни в них почти не улучшались и число жилых помещений очень мало увеличивалось. Наши соотечественники не могли пользоваться своими чудными отечественными курортами и вынуждены были массами уезжать за границу. На Кавказ приезжали или совсем не знающие языков или не имеющие возможности по своим личным делам надолго покидать Россию. На все 4 группы: в Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск приезжало около пяти-шести тысяч, в Ессентуки не более полторы тысячи больных. На наш счет процветали европейские курорты. Я лично знал, что, например, в Наугейме лучшие гостиницы и санатории почти исключительно заселялись русскими больными, немецкие профессора из 10 больных имели 8 русских.

Поэтому прежде всего необходимо было обеспечить нашим Кавказским Водам возможность расширяться и развиваться. Для этого требовалось вмешательство законодательной власти. Следовало или наделить всех казаков, на землях которых находятся К.М. Воды, правами частной собственности или выделить из их наделов необходимый район для наших курортов с правами частной собственности на землю. Вот эту самую важную задачу удалось разрешить только в 1898 году, и то, можно сказать, случайно. Много лет перед тем я тщетно доказывал крайнюю необходимость этой законодательной меры. На 10-м Пироговском съезде в Киеве, я даже читал по этому поводу специальный доклад и просил съезд поддержать мое ходатайство об отчуждении определенного количества земли для нужд наших кавказских курортов. Но председательствующий тогда профессор Леш лишил меня слова, сказав, что я своим предложением подрываю привилегии казаков, главных защитников Русского государства. Только дружный протест съезда восстановил меня в правах и мое предложение было поддержано перед министерством. Тем не менее, мне пришлось еще долго хлопотать и ждать разрешения данного вопроса в благоприятном смысле. В этом отношении незаменимую услугу К.М. Водам оказал князь Г.С. Голицын (1838-1910) [1]. Он пользовался большим влиянием в С. Петербурге, отличался решительным характером, исключительной горячностью и вспыльчивостью (за что в Тифлисе его прозвали « самовар-паша »), но в то же время,

[1] Главноначальствовавший на Кавказе с 1897 до 1904 года.

большой добротой и приветливостью. Почти каждый год он приезжал лечиться в Ессентуки, и мне пришлось познакомиться с ним по поводу моих хлопот о нуждах К. М. Вод. Наши разговоры обыкновенно начинались полным расхождением взглядов и иногда в такой резкой форме, что, казалось, это была наша последняя встреча. Но обычно через несколько дней он снова приглашал меня к себе и в самом примирительном тоне соглашался с моими предположениями. Так было и по поводу отчуждения земли. В первой беседе он находил мой проект антигосударственным, нарушающим исторические привилегии казаков, и, по его словам, никогда высшая власть не согласится на это отчуждение. В следующем же нашем разговоре, после подачи мною докладной записки, он одобрил ее и даже сам оказал исключительную помощь в деле. Летом 1898 года вопрос об отчуждении станичной земли на К.М. Водах поставлен был, наконец, на рассмотрение Государственного Совета, в котором участвовал и князь Голицын. Вопрос был решен отрицательно большинством голосов. Тогда князь испросил аудиенцию у Государя и убедил его одобрить мнение меньшинства. Он тогда же, на возвратном пути в Тифлис, заехал в Ессентуки и рассказал мне, как состоялась высочайшая резолюция. Горячо поблагодарив его от имени больных и от русского общества, я тотчас же обратился к нему с новой просьбой. Я просил его немедленно сделать распоряжение об облесении части этой отчуждённой земли, по ту сторону железной дороги, чтобы устроить там новый парк. В Ессентуках не было вблизи живописных окрестностей и больным приходилось проводить всё время в единственном, небольшом парке. Князь и слушать не хотел о моих доводах, будучи очень недоволен моей новой просьбой. Он рассматривал ее, как вызов Администрации Вод, которая действительно меня недолюбливала. « Вы сами просто не знаете, чего хотите. Только что хлопотали о прирезке земли для постройки помещений больным. Теперь, когда Ваше ходатайство получило удовлетворение, Вы, вместо благодарности, просите об обращении этой земли в парк ». Так кончился наш разговор с князем и, мне думалось, навсегда. Но каково было мое удивление, когда через два дня пришел ко мне от него директор К.М. Вод сообщить, что им приказано немедленно, этой же осенью приступить к насаждению большого английского парка по ту сторону железной дороги. Таким образом, Ессентуки навсегда обязаны князю Г.С. Голицыну двумя важнейшими реформами, которыми определилось все их дальнейшее развитие и процветание.

Отчужденный район вскоре превратился в сплошной сад и тем занял, действительно, одно из первых мест среди лучших мировых курортов. Согласно моему проекту, отчужденная земля, предназначенная для застройки, была разделена на

квадраты в две десятины, подразделявшиеся на 8 участков, которые со всех сторон окружены были широкими дорогами и дорожками с отличными аллеями. Разбитые в четверть десятины — участки пущены были в продажу с публичных торгов, но с обязательством на каждом иметь сад. В короткое время Ессентуки обогатились множеством прекрасных дач и вилл, утопавших в цветах и разнообразных древесных посадках. Одним из первых и самых крупных покупателей и культур-трегеров, было основанное мною т.н. Вспомогательное общество «САНАТОРИЙ» на Ессентукской группе К.М. Вод для небогатых больных. Но прежде чем говорить о нем, я позволю себе сказать несколько слов о том, как началась и в чем проявлялась на Кавказе моя общественная деятельность.

## ШЕСТАЯ ГЛАВА

# ОБЩЕСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НАЧАТЫЕ МНОЮ

*М.С. Зернов*

С первых годов моих поездок на Кавк. Мин. Воды, я стал понемногу вводить в них разные улучшения. Прежде всего я решил устроить консультативный осмотр врачами специалистами по разным болезням и встретил тут самое упорное и беззаконное сопротивление со стороны администрации Вод. Мне пришлось несколько раз обращаться в Медицинский Департамент и в Министерство, которое разъяснило, что устройство консультаций есть право каждого врача. Еще большие трудности ожидали меня, когда я приступил к устройству двух библиотек: одной для приезжих, другой народной, для местных казаков. Тогда в Ессентуках была одна книжная лавчонка, продававшая литературу не имеющую никакого спроса в больших городах. Мои пациенты постоянно жаловались на такое пренебрежение к их культурным интересам. Местное же население снабжалось два три раза в год, во время ярмарок , только лубочными изданиями, несмотря на то, что в Ессентуках считалось несколько тысяч жителей с тремя народными школами. Хотя я и обладал немалой энергией и со мной очень многие считались, я все-таки вряд ли получил бы разрешение на открытие этих библиотек, особенно народной, если бы не содействие необыкновенно просвещенного Министра земледелия А. С. Ермолова (1892-1905), в ведении которого находились тогда К.М. Воды. В конце концов библиотеки открылись и стали быстро расширяться. Одну из них, публичную для приезжих, я передал в общество « Санаторий », лишь только оно возникло.

Гораздо легче мне удалось прийти на помощь детям, которых привозили к нам на воды их больные родители. Дети должны были целыми днями играть и бегать в том же лечебном парке, где были целебные источники и ванные здания. Я смог довольно скоро заарендовать частный сад и разместить в нем детскую площадку, снабдив ее разнообразными играми и игрушками. Труднее всего было найти для него опытный педагогический персонал. Но в этом отношении наше начинание было необыкновенно счастливо. Нам удалось привлечь чудную воспитательницу Марию Устиновну Шмелёву из из-

вестной в Москве женской гимназии Н.П. Щепотьевой. Хочу упомянуть также студента И.В. Келера, который прославился своим исключительным даром в устройстве массовых игр с детьми. С ним был следующий случай: однажды князь Г.С. Голицын, проводя лечение в Ессентуках со своей супругой, решил устроить в день ее именин большой праздник не только для местных казачьих, но и для приезжих детей. Он дал приказ приставу организовать этот праздник, как можно лучше, денег не жалеть и пригласить для устройства детских игр несколько офицеров. Пристав И.Г. Зимин, как ни старался исполнить приказание своего начальства, пришел в полное отчаяние: он не мог нигде найти подходящих офицеров. Зная о нашем детском саде, он обратился к моей жене с просьбой выручить его из беды. Она указала на Келера. Зимин, узнав об его согласии, тотчас отправился к князю сообщить ему о своем успехе. Но князь не одобрил его выбор. « Что же ты мне даешь вместо офицера какого-то революционера-студента », сказал он. Пристав, однако, заверил князя о благонадежности Келера. Через несколько дней наш студент блестяще выдержал публичный экзамен, приведя в полный восторг не только многолюдную публику, но и самого князя и его жену. Под его командой вся разношерстная детвора удивила всех своими стройными движениями и неожиданной дисциплиной. Голицын немедленно выписал из Москвы превосходный серебряный сервиз для «опасного» студента и предложил ему также денежное вознаграждение, от которого тот решительно отказался. К сожалению, не долго прожил этот редкостный молодой человек, он умер от скоротечной чахотки.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

## ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО « САНАТОРИЙ »

*М.С. Зернов*

Моя общественная деятельность все время сосредоточивалась на удовлетворении потребностей больных. После первых успешных, но не очень сложных начинаний, я решил взять на себя более важную задачу — создать образцовый санаторий для небогатых больных. Как бы ни были целебны и разнообразны природные средства Кав. Мин. Вод, они без соответствующих жизненных условий — как хорошие помещения и гигиенический стол — не могли оказывать своего благотворного влияния. Мне хотелось связать задуманный мною санаторий с увековечением в нем памяти наших дорогих и близких. Такую идею я развивал среди моих пациентов, мечтая создать общество для постройки санатория, в котором отдельные комнаты покупались бы лицами, желавшими это сделать. Подобые комнаты предоставлялись бы бесплатно для небогатых больных. Моя идея встречала общее сочувствие, но было невозможно приступить к ее осуществлению, пока нельзя было приобрести необходимую землю. Как только отчуждение земли состоялось, с разрешением покупать ее в полную собственность, я немедленно составил устав Вспомогательного общества « Санаторий » на Ессентукской группе Кав. Мин. Вод. Поданный мною в министерство устав в 1898 году, получил утверждение только в 1900 году. Я тотчас же приобрел на торгах сперва два участка, а потом еще восемь в новом, отчужденном районе. Купив землю, мы в 1901 году приступили к постройке первого здания на 50 человек. Сперва было трудно находить желающих покупать комнаты. Только с открытием санатория в 1902 году сразу изменилось отношение к новому обществу. К 1910 году, мы уже имели 350 комнат для 500 больных, не считая помещений для общего пользования и столовой на 1000 человек, и все это было создано на частные пожертвования.

Первое здание было спроектировано, молодым талантливым инженером А.Н. Милюковым, скоро скончавшимся. Все комнаты были с паркетными полами, с проведенной водой и с электрическим освещением. Они были обставлены превосходными, только что входившими тогда в употребление,

американскими кроватями и первоклассной мебелью, с мягкими креслами. Для прислуги были отдельные комнаты с теми же удобствами. При санатории имелись: библиотека, читальня и музыкальная комната с двумя роялями. В громадной столовой устраивались бесплатные литературно-вокальные и музыкальные вечера с участием выдающихся артистов. Тут же были построены обширные мужские и женские солнечно-воздушные ванны, введенные мною впервые в России, с грязелечебницей и водолечебницей. Вокруг зданий был разбит прекрасный сад с разнообразной флорой, посаженной под руководством знаменитого древоведа Н.И. Королькова Ташкентского Военного Губернатора, получившего отличия от Парижской Академии. Его участие было особенно дорого, потому что до него в Ессентуках сажались только два рода деревьев: белая акация и ясень. Он совершенно опроверг этот невежественный предрассудок и обогатил наш сад редкостными растениями. В память его мы посадили те деревья, которые были названы его именем Парижской Академией.

Как курьез, не могу не вспомнить, что когда мы выбирали обстановку для санатория и по моему приказу на заседание комитета были доставлены образцы прекрасной мебели, то некоторые его члены были не на шутку смущены и задали вопрос, нет ли у нас недоразумения: мы предполагаем устраивать санаторию для бедных больных, а присланная мебель подходит для богатых. В ответ на это я заявил, что мы устраиваем помещение не для богатых или бедных, а для больных, которым мы должны дать максимум удобства. После этого разъяснения у нас больше никогда не было разногласий по таким вопросам.

В связи с американскими кроватями у меня в памяти остался и другой случай. Мы только что открыли первое здание, в это время приехал лечиться вышеупомянутый князь Г.С. Голицын и приказал приставу И. Г. Зимину показать ему санаторий. Князь пришел рано утром, без ведома комитета, чтобы составить совершенно самостоятельное мнение о новом учреждении. Он обошел все комнаты, подробно осмотрел все помещения и спросил после обследования Зимина: « Почему мне все бранят доктора Зернова ? » « Думаю, по зависти, Ваше Сиятельство », ответил пристав. « И я так думаю », сказал князь. При встрече со мною, он поблагодарил наше общество за отличное устройство санатория и попросил меня выписать ему в Тифлис две американские кровати, прибавив: « Много хороших вещей я видал, но таких кроватей я не видывал ».

Наш санаторий имел большое культурное значение, некоторые больные впервые попадали в такую обстановку и,

прожив целый месяц среди образованных людей, перерождались. Не один князь Голицын заимствовал у санатория хорошие вещи. Многие провинциальные гостиницы, под влиянием санатория, приняли совершенно другой вид.

Состав больных был очень разнообразен. Для поступления в санаторий требовалось от кандидата описание своего служебного, семейного и материального положения. Обладатели комнат, если они того желали, могли сами предлагать свои комнаты небогатым кандидатам, а все остальные принимались закрытой баллотировкой комитета, состоявшего из собственников комнат и семи действительных членов, избираемых на год общим собранием. Все жильцы санатория ничего не платили за комнату со всеми удобствами, а покрывали только стоимость продовольствия и прислугу. Во главе санатория стоял врач, обязанностью которого было следить за выполнением режима, назначенного лечащим врачом и подавать первую помощь в острых случаях. Среди основателей комнат, кроме частных лиц, было около 50 разнообразных учреждений. Тут были города, земства, казначейства, дворянство, союз сценических деятелей, Художественный театр, касса взаимопомощи литераторов и ученых, общество бывших воспитаников Московского Коммерческого училища, Северное страховое общество, Рязанский окружной суд, Саратовская и Владимирская казенная палата, Николаевская и Сибирская железная дорога и много всяких коммерческих и общественных учреждений. Кроме того, были комнаты имени знаменитых артистов: М.Г. Савиной, В.Н. Давыдова, К.А. Варламова и других.

По примеру общества «Санаторий» стали возникать другие многочисленные санатории благотворительные и коммерческие. В короткое время в одних Ессентуках их открылось более десяти. Количество больных тоже быстро возрастало и вместо 1000-2000 человек их стало около 40000, а если считать все группы, то цифра доходила до 100000.

Мое участие в реформах Кавказских Минеральных Вод было связано с продолжительной и напряженной борьбою с курортной администрацией, но в конце концов, оно дало мне полное моральное удовлетворение. Помимо санатория, мною были устроены Электро-Световой и Тепловой, а также Диагностический и Терапевтический Институты. В них были сосредоточены современные аппараты: рентгеновский, эманации радия и разных видов механотерапии, специально приспособленных для похудения. Я начал снимать кардиограммы, которые только что вводились тогда в России.

В этой общественно-культурной и благотворительной деятельности я имел чудных и бескорыстных сотрудников, но

самым главным и незаменимым и талантливым всегда была моя жена. Без ее исключительного ума, неутомимой энергии и сильной воли было бы невозможно преодолеть все трудности, с которыми было связано ведение сложного хозяйства санатория, обслуживавшегося сотней людей разных профессий.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

# СОЧИ

*М.С. Зернов*

В 1897 году нам впервые пришлось познакомиться с прекрасным черноморским побережьем и вскоре затем приобрести в Сочи участок в диком девственном лесу, завитом сверху до низу разнообразными лианами. Постепенно мы привели его в культурный вид, выкорчевали заросли и заменили их наилучшими декоративными растениями и фруктовыми деревьями. Мы имели там несколько десятков тысяч роз, шесть тысяч лавровых деревьев, более тысячи пальм « Хамеропс », построили две больших оранжереи для выгонки роз и пальм. По всему имению были проложены две дороги зигзагами: одна проезжая, другая для пешего хождения. На верхнем склоне сада был построен служебный дом для садовников, с большим балконом для нашей семьи. С него открывался прелестный вид, с одной стороны, на снеговой хребет, с другой — на Черное море.

Почти одновременно с приобретением этого сочинского владения, я устроил в Сочи общественную библиотеку, которую постепенно расширял, а в 1907 году преобразовал ее в « Пушкинскую » городскую библиотеку. В 1910 году мы построили для нее специальное красивое здание в городском парке на берегу моря, на участке, отведенном городом. Для этой общественной бибилотеки мы использовали устав библиотеки Харьковского общества грамотности, считавшегося тогда в России наилучшим.

Около того же времени было положено основание для образования в Сочи благотворительного « Вспомогательного Общества Санаторий » для небогатых больных, как в Ессентуках. С просьбой об этом обратилось ко мне большое собрание местных домовладельцев и приезжих туристов под председательством министра Земледелия А.С. Ермолова, тоже дачевладельца в Сочи. Самое трудное было тогда обеспечить это желанное общество необходимой землей, которая уже в то время поднималась в цене, ввиду слухов о предстоящем проведении Черноморской железной дороги. Но мне удалось получить для будущего санатория даром около трех с половиной десятин в чудном парке Худякова, около самого города,

в благодарность за услугу, оказанную мною двум больным нижегородцам, которые обратились ко мне по рекомендации В.Г. Короленко (1853-1921). Получив удобный участок, мы немедленно составили устав и уже стали поступать первые членские взносы, как начался большевистский разбой, а с ним полное прекращение всякой культурной жизни. Что сейчас там происходит, мне неизвестно.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

# МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ

*М.С. Зернов*

Когда у меня развилась большая практика в Ессентуках, то есть с середины 90-х годов, я стал в Москве посвящать себя всецело общественной деятельности. Около 20-ти лет я состоял гласным Московской Городской Думы и участвовал во многих обществах. Кроме того, мне пришлось много потрудиться для создания общества Московского Научного Института, возникшего в результате разгрома Московского Университета. В 1911 году министр Народного Просвещения Л.А. Кассо (1865-1914) уволил все правление Университета в лице Ректора профессора Мануилова (1861-1929), и обоих про-ректоров — профессора Мензбира (1855-1935) и профессора Минакова, за то, что они привели в исполнение постановление совета Университета, неугодное министру. Тогда 40 профессоров и 80 младших преподавателей подали в отставку, считая себя морально солидарными с правлением. В числе вынужденных покинуть Университет оказались все наиболее талантливые и видные ученые. Опустели лаборатории, прекратились научные работы. Культурная Москва была взволнована таким несчастьем и стала искать выхода из создавшегося положения. Предлагались разные способы для продолжения научной работы всех, а особенно профессоров, лишившихся с уходом из Университета необходимых лабораторий, кабинетов, институтов. Первым выступил в газете « Русские Ведомости » проф. Мензбир со своим проектом под заглавием: « Так вот в чем выход ». Он предлагал для обеспечения каждой научной лаборатории собирать между желающими жертвователями до трех тысяч рублей в год, а для удешевления, размещать такие научные ячейки в подвальных этажах. Я тотчас же выступил самым энергичным его противником. По моему глубокому убеждению, стыдно было для русской интеллигенции спускать науку в подвал. Подобно тому, как в старину наши религиозные предки на свои копейки построили в Москве сорок сороков церквей, так и теперь современные русские граждане, просвещенные наукой, должны были для нее создать образцовые научные учреждения, чтобы работающие в них могли светом истины просве-

щать все русское общество. Мое совещание с профессором Мензбиром не привело нас к соглашению. Но я в тот же день убедил профессора Шервинского (1849-1941) немедленно созвать всех преподавателей, вышедших из университета. На той же неделе профессора собрались в его доме, а все младшие преподаватели — у меня на квартире в Хлебном переулке. Эти собрания прошли в редкостном подъеме и с полным энтузиазмом. Решено было организовать специальное общество под именем Московского Научного Института. Избрана была одна комиссия для составления устава, а другая — для составления минимальной сметы для устройства необходимых научных учреждений. Устав был скоро представлен комиссией на обсуждение общего собрания и получил единодушное одобрение. Точно так же незамедлительно были выработаны планы и сметы на лаборатории и институты. Минимальная смета была определена в два с половиной миллиона рублей. Особенное внимание обращено было на составление плана современного Физического института. Главным вдохновителем его был наш знаменитый физик П. Н. Лебедев (1866-1912) и его ближайший ученик и сотрудник П.П. Лазарев (1878-1942). Большие затруднения встретились при утверждении устава. В Петербург его нельзя было представлять, потому что он считался там оппозиционным, как протест против министра Кассо. К счастью, Московская администрация была в контрах с Петербургской и утверждение нашего устава было обеспечено. Тем не менее требовалось выждать, пока один из членов коллегии, утверждающей устав, уедет в каникулярный отпуск, потому что он был нашим противником. Однако такая медлительность в утверждении устава снова стала вызывать в некоторых сомнение в правильности нашего начинания. Опять появились опасения в возможности собрать такой большой капитал тем более, что в то время началась мировая война, требовавшая от всех громадных жертв. Москва была сплошь покрыта госпиталями, лечебницами, санаториями. Ввиду этого решено было пригласить на заседание расширенного Комитета под председательством Городского Головы князя Голицына, в качестве экспертов, наиболее просвещенных и отзывчивых представителей московского богатого купечества, в лице двух братьев П.П. (1871 - 1924) и В. П. (1873 - 1957) [1] Рябушинских и Четверикова. На первый вопрос, можно ли рассчитывать на поддержку богатой Москвы, последовал сперва отрицательный ответ: « Москва сейчас не при деньгах ». Такой ответ вызвал смущение даже в некоторых наших сочленах. Профессор Шервинский тотчас публично сознался, что он был увлечен док-

[1] Умер в Париже, основатель общества « Икона ».

тором Зерновым, лично он больше сочувствовал более скромному проекту профессора Мензбира и теперь предлагает, пока не поздно, вернуться к нему. Но сделанное мною заявление произвело благоприятное впечатление и рассеяло сгущавшийся пессимизм: я, с листом в руках, заявил, что на этом листе мне удалось собрать от 50 моих знакомых, принадлежащих, главным образом, к трудящейся интеллигенции, 104 тысячи рублей, правда рассчитанных на 10 лет. Каждый, подписывая свою ежегодную жертву, давал письменное моральное обязательство повторять ее не менее 10 раз, но, самое главное, что из всех, кого я приглашал к участию, отказался только один. « Несомненно — говорил я, — это начинание пользуется общим сочувствием и этим ему обеспечен успех ». В конце заседания устами В.П. Рябушинского мы получили поддержку и Московского купечества. Большинство верило в успех и в этом не ошиблось. Своевременно был утвержден устав и в распоряжение нового общества был получен необходимый капитал более чем в два с половиной миллиона рублей. В этом отношении исключительную услугу оказал удачно выбранный казначей Общества г. Марк. Он обнаружил необыкновенную преданнность и энергию в создании этого нового большого дела. Привлекая многочисленных жертвователей, он в то же время руководил и всеми сооружениями. Прежде всего был построен, согласно всем современным требованиям, Физический институт, на земле, отведенной городом, рядом с народным университетом Шанявского, что на площади 19 февраля 1861 года, названной в память освобождения крестьян. К сожалению, главный вдохновитель его, профессор П.Н. Лебедев преждевременно скончался от болезни сердца; он не дождался окончания постройки. До нашествия на Москву третьего интернационала в 1917 году правление успело устроить почти все намеченные лаборатории, институты и кабинеты. Они были размещены в громадном здании, купленном на Арбате, где раньше находилась классическая гимназия Шамониной. От самостоятельной постройки новых зданий решено было пока воздержаться ввиду вздорожания цен и на строительные материалы и на рабочие руки по случаю войны. Для химической лаборатории Общество получило в дар большой особняк в районе, кажется, Басманной. Таким образом, культурная жизнь Москвы окончилась возникновением светлого памятника свободной творческой самодеятельности русских людей. 1917 год явился гранью между прежней свободой и новым насилием. Общество Московского Научного Института поставило своей целью дать возможность русским ученым свободно заниматься творчеством во всех областях знания вне всякой зависимости от административной власти и не неся никаких других обязанностей. В самое короткое время это Общество заручилось со-

трудничеством целого ряда наших выдающихся ученых, но не долго пришлось поработать им по своей специальности. Насильническая организация третьего интернационала кого арестовала и посадила в тюрьму, кого сослала, кого расстреляла и довольно скоро прекратила существование этого свободного храма науки.

Вот, в общих чертах, как была прожита моя жизнь, в которой до нынешнего 1936 года, я 55 лет посвятил врачебной и 62 года общественной деятельности. Я необычайно счастлив тем, что все мои начинания на благо другим, почти всегда осуществлялись и находили одобрение среди моих самых дорогих ценителей и судей — моей семьи и моих друзей. Если бы мне суждено было снова жить и действовать, я без всяких изменений повторил бы свою жизнь. У меня не было за всю мою продолжительную и разнообразную деятельность ни одного личного недруга и ни одной личной ссоры. Мне не у кого просить прощения и некому ничего прощать. Я завещаю всем, даже для своего личного счастья, как можно сильней любить других и стараться делать для них как можно больше. Высшая заповедь Христа — возлюби ближнего, как самого себя — открывает нам дорогу, осыпанную часто терниями, но, в конце концов, приводящую нас к полному, высокому моральному удовлетворению, которое и есть человеческое счастие.

## ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

# МОЯ МАТЬ СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЗЕРНОВА, урожденная КЕСЛЕР

*Н. Зернов*

Наша мать была одной из богато одаренных женщин, которые составляют славу русской православной культуры. В молодости она была очень красива; высокого роста, с синими глазами и черными густыми волосами. Свою привлекательность она сохранила и до старости. У нее была яркая личность, она сочетала ясный, критический ум с интуитивной женской природой. Талантливый педагог, она хорошо разбиралась в людях, имела много подлинных друзей в разнообразных слоях общества. Она умела вдохновлять других и сама вдохновлялась ими. Ее особым даром была способность к организации, и в этой области она оказалась незаменимой помощницей своему мужу.

В умственном развитии нашей матери решающую роль сыграла классическая гимназия Софии Николаевны Фишер (1836-1912), человека глубоко церковного, разделявшего убеждения славянофилов. Ее школа с полной программой классических языков давала аттестат зрелости с правами мужских гимназий [1]. Противники Фишер говорили, что для девиц не только не нужно, но даже вредно отдавать годы своей молодости на изучение трудных мертвых языков, которые могут засушить их и лишить женственности. Но нашлись и убежденные сторонники более широкого образования для девушек. Проф. Ф. Корш (1843-1915) и другие известные педагоги отозвались на призыв Фишер и взяли на себя преподавание в этом новом учебном заведении. Многие ученицы опровергли предрассудок, что женщинам несвойственно серьезное учение. Одной из них была наша мать. Она вполне овладела классическими языками и подлинно полюбила их. Ее природный ум, пройдя строгую школу, приобрел отчетливость мысли, всегда выделявшую ее из окружающей среды. Вместе с тем наша мать сохранила и свою женственность.

---

[1] Гимназия была основана в 1872 г. Право на аттестат зрелости было получено в 1879 году.

Она использовала свое образование для нашего воспитания. В течение всей школьной жизни мы знали, что не было вопроса из литературы, истории и даже математики, в котором она не могла бы нам помочь. Она была моим строгим репетитором по латыни, к ее помощи я неоднократно прибегал уже будучи студентом богословом, и она помогала мне с классическими языками, даже когда я писал мою докторскую диссертацию для Оксфорда.

Наша мать вышла замуж, когда ей было 32 года, а нашему отцу уже 40 лет. Несмотря на этот поздний брак они сумели построить свою общую жизнь в полном согласии друг с другом и нашли в супружестве и взаимное обогащение и творческое раскрытие своих во многом очень различных натур. Они оба были волевыми людьми, но никогда не соперничали друг с другом; они вдохновляли и помогали друг другу. Увлекаясь общественной работой, они вместе с тем ставили семью в центре своей жизни.

Нас, четырех детей, наша мать любила страстно, беззаветно, до боли. Ее обычное самообладание покидало ее, когда тревога за одного из нас стихийно овладевала ею. Она разделяла с нами все наши интересы, радости и горести. Во время наших частых детских болезней она, не жалея себя, проводила ночи у наших кроватей. Но она никогда не насиловала нас, не подавляла наших личностей, предоставляя нам полную внутреннюю свободу.

Наши родители были прекрасными воспитателями. У них не было любимцев. В своих отношениях с нами они никогда не противоречили друг другу. Хотя мать была ближе к нам и в ее руках находилось ежедневное наблюдение за нами, все же последняя инстанция для всех важных вопросов принадлежала отцу. В этих случаях мы посылались в его кабинет, чтобы получить от него окончательное согласие на нашу просьбу. Эта исключительная созвучность наших родителей не была однако унисоном. Они не повторяли друг друга. Каждый из них сохранял свою яркую индивидуальность и вносил свой вклад в семейную жизнь. Природа матери была сложнее отцовской, у нее не было его удивительной кристальности. Наша мать могла быть и несправедливой и пристрастной. Она увлекалась людьми и отталкивалась от них. Эта разница между ними проявлялась и в их отношении к религии. Отец принадлежал к семье, которая в течение многих поколений давала священнослужителей нашей церкви. Для него вопросы о вере в Бога и о служении ближнему были аксиомами, не требовавшими доказательств. Наша мать всецело разделяла его мировоззрение, но сама она принадлежала к иному, более раздвоенному миру, и ее путь не был так ясно и прямо начертан, как тот, по которому своими быстрыми и легкими шагами шел наш отец.

Несмотря на нашу большую близость, мать редко касалась в разговорах с нами своей внутренней религиозной жизни. Ей была чужда эмоциональная набожность, но у нее была мистическая одаренность и даже прозорливость, которую она унаследовала от своего отца.

Один из таких случаев предвидения сыграл решающую роль в моей жизни. Однажды, вскоре после моего рождения моя мать поехала за покупками. Внезапно ее охватил стихийный страх за меня. Считая его беспричинным, она сначала пыталась бороться с ним. Но он все сильнее одолевал ею. Не закончив свои покупки, она помчалась домой. На ее тревожный вопрос все ли благополучно со мною она услышала ответ от няни, что я спокойно сплю в своей колыбели. Мать все же сразу бросилась в детскую и нашла меня задыхающимся от неловкого поворота. Если бы она опоздала на несколько минут, меня не было бы в живых.

Был с ней и другой характерный случай. Она была на службе о. Иоанна Кронштадтского (1828-1908). Манера его служить показалась ей экзальтированной и театральной и так ей не понравилась, что она даже не хотела подходить ко кресту. Ее подруга все же уговорила ее сделать это. Когда она подошла под благословение, отец Иоанн, прочтя ее мысли, сказал ей: «Это не театр, ты не знаешь, что происходит внутри другого человека».

Была у нее тоже знаменательная встреча с другим прозорливцем, епископом Антонием Вологодским (1847-1918), проживавшим на покое в Донском монастыре в Москве[2]. Случилось это незадолго до начала первой мировой войны. Бывшие ученицы Фишеровской гимназии решили отметить юбилей школы поднесением ее основательнице и директрисе адреса со своими фотографиями. Одна из инициаторш этого подношения была почитательница епископа Антония и она попросила его благословения на задуманное дело. Старец своего благословения не дал, сказав, что, вместо адреса, бывшие воспитанницы должны выкупить дом, в котором помещалась гимназия. Эта задача показалась всем неосуще-

---

[2] Примечание. Епископ Антоний (в миру Михаил Флоренцов) родился 27 августа 1847 в селе Труслейки Симбирской губернии. Отец его был причетник. В 1874 году он окончил Киевскую Духовную Академию и был рукоположен в 1878 году. Овдовев в 1882 году, он принял постриг в 1887 и был назначен ректором Самарской семинарии. В 1890 году он был хиротонисан в епископа Острожского, викария Волынской епархии. В 1894 году назначен епископом Вологодским и Тотемским. Уволен на покой в следующий 1895 год и назначен игуменом Яковлевского монастыря в Ростове. В 1898 году устранен от управления монастырем и определен на жительство в Донской монастырь в Москве, где и скончался в 1918 г. Он пользовался широкой известностью, как прозорливый исповедник и как человек, обладавший харизматическими дарами. Среди его многочисленных посетителей были Александр Блок и Андрей Белый (Бугаев).

ствимой. Тогда Антоний попросил принести ему фотографии участниц подношения. Увидев среди них лицо моей матери, он указал на нее, как на ту, которая соберет деньги, нужные на выкуп дома.

Смущенная и взволнованная мамина подруга приехала к нам с этим необычным известием. Сначала наша мать решительно отказалась взять на себя эту, повидимому неосуществимую задачу. Приказ епископа показался ей не только насилием над ее волей, но и каким-то кликушеством, чуждым ее взглядам на жизнь. После долгих уговоров она все же согласилась поехать в Донской монастырь и встретиться со старцем. Он произвел на нее такое сильное впечатление, что она согласилась взять на себя сбор нужных средств. Финансовые дела гимназии оказались в очень запутанном состоянии. Дом был заложен и покупка требовала больших усилий и денег. Наша мать проявила необычайную энергию. Она сумела заручиться помощью опытного финансиста, директора одного из московских банков — Мальвинского. На нашей квартире устраивались неоднократно многочисленные собрания бывших учениц, и к всеобщему удивлению трудная задача была успешно выполнена и даже к сроку юбилея гимназии. В этот торжественный день С.Н. Фишер вместо альбома получила купчую на дом.

Старец епископ, не покидавший своего монастыря, нарушил свое правило и приехал к нам поздравить нашу мать. Он был первым епископом, которого мы дети встретили в нашей жизни. Нас заранее учили, как подходить под его благословение и как целовать его руку. Его приезд произвел на всех нас большое впечатление. Он был старик, с пронзительными черными, глубоко сидящими глазами. В это время моя сестра Соня страдала от сильнейших мигреней, от которых она даже теряла сознание. Никакое лечение не помогало. Когда ее подвели к епископу, он положил ей руку на голову и сказал: « Эта болеет ? Не беспокойтесь, все пройдет к 20-ти годам ». Его предсказание исполнилось.

Под самый конец ее жизни у нашей матери, уже во время оккупации немцами Парижа, случилась еще одна значительная духовная встреча, на этот раз с выдающимся нашим богословом о. Сергием Булгаковым (1871-1944). Для них обоих это было событием, о котором о. Сергий сказал в своем надгробном слове во время ее похорон. Она скончалась в день Успения Божией Матери.

## *ВОСПОМИНАНИЯ СОФИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЗЕРНОВОЙ-КЕСЛЕР*

### ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

### БОЛЕЗНЬ МАТЕРИ

*С.А. Зернова*

Когда мне было 4 года, мы все заболели тифом. За нами ухаживали бабушка Марья Васильевна Жукова, няня Екатерина Севастьяновна и взятая на помощь из вдовьего дома сестра милосердия Александра Андреевна. Она была в коричневом полосатом платье. Весь уход был сосредоточен на матери, у нее была тяжелая форма болезни. Ей стало лучше после причастия и она попросила показать ей детей. Няня и бабушка понесли меня с сестрой в ее спальню. Мы уже были выздоравливающие. Мама, увидав меня, сказала: « Настоящий зайчик ». Я была очень худа и это прозвище надолго осталось за мною. Я была нервной, восприимчивой и способной девочкой, с черными густыми волосами и светлыми глазами. Никогда в жизни ничем в себе я не гордилась, но волосы свои любила и искренно горевала, когда меня на лето или после болезни стригли под гребенку. Я также не любила белой соломенной шляпы на стриженной голове. Но когда нас стригли, мы подчинялись беспрекословно. Нас воспитывали просто, без суеты, но с любовью.

### Наша няня

Наша няня Екатерина Севастьяновна не получала от нас жалованья, а на деньги, которые ей дарили, покупала нам подарки. Для нее было настоящим горем, если она, провожая меня в гимназию, не могла купить мне апельсин или яблоко. Иногда она накладывала в мой ранец чуть ли не десяток яблок, так что я раздавала их другим девочкам.

Все ее счастье, вся ее радость были в нас, у нее не было ни родных, ни знакомых, она никуда не ходила, а для нас готова была на все жертвы.

У нее была странность, с которой приходилось мириться:

она брала из шкатулки чай и сахар для себя и только тогда, когда никого не было в комнате, как будто тайком. Говорили, что это было свойством многих бывших крепостных, — с одной стороны, какая-то животная привязанность к тем, у кого жили, а с другой наклонность взять что-нибудь тайком.

Она была очень чутким человеком и входила во все наши радости и горя. Я помню, я была десятилетней девочкой, ученицей первого класса гимназии, мне сшили, на мое горе, белый кашемировый с подвязушками капор, да посадили еще с правой стороны цветок — бутон от розы. Увидали мои подруги меня в этом капоре и стали смеяться.

Я была страшно самолюбива и мучилась бесконечно, когда, идя с девочками по 2-му Ушаковскому переулку, я стала мишенью их насмешек. Они все время смеялись, и одна подстрекала другую, они как будто боялись, что их смех мог иссякнуть. Меня любили девочки, это все были мои друзья, и я ужасно страдала. Дойдя до Остоженки, няня мне сказала, что ей нужно со мной куда-то зайти, и мы повернули совсем в другую сторону и пошли одни. Дома я рассказала обо всем матери и просила переменить мне капор, но мать и слышать об этом не хотела, находя, что это и тепло, и красиво, и что девочки привыкнут, и сделан этот капор по образцу из хорошего магазина.

На другой день капор оказался без бутончика. Стали его искать, но так никогда его и не нашли. Спрашивали няню, но она резонно отвечала, что ей с ним нечего делать, на что она его возьмет. Капор без цветка не возбуждал насмешек, и няня была веселая и довольная, а накануне она шла со мной взволнованная и расстроенная, но ничего не сказала ни девочкам, ни нашим.

Когда мне было 13 лет, она стала прихварывать, очень похудела, сказок ее мы уже давно не слушали, но все еще понемногу убирала комнаты, плоховато штопала чулки, провожала меня в гимназию.

У нее было три удара. После первого, когда она приезжала к нам из больницы, это было летом, в руках у нее были пакеты с разными ягодами, — деньги, которые ей наша мать дала в больницу, она истратила опять на нас.

## Сказки и игры

Сказки оказали большое влияние на мое развитие.

По вечерам мы с сестрой усаживались на чурбанчике слушать сказки няни. Она сидела на своей кровати, покрытой одеялом, сшитым из ситцевых лоскутков. Их узоры так мне ясны доныне, горошинки, мелкие цветочки. Были лоскутки

любимые и нелюбимые, самый любимый был — по белому полю незабудки. Няня в огромных в медной оправе очках, с чулком в руке, краснощекая, глядела на нас поверх очков. Тут же были сальная свечка и щипцы для снятия нагара. Мы слушали сказки с волнением, часто со слезами, самыми горючими, и всегда на одном и том же месте, которого с трепетом ждали. Я была нянина «фаворитка» (это слово у нас было в употреблении), Маня была «фавориткой» нашей воспитательницы, Христины Ивановны, которая ее звала рукодельницей и давала ей вышивать крестиком подушки для булавок.

К Христине Ивановне я приходила в сумерки до няниных сказок, с коробкой, в которой находились вырезанные мною из бумаги куколки. Я очень любила этих самодельных куколок и месяцами продолжала свою игру в них. Когда мне подарили большой лист с нарисованными куклами тоже для вырезания, я не почувствовала к ним никакого интереса. Я любила что-то свое, свою фантазию; у моих кукол была своя жизнь, свои интересы, свои горя и радости.

6-ти лет я как то сразу, не учась, стала читать, а вскоре и писать. Я была самая младшая — все читали и писали, потому мне это далось незаметно и у меня это прошло без особого впечатления. Моя жизнь с грамотностью не изменилась — те же бумажные куколки и те же сказки.

Мы жили и летом и зимой в Москве, мы не знали деревни, но описание природы было для нас самым привлекательным из всех рассказов. Я любила особенно один, как отец дал детями по грядке гвоздики, и в моих мечтах я всегда была счастливой обладательницей такой грядки.

Я была очень дружна с моей сестрой Маней и братом Колей, хотя мы были по нашим характерам разные, но это даже содействовало нашей дружбе. В глазах старших, мы трое как-то сливались в одно — Коля, Маня, Соня.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

## СМЕРТЬ ОТЦА

*С.А. Зернова*

Есть дни, которые особенно врезались в моей памяти, и удивительно, что в ней так же резко запечатлевалось все, что происходило до события, как и самое событие.

Так, например, я до мельчайших подробностей помню все, что было накануне смерти отца, день его смерти и три дня после нее.

Он умер скоропостижно, 10 ноября 1870 года, от первого припадка грудной жабы. Ничто не предвещало его однодневной болезни. Накануне он много со мной играл и кормил меня виноградом. В день своей смерти он пил чай утром и меня поцеловал, идя на службу. Я также как будто сейчас слышу, как он, возвращаясь раньше обычного срока, шел по лестнице, как бабушка вышла в переднюю и сказала, обращаясь к нашей матери: « Маша, Александр Иванович со швейцаром пришел ».

Ярче всего помню, как ложась спать, я подошла к нему проститься, он меня перекрестил, а я поцеловала его белую, красивую руку. Через 10 минут после этого он встал, чтобы пройтись по комнате, упал и через несколько мгновений скончался. Я все это видела из своей комнаты, стоя на кровати, видела, как бывший у нас дядя Вася Панов поднес к его рту, несколько минут спустя, зеркало. Я на это смотрела, ничего не понимая, но все чувствовала. Мне было 5 лет.

Потом меня отнесли на руках на другую половину квартиры и там положили на стульях. На другой день мне мерили черное платье с белыми нашивками, обшитыми крепом, так называемыми плерезами. Поздно вечером приехала из Владимира сестра Аня с мужем и гостивший у них брат Сережа.

Отец лежал на столе, лицо его было подвязано белым платком, а на глазах были положены медные деньги; это мне было очень неприятно. Сережа, войдя в столовую, где лежал отец, упал головой на фортепьяно, потом с горькими слезами стал целовать отца в лоб.

В день похорон мы все встали, когда было еще темно. Шел снег, сменявшийся дождем. Отпевание было в церкви Николы Явленного на Арбате, служил Степан Иванович

Зернов, который на первой панихиде плакал, а потом обнял нашу мать, а она положила свою голову к нему на плечо.

В церкви все мое внимание было сосредоточено на серебряной кисти, оторвавшейся от правой стороны гроба. Мне хотелось взять эту кисть себе, но когда дьячок прочитал в нос три раза: «Святый Боже», гробовщик поднял эту кисть и положил в карман.

У нас был поминальный обед, служили официанты. Дядя Вася всем распоряжался. Это был рождественский пост. Был раковый суп, пироги, рыба, бланманже. Мы — младшие дети — сидели отдельно. Дядя Вася то и дело приносил блюда с оставшимся кушаньем, ставил их на шкап в нашей комнате и говорил: «Не досмотришь, не убережешь, официанты такой народ, все стащут».

После этих дней наша мать целыми днями, а особенно по вечерам все ходила по комнатам, почти ни с кем не говорила и стала курить. Вывел ее из такого состояния батюшка Степан Иванович, он долго говорил с ней. После этой беседы, она обняла нас троих младших и горько, горько плакала. Потом она отговела и вошла в жизнь.

## Мужик с черной бородой

Помню одно воскресенье, оно, может быть, было мало замечательное, но вечером этого дня произошло на нашем дворе событие, произведшее на меня сильное впечатление.

Утром мы, — Коля, Маня, Соня, — с Христиной Ивановной пошли в церковь Николы Явленного. Христина Ивановна была в серой шелковой шляпе в виде чепца, отделанной черными кружевами, в черной мантилье, обшитой бахромой, в черных шелковых перчатках и с черным зонтиком; мы были в белых, соломенных шляпах, с синим газом, концы которого спускались на спину.

В церковь мы пришли, как всегда, очень рано, встали на свои обычные места, на возвышении у правого клироса. Христина Ивановна села на стул, а нас посадила на приступочку. Она сняла с правой руки перчатку, я сейчас же хотела снять ненавистную для меня митенку, но Христина Ивановна запретила, сказав, что перчатка снимается в церкви, а митенка остается. Коля зáявил, что пойдет в алтарь и будет выносить оттуда вынутые просфоры. Я его спросила, почему девочек не пускают в алтарь. Он мне ответил, что так уж положено, все равно как кошек положено пускать, а собак запрещено.

Начиналась обедня, Василий Иванович Тартов — дьячок — в черном длинном сюртуке доканчивал чтение в нос часов, старый дьякон выходил мелкими, частыми шажками из алтаря и поглядывал строго и внимательно на публику.

Наконец вышел батюшка Степан Иванович. Неторопливо, сосредоточенно он молился перед Царскими вратами. На нем все было особенно ярко и чисто. Я не понимала тогда, но чувствовала то великое и важное, окружавшее его, и все мое внимание сосредоточивалось на нем. Трудно поверить, что я отлично помню даже его обувь.

Коля в красной рубашке, с черным горошком, был то в алтаре, то на левом клиросе. Пришла сестра Лиза. Она наклоняла наши головы, когда это было нужно. Я никогда не знала, когда снова можно было поднять голову, и всегда старалась подсмотреть сбоку: подняты ли у всех головы.

После обедни мы посидели в саду около церкви, церковный сад называли тогда « монастырем ».

Когда мы возвращались домой, уже на лестнице был особенный запах пирогов (по воскресеньям у нас всегда бывали пироги). На этот раз они были с морковью и яйцами. После был кофе; мы не учились и играли на дворе с Сашей Кузнецовой и Маней Пурриц.

У нас было два двора, один передний, хороший, а другой задний, для меня таинственный и страшный, нас туда не пускали. Вокруг него жили по углам; и там часто бывали драки.

В тот же день, позднее, мы пошли с Христиной Ивановной на Пречистенский бульвар, где играли с другими детьми в те же игры, в какие потом играли и мои дети и после них будут играть другие дети.

Когда вечером мы вернулись домой, то встретили полицейского, идущего на задний двор. Саша Кузнецова все узнала: там умер человек, может быть, сегодня, а может быть, вчера.

Никто не заметил его смерти, он умер, лежа на печке. Подошедшая кухарка Настасья, только что прибежавшая с того двора, добавила, что «он» с черной бородой, в рубашке с пояском, и сейчас лежит на печке с согнутыми коленями; в ожидании полицейского врача его нельзя тронуть с места, придется верно рубить колени.

Все это меня ужасно поразило и долго-долго в моменты ночного страха мне представлялся этот человек в рубашке с пояском и с согнутыми коленями, которые нужно рубить. Я помню эти ночные страхи, помню даже неприятное ощущение, случавшееся иногда перед засыпанием — все как будто ширилось во мне, росло и было какое-то не то жесткое, не то плисовое или ковровое. Я старалась рассказать это няне, она мне просто объясняла словами: « ростёшь ».

Кроме ночных страхов, для нас было жутко вечером перебегать из одной половины квартиры в другую. Наша квартира разделялась лестницей и входной дверью на две части, у одной из них была маленькая галерейка с входом на

чердак. Вот именно там представлялся мне человек с согнутыми коленями, с черной бородой, в рубашке с пояском.

## Семья Панафидиных

Прошло два года. Коля поступил в гимназию, а мы еще учились дома.

К этому времени относится наше знакомство с Панафидиными. Их семья состояла из отца, матери, тетки и четырех детей.

Владимир Сергеевич Панафидин занимал большое место, он был членом Судебной Палаты. Высокий худой старик, гладко выбритый, в золотых очках, с двумя глубокими складками вдоль щек, с тонкими, какими-то извивающимися губами, с большим кадыком и скрипучим басом. У него все было по мерке, все спокойно и ненарушимо. Я никогда не видала его взволнованным или сердившимся на детей, но очень часто слышала его замечания и нотации. Он всегда шутил с нами одними и теми же шутками, и обращался к нам с одинаковыми разговорами. При появлении его среди нас — детей, все настороживались, и игра прекращалась. « Играйте, играйте », говорил он и уходил к себе. В церкви он иногда подпевал на клиросе и каждый год помогал выносить плащаницу, после чего протирал белым, чистым платком золотые очки.

Его жена, Екатерина Александровна, была прямым ему контрастом. Блодинка, склонная к полноте, белолицая, шумливая, любящая наряды и удовольствия, она мало вносила в семью, где вела хозяйство и воспитывала детей ее сестра, Варвара Александровна Веревкина, худенькая, некрасивая брюнетка, сильно пришепетывающая, пристально и вдумчиво глядевшая на детей.

В эти годы к нам ходила какая-то не то дама, не то простая женщина, но в шляпке (тогда шляпка делала главное отличие). Звали ее Настасья Никитишна, ей всегда было жарко, и она, вытирая пот со лба, помахивала рукой на лицо. Нижние зубы ее были расположены на подобие веера и выглядывали из-за нижней губы. Она знала всех и все, т.к. занималась покупкой и продажей преимущественно нарядных платьев. С Екатериной Александровной ей приходилось постоянно встречаться, потому что та любила туалеты и часто меняла их.

Однажды, это было 1-го апреля, пришла к нам Настасья Никитишна и рассказала: « Сейчас была у Панафидиных. Им кто-то прислал большущий пакет. Екатерина Александровна его поспешно разорвала и оттуда вылетело несметное количество пуха. Ей это очень понравилось, она не только

стала смеяться, но и дуть на него, так что пух разлетелся по всем комнатам. Ну, а Владимир Сергеевич, конечно, остался очень недоволен, тем более, что вся красная мебель покрылась пухом, и он сказал, что это верно какой-нибудь шалопай выкинул такую глупость ».

« Шалопай » представился мне мягкотелым существом, с лапами вместо рук и ног и с бессмысленным лицом.

Вскоре после этого та же Настасья Никитишна пришла к нам утром запыхавшись, с великим волнением. « Слышали новость ? Прихожу я сегодня к Екатерине Александровне, а ее и след простыл, — ночью убежала с Черкасовым ». Незадолго перед этим Панафидина была у нас такая веселая, всех нас перецеловала.

Я была как-то особенно этим поражена и мне представлялась она, быстро бегущая ночью, крепко держащая одной рукой какого-то Черкасова, так что он едва поспевал за ней. Они бежали не оглядываясь по Старо-Конюшенному переулку, а дальше их след пропадал.

У нас в доме это известие произвело потрясающее впечатление: каждое воскресенье нас водили к Панафидиным, и теперь решили, что в это воскресенье идти не надо. Но пришла Варвара Александровна, долго говорила с нашей матерью, и, в результате этих переговоров, нас к ним все же повели, но сказали, чтобы мы ни о чем детей не расспрашивали. Мы на это потрясли головами и сказали: « не будем ». Пошли мы какие-то торжественные, но потом разыгрались и ушли домой веселые, как всегда, забывши о событии.

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

# ПОСТУПЛЕНИЕ В ГИМНАЗИЮ

*С.А. Зернова*

Прошло три года. Встал вопрос о нашем поступлении в среднее учебное заведение. Сначала была очередь за Маней, ей уже шел десятый год. Наша мать всегда говорила о необходимости получить хорошее образование. Она привила эту мысль всем нам. В выборе наших школ большое участие приняла старшая сестра Аня и ее друг Любовь Андреевна Пастухова. С их помощью Маня была принята в Усачевско-Чернявское училище, считавшееся равным женским институтам. Меня же Пастухова устроила своей стипендиаткой в классическую гимназию С.Н. Фишер. Я была приходящей и продолжала жить дома.

Любовь Андреевна сыграла роль не только в моей жизни. Она еще больше помогла моей сестре Ане, которая ее очень любила. Пастухова занимала маленькую квартиру в две комнаты. Умная, всем интересующаяся, она была известная учительница музыки, ученица Николая Рубинштейна (1835-1881). У нее была открытая душа; в ее маленькой квартирке постоянно находили себе приют молодые художницы или ученицы консерватории. Она делилась всем со всеми, была проста в обращении, громко смеялась, горячо спорила и вела удивительно интересную жизнь. Новый роман, новая пьеса сразу привлекали ее внимание. Анина свекровь ее осуждала, считая бесцеремонной, а главное — ненужной, а в жизнь моей сестры она внесла много света и расширила ее горизонт.

## Семья Лазариков

Сестра Аня вышла замуж за Германа Лазарика когда ей было 16 лет. Это была семья, в которой материальные соображения играли главную роль. Герман Петрович был миллионер и его браком с моей сестрой все они вначале были недовольны, так как у нее не было денег. Мой отец тоже был против этого брака, так как у жениха было их слишком много. Однако Лазарики впоследствии примирились с сестрой и оценили ее.

Странная это была семья. Их родоначальник был еврей, но они все совсем обрусели. Полновластной хозяйкой, подлинным главой дома была мать Авдотья Александровна, дочь полковника Гесселя, немца по происхождению, женатого на русской. Невысокого роста, широкая в плечах, со строгим взглядом, она была экономна и требовательна к себе и другим. В период расцвета их благосостояния она жила так же просто, как и до их обогащения. У нее было три дочери и четыре сына, не имевшие друг с другом ни физического, ни внутреннего сходства, но, несмотря на это, очень любившие друг друга.

Из четырех сыновей Герман был самым способным. Он был до уродливости толст, ел и пил очень много, но избегал всех спиртных напитков. Он настаивал чтобы им боготворимая Аня следовала его примеру. Он был исключительно предприимчив и вместе с тем мог быть безответственным. Он со своим отцом соорудил « Провал » в Пятигорске. За это ему были дарованы огромные земли на Кавказе, но он даже не потрудился записать их за собою. Он любил рисковать, верил в свою счастливую звезду, не знал предела в развитии своих коммерческих предприятий. Он покупал один дом за другим, брал концессии на постройку железных дорог, скупал леса, вкладывал деньги в разные предприятия, его не хватало на все и в результате он обанкротился.

Он любил играть своею непосредственностью и этим ставил часто Аню в неловкое положение. Он мог совершенно свободно сказать гостю: « Вам пора уходить » или « Вы забыли, где ваша шляпа ».

Если ему человек был нужен, он делался с ним неумеренно любезен и даже угодлив. Человек же не полезный для его операций был иногда обласкан, а иногда и оскорблен. Герман мог выкинуть огромные деньги, но мог и из-за одного рубля поднять скандал. Он был способен не глядя подписать вексель, чтобы помочь знакомому, и один раз поплатился за это. Он зачастую дарил Ане огромные суммы, до 200,000 рублей, но через несколько дней брал их обратно, чтобы пустить их в оборот. Моя сестра никогда не пользовалась для себя этими деньгами, а наша семья жила на заработки нашей матери.

Дела Германа, шедшие долго с поразительным успехом, начали шататься. Аня стала приезжать к нам расстроенная, велись беспокойные разговоры и у моей матери делалось озабоченное лицо. Лазарик все больше и больше рисковал, рассчитывая на свои финансовые способности, но счастье покинуло его. Все его огромное имущество пошло с молотка.

Здесь моя мать до конца выявила свою подлинную при-

роду. Она настояла, чтобы Аня отдала решительно все должникам. Почти все члены Лазариковской семьи были выделены раньше и поэтому на аукцион было отдано только все движимое и недвижимое имущество Ани и ее мужа. Дома, обстановка, картины, серебро, бриллианты, изумруды, лошади и экипажи — все подлежало продаже. Все кредиторы были более или менее удовлетворены, хотя и не получили полного рубля. После аукциона Аня с мужем переехали жить к нам в Калошин переулок. У них в кармане осталось три рубля. Это был крах, о котором говорила вся Москва.

Вместо голубой шелковой мебели, сестра привезла к нам несколько стульев, обитых простым ситцем, и кое-что из своих личных вещей, не представлявших ценности. Их переезд к нам резко изменил внутренний строй нашей жизни. Вошел новый чуждый элемент, который неблагоприятно отразился на нас детях. До сих пор мы правильно развивались, переходя из детства в отрочество, из отрочества в юность. Теперь этот ритм был нарушен. У нас стали появляться странные люди, которые не могли бы иметь к нам касательства, если бы не муж Ани. Он не смирялся с мыслью, что он разорился, и не хотел оставаться без деятельности. Поступить на место он не мог. Развивать коммерческую деятельность без денег и без доверия ему не удавалось. Он стал цепляться за маленькие аферы и общаться с людьми неопределенных профессий. Лазарик никогда не любил стеснять себя и считаться с другими. После банкротства он стал позволять себе даже больше, чем прежде. Наша мать терпела все это, жалея Аню. Но мне было часто тяжело и в сердце моем стало накапливаться раздражение, какого я раньше не знала.

Моя сестра была горячим, энергичным, но избалованным человеком. После постигшего ее несчастья она показала всю силу своего характера. Приехав к нам без всяких средств, она, по совету матери, серьезно занялась музыкой и стала брать уроки у проф. Вильберга. Все, что могла, мать отдавала ей, оплачивая дорогие уроки. Аня играла по 8-9 часов в день. Прежде она играла для своего удовольствия, а теперь проходила суровую школу. Она добилась своего, из нее выработалась прекрасная преподавательница музыки.

Первый урок она получила у Вишневских, ее попросили заниматься с мальчиком лет двенадцати. Лакей вынес ей на подносе после урока один рубль. Этот рубль буквально обжег ей пальцы, и она пришла домой совсем расстроенная. Но наша мать повернула все так, что от ее огорчения не осталось и следа. Она говорила: « Бога надо благодарить, что ты добилась своего, что можешь жить своим трудом. Слава Тебе Господи ! Ты этот рублик береги, он заветный, счастливый ». При этих словах у моей матери было такое радостное лицо ! Сестру особенно расстроил этот первый рубль, потому что он

был получен именно от Вишневских. Этот Вишневский, будучи адьютантом генерал-губернатора Князя Владимира Андреевича Долгорукова (1810-91) (которого называли маленьким царьком в Москве) еще так недавно приходил в ложу к сестре, чтобы приветствовать ее от имени князя, находящегося в театре, или привозил Ане от него цветы, в ее Петровский дом. Князь любил красивых женщин и часто оказывал им подобное внимание.

Второй урок сестра получила у евреев Дубиновских, которые раньше жили в подвале ее дома на Арбате, а потом разбогатели. Их самолюбию льстило, что их бывшая хозяйка теперь учит их детей музыке. Потом пошли другие очень хорошие уроки в культурной среде Москвы и стали устанавливаться прекрасные отношения с родителями учеников.

Финансовое положение Лазариков стало постепенно улучшаться. Они переехали на отдельную квартиру, а у нас восстановился прежний мир. Однако скоро разразилась новая катастрофа: Герман, не найдя сил примириться с создавшимся положением, покончил жизнь самоубийством.

## Сестра Лиза и мои братья

В 1877 году моя сестра Лиза вышла замуж за Григория Никитича Калустова. Он был развитой и добрый человек. До женитьбы он ездил врачом ускоренного выпуска на войну за освобождение славян. Он недурно пел, был безумно влюблен в свою жену и ревновал ее ко всем. Новобрачные уехали в Смоленск, куда получил назначение новоиспеченный доктор. 31 марта 1879 года у нас произошло событие, Лиза, приехавшая к нам, родила дочку — Марусю. Она была наша первая племянница, и мы все были очень счастливы.

В том же году мой старший брат Сережа сделался женихом Марии Павловны Мухортовой. Летом он давал уроки в ее семье — помещиков Курской губернии. Их старшая дочь Мария, только что окончившая Екатерининский институт, влюбилась в репетитора и они поженились. Жили они дружно, имели трех сыновей, но пока у брата не развилась практика, им было трудно.

Оба мои брата были полной противоположностью друг другу. Коля был душой общества, непостоянен, жизнерадостен; когда давал обещание, свято верил, что его исполнит, но далеко не всегда исполнял. В гимназии он мог написать блестящее сочинение, но мог написать и никудышное. Когда Коля окончил медицинский факультет, то он переменил несколько специальностей и каждый раз считал, что нашел свое истинное призвание. Сережа, под влиянием дяди Федора Николаевича Панова, сначала поступил на юридический факуль-

тет, но все время чувствовал, что это не его путь и что он сделал ошибку. На третьем курсе он бросил юридический факультет и перешел на первый курс медицинского. Когда он это сделал, наше финансовое положение было трудным, а ему, вместо одного года, предстояло еще пять лет учения ! Но решение его не было увлечением, а сознательно обдуманным шагом.

В университете моих братьев любили, но отношение к ним было разное. Сережа был старостой на своем курсе, к нему приходили более серьезные студенты, а кого только к нам не приводил Коля ! И артистов и художников и каких-то иностранцев. Тех из них, кто был победнее, Коля стремился приглашать к завтраку. В таких случаях он говорил : « Мамочка, я привел одного артиста, покормите его пожалуйста, он ужасно беден и голоден ». « Да ты бы, Коленька, хотя бы накануне сказал », отвечала обычно мать. Коля на это лишь ласково улыбался, и все оканчивалось хорошо. Когда Сережа звал к себе, то он всегда хотел устроить угощение на свой счет, хотя денег у него было мало. Он приносил матери рубль или два и просил приготовить закуску на пять или шесть человек. Мать все умела устроить, но конечно рубля было недостаточно.

Сережа венчался через год после Лизиной свадьбы. Моя мать полюбила свою невестку, которая стала ближе к своей свекрови, чем к своей матери. После Сережиной свадьбы наша семья сильно сократилась. Осталось нас — мать, Коля Маня и я. Христина Ивановна продолжала жить с нами, а наша няня к тому времени уже умерла.

Мы с Маней выросли, стали много читать и рассуждали о прочитанном. В нашем новом приходе, в церкви Николы на Песках, во время службы некоторые гимназисты старались встать так, чтобы мы были им повиднее. Иногда нам посылались анонимные письма с объяснениями в любви и многочисленными грамматическими ошибками. У наших знакомых устраивались вечера с танцами. Мы много веселились, нас находили и привлекательными и оживленными. В Чернявском институте у Мани бывали балы. Коля на них был желанным кавалером. Он был красив, и институтки, увлекавшиеся им, искали сближения с нами. Наше детство с его играми и фантазиями пришло к концу. Мы стояли на пороге молодости с ее мечтами, надеждами и исканиями своего особого пути.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

# СЕМЬЯ ШАМОНИНЫХ

*С.А. Зернова*

В последние годы моей гимназической жизни я близко соприкоснулась с выдающейся и трудной семьей Шамониных. Началось все с моей дружбы с Зиной Шамониной, с которой я делила парту в течение многих лет. Несмотря на различие наших характеров, мы оказались глубоко связанными друг с другом [1]. Все Шамонины были необычайно способны и прекрасно учились, но были и неукротимы в своих вспышках гнева. Они, рассердившись или даже только взволновавшись, белели, как полотно, а не краснели, как это обычно бывает.

Я никогда не могла понять, как могли соединиться браком Николай Иванович и Надежда Дмитриевна. Хотя они жили в одном доме, но я не слыхала ни одного слова, обращенного ими друг ко другу. Я часто задавала себе вопрос неужели они когда-то говорили между собою. Над. Дмит. не замечала своего мужа, а он при ней стушевывался, умолкал, старался незаметно уйти из комнаты, а ведь у них было шесть человек детей !

Н.Д. была высокого роста, носила всегда кружевную косынку на гладко причесанных темно-русых волосах. В ее глазах была разлита горделивая грусть или вернее грустная гордость. Она гордилась своим родом Башкирцевых, особенно своей племянницей художницей Марией (1860-1884), умершей в Париже и оставившей свой знаменитый дневник. Сама она была прекрасно образована, знала в совершенстве много новых языков, занималась переводами и сама писала. К тому же она была и талантливая музыкантша.

Ее муж был жгучий брюнет, типичный армейский офицер, без особого образования, любивший поиграть в карты и охотно рассказывавший анекдоты из жизни провинциальных юнкеров. Все их дети отличались как дарованиями, так и неуравновешенностью. Думаю, на это влияло, как несоответствие характеров их родителей, так и ненормальность их воспитания. Зина не любила говорить мне о своем детстве. Отца

---

* Зинаида Николаевна Шамонина имела впоследствии частную мужскую гимназию в Москве.

она жалела и старалась защищать его. У нее было чувство скрытого раздражения против матери, хотя Н.Д. не только не угнетала детей, но даже не делала им замечаний. В то же время она их и не ласкала. Я не помню, что бы она при мне кого-нибудь поцеловала. Несмотря на это, она их по-своему любила и гордилась их успехами. Мне она нравилась, но я почему-то жалела ее и считала, что она должна была быть очень несчастной. Мне тоже было невыразимо жаль и ее мужа, особенно, когда он смолкал и быстро исчезал при появлении жены.

Дети были похожи физически на отца, у них были черные глаза и смуглый цвет лица. На мать была похожа только старшая дочь Надежда, и характер у нее был спокойнее чем у других. После окончания Бестужевских курсов, в Петербурге, Надя вышла замуж за известного историка С.Ф. Платонова (1860-1933). Когда большевики посадили Платонова и его дочь в тюрьму, Зина перехала жить на их квартиру.

К этому времени Надя уже умерла. Это случилось в начале тридцатых годов. После этого я потеряла связь с Зиной.

## Семья Любенковых

Благодаря Шамониным мы познакомились и с другой интересной семьей известных москвичей Любенковых. Когда я вспоминаю о них, то моя мысль уносится в их сад и в их гостеприимный дом в Гранатном переулке. Их сад был большой, тенистый. Весной он был полон цветущей сирени и жасмина; рядом с ним были другие сады, и весь воздух был напоен ароматом распускающейся природы. Я была тогда в расцвете моих сил и отдавалась всецело радости жизни.

Когда мы играли в горелки и я становилась в пару, мне было так легко, я не была заинтересована никем в особенности. Мы все относились друг ко другу как бы с раскрытыми объятиями, нам было хорошо быть всем вместе и разделять вдохновение московской весны и нашей юношеской дружбы.

После игр нас звали в дом. Старая няня разливала чай, мать Любенковых была англичанка, она выходила к нам с обручем на голове, защищавшим ее от постоянной головной боли. Отец, Лев Владимирович, был мировой судья, человек выдающийся, хорошо известный в Москве, славянофил и народник. Он носил поддевку и белую рубашку из тонкого полотна, подпоясанную русским пояском. Он воспитывал в том же духе своих сыновей. Они ходили в высоких сапогах и в русских рубашках на выпуск.

Лев Владимирович был очень приветлив, улыбка не сходила с его лица. Он всех нас любил и нам было хорошо в его доме.

Собиралась у них лучшая молодежь того времени. Зимой устраивались рефераты, костюмированые вечера, ставились отрывки из опер. Их небольшой флигель был всегда полон гостями. Когда, впоследствии, я встречалась с теми, кто бывал у Любенковых, нас всегда соединяли радостные воспоминания о счастливом периоде нашей молодости. Там я познакомилась с Новгородцевым (1866-1924), с братьями Рачинскими, Сергеем Тимофеевичем Морозовым, с знаменитым рассказчиком В.Е. Ермиловым, с Миролюбовым, обладателем изумительного голоса, с В.Н. Тумановским, будущим мужем Лидии Борисовны Богушевской, с красавцем Цемшем, с Стефановичем и Галактионовым. Большинство их принадлежало к помещичьей среде, либерально настроенной, с честным взглядом на жизнь. Многие из них стали земскими деятелями, служили по выборам, сделались профессорами и судебными деятелями.

Дома у нас к Любенковым относились подозрительно и с опаской. Это была для нас незнакомая среда, от которой шли новые веяния.

В этом отношении на нашу мать влияла сестра Аня, ее шокировали русские рубашки братьев Любенковых, простота и непринужденность их обращения. Ане не приходилось сталкиваться в Лазариковской среде ни со славянофилами, ни с либералами, даже студенты были чужды ей. Поэтому, когда кто-либо из Любенковых приходил к нам, то всегда была некоторая натянутость. Это очень меня мучило. Сглаживал все Коля, с которым нас более охотно отпускали к ним.

## Первая встреча с деревней

В 1880 году, когда мне было 15 лет, я в первый раз попала в русскую деревню. Сестра Лиза с мужем и дочерью Марусей жили тогда в большом селе Мосолове Спасского уезда Рязанской губернии. Григорий Никитич имел там место врача. Они пригласили всех нас провести с ними лето. Это было большим для меня событием. Калустовы снимали дом священника о. Иринарха, а он сам ютился во флигеле. Вокруг Мосолова были раскинуты имения многих помещиков. Все они были в самых хороших отношениях с Калустовыми и нас они приняли прекрасно. Мы с Маней были ученицы одних из лучших московских учебных заведений, Аня — интересная молодая женщина. Мать нашу вообще всегда все любили и уважали. Приезжал и Коля — красавец студент.

До нашего приезда о нас говорили, по приезде все начали нас звать к себе. Тут мы увидали широкую дворянскую жизнь центральной России. Мы побывали во многих помещичьих домах, и каменных — старинных, и деревянных, не-

давно построенных. Нам сделались знакомыми густые аллеи, ведущие в усадьбы с обязательным кругом перед домом, который особенно лихо объезжали кучера. Коренник шел мягко, скользя крупной рысью, а пристяжные неслись галопом. Перед крыльцом лошади останавливались сразу, как вкопанные. Кучера были одеты в поддевки и носили шапки с павлиньими перьями. За нами часто присылали из разных имений лошадей, иногда сами помещики были за кучеров.

Все это было так ново для нас: и раздолье полей, и большие леса, где можно было заблудиться, и река Ока с ее пароходами, и, наконец, сама помещичья и крестьянская жизнь. Деревню до тех пор я знала по книгам. Мертвые Души Гоголя я помнила почти что наизусть. Я начала приурочивать знакомых помещиков к типам Гоголя. У меня был и Плюшкин — помещик Стерлигов, и Коробочка — помещица Макашина, и прокурор — Смольянинов. Все они жили патриархально, соблюдая отцовские обычаи, носили белые или синие рубашки на выпуск, шаровары и красивые высокие сапоги. На головы они одевали картузы.

Самым близким соседом был нам Николай Николаевич Рихтер. У него было три сестры и таинственная для нас мать. Отец их когда-то был очень богат. Большой кутила, он под пьяную руку женился на крестьянке, которая страдала запоем и после его смерти вышла замуж за кучера. Дети получили только маленький хутор, все имение пошло с молотка. Дочери кончили курс в институте и жили с братом, который унаследовал от матери запой. Когда он был здоров, он был очарователен, лицом и характером он был в деда, очень тонкого и умного человека, одного из самых богатых людей уезда. Сестры были милые, воспитанные, хорошенькие и очень гостеприимные. Жили они замкнуто из-за отчима, кучера, и из-за запоя матери и брата. Сами они были какие-то трепещущие и нервные. Домик их был маленький с массой мух, так как тут же были конюшня и скотный двор. Мы как-то пошли к ним на хутор, к их дому вела узкая аллея. В самом начале ее мы встретили стадо гусей, которые нас городских жительниц ни за что не хотели пропустить. Только мы сделаем шаг, они нагнут головы и, сильно гогоча, полуходом полулетом раскрыв клювы бросаются на нас. Выручил нас Николай Николаевич и благополучно довел до дому.

Сестры приняли нас радушно, угощали и клубникой и малиной в большом изобилии и с такими сливками, каких я после нигде не едала.

Н.Н. был большой ценитель лошадей. Он вывел нам из конюшни своего любимого рысака, говоря, что такой крови как у него нет во всей губернии. Он обыкновенно сам правил им, сидя на беговых дрожках.

Чаще всего присылала за нами свои тройки семья Ржевских. Он был председатель Земской Управы, владел большим имением, но дела его были расстроены. Говорили, что имение его было заложено и перезаложено, но внешне их жизнь шла широко и размашисто. У них всегда было всего очень много; и детей, и гостящих родственников, и шума, и чисто русского гостеприимства. У Софии Федоровны Ржевской всегда была приветливая улыбка на лице и постоянная готовность принять и угостить гостей. Конечно, такая широкая жизнь шла за счет перезакладов и продажи пустошей и дальних рощ.

Совсем по иному жил Стерлигов, владелец чудесного имения над Окой. Его дом стоял на высоком месте, откуда открывался изумительный вид. Но этим видом немногие могли любоваться. Хозяин был скуп, сам в гости не ездил и у себя принимать не любил. Его-то я и окрестила Плюшкиным. Макашева — Коробочка была собирательница. Ее не любили ни помещики, ни крестьяне. Она сама, как и все у нее, была плохо скроена, но крепко сшита, жила она одиноко, копила деньги и увеличивала свое состояние. Интересы ее дальше этих пределов и не шли. Соседи приезжали к ней редко, и сама она не хотела терять времени на ненужные визиты.

Характеры этих помещиков ярко выразились на пикнике, устроенном по инициативе Ржевских. Клич был кликнут по всем соседям, было выбрано место на берегу Оки и между всеми было распределено, что каждый должен был доставить из продуктов. На долю моей сестры Лизы выпал вареный шоколад и сладкие булочки, которые она отлично пекла. Повсюду пошли волнения и приготовления: Лиза получила с оказией из города нужный ей шоколад и два дня ушли на печение булочек. Хозяйка не находила покоя, пока не убедилась, что ее булочки вышли на славу. После совещания с О. Иринархом, решено было вести сваренный шоколад в большом Лизином самоваре, полученном ею в приданое. О. Иринарх подал эту идею, говоря, что в ведре шоколад может расплескаться, бутылки от горячего могут лопнуть, а самовар и шоколад сохранит, а потом пригодится и для чая. Он сам взялся отвезти его на своей тележке.

День выдался прекрасный, на лугах только что скосили траву и сложили сено в громадные стога. Все было ароматно, радостно и светло, особенно для нас, до сих пор не знавших русской природы. Ее просторы окрыляли наши сердца. За нами заехали барышни Рихтер, на своей долгуше-линейке, с нами сели дети о. Иринарха: сын, бледный, апатичный, очень белокурый вплоть до ресниц, студент медик и дочка Саша, полный его контраст юркая, энергичная, брюнетка, любившая носить ярко-розовые платья, отделанные кружевами собственного вязания. Она была моих лет, и я с нею много бывала вместе. Мы обе еще были подростки.

О. Иринарх должен был от себя привести меду и хлеба. Это было ему сподручно, так как хлеб и мед приносили ему крестьяне за требы. Кроме того, он обещал еще угостить огурцами собственного рассола. Они славились на весь уезд. Их солила сама попадья, а рецепт держала в секрете. Ее саму я совсем не помню, она расплывается в какое-то пятно, а огурцы ее я помню отлично. Дочь была в отца, а сын в мать.

Остановились мы на залитой заходящим солнцем лужайке, около большого березового леса. Так там было привольно и чудесно. До нас уже приехало несколько долгуш, лошади были распряжены, кучера и прислуга хлопотали с провизией. На долгушах прибыли дети и второстепенные члены семейств. Позднее, на лихих тройках, стали подкатывать главные устроители пикника. Приехала и Макашева, с разными соленьями. У нее был тарантас тяжелый, но прочный, доставшийся ей от деда. Лошади были пегие и немолодые, быстрой езды она не любила. Одним из последних на дрожках, запряженных его кровным рысаком, прилетел Рихтер и привез шампанское. А о. Иринарха все на было ! Каждый с интересом наблюдал, как раскладывалась именно его провизия и какое впечатление она производила на окружающих. Лиза начала волноваться и объясняла всем, что будет еще шоколад и очень удавшиеся булочки. Она часто выходила на дорогу, по которой должен был приехать о. Иринарх. Наконец его таратайка появилась из-за опушки леса. Батрак сидел на задке. О. Иринарх подъехал торжественно, одетый в свою новую, коричневую рясу. Между ног он держал огромный самовар. Он стал вылезать, и, о ужас, весь шоколад остался на его рясе. Лиза стояла рядом, она окаменела от отчаяния, все ее усилия пропали даром. Крана в самоваре не было. Он выпал по дороге. Самые разнообразные чувства охватили бедную Лизу, зачем она послушалась о. Иринарха ? « Я ведь говорила », (но она не говорила), « Я так и думала », (но она не думала). Все подбежали к таратайке, всем было весело от полной растерянности главных участников маленькой драмы. Равнодушным оставался один батрак, он стоял с бочонком огурцов, и не принимал никакого участия в общем возбуждении. На него обрушился о. Иринарх: « Ну чего глаза на меня выпучил, как пень осиновый ? Чего смотришь ? Пошел отсюда ». Батрак отошел в сторону. Тогда о. Иринарх начал обсуждать происшествие. Долго он рассуждал, как и отчего это могло произойти. « Это, наверное, когда я спускался с косогора в овражек, тогда меня сильно встрясло ». Долго еще слышалось: « это верно косогор, напрасно я не послушался попадьи и надел новую рясу ». Лиза тоже долго не могла прийти в себя, и трудов было жалко и крана от самовара. Его так никогда и не нашли.

А пикник удался на славу. Для нас это было сплошное торжество. Всех охватило непринужденное веселье с играми, танцами и с ярко горевшими кострами, с варкой какой-то особенной каши. Все разъехались, когда уже совсем стемнело, и все были дружные и радостные. Одна Саша, сидевшая рядом со мной, была охвачена беспокойством. Она мне шептала: « и достанется папаше от мамаши, не давала она ему новой рясы и говорила, что диво бы в гости, а то на прогулку ».

О. Иринарх был практик — он умел и с мужиками ладить, и нравился начальству, и помещики его любили и охотно приглашали к себе. Он играл с ними в карты, иногда и они приезжали к нему в гости. Раньше фамилия его была Волков, но перед принятием сана, Архиерей переменил его фамилию на Добронравова, говоря, что пастырь не должен иметь волчье имя. Живя у них на усадьбе, я близко соприкоснулась с их жизнью. Саша была моей постоянной спутницей. Она была в доме правой рукой, и отца и матери, и знала как все село, так и большинство помещиков.

Однажды она предложила мне объехать с ней соседние деревни для созыва баб на жнитво. Я с радостью согласилась, меня особенно прельщала возможность самой править лошадью. Выехали мы рано утром; подъезжая к намеченным избам, Саша вылезала из тарантаса и кнутовищем стучала в оконницы. Вызвав хозяйку, она приглашала ее в следующее воскресенье прийти на помощь отцу жать рожь. Какая-нибудь Марья или Авдотья медленно вслушивалась в приглашение и так же медленно тянула: « что-же приду или Саньку пришлю ». Отказов почти не было. По воскресеньям крестьяне для себя не работали, за деньги тоже считали трудиться грехом, а помочь попу находили правильным; кроме того, им давалось обильное угощение. В воскресенье с пяти часов утра на нашем дворе было великое оживление — расставлялись столы, заранее приготовлялись огурцы, пироги и жареная накануне рыба. Выстраивались ряды бутылок с водкой и квасом. Жницы стали собираться после обедни, бабы были в белых шушунах с высокими кичками, вышитыми бисером и с серпами в руках. Веселый и довольный о. Иринарх суетился, шутил и, когда набралось человек тридцать, отправился со всеми в поле. Работа пошла оживленно, бабы быстро и легко сжали Иринархово угодье. К вечеру с песнями они пришли к нам на двор для угощения. Сначала жеманно и морщась выпивали по стаканчику водки, а потом уже и пили и ели сколько душе было угодно. Всего было приготовлено вдоволь. Кончив свой пир, вышли на дорогу и завели хоровод, откуда-то появились парни в сапогах, в картузах набекрень, с гармошками в руках. Вначале они играли поодаль, как бы для себя. Потом кто-то из них вошел в круг, за ним потянулись и остальные, гармоники были отставлены, все подхватили дружно хоровую

песню и стали плясать, притоптывая ногами. О. Иринарх и им вынес угощение. Общее веселье захватило всех. Разошлись под самую ночь. Ушли с песнями, и издали мягче и лучше звучали визгливые и громкие бабьи голоса.

« Слава Богу, хлеб сжали и в копна сложили и все в один день », говорил хозяйственный о. Иринарх.

После этого лета, проведенного в деревне, я вернулась в Москву полная новых впечатлений, познакомившись с жизнью, столь отличной от городской. Я много переписывалась с моей подругой по гимназии Зиной Шамониной и она назвала одно из моих писем: « художественным описанием поместья ». Мы тогда изучали теорию словесности и увлекались литературой. Я до сих пор помню это мое письмо, в нем я описывала заброшенную усадьбу. Ее владелец, разбогатевший купец, жил в маленьком флигеле, а дом с дивным садом, с залой в два света, с театром, украшенным изумительно тонкой лепной работой, карнизами, оседал, заростал плесенью, кривился и медленно погибал. Старик сторож позволил нам осмотреть дом и парк. Я рисовала в моем воображении людей прошлого столетия, в особенности у меня врезалась в память небольшая угловая комната с разноцветными стеклами, половина которых была уже разбита. Вид из этой полуспаленки был изумительный — на Оку, на синеющие вдали леса, на далекую почти пропадавшую в тумане церковку. Мне захотелось узнать, кто жил здесь когда-то, сторож рассказал мне о господской внучке, любившей проводить здесь время и ушедшей в монастырь. Зашли мы и в ванную комнату. В ней стояли два дивана, обитых серовато-голубой материей, очень выцветшей. Они маскировали ванны, в этой комнате необыкновено хорошо пахло душистыми травами. Не хотелось уходить из этого зачарованного дома и из запущенного сада с гниющими скамейками, с заросшими дорожками и провалившимися оранжереями.

## ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

# ОКОНЧАНИЕ ГИМНАЗИИ

*С.А. Зернова*

Маня кончила курс, я была в 8-ом классе, мы начинали строить планы на будущее, нас обеих больше всего влекло устройство новой школы, совместной для мальчиков и девочек, с преобразованием ее в гимназию. Нам хотелось организовать ее совсем иначе, чем существующие учебные заведения. Я не только мечтала об этом, но даже сжилась с этой мыслью. В гимназии я многим из своих подруг говорила об этом, и все знали, что я создам какую-то новую школу.

Наступили наши выпускные экзамены, они шли ускоренным темпом по случаю коронации Александра III (1881-1894). Одними из последних устных экзаменов были латинский и греческий; греческий был утром, а латинский вечером. Меня вызвали в 8 часов вечера, я была особенно вдохновлена. Не я переводила Цицерона, не я говорила наизусть и разбирала оду Горация, а какой-то отделившийся во мне дух, это было больше, чем вдохновение. Присутствовавший на экзамене, инспектор учебного округа Лаврентьев встал и слушал меня стоя, и все повторял: « Превосходно, замечательно ». Я не помню в жизни такого подъема духа.

Когда я кончила, Лаврентьев подошел ко мне и спросил: « что я намерена делать после окончания », я сказала, что хочу открыть новую школу. Он предложил мне свою помощь. После экзаменов Софья Николаевна и Георгий Борисович Фишер возили выпускных в Троице-Сергиевскую лавру, а 1-го сентября, в день акта нашей гимназии, выдавались дипломы. Выпускные были всегда в белых нарядных платьях, в гимназии проводили целый день: обедали, вечером танцевали и ужинали. Лаврентьев говорил исключительно со мной и отнесся в высшей степени сочувственно к моей идее создать новую школу.

Этот день 1-го сентября 1883 года особенно врезался у меня в памяти. Наконец совершилось то, что всем нам так хотелось: мы окончили гимназию и получили аттестат зрелости с большими правами. Только одна Фишеровская гим-

назия во всей России давала аттестат зрелости с правом преподавания во всех классах женских гимназий и в мужских прогимназиях.

У всех нас, окончивших, при прощании друг с другом сжались сердца и захотелось продлить это гимназическое время. У меня лично, несмотря на ободряющие речи Лаврентьева, явился страх перед большой ответственностью. То трудное дело, о котором я раньше так много говорила теперь требовало своего немедленного осуществления, а мне было лишь 18 лет.

Софья Николаевна позвала меня к себе на другой день и спросила меня о чем я говорила с Лаврентьевым. После двухчасовой беседы с ней я пришла к убеждению, что мне надо расстаться с моей мечтой устроить новую школу, так как на это у меня не было средств. Устраивать же общество или становиться в зависимость от отдельного лица Софья Николаевна отсоветовала. Вместо этого она мне предложила урок в семье Веригиных, только что приехавших из Ниццы в Москву для образования детей.

С этим уроком начинается моя педагогическая деятельность, которой я отдавала всю себя до самого моего замужества. Не только моя учебная деятельность, но и близкая связь с некоторыми из семейств, где я давала уроки, имела огромное влияние на всю мою жизнь.

Сестра Маня по окончании курса тоже сразу получила урок у Масловых, а через них и у других их друзей.

## Моя педагогическая деятельность

Моя педагогическая деятельность отнимала у меня почти весь день. Мои ученики и ученицы захватывали меня, к каждому из них я относилась по разному. В этом и заключался мой успех и действительно блестящие результаты моих уроков. У моих учеников не было неудач, но зато, когда было нужно, я приезжала к ним перед экзаменами и в 5 часов утра. Я любила заниматься на свежую голову, но когда я видела утомление, я прерывала урок до положенного времени. Редко, когда он был бесцветен и мало-интересен. Как я готовилась к каждому уроку ! У меня всегда не хватало времени, поэтому многие меня знали по одной примете, я ездила на извозчиках, читая книги.

Когда я начинала мои занятия, родители часто жаловались на детей, обвиняя их в лености. Этого недостатка я никогда не находила. Я считала, что неуспех ученика всецело зависит от учителя. Если ученик плохо подготовил урок, значит я не сумела его заинтересовать, или дала задание не по силам, или случилось какое-нибудь неблагоприятное

обстоятельство в его жизни. Я старалась разобраться во всем этом и устранить всякую возможность неисполнения долга моими учениками.

Когда я рассказывала что-нибудь своим ученикам, я вся была в этом, и наши уроки быстро пролетали. Я никогда не жаловалась на неспособность или на леность детей и всегда их искренне хвалила.

## Веригины

Я сделалась другом и даже членом семьи многих моих учеников, но особенно тесная связь установилась у меня с Веригиными. 10 августа 1883 года мне минуло 18 лет, а 28 сентября я позвонила у двери нарядного подъезда дома Маджугинского на Поварской. Отпер мне дверь карлик Ваня и доложил обо мне немцу лакею Фердинанду. Ко мне вышла друг дома Наталья Владимировна Толстая. Своими умными, черными глазами она, казалось, хотела проникнуть в мою душу. Она начала задавать мне один вопрос за другим. Я была смущена и грандиозностью дома, и его элегантной обстановкой и французким языком, на котором говорила со мною Толстая.

Несмотря на смущение, я чувствовала какую-то необыкновенную внутреннюю свободу, Наталья Владимировна очаровала меня своей чудесной улыбкой, и мне стало совсем легко, когда, обнявши меня, она представила меня вошедшей Марии Ивановне Веригиной.

На другой день я приступила к урокам с тремя младшими детьми. С Мишей и Катей по всем предметам, а с Маричкой только по русскому языку и истории. Уроки начинались в 8 часов утра, все было по расписанию и жизнь всего дома была приноровлена к учению детей. Их было четверо. Старший 15-летний Сережа поступил в лицей, и к нему приходил ежедневно репетитор. Высокий бледный юноша с меняющимся голосом, с огромными голубыми глазами, Сережа произвел на меня странное впечатление. Это по его просьбам мать решила приехать из Ниццы не в Петербург, где были ее близкие родственники, а в Москву, в центр Православия. Сережа, кроме лицея, по желанию матери, брал уроки рисования и игры на скрипке, но жил он только Церковью, он был окрылен высоким религиозным настроением. В детстве год или два он увлекался математикой, и профессор, занимавшийся с ним, поражался его исключительными способностями. Он называл его вундер-киндом, так как Сережа решал задачи по высшей математике, не зная ее. Однако это увлечение прошло и он отдался игре на скрипке.

С трудом отнимали у него скрипку, когда он ложился спать или садился обедать. Даже в вагоне поезда он играл не по нотам, а сочинял сам, так что многие плакали, слушая его игру.

Во время моего знакомство с ними, он безучастно отыгрывал с г. Люгертом скрипичные упражнения и делал это только для матери. Теперь интересовало его одно Православие. Он соблюдал строжайшим образом все посты, не ходил, а летел в церковь, приходил первым и уходил последним со службы. Приходские богослужения его не удовлетворяли, он бывал или в Греческом подворье на Никольской или в одном из московских монастырей. Он любил истовую службу, не выносил нестрогого пения, крестился размашистым крестом. Я недоумевала, где он мог научиться старо-русским обычаям, живя во Флоренции и Ницце. Он знал священное писание и богослужение до тонкости, задавал вопросы священникам и монахам, на которые они часто не могли дать ему ответа. Монашество было его идеалом, поступление в монастырь — целью его жизни. Он жаждал дисциплины и внешнюю обрядность ставил наравне с внутренним содержанием христианского учения. Он держался строго требника и устава. Даже небольшое сокращение службы его возмущало и он выходил из себя. Однажды, узнавши, что во время болезни ему дали обманным образом мясной бульон, он отказался совсем от еды. Когда я проводила у них лето, он всегда искал общения со мной и был ко мне сильно привязан. Мы с ним часто спорили, много сведений по вопросам церковным и богословским я получила от него. Я, в свою очередь, оказывала на него большое влияние. Закончив курс в лицее, Сергей хотел принять постриг, но встретив сопротивление матери, он согласился на брак и белое священство. К выбору невесты он относился совершенно равнодушно. Ее нашли в родовитой, но обедневшей семье Мусин-Пушкиных. Она не разделяла интересов своего жениха. Ее просто уговорили выйти замуж за состоятельного человека. Брак был несчастлив и кончился разводом.

После окончания Духовной Академии и рукоположения о. Сергий сперва был священником в его родовом селе Ершове, потом он переехал во Францию, и был настоятелем русской церкви в По. Когда его жена и двое детей уехали на побывку в Россию, он воспользовался их отсутствием, бежал в Италию и там принял католичество. Он умер в Риме, став таким же фанатиком католиком, каким православным он был в молодости († 1938).

Все четверо Веригиных были очень разные. Миша был красив, жизнерадостен. Мальчиком он увлекался солдатиками, потом марками. Он любил собак, лошадей, охоту, гитару и цыганское пение. Он был лентяй и кончил свой курс, только благодаря моим занятиям с ним.

Маричка тоже была очень красива и отличалась исключительной добротой. Она дала слово отцу перед его смертью заботиться о матери и свято выполнила свое обещание. Ее сестра Катя умерла, когда ей было 16 лет. Она была менее красива, чем Маричка, но ее лицо было так оживлено, в небольших глазах и в улыбке маленького рта было так много острого ума, огня и какой-то милой насмешки, что не замечалось ни ее слишком длинного носа, ни отсутствия той стройности, какой отличалась Маричка. Все дети носили отпечаток элегантности. Когда я после завтрака гуляла с ними, все обращали на нас внимание. В первый год моего знакомства Веригины носили траур по отце. Они были одеты в темные прекрасно сшитые платья, у них были черные большие мохнатые шляпы и заграничная обувь на их длинных ногах.

## М. И. Веригина

Мать Веригиных, Мария Ивановна, по первому браку княгиня Голицына, по смерти князя, обвенчалась с мужем своей покойной сестры. Это было запрещено нашей церковью и М.И., будучи религиозна до мистицизма, всю свою жизнь мучилась этим поступком.

Ее религиозность выработалась в ней под влиянием голицынской семьи, мистически настроенной. Митрополит Филарет был их другом и М.И. попала под его очарование и влияние. Голицыны выстроили под Москвой монастырь-общину, куда она сама стремилась уединяться. Вместе с тем она была замужем за адъютантом графа Воронцова (1782-1856), наместника на Кавказе, и молодая, обаятельная княгиня пользовалась большим успехом. Поездки верхом, блестящие балы, с одной стороны, а с другой — выстаивание долгих служб по пять часов — все это сочеталось в ней. Она ко всему относилась с рвением. На Кавказе появилась холера, и молодая княгиня самоотверженно обходила больных по их саклям, сама давала лекарства и растирала щетками заболевших, не думая о себе и не боясь заразы.

Она не была счастлива с первым мужем, овдовев, решила идти в монастырь, но, влюбившись в своего зятя, вышла за него замуж. Ее второй муж Константин Михайлович Веригин был не только далек от мистицизма, но и вообще относился индифферентно к религии. Он любил жизнь с ее красотой и блеском. К первой своей жене и к сыну от нее он относился равнодушно, а Марию Ивановну любил горячо, как и четырех детей от нее. Они были счастливы и дружны до конца его жизни.

Мария Ивановна всегда особенно выделяла меня и это относилось также к моей семье. Ее и наше положение были

столь различны. Их огромные средства, блестящий дом и светскость не могли идти в сравнение со скромными условиями нашей жизни. Несмотря на это, М.И. подчеркивала свое уважение к моей матери. На первый день Рождества и Пасхи она делала всего два визита со своими детьми: к своей 80-летней тетке, председательнице благотворительного общества, фрейлине Варваре Сергеевне Ершовой и к моей матери. Она чтила мою мать и восторгалась всей нашей жизнью. Она чувствовала, что наше счастье зависит от нас самих, что все мы находим радость в труде, что наши интересы выше интересов обычного окружающего их светского общества, что мы к ним относимся искренно хорошо, но никто из нас не захотел бы поменяться с ними местами.

Веригины часто присылали за мной свои экипажи: зимой сани, где на запятках стоял лакей, весной карету, где лакей сидел на козлах. Это им казалось необходимостью, а у нас ни у кого никогда не развилось вкуса к таким привычкам. Я искренно любовалась драгоценностями Марии Ивановны, но никогда у меня не появлялось желания иметь больше того, что у меня было. Веригины меня уговаривали бывать на их вечерах и балах, но у меня на это не было ни малейшего желания и я ни разу не отозвалась на их приглашения.

У Марии Ивановны, умной и доброй, характер был тяжелый. Когда она бывала в хорошем настроении, легко дышалось в доме, но часто она, без видимой причины, бывала не в духе. Тогда всех выручала Маричка: она выслушивала ее жалобы, гуляла с ней, играла в четыре руки, отдавала безропотно всю себя матери. Я ни разу не слыхала от нее жалобы на мать (а мы с Маричкой были очень дружны). Иногда только по ее скорбной улыбке я замечала, что ей было тяжело выносить не только плохое настроение, но нерасположение матери к людям, ни в чем не повинным. Жившая у них со дня рождения детей гувернантка, мадемуазель Мало обыкновенно была объектом гнева Марии Ивановны. Как я помню ласковую нежность Марички к несчастной, плачущей « Мамали » после каждого выпада матери.

Мария Ивановна говорила, что она, как тигрица, любит своих детей и вместе с тем сравнивала себя с курицей, выведшей утят. Ближе всех к ней была Маричка, ее она безмерно любила, но и в этой любви была немалая доля эгоизма.

## Ершово

Лето Веригины проводили в своем имении « Ершово », в Пензенской губернии. Они начали приглашать туда и меня. Я была у них четыре раза, в последний мой приезд к ним там жила со мною и моя сестра Маня. Как я ни любила

Веригиных, как ни близка я с ними была, но мне было тяжело надолго уезжать от моих. Живя в Ершове до глубокой осени, я считала дни, когда я смогу вернуться домой.

Я уже описала лето, проведенное мною в Рязанской губернии, в Мосолове у Лизы, и быт живших там помещиков. Жизнь Веригиных в Ершове была совсем другая, я не нахожу общих черт ни в чем.

Им принадлежало 10000 десятин, 4 села входили в черту их владения, всюду было благоустройство и безусловное довольство. Отец Марии Ивановны был прекрасный хозяин; он оставил своим трем дочерям и сыну огромные имения, М. И., при освобождении крестьян, убедила их взять большие наделы земли, а в имениях ее сестер крестьяне получили малые наделы и, вместо остальной земли, вознаграждение деньгами. В результате получилось благосостояние Веригинских крестьян и бедность соседних.

Я не видала в Ершове соломенных крыш, все избы были под железом, много было каменных домов. Лесу было много, в нем были разбиты участки правильной рубки, из соснового бора вывозили деревья только на мачты, в липовом лесу (липняке) были пасеки, в имении протекала рыбная река « Ворона », в каждом селе была школа и больничка, созданные на средства Марии Ивановны.

В двух селах, Ершове и Ширяеве, были церкви. В самом имении была образцовая ферма в заведывании немца Адама и его жены Екатерины, тут же был птичник — большое кирпичное здание, выкрашенное в розовый цвет. Конюшня на 20 стойл, оранжереи, сад, парк, все это содержалось в образцовом порядке, ничего не было заложено, дом был большой, просторный.

Карлик Ваня и женская прислуга привозились из Москвы, а остальные были Ершовские, причем их одевали в короткие поддевки и голубые шелковые рубашки. Мух было мало, но все-таки, по старинному, слуги стояли за стульями, отгоняя длинными ветками мух от обедающих.

Соседей не было ближе чем за 50 верст, мы были одни и пользовались всеми прелестями широкого барского помещичьего быта. Я могла бы написать много страниц с описанием разных картинок этой ушедшей навсегда русской жизни.

За 4 лета, что я там провела, Маричка из подростка сделалась молодой девушкой, выезжавшей в свет, Сережа кончил курс, Миша и Катя уже не запрягали своих любимых собак в легкую коляску, а ездили верхом и охотились. Разница между ними стала проявляться гораздо сильнее.

Когда я с Веригиными приехала в первый раз на станцию « Башмаково », я была поражена количеством экипажей, высланных за нами. Нас встретил главный управляющий и доложил Марии Ивановне, что в имении все благополучно.

Мария Ивановна с Маричкой сели в маленькую коляску, запряженную тройкой с главным кучером Сергеем, маленьким, худощавым человеком. Управляющий ехал впереди. От станции было 40 верст. Вскоре начались Веригинские земли и леса. Поля, поля, и поля...

При въезде в Ершово нас встретили крестьяне с хлебом-солью и староста верхом. Через все село ехали шагом и раскланивались с высыпавшим из изб народом. Прислуга в Москве, по большей части немцы, звали Веригину «вотр эксэлланс», народ в деревне звал ее Марией Ивановной.

В этой жизни в Ершове было много поэзии и красоты, в последний год моего и Маниного пребывания, там все лето провел художник Богатов и был в полном очаровании от этой жизни.

Помню одну картинку: я и Маричка гуляли по парку и подошли к церкви, которая была совсем рядом. Было под вечер, был дивный закат, мы обе были молоды, обе в белых платьях, шли обнявшись и остановились у ограды. Перед входом в церковь на коленях, с котомкой за плечами странник пел: «Свете Тихий, Святыя Славы, Бессмертного, Отца Небесного, Святого, Блаженного, Иисусе Христе», и руки его поднимались, и кланялся он земно. Мы ни слова не сказали, не нарушая его молитвы, мы и сами молились.

А Сережа тоскующий искал меня и разговоров со мной, и помню я наши с ним прогулки по чудному Ершовскому парку и беседы на религиозные темы.

У Веригиных была экономка Пелагея Никитична, которую звали, любя ее, Поленькой. Кругленькая, маленькая, беленькая, старенькая, она царила в своей кладовой с банками самого разнообразного варенья от смородины до ананасов, с моченьями, соленьями и маринадами. Чего только у нее не было. Любила она позвать нас к себе и угостить, сама же она была великая постница, и все знали, что после каждого поста розговенье укладывало ее в постель. Очень она сердилась, когда ей говорили об истинной причине ее болезни, сама она все сваливала на простуду.

В Ершове был священник, к великому негодованью Марии Ивановны, пьяница. Хотя она и все дети, подходя под его благословение, целовали у него руку, но в дом его не приглашали и подарков ему не привозили.

А Ширяевский священник был идеалистом, поставившим себе в послушание — смирение; он был высокого роста, худощавый, бледный, спокойный и какой-то во всех отношениях чистый. Он приезжал к Веригиным, но никогда не садился в присутствии Марии Ивановны, к великому беспокойству Марички. Она всегда старалась, чтобы ему было легко и радостно у них. Мария Ивановна и Сережа его любили, но он очень стеснялся в присутствии М. Ив., и стеснение это

было иного рода, чем стеснение подчиненного лица перед начальством, а скорее вошедшее в плоть и кровь сознание чего-то недостягаемого в лице владетельной Веригиной. Мы приезжали к ним, и жена его с сыном и дочерью также без всякой униженности воздавали особенное почитание Марии Ивановне.

Всем им: фельдшерам, учителям, управляющему, старостам, Поленьке и всей многочисленной дворне привозились подарки, которые раздавались 5-го июля, в день именин Сережи.

Этот день особенно праздновался, три священника служили накануне долгую всенощную, и в день именин обедню с акафистом. Все служащие приглашались к чаю, днем приходили крестьяне и приносили первый сноп сжатого хлеба (обыкновенно в этот день начинали жатву). Крестьян одаривали, угощали, но водки не было никогда. Мария Ив. гордилась тем, что через нее ни один крестьянин никогда не выпил спиртного. И винокуренного завода строить не соглашалась, хотя управляющие доказывали ей выгодность этого дела. Все в доме получали подарки, и нужно отдать справедливость Марии Ивановне, она умела обо всех подумать и доставить настоящую радость от получения нужной и красивой вещи.

Каждое воскресенье после обедни Маричка и Катя раздавали детям ленты, бусы, рубашки, платки и делали это, разделяя общую радость.

Однажды крестьянин из чужого села Пересеенкина получил в поле смертельные ожоги. Мария Ив. с Маричкой и со мной немедленно туда поехали, сделано было все, что возможно, но его не спасли, через неделю или десять дней он умер. Перед смертью он горевал, что сгорел его крестик на шее и он умрет без креста, я отдала ему свой крестильный крест; Маричка ходила к нему два раза в день, кормила его сама, и он умер в ее присутствии. Умер, как умирают Тургеневские крестьяне, позвал жену, приказал ей, не откладывая в долгий ящик, выходить замуж за какого-то бобыля, взять его в дом, начать во время посев, детей в обиду ему не давать, да прежде всего приказать ему исправить забор у овина.

Село Пересеенкино было безземельное, Веригинские крестьяне благоденствовали, а они терпели нужду и они-то во время революции сожгли и разгромили чудесное Ершовское имение и Маричкин дом, доставшийся ей после смерти матери.

## Смерть Марички (Марии Константиновны Челищевой)

Я написала мои воспоминания о Веригиных 23 сентября 1930 года, находясь на отдыхе с моим мужем в деревне Артис.

Вечером я прочитала ему написанное и мы начали вспоминать о прошлом. Я особенно много думала уже перед самым сном о Маричке. Проснувшись утром я сказала Мише, что хочу еще писать о ней. Вскоре почтальон принес мне письмо от незнакомой мне особы, которая сообщала, что в 2 часа дня 9 сентября скончалась Маричка, дорогой мой друг на протяжении без малого 50-ти лет. Это неожиданное известие побуждает меня теперь поярче описать ее.

Если у рано умершей Кати Веригиной ум был самой видной чертой, то Маричке можно приписать необыкновенную чуткость и особенную верность тем, кого она любила. Она была неизменна в своем расположении и доказывала это всегда на деле. Обещав кому-нибудь помощь, она давала ее и с радостью и с большою точностью. Мне приходилось быть посредницей некоторых ее обязательств и я не помню, чтобы ее денежный перевод опаздывал хотя бы на один день.

Она была религиозна, но совершенно по иному, чем ее брат Сергей. Он ставил превыше всего форму, она — дух христианства. Ему нужно было по молитвеннику вычитать всю службу, она могла молиться одна часами, не замечяя времени, но делала она это не по букве устава, а по вдохновению.

Ее мировоззрение и вся ее личность с особой силой выявились в связи со смертью трех самых близких ей людей. Когда ее брат Миша покончил самоубийством, она была потрясена до болезни, граничившей с психозом. Не сама разлука с ним, а тяжкий грех самоубийства поразил ее. Как она молилась за него, как страстно она вымаливала у Господа прощение ему! Катю она любила нежнее, глубже, она была с ней очень дружна, но смерть ее она приняла светло и спокойно, уверенная, что « Кате там будет хорошо ». Так же она отнеслась к смерти матери. Мария Ивановна скончалась в Петербурге. Я приехала к ним через 12 часов после ее кончины. Маричку я нашла глубоко огорченной, но сильной и бодрой. Она трое суток день и ночь читала псалтырь у тела матери, была ушедшая от нас, жившая в ином и как будто в совместном с матерью мире. В день похорон я встала очень рано и хотела войти в комнату, где лежала покойная, но дверь оказалась запертой на ключ, там была Маричка, она хотела быть одной. Потом, выйдя оттуда, она мне сказала: « Сонечка, дорогая, теперь я совсем покойна », и лицо у нее было такое светлое. Мы с ней крепко поцеловались, я чувствовала, что в ту минуту она никому бы, кроме меня, не могла сказать этих слов. Много у нее было светских друзей, но наша связь была глубже, и никому она не открывала своей души так, как мне. Во время похорон, церковь была переполнена людьми высшего Петербургского света. Миша был офицером лейб-гусарского полка; командир полка и офицеры

в парадных формах, красных ментиках, обшитых бобром, выносили гроб. После отпевания все подходили к Маричке и на французском языке выражали сочувствие. К самому концу обедни приехал Сережа из деревни, тогда уже О. Сергий, принявший священство и живший в Ершове. Он вошел в меховой рясе, не привыкший еще к этой длинной одежде. О. Сергий был необычаен для светского Петербургского общества, его оглядывали и изумлялись, самолюбивый Миша почти враждебно смотрел на брата, закусивши нижнюю губу.

И все трое у гроба были разные: старший, о. Сергий, совершенно далекий от света, Маричка в траурном платье из лучшего Петербургского модного дома, по светски принимающая выражения соболезнования и так же на них отвечающая, а сокровенно, переживающая свое горе, и лейб-гусар Миша, не понимающий брата, и одобряющий сестру постольку, поскольку она держит себя так, как этого требуют законы большого света.

Еще до смерти матери Маричка вышла замуж за Михаила Михаиловича Челищева. Муж ее был порядочный, но ничем не выдающийся человек. Детей у них не было. Много времени они проводили за границей. Из-за ее слабого здоровья зимой они обычно жили в Каннах. Муж умер в самом начале революции, а ей пришлось пережить все ужасы большевизма. Она скончалась в неописуемой нищете. Последние годы она ютилась в каморке около кухни своей прежней квартиры, прикованная к постели. Ей не на что было купить дров, чтобы хоть раз в течение зимы истопить печь. Она была ограблена большевиками до последнего стола и стула, она должна была продать свою шубу для хлеба насущного.

К счастью, в самое тяжелое для нее время, у меня наладилась с нею переписка и мы могли ей помогать, посылая посылки с съестными припасами, но главное, у нее возникла надежда приехать во Францию. Ее родственники выхлопотали ей визу, мы добыли деньги. В последнем письме она мне сообщала, что осенью она собиралась приехать к нам. Но ей так и не удалось увидать свободы. Царство ей небесное. Ее смерть избавила ее от жестоких страданий, так не заслуженных ею.

## Наталья Владимировна Толстая (1836-1916)

Кроме моей педагогической деятельности, у меня завязались новые связи с близкими к семье Веригиных людьми, в особенности с Толстыми и мадемуазель Бессон. О Наталье Владимировне Толстой я уже упоминала, когда описывала свое первое посещение Веригиных. Ей было тогда 45 лет, а мне 18, но несмотря на это, у нас началась дружба. Насколько

ее две сестры были мягки, кротки и малодеятельны, настолько она была энергична, пряма до резкости, искренна, без компромиссов. Она, как и ее сестры, была очень религиозна, не пропускала постов без говения, праздников без служб. Сестры при их слабом здоровье и ограничивали этим свою церковность. Но у Н.В. вера в Бога освящала все, что бы она ни делала. Она всегда руководилась простым вопросом: «А понравится ли это Господу Богу ? » Этот вопрос она задавала не только себе, но и всем с кем имела общение. Она была бесконечно добра, но и строга. Я никогда не слышала от ее сестер грубого слова, а с ее уст всегда летели слова, « мерзость, гадость ».

Все, что делалось в России, она принимала настолько близко к сердцу, что я нисколько не сомневаюсь в том, что она без размышления пожертвовала бы своей жизнью для родины. Она была монархистка, царю она писала смело, высказывая ему всю правду. Царь ценил ее откровенность и отвечал ей. Она думала, что все зло лежит в той стене, которая отделяет царя от народа.

Род Толстых был старинный, Толстые с графским титулом были менее родовиты чем Н.В., но она никогда не гордилась своим происхождением и часто говорила: « Для Господа все равны ». Одинаково, почти что в тех же выражениях она распекала как своего важного родственника, так и своего служащего.

С Марьей Ивановной Веригиной она была дружна с юных лет, очень любила ее, но часто не соглашалась с ней и всегда говорила правду в глаза. Она не одобряла брака о. Сергия с Татьяной Ивановной Мусин-Пушкиной, советовала искать невесту из духовной среды. Так же не одобряла она и выбора Михаила Михайловича Челищева для Марички, считая его человеком без внутреннего содержания.

Я сказала ей одной из первых, что я невеста. Она меня перекрестила, сняла с своей шеи образок и благословила им меня. Этот образок я надела на моего старшего сына в день его венчанья. Мы не пригласили никого из посторонних на нашу свадьбу, но Н.В. сказала, что она непременно придет в церковь, даже без зова. И она в своем сером платье, серой мантилье и серой шляпе стояла в церкви Симеона Столпника, на Поварской, впереди всех и горячо на коленях молилась за нас. Она вся преображалась во время молитвы и ее горячая любовь к Богу озаряла ее умное лицо.

У нее было два брата. Старший генерал-адьютант и друг Великого Князя Михаила Николаевича (1839-1909) умер неженатым. Второй брат был слабовольным человеком. Их знаменитое имение « Брынь » в Калужской губернии управлялось всецело Н.В. так как они не делились. Она мне часто говорила: « Если Богу будет угодно и я переживу брата

Александра, то все имение завещаю под женское общежитие с монастырским уставом». Но она умерла раньше и имение досталось брату. Крестьяне ее любили, верили ей и жили в достатке. Когда пожаром была уничтожена большая часть села, Н.В. дала бесплатно лес для всех изб. Она мечтала дожить до коренной земельной реформы в России.

К счастью, она скончалась в 1916 году до большевиков, ей было больше 80 лет. До самого конца она сохранила свежую память и ясность ума. На смерть она смотрела, как на переход в лучшую, вечную жизнь, как на путь к Господу. Моя старшая дочь в ночь ее кончины почувствовала ее конец.

## Мадемуазель Бессон

Кроме Н.В. Толстой, я близко сошлась с мадемуазель Бессон, француженкой по происхождению, англичанкой по воспитанию. Она давала уроки английского языка в лучших московских домах, была прекрасно образована, два раза совершила кругосветное путешествие, жила долго в Австралии и очень ее любила.

Она была некрасива, невысокого роста, прямо держалась и была необыкновенно аккуратна. Казалось, что она носила одно и то же платье. Она не меняла ни фасонов, ни материй, когда снашивалась часть ее одежды, то она отдавала ее бедным, заранее приготовив себе точно такую же новую. Она носила темно-серую юбку, черную блузку, серый вязаный платок и черную без украшений шляпу. Она имела только то, что было необходимо: небольшая корзина с бельем, ручка, карандаш, тряпочка для вытиранья перьев, зонтик, калоши. Книга прочитанная сразу дарилась, фотографий она не брала и сама не снималась. У нее была единственная вещь, которую она любила — это была аметистовая брошка с жемчугом, подарок дорогого ей человека. Она отдала ее мне с просьбой, чтобы я передала ее моей старшей дочери, когда ей будет 23 года. Она хотела, чтобы моя дочь знала, что эта брошка была дороже всего мадемуазель Бессон.

Она была отзывчива на всякую просьбу, скольких она устроила, скольким помогла и вывела в люди[1]. Однажды я

---

[1] Примечание. Когда я писала эти воспоминания, я как раз раздумывала писать ли мне о том, что сделала м-ль Бессон для Крейнов и неожиданно один из них пришел к моему мужу на прием и его приход побуждает меня рассказать следующее: много лет тому назад м-ль Бессон была приглашена к Нижегородскому губернатору для занятий с его детьми. По дороге в его имение она услыхала на постоялом дворе подростка, игравшего на скрипке. Она сама хорошо играла на фортепьяно и мальчик поразил ее своим талантом. Она вызвала его в Москву, пригласила ему учителя, а потом определила его в консерваторию. Этот

рассказала ей про одного бедного больного. На другой же день она принесла мне половину своего обеда и делала это в течение всей зимы. Она тогда жила воспитательницей у очень богатых людей Сабашниковых, но брать у них лишнего не хотела, лишая себя половины обеда.

До чего мы были с ней разные. Она никогда у меня не бывала, так как вообще в гости ни к кому не ходила. Мы встречались с ней в домах, где мы давали уроки. Она часто провожала меня до дому, причем несла мои книги, несмотря на все мое сопротивление, ведь я была чуть ли не вдвое моложе ее. Мы с ней вели интересные разговоры. У нее был острый ум, она всегда была весела, прекрасно знала литературу, уроки давала блестяще.

Меня она любила, мне кажется, больше других. Когда она поздравляла меня с замужеством, то сказала, что не сомневается в моем счастье, а до тех пор считала, что возможно поздравлять только после 10 лет брака.

Ее опекуном и большим другом был знаменитый географ Элизе Реклю (1830-1905) Мать м-ль Бессон, умирая, передала все имущество ему, чтобы он выдавал ее дочери периодически деньги, зная, что иначе она все раздаст другим. Но она отказалась от наследства, заявив, что она не имеет на него права, т.к. не ухаживала за матерью. Значительное состояние перешло к женщине, служившей у матери.

М-ль Бессон зарабатывала много, но все раздавала бедным, говоря, что пока она жива, то будет работать, а на похороны ею передана маленькая сумма г. Реклю. Но Бог судил иначе. Ее разбил паралич, она четыре года пролежала в лечебнице, куда за нее платили ее друзья. Она это сознавала и мучилась этим. Такова была Маргарита Бессон — бессребреница в полном смысле этого слова.

---

тщедушный маленький еврей, чуть ли не нищий, через несколько лет сделался знаменитым скрипачем, профессором Московской консерватории. Благодаря ему получили образование и его братья, тоже одаренные музыканты, и один из них был у нас сейчас.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

## СМЕРТЬ БРАТА НИКОЛАЯ

*С.А. Зернова*

Мой брат Николай заболел сыпным тифом 8-го апреля 1892 года. Болезнь протекала бурно, температура была высокая, бред безумный. В начале требовалось три или четыре человека, чтобы удерживать его от попыток выскочить из кровати и убежать из комнаты. Только сила нашей любви научила нас, как успокаивать эти припадки.

В пятницу на страстной, 19-го апреля в 5 часов утра у него появилась страшная дрожь, это не был озноб, а трепет всего тела, который никогда мной не забудется. « Это смертельная дрожь », пробежало у меня в голове: « он умрет ». Мы с матерью решили послать за священником. Пришел ранний, т.е. служивший раннюю обедню. Увидавши брата он стал говорить, что боится дать ему Святые Дары без разрешения главного батюшки, тем более, что у брата снова начался тот припадок безумия, который бывал у него в начале болезни. Мы ничем не могли остановить потока слов и криков, которыми оглашалась вся наша квартира. Меня охватил ужас, что он мог умереть в таком состоянии, и я побежала к « позднему » священнику. Получив от него разрешение, я вернулась домой и еще на лестнице услышала усилившиеся крики брата. Когда я сказала священнику о позволении о. Рождественского причастить брата и когда священник начал читать молитвы, брат успокоился и замолчал. Он совершенно спокойно проглотил Св. Дары и почти тотчас же заснул. Приехавшие врачи надеялись, что настал кризис. Действительно, бредовые явления прекратились, температура понизилась и он продолжал покойно спать и на другой день. В Великую Субботу, у нас появилась надежда.

В 12 часов ударили к Светлой Заутрене. Я сидела у изголовья брата. Он тихим голосом начал со мной говорить. Постараюсь передать как можно точнее все, что он мне сказал в эту памятную ночь.

« Соня, я знаю, что это ты здесь, я знаю, что наступил Светлый Праздник. Я говорю с тобой, хотя я уже умер. Я умер после того, как принял То, Чего он не хотел мне давать, т.е. Св. Дары, мне необходимо было это принять.

Ведь я сердился только потому, что тот думал, что я не приму. То, Что я принял — это видимая связь между тем, где я теперь и тем, где вы. Я уже перешел в вечность, для меня нет дня и ночи, для меня нет пространства. Я бы тебе гораздо больше сказал, но ты понять этого не можешь. Ты скована оболочками земного. У меня оболочки упали. Смерть не есть мучение. Смерть не зло. Божество — это сумма всего хорошего, всего справедливого. Оно — истина вечная. Оно не может хорошую жизнь наказать злом. Страдание искупает многое. В теле идет постоянная борьба микроорганизмов. У меня тогда фагоциты остались побежденными, и я умер. Но сердце мое еще бьется, а дух мой приобщился к вечной истине. В душе во время жизни идет борьба между добрым и злым началами. Важно, чтобы сумма хорошего победила сумму плохого. Я испытываю блаженство — сумма хорошего превысила сумму дурного, злого. Когда ты сказала, что мне разрешено принять То, что так было необходимо, и Чего я так хотел, то я в последний раз, будучи еще живым, отрешился от всего злого, дурного и приобщился всеми силами душевными к вечному, чудному, истинному, и в этом состоянии души я умер. А это хорошее существует и будет существовать вечно . . . Я присоединился к добру. Все это не отвлеченное, а существующее, как идея, так и душа, т.е. сумма хорошего и злого существует. Все это тоньше эфира, легче всего, что ты можешь понять, легче, тоньше, но оно есть. Оно есть, так же как есть Бог, как есть жизнь после видимой смерти.

Я бы мог тебя посвятить в еще большее, но тебе трудно это понять, ты на земле, у тебя сковано понимание, а я уже частичка божественного. Я живу иной жизнью и, поверь, испытываю величайшее блаженство. Жизнь прекрасна, но мое состояние — прекраснее. В жизни много мелочей. Надо стоять выше их и достигать высшего душевного совершенства.

Не думай и не считай всего сказанного мной бредом, бреда больше не будет, т.к. в теле борьбы нет. Но физически воскреснуть я не могу, так как знаю, что я умер. Мое сердце будет биться больше суток. Обещай мне, что ты не допустишь, чтобы мне давали пить или вспрыскивали что-нибудь для продолжения жизни. Это совсем лишнее и ненужное, в высшей степени неприятное, этим ты меня огорчишь. Не мешай моему райскому состоянию. Я еще прибавлю — сожги все письма и все, что найдешь нужным. Это составляет чужую тайну. Хотя это ничтожно, но для тех земных чувств — это важно. Я горячо благодарю всех вас, я оставляю вам свою любовь — она навсегда с вами останется. Моя душа уже соединилась с моими близкими, и если ты уйдешь от жизни с такими же чувствами, то мы соединимся ».

После этих слов я благодарила его, и он как будто заснул.

В воскресенье приехали доктора, стали нас поздравлять с улучшением его здоровья. « Болезнь кончается не кризисом, а лизисом », говорили они. « Температура падает, дыхание отличное, все идет хорошо ». Я рассказала свою беседу с братом и указала на срок, назначенный им. « В ночь на вторник он умрет », говорила я.

В понедельник утром опять доктора были довольны, удивлялись только тому, почему он не говорит, не проявляет ничем улучшения. Брат без всякого изменения лежал будто спал тихо, спокойно. Вечером доктора стали о чем-то говорить шепотом, опять слушали пульс, стали готовить шприц. Тут я воспротивилась и повторила слова брата, но доктора меня не только не послушались, но потребовали, чтобы я, именно я, поехала на Никольскую к Феррейну и привезла мускус. « Мы не имеем права верить словам больного, его предчувствиям, мы должны бороться до конца, а в данном случае у нас надежда далеко не потеряна. Эти два дня были настолько хороши, что можно с уверенностью сказать, что нам удастся поднять сердце . . . »

Через час я привезла, что было нужно, и при мне врачи сделали впрыскивание и что-то влили в рот.

Я не забуду, как было всем тяжело, когда брат, открыв глаза, нашел взором меня и, ни слова не говоря, укоризненно покачал головой.

В 12-ом часу ночи доктора, друзья и товарищи брата, поняли, что пришел конец. Мы с сестрой сели около брата.

В 5-ом часу он сказал: « Вы мои милые сестры милосердия », улыбнулся и простился с нами. В 7 часов утра был его последний вздох. Он не дышал, но только через два часа стал холодеть.

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

## МОЯ ПОМОЛВКА

*С.А. Зернова*

Воспоминания нашей матери об ее детстве и молодости заканчиваются кратким описанием ее помолвки, написанном 1 ноября 1932 года в Париже, в день празднованья 75-летия моего отца. Обращаясь к нему, она написала: « Ровно 36 лет тому назад, в ноябре месяце 1896 года, я познакомилась с тобою. Это было в воскресенье, ты пришел к нам, приглашенный сестрой Анной. Я знала в лицо всех твоих братьев, была знакома с Сергеем Степановичем, а о тебе имела довольно ясное представление. Поэтому, когда ты, блондин, высокого роста, стройный и безукоризненно одетый, вошел к нам в столовую, где мы с гостями сидели за чайным столом, то увидав тебя, у меня сейчас же пробежала мысль: « Ну конечно, я его знаю отлично, это доктор Зернов ». Ты, как будто угадав мою мысль, сразу ответил мне: « Мы хотя не были с вами знакомы, но конечно знаем друг друга ». Наш разговор сразу перешел на твою деятельность, на Кавказ, на Ессентуки. Ты завладел общим вниманием, всем было интересно слушать тебя. После ужина было жаль расходиться. Этот вечер нашего знакомства живо врезался в моей памяти.

Был еще и другой вечер, не менее яркий. Это было тоже воскресенье, четыре месяца спустя, 2 марта 1897 года. День был теплый, весенний, но без солнца. На улицах как-то вяло подтаивал снег. Около пяти часов я вдруг решила пойти в мою любимую церковь Нерукотворного Спаса в Дурновом переулке [1]. Там в это время не было, конечно, службы. За свеч-

---

1 Прим. (Н. Зернов). Церковь в Дурновом переулке, где наша мать провела вечер в день ее помолвки, была связана с жизнью всей нашей семьи. Это была необычайная церковь, она помещалась в частной квартире и состояла из нескольких маленьких комнат, увешанных множеством икон. Ее главной святыней был огромный образ Нерукотворного Спаса, висевший в первой комнате. По преданию, слышанному мною с детства, этот образ был написан мальчиком арабчонком, жившим слугой у своих господ. Его нашли мертвым перед этим образом, и хозяева квартиры, пораженные как иконой, так и смертью мальчика, обратили ее в церковь. Образ был действительно прекрасен. Он производил глубокое впечатление выражением глаз Спасителя и своим необычным размером. В спальной матери висела картина, изображавшая внутренность этой церкви. Мы ее очень

ным ящиком стояла благообразная старушка богаделка в белом чепце. Я довольно долго оставалась в церкви. Около семи часов я вернулась домой. Подойдя к нашему крыльцу, я только протянула руку к звонку, как увидала тебя и услыхала твой голос: « А я к вам ». Ты до этого никогда не приходил к нам так рано. Мы поднялись вместе по лестнице. В этот вечер я сделалась твоей невестой. От ноября до марта ты у нас бывал довольно часто и мы очень сблизились. Однажды ты принес мне отчет о работе основанных тобою вспомогательных учреждений на Ессентукской группе Кавказских Минеральных Вод. Так запомнилась мне эта небольшая книжечка в серенькой обложке с приложенным к ней каталогом книг местной библиотеки. С каким вниманием я читала твои отчеты ! Ты увлекал меня все больше и больше своей общественной деятельностью и не только в Ессентуках, но и в Москве. Ты был энергичным членом Арбатского Попечительства о бедных и воодушевил нас в работе в нем. В это время ты загорелся желанием основать второй детский приют. Для этой цели было решено устроить утренний спектакль в пятницу на масленице. Ты пригласил артистов и выработал программу. Мы все помогали тебе. Спектакль дал отличный сбор. Так началась наша общая жизнь с тобою и мое участие в твоей общественной и филантропической работе ».

любили, так как она прекрасно передавала атмосферу тайны, которая окружала этот непохожий на другие московский храм. В нем же простились с Москвою мои сестры в 1917 году, покидая навсегда родной город. Этот эпизод описан в третьей главе этой книги.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

## ЕССЕНТУКИ И СОЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА « САНАТОРИИ »

*С.А. Зернова*

В первый год моего приезда в Ессентуки в 1897 году, я и моя сестра Мария Александровна взяли на себя заведование библиотекой и детским садом. Я вошла с интересом в это живое дело и сразу столкнулась с враждебным отношением некоторых местных врачей к деятельности моего мужа. Они особенно ополчались на устроенную им общественную лабораторию, доход с которой шел на ее улучшение. До этого в Ессентуках не было никакой лаборатории. У мужа было несколько совещаний, довольно бурных, с другими врачами, в результате которых его противники открыли свою « Докторскую Лабораторию », выручка с которой шла в пользу врачей. Они боялись растущей популярности М.С. и не хотели содействовать успеху ни одного из его начинаний. Они приписывали ему желание саморекламы и называли его человеком беспокойным, фантазером, увлекающимся неосуществимыми проектами.

В конце летнего сезона 1897 года на Кав. Мин. Воды приехала комиссия во главе с членом Государственного Совета, Николаем Саввичем Абазой (1837-1901). С ним был министр земледелия А. С. Ермолов (1846-1912). Они получили большие полномочия для рассмотрения на месте нужд курортов.

Каждый день в Пятигорске происходили заседания. М.С. ни на одно из них не был приглашел. Но все же встреча с Абазой произошла и оказалась знаменательной. О приезде комиссии в Ессентуки М.С. узнал совсем случайно от пришедшего к нему больного, только что видевшего всю администрацию курорта у источника № 17. Не прошло и минуты как М.С., на ходу надевая пальто и взявши шляпу, уже сбегал по ступенькам террасы, говоря мне: « Прием прекратил, иду в парк — там комиссия ». Он застал всех в сборе у источника. Кроме Абазы и Ермолова, там находились Директор К. М. Вод со своею канцелярией, начальники всех групп, наказной атаман Терского Войска, атаманы станиц, со всеми своими регалиями, старший горный инженер со своими по-

мощниками и все групповые врачи. М.С. остановился в стороне и стал слушать как Директор Вод и старший инженер давали объяснение по каптажу № 17. Когда они кончили и хотели идти на осмотр других источников, М.С. попросил слова. Директор Вод, посмотрев на часы, стал что-то говорить Министру, очевидно не желая позволить Зернову выразить свои пожелания, но Ермолов, в согласии с Абазой, захотели узнать мнение незнакомца. Выступление М.С. оказалось решающим для многих неотложных реформ. Прежде всего он обратился с просьбой отнестись с наибольшей осторожностью к предполагавшемуся в то время каптажу источника № 17. Он сказал в присутствии главного инженера о неудачном каптаже Нарзана в Кисловодске и высказал опасение за сохранность главного сокровища Ессентуков. Он советовал, прежде чем приступать к работам, пригласить опытнейших геологов и ученых даже из заграницы. Дальше М. С. подверг суровой критике Ессентукский курорт, где больным не хватало ни помещения для жизни, ни ванн для лечения. Он говорил о неотложной необходимости отчуждения земли от казаков, о спешной постройке ванн, и о расширении парка. Он предложил пойти в нижнюю его часть и убедиться, что в нем не просыхает сырость, которую легко уничтожить, осушив несколько маленьких болотцев. М.С. говорил с присущей ему горячностью при гробовом молчании всех присутствующих. Абаза не сводил с него глаз и, по окончании его речи, глядя на него полувопросительно, полуутвердительно, сказал: «Теперь мы пойдем в нижний парк, к источнику № 4». Идя туда, он все время разговаривал с М.С. На прощанье он сказал ему: « Вы настоящий культур-трегер, нам такие люди нужны, я с вами во всем согласен и обещаю вам свою поддержку. Кроме того, я бы очень хотел, чтобы вы приехали в Сочи, управление и устройство этого курорта доверено мне Государем Императором. Я бы хотел, чтобы вы там приобрели себе участок земли. Вы будете там нужны так же, как и здесь ».

Я никогда не забуду радостного лица М.С. по возвращении его домой. Он получил уверенность, что реформы по благоустройству Ессентуков будут проведены в жизнь. О том исключительном внимании, которое было ему оказано Абазой, я слышала от других, бывших в парке. Сам же М.С. мне этого не говорил, он этого или не заметил, или не придал особого значения — ему было важно одно — обещание Абазы содействовать благоустройству Ессентуков.

Конечно, оппозиция после этого еще более объединилась, и на долю М.С. выпадало много неприятного и даже тяжелого, хотя это его сравнительно мало огорчало, потому что он понимал неизбежность таких препятствий. На систематическую борьбу с ними его просто не хватало, весь день он был занят

приемом больных, кроме того на нем лежала ответственность за все основанные им вспомогательные учреждения. Вместе с тем, администрация К.М. Вод чинила ему всяческие трудности. Старший горный инженер Ругевич начал против М.С. целую кампанию в отместку за выступление у источника №17. Он стал печатать статьи, критикующие д-ра Зернова в издаваемом им казенном листке. Большим помощником М.С. в это трудное время был его брат Дмитрий Степанович. Он был человек большого ума, опыта и выдержки. Его дружба с М.С. была безгранична, оба они представляли нечто единое. Он, конечно, принимал самое горячее участие во всей деятельности М.С., и его советы были всегда особенно ценны. Я и моя сестра тоже были верными сотрудницами М.С., так что мы, вчетвером, вместе все обсуждали, переживали и решали. В то же время среди пациентов М.С. стало расти число друзей и сторонников его начинаний. Особенно много появилось их среди московского купечества, большею частью состоятельного, но скорее серого, избегавшего ездить на лечение в Европу из-за незнания иностранных языков. Среди них были настоящие русские самородки с образованием, большею частью ниже среднего, но прекрасные практики, люди деловые, умные, умевшие вести большие предприятия. М.С. удавалось что-то пробудить в них, увлечь их общим делом. В Москве они постоянно сидели в своих конторах, магазинах и фабриках, а здесь, на отдыхе, они проводили целые дни в парке, где им приходилось часто слышать беспощадную критику д-ра Зернова.

Все эти разговоры передавались нам и мне они были очень неприятны, но М.С. относился к ним по иному; он часто говорил мне со своей добродушной улыбкой: «Могу тебя уверить, что вся эта критика нам же послужит на пользу, мы приобретем из-за нее настоящих друзей». Я вскоре убедилась в правоте этих слов. Несправедливые обвинения привлекли к нему многих доброжелателей и ценных помощников. Запомнились мне слова Н.К. Кашина, фабриканта с высшим образованием, очень умного человека. «Во всякой благотворительности, сказал он, есть какой-то привкус пресности, но в деятельности М.С. и в суждениях о нем есть соль и она придает вкус этой работе. Не будь этого, я наверное прошел бы мимо, а теперь я положительно увлекаюсь санаторием».

Те, кто ближе знакомились с М.С., вскоре убеждались в чистоте его побуждений, многие изумлялись его жертвенностью. Он сам широко и от всего сердца давал деньги, и не пользовался никакими привилегиями. Наши дети брали, наряду с другими, сезонные билеты в детский сад. Мы, так же, как и остальные посетители, вносили залог в библиотеку за книги и платили за их абонемент. С каждым годом увеличивалось число друзей М.С. Некоторые из них принимали осуж-

дения за личную обиду, другие особенно возмущались, когда его называли фантазером. « Какой же это фантазер — говорили они, — когда мы на деле видим как много он сделал для Ессентуков. Эти друзья, веря М.С., обещали ему и в будущем свою поддержку, а она ему была очень нужна, так как у него родилась мысль об устройстве большого показательного санатория, который бы предложил своим пациентам все необходимое для их лечения. Конечно, без отчуждения земли от казаков его мечтам не суждено было бы осуществиться. Невзирая на все препятствия, М.С. стал вести заранее большую пропаганду о необходимости такого санатория, обсуждал его устав, заручался обещаниями будущих жертвователей. Обе зимы 1897 и 1898 годов он провел в безустанных хлопотах о скорейшем разрешении всех вопросов, связанных с преобразованием казачьей станицы в современный курорт. Он печатал статьи в журналах, несколько раз ездил в Петербург, возвращался оттуда иногда окрыленный, а иногда и очень задумчивый, но никогда не унывающий. Большинство ему сочувствовали и многие, включая Ермолова и Абазу, всячески содействовали. Наконец летом 1898 года отчуждение казачьих земель было утверждено.

Возможность приобрести участки земли для постройки домов сразу преобразила Ессентуки. Уже к началу сезона новая жизнь закипела на курорте. Стали нарезывать участки, появились покупатели, среди них были и более дальновидные казаки-станичники. Хотя отчуждение и совершилось, но борьба за дальнейшие преобразования не только не прекратилась, но, наоборот, еще более усилилась. Трудно передать, сколько приходилось М.С. убеждать, уговаривать, протестовать и доказывать по каждому вопросу, связанному со строительством курорта и быть при этом в постоянной оппозиции к администрации Кавк. Мин. Вод. Благодаря его энергии Ессентуки быстро превратились в город-сад.

Одновременно с хлопотами об отчуждении казачьей земли он начал подготовлять утверждение устава Вспомогательного Общества « Санаторий », для которого он намеревался купить 10 участков земли по 1/4 десятины в каждом. Как только, после больших трудностей, устав был утвержден, М.С. поехал в Пятигорск на торги для совершения этой покупки. Неожиданно для него, он встретил новое и на этот раз казалось бы непреодолимое препятствие. Администрация Вод, в чьих руках находилось распределение участков, решительно воспротивилась продаже новому обществу нужной для постройки земли. Все лучшие и рядом лежащие участки были объявлены уже проданными, а М.С. были предложены только очень плохие участки, разбросанные далеко друг от друга и находившиеся в низине, близ речки Золотушки. Покупать эти участки было бесполезно, откладывать покупку и на-

чинать хлопоты в высших инстанциях было рискованно, т.к. участки, пока еще только фиктивно запроданные, могли быть действительно раскуплены. Я не знаю, как мне назвать те чувства, которые испытал тогда М.С. Тут были и волнения, и обида, и негодование, и горечь. Заветная его мечта — конечная цель всех его начинаний — не могла осуществиться из-за завистливой интриги небольшого человека-директора К. М. Вод. Однако, не в характере М. С. было останавливаться на полпути; он решил сразу же обратиться к ряду лиц и попросить их купить смежные участки и перепродать их о-ву « Санаторий ». Эта операция была делом сложным и крайне деликатным. Надо было сначала разузнать, в каком месте можно было найти 10 рядом лежащих участков, а потом убедить 10 человек взять на себя нелегкую миссию, добиться у Директора Вод Хвощинского права на их покупку, не возбуждая подозрений последнего, что в этом деле заинтересован д-р Зернов. После величайших усилий, М. С. все же нашел 10 таких фиктивных покупателей. Одним из них был наш новый друг, жених моей сестры, Воронежский Предводитель Дворянства Борис Васильевич Богушевский. Хвощинский чрезвычайно любезно встретил Б.В. и тотчас же предложил устроить для него любой участок, но советовал ему быть подальше от д-ра Зернова, который тоже мечтает купить землю для какого-то неосуществимого санатория, предприятия, заранее обреченного на неудачу. Хвощинский, говоря все это, не подозревал что Б.В. одним из первых записался членом нового общества и вскоре был даже выбран в комитет. Свое отрицательное отношение к планам М.С. Хвощинский обосновывал на необходимости иметь крупные средства для постройки зданий, а таких средств у д-ра Зернова, как все это знали, не имелось. В этом отношении Хвощинский был прав — денег для постройки и оборудования образцового санатория для нуждающихся больных у нас не было, но была энергия и вера в необходимость осуществления задуманного плана. Довольно скоро, хотя с волнениями и трудностями, 10 участков были приобретены и переданы в собственность Санатория.

Для этих покупок М.С. дал свои деньги в виде беспроцентной и бессрочной ссуды. Участки продавались по казенной оценке и недорого, кажется 1500 рублей за каждый участок.

Сбор пожертвований на постройку санатория стал главной заботой М.С. Приступили мы к этому трудному делу совсем неожиданно. Однажды, после приема больных, уже в конце сезона, мы пошли прогуляться. Было около 6 часов вечера, мы дошли до станицы; на пороге маленькой хаты сидела какая-то особа и горько плакала. Мы подошли к ней. Оказалось, что это была пациентка моего мужа М.К. Фон-Клюге, классная дама из Николаевского института, только 2 дня

тому назад приехавшая из Москвы. Как раз в эту минуту показалось в облаках пыли станичное стадо. Мы должны были войти в избу, чтобы не задохнуться. Пройдя через кухню, мы очутились в комнате, которую занимала Фон-Клюге. Это была крошечная комнатушка, в ней стояла маленькая скорее детская кроватка, покрытая пестрым, сшитым из лоскутков одеялом. Остальная мебель состояла из стола, табуретки, кусочка зеркала и двух фотографий казачьих генералов. Целый рой мух поднялся при нашем приходе и устремился с жужжанием к узкому оконцу, едва пропускавшему свет. « Если бы я знала, то конечно никогда бы не приехала », повторяла плачущая женщина. « Завтра же я возвращаюсь домой. У меня в институте по крайней мере чисто и хорошая кровать, и я там сыта. А здесь с 5 часов утра все уходят на полевые работы и выгоняют скот, и до вечера мне не к кому обратиться. Парк далеко, третьего дня шел дождь, и я не могла до него добраться по грязным немощеным улицам станицы. А вблизи меня не только пообедать, но даже купить кусок хлеба нигде нельзя ».

Действительно, ей ничего другого не оставалось делать, как ехать обратно, напрасно истратившись и измучившись. Мы знали, что такова, в общих чертах, жизнь больных в станице, но тут этот пример так поразил нас, что он дал нам силу сразу же приступить к сбору денег. Это была настоящая искра, воспламенившая нас. Мы наскоро убедили Фон-Клюге остаться в Ессентуках и завтра же прийти к нам с утра. Сами же мы решили идти на вокзал. « Сегодня уезжает Григорий Иванович Мальцев, сказал М.С. пойдем скорее туда, чтобы застать его до отхода поезда ». Мы пришли как раз вовремя. Мальцев сидел за столиком в станционном буфете и пил Нарзан. Звонок дал знать, что поезд вышел с последнего полустанка, публика поднялась, носильщики взялись за чемоданы. М.С. подбежал к Мальцеву и на ходу сказал ему: « Хотите подписать что-нибудь на постройку санатория ? Я уже подписал 1000 рублей ». Мальцев сначала оторопел от этого неожиданного обращения, но подумав, ответил: « Что-ж, сколько вы, столько же и я.» М.С. моментально взял со столика бланк от счета и подал его для подписи. Мальцев, уже стоя у окна вагона, карандашом нацарапал на нем 1000 рублей. « И скорый же вы человек », сказал он на прощанье и стал веселым и довольным от сделанного им пожертвования. « Так, я вызову архитектора, сделаю смету и дам ему задание, согласны ? » спросил мой муж. « Согласен, что ж, дело хорошее, начнем, благословясь, а в Москве я поговорю с Свиридовым, с Михайловым и другими ». « И непременно с Иваном Анисимовичем Елагиным », прибавил М.С. Этот разговор происходил, когда уже поезд тронулся с места. Итак, с 2000 рублей, написаных на бланке Ессентукского буфета мы на-

чали сбор на Санаторий. Сияющие мы вернулись домой. М.К. фон-Клюге стала приходить к нам с утра и оставаться до вечера. Она отлично поправилась и уехала счастливая и довольная. М.С. немедленно вызвал из Кисловодска архитектора Э.Б. Ходжаева и попросил его сделать проект дома санатория.

С этим проектом, со сметой свыше 40000 и с подписным листом мы, по окончании сезона, вернулись в Москву. Тут началась настоящая работа по сбору средств. М.С. старательно объезжал своих пациентов и знакомых, и на листе стали появляться и другие подписи, кроме Мальцева и Зернова. Свыше одной тысячи никто не давал, но и меньше 500 рублей тоже никто не жертвовал. Мальцев принялся за сбор денег с не меньшей энергией. После каждой получки он приезжал к нам и с увлечением рассказывал нам, как ему удалось получить новые деньги. Он не описывал картин неблагоустройства Ессентуков, и не рассказывал о достоинствах минеральных вод, как это делал М.С. Он убеждал жертвовать по-своему. Приезжал к нему, например, на фабрику покупатель из Сибири или из другой глуши. При расчете с ним Мальцев обычно говорил: « Вот ты товару купил не на одну сотню тысяч рублей, так пожертвуй на хорошее дело, на санаторий в Ессентуках, я там каждый год лечусь и воды пью, очень помогает ». Обычно покупатель, уважавший Мальцева, соглашался и давал столько же, сколько сам Мальцев — 1000 рублей. Если же он колебался, то Г.И. обращался к нему со следующими рассуждениями: « Ты посчитай, сколько ты наживешь на купленном у меня товаре, меньше тысячи нипочем с тебя не возьму ». В большинстве случаев покупатель или подписывался на листе или давал устное обещание. Для Г.И. обещание было равносильно получению денег. У него самого все было построено на слове и на чести. Какой он был замечательный человек ! Почти безграмотным мальчишкой он пришел в Москву на Бутиковскую фабрику, сделался ее директором и главным пайщиком, а после смерти Бутикова все ведение фабрики перешло в его руки. В то же время, он до конца жизни писал нашу фамилию через «ять», а «милостивый государь» он писал: «Мило», а затем, с большой буквы, « Стивый ». В коммерческих кругах он пользовался огромным авторитетом и уважением, имя его было безупречно. С момента, когда он так неожиданно подписал 1000 рублей на станции в Ессентуках, он стал гореть делом санатория не меньше М.С. Все скоро узнали, что у Г.И. были две горячие привязанности: Бутиковская мануфактура и Ессентукская санатория.

Сбор пошел успешно, но все же нужной суммы невозможно было собрать в столь короткий срок. Кроме 40,000 на постройку, необходимо было устраивать сад, покупать мебель и все оборудование. Многие члены комитета рекомендовали

делать все, как можно скромнее и дешевле. С этим взглядом М.С. решительно не соглашался.

Хлопот было множество. Все образцы мебели, подушек, матрасов, шкапов, зеркал присылались к нам на квартиру, для осмотра их членами комитета. Все покупалось простое, но наилучшего качества. Мальцев, совместно с моим мужем, обычно добивались значительной скидки, большие фирмы охотно ее делали, видя в этом рекламу для себя. Таким образом, как постройка, так и оборудование оказались первоклассными. Для Ессентуков такой санаторий на 50 больных, да еще малосостоятельных, казался чудом. Как приезжие, так и местные жители были очень заинтересованы; они приходили и все осматривали с большим вниманием. При санатории был посажен прекрасный сад, включавший редкую коллекцию дубов. Мало кто знал, что на Северном Кавказе могли расти более 40 разновидностей этого величественного дерева. Впоследствии в саду были разбиты огороды, на которых могли работать больные, нуждавшиеся в физическом труде. Были также построены оранжереи. Цветы, выращивающиеся в них, продавались и окупали расходы по саду. В последние годы он стал источником дохода для общества. Такую же выгоду приносила и лечебная земляника. О ней раньше никто на Кавказе не имел никакого представления. Посаженная впервые в саду санатория, она получила сбыт на всех курортах. В саду же была выстроена огромная столовая на 1000 человек и кухня с грандиозной плитой, купленной на Нижегородской ярмарке. При кухне находились образцовые кладовые и погреба.

Для обслуживания больных и всех вспомогательных учреждений мы, в Москве, каждой весной нанимали большой штат служащих, начиная с директора санатория и кончая поварами, кухонными мужиками и прачками. Приезжавшая самостоятельно на курорты, прислуга внушала мало доверия. Иногда удавалось привлечь к работе молодых естествоиспытателей, оставленных при Московском университете. Они проводили беседы с больными по зоологии и ботанике. Ими же устраивались экскурсии и менее утомительные прогулки. Не было ни одной стороны жизни санатория, в которую бы не вникал М.С. Все делалось для правильного лечения больных, часто нуждавшихся в подлинном отдыхе после тяжелых заболеваний и большого переутомления. Продуманная постановка дела сказывалась на всем и давала блестящие результаты. Многие изумлялись, как санаторий мог предоставлять такое прекрасное обслуживание своим пансионерам и в то же время окупать все свои расходы. Ответ на эти вопрошания был следующий: санаторий самоокупался потому, что никто не пользовался процентами с затраченного капитала, и, кроме того, хозяйство было рассчитано на большое количество лю-

дей. Каждый пансионер оплачивал свою еду и вносил свою строго высчитанную долю на содержание служащих, на ремонт, на амортизацию имущества и на зимние расходы. Ранней весной и в конце сезона, при малом числе живущих, все эти расходы не покрывались, но при полном комплекте все окупалось. Отчетные книги велись в образцовом порядке, они были нашей гордостью, и их мог изучать каждый желающий. Такое книговодство было введено нашим казначеем В. В. Михайловым, крупным торговцем сукном. Многие приезжали, чтобы поучиться нашему счетоводству.

Обстроилось, оборудовалось и заселилось первое здание, жизнь закипела в нем. М.С. стал готовиться к постройке второго дома, вдвое большего, чем первый. Он больше не боялся, что у него не хватит денег. Средства приходили со всех сторон. Мысль об увековечении близких покупкой комнаты в санатории привилась. Комнаты в предполагавшемся здании раскупились заранее, как частными лицами, так и учреждениями. В течение 4 лет было выстроено еще два здания по 150 комнат в каждом. Большой популярностью стали пользоваться « Пятницы » — это были бесплатные литературно-музыкальные вечера. В них участвовали как знаменитые артисты и писатели, так и скромные любители. Бесплатность ни к чему не обязывала артистов, они выходили на сцену запросто, в обычных летних костюмах и одушевлялись горячим откликом слушателей, съезжавшихся со всех концов России. Кого только не пришлось нам видеть и слышать в санаторской столовой: чуть ли не весь Художественный театр, со Станиславским (1863-1938) во главе, Никулину (1845-1923), Варламова (1848-1915), Давыдова (1849-1925), Савину (1854-1915), Комиссаржевскую (1864-1910), Собинова (1879-1934), Маркову-Зернову (ум. 1926) гармониста Невского, профессоров и учеников консерваторий, артистов из провинций. Таким вечерам М.С. придавал большое значение, они не только отвлекали больных от постоянных мыслей о своих недомоганиях, но и давали им эстетические наслаждения, редко доступные малосостоятельным пансионерам санатория.

В течение лета проходили три очереди больных. Для каждой из них устраивался особый праздник. Главный из них был день Св. Апостолов Петра и Павла (29 июня), приуроченный ко дню открытия санатория. Он начинался с молебна, потом служилась панихида по всем скончавшимся членам, говорились речи, подносились адреса и был торжественный обед. В эти дни обнаруживались те чувства, благодаря которым в санатории легко дышалось. Благодарность пансионеров была лучшей наградой М.С. за все его неустанные заботы.

Летом на заседания комитета приглашались представители жителей санатория, их пожелания всегда внимательно выслушивались и принимались во внимание.

Состав живущих в санатории был крайне разнообразен, все же преобладали учителя и учительницы городских и сельских школ, за ними шли земские врачи, литераторы, люди военного и духовного звания, были и рабочие. Иногда можно было встретить и лиц с довольно большим положением. Все зависело от семейных обстоятельств и здоровья. Генерал или товарищ прокурора с многочисленным семейством и плохим здоровьем часто был менее обеспечен, чем одинокий человек, получавший скромное жалование.

Санаторий не только давал больным удобства, но он также служил показателем того, в чем нуждался курорт. Вслед за нашим санаторием стали появляться и другие санатории. Один из них был устроен старообрядцами. М.С. не считал правильным распределение больных по своим профессиям. Он считал полезным лечащимся встречаться с людьми других интересов. В нашем санатории царил светлый дух отчасти потому, что состав пансионеров был столь разнообразен.

Наряду с улучшением условий жизни произошли и реформы в лечебной области. Новый каптаж источников увеличил их дебет, появились более просторные ванные здания, была выстроена превосходная Алексеевская грязелечебница. (Переименованная теперь «имени Семашко»). Ессентуки украсились красивыми зданиями, окруженными садами. Широкие улицы были обсажены деревьями. Накануне революции, М.С. предполагал строить четвертое здание на 200 человек, комнаты в нем уже были раскуплены. Русское общество оценило идею благотворительного санатория, который не только лечил, но и предупреждал болезни, создавая благоприятную атмосферу для отдыха нуждающихся в нем.

Не только общество, но и правительство под конец признало достижения моего мужа. В 1912-13 годах Государственная Дума ассигновала 17 миллионов рублей на проведение водопровода и канализации на Кав. Мин. Водах. Министр Ермолов настаивал, чтобы М.С. согласился быть председателем Высочайше Утвержденной Комиссии для надзора над правильным осуществлением работ. Этот пост давал значительные материальные преимущества, но мой муж категорически отказался. Он считал себя не компетентным в этом деле. Кроме того, он хотел оставаться независимым общественным деятелем.

Многие называли его создателем Ессентуков — этой всероссийской народной здравницы. Он никогда не жалел своих сил, работая для других и ставя выше личных интересов служение общему делу. Я, со своей стороны, могу сказать, что он исполнил свое обещание и сделал все, что было в его возможностях для того, чтобы Ессентуки встали на равный уровень с лучшими европейскими курортами.

## ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

# НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ НА КАВКАЗ

*С. А. Зернова*

В 1897 году была наша свадьба и ровно 20 лет, неизменно, вплоть до 1917 года, мы совершали наши ежегодные путешествия из Москвы на Кавказ и обратно. За редкими исключениями мы ехали все вместе, а наши дети начали свои поездки в самом раннем возрасте: Коля — 7-ми месяцев, Соня — 4-х, Маня — 2-х, а Володя — 2-х недель.

Наш первый отъезд из Москвы после свадьбы, которая была 27 апреля, был самый легкий и особенный. Поезд уходил вечером. На вокзале было так много друзей, веселья, шума, цветов и пожеланий, что я была как во сне. Я видела всех, но запомнила только сестру Маню. Она была грустной от разлуки. Перед третьим звонком, по распоряжению Сергея Степановича Зернова появилось шампанское, раздались тосты, на нас было обращено внимание всей публики. Для меня начиналась новая жизнь. Когда М.С. был женихом, он мне сказал, что кроме его врачебной практики, кроме его семьи, он еще и общественный деятель. Напрасно он предупреждал меня об этом. Я это хорошо понимала из его разговоров. Я уже полюбила и его Арбатское попечительство и его « вспомогательные учреждения » в Ессентуках. Мы не раз беседовали с ним о расширении его деятельности, и в наших разговорах уже мелькала идея санатория для малосостоятельных больных. Я была поэтому готова к той напряженной общественной работе, которая ждала меня на Кавказе. Сложность наших дальнейших путешествий была обусловлена именно этой стороной нашей жизни, но и дети тоже не облегчали их.

Каждый год мы везли с собою множество необходимых вещей для санатория, так как приходилось все покупать в Москве. Тут были и матрацы, и стулья и игры для детей. С нами ехали не только вещи, но и люди. Сначала, когда мы занимались лишь детским садом, нам нужно было всего 3-4 человека, а в 1916 году, когда уже возникло 3 здания санатория, число служащих возросло до 104-х. Этим объясняется и сложность наших переездов и суета, предшествовавшая им.

В первые годы путешествие длилось четверо суток, по-

том срок сократился до двух. Сборы в путь начинались недели за две или три до отъезда. В одно из весенних утр к нам приходила маленькая, спокойная Антонина Алексеевна Панова, которую мы звали тетя Тоня, и занимала свою позицию около ящиков и сундуков. В первую очередь укладывалось серебро-подарки или свадебные или от пациентов. Его было несколько пудов и мы с тетей Маней увозили его в Государственный Банк на хранение. Почти все оно было от Фаберже и от Хлебникова. Тут были и вазы и ковшы и братина и эмалевые сервизы. Сдав серебро, мы принимались за шубы, которые отдавались на хранение от моли в магазин Сорокоумовского. Чудная папина скунсовая шуба 20 раз совершила это путешествие, но он ее никогда не одевал.

После шуб шла очередь костюмам. Тут начинались мучительные дни для тети Тони. Сундуки раскрыты, необходимы мои указания, а я делаюсь неуловимой: или мне надо экстренно ехать по делам, или приходят люди. За неделю до отъезда приезжал к нам из деревни папин лакей Михаил. Почтительный, рассудительный, напоминавший мне « человека из ресторана », описанного Иваном Шмелевым (1873-1950). Один раз, министр путей сообщения Рухлов, здороваясь с ним, подал ему руку, приняв его за знакомого. Наш Михаил отдернул свою, сказав: « Простите, Ваше Высокопревосходительство, я человек-с ». Михаил не ждал моих приказаний, у него было свое задание — уложить все, касающееся медицинской практики. Огромные ящики наполнялись инструментами, толстыми книгами и бесконечными историями болезней. В последние годы у М.С. бывало до 1000 пациентов в сезон, и все их истории перевозились из Кавказа в Москву и обратно. Все, упакованное Михаилом, отправлялось малой скоростью, и вот в эти ящики наши дети любили подкладывать свои игрушки, при чем они руководствовались жалостью к ним. В Ессентуки ехали безногие собачки, безголовые львы, какие-то любимые камушки. Михаил торопился ехать вперед и все подготовить к началу сезона. Работы у него было немного — убрать кабинет, приемную и террасу, но его должность требовала такта, находчивости и была нервная и напряженная. Надо было избегать конфликтов, чтобы никто не обвинил его в несправедливости. Он был на высоте положения, пациенты его любили и он зарабатывал так много чаевыми, что зимой жил у себя в деревне, как помещик.

Наконец приближался день отъезда. Все, остававшееся в Москве, было уложено, зато открывались дорожные чемоданы и корзины. Всегда были волнения — успеют ли быть готовы летние платья и все нужное для 4 месяцев нашей Ессентукской жизни. В эти последние дни к нам приходили прощаться родные и знакомые, приносили детям в дорогу конфеты и подарки и оттягивали укладку.

Наш поезд обычно уходил часа в 3 или 4. Багаж посылался с утра; на вокзал отправлялись два воза, на них ехала часть нашей прислуги. Оставалось часа три до посадки. Папа часто уезжал один, чтобы еще заехать в медицинский магазин Швабе для покупки забытых препаратов. Меня это всегда волновало, но папа был непреклонен. Я же в последнюю минуту почти всегда теряла ключи, которые я носила с утра в руках, чтобы не потерять. К счастью, они всегда находились. Поднималась особенная суета, когда подъезжала большая коляска, заказанная с вечера, а швейцар Егор, в своей поддевке, бежал нанимать еще двух или трех извозчиков. Мы, по русскому обычаю, садились, молились, прощались и размещались по экипажам. Ехала я до вокзала неспокойно, боялась, что папа опоздает, что вещи растеряют, что прислуга не будет вся в сборе.

Но вот мы все размещены в просторном купе первого класса. М.С. уже живет Ессентуками, но такое счастье пробыть еще несколько дней вне обычных забот. Поезд трогается, папа стоит у окна в коридоре, дети оспáривают свои места у окна в купе. Коля говорит, что он еще вчера сказал, что у окна будет его место, но это не кончает споров, они возникают тоже из-за места спанья. Стоило Коле сказать, что он хочет спать наверху, как все загорались тем же желанием. Но ссоры были непродолжительны. Папа с приятной усталостью начинал шутить с детьми, я доставала корзину с провизией и мы начинали закусывать.

Все казалось особенно вкусным: круто сваренные яйца, холодные котлеты, пирожки, ветчина, паюсная икра и, непременно, апельсины. Первый день проходил незаметно, второй был хуже; наименее привлекателен был угольный район: все было закопченное, паровоз начинали топить каменным углем, и все в вагонах становилось черным от копоти. Какая разная публика была на станциях во время пути: вблизи от Москвы, это были дачники и дачницы, потом, в подмосковном районе — не то огородники, не то крестьяне, женщины и дети бойко торгующие молоком, жареными курами и деревенскими лепешками. После Тулы — мужички и бабы, медленные в движениях, молча предлагающие купить у них провизию. Встречались и старики в белых рубахах, в поярковых высоких шляпах и в лаптях. Они стояли как будто задумавшись, опираясь на длинные палки, ждали товаро-пасажирских поездов, называя их чугунками. В шахтенном районе народ напоминал фабричных.

Одной из характерных особенностей тогдашних путешествий были лакомства, которые продавались только на определенных станциях. Так в Коломне можно было купить пастилу, в Туле и Вязьме — пряники, которых нельзя было достать в других местах. Станционные буфеты тоже горди-

лись своими специальными блюдами. Так, например, в Ростове все заказывали себе осетрину. Другой особенностью была просьба о газетах. Стоявшие вдоль полотна железной дороги мальчишки, колесом махая руками, громко кричали: «газет, газет!» Это было большое развлечение для детей. Они заранее запасались газетами и кидали их из окна. За брошенными газетами бросались во всю прыть мальчишки, вырывая их друг у друга. Просили газет не столько для чтения, сколько для цигарок.

К вечеру второго дня мы подъезжали к станции Аксай, любовались широко разлитым Доном, баржами, рыболовными снастями и покупали зернистую икру. В Ростове мы были поздно вечером, скорее ночью. Там в первые годы была пересадка. Детей несли в дамскую комнату, папа садился ужинать, а я шла к начальнику станции просить купе. Ночью мы двигались дальше. Утром, еще сквозь сон, я слышала шепот детей. Коля говорил: «Соня, смотри — горы». Соня быстро спрашивала: «где? где?». Синяя занавесочка с буквами ВЛК. Ж. Д. (Владикавказская Жел. Дор.) немного отодвигалась и двое детских лиц смотрели в окно. От вчерашней усталости не оставалось и следа. Перемена погоды и воздуха давала бодрость. Станции Владикавк. Ж. Дороги были прекрасны, как и вагоны. Проводники чистые и внимательные. На смену задумчивым лапотным мужикам и шахтерам на станциях поялялись казаки в черкесках, с кинжалами у поясов и башлыками, искусно привешенными за спиной. Все вокруг было другое, и горы на горизонте, и масса красных цветов, и раздольная весенняя степь. На станции Минеральные Воды была последняя пересадка. Курортный поезд был другого типа, в вагонах первого класса стояли плетеные диваны и столики. Все было красиво и удобно, мы чувствовали себя уже дома. Не успевал наш поезд остановиться в Ессентуках, как в вагон влетал черкес Александр, мой крестник, татарин Магомет следовал за ним. Оба были одеты в свои праздничные черкески. Александр — в коричневой, Магомет — в синей, с золотой кисточкой на спине и с длинным кинжалом. У обоих были радостные лица, Магомет прикладывал мою руку к своему лбу и схватывал мой тяжелый чемодан с серебром. Он был силач. Александр здоровался со всеми за руку и всегда спрашивал: «Ну, как?» Лакей Михаил, дворник Яков брали остальные вещи, а на платформе мы здоровались с встречавшими нас. Тут были уже успевшие загореть директриса санатория, экономка и другие члены администрации. Через десять минут мы были дома. На большой террасе был накрыт стол и кипел самовар. Заботливым Михаилом были куплены хлеб, масло и крынка молока. Лавочник Бражников, снимавший у нас магазин, присылал огромный кулич.

Дом блестел, пахло недавно сделанным ремонтом, каби-

нет и приемная были готовы к приему больных. Мы умывались свежей, даже холодной водой, через открытые окна несся аромат цветущих акаций и фруктовых деревьев из нашего сада. Дети бежали вниз к фонтану, к качелям, они хотели скорее увидать свои любимые места. Кто-то считал вещи, и шли споры было ли 18 или 19 штук багажа с зонтиками или без зонтиков. Михаил неслышными шагами разносил вещи по комнатам и докладывал, что больные справлялись, когда начнется прием, и что профессор из Казани наведывался уже три раза, а вся корреспонденция лежит у барина на столе. Папа торопливо пил чай, чтобы сразу идти в санаторий, свое любимое детище.

На следующий день М.С. начинал с шести часов утра прием больных, съезжались его помощники, молодые врачи, открывался рентгеновский и электро-терапевтический кабинет и наша жизнь входила в свою обычную трудовую колею до конца августа, когда кончался сезон и мы уезжали на отдых в Сочи.

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

# НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ В СОЧИ

*С.А. Зернова*

Мы начали ездить в Сочи с первого года нашего брака. Я не только волновалась перед этими поездками, я просто боялась их. Сначала мы могли добраться до Сочи только по морю. Пароход из Новороссийска шел обычно 8-10 часов, но никто не знал точно, сколько времени понадобится для перехода, т.к. все зависело от погоды. Иногда мы выезжали при прекрасной погоде, но перед Сочи подымался ветер, фелюги не могли выехать навстречу пароходу, и мы ехали дальше, чтобы вернуться в Сочи с новым рейсом. Однажды по пути началась такая буря, что мы решили сойти с парохода, не доезжая до Сочи, в Туапсе, где была закрытая гавань. Мы получили разрешение двинуться дальше на автомобиле принца Ольденбургского, который выслал его для встречи министра Коковцева (1854-1944). Коковцев не приехал и автомобиль возвращался порожняком в Гагры. Мы были очень довольны этой нашей удачей.

Вез нас шофер турок Гассан, знавший все трудности пути, о которых мы ничего не подозревали. Дорогу в то время чинили и она была опасная; незадолго до нас другой автомобиль свалился под кручу, и все его пассажиры погибли. В самом прекрасном настроении мы выехали рано утром из Туапсе, надеясь приехать в Сочи под вечер. Кроме нас шестерых, с нами ехали моя сестра Маня и горничная Паша. М.С. сидел рядом с шофером и наслаждался быстро сменяющимися чудесными видами на горы и море. Мы то подымались на высоту, то спускались в глубину долин. Было решено, что в середине пути мы остановимся в селении и там позавтракаем, провизию с собою мы потому не взяли. Но мимо этого селения мы промчались без остановки, я поняла, что Гассан чем-то озабочен и очень спешит. Одна из причин его беспокойства были наши шины. Уже утром они лопались два раза. Буря, бывшая накануне, сильно попортила дорогу, горные ручьи превратились в потоки, большие камни попадались на шоссе. Чем дальше мы были от Туапсе, тем суровее становился лес, тем круче были подъемы и повороты и тем больше бед наделал ураган. Места были дикие. Изредка встречались сакли

абхазцев, сами они еще реже попадались нам на глаза. Но я бы предпочла совсем их не встречать. Вид у них был страшный и молва о них была недобрая, как о разбойничьем племени. Они не носили шапок, а обматывали голову башлыками, из-под которых смотрели черные глаза. Мы ехали быстро. Не только я и моя сестра, но и М.С., старались не глядеть в страшные пропасти, зиявшие под нами. Особенно жутко было спускаться. Гассан, как будто сам для себя говорил: « вон там мост ». Мы смотрели на эти мостики и думали: « а что, если мы на мостик не попадем ? » Около 4-х часов у нас лопнула последняя шина; каждый раз, когда это случалось раздавался страшный треск и лес отвечал на него эхом. Как из-под земли вырастали абхазцы и смотрели на нас в упор. Шину мы починили, но так как запасной уже больше не было, то ехать мы стали медленно. Мне казалось, что починенная шина как-то странно шуршала и тормозила ход. Около 5 часов мы остановились на берегу широкого потока, пересекавшего наше шоссе. На другом берегу из шалаша вышел какой-то человек и стал перекликаться с Гассаном. Откуда ни возмись, появились абхазцы, их собралась целая толпа и они стали давать советы. Папа воткнул в воду палку, чтобы проверить убывает ли вода. Гассан вошел в разлившийся поток и долго что-то разыскивал в нем. Потом абхазцы, по его указанию, стали укладывать большие камни поперек реки. Когда они кончили эту работу, он подошел к нам и сказал: « теперь молитесь вашему Богу, а я буду молиться своему ». Абхазцы стали переносить нас на руках на другой берег, на каждого взрослого полагалось два человека. Когда несли меня, мне все казалось, что они идут в сторону, не туда, куда нужно. Наконец мы все очутились у шалаша русского сторожа, измученного жестокой малярией, и стали ждать, что теперь сделает Гассан. Он поставил свою абхазскую свиту вдоль разложенных им камней и с триумфом переехал реку. Мы надеялись, что им одержана победа, но его лицо было темнее тучи. Вода все же попала, куда не нужно. Автомобиль пошел неровно начался оглушительный треск. Стало темнеть. Гассан постоянно спрашивал нас, который час. Наконец случилось то, чего мы больше всего боялись — мы совсем остановились. У нас не было больше бензина. Гассан объявил, что недалеко от того места живет управляющий имения Вел. Князя. Мы двинулись в путь по темному лесу, измученные, голодные, не имевшие за весь день даже ни глотка воды. Весь наш багаж остался в автомобиле с Гассаном. К счастью, нас нагнала арба и мы посадили на нее наиболее утомленных. Я мужественно шла пешком, но когда мы наконец подошли к воротам дома и я увидала его в глубине сада, то мне показалось, что у меня не хватит сил пройти это короткое пространство. Управляющий Алик встретил нас

самым гостеприимным образом. Мы прожили у него трое суток. Он послал стражу охранять автомобиль, а в это время Гассан поехал за бензином. В Сочи его не оказалось и его доставили на волах из Гагр. Таково было одно из самых драматичных наших путешествий в Сочи. Но редко они проходили без приключений. Каждый год мы ожидали чего-нибудь непредвиденного, и оно обычно и случалось.

ПРИЛОЖЕНИЕ

# В СИЯНЬИ ГОЛУБОМ *
# ЕССЕНТУКИ

## Памяти доктора М.С. Зернова

*А.М. Ремизов*

А какой рай Божий открыл нам М.С. Зернов! Впервые мы попали на Кавказ. Нам, с нашей верхотуры — наша комната в новом здании санатория на 3-м этаже — прямо в окно: Бештау, Бык, Верблюд и, никогда не прояснится, день и ночь в беспокойных туманах, Машук.

Мы приехали в Ессентуки в ясное августовское утро; помню особенный свет, тепло, сторожевые, распростертые по горизонту горы, я смотрел и, глядя, видел-вспоминая, как после долгой разлуки. И вот мое первое чувство: рай Божий. Среди этой райской благодати начинается наша жизнь, а срок ее — санаторный: 6 недель. И пройдут незаметно — одна за другой с открытыми глазами.

Ессентуки — ближайшее соседство: Пятигорск. В Пятигорске неизменна волнующая память: Лермонтов. В этой живой памяти и колдовство и чары: я ощущаю его глаза, его слух, его голос, как своё.

В лунные ночи, а эти осенние ночи и тихи и тревожны, земля, натрудившаяся, отдыхает, каменеют её чёрные, тяжелые горбы: Бештау, Бык, Верблюд и, дымясь мерцающим туманом, уносится Машук...

Выхожу один я на дорогу.
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

---

* « В сияньи голубом » было написано Алексеем Михайловичем Ремизовым (1877-1957) в 1938 году и посвящено памяти моего отца, который лечил самого писателя и его жену Серафиму Павловну. Этот очерк был напечатан в парижской газете « Последние Новости » 2 августа 1938 года и появился еще раз в печати 25 января 1953 года в Нью-Иоркском « Новом Русском Слове ». Ремизов жил в Ессентуках в 1916 году. Он упоминает среди пациентов моего отца Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921), а также писательницу Ариадну Владимировну Тыркову-Вильямс (1869-1962), и Тэффи (Надежду Александровну Бучинскую, урож. Лохвицкую (1875-1952).

И я чувствую его, моего звездного обреченного спутника — в блестящий, кремнистый путь . . .

А что вы думаете, быть бы было Лермонтову в наше время, и был бы он нашим соседом на 3-м этаже, где теперь сияющая счастьем учительница Надежда Павловна. Наше время — война, канун революции и революция — какое место для *Лермонтова.* В газете его печатали бы на Рождество и на Пасху... а вернее, и вовсе не печатали бы: уж очень своеволен и своедумье ни на какую мерку — « не понятно », « не понимаем », Иванов-Разумник — в своих « Заветах » и « Скифах » ? Но на заветах не больно разойдешься ! А стало-быть, случись беда, надо лечиться — единственный выход: подать прошение в Хлебный переулок, № 9, доктору М. С. Зернову.

Создание санатория в Ессентуках — один из основных камней в памятник М.С. Зернову.

В первый раз мы попали в санаторий Зернова через петербургскую нашу знакомую, зубную врачиху Л.А. Сахновскую. С вокзала мы было сунулись к А.В. Тырковой, и где потом жила Тэффи, но оказалась такая цена, хоть в Петербург обратно ! Мои литературные дела с войны резко изменились: М. И. Терещенко, настроенный « все для войны », ликвидировал издательство « Сирин », где меня печатали, и началась моя заброшенность, я очутился в категории « редкого и случайного заработка ».

Да, хоть назад возвращайся !

Но ведь по самой затее М.С. Зернова, за что имя его поминается и еще вспомянется, нам и было место в его санатории: санаторий и строился для безымянной учительницы Надежды Павловны, для зубной врачихи Л.А. Сахновской, среди петербургских зубных светил, как вовсе не существующей, и для всякой литературной шпаны, людей затертых, « обойденных » и « неудачливых » — « редкого и случайного заработка », которым и не снился этот рай Божий — Ессентуки. Так оно и было, в Петербург нам не пришлось возвращаться: в санатории Зернова оказалась свободная комната и мы устроились за очень сходную плату в новом здании санатория с видом на горы и Лермонтовским, блестящим сквозь туман кремнистым путем в лунные ночи. И только ветер. Я не знаю когда, в какой час и где, на какой из гор его начало: он подымался раньше, чем отпирались ванны и открывались источники и до вечерней зари полыхал над парком и вдоль по « пустыне » между гор. Не доглядишь: влетит — в высоте ему любо — и выдует все мои рукописи; хорошо ещё на подоконник, у нас есть небольшой балкон, а то возьмет и лист за листом, играя, закрутит в трубку, не успеешь, и все очутится за окном.

На ветер я пожаловался Короленко. В.Г. Короленко, не

принадлежа никак к литературной шпане и безымянной трудящейся интеллигенции, сам, из всех ессентуковских санаториев, выбрал Зернова, и жил с нами, занимал комнату в старом здании и обедал с нами, и всегда у его двери стояла очередь, как в приёмной у Михаила Степановича: кому только не было охоты поговорить и на что-нибудь пожаловаться Короленко.

В «жалобе» всегда чувствуется сила; «жаловаться» это не радоваться, не быть довольным, сопротивляться; самое же страшное в человеке: «безропотность» или «все равно», что означает конец. Об этом и шел разговор, а ветер в моей жалобе пришелся к слову.

В русской сказке о царе Соломоне рассказывается о старухе, как несла она муку с базара, поднялся ветер и унесло муку; и пошла старуха к царю Давиду просить суд на ветер. А царь Давид ничего не придумает: «как говорит я, бабушка, Божью милость могу обсудить!» И позвал сына, царя Соломона. А царь Соломон обратился к народу: «кто, говорит, из вас в утренний час ветру молил?» Какой-то тут и выскочил корабельщик: «Я говорит, молил попутной подсобы!» И присудил Соломон корабельщику заплатить старухе за муку.

«Надо спросить у Михаила Степановича», — ответил не без улыбки Короленко на мою жалобу. А я подумал, уж не Михаил ли Степанович тот самый корабельщик соломоновой сказки, только зачем ему ветер молить? И прошло сколько, а ветер не унимался, ветер гулял нараспашку, и мне с моими рукописями большая была неприятность и досада.

«Спрашивал Михаила Степановича, — сказал как-то Короленко, но уже сурьезно, — Михаил Степанович одобряет: «И слава Богу, говорит, не будь этого ветра и все бы мы здесь задохнулись».

И что же оказалось: город Ессентуки — невылазная свалка и зараза, а чистить не желают, чистит — ветер.

Сам М.С. носился по санаторию, как ветер: всегда с заложенными за спину руками, он мелькал на разных концах одновременно. За столом, в обед и ужин его никогда не увидишь. Присутствовала его жена Софья Александровна, тоже и на музыкальных вечерах — порядок был образцовый. А М.С. всегда в разгоне. Быстроту его я однажды проверил.

Был он у нас: захворала Серафима Павловна. Как взлетел он к нам на 3-ий этаж, я не мог видеть, но как исчез, знаю. Со мною часто бывает, и не только с докторами, а и в редакциях, о самом главном я забыл спросить и вспомнил, когда он уже был за дверью. Я бросился вдогонку: но ни окрик, ни моя стрекозиная поспешность не помогли: а ведь, кажется, и минуты не прошло! — заложив за спину руки, он мелькал по дорожке к старому зданию санатория, выходящему в парк.

Я не отбываю санаторной страды, лечится Серафима Павловна: ванны, источники, на приеме у доктора и прогулки. С ней неразлучны: учительница Надежда Павловна и бухгалтер Вера Владимировна, по прозвищу « бритая »; обе они в каком-то не покидающем их восторге: и то, конечно, что нежданно-негаданно, по прошению в Хлебный переулок, попали они на Кавказ в санаторий и еще то, что встретили « светлую личность », так называет Надежда Павловна Короленко и Михаила Степановича.

Я спокойно могу заниматься один, в пустующем днем здании могу свободно курить и, никого не смущая, громко разговаривать сам с собой, подбирая точные слова проносящимся мыслям, и вслушиваясь в звучание слов и звучность сочетаний. Только в утренний час я на воле: я прохожу через парк за папиросами; вечером купить свежий чурек, в котором есть что-то и от нашего московского калача и от сдобного черниговского бублика и, конечно, свое и очень вкусное, кавказское.

И всегда задерживаюсь.

Там, около табачной, булочной и фотографа отчетливо — он выше пирамидальных деревьев, выше облаков, как самый пронзительный, жарче и чище всякого цвета, блестящим рогом белой звезды возносится в небо Эльбрус. Я видел Монблан, но такой чистоты и звучащей силы я не помню.

И, однажды, оторвавшись от Эльбруса, я вдруг увидел в окне булочной необыкновенно яркое малиновое пятно. Смотрю — заяц. Да, это был самый настоящий малиновый заяц — малиновый, черные-пречерные усы и черные глаза, две черные костяные пуговки ! — кавказский и только нет хвоста, как у наших. Я принес его в санаторию, посадил к себе на стол: будет мне караульщик ! Я был в восторге под стать Надежды Павловны и Веры Владимировны, только мой восторг тогда был заяшный.

Какой умница, заяц ! Я гладил его малиновую мордочку, бархатные, малиновые уши, теребил его за ус и повёртывал — теплый ! И мне казалось, что, в ответ моей ласки, он что-то мурлычет . . . по-грузински. Конечно, он будет сидеть на моих рукописях, не убежит, ему у нас хорошо — « в булочной, не скажу, чтобы было прятно ! » — « но я курю . . . ? » — « Ничего, можешь ! Кури » ! » — и с самым резким, с самым непокорным ветром, он знает, он поладит !

Был у нас в гостях Короленко. Ту же чистоту, бережность и тихость (только это совсем не смирность !) и, может быть, после Аксакова, единственные в русской литературе, я почувствовал и в его словах — разговоре.

Я всегда помнил его лучшее, но менее прославленное, не « Слепого музыканта », не « Сон Макара », не « Старого звонаря », а его « *В дурном обществе* » и « *Соколинца* », от-

куда пошел Горький со своим «дном» и беспокойной, спивающейся «бродягой». И особенно мне была памятна Маруся из «Дурного общества», для которой он выпросил у сестры куклу, и как под чарами «живой» фаянсовой куклы, эта несчастная девочка, уже не встававшая с постели, вдруг поднялась... Я не удержался и, показывая Короленко на моего малинового, кавказского зайца, попросил: «Погладьте!» — «Вы убеждены, что неодушевленные предметы чувствуют?» — бережно взяв в руки моего зайца и пальцем пошевеля черный заячий ус, сказал Короленко, и мне показалось, посмотрел на меня жалостно.

Но в ту минуту я так ярко чувствовал, и что я мог ответить? Я не различал, где граница... и есть ли такая между ступенями жизни в живой природе от беспокойной летящей звезды до тяжелого «мертвого» камня! Или есть ли такой предел моему одушевляющему чувству?

Проходил медведчик с медведем и обезьянкой; обезьянка старалась идти по-медвежьи, уморительно ковыляла. Дружная компания приостановилась под нашим окном.

Пел медведчик заунывную песню — «косолапы да мохнаты» и о дикой цыганской воле; песней и начиналось. А медведь показывал — «как кисловодские кухарки ходят», «как барышни танцуют». Я наблюдал с балкона; окно — настежь. Глядя, я вспомнил Гаршина, его горестный рассказ о медведях, вспомнил и Пришвина, его точное птичье и звериное слово и зарю, и его степные звезды; а песня медведчика, всколыхнув мою какую-то кочевую память, щемя сквозь, уныла во мне. И вдруг откуда ни возьмись — ветер, да как шарахнет — и все мои рукописи и с зайцем, как вымело сметом вон...

Я скорее из комнаты и вниз, бегом. Но уж поздно: медведь Шурка, он только обнюхал и рукописи и зайца, но обезьянка... теперь я убедился, что это был обезьян со свиным хвостиком штопором... но обезьян, зверски, безжалостно и цинично опалив мои рукописи, с жадностью вцепился в зайца и, прижимая его к волосатой груди, совсем не добро с зелёным блеском посматривал на меня.

Вечерний час — сбор к столу ужинать. Сколько было народу: и Лидия Акимовна, и Надежда Павловна, и Вера Владимировна «бритая» и медведчик. Все мы пытались освободить зайца из «обезьяньих лап». Но все было напрасно: никакие уговоры, ни толчки не подействовали. Так и ушел обезьян — теперь он горбился и гримасничал, подражая мне, унес моего любимого, малинового зайца.

Видел ли М.С. мою борьбу с обезьяном или ему рассказали, не знаю. При встрече, не распространяясь, я пожаловался.

Много М.С. Зернов принял жалоб за свою практику и

много дал всяких полезных советов, но такое — впервые. Он создал санаторию для « неимущих » — интеллигенции, перед которыми двери санатория были закрыты и это ему удалось не просто, но что он мог — против обезьяна ? И ему оставалось как царю Давиду старухе на ветер, так мне на моё — обезьяна. Он только развел руками: « не постижимо ! »

Но еще более невероятное произошло потом. Мне рассказал фотограф, сосед той булочной, где я покупаю чурек и кузинаки и где я купил малинового зайца. А вот что произошло: обезьян, привязавшись к зайцу, из любви, конечно, так тормошил его и тискал, шкурка не выдержала и подпоролась. И он его съел.

— Как съел ?

— Очень просто: заяц оказался шоколадный.

— Что вы говорите ? !

— « Внутренность съел моментально », — рассказывал фотограф и, по привычке ретушировать, добавил к невероятному свою фотографическую прикрасу: — а малиновую шкурку и с усами прицепил себе, шельмец, к своему свинячему хвосту на кончик, так и щеголяет !

А мне без зайца было, как без рук: кто защитит меня от ветра ? Мои рукописи, как бабочки летали. А обезьяна мне было жалко: на что польстился ? А разорил добро !

В санатории произошло большое событие. Разнесся слух, что видели М.С. в парке и что не летал он, как обыкновенно, а шел, как прогуливался, и не один, а с каким-то высоким, седоватым, размашистым господином в пенсне. Пошли догадки и почему-то уверяли, что это граф Витте (1849-1915) и, хотя Витте к тому времени уже помер . . . ну, всё равно, какое-то высокопоставленное лицо. А за обедом, этот господин в пенсне, его сейчас-же узнали, оказался за одним столиком с Короленко. А к вечеру всем стало известно, что это Чехов.

Это и был Чехов, Иван Павлович, учитель в Москве, знакомый В.Ф. Малинина (1873-1943)*, брат Антона Павловича, никакой не граф и свой человек, как наша соседка Надежда Павловна, и под стать мне, ратник ополчения 2-го разряда, нижний чин (в войну всех по военному распределяли). Но сразу же, по магии имён, определилось, что это сам Антон Павлович.

Поддавшись всеобщему убеждению, забывая, что Антон Павлович давно помер, я хоть и называл нашего компаньона Иваном Павловичем, но невольно смотрел и слушал, как Антона Павловича, которого только раз, да и то во сне видел, но осеннюю печаль чеховских рассказов и это не холодное без-

---

* Член Московской Городской управы, Почетный мировой судья, Товариц председателя Московского Землячества в Париже.

различное сердце, этот трепет человека, которому открыто о какой-то воле, но пути скрыты, храню в памяти незабывно.

На память решено было сниматься: М.С. с Короленко и Чеховым, а кругом ступеньками, прижавшись друг к другу, весь санаторий, все мы, кто с этой ессентуковской фотографией разнесет по России навсегда благодарность М.С. Зернову.

А была и еще группа: под деревом на скамейке около старого здания санатория — Короленко и с ним, как уверяли, Антон Павлович Чехов, заложив ногу на ногу и художник Реми из « Сатирикона », с поджатыми.

Первым уехал Короленко в свою Полтаву и увез тепло. Началось ненастье: с утра туман и дождик, к вечеру проглянет и снова ползет туман — какие лапистые хвостища и хвостящие носы ! Темные, жуткие, беззвездные ночи. Не видно ни Бештау, ни Быка, ни Верблюда. Я только чувствую — а там вон должен быть зловещий Машук.

Чехову, говорили такое, кстати — « Хмурые люди », « Скучная история » — его стихия. Но и Чехов ежился; все чаще в разговоре поминается его теплая московская квартира на 4-ой Миусской и приятель Малинин. В аллее, у источников бродит под дождем долговязый фотограф. « Скажите мне, что я дурак ! » — обращался фотограф к прохожим, знакомым и незнакомым: он простить себе не мог — теперь всем известно и в Кисловодстке и в Пятигорске — упустил такой случай: не догадался снять Короленко в разных позах, а мог бы постараться подстеречь его и в ванне и на приеме, хорошо тоже у источника с кружкой... « Скажите мне, что я дурак », — тянул фотограф, как ветер тянул свое ненастье у нас на лестнице на 3-м этаже.

И в ветер и в дождь летал М.С. Его осаждали со всех сторон и напористей, даже смирные и безгласные жаловались. М.С. всем обещал чудесную погоду.

И вот, в последнюю неделю, как разъезжаться и закрывать санаторий, вдруг все изменилось. И я снова увидел любимого Верблюда. И было тепло, летит паутинка, золотая осень !

В аллее меня остановила маленькая девочка. « Стой », — сказала она и лукавыми глазенками посмотрела, как проверила: — « Я тебя сниму ».

— Ну, снимай ! —

Я приостановился: я, как Иван Павлович к *Чехову* привык к своей роли: я — художник Реми из « Сатирикона ».

А она вынула коробочку, пальчиком там повела, как фотограф делает.

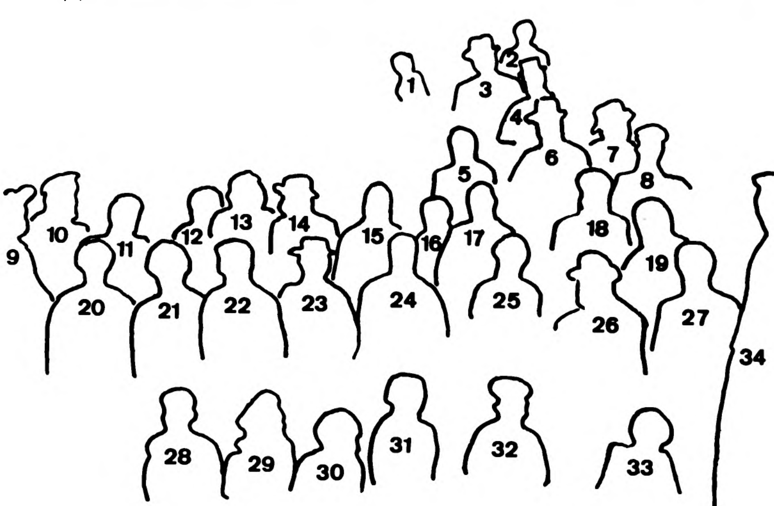
« Готово ! » — и подает багряный, виноградный листок — « Вот ваша карточка ! » А какие ночи ! В такие ночи только Гоголю да Пушкину гулять с Дон-Кихотом.

Вечером, в последний раз, я взглянул на Эльбрус, обошел

санаторий, простился с Михаил Степановичем, еще и еще раз сказал ему спасибо и за себя и за соседей. Я не « художник », не « Сатирикон », я только осенний, виноградный листок. Затаённо смотрю я в ночь, и в моих глазах надзвёздный сквозь туман кремнистый путь.

В небесах торжественно и чудно !
Спит земля в сияньи голубом . . .
Что же мне так больно и так трудно:
Жду ль чего ? Жалею ли о чем ?

**ДОМ М. С. ЗЕРНОВА В ЕССЕНТУКАХ « после обеда »**




1 Мальчик казачок - 2 Горничная Паша - 3-4 Доктора ассистенты - 5 ? - 6 Сергей Александрович Кеслер - 7 Архимандрит Леонид - 8 Борис Серг. Кеслер 9 ? - 10 Чижов - 11 Евдокия Мих. Зернова - 12 Доктор Гаврилов - 13 Артист Художеств. театра Б. А. Вишневский - 14 Доктор Ник. Ник. Тугаринов - 15 Проф. Преображенский - 16 ? - 17 Димитрий Степанович Зернов - 18 Мария Пав. Кеслер 19 София Александровна Зернова - 20 Елена Зернова - 21 Мария Григорьевна Калустова - 22 Елизавета Алесандр. Калустова - 23 Михаил Степанович Зернов 24 Борис Васильевич Богушевский - 25 Дора Мих. Преображенская - 26 Лев Михайлович Лопатин - 27 Мария Алесандровна Богушевская - 28 Коля - 29 Таня 30 Маня - 31 Вера - 32 Боря - 33 Соня - (дети Мих. С. и Дим. С. Зерновых) 34 Леонид Серг. Кеслер (стоит)



С. А. ЗЕРНОВА С ТРЕМЯ СТАРШИМИ ДЕТЬМИ (1903)



КОЛЯ ЗЕРНОВ




СОНЯ ЗЕРНОВА



**МАНЯ ЗЕРНОВА**



**ВОЛОДЯ ЗЕРНОВ**

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ СЕМЬИ ЗЕРНОВЫХ
## ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ЧЕТЫРЕХ ДЕТЕЙ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

## ПЕРВЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ

*Н. Зернов*

Одной из самых характерных черт детства является беззащитность, безопытность человеческой личности и, вместе с тем, яркое, остро режущее восприятие нового для нее мира. Ребенок всецело зависит от окружающих его людей, от тех взрослых, в руках которых находится его воспитание; он, как губка, впитывает с себя все хорошее и все дурное; его язык, его навыки, его религия даются сначала извне. Он также не свободен в их выборе, как и в выборе своей пищи и одежды, и все же с самого начала своего существования он есть новая, неповторимая личность со своими ощущениями, мыслями и волей. Он требует внимания к себе, негодует, протестует и настаивает на выполнении своих желаний.

Я плохо помню отдельные события своего детства, но зато ясно сознаю значение для моей дальнейшей жизни того, что я испытал более семидесяти лет тому назад в далекой Москве, в начале XX века. Мое детство раскрыло предо мною основные переживания человека: любовь и страх, радость и отчаяние, вспышки гнева и раскаяния, желание настоять на своем и блаженство примирения и прощения. Все эти чувства всецело захватывали меня, они то подымали меня ввысь, то бросали вниз в темную пропасть. Я рано прикоснулся к раздвоенности человеческой природы и на опыте убедился в притягательности не только добра, но и зла.

С внешней стороны, мое детство протекало в исключительно благоприятных условиях. Я рос вместе с дорогими мне сестрами и братом, в обществе многочисленных сверстников. Все вокруг меня дышало здоровьем и благополучием. С самого начала моей жизни я был членом Церкви, причастником ее таинств. Я никогда не испытывал физических лишений и не страдал от обид и незаслуженных наказаний. Нас воспитывали с любовью, но без баловства. Я не видел вокруг себя ни злобы, ни порока; но, именно из-за того, что мое маленькое существо получало столько внимания и ласки от всех окружавших его, оно оказалось особенно открытым перед злом и страданьем. Я рано начал вслушиваться во внутренние звуки, возникавшие в глубине моего сердца. Они несли с собою не

только горячую всепоглощающую любовь к моей семье, но и боль при мысли о возможности лишиться ее благодатного покрова, оказаться выброшенным в огромный и непонятный мне мир. Я не умел бороться с этими страхованиями, когда они нападали на меня. Но когда я освобождался от них, я чувствовал окрыляющую радость. Эти предчувствия потерь не были связаны с моим личным опытом. Наши родители были в расцвете своих сил. Мы никогда надолго не расставались. Никто из наших близких не болел и не умирал на наших глазах. Ужас рождался из каких-то смутных, неосознанных интуиций о том, что вся земная жизнь хрупка и ненадежна, что все в ней временно и должно рано или поздно измениться. Я живо помню, как я мучил мою мать, когда она начинала переодеваться, чтобы ехать вечером в театр или в гости. Как я бросался к ней, обнимал ее, умолял не уходить из дома. Если бы я знал тогда французский язык, я, наверное, говорил бы ей: « Partir c'est mourir un peu... », но тогда я еще не мог рассуждать, я просто всем существом страдал от предстоящего расставания. Эти чувства разделяли со мной мои сестры, особенно Маня, младшая сестра.

Другим источником страданий было для меня соприкосновение с ущербленностью и уродством земного существования: нищие, пьяницы, дети-попрошайки, бездомные собаки с жалко поджатыми хвостами, тощие запуганные кошки, все эти жертвы голода, холода и порока терзали мое сердце.

Даже прогулки по Москве часто были для меня испытанием. Я приходил в наш счастливый, теплый дом, неся с собой пойманный на улице взгляд голодных глаз, или запомнившуюся картину красных обмерзших рук. Сильнее всего, однако, действовали на меня нищие шарманщики. Их было много в Москве в начале столетия. Самое мучительное было, если они таскали с собой детей, зябнувших обезьянок или дрессированных собак. Когда раздирающие душу звуки шарманки раздавались у нас во дворе, я опрометью бросался к кому-нибудь из взрослых, прося дать мне монетку. Завернув ее в бумажку, я кидал ее через форточку во двор и с волнением смотрел, найдет ли ее шарманщик. Его благодарный жест давал мне некоторое облегчение, но боль не уходила и становилась особенно режущей, если музыка сопровождалась пением надтреснутого, часто детского голоска, выкрикивавшего знакомые слова: « шумел, гудел пожар московский », или « Маруся отравилась » или « шуми, шуми Марица » — песню, занесенную в Москву болгарскими цыганами. Я старался забраться в самую дальнюю комнату, чтобы не слышать этого голоса человеческой нищеты. Моя отзывчивость стала вскоре известной среди шарманщиков Москвы, и наш двор все чаще стал оглашаться звуками уличных музыкантов. Так как мы, все дети, жили одной жизнью, то и мои сестры и брат так же реагировали на

эти призывы о помощи, подымавшиеся к закрытым окнам нашего многоэтажного дома.

Я, конечно, не знал в те годы ничего о жизни этих выброшенных из обычной колеи людей. Большинство из них были, наверно, пьяницами, обитателями того Хитрова Рынка, которых так наивно и безуспешно пытался направить на путь истины Лев Толстой.[1] Я своим детским сердцем разделял их унижения и страдания, не умея еще защититься от них ни равнодушием, ни компромиссом.

Но если я мог страдать в детстве, то как я умел и радоваться ! Как все мое существо могло вдохновляться, ликовать и переживать моменты счастья. Оно все озарялось горячим ярким пламенем подлинного восторга, таким же нераздельным, как и пережитые мучения. Такое блаженство рождалось, когда отец или мать дарили мне свою любовь и прощение, после каких-нибудь провинностей; когда после споров, ссор и нередких потасовок, мир воцарялся в тесном кругу нас, четырех детей; или когда нам предстояло какое-нибудь особое удовольствие или торжество.

Одним из самых ярких из них была рождественская елка. Огромное, доходившее до потолка, дышащее морозом дерево привозилось на нашу квартиру за несколько дней до праздника. Дворник с помощью прислуги устанавливал его в нашей гостиной. С ним в нашу обычную жизнь проникал таинственный лесной мир, столь отличный от нашего городского быта. Вначале нам детям не позволялось приближаться к елке, чтобы не простудиться, но на следующий день нам разрешалось приступить к предварительному украшению дерева. В сочельник вход в гостиную снова становился для нас запретным. Взрослые раскладывали в это время подарки и развешивали новые елочные украшения. 24 декабря был день рождения моей сестры, вечером зажигалась елка. Двери в гостиную торжественно открывались и мы с замиранием сердца, с широко открытыми глазами вступали в феерию разноцветных свечей, звездочных искр холодного огня и сияющих стеклянных бус.

Нас охватывал смоляной аромат хвои, знакомая квартира исчезала, мы погружались в фантастический мир, где все было необычайно, непохоже на настоящую жизнь: грецкие орехи были золотые или серебряные, сосульки не таяли, картонные звери не стояли на ногах, цветные коробочки не открывались, в маленьких домиках никто не жил. Все эти елочные украшения не имели своего независимого существования, снятые с дерева,

---

[1] 23-25 Января 1882 Толстой участвовал в трехдневной Московской переписи. Он выбрал дома на Хитровом рынке и загорелся планом поднять на ноги их насельников.

они теряли свое обаяние. Зато в этот « благословенный » вечер они были прекрасны, и наши глаза разбегались при виде всех сокровищ, открывавшихся нам. Хотелось как можно скорее увидать наиболее замечательные украшения и поделиться сделанными открытиями с другими участниками торжества. Под елкой, завернутые в цветную бумагу лежали подарки, как для нас, так и для приглашенных детей. Получив разрешение взять свой подарок, с каким трепетом каждый из нас развертывал пакет, чтобы поскорее увидать его содержимое. Не только свои подарки, но и подарки другим были предметами захватывающего интереса. Почти всегда мы получали то, что нам больше всего хотелось иметь.

Елочное торжество кончалось играми и угощением, мы получали мандарины, мятные пряники, финики, винные ягоды и различные леденцы. Ложась спать, мы продолжали видеть зажженные свечи, огромное дерево, полученные подарки. Мы оставались участниками того сказочного царства, которое входило в нашу жизнь на Рождество, очаровывало нас и покидало нас только после праздника Крещения, когда уже осыпающееся дерево, лишенное украшения, уносилось дворником из нашей квартиры.

С такими же чувствами предвкушаемой радости подходили мы утром в день наших именин или рождения к столу, покрытому белой скатертью, под которой лежали подарки. Наши родители не забывали в эти дни никого из нас, но конечно сам герой торжества одаривался с особой щедростью.

Эти радостные события были яркими блестками на фоне других тревожных переживаний. Кроме страха потерять моих близких, я испытывал встречу со страхом в его ином и самом оголенном виде, со страхом, рождавшимся из глубины себя сознающего существа, брошенного в безбрежный и безразличный к нему мир. Этот ужас незащищенного бытия вспыхивал во мне в самые неожиданные моменты, но днем он все же обычно скрывался в тайниках души, зато ночью он выходил наружу, и я с трепетом ожидал приближение сумерек. Мрак и молчание были той средой, в которой ужас мог подходить ко мне вплотную, когда он говорил мне что-то своим беззвучным языком и касался меня своей невидимой рукою. Стоило мне войти в темную комнату, я знал что там я найду моего таинственного незнакомца. Я не связывал его ни с каким конкретным образом. Я не боялся ни чертей, ни леших, ни привидений; в детстве ими нас никогда не пугали. Я бы назвал теперь мои детские переживания встречей, но не с силами зла, даже не с хаосом, а, наоборот, с космосом, с тем огромным, всеохватывающим и все в себе несущим процессом, невольным и беспомощным участником которого является человек.

В нашей квартире был коридор, с поворотом по середине. Часть его по вечерам была темной. Сколько раз с замиранием

сердца, со всей стремительностью моих детских ног, несся я по этому отрезку пространства с вытянутыми вперед руками, чтобы с разбега оттолкнуться от угловой стены и сразу увидать желанный свет столовой. В эти моменты я бросал вызов необъятному царству мрака, громоздившемуся за моей спиной.

Но если я мог бороться со страхом и даже вызывать его на бой по вечерам, когда наша квартира была полна жизни, то настоящие испытания наступали ночью. Проснувшись, я находил себя во власти молчания и темноты. В эти минуты я слышал биение таинственной, безличной, космической жизни, я чувствовал присутствие кого-то, кто был « ничто ». Эти ночные страхи иногда становились столь невыносимы, что я вскакивал со своей постели и босиком бежал в спальню моих родителей и только у матери находил защиту и покой. Стыдился ли я этих припадков страха ? Думаю, что нет, они были слишком реальны. Вопрос был не в том, стыдно ли было им поддаваться, а в том, кто мог защитить меня от их непомерной жути.

Однако не всегда приближение ночи бывало столь устрашающим. По пятницам у наших родителей собирались гости, иногда устраивались приемы, обеды или заседания разных политических или общественных организаций. Какая радость охватывала мою душу, когда раздвигался большой стол в столовой и покрывался красным сукном или белой скатертью. Вся квартира преображалась, хозяева и прислуга переодевались в ожидании гостей. В эти вечера идти спать становилось не только не страшно, но даже приятно. Лежа в постели, можно было наслаждаться шумом голосов, звоном посуды, быстрыми шагами прислуги и теплым, родным светом, вливавшимся в нашу детскую из-за неплотно прикрытых дверей. В эти счастливые вечера ночной ужас не смел приблизиться к моей кровати, я был защищен от него как бы магическим кольцом мыслящих и действующих людей. Маленький и беспомощный, я все же был частью того разумного строя, созданного теми взрослыми, которые сидя за нашим длинным столом спорили и обсуждали свои пока мне еще непонятные дела.

Часто моя мать, шурша своим вечерним, нарядным платьем, заходила в нашу спальню, она казалась чудным видением, ее духи, ее кольца и браслеты пели о ее красоте, о ее любви к нам. Ее дорогие, столь нежно любимые руки оставляли под подушкой какой-нибудь вкусный подарок, который делал праздником следующее утро. Присутствие его под подушкой в течение ночи напоминало о той стороне жизни, которая была полна человечности и смысла.

Такие же подарки наша мать привозила нам со званых обедов, но они лишь в слабой степени вознаграждали за те

горькие часы разлуки, которые причинялись нам ее отсутствием из дома.

Были еще и другие вечера, когда укладывание спать не было мучительным. Среди наших часто сменявшихся гувернанток попадались музыкантши. Было блаженно засыпать под музыку, когда они, в награду за наше хорошее поведение, соглашались играть на рояле, пока мы не заснем.

Я не знаю, когда космический страх вошел в мою жизнь. Я не помню, когда он покинул меня или вернее, когда я научился загонять его в глубь моего существа. Думаю эта относительная свобода была добыта мною, когда мне минуло 10 или 12 лет. Это было концом моего детства и началом отрочества с его полетами и падениями.

Часто слышишь описание детства, как золотого, безоблачного времени. В моем случае было по-иному. Со стороны внешних событий, наше детство прошло безмятежно, но внутренно оно было полно напряжения и борьбы. Глядя назад, оно представляется мне, как период моей жизни наиболее открытый к страданиям и к присутствию зла в мире. Силы для преодоления их я нашел гораздо позже, когда я сознательно обрел церковь, ощутил ее покров надо мною и поверил в любовь и милосердие всемогущего Бога.

## ВТОРАЯ ГЛАВА

# ТРУДНАЯ ЧЕТВЕРКА

*Н. Зернов*

Мы, четверо, были трудные дети. В нашем доме не уживались немки-гувернантки. Мы постоянно ссорились друг с другом, а вместе с тем мы не были избалованы и искренно хотели слушаться родителей и воспитателей. Несмотря на наши лучшие намерения, мы все же оказывались обычно бессильными пленниками детских страстей и капризов.

Каждый из нас жил своей интенсивной жизнью, каждый из нас проявлял свою индивидуальность и упорно настаивал на своих желаниях. Все мы, хотя и по-разному, искали своего места в нашей семье и на этой почве вступали в борьбу, сопровождавшуюся упреками, слезами, а в раннем детстве и драками. Я, как старший, был главный зачинщик игр и общих предприятий. Моей соперницей была обычно сестра Маня. Она чаще других отказывалась выполнять предназначавшуюся ей роль и сама стремилась руководить другими, в особенности младшим братом, и требовала его подчинения.

Редко, когда день проходил без бурных столкновений. Однажды мы дали родителям торжественное обещание провести хотя бы один день без ссор. Мы увлеклись этой трудной задачей и даже соревновались в жертвенности наших уступок. Под вечер мы начали чувствовать себя на вершине добродетели. Однако уже перед самым отходом ко сну, кто то нарушил общее согласие и мы были вовлечены в такую потасовку, которая превзошла наши обычные столкновения. Наше поражение было столь разительно, что мы не пробовали больше повторить неудавшийся опыт.

Был у нас и другой случай. К нам поступила новая гувернантка Альбертина Тенисовна. Ее рекомендовали мамины приятельницы Наталья Владимировна Толстая и Аделаида Платоновна Ковалевская, которые пользовались большим уважением в нашей семье. Их кандидатка всем очень понравилась, и мы обещали нашей матери вести себя как можно лучше с ней. После завтрака она повела нас на прогулку. Вначале все шло прекрасно, но Соня не удержалась от соблазна и столкнула Маню в сугроб. Та не осталась в обиде и вскоре мы все четверо сделались участниками такой ярост-

ной битвы, что напуганная девушка, к нашему стыду и искреннему огорчению, покинула наш дом в тот же вечер.

Мы легко привязывались к нашим воспитательницам и не хотели сознательно досаждать им или огорчать их. Но им обычно не удавалось справиться с нами, и поэтому редко кто из них оставался надолго у нас. Мы не признавали другого авторитета, кроме нашей матери. Она одна была непререкаемым арбитром во всех спорах и обидах. У нее не было любимцев, и у нас была полная уверенность, что она рассудит нас по справедливости. Но отдавшись гневу или капризу, мы теряли равновесие, и тогда какая-то чужая и темная сила овладевала нами и неудержимо влекла нас в пропасть. В эти моменты мы мучили и себя и других, сдаваясь стихии бунта и разрушения. Придя в себя, мы горько каялись за наши проступки, но через известное время вновь срывались и падали в ту же пропасть. Только одно можно сказать в наше оправдание, мы никогда не хотели, сознательно причинить боль друг другу, так как горячо и даже безудержно любили всех членов нашей семьи.

В припадке одержимости, раз я укусил мамин палец. Мне было 6 лет. Она торжественно завязала его белым платком и я с ужасом взирал на содеянное мною преступление, чувствуя себя великим грешником. Это происшествие оставило на нас всех глубокое впечатление. Среди детских секретов, которые мои сестры открывали только самым верным подругам, рассказ о моем укусе играл долгое время одну из главных ролей.

Однако мы не только умели ссориться, но умели также прощать и просить прощение. Это желание обрести мир и согласие получало свое завершение в своеобразном обряде вечернего прощания, который неуклонно соблюдался в течение ряда лет. Он возник еще в то время, когда мы четверо спали в той же детской. После вечерних молитв, когда башмаки и ночные туфли были поставлены на полагающееся им место, а дневная одежда расположена в строгом порядке на стульях и мы уже лежали в наших постелях, начинался этот традиционный ритуал примирения. Сначала каждый из нас по-очереди желал спокойной ночи папе, маме, родственникам, сверстникам и прислуге, затем мы прощались друг с другом, с игрушками и комнатными вещами; кончалось это долгое перечисление лиц и вещей заветной фразой « покойной ночи все, вся, всё, простите меня все и я всех прощаю ». Эта формула, повторенная три раза, оканчивала длинный день со всеми его радостями и огорчениями. После подобного великого примирения мы спокойно отходили ко сну. Но бывали вечера, когда одна из маленьких кроваток молчала и детский голосок не давал отпущения грехов. Это означало, что кто-то все еще держал в сердце обиду, и тогда все остальные начинали дружно увещевать упрямца, говоря « как тебе не стыдно

не прощать ». Обычно это соборное воздействие производило желанное впечатление и раздавалось ожидаемое « простите меня все », которое мгновенно смывало все горечи дня.

После прощения уже не полагалось говорить друг с другом, но именно поэтому часто появлялось искушение еще что-то сказать в последний раз. Начатый разговор, однако, требовал повторения всего ритуала прощения, но чтобы избежать подобного осложнения, была выработана условная формула: « Я хочу сказать еще одно слово, но оно не считается ». Другая формула состояла из фразы: « Кто еще скажет слово, тот меньше всех любит папу и маму ». Так боролись мы с нарушением порядка, наша бурная четверка обычно с трудом отходила ко сну.

Наружностью мы все походили друг на друга, но темперамент у нас был разный. Я был вспыльчив, но и отходчив, и готов был первым искать примирения. Соня была уступчива, но зато дольше помнила обиды. Когда она была маленькой, то считалась плаксой, так как могла часами хныкать, не поддаваясь ни на ласку, ни на укоры. Став подростком, она любила задорить других и играть своей невинностью. Уже с самого раннего детства ее особое очарование привлекало к ней внимание самых разных людей. Маня была застенчива, самостоятельна и упряма, с богатой фантазией и горячим сердцем, она легко отдавалась целиком и радостям и страданиям. Володя был спокойнее и податливее других.

Маня и я не любили выставлять себя, Соня и Володя, наоборот, не стеснялись быть центром внимания. Володя, еще совсем маленьким, вызывал смех гостей, отвечая по наущению няни Татьяны заученными фразами на задаваемые вопросы: « Кто ты ? » — « Добродушный толстяк ». « Умен ли ты ? » — « Ума палата ». Когда он немного вырос, он выучил наизусть стихи Пушкина: « Лила, Лила я страдаю ». С особенным пафосом он декламировал: « Смейся Лила, ты прекрасна и бесчувственной красой ! » эти выступления имели большой успех у взрослых. Володя был доволен, а мы с Маней не любили этого.

Последние годы нашего детства были отмечены страстным увлечением чтением: сказки, а потом приключения, путешествия и история ввели нас в пору отрочества.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

## СПОРЫ О ГЕНЕРАЛАХ (РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА)

*Н. Зернов*

Один эпизод моего детства глубоко врезался в мою память. Он интересен психологически, так как выражает сложность души ребенка. Он связан с Русско-Японской войной 1904-1905 г.г.; мне было в то время 6 лет.

Наша семья принадлежала к либеральной интеллигенции, не одобрявшей военную авантюру на Дальнем Востоке, начатую непопулярным правительством. Хотя никто у нас не горел воинственным духом, разговоры о войне постоянно происходили за нашим столом. В результате их я стал себя называть « Генералом Стесселем » (1848-1915), неудачным защитником Порт Артура. Присвоив себе это имя, я наверно хотел этим принять участие в деле, столь занимавшем взрослых, и таким образом привлечь к себе их внимание, так необходимое ребенку. Не думаю, чтобы родители отнеслись серьезно к этой очередной детской игре, но вскоре это отожествление с военным героем стало для меня источником больших мучений, из-за няни Татьяны, которая была приставлена к моему годовалому брату Володе. Со свойственной русским няням ревностью к своему любимцу, она стала называть его тоже « Стесселем ». Я вступил с ней в страстный спор. Со всей силой моего убеждения, я утверждал что это я — « Стессель », но няня Татьяна упорно твердила: « Нет, Володенька Стессель ». Власть взрослых над ребенком имеет в себе магическую силу. Я отчаянно сопротивлялся, но не мог разбить заколдованного круга, и мой полет в мир военных подвигов был подкошен. В итоге этих пререканий я чуть было не возненавидел Володю, который, улыбаясь и махая ручонками, относился с полным равнодушием к усилиям своей няни покрыть его ореолом военной славы.

Русская армия начала терпеть поражения на фронте. 19 декабря 1904 года пал Порт Артур. Как-то, в начале нового года, мой отец за утренним завтраком прочел императорский указ о назначении Алексея Ивановича Куропаткина (1848-1925) главнокомандующим. Это известие вызвало у всех большой энтузиазм. Куропаткин был соратником доблестного Скобелева (1843-82), но, как выяснилось впоследствии, этот

ученый генерал не обладал дарами полководца и после мукденского поражения он был отставлен от своей высокой должности. Вначале, однако, все газеты всецело одобряли этот выбор. Для меня он тоже имел решающее значение, так как он дал мне новое оружие в борьбе с няней Татьяной. Как только кончился завтрак, я бросился в детскую, где нашел брата на коленях у моего врага. Я без труда вовлек ее в наш обычный спор и скоро я услышал столь уязвлявшие меня слова: « а наш Володенька генерал Стессель ». Но на этот раз они принесли мне не боль, а чувство торжества. Соблюдая по возможности самообладание и стараясь тоном моего голоса не выдать все то, что пело в моей душе, я ответил ей: « Да, Володя Стессель, а я — генерал Куропаткин ! » Няня растерялась, она почувствовала, что произошло что-то неблагополучное для ее питомца, но она не знала, как парировать мой удар, и растерянно повторяла: « Володенька — Стессель » . . . Так мое страстное желание быть героем войны больше не было оспариваемо. Это была моя первая пебеда над « взрослым ».

Я до сих пор так ясно вижу себя стоящим перед няней, с Володей на коленях, вижу ее растерянное лицо, ложку в ее руках, комнату . . . Все другие дни этих далеких лет слились теперь в одно плохо различимое целое, это же зимнее утро отчетливо выделено моей памятью из окружающего его тумана. Какие глубокие струны были задеты во мне, шестилетнем мальчике, этим спором с няней, что бы я мог так переживать свои поражения и так торжествовать своей победой!

## Революция 1905 года

Революция 1905 года отразилась в моей памяти случайными впечатлениями. Помню ванну, наполненную водой, ввиду общей и водопроводной забастовки, свечи вместо недействующего электричества, звуки отдаленной стрельбы и красное небо, от зарева пожаров. В нашем Хлебном переулке все было тихо, и мы даже гуляли по нему, но недалеко от нас была Пресня с ее баррикадами, и нам не позволяли выходить даже на Поварскую, т.к. в конце ее были пушки. Это слово «пушка» вызывало образ чего-то большого, мохнатого и черного, чего надо было бояться, но на что очень хотелось посмотреть. Другое слово, занесеннное к нам в 1905 году, было сложное слово « экспроприатор ». Им назывались вооруженные бандиты, врывавшиеся в квартиры и грабившие жителей под предлогом сбора денег на революцию. У нас на входной двери были сделаны дополнительные запоры, а нам, детям, было запрещено выходить в переднюю на звук звонка. Это новое слово « экспроприатор » было для меня чем-то длинным извилистым

и острым, которое могло прорываться через двери, проскальзывать во все комнаты и могло унести с собой привычные и любимые вещи.

Смутно помню папино ликование по поводу дарованной Конституции. Помню также многочисленные собрания в нашей квартире либеральных гласных Городской Думы, а затем и членов только что родившейся конституционной партии Народной Свободы (К.Д.)

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

## НАШИ ИГРЫ

*Н. Зернов*

Наше детство прошло в мире игр. Они были неисчерпаемыми источниками вдохновения, восторгов, ссор и сердечных раздираний. Они заполняли собою всегда полный событий и переживаний долгий детский день.

Главными соучастниками игр были мы четверо, но иногда круг действующих лиц расширялся и в него входили не только наши сверстники, но и воспитатели, прислуга, и наконец, и родители. Их присутствие придавало играм особую значительность.

Детская фантазия и неистощима и однообразна. Ребенок способен с тем же увлечением играть в одну и ту же игру, повторно вкладывая в нее свое творческое воображение, переживая каждый раз с той же остротой радости и огорчения, страхи и очарования. У нас было несколько любимых игр, которые в течение ряда лет увлекали нас. Одни из них воспроизводили действительные события нашей жизни, другие возникали из нашего мифо-творчества.

Одной из самых ярких игр первой группы была посадка и спуск с парохода в открытом море, которое мы проделывали при поездках в Сочи. Эти пересадки в тяжелые фелюги обычно происходили ночью. Требовалась сноровка, чтобы вовремя спрыгнуть в лодку, которая то подымалась к самым сходням, то проваливалась в темную глубь моря. Опытные турки ловко подхватывали терявшихся пассажиров и быстро усаживали их на скамейки лодки. Эти посадки были и жутки и красивы: южное звездное небо, свежий морской ветер, огромная масса парохода, всплески и хлюпание воды, набегающие гребни волн, причудливо освещенные огнями с палубы, и непонятные гортанные крики босых турок в красных фесках, все это производило на нас неизгладимое впечатление. Разбуженные ночью, дрожа от волнения, мы с трепетом ждали нашей очереди спуска по трапу. Попав в фелюгу, мы погружались в стихию моря, отдавая себя медленному ходу лодки. Она то тяжело подымалась на волне, открывая нам вид на залитой огнями пароход, то пропадала в темноте. Тусклый фонарь слабо освещал обветренное лицо рулевого и гребцов,

медленно и равномерно опускавших длинные весла в черную, как чернила, воду. Когда мы подплывали к узкой пристани, стоявшей на столбах в море, то повторялась снова пересадка, но уже в меньшем масштабе. Приятно было очутиться на твердой почве, но земля еще долго продолжала то подыматься, то опускаться под ногами.

Вот эти морские приключения и были источником одной из наших особенно долго длившихся игр. Огромный (таким он нам казался в детстве) турецкий диван, стоявший в папином кабинете превращался в корабль, плывущий по морю. Тяжелые квадратные подушки изображали фелюги, а мягкий ковер давал нам полную иллюзию черного моря. Мы попеременно изображали то испуганных пассажиров, то бесстрашных турок. Отчаянно скача на мягких пружинах дивана, мы воспроизводили морскую бурю, а те из нас кто цеплялся за края дивана и пытался выкарабкаться на него, видели себя путниками, рискующими своей жизнью. Мы все барахтались, в восторге помогали друг другу и предупреждали об угрожающих опасностях, особенно когда ожидался самый страшный « девятый вал », который грозил перевернуть фелюгу и потопить всех пассажиров.

Нам никогда не надоедала эта игра. Мы могли бесчисленное множество раз прыгать с парохода на лодки и подражать окрикам матросов и турок.

Другой ненадоедавшей нам игрой была игра в « тройки ». Она требовала участия наших родителей и потому протекала в торжественной обстановке.

Каждым летом все наши многочисленные родственники и знакомые приглашались нами на загородную прогулку. Для этого заранее заказывались несколько лучших троек, а также верховые лошади для любителей.

В этой игре в « тройки » мы предавались счастливым воспоминаниям и изображали и коней и кучеров. Сперва мы вступали в переговоры с нашими родителями, представляя известных нам возниц, подражая их говору и торгуясь о цене за поездку. По окончании этих споров, мы подлетали к родителям уже в виде резвых лошадей. Мы мчались по нашей квартире, стараясь перегнать друг друга. Ветер шумел в наших ушах, пыль вилась столбом за нами. Как упоительно было слышать голоса папы и мамы, умоляющих нас быть осторожными на поворотах. Эти просьбы взрослых придавали полную реальность нашей бешеной езде, и мы, уступая их мольбам, сдерживали свой бег. Подъезжая к крутым спускам в овраг, мы преображались в сильных коренных, откидывались назад и, медленно перебирая ногами, чувствовали на себе весь груз экипажа и его затихших седоков. Это была увлекательная игра. Быстрота бега, сложность ролей, но, самое главное, бесстрашие возниц, воодушевляли нас. Сознание,

что наши родители отдавали себя в наши опытные руки, — и мы всецело оправдывали возложенное на нас доверие, — было восхитительно !

Другая наша игра в « зверей » тоже требовала участия родителей. Книга Бёма была одной из спутниц нашего детства и отрочества. Желание изобразить виденные в ней диковинные существа с раннего возраста захватило наше воображение. Мы обычно усаживали родителей на почетных местах и просили их угадывать имена тех животных, которые по очереди появлялись перед их очами. Вытянутая перед носом рука соответствовала хоботу слона, палец, поднятый над носом, был рог носорога, различные виды рогов оленей и быков тоже успешно импровизировались нами. Другие животные выражали свою природу или звуками — лаем, мычанием, мяуканием, — или же своими скачками и прыжками. Наши родители или одобряли достижения домашних артистов или выражали недоумение при виде слишком замысловатого представления. В этой игре самое вдохновительное было не только отождествление со зверем, но и санкция родителей на это творческое перевоплощение. Когда папа или мама говорили: « Вот это настоящий конь », то весело было чувствовать себя мощным существом, во много раз превышающим наши силы. У каждого из нас были свои любимые звери и особенно удачные номера. Я больше всего любил изображать скачущего коня. Даже имя его, начинавшееся с моей буквы « К », отождествляло меня с ним в моих глазах. Подобно этому, мы любили распределять между нами фрукты, овощи и цветы. Каждый из нас считал, что все начинавшееся с первой буквы его имени принадлежало ему.

Игры в пароход, в тройки и животных рождались из событий нашей семейной жизни или из прочитанных книг. Участие взрослых в них было всегда желательно. Но были у нас и другие игры, которые не терпели присутствия наблюдателей. Они вставали из глубины нашей творческой фантазии. Одна из таких игр называлась « Боря, Вера и Таня ». Хотя она и носила имена наших двоюродных брата и сестер, но она не имела ничего общего ни с их характером, ни с их жизнью. Во время игры я превращался в беспомощного калеку, который только с величайшим трудом и при помощи своих любвеобильных сестер мог передвигаться с места на место, я назывался Борей, они Верой и Таней. Мы забирались под обеденный стол или в другие столь же мало удобные места. Они означали темные нищенские трущобы. Сидя в тесноте и темноте, мы предавались самым душераздирающим разговорам о страданиях мальчика калеки, о сиротстве его и его сестер, и других выпавших на его долю несчастиях, и обычно эта игра сопровождалась горькими очистительными слезами. Мы чувствовали себя в эти минуты особенно близ-

кими друг другу. Слезы эти были совсем иными, чем те, которые лились из глаз от обиды или физической боли. Они рождались из чувства сострадания ко всему несчастному, убогому и отверженному в мире.

Я не помню, как возникла эта игра, почему мы назвали ее именами наших родственников, но наши слезы я хорошо запомнил, а также то чувство, что Боря, мальчик калека, был совсем отличным от меня существом и я плакал не за себя, а из-за жалости к нему. Другая увлекательная игра была совсем не сентиментальна. Она называлась « Путешествие на луну » и выводила нас из круга нашей семьи, к ней привлекались наши сверстники. Это была сложная авантюра, требовавшая большой фантазии от всех нас. Мы все, держась друг за друга, образовывали вереницу и отправлялись в далекое странствование. Наши родители давали нам много свободы, предоставляя квартиру в наше распоряжение, и она становилась нашим нераздельным царством, и каким удивительным царством могли быть шесть комнат в первом этаже дома графа Хребтовича-Бутенева в Хлебном переулке на Поварской. Они вмещали и горы и реки, моря и леса, озера, и пропасти. Весь мир с его неисчерпаемым богатством заключался в них. В этой игре самым важным было коллективное внушение. Если один из нас кричал: « смотрите, смотрите, какие горы ! » то все мы поражались их высоте; если другие начинали дрожать от стужи, то и другие мучились от холода. Для того чтобы испытать все эти эмоции, мы гуськом двигались на исследование всех закоулков нашей квартиры: на четвереньках мы пролезали под столами, карабкались на кресла и диваны, ползли на животах под кроватями, забирались в шкафы, проникали в ванную и забегали на кухню. Яркий свет одних комнат, жуткая темнота других, таинственные углы давали богатую пищу нашему воображению, уносившему нас далеко от привычной нам обстановки. Эта игра была нашей детской тайной, мы не хотели открывать ее взрослым, так как они не могли понять ее.

Большинство наших игр нуждалось лишь в минимальной помощи со стороны. Их двигателями была наша чудесная, неистощимая фантазия. Но были у нас и игры, которые предполагали наличие и игрушек, но только не мешающих взлетам нашего воображения. Игрушки с механизмами, игрушки забавные для взрослых не признавались нами. Одно время мы много играли с маленькими фигурками, называвшимися мурзилками. Эти мурзилки в наших проворных руках делались участниками сложных приключений. Они путешествовали, ссорились, умирали и снова возвращались к жизни. Их заменили зверюшки; у каждого из нас был настоящий зверинец. Затем начались игры с оловянными солдатиками, которыми мы увлекались даже и в отрочестве. Со временем, в

наш обиход вошли другие развлечения, летом горелки, казаки и разбойники, зимой — прятки. В нашей квартире тушились все огни и мы с нашими приглашенными сверстниками забирались в самые недоступные углы и закоулки. Пробирала внутренняя дрожь, когда в полной темноте руки искали притаившегося товарища, или когда, наоборот, слышались его приближающиеся шаги. Лучшим местом для прятания был огромный шкаф, где висели зимние шубы. Запах мехов и их тепло давали чувство надежной защиты.

Мир игр не кончился с наступлением отрочества, но он принял новые формы. Зимой мы начали учиться танцам играли в музыкальные стулья, в фанты, летом мы увлекались городками, крокетом, теннисом и верховой ездой. Фантастика стала сменяться романтикой. Все сделалось сложнее, но и грубее. Горизонт одновременно расширился и потускнел. То, что знает ребенок, часто уже непонятно отроку, то, что волнует юношу, кажется неитересным для взрослых.

## ПЯТАЯ ГЛАВА

# МОЕ ДЕТСТВО

*С. Зернова*

Как странно подумать, что меня когда-то не будет на этой земле, что я пишу эти строчки и их, может быть, будет кто-то читать и этим прикасаться к моей жизни, а меня не будет . . .

Странно думать, что я когда-то была маленькой девочкой, робко вступающей на мой жизненный путь, и что я могу мысленно перенестись в мое детство, даже почти ощутить себя такой, какой я была. И теперь этот мой жизненный путь скоро окончится, и я скоро буду стоять перед вратами таинственной и неведомой вечности . . .

Я помню себя с 2-х лет, т.е. у меня есть только одно смутное и неясное воспоминание того времени: я помню лестницу в какой-то квартире и кто-то спускается по этой лестнице и приближается ко мне, кто-то, от кого излучается любовь и тепло. Я знаю, что он сейчас возьмет меня на руки, и мне от этого будет блаженно-хорошо. Я стою внизу и жду. Теперь мне кажется, что я знала, что это была моя бабушка, и что мне даже были знакомы черты ее лица. Но, вероятно, лицо ее я помню оттого, что позднее я видала ее фотографии, мое же первое воспоминание связано только с ощущением любви и тепла.

Когда мне было 4 года, родился мой младший брат. Меня ввели в спальную моих родителей, чтобы показать мне его. Он лежал на кровати, рядом с моей матерью. Это было странное и чужое маленькое существо. Было совершенно непонятно, как оно появилось в нашей квартире. Мы все, мой старший брат, моя младшая сестра и я — *всегда были,* но этого младшего братца не было никогда. Я была полна недоумения и глубокого волнения. От избытка чувств мне хотелось плакать.

Я помню еще людей, которые занимали большое место в моей жизни, мне, вероятно, тогда тоже было 4 года. Прежде всего это была няня — Агафья, высокая, статная, принадлежавшая только мне. Она была везде и всюду, ночью и днем, в нашей детской, на прогулках по московским бульварам, в наших играх, горестях и радостях. Кроме няни, я особенно

ярко помню еще двух « моих друзей ». Один из них был Николай Иванович Тютчев. Его сестра София Ивановна была воспитательницей Великих Княжен, она была большим другом моей матери и, когда бывала в Москве, всегда приезжала к нам. Ее я помню очень хорошо, но Николая Ивановича я помню по особенному. Когда он приезжал к нам, я выбегала в гостиную и не хотела уходить. Я стояла около него и мне было хорошо. Мою мать это забавляло, и я помню ее голос: « позовите Сонечку, Николай Иванович приехал ». Он, вероятно, тоже любил меня, он меня гладил по головке, по моим светлым, как лен волосам. Я ощущала его руки и их прикосновение к моей голове.

Вторым моим другом был Лев Михайлович Лопатин, известный философ и совсем особенный и очаровательный человек. Он прошел через все наше детство и через всю нашу юность. Он очень нежно относился ко мне и называл меня — четырехлетнюю девочку, своим « молодым другом ». Я принимала эту дружбу и покорно выбегала его встречать, или подавала ему руку и провожала его по саду до калитки, когда он уходил от нас. Он был верным пациентом моего отца, приезжал каждое лето в Ессентуки и каждый день обедал у нас. Но я не стояла около него, как я стояла около Н.И. Тютчева, очевидно тепло, которое изливалось на меня от него было « более отвлеченное », не направленное прямо на меня — маленькую девочку.

Лев Михайлович очень любил рассказывать об одном моем разговоре с ним: за день до его отъезда я подошла к нему и спросила:

« Это правда, что ты завтра уезжаешь ? »

« Правда, Сонечка ».

« А ты не можешь остаться ? »

« Никак не могу, Сонечка », сказал он растроганно.

« Ни на один день не можешь ? »

« Нет, даже ни на один день » . . .

Тогда я облегченно вздохнула и сказала: « Как я рада, что ты уезжаешь ». Этого он никак не ожидал. « Почему же ты так рада ? » — спросил он.

« Очень чужие люди надоели », ответила я.

Лев Михайлович был в полном восторге от моих откровенных слов и, обыкновенно, окончив этот рассказ, он закидывал голову, и громко и заразительно хохотал.

Мне было 5 лет, когда случилась революция 1905-го года. — Слово « революция », было очень длинным и совсем непонятным, мне почему-то оно представлялось длинной змеей. Моя мать сказала, чтобы наполнили водой ванну, все кувшины и все кастрюли, и потом потухло электричество. Все взрослые были возбуждены и взволнованы и мало обра-

щали внимания на нас, детей. Но мы были здесь, мы все воспринимали, правда по-своему, но, может быть, еще острее и болезненнее. Меня особенно поразили слова: « Пресня горит ». Мне было очень страшно.

Позднее, когда восстание было подавлено, мы ходили с нашей няней гулять на Пресню и видели обугленные дома, перед которыми стояли группы людей и о чем-то рассуждали. Наша няня прислушивалась к их разговорам и что-то их спрашивала. Мое же сердце замирало от ужаса.

После прогулки по Пресне, мы обыкновенно проходили мимо двора, где помещалась пожарная команда. Это тоже было совсем особенное переживание. На этом дворе жил большой козел и, когда мы подходили к открытым воротам и робко заглядывали вглубь двора, нам иногда его выводили. От него исходил острый, солоноватый запах, который мы ощущали задолго до того момента, как появлялся козел. Мы не решались близко подходить к нему, или дотронуться до него, но один вид этого длинношерстого животного с большими рогами доставлял нам неописуемое удовольствие. И опять замирало сердце.

Мне кажется, что мои самые ранние воспоминания были всегда связаны с « замиранием сердца ». То оно замирало от излучения тепла и счастья, то от недоумения и изумления, то от страха и ужаса.

Когда я была маленькой, по рассказам моей матери, я была кроткая и тихая, а моя младшая сестра — вспыльчивая и горячая. Мы все были голубоглазые, у меня были пепельные светлые волосы, а у моей сестры темные. Когда я начинала плакать, то не умела остановиться. Взрослые называют это « капризом », хотя кажется я не была капризной девочкой. Иногда я плакала от любви, от невозможности выразить мои чувства к моей матери, к моей тете, к моей сестре.

Каждый вечер мы все четверо бежали в спальную моих родителей — молиться Богу. Там, в углу стоял киот с иконами, горела лампадка с разноцветными стеклышками и мы все, хором, повторяли за мамой слова молитвы. Без этого невозможно было заснуть. Эта молитва проникала в наши детские души и тянулась за нами через всю нашу жизнь. Но мы ждали, что наша мать придет в нашу комнату, когда мы уже лежали в кровати, чтобы нас перекрестить, поцеловать, сказать нам « спокойной ночи ». И если она не приходила, я плакала, ожидая ее, прислушиваясь к ее шагам, к ее голосу, доносившемуся издалека.

Мы все были нервными и впечатлительными детьми, подверженными « мистическим страхам ». Я боялась темноты, боялась привидений, легко впадала в безотчетную тоску и в необъяснимый ужас, который охватывал мое сердце, если я

просыпалась ночью и не могла заснуть. Тогда я бежала к моей матери, чтобы разбудить ее и сказать: « мама, мне страшно ». Я знала, что услышу ее спокойный и ласковый голос: « Иди, Сонечка, ты сейчас заснешь, ничего не страшно, Христос с тобой » . . .

После революции 1905-го года и пожаров на Пресне, я стала бояться огня, мне казалось, что в нашем доме непременно будет пожар и мы все сгорим. Эти мучительные страхи преследовали меня во все годы моего детства.

Мистические страхи детства есть ощущение детьми близости « темных сил ». С годами мы духовно грубеем и теряем способность чувствовать их присутствие в мире. Я и сейчас могу так ярко себе представить, как я бегу по темному коридору, в Ессентуках, из кабинета моего отца, и кажется, что коридор становится все длиннее и длиннее и что он никогда не кончится, а за мною кто-то гонится, чьи-то лапы с длинными когтями хотят меня схватить и сердце полно неизъяснимого ужаса, и знаешь, что единственное спасение — это добежать до света, до освещенной комнаты, увидать папу и маму, почувствовать их защиту и любовь.

Кроме моих родителей был еще один Ангел-Хранитель всего нашего детства — это сестра моей матери, Мария Александровна Богушевская которая отдала нам все свое сердце полное любви и самопожертвования. Она вышла замуж за вдовца — Бориса Васильевича Богушевского, Воронежского помещика, бывшего гвардейского офицера, польского аристократического происхождения. Он был предводителем дворянства в своей губернии, обладал большими средствами, был человек высокой культуры, с рыцарским отношением к женщине, но с властным и вспыльчивым характером. Мою тетю он нежно любил, а мы дети побаивались его. Я каждый раз со страхом ожидала часа, когда нас позовут здороваться с дядей Борей. Высокая, стройная, с большими синими глазами и длинной черной косой, тетя Маня была менее красива, чем моя мать, но ее порывистость, горячность и исключительная доброта привлекали к ней сердца всех, кто с нею встречался. В нашей детской жизни она занимала совсем особенное место, была нашей защитницей во всех горестях и капризах. Мы бежали к ней, когда надо было сознаться в какой-нибудь шалости, или предстояло принять противное лекарство и оно, из-за слез и отчаянья, не проходило в горло. Она умела успокоить, утешить, проглотить вместе с нами горький порошок, отвлечь наше детское внимание какимнибудь подарком или обещанием.

А эти детские болезни, их было много у нас, — полутемная комната, чувство жара в глазах, и рядом, полное любви и беспокойства лицо моей матери, ее нежная рука

на моем горячем лбу, и прижимаешься лицом к ее руке и шепчешь « мама, только не уходи » . . . И она здесь, ночью и днем, сперва только с лаской, а потом, в период выздоровления, с бесконечными, увлекательными рассказами. « Мама, расскажи, как ты была маленькой . . . », и слушаешь, никогда не уставая, ее яркие и талантливые воспоминания.

А наши детские игры. Этот странный мир, полный фантазии и простора. Они были более всего увлекательны, когда в них принимали участие отец и мать. Как сейчас вижу одну сцену: отец сидит в качалке, в гостиной, мать около него, в кресле, а мы четверо, один за другим, лихо подбегаем к ним: « барин, барыня, куда прикажете ехать ? у меня чудная тройка . . . » И они нанимают нас в далекие поездки.

Согнув на бок голову, как легкая пристяжная, я мчусь по комнатам, прислушиваясь к боязливому голосу моей матери: « осторожно, осторожно, ты опрокинешь меня и детей ». « Не бойтесь барыня, мы привычные », и я несусь дальше, через коридор, спальные, столовую, чтобы лихо подкатить и остановиться около них, вся красная, жаркая, счастливая . . , « приехали ». Но тройка моя опять рвется в путь.

« Довольно, дети, теперь пора спать . . . »

Но нам всего мало. « Еще, пожалуйста, еще, хоть полчаса . . , » и опять в бег.

Я вспоминаю ласковое, смеющееся лицо моего отца, он переглядывается с моей матерью и особенно нежно смотрит на младшего брата, который — толстый и маленький, никак не может поспеть за нами, и старается бегать вокруг одной комнаты, чтобы первым приехать к назначенной цели.

Мой отец, мать и тетя Маня всюду с нами, в нашей игре, в наших увлечениях, фантазиях, горестях и радостях. В их коленях мы прячем заплаканные лица, если поскользнувшись на гладком паркете, мы падаем и ушибаемся, к ним прибегаем, чтобы разрешить спор — кто приехал первый и чья тройка неслась быстрее всех, и мы идем по земле, окруженные их любовью, и кажется, что ничто страшное и тяжелое не может ворваться в нашу жизнь.

Иногда мы играли в мурзилок или зверей. В нашей детской стояли большие клетки, и в них жили звери: львы, тигры, зебры, медведи, все они были живые для нас и, подходя к клетке, у меня всегда по особому билось сердце при встрече с тигром или львом. Лев был замшевый, с большой гривой, он принадлежал брату, моим был тигр из папье маше, но мне ужасно нравился лев, мне хотелось, чтобы он был мой. Я никому об этом не говорила и скрывала мою мечту. У детей так сильно развито чувство собственности, им так надо, чтобы вещи, которые им нравятся, игрушки, книги, люди — принадлежали им, и нераздельно им.

Мы четверо были очень дружны между собой. По возрасту я была больше связана с моим братом, который был старше меня всего на год, он был для меня большим авторитетом, я им гордилась, готова была подражать ему и помогать ему во всем, но внутренно самым близким и понимающим меня другом была моя младшая сестра. У каждой из нас был свой мир, свои думы, свои фантазии. Моя сестра Манюша была особенное и пламенное существо. Я никогда не встречала человека, который умел так любить, как она, так отдаваться любви, так гореть любовью. Наряду с этим, она была способна впадать в отчаянье и бурно проявлять свое раскаянье и горе.

У нас было много друзей. Вероятно, ощущение в нас своей независимой жизни привлекало к нам других детей. Мы никогда не старались подражать им, или сами искать их дружбы, нам хорошо было быть вчетвером, в нашем особом мире. Но, несмотря на это, с самого раннего детства, мы были связаны дружбой и любовью с нашими сверстниками — детьми, и с людьми на много нас старшими.

В Москве, по субботам и воскресеньям к нам приходили дети. Среди них, самым большим другом был Вовка Горнштейн. Его привели к нам, когда ему было 5 лет, его мать, умирая, просила мою мать не оставлять ее мальчика. С тех пор Вовка приходил к нам каждое воскресенье. Он был нам братом, но также моим верным рыцарем, с пяти лет и на всю жизнь. Летом он гостил у нас в Ессентуках. Когда, после революции, мы уехали на Кавказ, он уехал с нами.

Сперва он был маленьким мальчиком, в меховой шапке, укутанным в теплый шарф, его приводила к нам его фрейлейн и уславливалась с моей матерью, в котором часу, вечером, она зайдет за ним. Мы со страхом ждали ее звонка и, когда она приходила, обступали ее, прося подождать еще немного и не уводить Вовку. Она была мягка и добра, любила своего воспитанника, как собственного сына, и всегда готова была нам уступить. Потом, когда мы подросли и я уже поступила в гимназию, Вовка стал высоким юношей с черными глазами и какой-то робкой и смущенной улыбкой.

На Рождество и на Пасху приезжали из Петербурга — любимый брат моего отца и его семья. Это было для нас большим праздником. В день их приезда, задолго до того часа, когда они должны были появиться, мы — дети — становились у окна, прислонив лбы к холодному стеклу и напряженно прислушивались к звуку приезжающих экипажей.

Старшая двоюродная сестра Верочка опекала маленькую Манюшу, я же была дружна с Таней, которая была на два года старше меня. Но больше всего я была привязана к дяде Дмитрию Степановичу Зернову. Он был директором Техно-

логического Института в Петербурге, был любим студентами и пользовался репутацией исключительно справедливого и бескомпромиссного человека. У него был обаятельный облик, почти всегда задумчивый, с немного грустной улыбкой. Иногда он поддразнивал меня, я верила его словам и он тогда тихо смеялся, ласково смотря на меня. Много лет спустя, уже в Париже, я собирала деньги на Русское Студенческое Христианское Движение. Мне посоветовали пойти к инженеру Клягину. У него были большие дела, большие средства и он мог бы нам помочь. Его секретарь сказал мне, что шеф очень занят и никого не принимает. Я все-таки просила передать ему мою карточку. Через минуту секретарь вышел и сказал мне, что инженер Клягин спрашивает не родственница ли я Дмитрия Степановича Зернова. Когда я ответила, что я его племянница, он сразу принял меня и сказал, что готов сделать все, что я попрошу, т.к. Дмитрий Степанович был его профессором и самой светлой личностью, встреченною им в жизни. Он дал мне ту сумму, которую я попросила и, после этого, каждый год помогал нам.

Дядя Митя был очень дружен с моим отцом, и, вероятно, Рождественские и Пасхальные каникулы были для них обоих самым счастливым временем года.

На Рождество большим событием была елка. Она непременно должна была быть « до потолка », ее запах наполнял всю квартиру. Рано утром я бежала удостовериться — там ли она, и от ее вида замирало сердце. После Рождества — Масленица, блины, Великий Пост, когда так страшно было « оскоромиться », и потом Вербное Воскресенье, и мы все идем на « Вербу », на Красную площадь. Сколько в этом радости, сколько веселья.

Постом мы говели, отстаивали церковные, длинные службы и с нетерпением ждали Пасху. Пасха была не только радостью, она несла какое-то освобождение, новую жизнь. Я особенно помню одну Пасху. Я была чем-то больна и меня не взяли в церковь. Я не могла заснуть и в 12 часов встала и открыла окно. Была теплая звездная, весенняя ночь. Я чувствовала, что вокруг меня была особенная, напряженная тишина. И вдруг где-то вдали торжественно ударил колокол, и сразу, со всех сторон, ему в ответ, отозвались другие колокола. В несколько мгновений весь воздух наполнился гулом и звоном и мне казалось, что эти звуки проникают в меня, в мое сердце, в мое дыхание. Все вокруг звенело и пело торжественно и победно. У меня, от восторга, кружилась голова, мне хотелось кричать и плакать. Я была одна дома, я была маленькая девочка, я не знала, что мне сделать, кому рассказать, кому дать услышать этот победный звон колоколов. Это была Пасхальная ночь в Москве.

Другим праздником, особенно запомнившимся мне — было Благовещение. В этот день тетя Маня заказывала лошадей. Мы усаживались в большое ландо и ехали в Петровский парк выпускать на свободу птиц. У каждого была своя птичка в клетке, за которой мы ухаживали в течение года, некоторых из них мы покупали на Вербе, это были чижи или снегири. В Благовещение мы их выпускали на свободу. Птицы не сразу понимали, что их отпускают и мы напряженно следили за их каждым движением. Наконец, они выпрыгивали на край дверцы, осматривались по сторонам и потом сразу, быстро вылетали и садились на ближайшее дерево. Они еще долго оставались там и мы ни за что не хотели уезжать, пока они не улетят и мы не потеряем их из виду.

## ШЕСТАЯ ГЛАВА

# ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ в 1907 ГОДУ

*Н. Зернов*

Слово « заграница » было с самого раннего детства обвеяно в моем сознании ореолом чего-то чудесного. Бывшая ученица нашей матери, Мария Константиновна Челищева, проводившая зиму на юге Франции, присылала нам из Канн или Ниццы ярко раскрашенные открытки, с синим небом и морем и с незнакомыми нам цветами. Они манили в чарующую даль, обещая красоты природы, недоступные на нашей северной родине.

Наш отец до своей женитьбы бывал несколько раз за рубежом, но наша мать никогда не покидала России. Осенью 1907 года наши родители решили взять меня и мою старшую сестру в Швейцарию, для восстановления здоровья после перенесенного всеми нами тифа. Мы были в восторге, но наша радость была омрачена горем моей младшей сестры, которая оставалась в Москве на попечение нашей тети. Володя, которому было всего три года, спокойно отнесся к предстоящей разлуке, но пятилетняя Маня пришла в полное отчаяние.

Отъезд был мучителен, сердце раздиралось от слез сестры, но вскоре встреча с новым миром захватила меня. Произошла она уже в Варшаве, там нам надо было менять вокзал. Польский возница был совсем непохож на наших извозчиков, он был одет по-европейски, фаэтон был запряжен двумя лошадьми без дуги. Из Варшавы мы поехали в Вену. Город очаровал меня своим величием и красотой: императорский дворец, парк Шенбрунен, готический, строгий собор. Целью нашего путешествия было Лугано, где мы провели около месяца. Сен-Готардский перевал поразил мое воображение: быстро несущиеся поезда, беспрерывные туннели, извилистые повороты железнодорожного пути, ледники и водопады, все это было раньше не видано мною. В Лугано мы поселились в « Вилла Кастаньолла ». Городок казался мне сказочным: синее озеро, красочная гора Монте Сальвадоре, теплое осеннее солнце. Особое впечатление произвел на меня местный трамвай. Его маленький вагончик, бодро бегал по одной линии и должен был ожидать встречного вагона на разъездах. Его дребезжанье, частые остановки, его конечная станция, где кондуктор

переводил дугу на другую проволоку, а сам перебирался со своими инструментами на противоположную площадку, все эти движения занимали меня чрезвычайно и стали впоследствии неотъемлемою частью моих детских игр. Наши родители, покинув нас на несколько дней, ездили в Рим, который произвел на нашу мать, с ее классическим образованием, неизгладимое впечатление. Благодаря ее красочным рассказам, « Вечный Город » вошел в нашу жизнь. Характерно, что познакомились мы тогда с языческим, а не с христианским Римом.

На обратном пути мы остановились в Берлине. Огромный тяжеловесный город, с массивными зданиями под серым, низко нависшим, северным небом был разительным контрастом с Лугано. Он давил и угнетал. Там случилось с нами комическое происшествие, страничка из рассказов « Наши Заграницей ». Мы были в цирке и пришли в такой восторг, что упросили родителей повести нас и в другой цирк, специально рекомендованный нам. С радостным ожиданием предстоящего удовольствия мы заранее отправились на дневное представление. Около кассы и повсюду вокруг круглого здания было множество мужчин и женщин в необычайных формах. Нам особенно понравились женщины в черных шляпах с красными лентами, раньше не виденных нами. Мы начали докучать родителей, прося объяснить нам значение незнакомых одеяний. Они сами были в недоумении, но наша мать решила, что это были цирковые клоуны и наездники в отставке, так как представление, наверное, будет в их пользу. Мы щедро заплатили за ложу, фиксированных цен за билеты не оказалось. Нас проводили с большим почетом на наши места. Внутренность цирка еще более удивила нас. Вся арена был заставлена стульями и она, как и все другие места, была занята людьми в тех же самых формах. Мы были смущены и недоумевали, где же будут скакать лошади и появятся дрессированные звери. После некоторого ожидания заиграл оркестр, все стали хлопать и мы с замиранием сердца начали ожидать первого номера. Но увы, вместо клоунов на платформе появился, важный старик в военном мундире и заговорил на непонятном нам языке. Его длинную речь кто-то переводил на немецкий, тоже мало известный нам. Наконец мама не выдержала и вышла в коридор, чтобы выяснить, когда же будут « пферде », то есть лошади, одно из немногих слов знакомых ей по-немецки. Вернулась она в полном смущении: ей кто-то объяснил, что представления не будет, т.к. цирк снят Армией Спасения, собравшей своих членов, для встречи со своим основателем генералом Вильямом Бутсом (1829-1912). Если мы вошли в нашу ложу с почетом, как благочестивые и щедрые иностранцы, приведшие даже своих

детей послушать знаменитого проповедника, то наш исход был полон стыда. Мы, дети, были горько разочарованы, а родители долго недоумевали, как они могли не разобраться в афишах висевших при входе в цирк.

Вот то немногое, что запомнилось мне 9-летнему мальчику о поездке за границу. Совсем в новом свете, уже изгнанником, мне удалось увидеть и Вену, и Берлин, и Лугано. Я узнал легко Виллу Кастаньоллу, и отрезок улицы, где она была расположена. Но все остальное изменилось до неузнаваемости. Вместо экипажей с полотняными зонтиками от солнца, вдоль озера мчались автомобили, громыхающий трамвайчик давно сошел со сцены, но фуникюлер остался все тем же и той же осталась гора Сан Сальвадор и синее небо и еще более синее озеро.

В заметках моей сестры тоже есть описание Лугано, но оно совсем иное, чем мое увлечение трамваем с его частыми остановками.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

## ЛУГАНО

*С. Зернова*

Мне было 7 лет, когда в Ессентуках вспыхнула эпидемия брюшного тифа. В нашем доме переболели почти все, в том числе моя мать, мой старший брат и я. Тогда, в первый раз, нас решили взять за границу. Страна « Заграница » казалась мне тогда страной волшебных замков, моя радость омрачалась только отчаяньем младшей сестры, которая горько переживала разлуку с нами.

В Швейцарии мы жили в Лугано, за городом, в пансионе с большим парком, выходящим к самому озеру. У нас была гувернантка швейцарка, но она мало обращала внимания на нас детей, и мы с братом, к нашему большому удовольствию, большею частью были предоставлены самим себе. Мы говорили по-немецки и сразу подружились с другими детьми, с которыми проводили все дни, играя вместе в парке. Мы знали в нем каждую дорожку, каждую скамейку, каждый куст и дерево, за которыми можно было спрятаться. Мы знали также всех, кто кроме нас детей, гулял в нем. К каждому из них у нас было свое отношение. Встречая одного молодого человека и даму, я старалась поскорее убежать и скрыться. Я бессознательно чувствовала, что им не надо мешать. Мне казалось, что если я пробегу мимо, если до них донесется наш веселый смех — это нарушит что-то непонятное и таинственное, что между ними происходило, и я неслышно уходила с их пути. Но были и люди, которых я боялась и от которых пряталась. Они не обращали никакого внимания на нас — детей, но было в них что-то грубое и темное. Мы их сторонились и, при встрече с ними, я впадала в необъяснимую и беспомощную тоску.

Среди детей, живших в пансионе, были две немецкие девочки, с которыми я особенно много играла. Обе они были на год меня моложе, слушались меня во всем и покорно следовали за мной во всех моих играх и фантазиях. Одну из них звали Сильвия, она была хорошенькая, с длинными локонами, похожая на фарфоровую куклу. Другая — Клара была маленькая, стриженая, некрасивая, с карими глазками, острым носиком и с каким-то поспешным и виноватым смехом.

В начале наши игры проходили мирно и дружно, но вскоре мои две девочки стали ревновать меня друг к другу. Особенно мучила меня некрасивая Клара. Стоило мне уйти куда-нибудь с Сильвией, или побежать с ней, держа ее за руку, как Клара убегала в парк и, прячась где-нибудь, горько плакала от ревности. Я не знала, что мне делать. Я стояла перед чем-то, чего я не могла понять. Эти две маленькие немочки пробудили во мне — 7-летней девочке первую сознательную мысль о том, что такое дружба и любовь. Я никогда раньше над этим не задумывалась.

Однажды вечером, прибежав проститься с моей матерью, я пробовала ей рассказать про ревность Клары. Очевидно я рассказывала очень путанно. Не знаю поняла ли мать мою тревогу, но она меня успокоила и утешила.

« Ты играй сразу с двумя девочками », сказала она, « тогда они не будут плакать и упрекать тебя, а Клара просто глупенькая девочка, ты не обращай внимания и все будет хорошо ».

Только матери умеют, ничего не объясняя, просто и спокойно снять с детского сердца все их горести и мучения. Я сразу поверила, что теперь все будет хорошо.

Так прошло несколько дней. Но детская жизнь сложнее и запутаннее, чем это кажется взрослым . . .

Раз мы ушли на прогулку в соседнюю деревню, где жили родители нашей гувернантки и где мы могли одни бегать по зеленым лужайкам и ловить бабочек. Мой брат был занят своими жуками и ящерицами, я просила его пойти со мной на ближайшее, наше любимое кладбище. Фрейлейн отпустила нас и я бродила там между могилами и памятниками, стараясь что-то понять. В это утро я подарила Сильвии серебряный, русский гривенник, она очень обрадовалась этой монетке и с гордостью показала ее Кларе. Я знала, что я могла подарить такой-же гривенник и Кларе, но я почему-то этого не сделала. После завтрака Сильвия подбежала ко мне и шепнула, что она должна сказать мне что-то очень важное. Мы ушли в парк. Она была испуганная и возбужденная.

« Знаешь », сказала она, « Клара мне сказала, что она утащит у меня эту русскую монетку, проглотит ее и умрет ».

Ее слова поразили и испугали меня. Здесь, на кладбище, бродя одна среди могил, я представляла себе Клару умершей и чувствовала себя виновницей ее смерти. Я пробовала рассказать моему брату об угрожавшей Кларе опасности, но он был слишком занят своими бабочками и, быстро выслушав меня, сказал с уверенностью: « не проглотит » и убежал, оставив меня одну.

Вскоре я остановилась у памятника, изображавшего белого, мраморного ангела. У него были длинные белые крылья

и он весь сиял белизной и чистотой. Я подошла к нему и погладила его рукой. Мне вдруг стало светло и легко на душе.

« Что бы ни случилось со мной в жизни », думала я, « я никогда не забуду сегодняшний день, это синее небо и белого ангела. Он будет мой, этот ангел и все будет хорошо, а Кларе я сегодня же подарю такую же серебряную монетку и скажу ей, чтобы она никогда больше не плакала, и буду ее любить и она меня будет любить, и все будет хорошо ».

Я шла домой веселая и счастливая, и так всех любила, так хотела всем добра. И все вокруг было такое легкое и прозрачное, и небо и воздух, и зеленые листья на высоких деревьях, и я сама была легкая и маленькая и мне казалось, что не я иду, а что меня несет земля.

Я не помню, дала ли я Кларе тогда русскую монетку, кажется мы вскоре после этого уехали из Лугано, я только помнила белого ангела на кладбище и мое обещание никогда его не забыть.

В детской жизни ангелы занимают совсем особое место, они самые близкие, самые понятные, незримые друзья детей. Так особенно звучали для меня слова молитвы которую мы повторяли каждый вечер, без которой я не могла заснуть: « Ангел мой хранитель, сохрани, спаси, помилуй всех нас от всякого несчастья, зла, бедствия, болезни и печали . . . » И казалось, что Он стоит над изголовьем моей детской кроватки и ограждает меня своими белыми крыльями от всякого зла.

Я помню, что тогда же я в первый раз более сознательно стала думать о смерти. До этого смерть мне казалась чем-то вроде поездки за границу, только расставание было более грустным, разлука более продолжительной. Я смутно помню смерть одного из моих дядей. Меня взяли в церковь на отпевание. Я смотрела на тетю, она стояла у гроба, одетая во все черное, и тихо плакала. Мне было ее ужасно жаль. О дяде моем я совсем не думала, мне казалось, что он куда-то уехал, ушел на небо и будет продолжать жить там, мне было жаль мою тетю, но вместе с тем мне хотелось, чтобы она навсегда осталась такой — грустной и величественной.

В этот вечер я услыхала, что ее назвали вдовой. Я не понимала точно, что означает это слово, но я сразу решила, что когда я выраcту большой, я непременно хочу сделаться вдовой. Я сказала об этом моему брату, сестре и моей матери. Мой брат и сестра, кажется, сочувственно отнеслись к моему выбору, моя же мать ничего не сказала, но на следующий день рассказала об этом одной из своих приятельниц и я видела как они обе смеялись. Потом она позвала меня и просила повторить — кем я буду, когда выраcту. Я смущенно сказала: « вдовой », тут же почувствовав, что я в чем-то ошиблась и что взрослые поднимают на смех то глубокое и святое, что я таила в сердце.

Но все эти переживания не были связаны со смертью. До семи лет, до Лугано, вопрос смерти не существовал для меня. Все началось с Клары и с русской монетки, которую она хотела проглотить. Смерть тогда мне стала казаться таинственным миром, в который мы все можем уйти. Я не знала точно, где он был, но дорога к нему вела через кладбище. На кладбище была тишина и были памятники причудливые и странные и, среди них, мой белый ангел, который, я считала, принадлежал только мне.

На следующее лето, в Ессентуках так странно повторилась история с Кларой. К нам в сад приходила играть маленькая девочка, она была дочерью директора синематографа, расположенного на нашей земле. Она в чем-то была похожа на немочку Клару, тоже была невзрачная и забитая, и тоже стала любить меня ревнивой любовью. В ее любви было что-то трогательное, преданное и жалкое, но меня эта любовь мучила, я убегала от нее и не хотела выходить в сад, когда она приходила. Меня упрекала младшая сестра и упрашивала меня играть с нею и не избегать ее.

Однажды я пришла в сад, не зная, что эта девочка была там, она увидала меня, быстро подбежала ко мне и сказала: « ты увидишь, я скоро умру и ты пожалеешь, я умру и пришлю тебе с неба письмо, тогда ты все поймешь ».

« А как я получу твое письмо ? » — спросила я.

« Я еще не знаю как », отвечала она, « но ты увидишь, ты получишь и тебе будет жалко ».

Она говорила с такой убедительностью, что я поверила, что получу от нее письмо. Мне казалось, что я найду в саду маленькую записку, брошенную с неба, она непременно должна была быть голубого цвета, это будет письмо от девочки, а девочки с нами не будет, ее родители будут плакать, и во всем буду виновата я.

Я мучительно чувствовала свою вину, я боролась с собой, но не могла заставить себя играть с ней. Я не знаю почему это было так ? Я как будто была оскорблена и за нее и за себя. За нее из-за ее жалкого вида, из-за того, что она любила меня больше, чем я ее, и за себя — оттого, что своей любовью она как будто пыталась получить право на мою жизнь, и свободу, которое я не хотела ей дать.

Я не знаю, что сделалось потом с этой девочкой, она куда-то скоро уехала, а может быть действительно умерла, я только помню, что часто бегая в нашем саду, я вдруг останавливалась и смотрела вокруг — не найду ли я записку, упавшую с неба. Конечно, все это было таким наивным и нереальным, но в детском мире нет еще ясных границ между реальным и не реальным.

С тех пор я стала часто думать о смерти. В минуты обиды и каприза я так же, как и эти две девочки, утешала себя,

говоря, что я могу умереть, и тогда « все поймут и пожалеют . . . » Но эти слова наполняли мое сердце такой щемящей болью за мою мать, за то горе, которое я ей доставлю своей смертью, что я, в раскаяньи, бежала к ней, чтобы обнять ее, попросить у нее прощение и обещать никогда больше ее не огорчать.

После второй мировой войны мы с братом поехали в Лугано. Нам хотелось найти тот пансион и вспомнить детство. Когда мы вошли в столовую, я стояла и смотрела по сторонам. К нам подошел хозяин. Я объяснила ему, что была здесь много лет назад, 7-летней девочкой, и мне казалось, что из столовой вела наверх большая лестница. Теперь я не видала ее.

Он был изумлен и обрадован. Он нашел в своих подвалах старую отельную книгу и принес ее нам. Там была подпись моего отца. Лестница была разрушена в 1910-ом году и мы были только двое — хозяин пансиона и я, которые знали, что она когда-то существовала.

Тогда же мы пошли на кладбище, и я нашла моего белого, мраморного ангела, которого я обещала себе — помнить всю жизнь.

## ВОСЬМАЯ ГЛАВА

# ПЕРВАЯ РАЗЛУКА И ПЕРВАЯ ИСПОВЕДЬ

*М. Зернова*

Вспоминается наше раннее детство. Москва. Мама. Эта бесконечная горячая любовь к ней; она — ось всей жизни. По вечерам, молитвы с ней перед ее киотом в спальне с большой, тяжелой красного дерева мебелью. Картина на стене, изображающая внутренность церкви Спасителя в Дурновом переулке на Пречистенке. В церкви девочка стоит на коленях, рядом с ней мальчик в старинном костюмчике и кормилица в сарафане, показывающая им пальцем на огромный лик Христа, во всю стену этой маленькой таинственной церкви. Сколько аромата исходит на душу от этой картины, всегда приковывавшей взгляд. И киот в углу с иконами и перед ними многоцветная лампадка, навсегда определившая чувство красоты. До сих пор все многоцветное зовет меня всегда в глубь времен, пронизывая чувством прекрасного. Перед этими иконами мы все, четверо детей, молились с мамой. И только одну икону помню — старинную, темную, усекновенной главы Иоанна Крестителя на блюде. Лик печальный и величавый. Читаем молитвы. Есть молитвы легкие и светлые. « Царю Небесный » — цвета небесной голубизны. « Богородица Дева, радуйся » — утренних лучей. « Достойно есть яко воистину » — темно пурпуровой краски. « Отче Наш » изумрудно ночной. Потом наша детская, такая любимая молитва « Ангелу Хранителю ». Она — как лампадный красный свет. Это наша мама создала эту чудную, тихую молитву. Мы все повторяем за мамой священные слова, и от этих вечерних детских молений свет проникает во всю будущую жизнь.

А потом мама читает нам Евангелие спокойным, бесстрастным голосом. Особенно запомнилось, как мама произносила слова: « Истинно, истинно говорю вам ». В ритме нашего молитвенного года незабываемо время Великого поста и строгая, как ночь, молитва « Господи и Владыко живота моего », а потом — белая, как день, сверкающая, как самый ослепительный солнечный блеск — « Христос воскрес из мертвых ».

Мама — такая красивая, вся любимая. Мамины белые, нежные руки. Она высокая, с черными, густыми волосами, румянцем и родинкой на щеке. Мама, без которой нельзя зас-

нуть, нельзя кончить день. Она должна благословить, перекрестить, поцеловать, к ней надо прижаться перед уходом в сон. И весь день проходит в свете мамы. Сколько было детских мучений, капризов, ссор, вечно одолевающего зла. Но над ними — мамино солнце, мамино прощение. Мама простит, мама разрешит — и какая снова легкость, какое счастье и обновление. И чувство мамы, как всегда присутствующей справедливости и разрешения всех зол.

Есть только один страх — жгучий и потрясающий все существо: « вдруг мама умрет ». Я не помню, как рано пришло это чувство. От самых ранних младенческих лет я несла его. Отсюда знание смерти обняло жизнь с самого порога. Даже ночью я просыпалась с холодным ужасом от этой мысли и заливалась слезами, зовя маму. Надо было только одно, — чтобы она пришла, чтобы она подошла ко мне, чтобы я могла прижаться к ней, удостовериться, что она здесь. Но как трудно было тогда расстаться с ней, как я душила ее моими детскими ручками, заливала горячими слезами ее щеки, целовала ее, не умея выразить причину моего детского крика. Обычно говорила только: « Мне было страшно ». И мама успокаивала, крестила, целовала.

Воспоминания самого раннего детства связаны с отдельными, как будто случайно вырванными образами. Как, например, мама — приходящая к нам в детскую от гостей. И ярче всего с самого раннего детства сохранился образ мамы, нарядной и праздничной, в длинном шумящем платье, недосягаемо-прекрасной. Из шумной освещенной комнаты, откуда при открывающейся двери, раздается смех, звон посуды, громкие голоса из мира, который ощущается как чуждый, резко отделенный от нашего детского мира.

В 1907 году, когда мне было 5 лет, все многочисленные обитатели нашего в Ессентуках дома заразились тифом. В несколько дней 17 человек заболело в самой острой форме. Зараза пришла через сырое молоко. Не заболели только папа, его лакей Федор, Володя и я, Коля же заболел позже. Нам с Володей, как маленьким, не давали сырого, мы пили кипяченое, папа и Федор не пили молока совсем. Как я помню этот страшный день, когда нас с Володей и Колей увозили из дома. Как ужасно было оставлять маму. Она еще не слегла в кровать. Будучи уже больной и зная это, она превозмогала свою болезнь, чтобы дать последние распоряжения, выбрать сестер милосердия для ухода за больными, проводить и устроить нас. Мы уехали с тетей Аней и несколько дней пробыли с ней в гостинице. Помню смутно большую, красивую комнату с растениями, в которой проводили мы первые дни. Я мечтала только о том, чтобы тоже заболеть и быть с мамой. Я судорожно цеплялась за Колю. Он еще не заболел, но я каким-то внутренним чувством ощущала, что он тоже заболеет

и что его увезут в родной дом. Через Колю у меня была связь с мамой. Он разделял мое горе, он понимал мое неистовое сердце. В детстве, именно с Колей у меня была особая близость и в этой горячей любви к маме. Он единственный всегда отзывался на страстные чувства, разделял их и защищал от часто холодного непонимания других. Скоро заболела тетя Аня и нас перевезли в санаторий под покровительство друзей нашей семьи, но для нас детей — совсем чужих людей мужа и жены Зданевич. Они приняли нас горячо, стараясь развлечь, ободрить и заменить семью. И именно это оттолкнуло меня от них. Я почти возненавидела их. Наверно, они меня считали ужасно трудной и неблагодарной девочкой... Я не хотела принять от них никакой заботы и ласки. Я только требовала не расставаться ни на минуту с Колей. Я буквально ходила за ним по пятам. Ни за что не хотела спать в отдельной от него комнате. Никакие уговоры не помогали. Помню огорчение, а потом негодование Валентины Кирилловны. Позже, она стала холодна ко мне и сухо пожимала плечами на мой страстный вопрос: « Где Коля ? », когда Коля хотя на минуту отлучался от меня.

Мое предчувствие сбылось. Проснувшись однажды утром, я увидала Колину кровать пустой. Он заболел ночью, и его поспешили как можно тише увезти, чтобы не разбудить меня. Я не могла простить, что его увезли, как мне казалось, тайно от меня, не дали даже проститься с ним и таким образом протянуть через него нить к маме. Наверно сила и искренность моего отчаяния были так велики, что Зданевич испугалась. Она пробовала всячески утешить меня, даже обещала, что Коля вернется, но эти утешения казались мне невыносимыми, я им не верила, и после этого приступа отчаяния я совсем замкнулась в себя и окружила себя ледяной стеной от всего видимого мира. Я жила в каком-то жестоком горе. Мой трехлетний братец напротив был совершенно счастлив. Его баловали, ласкали, беспрерывно хвалили, закармливали сластями и задаривали подарками. Он стал всеобщим любимцем. Однажды вечером, войдя в нашу комнату, чтобы ложиться спать, я увидала как Валентина Кирилловна мыла ему ножки и рассказывала смешные истории, а он брыкался заливаясь смехом. Какое презрение охватило меня к нему! Мама больна, а он может смеяться и веселиться с чужими...

Болезнь наших длилась долго. Зданевичи уехали, им на смену приехала другая знакомая дама; звали ее Нина Константиновна. У нее было приятное и спокойное лицо. Она не пробовала утешать меня, не насиловала меня ни развлечениями, ни лаской, и с нею у меня создались гораздо лучшие отношения. Она оставляла меня жить в мире моей детской грусти. В это время нашим становилось лучше и я стала получать от мамы, Сони и Коли письма и подарки. Среди них

были две глиняные, раскрашенные фигурки пастуха и пастушки. Я часто брала их в руки и долго водила по ним своим пальчиком. Эти игрушки были особенные, они были вестниками. Это было для меня время глубокой, но тихой печали, как будто серая краска была разлита в мире. Но эта грусть была уже мягкой, как бы родной, в ней был предрассветный луч. Мои жестокие ледяные стены таяли. В один из таких дней Нина К. принесла весть, что нас повезут на Кисловодскую улицу, чтобы увидеть маму. Рядом стоящий Володя стал прыгать и радоваться, а я даже внешне не могла ничего выразить, я только вся замерла от волнения. И я стала ждать. И пришел этот день. Н.К. повезла нас в наш дом. Как ужасно билось мое сердце ! Меня привели в наш сад, я стояла у фонаря и ждала, когда мама выйдет на балкон второго этажа. Наконец я увидала ее, стоящую наверху, улыбающуюся мне, кивающую головой, посылающую воздушные поцелуи. Она была как бы в сиянии. А я, худенькая маленькая девочка, стою внизу у фонаря и вдруг начинаю плакать ... и плачу неудержимыми слезами, прижимая свои кулачки к груди. Н.К. сказала мне с искренним изумлением: « глупенькая девочка, тебе надо радоваться, а ты плачешь ». И тогда мне открывается новое для меня самой удивительное чувство, что можно плакать от великой радости. Коля и Соня тоже вышли на минутку на балкон, еще слабые, но веселые и счастливые, но я не могла на них смотреть. Я видела только маму и мне хотелось только одного, чтобы это мгновение никогда не кончалось.

Потом — возвращение в Москву. Жизнь снова вместе такая особенно счастливая после разлуки. И вдруг начались разговоры о загранице. Сначала я услышала от Коли и Сони, потом от тети Мани. « Папа и мама, с Колей и Соней уедут за границу, а вы с Володей останетесь в Москве с тетей Маней и дядей Борей ». Я не хотела верить, это было слишком жестоко. Я побежала к маме, чтобы узнать, что это не верно, что она не может оставить меня. Но она бесконечно ласково сказала мне, что это действительно так, что это необходимо, меня взять нельзя, а Соня и Коля поедут оттого, что им надо поправиться после болезни. Какое беспредельное отчаяние охватило мою душу. Эти дни приготовлений к отъезду были для меня пыткой. Я не отходила от мамы, все было отравлено горечью предстоящего расставания. Тетя Маня мне была в те времена чужда, она не принимала всерьез силу моих детских чувств и постоянно повторяла, что я маленькая, что не надо обращать внимания на мои слезы, что они, конечно, скоро пройдут. Она думала, что мама слишком балует меня и считается с моими « капризами ». Мама действительно верила мне и знала мое сердце, она принимала всерьез все мое необъятное детское горе. В этом была особенность связи с

мамой во всю мою детскую жизнь. Одна она никогда не думала, что мои чувства преувеличенны.

Настал, наконец, день отъезда. Незадолго до этого, мама и папа ездили в детские магазины, чтобы купить необычайные сюрпризы мне и Володе. О том что эти подарки будут даны нам в момент их отъезда с восторгом говорили нам Коля и Соня, посвященные в тайну. Я же не хотела и слушать об этих сюрпризах. Я не умела этого объяснить, но мне они казались каким-то подкупом, который я не могла принять.

Но вот в передней надевают шубы, потом садятся по русскому обычаю в столовой, крестятся, потом последние объятья. Мама указывает на дверь в детскую, где нас ждут их прощальные дары, мама торопится уйти, чтобы прервать мой плач, мое отчаянье... Тетя Маня зовет меня в детскую, уводит туда Володю, но я не иду, никакая сила не может оторвать меня от окна. Я вижу, как в ландо садятся мама, папа, Коля, Соня. Я смотрю только на маму, взволнованную, нежно кивающую мне головой. Слезы жгут меня. Я вижу удаляющееся в дали нашего переулка ландо, и весь мир опустошается... Я долго сижу у окна, наконец тетя Маня уводит меня в детскую. Там Володя уже сидит в санях своей запрягающейся тройки, у него блестят глаза, он в восторге. В другом углу детской — целый кукольный мир: столовая, спальная, гостиная, вся мебель посуда, даже кукольный аквариум для рыбок. Я смотрю равнодушно и каменно — все эти вещи отравлены горечью разлуки. Тетя Маня спрашивает, неужели я не благодарна, не радуюсь. И я не знаю, что ответить. Я понимаю, что в этих подарках любовь к нам, я благодарна, они выбраны для нас папой и мамой, но они для меня — жестокие знаки их отъезда и нашей разлуки. И потому мое чувство раздвоено, я не могу непосредственно радоваться этим вещам, они будут всегда напоминанием жестокого часа расставания.

Потом идут месяцы разлуки. Как я их помню: Шарлотту Карловну, низенькую немку, гувернантку, тетю Маню и дядю Борю, с атмосферой их жизни, маленького Володю, моего неразлучного братца, которому я особенно покровительствовала. Но счастливой жизни без мамы и наших не было и не могло быть.

## Первая исповедь

Я пошла в первый раз на исповедь, когда мне исполнилось семь лет. Я волновалась и много готовилась к ней, чувствуя всю тяжесть моих прегрешений. Исповедовалась я у отца Михаила, священника нашей приходской церкви Симеона Столпника, на Поварской. Он был старик с большими серыми глазами; они светились у него тихим, теплым светом,

как огонь лампады. Я была под сильным впечатлением того, что я стояла вместе со взрослыми в очереди исповедников и что мое имя было записано моей матерью в книге, которую имел причетник, сидевший за маленьким столиком, освещенным восковой свечкой. Я получила, как и другие, мою свечу, с указанием положить ее на аналой, стоявший перед батюшкой.

Все мои грехи были связаны с моей горячо любимой мамой. Я капризничала и не слушалась, и огорчала ее. В ответ на все, в чем я исповедовалась отцу Михаилу, он говорил мне: « кайся » и я отвечала « каюсь ». С каждым повторением этих слов чувство тяжести спадало с меня, и я ощущала себя все чище, прозрачнее и легче. Когда я кончила перечисление моих грехов, то батюшка спросил меня, говорю ли я всегда правду. На этот вопрос я ответила с радостью и вдохновением: « Да, я говорю всегда правду ». На всю жизнь запомнились мне слова, услышанные мною в ответ на это признание на этой первой исповеди. О. Михаил, наклонившись низко ко мне, сказал: « Дорогая девочка, вот это хорошо, что ты говоришь правду, делай так всю свою жизнь ».

Я вернулась домой окрыленная, обвеянная благодатью покаяния, очищенная отпущением грехов. На следующий день, в большой, белой фетровой шляпе с муаровой синей лентой я стояла в церкви, чувствуя себя вымытым сосудом, готовым принять драгоценный дар Святой Евхаристии.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

# ДАЛЕКИЕ ГОДЫ

*В. Зернов*

Наше детство прошло в мире, навсегда ушедшем, ставшем теперь настолько далеким, что иногда кажется странным, что мы жили в нем. Этот мир ближе связан с эпохой наших дедов, чем с XX веком, в котором мы родились и живем.

Весна в Москве, — сперва нерешительная, только признаки — снег делается бурым, грязным, показывается солнце, где-то на бульваре проглядывает старая, еще от прошлого года, трава. И вдруг стремительный переход к настоящей весне с горячим солнцем, зелеными листьями, с цветущей черемухой в саду у гр. Хребтовича-Бутенева за кремово-серым деревянным забором, а на асфальтовом дворе в углах все еще лежит нерастаявший снег. При наступлении этой бурной весны, обычно незадолго до Пасхи, появлялись и первые признаки отъезда:

— « Мы скоро уезжаем в Ессентуки ». — В коридоре устанавливались ящики, в которые складывались книги, бумаги, отчеты Санатория, еще книги, еще бумаги, какие-то вещи, все, что отправлялось « малой скоростью » и что, вероятно, возвращалось, таким же способом осенью обратно в Москву.

В нашем переезде было что-то « эпическое », должно быть так раньше переселялись народы, влекомые неудержимым стремлением идти куда-то на новые места. Весь дом, вся наша жизнь приходила в движение. Вместе с нами переселялось множество прислуги, появлялись, готовящиеся к отъезду, служащие санатория, приходили наниматься новые повара, горничные, конторщики, заведующие солнечными ваннами, студенты для детской площадки, приходили пансионеры, стремившиеся попасть в Санаторий, наконец, доктора — папины помощники и гувернеры, и гувернантки для нас. Каждый день приносил что-то интересное — новые и старые лица, новые и старые вещи. Драповые пальто сменялись на летние. Иногда нам покупали новые, и это было всегда приятно, иногда переделывались старые; когда мне переделывали Колино, это было и немного досадно и, вместе с тем, было и чувство некоторой гордости, что я ношу вещи « большого »; обидно было, когда мне приходилось носить какие-то вещи моих сестер.

Все эти вещи, платья, пальто появлялись и исчезали в старомодных сундуках, обитых блестящими полосками металла. Эти сундуки подымались бородатым дворником Сергеем и мрачным и немного жутким для меня истопником Данилой, под руководством швейцара Егора из кладовых и чердаков.

В другие времена нам туда доступа не было, но во время приготовлений к отъезду иногда нам удавалось в них проникнуть. С появлением сундуков и ящиков начиналась раскладка зимних и летних вещей. Значение этих перекладываний мне было непонятно, но я чувствовал, что это существенный процесс в нашей жизни, тем более что в этом процессе, кроме мамы, была занята вся прислуга. Тетя Маня давала советы, какие вещи следует уничтожить или отдать. Их радикальность вызывала во мне внутренний протест и тревогу. Иногда я и сестра Маня тоже призывались на помощь. Работа казалась вначале интересной и ответственной, но мы скоро пресыщались ею. Двигалась она медленно: обычно, около каждого сундука сидела горничная в ожидании маминых приказаний, что куда уложить. Часто после длительной укладки, все вынималось снова, когда начинались поиски какого-нибудь затерявшегося боа из страусовых перьев. Иногда виною этой пропажи были мы, надевшие на себя это привлекательное украшение. В квартире пахло нафталином и другими необычайными запахами старых, давно не ношенных вещей.

Это было время, когда была пора выставлять окна. Мне хотелось быть первым на месте и не потерять момента, когда кто-нибудь из взрослых начнет отковыривать замазку от оконных рам. Было приятно видеть как длинные куски засохшей замазки отлетали, и с нетерпением ждать того времени, когда первая рама, присохшая за зиму, с треском откроется, пыльная и почерневшая вата, лежавшая между двумя окнами, будет извлечена, и наконец окно, выходящее на улицу, впустит в комнату свежий воздух и весенние звуки города. Это было целое событие, о котором надо было сообщить старшему брату и сестрам, когда они вернутся из гимназии.

Одежда и игрушки, появлявшиеся весной во время первых приготовлений к отъезду в Ессентуки (моя няня упорно называла их « Сундуки »), были для меня связаны с какими-то неясными переживаниями из самых ранних лет. Я надеялся найти среди них старые игрушки, о которых у меня остались смутные воспоминания. Однажды я увидал полированную шкатулку, внутри ее был медный валик, покрытый колючими шипами. В другой раз я отыскал большой металлический волчок, золотой с зелеными и красными полосками. Мне казалось что я раньше слыхал, как эта шкатулка играла: « Вот мчится тройка удалая по Волге матушке зимой », а волчок, крутясь,

издавал своеобразные музыкальные звуки. Эти игрушки хранили для меня особое очарование. Но они были сломаны. Валик не заводился, волчок не вертелся, но я продолжал мечтать, что я найду еще другую чудную игрушку, которая была когда-то самой любимой для всех нас четверых.

Среди одежды, разбираемой одной весной, появился « пиджачок ». Его привезли для старшего брата из заграницы тетя Маня и дядя Боря. Коля не захотел носить его и он был уложен в сундук. Это был синий детский костюмчик, с жилеткой застегивавшейся сзади. На ней спереди были пришиты синие стеклянные пуговицы. Этот « пиджачок » я сразу полюбил. Когда я надевал его или верней наряжался в него, мне казалось, что я делаюсь взрослым и совершенно другим. Носить его я не хотел, это был костюм для игры. Он переносил меня в фантастический, праздничный мир, но почему-то в этом мире у меня щемило сердце.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

# ЛЕТНИЕ ПРОГУЛКИ

*Н. Зернов*

Мы жили в Ессентуках открытым домом, на нашей большой террасе каждый день накрывался длинный стол, за который садилось 20, а иногда и 30 человек. Кроме нашей семьи и родственников, гостивших у нас каждое лето, с нами обедали папины помощники, молодые доктора и студенты медики, наши воспитатели и многочисленные знакомые. Некоторые из них, как, например, профессор философии Лев Михайлович Лопатин (1855-1920), столовались с нами ежедневно. У моего отца была большая практика. Кто только не перебывал у нас за нашим гостеприимным столом. Министры, писатели, ученые, артисты и общественные деятели сменяли друг друга. Мы никогда не знали, кто будет у нас обедать, и сколько человек сядет за стол. Моя мать охотно всех принимала. Хозяйство велось так, что всем хватало и места, и угощения. Старшее поколение, учащаяся молодежь и дети, — все составляли дружную, жизнерадостную семью [1].

Летние дни были заполнены для нас детей и занятиями, и развлечениями. По утрам мы изучали иностранные языки, а после обеда или ходили на длинные прогулки или брали солнечные ванны. После чая мы играли или в теннис или в крокет. По вечерам мы устраивали свои импровизированные игры в саду, ходили на концерты в санаторий Вспомогательного Общества. Среди всех этих занятий, прогулок и развлечений самыми увлекательными были экскурсии в горы. Они становились с каждым годом все более интересными и продолжительными, но захватывали они наше воображение уже с ранней юности, снабжая нас неисчерпаемым материалом для наших зимних игр. Центральное место в них занимали поездки на тройках, которые устраивались два или три раза каждое лето.

Наша мать организовывала их, но мы, дети, принимали самое горячее участие во всех приготовлениях. Начинались они заранее. Александр — черкес, живший в маленьком до-

---

[1] Примечание: На стр. 148bis помещена фотография 1904 года. На ней снято 26 человек, только что окончивших обедать на нашей террасе.

мике у нас в саду и выполнявший обязанности ночного сторожа, сперва обходил дворы лучших извозчиков и призывал их к маме для переговоров. Мы с нетерпением ждали прихода этих красочных возниц. Бородатые, в ярких рубашках, в черных жилетах и высоких сапогах, они приносили с собой свой особый сильный запах: смесь лошадиного духа, дегтя и кожаной упряжи. Они медленно и с достоинством подымались по ступеням нашей террасы, ходили они как-то по-своему, в развалку, не расставаясь со своими кнутами. Сначала обсуждались место и время поездки, потом подымался вопрос о цене. Здесь начиналась долгая торговля. Наша мать неизменно выражала свое недоумение, почему цена вдруг поднялась. Хозяева троек пускались в длинные объяснения о вздорожании овса или об особом качестве своих лошадей. Обе стороны считали торговлю неотъемлемой частью переговоров, которые всегда оканчивались соглашением, к обоюдному удовольствию обеих сторон. На прощанье наша мать не забывала напомнить возницам о том, что в предыдущую поездку они выпили лишнее и на обратном пути выделывали такие чудеса со своими лихими тройками, что не только дух захватывало у седоков, но и сама их жизнь была в опасности. Кучера конечно отрицали свою причастность к этим рискованным соревнованиям в быстрой езде, но тут же подтверждали, что тройки у них резвые, и, если нужно, они могут доказать это на деле.

И правда, они были владельцами действительно прекрасных лошадей. Мы их всех лично знали: Корольков был небольшого роста, но хорошо «скроенный» казак; Генералов был солиден с окладистой русой бородой; наш любимец был Золотарев, красивый и ловкий возница; за ним шли: Лисичкин, Коваленко и другие. Тройки были разных, тщательно подобранных мастей: вороные, гнедые и серые в яблоках.

Дни ожидания экскурсии тянулись медленно, все обычные занятия делались пресными по сравнению с предстоящей поездкой. По мере ее приближения, росли опасения, что в последнюю минуту что-нибудь сможет помешать ее осуществлению. Главная опасность грозила со стороны погоды. Лето на Кавказе грозовое, тучи часто собираются на горизонте и разражаются ливнем такой силы, что поездка становится невозможной. Но бывали и иные препятствия: кто-нибудь из папиных больных мог серьезно заболеть, лучшая тройка могла выбыть из строя или, наконец, один из нас мог простудиться и лишиться этого удовольствия. Но вот наступал канун долгожданного дня. Мы весь день смотрели на небо, стараясь предугадать завтрашнюю погоду. Спали мы в эту ночь тревожно, она тянулась бесконечно долго. При наступлении утра, первым делом мы бежали на верхний балкон, с которого была видна верхушка Эльбруса. Этот гигант находился в 80

верстах от нашего дома, но его две белоснежные главы ясно виднелись на южном горизонте. Мы ликовали, когда вокруг них было безоблачное небо, и были полны тревогой, если над Эльбрусом вились причудливые облака или, что было еще хуже, когда он был совсем невидим. Даже если над нами сияло яркое солнце, закрытый Эльбрус предвещал грозу после полудня.

Утро проходило в приготовлениях к поездке. К обеду собирались все приглашенные, около 2-х часов с улицы начинали раздаваться вожделенный звон бубенцов и стук конских подков по булыжной мостовой. К нашему дому лихо подкатывали одна за другой открытые коляски, запряженные в тройки с их крепкими коренными и скачущими пристяжными.

Наша семья была притягательна для многих. Молодые доктора, помощники папы, были заманчивыми женихами, и, наверное, у участников и участниц экскурсии билось сильнее сердце при мысли, кто поедет с кем, и кто на кого обратит особое внимание. Для нас, детей, эти романтические переживания оставались незаметными, нас занимал совсем другой вопрос: как попасть на самую бойкую тройку, а я еще к тому же мечтал получить желанное место на козлах рядом с кучером. Я был на вершине счастья, когда мне это удавалось, и страдал, если злая судьба лишала меня этого преимущества. Было блаженно, крепко держась за кушак, смотреть с высоты козел на все приготовления к отъезду, на зевак, собиравшихся поглазеть на наш живописный кортеж, на нарядно одетых участников праздника, а главное — на красавцев коней, с нетерпением бивших копытами о камни мостовой. Сборы и переговоры, кто поедет в каком экипаже, длились порядочное время. Продолжалась беготня из-за забытых вещей и корзин с провизией. Кроме колясок, в распоряжение приглашенных предоставлялись верховые лошади. На них красовались более отважные гости, некоторые молодые люди одевались в нанятые для этого случая черкески, барышни гарцевали на своих неудобных дамских седлах.

Но вот все разместились по своим местам, и длинная кавалькада под звуки бубенцов тронулась с места. Вначале коляски подпрыгивали и громыхали по камням мостовой главных улиц, на окраинах станицы их сменяла мягкая и пыльная грунтовая дорога, которая выводила процессию в привольную, могучую степь, дышащую солнцем, землей и травами. Она медленно подымалась из долины Подкумка к окружающим ее горам. Ландшафт вокруг Ессентуков мог казаться однообразным, так как главный хребет Кавказа синел далеко на горизонте, а вблизи расстилалась только степь. Но эта степь отличалась такой своеобразной красотой, что трудно было не поддаться ее обаянию. Она жила своей жизнью, ее девственная природа не была еще до конца покорена

человеком. По этой степи были разбросаны причудливые горки, напоминавшие допотопных зверей. Обычно целью нашей экскурсии была одна из этих горок, называвшаяся Верблюдом. У ее подножия находилась итальянская колония виноделов, охотно принимавших экскурсантов. Другие места для поездок носили более романтические наименования, как например, « Долина Очарования » или « Замок Коварства и Любви ». Ездили мы также и на Свистун Гору, славившуюся своим белым ковылем, который колебался волнами под дуновением поющего ветра, и на Кольцо Гору с круглым отверстием посередине и на Юцу и Джуцу. Экскурсия к итальянцам была особенно привлекательна, т.к. создавала иллюзию поездки заграницу. Во главе колонии стоял уроженец Лугано по имени Раджи. Он угощал нас обильной и вкусной едой, столь не похожей на нашу российскую кухню. Пармская ветчина-прошуто, разнообразные колбасы и макароны появлялись на столе, все это щедро запивалось прекрасным местным вином. После трапезы все шли осматривать винные погреба с их огромными бочками. Более предприимчивые экскурсанты взбирались на Верблюд Гору с ее великолепным видом. Дома колонии с их благоустройством и чистотой, необычайная еда и иностранный выговор наших хозяев все это переносило нас в иной, привлекательный мир.

На закате солнца мы пускались в обратный путь. При отъезде из Ессентуков наши тройки везли нас не спеша, жгучее солнце пекло их, тучи оводов кружились вокруг потных лошадей. Кучера только изредка понукали и подхлестывали своих коней. Совсем по иному проходило наше возвращение. После жаркого дня наступал прохладный вечер. Отдохнувшие лошади бодро бежали к желанному ночлегу, возницы, возбужденные вином и поощряемые обещанием чаевых вступали в соревнование друг с другом. Широкая степная дорога давала полный простор этим лихим гонкам. Как они были упоительны ! Мы все с трепетом ждали момента когда наш возница вдруг приподнявшись на своих козлах, размашисто ударит вожжами по всем своим лошадям и со свистом и гиканьем пустит их во весь опор. Другие следовали его примеру, и весь наш кортеж мчался во всю прыть, подымая клубы густой пыли и увлекая всех в своем бурном беге. Самым решительным моментом этих гонок было приближение к крутым балкам время от времени перерезавшим степную равнину. Здесь все дороги сливались в одну колею и тот, кто первым подъезжал к узкому спуску мог уже не опасаться своих соперников. Эти предательские овраги и представляли из себя главную опасность и вместе с тем являлись испытанием опытности наших возниц.

Нелегко было вовремя перевести разгоряченных коней на медленный и осторожный темп, необходимый для труд-

ного спуска, когда вся тяжесть экипажа ложилась на одного коренника, а лихие пристяжные только мешали делу. На этих спусках обычно раздавались испуганные крики ездоков, увещания кучеров, обращенные к лошадям.

Для нас, подростков, соревнования мчащихся троек были самой интересной частью прогулки. Но не все участники экскурсии разделяли наши восторги. Одна из маминых сестер тетя Лиза была любительницей быстрой езды. Попав в ее тройку мы были уверены получить полное удовлетворение. Зато наша мать и тетя Маня совсем не разделяли наших увлечений. Иногда одна из них добивалась своего, и ее экипаж вместо того чтобы состязаться с другими и мчаться в клубах пыли, оставался позади. Его седоки могли наслаждаться вечерней прохладой и ароматом отдыхающей от дневного зноя степи. Но это не доставляло нам удовольствия, мы чувствовали глубокое разочарование, когда наша тройка подъезжала последней к дому.

Такие поездки оставляли неизгладимое впечатление. Более скромными, но все же привлекательными были прогулки пешком в степь, на Капельный Источник, на обводный канал электрической станции, на реку Подкумок, где мы в компании с казачатами барахтались в бурном потоке.

Когда мы подросли, нашим любимым развлечением сделались прогулки верхом. Мы нанимали лошадей у горцев и в сопровождении опытных проводников уезжали далеко в степь. Лошади попадались очень разные, то смирные и забитые, то резвые. Среди них были и иноходцы, с их гладким и быстрым бегом.

## Эльбрус и поездка на Бермамыт

На южном горизонте Ессентуков подымалась манящая цепь главного кавказского хребта. На востоке она начиналась острым зубцом Казбека, а на западе упиралась в грандиозную двуглавую вершину потухшего вулкана Эльбруса. Он был безмолвным и величавым свидетелем нашего детства и юности. По утрам мы бежали на балкон нашего дома, чтобы поздороваться с ним, вечером, освещенный лучами заходящего солнца, он прощался с нами. Мы всегда видели только одну сторону его огромного массива, его южный склон так навсегда и остался неизвестным нам, зато его северный рельеф мы знали во всех подробностях. С нашего балкона открывались только верхушки его двух пирамид, из степи он вставал до своей середины, с вершины Бешатау он вырастал еще выше, обнажая свои могучие ледники. По утрам он блистал своей белоснежной красой, днем он был редко виден, вечерами он розовел, а иногда становился пунцово-красным.

Только однажды нам удалось настолько приблизиться к этому великану, что он предстал перед нами во всем своем неповторимом величии. Это произошло летом 1913 года, когда мы участвовали в экскурсии на Бермамыт. Рано утром на нескольких линейках, запряженных в две лошади, мы двинулись из Кисловодска на юг. Эльбрус был от нас в 70 километрах, Бермамыт — в 30. Дорога шла по душистой степи, почти незаметно, но неуклонно подымавшейся к хребту Кавказа. Был жаркий безоблачный день, жаворонки заливались в темно-синем небе, лошади лениво перебирали ногами, мягко ударяя копытами по пыльной, горячей земле. Целый день мы наслаждались девственной природой, не встречая ни поселений, ни возделанных полей, только иногда нам попадались горцы, верхом на своих иноходцах, в черных бурках, в папахах с нагайками в руках. Горы, даже сам Эльбрус, не были видны, их скрывала подымающаяся равнина. Вокруг нас был зеленый степной океан, над нами сверкающий свод неба. Только к вечеру, когда солнце стало бить в глаза своими косыми лучами, мирная убаюкивающая картина стала меняться. Подъем сделался круче, трава менее густой, появились камни и вдруг, как бы из ледника, потянуло холодным воздухом горных вершин. За одним из своих поворотов, дорога внезапно подошла к обрыву и мы очутились перед незабываемым видом: отвесные стены огромной пропасти уходили вниз в широкую, уже темневшую долину, в которой с трудом можно было различить леса и реки, но не она приковала наше внимание, им безраздельно владел царь Кавказа — Эльбрус. Он стоял в 40 километрах от нас, но уже не заслоненный другими горами, залитый лучами заходящего солнца, закрывая весь небосклон. Внизу было видно его каменное подножие, на которое наседали серые ледники, а над ними вздымались его белоснежные вершины, не запятнанные ни одним обрывом, ни одной скалой.

Мы провели ночь в бараке, устроенном Горным Обществом, спали мы тревожно, непривычные к разреженному воздуху и холоду вершин (2.643 метра высоты). Встали мы перед рассветом, чтобы видеть Эльбрус при восходе солнца. На меня произвело большое впечатление одно маленькое происшествие: один экскурсант отказался встать утром и пропустил феерическое зрелище, ради лишней четверти часа сна. Нередко в последующие годы мне приходилось встречать таких же людей, которые предпочитали обыденное и привычное единственному и неповторимому. Каждый раз они напоминали мне незадачливого экскурсанта, проспавшего восход солнца на Бермамыте в 1913 году.

Когда мы встали, небо было безоблачно, звезды медленно потухали, но как только показались первые лучи солнца появились и облака. Эльбрус то открывался нам, то заволаки-

вался густым туманом. Снег, сначала бывший синим, заиграл на заре сперва розовой, а потом красной краской, чтобы затем предстать в своей ослепляющей белизне. Поднявшееся солнце осветило глубокую долину, простиравшуюся внизу под нами. Все стало в ней отчетливо видно, но горы, покрытые лесами, казались с высоты маленькими возвышениями, а реки — ручьями.

На обратном пути мы остановились в кабардинском ауле. В низкой сакле с плоской каменной крышей нас угощали чуреками [1] и острым овечьим сыром. Кабардинцы плясали лезгинку, плавно скользя по глиняному полу, почти не касаясь его ногами. Зурна [2] издавала свои жалобные звуки, а мы все в такт хлопали в ладоши.

Вернулись мы усталые от горного воздуха, недостаточного сна и множества впечатлений. Мы решили ежегодно повторять поездки в Бермамыт, но война и последующая за ней революция не дали нам возможности осуществить это желание.

---

1 Длинный и плоский грузинский хлеб, запеченный на стенках печки, сделанной в земле.

2 Струнный кавказский инструмент.

## ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

# ЕССЕНТУКИ И АЛЕКСАНДР ЧЕРКЕС

*С. Зернова*

Мы приезжали в Ессентуки ежегодно ранней весной. В Москве было еще холодно. Только между тротуарами начинала пробиваться зеленая трава и когда сияло солнце, воздух напоялся тем особым весенним запахом теплого камня и зеленой травы, от которого кружилась голова и сердце наполнялось восторгом... Мое сердце в детстве так часто наполнялось восторгом.

Мне жаль было уезжать из Москвы, жаль расставаться с друзьями, отрываться от напряженной и интересной жизни, но лето, свобода, беззаботные дни, неизвестность и ожидание чего-то особенного, что могло и « непременно должно было случиться » — тоже привлекало и звало.

На третий день пути мы подъезжали к Минеральным Водам: поезд мчался через цветущую, весеннюю степь, вдали были видны синеющие, знакомые очертания гор. Мы четверо стоим в коридоре, высунувшись у открытого окна, вдыхая упоительный весенний воздух. На полустанках казачки — мальчики и девочки — подносят к открытым окнам туго перетянутые букеты ландышей и незабудок. Мы бежим в купе, к маме: « Мама, поскорей, дай деньги, там продают ландыши... » Я так слышу голос моей матери: « передай мне мою сумку... » И передаешь эту сумку, протягиваешь руку за деньгами, а одна нога уже отставлена, чтобы успеть подбежать к окну, поезд уже трогается, высовываешься низко и, уже на ходу, хватаешь букет, бросаешь деньги и прижимаешь к лицу эти букеты и так знаешь пряный, такой различный и такой упоительный аромат незабудок и ландышей...

Когда поезд подъезжал к Ессентукам меня охватывало знакомое, привычное волнение — придут ли нас встречать, успеем ли сойти с поезда, как нас встретит наш дом и наш сад. Уже задолго перед остановкой, мы — дети, выснувшись из окна, стараемся издали узнать знакомые очертания вокзала и разглядеть стройную фигуру Александра-Черкеса и татарина Магомета, встречающих нас. Они оба — наши верные друзья, верные слуги, но, кроме того, они принадлежали еще « нам », нашему « детскому миру », они совсем свои, особенно Александр-Черкес.

Он был нашим стражем, и каждую ночь, в своей длинной бурке, ходил вокруг дома, оберегая наш сон. Мы знали наизусть историю его жизни, моя мать так часто рассказывала ее нашим знакомым.

Он приехал когда-то из своего далекого аула и стоял в Ессентуках на улице, смотря на проходящих людей, он искал среди них « человеческое лицо » . . . Мимо него проходила моя мать. Когда он увидал ее, он подошел и сказал: « крести меня, хочу быть христианином ». Моя мать сперва испугалась этого дикого горца, но, вероятно, ее инстинкт подсказал ей — кто был этот, чистый сердцем, человек. Она согласилась стать его крестной матерью и привела его в наш дом. Вскоре его крестили. Крестным отцом его был Ф.Н. Плевако (1843-1902), большой русский адвокат и знаменитый оратор. С тех пор Александр остался жить у нас. Зимой он уходил в горы, в свой аул, а каждое лето приезжал в Ессентуки. С вокзала, на знакомых извозчиках, мы едем в наш дом . . . мы растерянно ходим по всем комнатам, вдыхая знакомый запах каждой из них. Все кажется еще немного чужим, как-бы оторванным, не слитым с нашей жизнью. Мои братья, сестра и я — тоже какие-то неприкаянные. Мы выходим в сад, пробегаем по всем дорожкам, садимся на каждую скамейку, как будто этим прикосновением мы вводим их в нашу жизнь.

Но проходят дни и все меняется. Мы опять слиты в единое целое. Началось Ессентукское лето . . .

Я вижу себя 12-летней девочкой и наш Ессентукский сад; жужжат осы и пчелы, пахнет розами, гвоздиками, левкоями, гелиотропом, всюду разлита знойная лень, не хочется ни двигаться, ни думать, ни читать — стоит жара.

Я сижу на большой крытой террасе и знаю, что сейчас в дверях появится знакомая фигура нашего гувернера-француза с книгой в руках и позовет нас в сад на урок. Мы уйдем на тенистую скамейку и будем читать «Le petit chose», Альфонса Доде (1840-1897). Мы любим эту книгу, но все-таки она « чужая », и я с нетерпением жду, когда пролетит час и нас позовут пить чай. После чая, вероятно, будет состязание в крокет, полное страсти и трепета, кто победит . . , или мы уйдем в Санаторий играть в теннис, а вечером, когда стемнеет, мы будем играть в прятки. Это самая любимая игра. Мы все наденем одинаковые пелерины с капюшонами и будем прятаться в саду, перебегая от одного куста к другому, прячась за деревьями, пригибаясь к земле. И в темноте ночи невозможно будет угадать, кто эта таинственная фигура в капюшоне, мелькающая на дорожках сада.

Но бывали вечера, когда после обеда, мы — дети, заранее сговорившись с моим отцом и матерью, обступали Льва Михайловича Лопатина, смотря на него умоляющими глазами, и просили его рассказать нам « страшный рассказ ». Лев

Михайлович был замечательным, талантливым рассказчиком. Мы слушали его, затаив дыхание, прижавшись друг к другу, не сводя с него расширенных от ужаса глаз. У него был неиссякаемый запас таких рассказов, и хотя некоторые из них мы знали почти наизусть, это не уменьшало жадного внимания, с которым мы слушали его.

Повествовал он всегда тихим и каким-то замогильным голосом: « Это было в Москве, в одном из московских переулков, недалеко от Арбата. Там был дом с заколоченными ставнями, говорили, что по ночам там слышатся какие-то странные стуки и стоны. Раз два молодых студента решили провести там ночь ... » так начинался один из его рассказов.

Однажды, после одного из таких вечеров, мы — дети никак не могли успокоиться и умоляли моего отца и мать не отсылать нас спать. Моя мать решила позволить нам поиграть полчаса в саду. Мы надели свои пелерины и кинулись в сад. В этот вечер все казалось мне особенно жутким и таинственным, и темные силуэты деревьев и, уходящие в глубь сада, едва заметные дорожки и высокая фигура Александра-Черкеса, в длинной, черной бурке медленно двигающаяся вокруг дома. В этот вечер мы играли в палочку-выручалочку.

Когда, пригнувшись к земле и надвинув на голову капюшон, я пробегала мимо Александра-Черкеса, он вдруг схватил меня за руку и остановил.

« Пусти, Александр, что ты хочешь от меня ? пусти ».

« Нет, Соня », сказал он, « подожди, не беги, я хочу тебе сказать ... »

« Что Александр ? »

« Соня, помни, что я тебе скажу, большая будешь, помни, обещай что не забудешь никогда ... »

« Хорошо, Александр, обещаю, только говори скорее, Коля ищет, он может меня поймать, ты понимаешь — мы играем, говори скорей ... »

« Слушай, Соня, если кто-нибудь тебе скажет, что земля круглая — ты не верь. Мне один человек сказал, что земля круглая, но это не правда. Мы на земле крепко стоим, если бы была круглая, мы бы покатились, и потом, где бы тогда был ад ? Я знаю, что там, где земля кончается — там ад. И еще помни, Соня, не ходи никогда туда, где темно, потому что черти любят места, где темно, а если придется пойти — читай « Отче наш ». Вот я хожу по ночам и читаю « Отче наш », и черти сразу разбегаются. Всегда читай « Отче наш », Соня ... »

« Хорошо, Александр, я буду читать « Отче наш », но только, ты знаешь, земля все-таки круглая, это правда, я это учила ... »

Но здесь я увидала, что он был глубоко огорчен моими словами.

« Как ? — говорил он, — как круглая ? Как ты можешь говорить ? Где же тогда ад ? Скажи — где ад ? »

« Я не знаю, где ад, Александр. Но может быть земля и не совсем круглая, я не совсем уверена... я не наверное знаю... »

« Это солнце круглое », сказал он. « Ты может быть хотела сказать, что солнце круглое ? »

« Да, это правда, солнце круглое, Александр, и « Отче наш » я всегда буду читать, я обещаю тебе, всегда, всегда... »

И он отпустил меня — дорогой Александр-Черкес. С тех пор, как я себя помню — я помню Александра, его мужественнное, красивое лицо. Он редко улыбался, он был всегда серьезен, грустен, сосредоточен. Он иногда приходил к нам, на большую крытую террасу, в ожидании моей матери, и мы-дети бежали предупредить ее, что пришел Александр-Черкес. Моя мать сразу выходила к нему и спрашивала, что ему надо ?

« Мыла больше нет », говорил он, или « рубашка разорвалась »... Иногда моя мать пыталась убедить его взять деньги и купить, что ему надо, но он всегда отказывался и с недоумением смотрел на мою мать.

« Разве просил денег ? », говорил он. « Мыло просил, а ты даешь деньги ».

« Но ты купи... »

« Зачем я куплю ? », спрашивал он. « Не мои деньги, как же куплю ? Я мыло просил, или рубашку, а ты поняла, что деньги ? Ты не так поняла... » И моя мать посылала нас за мылом, или еще за чем-нибудь, что ему было надо и, с улыбкой, передавала ему.

А я его понимала. Я чувствовала что-то, что не могла объяснить. Его преданность нам была так непосредственна, что он не хотел, чтобы между ним и нами стояли деньги. Я тоже этого не хотела. Мне казалось, что это так понятно — ему нужно мыло и мы даем ему то, что ему надо, но он не за деньги сторожит наш сон, оберегает нас от всякой опасности. Один раз моя мать решила взять его с собой в Москву. Этот опыт не был удачным и мы никогда не повторили его. С ним случилось несколько неловких происшествий. Два из них были связаны с очень чтимой в нашей семье старушкой — Наталией Владимировной Толстой. Она принадлежала к той особой русской аристократии, которой никогда уже в России не будет. Умная, культурная, прямая, немного самодурка, она была другом Царской семьи, всегда говорила им в глаза все, что думала, и ничего и никого не боялась. Она любила и уважала мою мать, и моя мать глубоко ценила ее дружбу.

Один раз у Наталии Владимировны был большой прием, на который была приглашена и моя мать, но в последний момент она плохо себя почувствовала и должна была отка-

заться от поездки. Она написала Наталии Владимировне письмо, позвала Александра и сказала ему — отнести сразу же ей это письмо. На следующее утро Толстая позвонила по телефону моей матери и спросила ее, кто был тот дикий человек, который принес ей накануне письмо ?

Моя мать была смущена этим вопросом и просила объяснить — как себя вел Александр. Оказалось, что придя в дом Наталии Владимировны, Александр отказался передать письмо горничной и потребовал, чтобы его провели лично к барыне. Все гости были уже в сборе. Его пришлось привести в гостиную. Он вошел, посмотрел по сторонам и громко спросил: « где она ? » Когда ему указали на хозяйку, которая сидела в глубине комнаты в кресле, он подошел к ней, протянул и пожал ей руку и только после этого передал ей письмо, сказав: « это тебе от Софии Александровны ». Выслушав это, моя мать сразу же вызвала к себе Александра. Он вошел, как всегда, спокойный и серьезный. « Александр », сказала она, « неужели это правда, что ты вошел в гостиную и пожал руку Толстой ? Почему ты не отдал письмо горничной ? »

Александр сразу понял, что он сделал что-то, чего не надо было делать. « Да », сказал он, « я не дал горничной, но ты сказала: « отдай Наталье Владимировне, ты не сказала: « отдай горничной » . . . и руку я ей пожал . . , а разве она не честная ? »

И моя мать ничего не могла ему сказать, он думал, что она защищает его интересы, что она обеспокоена тем, что он пожал руку « не честной » женщине.

В другой раз, у нас были гости; моя мать послала Александра спешно в кондитерскую и просила его принести поскорей самый большой торт. Через несколько минут он вернулся с большим тортом и вернул моей матери деньги, которые она ему дала.

« Сколько же ты заплатил ? », спросила его моя мать.

« Зачем платить ? Я все деньги тебе вернул . . . »

« Как же ты мог ? »

« Но ты не сказала « купи », ты сказала « принеси поскорей », я вошел, взял самый большой торт и принес . . . »

В третий раз, когда у нас была в гостях та же Наталья Владимировна Толстая, моя мать позвала Александра и сказала, чтобы он надел ей ботики. Он вошел, окинул ее взглядом с головы до ног и сказал: « нет, не надену, тебе надену, а она пусть надевает сама . . . »

После этого моя мать решила никогда больше не привозить Александра в Москву.

Почему я все это пишу ? Разве это интересно ? Но это все была моя жизнь. Все эти люди прикасались к моей жизни. Вероятно образы их, рассказы о них откладывали

отпечаток и на меня, влияли на меня, потому что не напрасно я их встретила, не случайно. Я верю, что случая нет, есть только мудрый и таинственный план Божий о каждом из нас.

Так протекало наше детство. Но главное в нашей жизни — это была окружавшая нас любовь. Она изливалась на нас от нашей матери и отца, от нашей крестной — « тети Мани », от всех гостивших у нас родственников и друзей, от наших сверстников, от врачей — ассистентов моего отца, от прислуги и служащих в Санатории.

Когда мы шли на прогулку и проходили мимо фруктовой лавки татарина Магомета и видели его плотную фигуру, его улыбающееся лицо с тонким, с горбинкой, носом, я всем своим существом знала, что Магомет — наш, свой Магомет и что он улыбается нам, потому что он сейчас протянет каждому по сочной груше или абрикосу и мы непременно смущенно скажем ему: « не надо, Магомет » . . . а он закивает головой и будет настаивать: « бери, бери ». И мы возьмем, очень довольные, и его груша или абрикос будут казаться особенно вкусными, и мы будем есть их быстро, потихоньку друг от друга и от самих себя, зная, что нам запрещено есть « немытые фрукты » . . .

Магомет жил в моем сердце, как жила горничная Саша или лакей Михаил, как жили доктора, ассистенты моего отца, а их каждый год было три или четыре, одни из них более любимые, другие — менее, но мы, дети, знали их всех и несли в сердце образ каждого из них. Мне теперь кажется, что мы любили больше тех, кто обращал на нас больше внимания. В детстве мы так быстро откликаемся на внимание и любовь. Стоит только нас ласково погладить по голове — и мы сразу отдаем свое сердце.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

# ОТРОЧЕСТВО

*С. Зернова*

## *Гимназия*

Я с сестрой училась в классической гимназии Хвостовой, находившейся в Криво-Арбатском переулке. В ней преподавалась латынь, но греческий язык был заменен английским. Мне было 13 лет, когда я впервые попала в школу. Наступило уже начало ноября, учение повсюду давно началось, но мы только что вернулись из Сочи и я была единственная « новенькая ».

Мои первые впечатления были связаны с различными запахами и звуками: гул голосов, топот ног, смех и запах натертого паркета, перемешанный с каким-то еще неопределенным запахом, исходящим, как я поняла потом, от синих фартуков, в которые были одеты все девочки.

Моя мать оставила меня в коридоре и ушла разговаривать с начальницей Н.П. Хвостовой. Я стояла одна, прислонившись к стене и горько переживала свое одиночество и оставленность. « Только бы вернулась поскорее мама » думала я, « может быть, я смогу еще упросить ее не оставлять меня здесь, взять меня домой ». Но в глубине души я знала, что ничего переменить нельзя, я останусь одна среди этих чужих людей. Больше всего я переживала « неизбежность » того, что должно было случиться.

Вскоре меня окружили девочки. Первой обратилась ко мне одна из старших, довольно толстая, курносая, она пробегала мимо и, увидав меня, остановилась.

« Ты новенькая » ?, спросила она, « в какой класс ? »

« Не знаю », ответила я.

« Вероятно, в третий, как твоя фамилия ? »

« Зернова ».

« Почему ты загорелая ? »

« Я была в Сочи ».

Она повернулась и равнодушно ушла от меня.

« Зачем она спрашивает », думала я, « какое ей дело, я не люблю ее, я никого здесь не буду любить, и гимназию эту не буду любить ».

Потом подошли ко мне другие девочки, они проявили

больше интереса к моей судьбе, я едва успевала отвечать на их вопросы: — Ты далеко живешь ? Тебе здесь нравится ? У тебя есть братья и сестры ? Ты уже раньше ходила в другую гимназию ? Почему так поздно пришла ? Ты держала экзамен ? В какой класс поступаешь ? Ты уже сегодня останешься ?

Когда вернулась моя мать, я узнала, что она записала меня в четвертый класс. Я должна была начать занятия на следующий день.

Прошло две недели и я привыкла. Я полюбила всех, и девочек и преподавателей, и стены нашего дома, и запахи и звуки. Мой голос уже сливался с гулом других голосов и я была одета в такой же синий фартук, как и другие девочки. Но все это не мешало мне чувствовать, что в чем-то наша гимназия была и осталась мне чуждой, я только не могла определить в чем.

С поступлением в гимназию в мою жизнь вошла дружба. Я подружилась со многими девочками, но моим лучшим другом была Таня Кобякова. Таня была высокая, тонкая с карими, грустными глазами, каждый день, после уроков, она провожала меня до дому, потом я провожала ее, потом опять она меня. На каждой перемене мы встречались и не могли наговориться. Придя домой и наскоро приготовив уроки, я звонила Тане по телефону и мы могли разговаривать часами, пока моя мать не прерывала нас.

## Индус в Москве

Однажды, придя в гимназию, я узнала потрясшую меня новость: в Москву приехал индус, настоящий индус, умеющий говорить по-русски. Он приехал чтобы изучать русскую культуру и литературу.

Среди других увлечений, мы увлекались и Индией, она казалась нам таинственной и прекрасной страной. Мы читали произведения Рабиндраната Тагора (1861-1941), учили наизусть его стихотворения в прозе, выискивали все, что только можно было узнать об Индии, и вдруг, в Москве — живой индус. Я мечтала о встрече с ним, но я знала, что это невозможно. Где и как я могла увидать его ? И какой интерес могла представить для него Соня Зернова, ученица 6-го класса гимназии Хвостовой ?

В нашей гимназии не только ученицы, но и преподаватели рассуждали о приезде « индуса » и искали, как с ним познакомиться.

Однажды, я сидела в своей комнате и учила уроки. « Индус » мешал мне заниматься. Мои мысли все время улетали к нему. Какой он ? Что он думает о России ? Что он

рассказывает об Индии ? Сколько вопросов можно было бы ему задать...

В это время меня позвали к телефону. Одна ученица старшего класса приглашала меня в их ложу в Большой Театр на Конька Горбунка.

« С нами будет индус », сказала она.

Мне кажется, что у меня потемнело в глазах от неожиданности и восторга. Я не верила своему счастью. Я кинулась к моей матери.

« Мама, ты позволишь ? ты не откажешь ? ты не можешь отказать... »

Моя мать редко разрешала нам ходить в театр, она считала, что мы « успеем », что не надо слишком рано иметь все. Если бы она знала, что наша жизнь повернется так, что многое мы никогда « не успели » ни увидеть, ни пережить...

И вот — я в ложе. И рядом со мной — он, индус. Он смуглый, среднего роста, очень тонкий, немного рябой, у него горбатый нос и очень внимательные, ласковые, черные глаза. Он не обращает на меня никакого внимания, но мне это и не нужно. В нашей ложе, кроме нас, сидит Мария Николаевна Германова (1885-1940) — артистка Художественного Театра. Индус не сводит с нее глаз. Она сидит, закутавшись в черную испанскую шаль, и сияет своей красотой.

После спектакля, я слышу, как она говорит ему своим певучим голосом: « Хотите, поедемте ко мне ужинать, я познакомлю Вас с моим мужем » ?

Я, кажется, в этот вечер не видела, что представляли на сцене, думаю, что не видел ее и он — мой таинственный, индус. Я, вероятно, почувствовала значительность этой решающей для него встречи с Германовой.

Культурная Москва продолжала переживать приезд индуса. Вскоре он был приглашен стать советником при Художественом Театре для постановки пьесы Тагора « Король Темного Чертога ».

Мне он больше не мешал учиться, но он вошел в мою жизнь и я несла его в сердце. Я не знала, что через несколько лет и Шахид Сураварди († 1965) и Мария Николаевна Германова станут моими большими друзьями...

## Солдатский лазарет

Война 14-го года в начале мало отразилась на нас. Она была далеко! Первой встречей с ней был приезд в верхний этаж нашего дома « беженцев » из Польши. Я в первый раз услыхала это новое для меня слово. Мне представилась широкая, пыльная дорога и бегущие по ней люди с мешками за спиной. Я не знала тогда, что слово « беженец » сольется с моей судьбой на много, много лет.

Вскоре мои родители, вместе с районным попечительством на Арбате, открыли в одной из квартир в нашем доме небольшой лазарет для легко раненных и выздоравливающих солдат. Моя мать посылала меня два раза в неделю читать солдатам вслух. Читала я им, большею частью, или газеты или рассказы Чехова. Я мучительно стеснялась, не знала куда сесть, о чем их спросить и как к ним подойти. Было их обыкновенно человек 6, 7, от них пахло махоркой и байковыми халатами, иногда они о чем-то переговаривались друг с другом и тихо смеялись, это еще больше смущало меня и я с нетерпением ожидала, когда пройдет час и я смогу уйти. Особенно я стеснялась одного молодого гвардейца, очень высокого и статного с небольшими черными усами, моя мать говорила о нем, что он настоящий — русский богатырь. Когда он поправился и должен был уезжать к себе в деревню, он попросил мою мать, чтобы я пришла с ним проститься. Я робко вошла в их комнату, он предложил мне сесть на стул, и не успела я сесть, как они все подхватили меня и стали « качать » — подбрасывая к потолку. Я с ужасом вцепилась в мой стул и не знала смеяться мне или плакать. Так русские солдаты прощались со своей 14-летней лектрисой.

### Уроки танцев и Димка Кочетов

Шла война, а дома у нас продолжалась наша беззаботная и счастливая жизнь. По субботам у нас были уроки танцев; они были одновременно и танцевальные вечера. Я с нетерпением ждала знакомого длинного звонка нашего учителя, бывшего балетмейстера, высокого худого, всегда во фраке и с белоснежной манишкой. С ним приходила маленькая, немного грузная таперша. Мы выстраивались в линию и начинали изучать « па ». Большим недостатком наших вечеров было малое количество девочек. Я не решалась приглашать учениц моей гимназии, мне казалось, что они не подойдут к нашей компании. Поэтому, кроме меня и моей сестры, у нас было всего две девочки — Ляля Перцова и ее подруга Лиля. Ляля была центром и звездой всех наших вечеров. Она была на год старше моего брата и его товарищей, она была уже « барышней », и почти все наши мальчики были влюблены в нее. Она была высокая, тоненькая блондинка, с довольно крупными чертами лица и с немного прищуренными, всегда смеющимися глазами. У нее был совсем особенный шарм, она это знала и радовалась успеху, которым она пользовалась. Влюбленность мальчиков выражалась, главным образом, в том, что они неотступно следили за нею глазами, наперерыв бросались подать ей стул, когда она входила в комнату, и старались сесть с нею рядом. Когда объявлялся какой-нибудь танец, все мальчики кидались к Ляле, чтобы

успеть пригласить ее. Я особенно переживала эти минуты, смотря на моего брата, и готова была броситься ему на помощь, только, чтобы он, а не другие, танцевали с ней. Моя сестра и я не пользовались никаким успехом и с радостью и весельем танцевали с любыми мальчиками.

Но что-то переменилось, когда мне минуло 15 лет. Однажды вечером мой брат таинственно позвал меня в свою комнату. У него был очень загадочный и многозначительный вид. Он тщательно закрыл дверь и потом, смотря куда-то в сторону, тихим голосом проговорил: « Володя Поляков посвятил тебе стихотворение ». « Мне ? » переспросила я. Это было так неожиданно и непонятно. « Почему мне » ? « Я могу прочесть тебе ».

« Но ты уверен, что мне ? »

« Да, я спросил его и он сказал, что тебе ».

Я продолжала не верить, стихотворение было таким чудесным, полным нежности и любви. Но я даже не хотела взять его, мне это казалось каким-то недоразумением. Такие стихи подходили Ляле, а не мне, и я их не хотела.

Через два дня мой брат опять позвал меня к себе. На этот раз он выглядел немного смущенным.

« Знаешь », — сказал он, — стихотворение, которое посвятил тебе Володя, оказалось написал не он, а Лермонтов ». У меня отлегло от сердца, это было уже лучше, понятнее.

« Но всетаки », — сказал мой брат, — он хотел бы написать такое стихотворение и посвятить тебе ».

Володя был красивый, румяный мальчик, всегда веселый, открытый и любимый всеми своими товарищами. Я находила, что ему совсем не подходит быть влюбленным, особенно в меня. Мне казалось, что влюбляться надо в « барышень », а я чувствовала себя « девочкой » и хотела остаться такой.

По воскресеньям мы часто катались на коньках или бегали на лыжах. Какое это было веселье, какой восторг бежать на лыжах в Сокольниках, наклонясь под елками, сбивая с них пушистый, белый снег, бежать по проторенной дорожке за Вовкой или за моим братом. Морозный воздух, запах снега и солнца и молодость и ощущение гибкости своего легкого и разгоряченного тела.

Или каток. Ляля не каталась с нами на коньках, поэтому все было проще, были только мы все, веселые и счастливые мальчики и девочки. Девочек правда было всего две, моя сестра и я, а мальчиков было 8 или 9. Они все были в фуфайках верблюжьего цвета, а мы с сестрой в белых. Мне никогда не удавалось кататься одной, или мы катались цепью, взявшись все за руки, или с кем-нибудь вдвоем. Но больше всего я любила, когда к нам на каток приходил учитель брата, высокий, красивый студент с вьющимися волосами и с синими смеющимися глазами. Он обыкновенно отбивал меня

от всех мальчиков и взяв крепко за руки мчал по всему катку. Мои руки тонули в его больших и сильных руках, оркестр играл и кружил мне голову, и я мчалась с ним, забыв все на свете. Наши мальчики стояли в стороне и смотрели — недовольные и грустные. Он был чужой и как бы не имел права врываться в нашу компанию.

Почти каждый вечер к нам приходил еще один друг нашего детства и юности — Дима Кочетов. Его отец был директором Филармонии в Москве, вся семья — два сына и дочь — были очень музыкальны. Оба сына учились тоже в Поливановской гимназии, Дима хорошо играл на рояле и сам сочинял музыку. Они жили напротив нас, в том-же, таком дорогом мне теперь, Хлебном переулке. Дима приходил к нам, как к себе домой. Он сразу садился за рояль и играл. Чаще всего он играл этюды Скрябина, или Рахманинова, или Шопэна. Мне так трудно было оставаться в моей комнате и учить уроки, когда из гостиной доносились звуки рояля.

« Пойду, поздороваюсь с Димой », говорила я себе.

Дима вводил нас в мир музыки. Иногда он устраивал у нас музыкальные вечера. Он приводил своих друзей — музыкантов, учеников Поливановской гимназии. Особенно я помню одного из них, стройного, с черными блестящими глазами, звали его Саша Курисс. Он играл на скрипке, а Дима аккомпанировал ему на рояле. Мы с ним мало разговаривали, но я всегда его особенно ждала. Я бессознательно радовалась этим двум юношам, игравшим на рояле и на скрипке и связанным со мною, как мне казалось, таинственной, тонкой ниточкой.

Позднее, кроме концертов, мы ставили спектакли, устраивали кружки, диспуты, рефераты, увлекалаись поэзией, ходили вместе на концерты, на вечера, где выступали русские поэты. Громадное место в нашей жизни занимало чтение. Подходишь к шкафу с книгами и вынимаешь Шекспира или Гете в издании Брокхауз и Эфрон, или Толстого или Достоевского; вынимаешь с трепетом, как будто прикоснешься сейчас к чужой жизни, как будто перед тобой откроется дверь в иной, чудесный мир. Всем этим мы жили и горели.

## ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

# ВЕРА В БОГА

*С. Зернова*

Среди наших преподавателей были более любимые и менее любимые. Одной из самых любимых была учительница немецкого языка Нина Эрнестовна Мамуна. Она была средних лет, довольно полная, с внимательными темными глазами, ходила она обыкновенно не торопясь, немного в развалку, неся всегда под рукой или книгу или тетрадки. У нее было удивительное умение подходить к детям. Мы все чувствовали, что каждый из нас ее интересует и что мы можем обратиться к ней со всеми нашими сомнениями и трудностями. Когда я была в 6-ом классе, она пригласила к себе группу девочек, среди них была и я. Я с нетерпением ждала этого дня, но когда я подходила к ее дому, я была охвачена чувством такого смущения, что решила убежать «пока не поздно». Мне это не удалось т.к. я столкнулась у ее двери с другими девочками; и мы вошли целой гурьбой. Нина Эрнестовна привела нас в свою гостиную, усадила всех в кружок, на диван, на кресла, на ковер на полу и предложила, чтобы каждая из нас прочла наизусть свое любимое стихотворение. Я очень стеснялась, но делала вид, что чувствую себя независимой и первая вызвалась прочесть стихи Зинаиды Гиппиус. (1869-1945). Нина Эрнестовна слушала внимательно, но без восторга. Я сразу это почувствовала и почувствовала также, как возвышенно и неестественно звучал мой голос. Когда я кончила, на одно мгновение водворилось неловкое молчание. Я была опозорена и несчастна. Но Нина Эрнестовна ласково положила мне руку на плечо и сказала: « Конечно, Зинаида Гиппиус настоящая поэтесса, но самый большой современный поэт — Александр Блок. Я прочту вам его стихи ».

Она не просила больше никого из нас читать стихи, но до самого вечера говорила нам о русской поэзии и читала не только Блока, но и Гумилева (1886-1921), Анну Ахматову (1893-1961) и других. Мы слушали ее с увлечением и отзывались на каждую ее мысль.

После этого вечера я решила поговорить с ней о « вере ». Я находилась в « религиозном кризисе ». Он начался давно, когда мне было 12 лет. До этого я верила по-детски. По утрам и вечерам мы молились все вместе. По воскресеньям и на

большие праздники нас водили в церковь. Каждый год Великим Постом мы исповедовались и причащались. Ходить в церковь было и скучно и утомительно, службы я мало понимала и старалась найти что-нибудь, чем можно было бы развлечься. Только на Страстную Неделю и на Пасху что-то проникало в меня, и я захватывалась таинственной красотой богослужения. Правда, жил во мне где-то и образ Христа, наша мать по вечерам читала нам вслух Евангелие, и священные слова западали в душу.

Мой « религиозный кризис » был вызван незначительным случаем, но часто так бывает в жизни. Это было в Москве. К моей матери пришла какая-то ее приятельница, они разговаривали, не обращая внимания на меня. Я сидела в кресле, смотря рассеянно в окно, на улицу, на наш Хлебный переулок и не прислушивалась к их разговору. Вдруг я услыхала фразу: « конечно, я не верю в Бога, совсем ясно, что Бога нет, и все это только предрассудки, суеверия и сказки для маленьких детей » — говорила эта дама.

« Как Бога нет ? », подумала я, « как это может быть, что Бога нет ? . . » И вдруг в эту минуту кто-то стал стучать в дверь и мы услышали крик: « пожар ». Приятельница моей матери вскочила, быстро перекрестилась и воскликнула: « Господи, помоги ».

Я в детстве мучительно боялась огня, но в эту минуту я забыла про пожар, я была поражена тем, что это дама только что говорила, что не верит в Бога и при первой опасности она крестится и говорит: « Господи, помоги ». Я была поражена ложью, и я стала думать о себе. Может быть, я тоже прибегаю к Богу только тогда, когда Он нужен мне ? Может быть я тоже не верю ? С этого момента я вступила на путь сомнений и исканий. Кончилась моя детская, наивная и простая вера. Я говорила себе: « я хочу быть честной; или я верю всегда или я не верю, и тогда я не смею ни идти в церковь, ни молиться, ни просить у Бога помощи ». В 12, 13 лет это были лишь неясные мысли, которые то появлялись, то исчезали, но в 14 лет я решила, что я в Бога не верю. Идя в гимназию и проходя через « проходной двор » около церкви Симеона Столпника на Поварской, я раньше часто забегала в церковь « перекрестить лоб ». Теперь я запрещала себе это делать. От этого запрета — на сердце была тоска. Тогда я решила — искать Бога. Я искала то горячо, то играя и рисуясь этим. Одно время для меня этот вопрос был действительно занимательной игрой, это было уже позднее. Я решила, что я буду спрашивать каждого, кого я встречаю, верит он в Бога или нет ? Если он скажет — « нет », то он меня больше не интересует, если он скажет « да » — я спрошу его, как он нашел Бога и попрошу научить и меня верить. Летом, в Ессентуках, я подошла с этим вопросом к К.С. Станислав-

скому. Он вдруг сделался совсем серьезным и, посмотрев мне пристально в глаза, сказал: « я верую в Господа Бога, но научить вас верить не могу, молитесь, чтобы Бог послал вам веру ». Я была смущена его ответом, потому что я задала ему мой вопрос как-то по иному и думала, что он ответит мне, смеясь и шутя. Он слишком серьезно ответил мне. Я вспоминаю, и вижу перед собой и сейчас его лицо. Я тогда поняла на мгновение, что этим вопросом « играть » нельзя, об этом знало мое сердце, но мы редко останавливаемся на этом « знании » сердца, я как будто хотела бросить « вызов » этому голосу сердца и понеслась дальше по наклонной плоскости; часто смеясь и рисуясь, я продолжала эту игру.

Иногда я забывала о ней, ходила в церковь, говела Великим Постом, жила как все. Но потом этот вопрос опять начинал меня мучить и я возобновляла мою анкету. Я только никогда не говорила на эту тему с моими родителями, вероятно, не хотела их огорчать.

Я задала этот же вопрос Л.М. Лопатину. Он тоже выслушал меня внимательно: « Ищите веру », сказал он мне, « Бог вам поможет и вы Его познаете ». Но он не мог мне сказать, как и где искать.

Когда я решила говорить о вере с Ниной Эрнестовной, я не хотела ее спрашивать — верит ли она, я знала, что она была протестанткой, и я просила ее дать мне адрес протестантской церкви. « Зачем тебе ? », спросила она. « Я ищу Бога », сказала я, « и хочу побывать во всех церквах ». Она пристально посмотрела на меня и дала мне адрес. В следующее же воскресенье я отправилась в Протестантскую церковь.

« Вот это настоящая церковь », говорила я потом Нине Эрнестовне, « такая простота, никаких ненужных икон, белые стены, одно Распятие, никаких длинноволосых батюшек, никаких « паки и паки » . . . »

Нина Эрнестовна дала мне высказаться и потом спокойно сказала: « ничего ты не понимаешь; благодари Бога, что ты православная, когда будешь постарше — ты поймешь. Наша простота — это бедность. Православие, с его мистикой, символами, таинствами — есть великое богатство и полнота истины, ты когда-нибудь это поймешь . . . » Ее слова меня поразили, я их запомнила навсегда. « Когда будешь постарше . . . » Мне казалось тогда, что я уже все понимаю, и эти ее слова звучали особенно оскорбительно.

Ко мне домой приходила репетировать со мной уроки молодая преподавательница, дочь известного в Москве священника О. Іосифа Фуделя — Нина. Однажды она предложила мне поехать с нею на 2 дня в Оптину пустынь, к старцу Нектарию (1856-1928). Я « возмущенно » отказалась. Почему « возмущенно » ? Я не знаю, я только помню, как я негодовала на нее за это предложение.

« Зачем я поеду ? » спрашивала ее я. « О чем я буду с ним говорить ? » « Он тебя благословит », ответила Нина.

« Нет я не поеду, я ни за что не поеду, я вообще в Бога, может быть, не верю ». « Я и не убеждаю тебя, я только предложила », сказала Нина.

Я не поехала. Я ничего не сказала об этом разговоре ни моей матери, ни брату, ни сестре, ни Тане, но я не могла о нем забыть. Образ неизвестного мне старца как будто все время звал меня. Нина уехала одна, она привезла мне из Оптины маленькую бумажную иконку — благословение старца Нектария. Я ее небрежно взяла, но потом свято хранила. Я не могла уйти от вопроса о вере в Бога.

Так проходила моя жизнь, между гимназией и домом. Училась я всегда хорошо, но никогда не отдавала учению много времени, хотя выдерживала экзамены и переходила без труда из класса в класс.

Труднее всего мне давалась математика, я не любила и не хотела понять ее. Это огорчало мою мать. Она сама прекрасно знала математику, греческий и латинский язык и хотела передать своей старшей дочери это наследство.

Один раз, мне было тогда 16 лет, она позвала меня к себе.

« Завтра придет к тебе учитель », сказала она. « Он оставлен при Университете на математическом факультете, я надеюсь, что он поможет тебе полюбить математику ». « Знаешь, так странно, прибавила она, оказывается его отец учился вместе с твоим отцом, в том же классе, в той же гимназии, а его мать училась вместе со мной ».

Это меня больше всего вдохновило, все, что было « странно » — всегда вдохновляло меня.

Он пришел на следующий день. Я думала, что моя мать сразу позовет меня и я приведу его в мою комнату — давать мне урок. Но она позвала меня только час спустя. О чем они могли говорить ?

Он был среднего роста, молодой и выглядел очень серьезным. У него был внимательный и какой-то задумчивый взгляд, как будто его мысль была со мной и, одновременно, где-то еще, в глубине его самого. Я не могла разгадать цвета его глаз, так как он носил темные очки.

Он вошел в мою комнату и, внимательно смотря мне в глаза, спросил: « Верите ли Вы в Бога ? »

Я не ожидала этого вопроса и не сразу ответила ему.

« Думали ли Вы когда-нибудь », продолжал он, « что для того, чтобы выразить тайну и истину о Боге, человек избрал единственный, возможный способ, он взял числа, он сказал: « Бог один и три ». Думали ли Вы когда-нибудь об этом ? »

« Нет, не думала ».

« Бог — это великий архитектор », говорил он, « Он создал

мир в гармонии и красоте, но все, что Он создал, зиждется на математике. Математика — это тайна мироздания ».

Я слушала его и впитывала в себя каждое его слово, и это, вероятно, отображалось в моих глазах. Очень скоро я заметила, что мое вдохновение вдохновляет и его. Мы просиживали с ним часы, забывая время. Как я ждала его уроков, как я жила ими. Он, вероятно, тоже ждал их. О чем только ни говорили мы ? Конечно, больше говорил он, а я слушала. Он говорил о Боге, о мире, о красоте, о венце творения — человеке. Потом мы переходили к математике. Каждая линия, каждый треугольник, каждая символическая буква алгебры, казались мне теперь иными, я искала в них таинственные переплетения Божьей премудрости с гением человеческого разума. Мой учитель преобразил мое отношение к математике. Я вдруг стала хорошо учиться, я стала все понимать.

Однажды, за одним из уроков, он заговорил со мной о « бесконечности ».

« У Вас есть друзья ? » спросил он потом.

« Да, но не настоящие, они не могут дать мне того, что я ищу ».

« А что Вы ищете ? »

« Что я ищу ? Ищу вероятно то, о чем Вы сегодня говорили, ищу бесконечности », сказала я. Он весь загорелся от моих слов.

« Вы Бога ищете », говорил он, « я знаю — Вы Бога ищете, только Бог может утолить эту жажду, только Бог . . . »

Наступила весна. Мы уезжали на Кавказ. Я грустила.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

# ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР

*С. Зернова*

Особое место в нашей жизни в Ессентуках занимали прогулки и музыкальные вечера в Санатории. Мы совершали увлекательные экскурсии на тройках, а иногда уезжали в степь верхом. Это было особенное счастье. Хотелось ехать так без конца. Вокруг был широкий и спокойный простор, только высоко в небе парили орлы. Но чаще всего мы уходили в степь пешком. Одна из этих прогулок запомнилась мне. Это было весной, мы вышли рано утром, солнце только что всходило и воздух был свежий и чистый. Степь цвела, широкая, душистая, звенящая. Мы шли по ней, четверо детей, я чувствовала как мои ноги прикасаются к земле, ступают по мягкой, ароматной траве, а вокруг красными огнями, цвели пионы. Они окружали нас со всех сторон, и впереди и сзади, и уходили в даль, до самой линии горизонта, там где возвышались синеющие горы Кавказа.

И кто-то из нас сказал: « побежим . . . » И мы кинулись бежать ; я бежала и думала: « что бы со мной в жизни ни случилось, я эту степь и этот день никогда не забуду . . . » И никогда и не забыла . . .

Я потом часто видала во сне цветущую степь (я иногда вижу и теперь), и всегда мое сердце наполняется блаженным счастьем и ощущением нераздельного единства — этой цветущей красоты и меня. Я думаю, так будет после смерти, если только мы удостоимся блаженства, если будут зачеркнуты грехи, потому что это наш человеческий грех отделяет нас от красоты мира. Между ней и нами — мучительная стена. Мы видим эту красоту, но унести с собой ее не можем, она остается, а мы уходим одинокие и оторванные . . .

По пятницам мы ходили в Санаторий, где устраивались концерты. Там нам оставлялись специальные места, впереди, с левой стороны. Все знали, что это места для « детей Зерновых ».

« Дети Зерновы . . . » — недавно я перечитывала книгу о Станиславском — его письма. В одном из них он пишет : « дети Зерновы подросли, странная и милая молодежь . . . »

Когда я теперь смотрю на молодежь и сравниваю ее с нами, мне кажется что мы действительно были « странными ».

Эта « странность » выражалась в нашей совсем особенной интенсивности жизни. Мы были как молодые арабские лошадки, полные огня. Мы горели всем, мы отзывались на все и мы зажигали других.

Особенно знаменательным в моей жизни было лето 1916-го года. Мне минуло тогда 16 лет. Тем летом мы встретились с Художественным Театром. Я так ярко помню, как я познакомилась с О. Л. Книппер (1868-1959). Был солнечный, жаркий июльский день. Я сидела в саду в лонгшез и читала Идиота Достоевского. Вдруг я услыхала голос моей матери, зовущей меня. Когда я вбежала на террасу, я увидала, что моя мать разговаривает с какой-то дамой. Я подошла к ним.

« Это моя старшая дочь Соня », сказала моя мать.

Дама посмотрела на меня внимательными, черными, смеющимися глазами. Я поздоровалась и нерешительно остановилась, не зная — надо ли мне остаться или уйти.

« Что Вы читаете ? », спросила меня черноглазая дама, увидав книгу в моих руках.

« Идиота Достоевского »
« Запо́ем ? »
« Запо́ем ».
« Нравится ? »
« О, да . . . »

« Ты можешь идти », сказала моя мать.

Когда я направилась к двери, я услышала, как черноглазая дама тихо сказала. « Очень хороша ». Она вероятно не хотела, чтобы я слышала, но я слышала.

Я вышла на площадку лестницы, остановилась в нерешительности, и потом быстро побежала наверх, в спальную моей матери. Я подошла к зеркалу, мне хотелось понять, почему она так пристально смотрела на меня такими блестящими, внимательными глазами и почему она сказала эти слова. Из зеркала на меня смотрела загорелая девочка с ярким румянцем и с синими живыми глазами. Мне казалось, что я смотрю на себя в первый раз со стороны, как будто рассматриваю не себя, а кого-то другого, незнакомого. И я вдруг что-то поняла. Поняла, почему мальчики в Москве стали мной интересоваться, почему в гимназии какие-то девочки « обожали » меня, почему иногда я замечала на себе какие-то странные, непонятные мне взгляды. И поняв это, меня вдруг охватило чувство радости жизни и, наряду с этим, чувство стыда. Я убежала к себе в комнату, закрыла дверь и со

страхом прислушивалась — не позовет ли опять меня моя мать, чтобы проститься с черноглазой дамой.

Но моя мать меня не позвала. Вечером она мне сказала:

« Эта дама была Ольга Леонардовна Книппер, жена Чехова, на днях они все придут к нам обедать ».

Через несколько дней они пришли: Станиславский, Лилина, Книппер, Коренева, Хмара. Тогда началась наша дружба. Я не знаю можно ли это назвать дружбой ? Я думаю они по-своему любовались нами. Мы же относились к ним с неостывающим восторгом, вдохновлялись их каждой идеей, ловили каждую мысль и переживали их каждый жест и слово. Артистам нужна такая «аудитория » — они очень часто приходили к нам, или мы встречали их в парке, или устраивали вместе прогулки, чаще всего на наш участок в степи, в 4-х верстах от Ессентуков. Все они были пациентами моего отца и были дружны с моей матерью.

Я помню один обед на нашей большой, увитой виноградом, террасе. Нарядно накрытые два длинных стола, один для взрослых, другой для нас — молодежи. Нам всем 14, 15, 16, 17 лет, мы сидим отдельно, но все наше внимание, вся бурлящая в нас молодая жизнь сосредоточены на тех, кто сидит рядом, за столом для взрослых. Мы прислушиваемся к их голосам, не сводим с них глаз, смеемся, когда они смеются, замолкаем, когда замолкают они.

И вот, среди обеда, К.С. Станиславский встает, берет свой стул и направляется к нам. « Я иду к молодым », говорит он, « я хочу знать, что они думают об искусстве . . . » В эту минуту я физически ощущала, как у меня горели глаза. И мы говорили об искусстве, об участии публики в игре актера, о творческой роли слушающих и смотрящих. Он развивал нам свои идеи и мы слушали и понимали его с полслова. Вероятно наше горение и молодость вдохновляли и их, мы скоро стали их « юными друзьями » (так они называли нас). С нами вместе были наши кузены, гостившие у нас, молодые врачи, ассистенты моего отца, но вдохновителями всего были « дети Зерновы » — мой старший брат, моя сестра и я. Мы все время выдумывали, какое еще оказать им внимание, какую заботу — Станиславскому, Лилиной, Кореневой, Книппер, Хмаре и, позднее, Германовой и магу и волшебнику В. И. Качалову. Качалов жил тогда в Кисловодске и еще не бывал в нашем доме. Вероятно, Станиславский рассказал ему о нас, и однажды он прислал нам письмо. Оно было адресовано « Детям Зерновым ». Открыв конверт, мы нашли белый лист бумаги, на котором было написано: « Здравствуй, племя молодое, незнакомое . . . Ваш Качалов ». Мы хранили это письмо как величайшую драгоценность. Конечно, мы так мечтали

познакомиться с ним... Это случилось очень скоро. Он согласился участвовать в одном из концертов в пятницу, в Санатории. При входе в зал меня остановила О.Л. Книппер. « Идемте скорей », сказала она, « я хочу Вас познакомить с Качаловым », и она ввела меня в артистическую.

« Так вот она, тургеневская девушка », говорил он, не выпуская моей руки и изливая на меня весь свой шарм. А шарм у него был совсем особенный, один только его голос низкий и бархатный мог зачаровать и зачаровывал всех. Он долго и внимательно меня рассматривал. Я стояла перед ним, красная смущенная и счастливая... Но я тоже, потихоньку, рассматривала его. Я помню, что я рассматривала его с « самозащитой », с « робостью », я не подходила к нему так, как я подходила к Станиславскому, Лилиной и Книппер, с полным восторга открытым сердцем. Эта внутренняя « самозащита » много раз спасала меня в жизни.

И я открываю мой дневник 16-го года и читаю в нем: « Боже мой, как хороша жизнь. Вчера мы были в степи, на нашем участке, мы разложили костер и пекли в костре картошку и ели ее, горячую и обуглившуюся, и потом все прыгали через костер. Я сидела у костра, совсем близко и чувствовала его жар, а потом была тихая прохлада, вечерняя степь. Домой я шла с К.С. Станиславским, он мне много рассказывал, не буду записывать все то, что он говорил, я все равно ни одного слова никогда в жизни не забуду, я все буду помнить... »

Как смешно теперь читать эти слова — я, конечно, все забыла, я совсем не помню, что мне рассказывал Станиславский...

И другая страница моего дневника: « 4-ое Июля 1916 г. Они все сегодня у нас обедали: Станиславский, Лилина, Книппер, Коренева, Яблочкина из Мал. Театра, С.Н. Флейшер, П.Н. Перцев, Л.М. Лопатин и певец Дыгас и Емельянов. Потом Дыгас пел из Князя Игоря, он очень хорошо пел. Ольга Леонардовна слушала, и у нее были слезы на глазах. Тогда я пошла в сад и принесла ей маленькую веточку цветущей липы, которая так чудно пахнет. Потом она ушла с нами на террасу и мы долго разговаривали. У нее такие черные, полные огня, глаза. Через некоторое время к нам пришел Константин Сергеевич, она ему сказала: « Знаете, у нас сейчас был разговор, совсем из 2-го действия Чайки; жаль, что Вас не было », и он сел на диван и мы все так замечательно разговаривали. И он спрашивал — не хотим ли мы поступить в студию? А Ольга Леонардовна сказала, что так приятно смотреть на наши молодые лица, а в Студии не то, там все

« обреченные ». Не знаю — почему « обреченные » — разве талант может быть обреченным ?

« 17-ое Июля. Опять прогулка на участок. Опять костер, ужин, вся наша молодая компания и Художественный театр. Хмара предложил спуститься в овраг переправиться через ручей и уйти в степь. Переправились довольно благополучно. Лидию Михайловну Кореневу Хмара и П.Н. Перцев перенесли на руках. Но Гр. Мих. Хмара провалился в грязь. Коля и я разбежались и перепрыгнули. На другом берегу мы долго шли по высокой траве. Коля, Маня и я шли с Ольгой Леонардовной, она ходит очень хорошо. Скоро мы остановились, пораженные картиной заходящего солнца. Мое сердце было полно восторгом. Мы долго стояли, не хотелось ни двигаться, ни говорить. Только казалось, что солнце уходит слишком скоро, неужели так же скоро пройдет и этот день, и, потом, и все лето . . . Когда солнце закатилось, осталось только небо, все залитое золотом. Тогда Хмара предложил взяться всем за руки, чтобы посмотреть, как нас много. Когда мы взялись — он предложил побежать. Я бежала между ним и Колей и мне казалось, что у меня крылья и что я лечу, не касаясь земли. Потом цепь разорвалась и я бежала вдвоем с Хмарой вниз, с холма до самого ручья, я не знаю как мы не свалились. И мы все смеялись. Хмара сказал, что мы все смеемся оттого, что нам всем хорошо. Я их всех очень любила. Я хотела бы, чтобы им всегда, всю жизнь было хорошо ».

« 18-го Июля. Мы все пошли в странствующий цирк. Ольга Леонардовна так хохотала, что все время плакала. Я никогда раньше в таком цирке не была. Мы такие счастливые, когда мы с ними. Нам хочется быть с ними все время. Они почти каждый день приходят к нам. Завтра концерт в Санатории, где будут выступать Станиславский, Книппер и Коренева. Я так этого дня жду ».

Наступило « завтра ». Был концерт. Книппер и Коренева читали сцену из « Месяц в Деревне », Станиславский читал монолог Фамусова из « Горе от Ума ». Они читали с подъемом, и этот подъем передавался всей зале и больше всего нам, молодежи. Моя мать поручила мне выходить на сцену и подносить им букеты из белых роз. Потом мы ужинали с ними и провожали их пешком домой, мы шли через парк темной летней, звездной ночью. Сколько таких концертов и вечеров бывало в их жизни, сколько молодежи окружало их и поклонением и обожанием, для нас же встреча с Художественным театром была особенной, единственной и незабываемой.

Каждый раз, когда мы встречались с ними, между нами и ими зажигался « огонек ». Ни Станиславский, ни Лилина, ни Книппер не смотрели на нас равнодушными и безразлич-

ными глазами, их взгляд был всегда полон ласки, пытливости и любопытства, как будто они хотели догадаться и понять — кто эти « горящие » девочки и мальчики, и что их ждет впереди. Мы же в ответ отдавали им все сердце, все горение нашей молодости [1].

[1] Летом 1929 года, будучи в Париже, я узнала, что К. С. Станиславский приехал из Москвы в Германию лечиться. Я написала ему и получила в ответ следующее письмо:

« Милая Соня,

Позвольте мне, по старой дружбе с вашей семьей, назвать вас так, несмотря на то, что вы превратились теперь в взрослую барышню.

Спасибо вам за ваше милое ласковое письмо, которое я не заслужил. Вспоминая прошлое, я браню себя за то, что мало отдавал внимания окружавшей нас тогда молодежи.

В наш грубый и жестокий век, когда все, даже молодые сердца замкнуты или наполнены ненавистью и злобой, такие письма как ваше — редкость, и я благодарю вас за него вдвойне. Радуюсь, что находясь теперь временно за границей, могу ответить на него, т.к. из России мне бы не удалось этого сделать.

Часто вспоминаю вашу милую семью, с которой я был связан дружбой и хорошими минутами. Мысленно обнимаю дорогого Михаила Степановича и целую руку Софье Александровне. Мане, брату и всем, кто меня помнит, шлю сердечный привет. Вас же искренно благодарю и от души приветствую.

Сердечно преданный
К. Алексеев
(Станиславский)
28-VII-1929.
Баденвейнер ».

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

## ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

*Н. Зернов*

В нашем детстве мы не знали деревенской России. Только однажды, уже юношей в 15 лет, я провел несколько дней в имении одного моего одноклассника Андрея Мамонтова. Там я увидел помещичий дом, верховых лошадей, борзых собак, встретился с крестьянами, заходил в их избы. Все это было ново и необычайно для меня, я чувствовал себя среди них иностранцем.

Лето в Ессентуках проходило для нас в курортной атмосфере, более похожей на городскую, чем на деревенскую. Мы любили степь с ее простором, ароматами, красками, но чтобы встретиться с ней мы должны были сделать особые усилия. Подлинным соприкосновением с природой была для нас жизнь на черноморском побережье, где мы обычно проводили сентябрь месяц.

Мне было дано видеть много мест, знаменитых своей красотой: фиорды Норвегии, острова Греции, каньоны Аризоны, красные пески Сахары, пурпурные скалы Синая, коралловые аттолы Гавайских и Соломоновых островов, тропические леса южной Индии и Цейлона, и все же юношеское очарование черноморского побережья остается для меня единственным и неповторимым. Оно рождалось из девственности и нетронутости природы, которая, несмотря на свою силу и богатство, не угрожала и не подавляла, а манила и звала.

Часть нашего имения в Сочи была занята розарием и фруктовым садом, а часть оставалась девственным лесом. « Саднаш » казался всем нам и нашим знакомым земным раем. Днем мы наслаждались горячим, но не палящим солнцем, красотой и ароматами роз и гвоздик, простором синего блещущего моря и спокойным величием гор. По вечерам в нашей долине пели шакалы. Обычно один из них начинал выводить свою мелодию и оканчивал ее на высокой трагической ноте. Тут хор подхватывал и мощно разносил ее по всему лесу. Звонкое эхо бросало голоса шакалов в горные ущелья и создавалось впечатление, что вся природа участвует в пении этого хора и что-то хочет сказать тоскующими перекликающимися звуками.

Лес, принадлежавший нам, был воистину прекрасен. На

своей опушке он был густо обвит лианами, которые создавали занавес, скрывавший его от посторонних взоров. Но стоило только пробиться через их преграду, как мы попадали в огромный храм. Прямые стволы гигантских деревьев уходили в недостижимую вышину. Над нами был распростерт зеленый покров густых веток, не пропускавших лучей солнца. Внутри леса царила ровная, прозрачная тень. Ничто не нарушало его торжественной тишины. Мягкая земля, покрытая опавшими листьями, заглушала все звуки. Воздух внутри леса был напоен своеобразными, сильными запахами. Мы их хорошо изучили — так, у одного столетнего дуба пахло остро « червяком Юлиусом ». Проходя мимо него мы всегда останавливались, чтобы проверить, не испарился ли этот особый запах. Он всегда был там. Я не знаю, существует ли червяк с этим именем, но « Юлиус » был неотъемлемой частью нашего лесного царства. Наш лес совершенно преображался по ночам. Прозрачный, величественный храм становился сказочным дворцом. Все упавшие ветви, пни и колоды светились ярким фосфорическим светом. Тысячи светляков мигали из под листьев, другие бесшумно летали по воздуху, прорезая ночную тьму во всех направлениях и излучая свой ускользающий свет. Лес влек и зачаровывал нас своею таинственною жизнью. Но главным украшением нашего имения была длинная и прямая аллея кипарисов, чередовавшаяся с пальмами и розами. Она проходила по гребню высокого холма, на запад с него открывался вид на море, а на востоке подымались вершины кавказских гор.

Быстро пролетал месяц нашего отдыха на черноморском побережье. Он вносил в нашу размеренную и трудовую жизнь иную перспективу, встречу с природой, еще не покоренной человеком. Он пробуждал в нас ощущение тайны мироздания и желание увидать другие красоты земли, лежащие далеко за пределами нашей родины.

В 1961 году мой брат с сестрой прожили несколько дней в Сочи. Все там изменилось до неузнаваемости. Шумный, залитой асфальтом и пропахнувший бензином курорт с миллионом посетителей и множеством отелей вырос на месте маленького, полного цветов городка, которым были Сочи в дни нашей юности. Они посетили наше имение и нашли там полное запустение: фруктовый сад был вырублен, земля принадлежала совхозу и ее никто не обрабатывал. В домике нашего сторожа жили в большой нищете и тесноте четыре семьи. Совхоз не позволял им использовать для своих огородов пустующую землю. Только наша знаменитая аллея кипарисов пережила разрушительную бурю революции. Она разрослась, кипарисы гордо подымали к небу свои прямые стволы, они одни напоминали прошлое, пальмы и розы, росшие когда-то между ними, исчезли без следа.

## ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

# СОЧИ И « САДНАШ »

*С. Зернова*

Осенью мы уезжали на Черноморское побережье, где в 4-х верстах от Сочи у нас было 40 десятин земли. Останавливались мы всегда в городе, в большом и нарядном отеле « Ривьера », но весь день проводили в имении « Саднаш ». Каждое утро за нами приезжала линейка и увозила нас в наш сад. Когда я теперь вспоминаю о нем — он представляется мне каким-то райским садом. Какие только фрукты, какие цветы и тропические растения не росли в нем. Но больше всего было в нем роз. Мой отец увлекался розоводством и создал плантации в несколько десятков тысяч роз. Воздух был так напоен их благоуханием, что мне иногда казалось, что он проникает через все поры, врывается внутрь, в сердце и наполняет его мягким и легким ароматом.

Вообще вся наша жизнь в Сочи была необычайной, она была наполнена весельем и подъемом — вероятно на всех нас влияло море, солнце и окружавшая нас красота.

Часто к нам в имение приезжали гости, знакомые и незнакомые, просившие разрешение посетить наш сад. Мы, дети, обыкновенно издали смотрели на них и радовались, когда они уезжали, не нарушая нашей жизни и не врываясь в наш детский, романтический мир. Но иногда приезжали гости, привлекавшие и интересовавшие нас. Для них мы с сестрой срезали розы и приносили им громадные букеты и из белых и из темно-красных и из всех сортов и оттенков. Это было совсем особым удовольствием — собрать и принести им розы и увидать восторг и радостный блеск в их глазах.

Один раз приехала к нам молодая и красивая артистка, с нею были ее друзья и поклонники. Мы с сестрой решили собрать для нее розы, моя сестра принесла только желтые-чайные, а я — всех цветов. Мы заполнили весь ее экипаж. Она не знала, как выразить свой всторг. Она позвала нас и сказала:

« Милые девочки, я так вам благодарна, что обещаю вам, что бы вы у меня ни попросили, — я все исполню. Запомните это ».

Мы, вероятно, забыли бы ее слова, если бы через несколь-

ко дней, уже поздно вечером, кто-то тихо не постучал в нашу комнату в отеле Ривьера. Это был один из ее друзей, он просил мою мать простить его за свой поздний визит и просил разрешить моей сестре или мне спуститься в зал и попросить эту артистку спеть для всей публики. Они упрашивали ее, но она упорно отказывалась, тогда они вспомнили ее обещание « девочкам Зерновым » и решили пойти за нами. Моя мать отпустила меня.

Вся публика очень смеялась, когда увидела загорелую девочку в матроске, появившуюся в наполненном веселой компанией, освещенном зале. Меня подвели к « артистке ». Краснея и смущаясь, я попросила ее спеть что-нибудь. Она сразу согласилась. Все окна были открыты, чудные звуки доносились до наших комнат в эту звездную, теплую, южную, летнюю ночь. Мы с сестрой жадно прислушивались к ее пению, долго переживали его и не могли скоро уснуть.

Наша жизнь в имении была совсем слита с природой. Целый день мы проводили в жарком, солнечном фруктовом саду, собирая черные, спелые, янтарные сливы или душистые персики и груши. Иногда мы спускались в темный, заросший лианами лес. На опушке его росло наше любимое дерево, у него было семь высоких стволов, мы называли его — « семь братьев », и, проходя мимо них, непременно влезали на площадку среди стволов. В лесу нас сразу охватывала прохлада и полутьма. Там по вечерам все светилось фосфорическим светом. Это было так таинственно и жутко, что мы невольно старались идти поближе к взрослым, чтобы чувствовать рядом их надёжное и верное присутствие.

Иногда через лес мы уходили к морю, пахнущему солью и простором. Мы шли по круглым, нагретым солнцем камушкам, они перекатывались и шумели под ногами, мы поднимали плоские и тонкие и бросали их так, чтобы они прыгали и скользили по поверхности воды. Когда море было бурное — мы убегали от волн, стараясь не попасть под их соленые и веселые брызги, или подолгу сидели на горячих, гладких камнях, слушая гулкий и таинственный шум прибоя. Потом мы возвращались в наш сад.

Было у нас в саду одно любимое место. Мы называли его — хвойной горкой. Это был холм, засаженный разными редкими хвоями. У каждого из нас-детей там было свое дерево, которое нам подарил мой отец, за ним мы должны были ухаживать и следить. У меня была развесистая японская хвоя, я ею гордилась и любила ложиться под нею на мягкую, зеленую траву, и лежать там подолгу, смотря на синее небо и на пробегающие облака. Иногда они двигались медленно и плавно, расплываясь, растягиваясь и улетая вдаль, иногда они останавливались, причудливые и крылатые, как фантастические животные, как гигантские корабли. Я их осо-

бенно любила, те убегающие были далекие и свободные, а в этих был какой-то зов, какой-то знак, который я старалась разгадать, кто знает, может быть за ними скрывался таинственный ангельский мир...

Иногда ко мне, под японскую хвою, приходила сестра. Она прибегала, тоненькая и быстрая, и вместе с нею врывалась струйка горячей жизни в мой, наполненный ангельскими крыльями, мир.

С хвойной горки открывался вид на далекое синее море, на Дагомыс, на снежные горы и леса. Был между нами — детьми один тайный договор: в час заката, в какой бы отдаленной части сада мы ни находились, мы бросали все и тихо и незаметно пробирались на нашу хвойную горку. Оттуда, все вместе, мы смотрели на закат.

Солнце уходило в море и, нам казалось, что, когда последняя полоска красного диска погружалась в блестящую, огненную гладь воды, на небе вдруг вспыхивал и загорался совсем особенный, длинный, ясный, палевый луч. Мы называли его «зеленым лучом» и, каждый вечер, ждали его появления.

После захода солнца все вокруг сразу менялось — поднимались влажные, горькие, дурманящие запахи цветов, кактусов и хвой, протяжно и звонко начинали трещать и петь сверчки, вдали слышался лай и плач шакалов.

Нам подавали лошадей и мы торопливо собирались в дорогу, чтобы до наступления тьмы добраться до города.

Эти звенящие вечера, напоенные таинственной жизнью природы, летающие огоньки светлячков, эти запахи и звуки — все это куда-то звало, томило и отзывалось в наших детских сердцах восторгом и напряженным ожиданием чего-то особенного и чудесного.

## СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

# ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

*Н. Зернов*

### Масленица

Представители либеральной, а еще более радикальной интеллигенции были оторваны от остальной массы русских людей своей нецерковностью. Они мало соблюдали православные обычаи и обряды. Наша семья была исключением в этой среде. Наши родители были верующими и церковными людьми и нас они воспитывали в этом духе.

Из главных праздников Рождество у нас встречалось наименее церковно. Мы не постились в сочельник и даже не всегда ходили на всенощную. Для нас детей Рождество отождествлялось с елкой. Этот праздник вводил нас не в круг событий Боговоплощения, а в сказочный мир детской фантазии. Совсем по иному мы переживали суровые и очистительные дни Великого Поста. Мы ходили на церковные службы, постились, говели и вместе со всей верующей Россией готовились к светлому празднику Воскресения Христова.

Наша обычная жизнь начинала меняться с середины масленичной недели. С четверга, вместо обычного обеда, мы садились за масленичный стол. Он был уставлен зернистой и паюсной икрой, кильками, семгой и сметаной. Все эти закуски служили приправой для традиционных блинов. Они приносились высокими стопками, накрытыми белой салфеткой и были или обычными или со снятками или с яйцами. Вначале блины быстро исчезали с тарелок, но темп еды постепенно замедлялся, и после пяти шести блинов некоторые начинали выходить из строя. Были и такие любители, которые могли поглощать до 20 и даже 30 блинов, но это были исключения. Мы дети тоже состязались друг с другом и отмечали хлебными шариками количество съеденных блинов. Пир кончался супом и сладким блюдом.

Все вставали из-за стола заметно отяжелевшими, но с чувством удовлетворения от участия в традиционном торжестве. Разговоры во время обеда были сосредоточены на блинах. Обсуждались их достоинства и недостатки и делались сравнения с блинами недавнего, а иногда и отдаленного прошлого.

В нашей семье блины подавались в умеренном количестве, но наши родители приглашались иногда в дома богатых купцов и привозили оттуда рассказы о гомерических размерах масленичного пиршества. Там блины подавались многими десятками, за ними следовали различные супы и рыбные блюда, которые прихотливо чередовались с затейливыми пирожными. Такие трапезы длились часами, гости усердно потчевались и приводились в полное изнеможение.

Широкая масленица с зваными обедами, объядением и народными гуляниями резко обрывалась с наступлением Великого Поста. Наша семья не участвовала, к сожалению, в прекрасном обряде всеобщего прощения и примирения, совершающегося в конце вечерни «Прощеного Воскресенья». Но для нас, как и для остальной Москвы «Чистый понедельник» открывал дверь в период покаяния. Древняя столица до самой революции умела соборно переживать главные события церковного года. За ночь с воскресенья на понедельник лик Москвы менялся до неузнаваемости. Протяжный звон колоколов призывал всех к молитве. Все скоромное изгонялось из домов, на берегу Москвы реки выростал грибной рынок, где можно было купить все необходимое для соблюдения поста, требовавшего воздержания в течение семи недель от мясной, молочной и рыбной пищи. Мы радовались, если мать брала нас на него. Мужики и бабы в тулупах, стояли посреди ларей, боченков, корыт, коробов и продавали многообразные и многоцветные, остро пахнущие и весьма вкусные моченые и замороженные продукты русского постного стола. Чего только не было на этом своеобразном торжище! В центре бойкой торговли были грибы. Маринованные, сушеные, соленые, они наполняли кадушки, бочонки и банки, висели гирляндами и лежали кучами на прилавках. Белые царили над остальными, за ними шли зеленые грузди, красноватые рыжики, золотистые лисички, коричневые березовики, толстые маслята и разноцветные сыроежки. Эти красочные грибы средней и северной России были главной приманкой рынка, они придавали ему его оригинальность. За ними по рангу стояли квашеная капуста, соленые огурцы, моченые и мороженые яблоки и дули, а также привозные лакомства — чернослив, изюм, финики и винные ягоды. С ними соперничали доморощенные продукты — рябина, клюква, черника и всевозможные крупы: гречневая, ячменная, яшневая, перловая и овсяная. Тут же были и хлебные продукты: монастырские баранки заварные, на постном масле, бублики, пряники, сухари и лепешки из гречневой муки. Сладости, продававшиеся на рынке, тоже были особые, среди них нашим любимым лакомством были: так называемый «постный» сахар, мед, патока с имбирем. Вся пища готовилась во время поста на различных растительных маслах, и они предлага-

лись в большом изобилии: горчичное, льняное, подсолнечное, конопляное и другие. Кроме съестных продуктов, там же можно было купить решета, сита, кадушки, деревянные пасочницы, резные ложки и другие принадлежности домашнего обихода. На грибном рынке не было обычного крика и шуток. На нем царила чинная и благообразная атмосфера древней благочестивой Руси.

В первую неделю поста мы ходили ежедневно в церковь, по вечерам слушали покаянный канон Андрея Критского, который в библейских образах изображает падение человека и призывает его к покаянию. Весь строй и ритм богослужения менялся с началом поста. Умилительное пение, черные облачения, частые земные поклоны — и, в особенности, молитва св. Ефрема Сирина: « Господи и Владыко живота моего » — производили на нас, детей, глубокое впечатление.

Вторая и третья недели были менее драматичны, но зато незабываема была всенощная под четвертую — Крестопоклонную неделю. К концу службы на середину церкви выносился крест, и все молящиеся несколько раз опускались на колени под пение: « Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим ». Это общее коленопреклонение давало глубокое ощущение подлинного единства всех молящихся. В среду на той же неделе пеклись из особого теста « кресты », в один из них запекался серебряный гривенник, получение его считалось доброй приметой.

## Вербная Суббота и Благовещение

Накануне величественных дней Страстной недели Москва вырывалась из чинного круга своих великопостных богослужений. В самом ее сердце, на Красной Площади возникала кричащая, визжащая, беснующаяся толпа вербного базара. Древняя, языческая, скоморошная Русь, встречая наступление солнечных, теплых дней, бросала свой вызов гиканием и свистом чинному православному благочестию. Народное гулянье начиналось уже в пятницу, но главное действие происходило в субботу. Мы ежегодно отправлялись с нашим отцом на это традиционное московское торжество. Еще издали, только подходя к Красной Площади, можно было слышать раздирающие воздух звуки свистулек, пищалок, дудок и других самодельных инструментов. Вся огромная площадь была битком набита медленно двигавшимися людьми. Подойдя к толпе, мы крепко брали друг друга за руки и с чувством, с которым бросаются в бурный поток, мы втягивались в круговорот гуляния. Держаться друг за друга была необходимо, иначе можно было потонуть в гуще многотысячной толпы. Выбирать направление было невозможно, течение несло всех по своей воле, то втискивая в тесные проходы, то вынося

на более широкое пространство. Мы двигались с другими среди бесчисленных балаганов, лавок, ларьков и палаток, выросших за ночь на Красной Площади. Церковным оправданием этого веселого сборища была покупка верб для предстоящего всенощного бдения праздника Входа Господня в Иерусалим. Вербы, эти первые глашатаи поздней русской весны заменяли ветки пальм далекой Палестины. Их продавцы вместе с хозяевами балаганов и лавчонок орали во все горло, надрываясь и стараясь перекричать своих соперников. Особенностью вербного базара было обилие на нем совершенно бесполезных и малопонятных диковин, которые охотно раскупались после неизбежной и самой горячей торговли. Запомнился мне, например, « Морской Житель » — странное существо, то подымавшееся, то опускавшееся в стеклянной трубке, наполненной ярко окрашенной жидкостью. Трудно было догадаться какова могла быть связь между ним и вербным праздником. Большой популярностью пользовался так же « тещин язык ». Он был огромен, красен, надувался ртом и издавал пронзительные звуки. Мы любили покупать обезьянок, сделанных из шерсти, намотанной на проволоку. Разноцветные воздушные шары с чудесными рисунками отпускались на волю и красиво парили над глазеющей толпой. Запретными для нас оставались ярко раскрашенные народные сладости: пряники, пастилы и леденцы. Они нам очень нравились по виду, но мои родители считали их ядовитыми. Они тоже никогда не водили нас в балаганы, где можно было насладиться такими чудесами, как женщина с усами, или живая русалка или теленок с двумя головами. Озорная молодежь, пользуясь своей безнаказанностью, больно стегала вербами зазевавшиеся жертвы, приговаривая при этом: « Верба хлест, бей до слез ».

Для нас, детей, погружение в эту разгульную стихию было увлекательнейшим переживанием: нас давили, тискали со всех сторон, но это искупалось живительным чувством принадлежности к народной толпе. Я особенно наслаждался, когда мы попадали в такую гущу людского моря, что становилось трудно дышать, а ноги с трудом находили ускользающую землю. В эти минуты задор охватывал меня, толпа казалась единым многоголовым существом, не хотевшим отпускать меня на волю. Уходили мы с Красной Площади всегда с огорчением и долго прислушивались к веселым звукам, раздававшимся позади нас.

Среди продавцов было много талантливых самородков, они сыпали остротами, их меткие и часто едкие прибаутки смешили толпу, они любили издеваться над своими более прижимистыми покупателями. Иннокентий Анненский (1856-1909) в своем стихотворении « Шарики Детские » прекрасно передал сочный язык Вербной Ярмарки.

Вербная суббота и воскресенье прерывали на короткий срок покаянные дни Великого Поста. С началом Страстной Недели они снова вступали в свои права.

Незадолго до Пасхи приходился благоуханный праздник Благовещения. В этот день, по старому обычаю, выпускались птицы на волю, как образ освобождения человечества из темницы неведения и греха. Чижики, снегири и другие пернатые певуны с трепетом покидали свои клетки и исчезали в весеннем воздухе. В домах и в булочных пеклись вкусные хлебцы, сделанные в виде жаворонков. Изюминки служили им глазами; мы выковыривали их и ели отдельно с большим аппетитом. Отпраздновав Благовещение, Москва начинала готовиться к празднику праздников — ко дню Воскресения Христова.

## Страстная Неделя и Пасха

Жизнь всей Москвы, а с нею и нашей семьи преображалась коренным образом во дни Страстной Седьмицы и Пасхи. Занятия в школах прекращались, театры и увеселительные заведения закрывались, на первое место вставали церковные богослужения, которые становились все торжественнее и драматичнее по мере приближения к пасхальной ночи. В это же время в домах шли сложные приготовления к розговениям, требовавшим большого труда от хозяек и прислуги. Пасхальный стол являлся строгим испытанием их искусства.

Мы обычно причащались в Великий Четверг. Накануне, перед исповедью, все в доме: родители, прислуга и дети просили прощение друг у друга; после этого всеобщего примирения мы, очищенные и обновленные, вступали в скорбные дни воспоминаний страстей Господних.

Вечером в Великий Четверг мы ходили на чтение 12 Евангелий. Это была длинная и глубоко волнующая служба. Мы дети знали, что на ней нужно будет так долго стоять, что все тело станет ныть от усталости. Но это не пугало нас, мы любили это долгое бдение, когда вся церковь была переполнена молящимися, стоявшими с зажженными свечами. Царило торжественное и умиленное настроение, все внимательно следили за словами потрясающего повествования о предании и распятии Спасителя мира. Оно читалось посередине храма перед водруженным там Распятием. После каждого отрывка из Евангелия все тушили свечи и слушали высоко поэтичные и догматически насыщенные песнопения, объясняющие смысл только что прочитанных страниц Священного Писания.

Первое Евангелие было не только самым длинным, но и самым трудным для понимания. Оно казалось для нас бес-

конечным и мы, дети, чувствовали облегчение, если мы приходили с запозданием и оно было прочитано до нас. Мы отмечали на свечках маленькими восковыми шариками число прочитанных Евангелий, и когда набиралось 12 шариков, мы знали, что служба подходит к концу.

Москва в ночь великого четверга выглядела необычайно. По всем улицам медленно двигались толпы людей с зажженными свечами, каждый старался донести священный огонь до дома, то прикрывая его руками от ветра, то защищая его бумажным колпачком. Те, у кого погасала свеча, стремились зажечь ее снова от соседей. В сердце рождалась гордость, когда какой-нибудь взрослый просил поделиться с ним благословенным огнем.

Эти движущиеся огоньки были особенно многочисленны около церквей, они делались реже в более отдаленных улицах. Было торжественно, но и печально идти по вечерней и весенней Москве с зажженной свечой в руке, сознавая что участвуешь во всенародном обряде. Дома огнем четверговой свечи зажигались лампады, в некоторых семьях им же коптили кресты на притолоках дверей, в защиту от темных сил. Сама же свеча бережно хранилась для случаев особой важности и давалась в руки умирающим во время обряда соборования.

В Великую Пятницу в два часа дня совершалась прекрасная служба Выноса Плащаницы. Мы обычно ходили на нее, как и на другие богослужения в нашу приходскую церковь Св. Симеона Столпника, на Поварской улице. Только один раз, когда мне было 14 лет, я попал в этот день в Храм Христа Спасителя, взорванный по приказу Сталина в 1936 году [1]. Я помню грандиозный храм, огромную напиравшую на меня толпу, многолюдное духовенство в черных, обшитых серебром ризах, два хора с исключительным мастерством исполнявшие страстные песнопения. Лики святых строго смотрели на молящихся, густой кадильный дым подымался к высоким сводам. Русское дореволюционное Православие имело много недочетов, но никто не мог превзойти его в торжественности всенародных богослужений.

В то время как в церквах шли величественные службы, в московских домах пеклись куличи, красились яйца, протирался творог для пасок, запекались окорока и приготовля-

---

1 Разрушение Храма Христа Спасителя, построенного в память освобождения Москвы от Наполеона, произвело сильное впечатление на жителей столицы. Многие из них верили, что коммунистам не удастся построить на этом оскверненном ими месте дворец Советов с грандиозной статуей Ленина на его вершине. И действительно, сначала война помешала осуществлению этого плана. После же заключения мира « земля не стала держать » возводимой постройки и руководителям партии пришлось ограничиться устройством купального бассейна.

лись закуски. Красные от жара печей и волнующиеся хозяйки, повара и кухарки суетились в кухнях и кладовках. Для нас, детей, эти приготовления представляли не только большой интерес, но и острый соблазн. Наше обоняние услаждалось острыми запахами, несшимися из кухни, глаза разбегались при виде пасок и куличей, а пальцы невольно тянулись к белой сладкой массе творога, смешанного с яйцами и сметаной. Эти еще недоконченные лакомства казались гораздо вкуснее завершенных изделий. Но все они оставались под строгим запретом до Пасхи, и пробовать их было равносильно тому прегрешению, которое называлось « оскоромиться ». Наши родители не обращали внимания на эти отступления от нами принятого решения соблюсти себя в непорочности до конца поста. Мы же строго следили друг за другом и замечали даже первые поползновения к падению. Самым трудным было удержаться от искушения, когда каждый из нас получал свое сито для растирания творога. Приготовляя свою пасху, невозможно было не запачкать своих пальцев в липкой, вкусной гуще; что могло быть более естественным, как не облизать их. Но именно этого не должно было делать, и когда кто-нибудь из нас старался незаметно лизнуть свой палец, неизменно раздавался укоряющий голос: « Как тебе не стыдно, ты оскоромился ». Эти слова неизбежно пробуждали в нас чувство раскаяния. Запрещенный плод был одновременно и горек и сладок.

Страстная Неделя кончалась службой « Погребения » и литургией Василия Великого в Великую Субботу. Утреня Погребения совершалась в московских соборах в 2 часа ночи, но в приходских церквах она происходила поздно вечером в Великую Пятницу. На эту службу мы не ходили, хотя ничего не может сравниться с ней по ее литургической красоте. Мы поняли ее значение уже только в эмиграции. Зато Пасхальная Заутреня для нас, как и для всей России, оставалась главным событием церковного года.

Я не помню, сколько мне было лет, когда я в первый раз был взят на заутреню. Наверное, я еще был маленьким, так как в моей памяти хорошо сохранилось воспоминание о тех особых вечерах, когда меня и сестер укладывали рано в постель с тем, чтобы разбудить для ночной службы. Мы очень боялись проспать, но крепкий детский сон побеждал наши тревоги. Поднятые с теплой постели, дрожа от волнения и ночного озноба, мы быстро одевались в светлые, нарядные костюмы и шли по темным улицам в наш приходской храм или в церковь Николы Явленного на Арбате, где когда-то служил наш дед. В городе было много своеобразного движения. Главным образом пешеходы спешили к своим храмам, зная, что всюду будет теснота от множества молящихся, и опоздавшим будет трудно попасть в церковь. Мы обычно

приходили заранее. До начала службы в храмах господствовала особая тишина. Кто-то в середине толпы читал негромко Деяния Апостолов, но мало кто их слушал. За несколько минут до полуночи в церкви начиналось движение, формировался крестный ход, почетные прихожане выносили на середину храма хоругви и иконы, за ними из алтаря выступало духовенство в своих самых торжественных облачениях. Все эти приготовления происходили в полном молчании. Постепенно процессия продвигалась к выходу и покидала храм. Входные двери закрывались и внутри церкви водворялось напряженное ожидание. В это время крестный ход шел вокруг церковных стен при пении: « Воскресение Твоё, Христе Спасе, Ангели поют на небесех . . . » Пение едва долетало до оставшихся в храме. Когда духовенство и крестный ход, обойдя вокруг церкви, подходило к закрытым вратам, раздавалось победоносное провозглашение Христова Воскресения. Двери храма широко открывались и начиналось стихийное ликование Пасхи. При радостном пении: « Христос воскресе из мертвых », духовенство, хор и хоругвеносцы устремлялись в церковь, в это же время раздавался оглушающий перезвон колоколов, и весь храм заливался светом. Свечи люстр загорались от намотанного вокруг них воскового шнура, и каждый молящийся зажигал свою свечу от свечи своего соседа. Заутреня служилась стремительным темпом, радостное пение хора прерывалось возгласами духовенства: « Христос Воскресе ! » После того как было пропето: « Друг друга обымем и ненавидящим простим », все начинали христосоваться. Не только друзья, но и незнакомые подходили друг к другу и обменивались троекратным целованием. Чувство радости и братской любви охватывало всех. Все то, что обычно разделяет людей, исчезало в эту благодатную ночь.

Наша семья не оставалась на пасхальную обедню и, по окончании заутрени, спешила домой на розговенье. Так поступало большинство, лишая себя этой единственной литургии. Даже Владимир Соловьев, столько сделавший для возвращения интеллигенции к пониманию церкви, в одном из своих писем упоминает, что он попал на пасхальную литургию уже под конец своей жизни, будучи в Германии.

Когда мне было 16 лет, я пошел к заутрене в Кремль. Как только мы свернули с Арбатской площади на Воздвиженку, мы очутились в потоке народа, идущего к Кремлевским воротам. Толпа двигалась быстро и молчаливо, не было ни шуток, ни смеха. Все стремились к одной цели: скорее дойти до Кремля. Войдя в узкое пространство Троицких ворот, мы потеряли свободу движения, нас подхватило общее движение и понесло на огромную Кремлевскую площадь. Многотысячная толпа заполняла все ее пространство. И все это множество людей тихо и сосредоточенно ожидало полуночи.

Только при входе в соборы наблюдалась давка и заторы, но мы и не пытались проникнуть в них. Ночь выдалась теплая, без ветра, в воздухе чувствовалось приближение весны.

Все тонуло во тьме, только карнизы соборов и кремлевские стены были освещены причудливыми огоньками разноцветных плошек, да еще высоко на колокольнях мигали иногда огоньки: это звонари держа уже веревки колоколов в руках ожидали заветного часа. Наконец он наступил, ровно в полночь раздался гулкий удар огромного колокола Ивана Великого. Мощный звон пронесся над еще безмолвной Москвой и замер где-то далеко в Замоскворечье. Казалось, что не колокол, а сам воздух послал эту весть о воскресении, которая была обращена ко всей вселенной. Этот первый призыв остался без ответа, но молчание было обманчиво, сотни звонарей на всех колокольнях столицы напряженно ожидали повторного удара колокола-богатыря. Когда он снова потряс воздух, то в ответ ему раздался отклик трех колоколен, выбранных из числа других церквей. Это и был желанный сигнал для всех остальных звонарей, тотчас начался дружный, ошеломляющий, захватывающий дух перезвон всех сорока сороков московских церквей. Стоя на кремлевской площади, возвышающейся над городом, мы все были захвачены и опьянены неудержимым потоком несущихся со всех сторон звуков, рожденных единственным в мире звоном бесчисленных московских колоколов. Мерно гудели кремлевские исполины, отлитые по приказу царей, им вторили густые басы богатых купеческих приходов, гордость своих именитых прихожан, за ними едва поспевали колокола среднего веса, а их перебивали дисканты мелких колоколов, дерзко врываясь в низкие звуки своих старших собратьев. Иногда ветер неожиданно доносил до самого Кремля залихватский звон какой-то маленькой церковки, которая на одно мгновенье покрывала все другие звуки. Древняя столица заливалась симфонией звуков, которую создало творческое вековое благочестие ее жителей.

В полночь начались крестные ходы, двери храмов открылись, раздалось пение хоров, фейерверки стали со свистом взвиваться к небу, пушки палили салют. Толпа сперва оставалась неподвижной, как бы ошеломленной обрушившимися на нее звуками, но как только слова пасхальных песнопений долетели до нее, все пришло в движение, люди крестились, зажигали друг у друга свечи и вскоре вся огромная площадь озарилась мерцанием тысячей огоньков. Зрелище было феерическое. В неверном свете восковых свечей древние стены Кремля и золоченые купола соборов принимали причудливые очертания, лица толпы то освещались, то пропадали во тьме. Подъем охватил всех. Это было всенародное действо, оно увлекло с собой все множество участников, в нем больше не

было разницы между верующими и неверующими. Все и каждый были свидетелями Воскресения Христова.

Возвращаясь домой, мы проходили мимо других церквей, всюду шли торжественные богослужения, толпы нарядно одетых молящихся заполняли храмы, а вокруг них были расставлены длинные столы, на которых рядами стояли пасхи, куличи и крашеные яйца.

В эту пасхальную ночь Москва снова становилась Третьим Римом, столицей и оплотом Вселенского Православия. Его жители соборно праздновали победу жизни над смертью. Эта победа превышала по своему значению судьбы человечества и была космическим торжеством.

Кроме церковных служб, празднованье Пасхи отмечалось и домашним обрядом розговений. Все Зерновы разговлялись в доме бабушки, до самой ее смерти в 1916 году. Он был наверно построен вскоре после пожара Москвы в 1812 году. Его старинный уклад сообщал празднованью преемственность от дней, когда жив еще был дед протоиерей Стефан. Я и мои сестры были самыми младшими участниками семейного торжества. Мы стали приглашаться на него уже во время войны. Запомнились мне длинные столы, покрытые белыми скатертями, множество яств, бесчисленные христосования с дядями, тетями, двоюродными братьями и сестрами, прикосновение гладких и приятно пахнущих щек, шорох шелковых дамских платьев и белизна крахмальных манишек мужчин.

Розговены обычно кончались в третьем часу утра. Вставали поздно. В первый день Пасхи полагалось ездить с визитами и принимать поздравителей. У нас накрывался пасхальный стол, на котором красовались все произведения домашней кухни. Мать принимала гостей, а отец, а потом и я разъезжали по знакомым. У нашей входной двери беспрерывно раздавались звонки, один за другим являлись визитеры. Каждый из них спешил объездить всех знакомых и потому не засиживался долго. Все же полагалось отведать кулича и пасхи и похвалить искусство хозяйки. В этот и все последующие дни недели все обменивались красными яйцами, символом воскресенья, связанным с разными легендами. По одной из них яйцо в руках Марии Магдалины из белого превратилось в красное, вопреки утверждению римского сенатора, к которому она пришла, что воскресение Христа также невозможно, как это изменение цвета яйца.

Весенние и летние праздники не оставили во мне живых воспоминаний. В Ессентуках мы редко посещали церковь. Так же мы не прикоснулись в нашей молодости к монастырской жизни. Только во время кратких пребываний в Задонске, где у нашей тети Мани был дом, мы могли наблюдать эту мало известную нам сторону русской жизни. Мы ходили в огромный монастырский собор, прикладывались к мощам

Святителя Тихона Задонского (1724-1783) и с удивлением смотрели на послушников и монахов, одетых в черные мантии, с клобуками и камилавками на головах.

С догматическим содержанием православных богослужений и со смыслом таинств мы познакомились уже гораздо позже, после революции, когда богатство и полнота церкви открылись перед нашим восхищенным взором.

Русский же православный быт, красочный, полный глубокой и вдохновляющей поэзии, был неотъемлемо связан со всей нашей жизнью. Он охватывал всего человека, его тело и душу, не разделяя их, а наоборот подчеркивая их единство и взаимную связь. Но он мог быть также и тяжелым и давящим, если из него улетала свобода, а исполнение его предписаний становилось навязыванием внешних, непонятных обязательств, да еще под угрозой временных или вечных наказаний. Там где он терял свою осмысленность, он вызывал восстание, сопровождавшееся обычно в России не только отвержением православного быта, но и самого Христианства. Это случилось в 18-м веке в среде высшего дворянства, а в 19-м столетии среди интеллигенции, за которой шли полуобразованные классы накануне и после революции. В нашей семье церковный быт не хранился во всей его полноте, но зато он и не давил никого и поэтому принимался добровольно. Вот почему наше молодое поколение, несмотря на изгнание, постаралось с такой любовью восстановить свою связь с тем ритмом церковной жизни, который одушевлял и соединял воедино предыдущие поколения русских людей.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

## ПОЛИВАНОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ

*Н. Зернов*

Я поступил в гимназию в третий класс, когда мне было 13 лет. Большинство моих сверстников уже давно были гимназистами, и незнакомый для меня мир гимназии и привлекал и страшил меня. Поэтому я с волнением отправился в одно из осенних утр, в начале октября месяца, в частную гимназию Поливанова, находившуюся на Пречистенке.

Поливановская гимназия была основана во второй половине девятнадцатого века для сыновей культурных дворянских семейств. Князья Трубецкие, Владимир Соловьев, философ Л.М. Лопатин, Андрей Белый и др. были связаны с нею. Она имела репутацию прекрасной классической школы с менее суровой дисциплиной, чем в казенных гимназиях. Вместо обычной серой формы ее ученики были одеты в черные рубашки и куртки и не носили ни форменных шинелей ни фуражек.

Моя первая встреча с новым для меня миром произошла легко и мирно. Мои одноклассники приняли « новичка » дружелюбно. Мне не пришлось завоевывать независимого места в своем классе. В моей гимназической жизни был своеобразный ритм, свои привычки, условности и радости, но и много мертвой рутины и скучной долбежки дат, имен и чисел. Вспоминая теперь нашу гимназию накануне революции и сравнивая мой опыт с описанием гимназического воспитания моего отца, я сознаю, как отлично было мое образование и в каком духе свободы происходило оно. У нас не было ни обязательного посещения богослужений, ни участия в официальных празднествах; ни муштровки, ни суровых наказаний, да в них и не было особой надобности, так как большинство учеников происходило из культурных семейств и склонности к хулиганству не проявляло. В отличие от закрытых учебных заведений, наша гимназия не развивала нас физически и не стремилась воздействовать на наши политические взгляды, но вместе с тем она воспитывала нас в духе христианского гуманизма, учила ясно и логически выражать наши мысли и приучала искать объективной истины во всем, что было предметом нашего изучения. Наша школа была свободна от шовинизма, от узкой нетерпимости, она признавала ценность

каждого человека и помогала нам сознавать себя членами единой вселенской семьи. Ни мы, ни наши учителя никогда не превозносили нашу родину над другими народами и не унижали их самобытности и достоинства. Мы росли в атмосфере культуры, сочетавшей и русскую и западноевропейскую традицию. Но и ту и другую мы знали недостаточно глубоко. Теперь мне представляется, что главным недостатком нашего образования была его оторванность от православных основ русской жизни.

Мы изучали историю России в том же духе, как и историю других стран. У нас не было укорененности в прошлом нашей родины и поэтому мы не достаточно сознавали нашу ответственность за ее будущее.

Мы смотрели на до-Петровскую Русь, как на изжитое варварство, гениальный протопоп Аввакум казался нам неистовым фанатиком, старообрядцы представлялись изуверами.

Возвращаясь мысленно в эти далекие годы, я поражаюсь, до какой степени мы были предоставлены идеологически самим себе, и как никто из нас не думал искать помощи у наших учителей. Отношения с ними ограничивались классной комнатой, и большинство из них не оставило следа в моей памяти. Этого нельзя было сказать однако, о нашем директоре Иване Львовиче Поливанове, преподававшем нам латынь. Всегда одетый в форменный сюртук, он держал себя на недосягаемой нам высоте. Хотя мы все боялись его гнева, но признавали также его авторитет. Я не помню, чтобы он когда-либо говорил с нами по дружески или старался узнать нас поближе, и все же мы сознавали, что каждый из нас был для него личностью и что по-своему он следил за нашими успехами и развитием. Особенно ярко запечатлелись в моей памяти сцены его негодования на провинившихся учеников. Нервный, стуча кулаком по парте он кричал на нас высоким визгливым голосом. Никто из других учителей не позволял себе повышать с нами тона. Иван Львович прекрасно знал свой предмет и требовал от нас умения читать и понимать латинскую поэзию. Я часто получал пятерки по латыни. Это было большое достижение, которое удавалось мне благодаря помощи моей матери. Но полюбить классическую литературу я не сумел, она осталась для меня мертвым предметом.

Полной противоположностью нашему директору был законоучитель протоиерей Марков. Его полная фигура, облеченная в шелковую шуршащую рясу, излучала спокойствие, но к сожалению, также и равнодушие, как к своему предмету, так и к нам, его ученикам. Он благожелательно выслушивал наши ответы и никогда не сердился. Ставил он нам отметки с большой щедростью; получить пятерку было у него совсем легко, и редко кто уходил от доски с отметкой ниже четверки. Однако это снисходительное отношение к нашим

знаниям не привлекало нас к изучению Закона Божьего; наоборот, оно создавало у нас впечатление, что сам предмет не заслуживает большого усердия. На уроках отца Маркова большинство учеников занимались втихомолку другими предметами.

Единственным учителем, который пробудил во мне интерес к своему преподаванию, был словесник Леонид Петрович Бельский. Он появился на моем горизонте уже в старших классах, к этому времени многие из нас стали увлекаться литературой. Сочинения по его предмету стали выражать мою собственную пробудившуюся мысль. Бельский умер в начале 1917 года, когда я уже был в восьмом классе. В течение последних месяцев заменял его Сергей Соловьев (1886- ? ), племянник Владимира Соловьева, друг Блока (1880-1921) и Андрея Белого (1880-1934), ставший впоследствии священником и погибший во время революции. Это был человек из иного мира, не имевший ничего общего с другими преподавателями. Он меня очень заинтересовал, я хотел познакомиться с ним. Но это мне не удалось. Соловьев держал себя особняком, не сближался с нами, да и преподавал он нам всего два, три месяца. Революция уже разразилась, весь уклад нашей жизни зашатался и стал распадаться на части.

Если большинство преподавателей не оказали на меня влияния в эти важные годы моего отрочества, то зато мои одноклассники сыграли большую роль в моем развитии.

Ученики моего класса разделялись на несколько групп. Большинство из них принадлежало к семьям либерального дворянства. В нашем классе было двое князей, Василий Голицын и Николай Шаховской, и сыновья известных помещичьих семейств, как например, Гарднеров, Ладыженских, Мамонтовых и Щелкан.

Другие представляли московскую интеллигенцию, к которой примыкала и наша семья. Меньшинство происходило из купеческой среды или были нерусского происхождения. Несмотря на эту разницу, чувство классового превосходства или социального неравенства совершенно отсутствовало среди нас. Мы находили своих друзей по признаку симпатий и общих интересов. Вопрос о богатстве также не возникал, хотя некоторые из нас принадлежали к очень состоятельным семьям. Зато культурные запросы проводили черту, делившую нас на два лагеря. Один из них состоял из тех, кто увлекался литературой, театром, музыкой, а позднее и религиозной философией, другой включал тех, кто был чужд этим интересам.

До революции 1905 года гимназическая молодежь была захвачена радикальными идеями, устраивались секретные кружки для изучения материализма и дарвинизма. Юноши и девушки вели пропаганду социализма. События 1905-6 годов произвели большую перемену в настроениях столичной мо-

лодежи. В нашем классе не было революционеров, мы были свободны от одержимости прежних поколений интеллигенции крестьянским и социальным вопросами. Характерно, что ни я, и ни один из моих друзей не читал Чернышевского (1822-89). Мировоззрение шестидесятников, пристрастная и близорукая критика Белинского (1811-48) казались нам устаревшими и скучными. Старые кумиры радикалов, которых читал мой отец и которые все еще находили почитателей в провинции, уже ничего не говорили нам. Прошло бы еще 10-15 лет и лик интеллигенции изменился бы до неузнаваемости; возможно, она перестала бы быть беспочвенной и бесцерковной.

Наши интересы были сосредоточены на искусстве и литературе и на их идейном и философском содержании. Мои одноклассники образовали общество «Свободных Эстетов». В нашем доме собиралась молодежь, которая увлекалась поэзией и музыкой. Наши родители давали нам большую свободу, они часто предоставляли нам всю квартиру и мы заполняли ее нашими друзьями. Характер наших развлечений менялся, круг приглашенных расширялся, но непринужденный и веселый дух оставался все тем же. Мы и танцевали, и играли в игры, требовавшие знания и остроумия, устраивали шарады, разыгрывали пьесы, но постепенно мы стали отдавать все больше времени на беседы, декламировали стихи и читали краткие доклады. Мы встречали друг друга и на катке и в Сокольниках, куда мы уезжали, чтобы бегать на лыжах. Мы — четверо были притягательным центром, вокруг которого собиралась постоянно одухотворенная и жизнерадостная московская молодежь.

В эти гимназические годы моя жизнь строилась по строго установленному плану. Я вставал зимой еще в темноте, около 7 часов. После краткой молитвы я садился за стол и повторял уроки, обращая внимание на те, по которым я мог быть спрошен. Моя мать часто помогала мне, в особенности по латыни. К восьми часам вся семья собиралась к утреннему чаю, самовар приятно шумел, мы хорошо закусывали, так как до следующей еды нужно было ждать до 4 часов; в гимназии мы ели только бутерброд. В 8,30 мы покидали дом и шли пешком каждый в свою гимназию. В эти утренние часы тихие улицы и переулки арбатского и пречистенского районов заполнялись оживленной толпой учащихся. Высокие восьмиклассники шли вперемежку с учениками средних классов, между их ногами шмыгали приготовишки, ранцы которых казались больше их самих. Гимназисты, в своих серых шинелях, реалисты, гимназистки быстро шагали в различных направлениях, других прохожих на улицах почти не было видно. Многие служили мне живыми часами. Если я не встречал знакомую фигуру одного из них на повороте, я знал, что я или опаздываю или иду слишком рано.

Возвращались мы около 4 часов и, после еды, сразу начинали готовить уроки для следующего дня. На это уходило часа три времени, два раза в неделю ко мне приходил репетитор по математике, которую я не любил и которая поэтому давалась мне с трудом. Сестры меньше времени отдавали занятиям, я же редко был свободен раньше 8 часов вечера. Эти последние часы дня перед отходом ко сну пролетали очень быстро, сначала в играх (мы долго увлекались игрой в оловянных солдатиков, устраивая целые баталии в специальной комнате, отведенной нам для этой цели), когда мы подросли то в чтении и разговорах. Мы редко уходили по вечерам из дому, предпочитая приглашать к нам наших друзей.

Главной задачей, стоявшей передо мною в то время, было не приобретение знаний, а получение высших отметок. Мое желание быть первым учеником было скорее спортивным увлечением, чем соревнованием с моими товарищами. Меня увлекала сама техника удачного ответа, награждавшегося высшим баллом — пятеркой. У меня были любимые и нелюбимые предметы, но я с одинаковой тщательностью готовился по всем, притом менее интересные требовали от меня больших усилий и внимания. В моем классе были ученики, обладавшие лучшей памятью, но обычно я шел впереди их, так как я выработал особую систему ответов.

Так как я был хорошим учеником, то меня вызывали к доске по каждому предмету обычно раз в месяц, в конце его мы получали отчет о наших отметках. Это давало мне возможность сосредоточить внимание на предметах, по которым я еще не был спрошен. На таком уроке я с нетерпением ждал услышать знакомый вызов « Зернов ». Не теряя минуты, я быстрым шагом шел к доске и как только учитель бросал мне вопрос, я на лету подхватывал его и с максимальной скоростью отбарабанивал мой ответ, не давая времени задать мне дополнительные вопросы. Обычно через несколько минут преподаватель прерывал поток моей речи, говоря: « довольно, можете идти на свое место ». Это означало получение желанной пятерки, а так же гарантию, что я не буду спрошен по данному предмету до следующего месяца.

Совсем по иному происходили ответы или ленивых или малоуспевающих учеников. Они долго сначала копались у своих парт; услышав вопрос, они или отвечали невпопад, желая увернуться от него, или упорно молчали, краснея и переминаясь с ноги на ногу, и с мольбою смотря на сидящих на передних партах учеников, ожидая подсказки.

Эти гимназисты делились на две группы. Одни из них не интересовались учением, не готовились к урокам, надеясь больше на удачу, чем на систематический труд. Многие из них довольно безразлично относились и к получению двойки.

Другие, наоборот, страдали от своих неудач, старались убедить учителей поставить им лучшую отметку или вызвать их еще раз на следующем уроке. В большинстве случаев это были юноши, не приспособленные к тому чисто умственному подходу к образованию, которое отличало нашу классическую школу. Некоторые из них обладали или артистическими или техническим дарованиями, но для этих талантов не было применения в нашей гимназии.

Так пролетели шесть лет моей гимназической жизни. Они были отмечены сосредоточенным трудом и даже некоторым аскетизмом. На этом скорее суровом фоне яркими блестками сверкали праздничные дни. Каждая суббота была озарена радостью приближающегося воскресенья. Другие праздники тоже разбивали монотонность нашего учения. В центре их, конечно были Рождество и Пасха, вносившие так много красочных впечатлений и духовной глубины в наш обычный обиход.

Но если суббота и канун праздников был окрашен предвкушениями свободы от занятий, то воскресный вечер после ухода гостей вводил нас снова в рамки упорного труда. Вновь предстояло приготовление уроков, долгое сидение на жестких скамейках и ранние вставания. Гимназический труд, как всякий труд, имел свои привлекательные черты. Он давал знания, вел нас вперед, открывал перед нами новые горизонты, а главное — готовил к той ответственной и таинственной жизни « взрослых », о которой мы так любили говорить между собою.

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

# ВОЙНА 1914-18 г. и КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ

*Н. Зернов*

Объявление войны в июле 1914 года всколыхнуло, но не потрясло Кавказские Минеральные Воды, где мы, как обычно, проводили лето. В курортном парке была организована патриотическая манифестация. Оркестр сыграл « Боже царя храни », прокричали « ура », и все разошлись по домам. Я с любопытством смотрел на невиданное раньше зрелище. В нашей семье никто не был мобилизован, и наша жизнь продолжала течь по своему привычному руслу.

Наш отец разделял общее убеждение в скором и победоносном окончании войны. Соединенные силы таких могущественных держав, как Россия, Франция и Великобритания со всеми колониями, казалось, во много раз превышали армии Германии и Австрии. Мы часто слышали за нашим обеденным столом голос отца, уверявшего знакомых, что император Вильгельм будет повешен на фонарном столбе своими же взбунтовавшимися подданными. Большинство интеллигенции разделяло вначале эти наивные ожидания. Единственное лицо, которое совсем по другому отнеслось к объявлению войны, был наш гувернер француз Пьер Жиль Ла Гранж. Он сознавал всю трагичность начавшейся войны и сразу же решил возвращаться на родину. Его тревога передалась и мне.

Большинство посетителей курорта продолжали курс своего лечения, тогда как станица пришла в большое движение. Мобилизация захватила все ее мужское население. Каждый день мимо нашего дома стали проезжать на своих лихих конях терские казаки. Они ездили в степь на воинские упражнения в полном вооружении с молодецки заломленными набекрень папахами и заливали нашу улицу песнями с присвистом и улюлюканием. Слушая их, война мне казалась романтической, уносящей в таинственную даль, обещающей подвиги и славу.

Наступила осень, принесшая серьезное поражение на германском фронте. За ней пришла первая зима мировой войны. Мы переехали в Москву. Газеты были полны новостями о ходе военных действий. Повсюду появлялись раненые, открывались частные лазареты. По инициативе моих

родителей один из них был устроен в доме, где мы жили. Мы ходили навещать солдат, большинство из них были гвардейцы из частей, пострадавших в Восточной Пруссии. Это все были высокие, сильные мужики, получившие легкие ранения и надеявшиеся скоро вернуться к себе домой. В них было что-то детское. Мы читали им газеты, но интересовал их лишь один вопрос, когда же кончится война.

В театрах исполнялись гимны союзных держав, число их росло, но это не отражалось на успехах на фронтах. Особенно была популярна Марсельеза с ее влекущей вперед мелодией. Все это было ново, но война оставалась далекой, не касающейся нас, она велась, где-то в Польше и Галиции; ее грозные раскаты глухо и неотчетливо долетали до нас. Мы продолжали наше учение, по прежнему наша квартира была полна молодежи, мы увлекались искусством и дружбой.

Только к началу 1916 года стало чувствоваться приближение грозных событий. На фронте не хватало снарядов. Поползли зловещие слухи о таинственном « старце » Распутине (1872-1916). Мы узнали о нем из рассказов фрейлины двора Софии Ивановны Тютчевой, которая была близка с нашей матерью. Ее приезды к нам были событием, вносившим в нашу семью атмосферу придворной жизни, столь отличной от всего окружавшего нас. Сама С. И. Тютчева была олицетворением всего лучшего, что было в русском дворянстве. Она, казалось, сошла со страниц Толстовского романа, все в ней было просто, строго и безукоризненно. Ее опала была вызвана ее протестом против посещения Распутиным спален Великих Княжен. Императрица потребовала ее удаления от двора. София Ивановна поселилась у своего брата Николая Ивановича в Москве.[1]

С.И. Тютчева, с присущим ей благородством, никогда не позволяла себе какую-либо критику Императрицы, но сам факт ее изгнания говорил о нездоровой атмосфере, царившей в Царском Селе. В городе заговорили о необходимости перемен, праздные языки обвиняли Государыню в измене. Трудно сказать, была ли эта клевета умело ведшейся немецкой пропагандой или же досужим измышлением безответственных людей. Но все эти слухи жадно подхватывались в стране, уставшей от затянувшейся и неудачной войны, и они еще более подрывали волю к победе.

Знаменитая речь П.Н. Милюкова « Глупость или Измена », произнесенная в 1916 году, всколыхнула русское общество. Убийство Распутина 16 декабря 1916 года поразило всех. Стало ясно, что разложение проникло в самую сердцевину империи и что обвинения в безответственности лиц, стоявших

---

[1] Они оба были друзьями будущего Патриарха Московского Алексея (Симанского) (род. 1877).

у власти, оправданы, и что бразды правления находятся в руках людей, неспособных удержать их.

Февральская революция 1917 года, отречение Государя (1868-1918), а затем и Великого Князя Михаила Александровича (1878-1919) ошеломили нас своей неожиданностью. В Москве перемена власти, однако, произошла без больших потрясений. На второй день мы отправились с нашим отцом в центр города, чтобы посмотреть на то, что происходило там. Все движение было прекращено, полиция отсутствовала, никто не поддерживал порядка, огромная мирная толпа заливала тротуары и мостовую. Все двигались без особой цели, солдаты вперемежку с гражданским населением. Мы встретили К.С. Станиславского; он шел веселый, в распахнутой шубе с большим красным бантом на груди. Ни у кого из нас не было этой эмблемы победоносной революции.

Все газеты, в один голос, восхваляли бескровный переворот и утверждали, что только русский народ мог совершить так мирно переход от монархии к демократии. Никто не предвидел, что в этом отсутствии борьбы и крылась роковая опасность для свободы в России. Царская власть разложилась изнутри, она без сопротивления сдалась оппозиции. Трон оказался незанятым никем. Нерешительное Временное Правительство не было способно поддерживать порядок в стране, вовлеченной в смертельную борьбу с внешним врагом. Возникшие повсюду Советы рабочих и солдатских депутатов еще более увеличивали бессилие новой власти. Победа анархии была неизбежна. Уже в самые первые дни после отречения Государя, что-то бесформенное, серое, пока еще мягкое, стало заливать Россию. Стержень, поддерживавший дисциплину, сломался, но страна еще некоторое время продолжала двигаться по инерции, распадение на части не произошло сразу.

Первым признаком начавшегося разложения было появление на улицах Москвы толп распущенных солдат в расстегнутых шинелях, с красными бантами на груди. На углах улиц стали воздвигаться импровизированные подмостки, с высоты которых ораторы начали разжигать в толпе ненависть к « эксплуататорам и буржуям ». Самое страшное было то, что чем более безответственны и неисполнимы были обещания демагогов, чем более они были одержимы ненавистью и жаждой разрушения, тем больше был их успех у уличной толпы. Аморфная масса была готова верить, что новоявленные благодетели были в действительности способны осуществить свою утопию и осчастливить не только всю Россию, но даже все человечество.

В нашей семье наиболее благоприятно к революции был настроен отец. Он хотел верить, что Россия вступила на путь свободного и творческого развития своих сил, что его труды по поднятию уровня культуры и просвещения, как и труды

его либеральных единомышленников не пропали даром, но и он был смущен растущим соперничеством между Думским Правительством и Советами. Его глубоко возмущали призывы к беспощадной классовой борьбе, которые все громче раздавались со стороны крайних революционеров.

Тетя Маня была монархистка и она, как Кассандра, с первого же дня падения старого строя предсказывала полный развал России. Наша мать старалась уклоняться от споров между мужем и сестрой, которые постоянно вспыхивали у нас при чтении газет. Мы же, молодежь, слушали старших и находились в недоумении. Мы были воспитаны в традиции либерализма. Победа Думы, дарование политической свободы и уравнение в правах всего населения соответствовали пожеланиям нашего отца и нашим идеалам. Казалось, что эти грандиозные перемены должны быть восторженно встречены нами, они и вызвали огромный подъем у многих представителей старшего поколения русской интеллигенции, но его не было ни у меня, ни у моих одноклассников. Наоборот, смутное чувство все растущей тревоги охватывало нас. Вопреки голосу рассудка и оптимизму, господствовавшему в нашей среде, в душе звучали с настойчивой силой пророческие слова Александра Блока: « Долго будет Родина больна ».

Думая о роковом 1917-ом годе, я хотел бы для себя уяснить, — почему учащаяся молодежь, особенно в обеих столицах, хотя и воспитанная в либеральных традициях, так быстро отвернулась от революции, а потом так героически вошла в ряды Белой Армии. Мне представляется теперь, что одной из причин этого был опыт мировой войны. В прошлом, русская интеллигенция была настроена антинационально: патриотизм, любовь к родине считались признаками политического обскурантизма. Старшее поколение русских радикалов гордилось своим интернационализмом. Ленин (1870-1924), Троцкий (1879-1940) и их сподвижники-эмигранты представляли самое крайнее крыло этого антирусского направления. Оно было особенно сильно в кругах еврейской интеллигенции и среди других меньшинств. С энтузиазмом они приветствовали падение империи, ожидая получения полного равноправия и свободы. Среди русских студентов и гимназистов война пробудила любовь к родине, в них произошла переоценка ценностей, и они поняли значение государства. Поэтому, когда большевистская пресса стала призывать к « углублению революции » за счет единства России и требовала переключения войны из национальной в междоусобную и классовую, эти лозунги и призывы зазвучали для моего поколения, как предательство и измена всему лучшему и светлому, что создали русские люди в течение своей трудной истории.

Русская интеллигенция годами отдавала свои силы на борьбу с империей. В массе своей она мало думала о послед-

ствиях своих усилий и не предвидела того, что ожидало ее после падения монархии. Только накануне катастрофы раздались голоса, предупреждавшие о гибели свободолюбивой России. Самым продуманным среди них был сборник « Вехи », изданный в 1909 году. В нем бывшие « марксисты »: Струве (1870-1944), Булгаков (1871-1944), Бердяев (1879-1948) и Франк (1877-1950) звали русских радикалов пересмотреть, пока еще не поздно, свои религиозные и политические установки. « Вехи » * предвидели полное угашение свободы, в случае победы марксистов, и, с разительной точностью, описали ту тиранию, которую впоследствии установили в России Ленин и Троцкий, как только они захватили власть над страной. Этот сборник всколыхнул ряды русской интеллигенции, но он не успел повлиять на ход событий. Революция наступила через 8 лет после издания « Вех ». Ни я и никто из моих одноклассников по Поливановской гимназии не читал « Вех ». Их голос не достиг до нас, но мы отшатнулись от Ленинского богоборчества и человеконенавистничества по тем же причинам, которые с такой пророческой глубиной были вскрыты авторами этой замечательной книги.

Когда занятия в гимназиях возобновились и я встретился со своими товарищами, я нашел у них настроение, похожее на мое. Красные банты и революционный пафос отсутствовали среди нас. В прошлом мы громко критиковали правительство, но внезапное исчезновение монархии оставило зияющую пустоту в политическом строе России. Страшная опасность анархии и всеобщего разложения все яснее стала угрожать зашатавшейся стране.

Однако первые месяцы революции не вызвали заметных перемен в жизни нашей семьи. Занятия в гимназиях шли своим чередом. Я много учился и в мае 1917 года получил « аттестат зрелости » с золотой медалью. Это отличие давало мне право поступления на медицинский факультет, куда, во время войны, принимались лишь лица, окончившие гимназию с отличиями.

Студенты медики не призывались в армию, и я имел возможность провести лето в Ессентуках вместе с нашей семьей. Среди казаков царил прежний порядок. Громыхание революции доносилось до нас издалека. Как раньше война, так теперь разруха России оставалась вне поля нашего зрения. Созыв Московского Совещания на короткое время поднял наши надежды на то, что дисциплина в стране и в армии будет восстановлена. Но эти ожидания оказались беспочвенными; разложение государства происходило все ускоряю-

---

* Переиздана в 1967 г. издательством « Посев » во Франкфурте. См. о ней в моей книге « Russian Religious Renaissance in XX century » London 1963.

щимся темпом, катастрофа небывалых размеров надвигалась на нас. Газеты были полны описаниями ожесточенной борьбы, которая велась среди крайне-левых партий и вокруг различных противоречивых программ немедленного осуществления социализма. Непосвященным в тонкости внутренней партийной полемики трудно было понять разницу между программами « большевиков » и « меньшевиков », « правыми » и « левыми » « социал-революционерами », « трудовиками » и « народными социалистами », « бундовцами », « межрайонцами » и « группой единства ». Одно было очевидно, что в центре их интересов была не судьба России, а победа их собственной версии социалистической утопии. Лидеры всех этих соперничавших фракций, за немногими исключениями, отдавали всю свою энергию на дальнейшее подрывание остатков дисциплины как в армии, так и в тылу. Дезертир, ошалевший от неожиданно полученной им свободы, в растерзанной шинели без погон, но с винтовкой за плечом, стал для них защитником революции. Еще более ярким символом революционной стихии сделался матрос с красной лентой, увешанный ручными гранатами, с « цыгаркой » во рту. Большевики звали его « красой и гордостью революции », так как матросы представляли наиболее разложившийся элемент среди воинских сил России.

Все чаще стало слышаться на улицах, раньше малоизвестное, слово « буржуй », мы скоро, к нашему удивлению, узнали, что мы-то и есть « буржуи », и потому, будучи врагами народа, подлежим ликвидации. В категорию « буржуев » был зачислен весь образованный, культурный слой России.

К концу лета 1917-го года, мы, наконец, встретились лицом к лицу с подлинным, кровавым ликом всероссийской разрухи. Распахнулась дверь в черное подполье, и оттуда, с ошеломляющей силой, вырвались наружу демоническая ненависть, зависть, страстное желание растоптать, унизить, уничтожить все и всех, кто был или мог казаться представителем павшего строя. Эта одержимость злобой, ослепившая и одурманившая часть русского народа, была объявлена крайне левой печатью проявлением его сознательной революционности. Социалисты и анархисты различных толков истерически кричали о защите завоеваний революции и о необходимости беспощадного уничтожения всех ее врагов. В этих неистовых призывах все сильнее звучали голоса, тогда еще чуждой для всей России, но уже целеустремленной, кучки « большевиков ». Они первые стали открыто звать к свержению Временного Правительства и к замене его своей диктатурой. Растерянность и нерешительность Керенского (1881- ) и его министров и безнаказанность подобной пропаганды быстро увеличивали число сторонников Ленина и Троцкого. Запом-

нилась мне характерная для того времени статья В.Л. Бурцева (1862-1936). Он писал: « Ленин, Зиновьев-Апфельбаум, Троцкий-Бронштейн, Рязанов-Гольденбах, Коллонтай, Нахамкис и их товарищи большевики грозят нам новыми преступлениями против свободы, права и республики, назначают даже даты. Они черпают главную свою силу в безволии власти » (Общее Дело. № 20. Октябрь 1917 г.).

Мы, молодежь, ясно видели, что мы несемся к краю пропасти, готовой поглотить нас. Но мы не знали, что нам следовало предпринять ? Наше воспитание в духе либеральной интеллигенции, наша жизнь среди терских казаков не подготовили нас к встрече с той действительностью, которая нахлынула на нас. Мы не были знакомы с настроениями крестьянства, еще менее мы были осведомлены об антигосударственных стремлениях национальных меньшинств, и мы совсем не соприкасались с тем классом полуинтеллигенции, который горячее других откликнулся на пропаганду Ленина и Троцкого.

То, что нам предстояло испытать, мы поняли в связи с незначительным случаем, происшедшим с нами осенью 1917 года на черноморском побережье. По окончании летнего сезона в Ессентуках наша семья разделилась. Сестра нашей матери осталась на Кавказе, желая избежать голодной и холодной зимы в Москве. Мы же, молодежь, большой компанией отправились в Сочи. Черноморская железная дорога была уже построена, но по линии ходили только балластные поезда. Мы получили разрешение поместиться в одной из теплушек и таким образом в первый раз проделали путь в Сочи вдоль Черного моря. Мы любовались видами на море и горы, радовались жаркому солнцу и забыли о войне и революции. Это было наше последнее путешествие в мирной обстановке по России. Кончилось оно, однако, встречей с представителем того класса, который крепко и надолго поработил миллионы русских людей. На одной из остановок к нам подскочил молодой железнодорожный техник. С глазами налитыми кровью, задыхаясь от душившей его злобы, он стал извергать на нас отвратительную брань, крича, что нас следует уничтожить, как паразитов, как прислужников капиталистов. Это нападение совершенно неизвестного нам человека ошеломило нас. Мы растерялись и не могли ничего ему ответить. Он исчез так же быстро, как и появился. Мы поняли, однако, что это столкновение было не случайно, мы встретились лицом к лицу с очень важным явлением: с завистью и злобой полуинтеллигента к представителям культурной элиты. Напавший на нас техник ненавидел нас, так как мы принадлежали к иному и недоступному ему миру, который он хотел или уничтожить или поработить. Ленинская диктатура нашла как раз среди этой полуинтеллигенции

своих самых ревностных и исполнительных прислужников. Именно они занялись уничтожением подлинной интеллигенции, которую они презирали за ее идеализм и свободолюбие. Из их среды вышли герои коммунизма, подобные Дзержинскому (1877-1926), Генриху Ягода (1891-1938), Николаю Ежову (1895-1939) и Лаврентию Берия (1899-1953), организаторы концентрационных лагерей и массового уничтожения людей. Но, конечно, главным выразителем чаяний этого нового класса был сам Иосиф Виссарионович Джугашвили-Сталин (1879-1953). Он сумел расправиться не только с той интеллигенцией, которая отвергла большевистскую деспотию, но и с той, которая пошла ей на службу.

После короткого отдыха в Сочи мы вернулись в Москву, полную слухов и опасений о готовящейся новой попытке Ленина захватить власть над разложившейся Россией.

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

## НАЧАЛО ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИЯ

*В. Зернов*

Мне было 10 лет, когда началась Первая Мировая война. Я встретил это событие как что-то радостное, торжественное и благородное. Россия вставала на защиту угнетенных братьев-славян, она следовала своей исторической миссии, перед ней открывался путь к Константинополю, к этой мечте славянофилов, и вместе с тем Россия была не одна, с ней вместе были могучие союзники. Казалось, пришла возможность загладить унижение, понесенное нами во время неудачной войны с Японией.

Я еще не читал сам газет, но жадно следил за разговорами старших и был, как и они, уверен, что война скоро кончится победой русских. Я готов был без конца слушать оркестр в курортном парке, исполнявший « Боже Царя храни » и красивые гимны союзных держав. Наш гувернер француз закидывал голову назад и вставал во фронт при звуках Марсельезы и казался мне настоящим героем. Такими же героями были многочисленные военные, находившиеся на лечении в Ессентуках. Думаю, и они сами чувствовали себя тогда таковыми. Из станицы уходили казаки с пением, присвистом и гиканьем. На станции грузились поезда, отправлявшиеся на фронт. Вероятно, были и слезы, но мне эти проводы представлялись как что-то радостное, красочное; казаки уходили на парад, на большую джигитовку.

Одно обстоятельство огорчало меня: по моему возрасту я никак не мог принять участие в этой победоносной войне, хотя у меня и рождались мысли бежать из дому, но я неизбежно убеждался в неосуществимости моих мечтаний.

Прошло два с половиной года, я был в третьем классе московской гимназии Поливанова. Каждое утро, перед отходом из дому, я спешил просмотреть газету « Русское Слово ». Милюкова я считал замечательной личностью, его думскую речь « Глупость или измена » я знал почти наизусть. Особенно нравилось мне его сравнение, что автомобиль перешел на третью скорость; я верил, что это неизбежно приводит к катастрофе.

Однажды вечером мой отец, вернувшись с заседания мос-

ковской городской Думы сообщил нам, что в Петрограде беспорядки и что народ требует ответственного правительства. По дороге домой он слышал выстрелы « пачками ». Его возбуждение передалось мне. Я хотел услышать выстрелы из винтовок, которых я никогда не слыхал. Я выбежал наружу, но у нас в Хлебном Переулке все было тихо и спокойно. На следующее утро мы все отправились в гимназию. Там царило большое возбуждение. После третьего урока наш директор, Иван Львович Поливанов, собрал всех учеников и значительным тоном заявил нам, что происходят серьезные события, на улицах могут быть беспорядки и поэтому занятий сегодня больше не будет. Он выразил свое доверие к нам, что мы все проявим благоразумие. Он просил, чтобы старшие проводили до дому младших, тех же маленьких, которые жили далеко или не имели попутчиков, он пока оставлял в гимназии. Увидав меня, он сказал: « Вам, Зернов, я верю, что вы будете осторожны, идите домой переулками ».

Я быстро побежал одевать свою шубу. Внизу около вешалок все возбужденно обсуждали события, говорили о революции. Революция, решил я, такое событие, о котором я буду помнить всю жизнь, его нельзя пропустить, я должен пойти посмотреть, как она происходит в Москве. Нужно было идти сейчас же, я знал, что если я вернусь домой, меня не пустят выйти опять на улицу. Мне было неприятно обмануть доверие ко мне Ивана Львовича, но я все же решил сразу же бежать в Кремль, чтобы поскорее вернуться домой. Если же там будет очень опасно, то я готов был быстро повернуть обратно. Впечатлений по пути было много. Обычный вид московских улиц сразу изменился. Общее настроение было торжественное и приподнятое. Ближе ко Кремлю, мимо меня промчалось несколько грузовиков, в них стояли солдаты, держа винтовки наперевес. Эти солдаты казались мне такими же героями, как те офицеры, которые, два с половиной года тому назад, слушали при объявлении войны, вытянувшись во фронт, « Боже царя храни ».

На углу какой-то из улиц, человек неопределенного вида торопливо и с оглядкой совал прохожим бумажки. Я подбежал к нему и получил маленький клочок бумаги, на котором было напечатано на пищущей машинке: « Прокламация революционного комитета ». В ней говорилось, что в Петрограде Волынский, Кексгольмский и другие полки перешли на сторону народа и отказались стрелять в революционеров. Прокламация звала солдат следовать примеру петроградского гарнизона. Мне очень понравилось слово « прокламация », в нем было что-то таинственное. Я поспешно засунул ее в глубину кармана и решил, что буду всю жизнь хранить этот исторический документ. Я бросился бежать дальше по рыхлому белому снегу, слегка подтаивавшему под ярким

солнцем. Я был полон и радости и страха от чего-то нового и неожиданного и вдруг я, поскользнувшись, растянулся во весь рост. Мои учебники, завернутые в черную клеенку, разлетелись по всему тротуару. Когда я стал собирать их, то к моему изумлению передо мною возникла высокая фигура, в длинной офицерской шинели. Это был мой двоюродный брат Сергей Сергеевич Зернов. Он обычно был шумлив и жизнерадостен, но сейчас он был озабочен. Он обратился ко мне своим звучным голосом и строго сказал: « Как ты сюда попал ? Тебе надо скорее отправляться домой ». Мой подъем сразу исчез; отряхнувшись от снега, я так же стремительно бросился домой. Меня охватило раскаяние, что я не оправдал доверия нашего директора; кроме того, я боялся, что получу выговоры дома за мое длительное отсутствие, но все обошлось благополучно.

События стали развиваться с ошеломляющей быстротой. Во время одной из моих очередных детских болезней, я с нетерпением ждал, чтобы моя мать прочитала мне « Русское Слово ». Однажды она прочла, что в Петроград приехал, присланный из Германии в запломбированном вагоне, Ленин и занял дворец Кшесинской. « Какая странная фамилия », заметил я, « наверное это опечатка, не Ленин, а Оленин ». « Нет, Ленин », ответила моя мать и продолжала читать дальше. Вскоре Ленин и Троцкий стали известны всей России. Эти два имени были неотделимы: « Ленин и Троцкий, Троцкий и Ленин ».

Потом пришел октябрь. Долгие дни и ночи, беспрерывная пальба. Москва содрогалась от канонады и разрывов снарядов, трещали пулеметы и слышалась ружейная стрельба: « Пальнем-ка пулей в Святую Русь » *. С этой пальбой поднялось из глубин русской жизни все непросветленное, темное и страшное. Эта сатанинская музыка была увертюрой перед самым трагическим периодом русской истории.

---

* « Двенадцать » Блока.

### ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

## ПЕРЕХОД ОТ ОТРОЧЕСТВА К ЮНОСТИ

*Н. Зернов*

Отрочество с его играми, запойным чтением книг приключений, с его страстными увлечениями, искушениями и раскаянием постепенно и неуклонно перешло в юность. Одним из главных признаков дальнейшего созревания стала сосредоточенность над вопросами: «кто я?», «зачем я существую?», « что ждет меня в будущем ? »

У нас создалось условное выражение: « Давайте, поговорим ». Это означало, что мы садились вместе в одной из комнат и отдавались беседе о нашем будущем, о целях жизни, о любви, о красоте, о странствованиях по миру. Никто из нас не имел ясно оформленного мировоззрения, но мы все искали истину, хотели поймать « синюю птицу » счастья, найти и понять себя. Нас тянуло увидать мир Божий во всем его величии и разнообразии. Особенно влекла меня далекая Полинезия с ее темно-синим океаном, зеленой водой лагун, золотым песком пляжей и густой тенью пальм. Таинственный остров Пасхи, с его поэтическим именем Рапа-Нуи, овладел моим воображением [1].

Мы любили говорить под музыку. Если настоящей не было, мы просили младшего брата играть нам на пианоле (она тогда заменяла граммофон) ноктюрны Шопена (1810-49) или рапсодии Листа (1811-86). Мы увлекались теми же мечтами, которые вдохновляли других русских юношей и девушек, и до нас, и после нас. В этих беседах большое место занимало прочитанное нами; стали мы все чаще декламировать и стихи.

---

[1] Летом 1965 года мне с женою удалось провести несколько месяцев на островах Тихого океана. Мои юношеские ожидания увидать там чарующую красоту природы оказались вполне оправданными. Но не романтика моей молодости привела меня туда, целью нашей поездки было желание познакомиться с миссионерской работой в этой части света. Мы были гостями тех самоотверженных людей, которые отдают свою жизнь на помощь островитянам. До приезда миссионеров они были жертвами постоянных междоусобий и болезней. Христианство возродило полинезийцев. Мы нашли среди них много друзей, они очаровали нас своим гостеприимством, танцами и поэтическими импровизациями. Мы встретились там с красочным и действительно необычайным миром.

Книги давали неисчерпаемый материал для наших разговоров; наши молодые души жадно впитывали еще не пережитой нами самими опыт жизни. Лучше всего мы, конечно, знали русскую классическую литературу. Как только мы покинули мир детских книг и приключений, мы стали дышать воздухом Пушкинской (1799-1837), и Лермонтовской (1814-1841) поэзии и прозы. Татьяна, Евгений Онегин, Печорин и княжна Мэри вошли в нашу жизнь. Любили мы Жуковского (1783-1852), Грибоедова (1795-1820), Тютчева (1803-1873), Гончарова (1814-1891), Алексея Толстого (1817-75), Тургенева (1818-83), Фета (1820-92), Григоровича (1822-99) и Льва Толстого (1828-1910). Их всех мы читали и перечитывали, но над всеми ними царил Достоевский (1821-81). Он и Гоголь (1809-52) открылись нам, как религиозные мыслители, проникнувшие в тайну земного существования и знавшие ответы на самые сокровенные вопросы, рождающиеся из глубин нашей души. Мы пытались истолковывать сложную канву их творений и разгадывать значение символических имен их героев. Нас удивляла и забавляла слепота тех критиков девятнадцатого века, которые до того не понимали Гоголя, что называли его реалистом, а в Достоевском видели лишь сентиментального описателя « Униженных и Оскорбленных ». Я не читал в Москве Мережковского (1865-1941), но его подход к Толстому, Достоевскому и Гоголю был созвучен мне и моим друзьям. Они были для нас учителями жизни, но правда была не на стороне Толстого, а Достоевского.

Из иностранных авторов, кроме классиков, как Шекспир (1564-1616), Корнель (1606-84), Мольер (1622-73), Расин (1639-99), Гете (1749-1832) и Шиллер (1759-1805), мы много читали Диккенса (1812-70), Оскара Уайльда (1856-1900), Ибсена (1828-1906) Кнута Гамсуна (1859-1952) и Сенкевича (1846-1916). Пробовали читать также модного тогда Пшибышевского (1868-1927), но мало поняли его. Из французских писателей, любимым был Мопассан (1850-93) знали мы также Флобера (1821-80) и Зола (1840-1902). Гаршин (1855-88), Чехов (1860-1904) и Куприн (1870-1938) ввели нас в современную нам литературу, но подлинная встреча с ней произошла только в 1915 году.

Ни наши родители и никто из наших знакомых не интересовался новой поэзией. Все они признавали лишь классиков. Случайно, один из моих товарищей по гимназии прочел мне стихи Бальмонта (1867-1943) « Лебедь Умирающий », это стихотворение очаровало всех нас, оно открыло нам совсем неизвестный для нас раньше мир звуков и образов и они неудержимо повлекли нас за собою. Увлечение Бальмонтом познакомило нас с Игорем Северянином (Игорь Васильевич Лотарев, 1887-1942). Мы с сестрой взяли билеты на его « поэзо-вечер ». Большая аудитория была переполнена моло-

дежью; когда поэт появился на эстраде, поднялся рев его неистовых поклонников и поклонниц. Он заколдовал нас своеобразным распевом своих мишурных поэм, которые тогда казались нам дерзновенным новаторством. Это увлечение было поверхностным, но вскоре круг любимых поэтов расширился. С одной стороны, мы подошли к Иннокентию Анненскому (1865-1909) и, благодаря ему проникли в мир греческой трагедии. Эсхил (525-456), Софокл (495-405) и Еврипид (480-407) познакомили нас с тайной рока и с дохристианским ощущением трагичности жизни. С другой стороны нас заинтриговал Валерий Брюсов (1873-1924), с его магией и колдовством. « Огненный Ангел » был для нас совершенно новый жанр литературы, уводивший нас от знакомых нам классиков. Но в Брюсове было что-то холодное и искусственное, гораздо больше дали мне « Симфонии » Андрея Белого (Бугаева) (1880-1934) с их музыкой слов и образов. Однако решающей оказалась встреча с Александром Блоком (1880-1921), ставшим нашим любимым поэтом. Его « Незнакомка » и звала и обманывала нас. Из иностранных поэтов только Бодлэр (1821-67) оставил след во мне.

К этому же времени относится наше знакомство с живописью французских импрессионистов и модернистов. Мы посетили особняк Щукина. На стенах его комнат были развешаны картины великих мастеров. Это было новое восприятие мира, и в свете его потухли краски передвижников, которые раньше казались нам столь правдивыми. Из русских художников мы начали увлекаться Врубелем (1856-1910) и еще больше Чурлионисом (ум. 1911), предвестником абстрактного искусства, о котором мы тогда, конечно, ничего не знали.

В мир современной музыки ввел нас друг нашей молодости Вадим Кочетов. Он играл нам Скрябина (1872-1913), Рахманинова (1873-1943), Медтнера (1879-1951). С двумя последними композиторами мы близко познакомились уже в эмиграции. Мы ходили на концерты Орлова, Арсеньева, Боровского. Одновременно началось очарование театром. Мне было 13 лет, когда я в первый раз попал на театральное представление. Это была « Синяя Птица » Метерлинка (1862-1940), в постановке Художественного театра. Ни одна другая пьеса не оставила во мне столь глубокого впечатления. Я был ослеплен красками костюмов и декораций, долго звучали во мне реплики актеров, и я продолжал жить в нереальном, но захватывающем мире театральной бутафории. Художественный театр сделался для всех нас нашим любимцем, отчасти и от того, что мы лично знали многих его актеров. Позднее, Камерный театр и Студия тоже вошли в нашу жизнь. Опера и балет мало затронули нас, хотя Александра Михайловна Маркова-Зернова и была примадонной Большого театра. Уже будучи в последнем классе гимназии, я прочел « Умоз-

рение в Красках» князя Евгения Трубецкого (1863-1920). Я ничего дотоле не знал о русском древнем искусстве и никогда не задумывался над смыслом икон. Трубецкой подвел меня вплотную к религиозному возрождению, начавшемуся в это время в России, сознательным участником которого я стал уже за рубежом.

Наша молодость прошла под знаком крушения империи и расцвета русской культуры, который получил название «серебряного века», в отличие от «золотой» — «пушкинской» эпохи. Ренессанс, захвативший столичную элиту, вернул ее лучших представителей к истокам народного творчества, открыл им истину Церкви, значение иконы, и ввел их в мир православной святости и выросшей на ее почве культуры.

Мое поколение интеллигенции, в массе своей, было уничтожено большевиками, но те из его отдельных представителей, которые пережили катастрофу, могли продолжать лишь за рубежом движение, родившееся в начале века.

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

# СЕМЬЯ ЛАВРОВЫХ

*М. Лаврова-Зернова*

*(Я встретил мою жену Милицу Владимировну Лаврову в эмиграции, в 1923 г., в Чехии, на первом съезде Русского Студенческого Христианского Движения в Пшерове, но ее судьба была переплетена с нашей уже в России. Краткая биография ее семьи вводит ее в нашу хронику.*

*Николай Зернов).*

Мой отец Владимир Андреевич Лавров родился в 1867 году в погосте Горицы, Муромского уезда, Владимирской губернии, а умер в Париже в 1936 году. Его отец был сельским священником. По единственной сохранившейся фотографии, он был высокий, с небольшой бородой, легкими развевающимися волосами и с чем-то певучим во всей фигуре. Он был поэтом в душе, ласковым и горячим пастырем и большим тружеником. Бабушка Феодосия была строгая и властная мать и жена. Она во всем разделяла суровую трудовую жизнь мужа, и по хозяйству и на поле. По рассказам, она родила папу под стогом на сенокосе. В старости, вдовой, она жила с тетей Марусей, тоже вдовой, в маленькой избушке; главный церковный дом пошел заместителю дедушки, женатому на другой ее дочери.

Мой отец кончил Петербургскую Духовную Академию. Он был глубоко церковным и идейным человеком, но скромность и смирение, а может быть и другие причины, привели его к решению не принимать священнического сана, подобно его единственному брату, Василию Андреевичу, ректору Семинарии в Чернигове. Отец сначала был учителем в семинарии города Гори (на Кавказе) и с большим рвением вводил новые методы передовой педагогики, но начальство оказывало ему в этом столько сопротивления, что он, в конце концов, махнул рукой на преподавание и поступил в Министерство Финансов податным инспектором сначала в Шулаверах (Ду-

шетского уезда), а после армяно-татарской резни [1], в Тифлисе, где мы с сестрой и прожили все наше детство и отрочество. На новом поприще отец надеялся послужить справедливости и прогрессу. Он вложил в эту работу всю свою душу, приходил в канцелярию не только в присутственные часы, но и по вечерам, любил порядок, к людям относился сердечно, но и требовательно; подчиненные его очень любили.

Наша мать, Александра Никаноровна, урожденная Никольская, родилась в 1872 году в Нижнем Новгороде (умерла в 1957, в Париже). Ее отец был тоже священником. Они жили на краю города, в Острожном переулке, в собственном небольшом деревянном домике. Дедушка наш, отец Никанор, кроме своего прихода, посещал также и острог. Заключенные очень любили его, на что косилось начальство. Бабушка Соня, урожденная Флорентинская, была заботливой матерью 14-ти человек детей. Отец Никанор умер скоропостижно, сравнительно молодым, в первый день Пасхи, когда мама была еще подростком. Ему стало плохо во время обхода своих прихожан. Он скончался дома, окруженный своей семьей, оставив бабушку в большой бедности. Брат бабушки, военный врач, помог ей вырастить всех сирот и поставить их на ноги. Мама была самая старшая после дяди Коли. Она рано стала преподавать в приходской школе при Вознесенской церкви, что на высоком берегу над самой Волгой. Она все свое убогое жалованье отдавала бабушке и была ее утешительницей и советницей.

Папа и мама встретились на Нижегородской выставке, на которой мама, в красивом строгом платье с тонко перетянутой талией, заведовала экспонатами работ своих школьников и школьниц. После этой встречи у них завязалась переписка, продолжавшаяся несколько лет. Венчались они в Вознесенской церкви Нижнего Новгорода, в школе которой мама преподавала. Свадьба была торжественная, все мамины ученики были в парадной форме, пел лучший хор; школьники и школьницы горько плакали при расставании, Владимир Андреевич увозил их любимую учительницу далеко на Кавказ.

Я родилась в Тифлисе в 1899 году. Моя единственная сестра Нина родилась два с половиной года после меня. Маленький брат Андрюша умер в раннем детстве. Мы с сестрой были неразлучны и единодушны во всех наших играх: и в путешествиях вокруг света, совершавшихся на нашей большой стеклянной галерее, и в упоительных спектаклях при таинственном свете свечи по вечерам, пока родители бывали

---

1 Он сам чуть не погиб в это время, выйдя умиротворять избиение. Помню, как сейчас, сцену в нашем дворе и маму бросившуюся в середину толпы и остановившую ненамеренное убийство.

заняты гостями. Школа дала нам новых друзей и разделила нас.

Учились мы в частной гимназии Левандовского, с совместным обучением и программой мужских гимназий. Об ней следовало бы написать отдельную книгу. В моих воспоминаниях об отце Александре Ельчанинове, который в ней преподавал, я писала об этой гимназии « доселе неведомой в России », как о « школе радости, творчества и свободы » *. И действительно, программа занятий, проникнутая стремлением возбудить живой интерес ко всякому изучаемому предмету, смелый подход к задачам дисциплины, большое место отдаваемое инициативе и самоуправлению учеников, спорт и гимнастика, разнообразный ручной труд, искусство, спектакли, рефераты, экскурсии, а главное подбор преподавателей развивал в нас пытливость мысли, творческое отношение к жизни и ту закалку, которая так пригодилась нам в предстоящих потрясениях.

Лето мы проводили в горах близ Тифлиса, а каждые 3, 4 года — ездили к родным в Россию. Эти путешествия были для нас с сестрой источником неисчерпаемых радостей. Сама дорога, поездом через всю Россию, берущая три, четыре дня, переживалась нами, как интереснейшее приключение. Ездили мы обычно третьим классом, с « плацкартами ». В широких и чистых вагонах было много места, мы брали с собой вкусную провизию, на станциях доставались кипяток для чая и « Николаевские щи », а на ночь мама устраивала для нас с сестрой на верхних полках очень удобные, мягкие постели. Но главный восторг был в том, что мы целыми днями, не отрываясь, смотрели в окна на Россию, которая как живая карта развертывалась перед нами. И конечно, и мы брали с собой массу газет, чтобы бросать их деревенским мальчишкам, которые бежали за поездом и, широко крутя рукой, отчаянно кричали: « газет, газет ! »

Иногда мы ехали Каспийским морем и в Астрахани садились на волжский пароход, совершая знаменитую по своей поэтичности поездку вверх по «Матушке-Волге». Ах, как мы любили медленное движение больших пароходов компании Самолет, с их чудными историческими названиями, как, напр. «Царь Феодор Иоаннович», мимо «Жигулевских гор», мимо полей и лесов, сел и городов, с их церквами, колокольнями и крестами, ярко горевшими на солнце. Во время остановок на пристанях можно было сбежать на берег и купить у деревенских девочек душистой лесной земляники. Выше по течению попадались песчаные мели, пароход замедлял свой ход и с носа раздавался мелодичный голос матроса, измеряющего шестом глубину: « пять-с-палавинай, шесть-с-палавинай . . . »

---

* См. « Памяти Отца Александра Ельчанинова », Париж, 1935. Стр. 32.

и наконец радостное: « под табак ! » Под тихий вечер, часто с какой-нибудь встречной барки неслась по гладкой реке раздумчивая песня . . . И наконец — красавец Нижний Новгород, цель нашей поездки, свидание с бесчисленными двоюродными братьями и сестрами, дядями и тетями.

В городе мы долго не задерживались, а ехали с бабушкой Соней, высокой, сгорбленной, в черном платке, уже считающей дни, остающиеся до разлуки, и другими родными, в Решмы. Там был рай ! Эта большая деревня стоит на высоком берегу Волги, около женского монастыря. Она окружена чудесными березовыми рощами, сосновыми лесами и привольными лугами. Мы жили в одной из крестьянских изб, просторной и чистой, играли с крестьянскими детьми, ходили в лес за грибами, участвовали в сенокосе и увлекались ездой на лодке по всей шири родной реки. В середине августа появлялась ярмарка, вносившая веселье, шум, запахи и массу для нас, детей, невиданного и интересного. Особенно запомнился мне старик с густыми бровями и всклокоченной бородой, показывающий панорамы иностранных городов: « А теперича изволите смотреть, говорил он нараспев — заграничный город Лондон, а посредине города памятник Симону Блаженному ! » (так преобразовал он памятник Нельсону) и т.п.

После Решмы мы ехали на родину папы, поездом до Мурома и на телеге до Гориц. Погост, состоявший из небольшой церкви с кладбищем вокруг нее и домами причта, стоял между деревней Горицы и селом Сонино, находившемся на горке за рекой Тешей, которую надо было переходить по жидкому длинному деревянному мостику. Ярко помню поэзию этого благодатного места: церковь с полем волнующейся пшеницы сразу за ней, где мы часто сиживали по вечерам, пруд с цветущими кувшинками, где мы научились плавать, а мама раз чуть не утонула. На его белом песчаном берегу деревенская девчонка обычно разжигала нам самовар еловыми шишками, а бабушка грозила ей из окошка их маленького домика-избушки. А как любили мы березовую рощу, где устраивались чаепития !

Наши родители были горячо верующими людьми, органически укорененными в церковную жизнь. Маленькими девочками, мы ходили с ними в церковь, знали церковные службы, могли подпевать певчим. Но самыми сильными церковными впечатлениями для нас были те, которые мы получали в России. Посещение Троице-Сергиевской Лавры, по дороге в Нижний, монастырские службы в Решме, церковь в Горицах, полная крестьян, давали нам с сестрой чувство глубокой связи с нашим народом и его верой.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

## ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И НАЧАЛО СКИТАНИЙ

## *ВВЕДЕНИЕ*

*Н. Зернов*

*Описание революции и гражданской войны даются в этой части хроники так, как они были пережиты молодым поколением семьи Зерновых. Их кругозор в то время был ограничен их личным опытом. Однако их настроение и их восприятие событий той переломной эпохи были созвучны широким кругам гимназической и студенческой молодежи, в значительном числе влившейся в ряды Белых Армий.*

*Пол-столетия, которое отделяет наше время от первых лет революции, помогает многое видеть в ином свете и раскрывает ряд факторов, неизвестных и непонятных в те далекие годы.*

*Правильный подход к революции может быть найден лишь в связи со всей сложной историей России, с грехами ее прошлого и искажениями настоящего времени. Даже и теперь еще не настал момент для всестороннего исследования и оценки того глубокого переворота в жизни страны, который повлек за собою море страданий, бесчисленные жертвы и на долгие годы расколол на два враждебных лагеря население бывшей империи.*[1] *Эта задача особенно трудна тем, кто был современником братоубийственной борьбы.*

---

[1] Число убитых во время гражданской войны, погибших от голода и холода, расстрелянных и замученных в лагерях в течение первых пятидесяти лет коммунистической диктатуры исчисляется различными историками между 40 и 70 миллионами.

ПЕРВАЯ ГЛАВА

## ОКТЯБРЬ 1917-го ГОДА (1)

*Н. Зернов*

Москва осенью 1917 года была уже смертельно раненым городом. Жизнь ее расползалась по всем швам, все закупали провизию, готовились к холодной и голодной зиме. Всюду стояли очереди, квартиры уплотнялись под напором семейств, бежавших или от наступавших немцев или из своих разоренных усадеб. Улицы были полны дезертирами, — они своими мутными потоками наводняли весь город, висели на двигающихся с трудом трамваях и заполняли вокзалы и поезда.

После неудавшейся попытки генерала Корнилова (1870-1918) восстановить дисциплину в армии и в стране, правительство Керенского (род. 1881) потеряло всякий авторитет и стало предметом насмешек. Его символом сделались « керенки », обесцененные бумажные деньги, которых никто не хотел принимать. Большевики удвоили свою пропаганду, самосуды участились, преступники, выпущенные из тюрем, безнаказанно грабили население.

Я, как студент медик, не подлежал воинской повинности, но я все же решил поступить в армию; тем более, что ходили слухи о призыве всех студентов, без различия их специальностей. Как вольноопределяющийся, я имел право выбрать сам свою воинскую часть. На семейном совете было решено, что я поступлю в учебный телеграфный батальон, находившийся в Москве. Он был расквартирован на противоположном конце города, но мне было разрешено начальством пока жить дома. Распорядок моего времени, неожиданно для меня, продолжал мало чем отличаться от дней учения в гимназии.

Я вставал рано утром еще в темноте, ехал на трамвае в казарму, и возращался с ученья около 5 часов. Так мирно и прозаично началась моя военная служба. В казарме мы учились строю и телеграфному делу, новобранцы, как и я, были

1 Захват власти большевиками в Москве описан так, как он был пережит мною, юношей, только что окончившим гимназию. В нем нет последовательного рассказа об этих трагических событиях, окончившихся поражением интеллигенции.

юноши, только что кончившие или гимназии или реальные училища. С некоторыми из них я быстро подружился. Особенно сблизился я с Сергеем Николаевичем Назаровым. Он был старше меня и успел окончить математический факультет. Меня поразили его голубые, внимательные и добрые глаза. Я стал приглашать его к себе, и вся моя семья сразу его полюбила. Случилось так, что почти всю гражданскую войну мы провели вместе.

Мое военное обучение длилось недолго. Однажды, проснувшись, я услышал пальбу: трещали пулеметы, бухали пушки. Наш швейцар Егор, всегда хорошо осведомленный, сообщил нам, что большевики пытаются захватить город, и что им противостоят юнкера, укрепившиеся в Кремле. Это начало гражданской войны застало меня совершенно врасплох. Никто не предполагал, что Ленин начнет ее накануне выборов в Учредительное Собрание, верховный авторитет которого он все время провозглашал.

Передо мной встал вопрос — что я должен делать? Присоединиться к моему батальону было невозможно, все сообщения в Москве были прерваны, мне оставалось только ждать развития событий. Я оказался в том же положении, как и тысячи других москвичей: без организации, без связи друг с другом мы не могли принять участия в борьбе, которая решала судьбы нашей родины и каждого из нас.

В то время мы имели лишь смутное представление о сущности ленинизма, но мы сознавали, что победа Третьего Интернационала означала не только измену союзникам, но и существенную поддержку Германии. Наши опасения всецело оправдались. Мы оказались во власти тех, кто готов был принести в жертву интересы России ради своих социальных утопий, и тех, кто готов был пойти ради их осуществления на любые уступки внешнему врагу.

Пока продолжалось сражение на улицах Москвы, мы жили как в осажденной крепости. Выйти из дому было невозможно, вокруг нас шла беспорядочная стрельба. В нашу тяжелую парадную дверь попал артиллерийский снаряд на излете и, не пробив ее, застрял в ней. По вечерам багровое зарево освещало пустые улицы, где-то горели дома, их было некому тушить.

Наконец наступила мертвая тишина. Мы знали, что это была победа «красных». Новая власть сначала проявила неожиданную умеренность и даже разрешила похороны защитников Кремля и чести России. Величественное отпевание и, последовавшая за ним, похоронная процессия была последней публичной манифестацией пораженной русской интеллигенции. Главными участниками ее были профессора, студенты и гимназисты. Они хоронили своих сыновей и братьев, павших в неравной борьбе. Поразительно было то,

как быстро и радикально произошла перемена в их мировоззрении. Те, кто в прошлом олицетворяли авангард революции, теперь дружно встали против большевиков. Длинная цепь молодежи, державшейся за руки, поддерживала порядок среди стотысячной толпы. Многочисленное духовенство и церковные хоры напутствовали убитых. На следующий день большевики похоронили в красных гробах тех, кто обстреливали Кремль из своих же русских орудий.

Победа Третьего Интернационала делала продолжение моей военной службы бессмысленным. Ленин обещал своим сторонникам переключение войны на внутренний фронт. Несмотря на развал армии, я все же решил получить документ о моем увольнении из нее, — он очень пригодился мне впоследствии. В 17 лет у меня была малярия, осложнившаяся началом туберкулеза. На этом основании я был теперь объявлен медицинской комиссией непригодным для военной службы. Пришлось утро провести в каком-то холодном бараке, набитом солдатами. Всюду сидели военные писаря, что-то писавшие, склонившись над своими некрашенными столами. Мне приказали раздеться до пояса и встать в очередь. Лысая голова знакомого военного врача склонилась надо мною, к телу прикоснулся его холодный стетоскоп, и я сразу же услышал приказ выдать мне « белый билет ». Я получил от писаря маленький листок серой бумаги, скрепленный казенной печатью. Я снова становился студентом-медиком московского университета. Однако, мои занятия медициной оказались даже еще более краткими, чем мое изучение телеграфного дела. Я успел купить себе студенческую фуражку синего цвета, побывать на двух или трех лекциях, взглянуть на разрезанные трупы в анатомическом театре, над которыми копошились студенты. Этим и ограничилась моя связь с знаменитым храмом науки. Наша семья решила покинуть на эту зиму Москву и вернуться в Ессентуки.

Мой отец всю жизнь был оптимистом, — он всегда верил, что добро сильнее зла, что правда победит ложь, что разум должен восторжествовать над безрассудством. Он, как и многие его либеральные друзья, считал, что большевики не смогут удержаться у власти из-за отказа большей части русской интеллигенции сотрудничать с узурпаторами. В нашей среде никто не знал характера той полуинтеллигенции, которая захватила все командные посты, как только большевики добились своей победы. Никто не предполагал, что новый класс советской бюрократии не только сможет обуздать разбушевавшуюся народную стихию, но и на долгие годы заковать миллионное население павшей империи в тяжелые оковы. В иллюзии нашего скорого возвращения мы стали готовиться к отъезду.

Мы были не одни, многие москвичи тоже решили дви-

нуться на юг. Оставаться в городе стало мучительно. Начались обыски и аресты, поползли тревожные слухи об избиении заключенных, заработала че-ка, страна возвращалась в темное прошлое доносов и застенков. В нашу квартиру тоже ворвался один из новоиспеченных комиссаров, худосочный юнец восточного типа в кожаной куртке, увешанный патронами, с наганом в руке. Он открывал наши шкафы, рылся в комодах, угрожал нам расправой. Старый, привычный мир рухнул. Мы очутились в городе, занятом « иностранным » завоевателем. [2]

Решив уезжать, мы стали искать путей для осуществления наших планов, а выехать из Москвы было не легко. Поезда были переполнены дезертирами, которые нередко выбрасывали из вагонов неугодных им пассажиров. Люди сидели иногда днями на вокзалах, ожидая возможности уехать из Москвы. Выход из этого трудного положения нашла наша мать. Она обратилась за помощью к начальнику Курского вокзала, пациенту моего отца, который обещал устроить нашу посадку. Ехало нас 12 человек, так как к нашей семье присоединились 4 моих друга, включая Серёжу Назарова, и старшая сестра нашей матери с дочерью.

---

[2] См. Приложение I стр. 352.

Мы сдали до Рождества нашу квартиру каким-то беженцам из Польши, отвезли все ценности в банк и оставили остальные вещи в шкафах и комодах. У нас было много прекрасных вещей от Фаберже, не взяв их с собою мы лишили себя финансовой опоры в наших дальнейших скитаниях. Но больше всего я жалею, что я не увез с собой моих отроческих дневников. Так, налегке, покинули мы наш родной город, чтобы никогда не вернуться назад [3].

---

[3] Прим. Та Москва, из которой навсегда уезжала наша семья, была в 1917 году еще во многом городом прошлого столетия, с узкими, тихими переулками, с особняками, окружёнными тенистыми садами, с многочисленными двухэтажными домами, часто построенными в глубине больших дворов. В « нашей » Москве, так любимой нами, было 9 соборов, 25 монастырей, 283 приходских и « ружных » (не домовых) церквей, более 200 домовых часовен, 46 старообрядческих молелен, принадлежавших к 10 различным толкам. В Москве было также 15 иноверческих церквей, 4 армянских и 11 различных западных вероисповеданий. Всего в ней было 579 храмов для христианского богослужения, из которых 48 были посвящены Николаю Чудотворцу, особенно чтимому москвичами.

Если Москва была богомольной, древней столицей, то она была также городом школ. Она любила и молиться и учиться. Во главе просвещения стоял старейший Российский университет с 4-мя факультетами, кроме него в городе помещалось 21 высшее учебное заведение. К поступлению в них готовили 260 средних школ (43 казённых, 152 частных, 65 специальных, дававших профессиональное образование). В Москве было 536 низших школ (479 городских и 57 церковно-приходских). Всего в Москве было 820 учебных заведений.

(Цифры церквей и школ до-революционной Москвы взяты мною из книги « Вся Москва за 1916-ый год ». Издание А. С. Суворина. Москва. 1916).

Когда я вернулся туристом в Москву в 1961 году, я нашел город духовно опустошенным и архитектурно исковерканным. 90% церквей было уничтожено коммунистами. Храм Христа Спасителя был взорван в 1936 году, и на его месте была устроена купальня; бульвары были вырублены, тысячи бездушных каменных казарм были построены вокруг потерявшего свой лик центра города, Кремль и его святыни были обращены в зрелище для своих и иностранных туристов.

Зато возникли новые « святыни »: мавзолей Ленина, почитаемые могилы у стен Кремля Сталина и других палачей русского народа. Памятник Феликсу Дзержинскому украшает Лубянку, место пыток и гибели бесчисленных жертв. Все же самой характерной чертой советской столицы являются не эти знаменитые гробницы « вождей », а прославленное московское метро. Оно было построено, как египетские пирамиды, рабским трудом политических заключенных под руководством Лазаря Кагановича (род. 1893), одного из самых жестоких и трусливых сатрапов Сталина, и стоило тысячей человеческих жизней. Его претенциозная роскошь и кричащая вульгарность выражают как безвкусие, так и бесчеловечность советских владык, не жалеющих своих рабов, ради своего прославления.

В настоящее время советская власть с гордостью показывает иностранцам свое достижение, скромно умалчивая, однако, о цене, уплаченной за него. Хочется верить, что придут дни, когда проснется уснувшая совесть народа и тогда будет увековечена не память палачей, а их безымянных жертв, погибших по прихоти « отца и благодетеля народов » и его приспешников.

ВТОРАЯ ГЛАВА

## ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ НА КАВКАЗ

(21-23 ноября 1917 года)

*Н. Зернов*

Мы ожидали, что наш переезд на Кавказ будет не легким, но только подъехав к Курскому вокзалу, мы поняли всю трудность предпринятого нами путешествия. Вступив под его своды, мы столкнулись лицом к лицу с жутким развалом российского государства. Все огромное, грязное, нетопленное здание было забито бесформенной массой дезертиров. Эти беглецы с фронта стихийно стремились вернуться в свои деревни, чтобы начать делить землю. Они запрудили все проходы, лестницы и залы. Одни из них валялись на полу, другие сидели на лавках, третьи куда-то пробирались, толкаясь и бранясь друг с другом. Над этой пропахнувшей потом толпой висел густой едкий дым махорки. Все было заплевано, под ногами хрустела шелуха семячек, всюду были набросаны клочки газет и бумаги.

Вся эта распущенная толпа ждала посадки в поезд. Казалось, что при этой обстановке наше намерение покинуть Москву неосуществимо. Однако старый и опытный носильщик, рекомендованный нам начальником станции, умело вывел нас из этого ада. Он повел нас тайком по каким-то запасным путям к стоявшему уже наготове поезду. После долгого ожидания наш состав медленно сдвинулся с места и подвез нас к вокзалу. Было уже темно, вагоны не были освещены, на платформе сплошной стеной стояла тысячная толпа. Увидав подаваемый поезд, она с гиком и ревом, как разъяренный зверь, бросилась в атаку на вагоны. Посыпались осколки разбитых стекол, затрещали двери и обивки коридоров. Дикое толпище, извергая потоки ругани и криков, сбивая с ног и топча друг друга, буквально в один момент набило до полного отказа весь поезд. Это было нечто неописуемое: сплошная масса человеческих тел плотно слившись друг с другом закупорила все купе, коридоры, уборные, площадки, ступеньки и даже буфера вагонов. Наверное около тысячи человек проникло в поезд, но еще больше осталось на платформе; ру-

гаясь и толкаясь, они до самого отхода поезда пытались безуспешно проникнуть в него.

Те солдаты, которые ворвались в наше купе, обрушились на нас с бранью и угрозами, некоторые из них пытались выбросить нас из вагона, но это было так же невозможно сделать, как и войти в него. Мы были настолько стиснуты, что сначала никто из нас не мог даже пошевелить рукой или ногой. В таком мучительном положении мы и покинули поздно ночью нашу родную Москву. Несмотря на эту невероятную давку, мы все же были все вместе.

Поезд шел томительно медленно, паровоз с трудом тащил наши вагоны с их непомерным человеческим грузом. Несмотря на мороз, мы все страдали от липкой, удушающей жары. Самым мучительным была невозможность попасть в уборную. Коридор был забит сплошной массой лежавших вповалку солдат и мешечников. Первая ночь была наиболее изнуряющей. На следующий день стало немного легче. В нашем купе образовалась своя группа, ставшая на защиту общих интересов от посягательств извне. Думаю, нас было в моем купе около двадцати человек. Мне удалось взобраться на верхнюю полку для багажа, она была узкая, на ней было трудно удержаться, но за то там можно было протянуть затекшие ноги. Моим соседом по полке оказался солдат грузин, учитель по профессии. Он был ярый националист, ненавидящий Россию. Это была моя первая встреча с сепаратистом, до этого я даже не подозревал об их существовании и о той страстности, с которой они провозглашали свою независимость.

К концу второго дня пути наше положение настолько улучшилось, что стало возможным даже пользоваться уборной, а те солдаты, которые заполняли наше купе, перестали враждебно относиться к нам. При въезде же в Область Войска Донского произошло магическое превращение нашего революционного поезда в до-революционный. Дезертиры начали заранее покидать загаженные вагоны, и когда на границе в наш поезд вошли казаки, чисто и подтянуто одетые, в погонах, с шашками через плечо, то они нашли его полупустым. Они попросили всех показать свои документы. Тут случилась незабываемая сцена. Все оставшиеся серо-шинельники, казавшиеся беглецами с фронта, вдруг обратились в офицеров, юнкеров и казаков. Все они пробирались тайком на Дон в надежде начать там борьбу с большевиками. Рослые донские казаки с красными лампасами, с лихо заломленными на бок фуражками сразу перенесли нас в мир, который, казалось, исчез навсегда в хаосе революции. В поезде стало легко дышать, откуда-то появился проводник и вымел сор из вагона. Мы освободились от истерической, безумной стихии разрушения и снова, хотя только временно, попали в нормальные условия жизни.

На третий день пути наш поезд, вычищенный и просторный, прорезал уже знакомые прикавказские степи. Теперь на станциях уже не было мешечников, а продавался чудесный хлеб, яйца и молоко: все то, что уже пропало в центральной России. К вечеру мы приехали на станцию Кавказских Минеральных Вод и пересели в маленький поездок, обслуживающий курорты. Мне казалось, что я во сне: после давки, ругани и грязи мы ехали одни в целом отделении вагона, наслаждаясь нашей свободой, — не верилось, что еще вчера мы были в царстве большевизма. Какое блаженство было очутиться в родном доме, найти все приготовленным для нашего приезда с такой любовью нашей дорогой тетей Маней. Наши знакомые комнаты, стол, заставленный вкусной едой, горячая ванна, чистые постели. Главное, однако, было не эти блага земные, а вновь обретенное чувство свободы людей, живущих на своей родине, а не являющихся бесправными жертвами своих поработителей.

Русская радикальная интеллигенция жила долгое время под обаянием французской революции, она верила в героическую силу, рожденную этим переворотом. Большевики сделали легенду « о великой социалистической революции » краеугольным камнем своей деспотии. Но те из нас, кто на опыте пережил развал России 1917-18 годов, не забудет омерзительного образа революционного разгула.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

## МЫ ПОКИДАЕМ МОСКВУ

*С. Зернова*

Ноябрь 1917 года; мы уезжаем из Москвы. Мы едем на Кавказ, в наш дом в Ессентуках. Москва серая, голодная, обозленная, над ней нависла, как черная туча, революция, она сметет все, завертит и уничтожит.

Холодным, туманным днем, на знакомых саночках, по занесенным снегом улицам мы едем на вокзал. Зал первого класса, душный, грязный, дымный, всюду лежат солдаты-дезертиры с фронта. У меня на душе ужас, как будто разрывается ткань жизни. Мы примостились на чемоданах и ждем. Мама ушла, мама все устроит, мама всегда все устраивает. Мы крепко держимся друг за друга, как хорошо быть всем вместе.

Я вспоминаю, как в это утро, зная, что может-быть мы покидаем Москву навсегда, Маня и я убежали в Дурнов переулок, в маленькую, домашнюю церковь с громадным старинным образом Нерукотворного Спаса. Я стояла перед ним и просила Бога указать нам путь: правильно ли мы делаем, уезжая из Москвы ? Что нас ждет ? Мы покидали наших друзей, увлекательную жизнь, так не хотелось уезжать ! Я просила ответа на мой вопрос, какого-то знака и вдруг из серого неба прорвался луч солнца и упал на меня. Для меня это был ответ, и я счастливая и покорная вернулась домой.

Время на вокзале тянется медленно, мама все не возвращается. Сумерки сменяются темным, холодным вечером. Наконец, в конце зала, мы видим маму, с ней идут начальник станции и носильщик. Спешно, стараясь быть незамеченными, мы берем чемоданы и пробираемся между лежащими на полу солдатами. Мы выходим на пути и в полном мраке, спотыкаясь о шпалы, куда-то идем, долго, торопливо, не понимая куда нас ведут. Но значит так надо, мама лучше знает, мы ничего не спрашиваем. В темноте обрисовываются контуры вагонов. Кто-то отпирает запертые двери и мы втискиваемся в два смежных купе и напряженно ждем; поезд подвозит нас к вокзалу, платформы полны солдат, они врываются в наш вагон и заполняют все пространство.

Я смотрю в окно, около него стоит военный с красивым аристократическим лицом, рядом с ним, провожающая его

молодая женщина и мальчик лет десяти. Он не отходит от отца, смотрит на него с обожанием и страхом, а отец крестит его и целует. Я смотрю на них и меня душат слезы. Почему он не берет их с собою ? Умирать — так уж вместе. Я чувствую, что он пробирается на Дон, он верит, что вернется и спасет жену и сына, и вдруг так ясно начинают звучать стихи Блока: « Плачет ребенок о том, что никто не вернется назад ». Поезд начинает двигаться, слезы катятся по лицу мальчика и с безнадежной тоской смотрит нам вслед его мать.

В купе стоит невыносимая духота. Я сижу на верхней полке и плачу. Наступила ночь, но никто не может заснуть, все молча прислушиваются к стукам и скрипам колес. Вскоре моему младшему брату делается дурно. Его прыскают водой, приводят в чувства. Моя мать просит меня отвести его на площадку, где больше воздуха. В коридоре сплошной стеной лежат солдаты, я иду по ним, ступая на их ноги, спины и животы. Мы пробираемся на площадку и жадно дышим холодным воздухом. Вокруг нас сгрудились солдаты. Мы стараемся не смотреть на них, чувствуя их недружелюбные взгляды, и мне хочется скорее уйти. Один из них стоит рядом со мною и смотрит на нас со злобою, у него широкая борода с проседью, он самый старый из них. Вдруг он начинает говорить: « Буржуи, в первом классе путешествуете, не надолго это, прошли ваши времена. А это что же, братец твой что-ли будет ? пришли воздухом подышать ? Али к духоте непривычны; теперь уж не тот первый класс, что раньше был, но скоро всех вас заставим в третьем классе путешествовать и землю пахать всех заставим, а то, верно, братика своего наукам обучать хотите, ну это все теперь не надолго ». Я сперва молчала, смотрела куда-то в сторону и думала о том, как бы нам поскорее уйти. Но потом я набралась смелости и стала с ним говорить. Я сказала ему, что мы не боимся путешествовать в третьем классе и не боимся землю пахать, но я знаю одного Андрюшку-пьяницу он всюду пешком ходит, он вероятно захочет, чтобы все тоже пешком ходили. Я сказала ему, что хотела бы, что бы в России была такая жизнь, чтобы все в первом классе путешествовали, и что мой брат хочет быть доктором, кем является и наш отец, и что если бы его сын заболел, то мой брат приехал бы его лечить и это тоже надо, как и пахать землю. Он слушает меня внимательно и серьезно и молчит, а я долго говорю ему о том, как надо бы переменить жизнь, что бы всем было хорошо и совсем не было важно, кто крестьянин, кто дворянин или купец, все мы одинаково русские люди и Россия принадлежит всем нам. Когда я кончила говорить, он вдруг повернулся ко мне и сказал: « Барышня, не побрезгуйте, пожмите мою мужицкую руку ». Голос его звучал растроганно и мягко. Я протянула ему руку и она потонула в его жесткой ладони.

«Товарищи, крикнул он, а ну-ка встаньте, пропустите барышню пройти». Солдаты, лежавшие в коридоре стали вставать, сторониться, прижиматься к стенкам, чтобы пропустить нас. На следующий день, на каждой остановке, мой новый бородатый друг приносил нам чайник с кипятком. На одной из станций в наш вагон втиснулись три женщины в длинных салопах, мы пригласили их в наше купе. Это были помещицы — бабушка, мать и дочь, их имение разграбили, дом сожгли и они решили бежать, не зная сами куда. Они угощали нас пирожками и жареными курами, и рассказывали нам о своей тихой жизни в их маленьком поместье, никогда никому они не желали и не делали зла, и вдруг какие-то неизвестные люди пришли, разграбили, сожгли все их имущество. Расставаясь с нами, они завещали нам найти когда-нибудь их имение, где под колоннами дома они закопали свои фамильные драгоценности. Они передали нам план и объяснили как их найти и где копать. Но все это было так не важно. Рушилась вся Россия, их план мы где-то потеряли.

Когда мы были уже недалеко от Донской области в наш вагон вошли вооруженные солдаты и спросили нет ли у нас оружия. «Конечно, нет» сказала моя мать. Я сидела на верхней полке, передо мною стоял мой маленький чемодан и в нем был спрятан револьвер. Моя мать ничего не знала об этом. Револьвер был старый, незаряженный, который неизвестно когда и как попал ко мне и неизвестно почему и зачем я взяла его с собою. Вдруг один из солдат указывая на мой чемодан, потребовал, чтобы я его открыла. Я медленно и спокойно стала его отпирать и открыв крышку так, что она загородила глаза солдату, я успела вынуть револьвер и сунуть его в карман. Потом я повернула чемодан к нему, он долго в нем рылся и не найдя в нем ничего, ушел от нас. Я никому не сказала тогда про этот случай, я только вся дрожала.

Через два дня мы добрались до Ессентуков. Наш дом, такой знакомый, такой близкий, где в каждой комнате была своя жизнь, встретил нас теплом и уютом. Сперва мы очень тосковали по Москве, там был центр всего, там были наши друзья, там совершались большие события. Мы чувствовали себя отрезанными и выброшенными из жизни. Но постепенно на Кавказе образовался второй центр. Здесь родилась Добровольческая Армия, здесь жило вольное казачество. Из Москвы и из Петербурга потянулись на юг все те, кто не мог примириться с большевиками, кто верил в Россию и был готов бороться за ее славное будущее. Двери нашего дома были широко открыты каждому, кто приезжал в Ессентуки. Мы были здесь свои люди, мы могли многим помочь, многих поддержать. Моя мать сразу организовала нашу жизнь. Мы, молодежь, продолжали наше учение, я готовилась к экзамену на

аттестат зрелости, занималась языками, музыкой и математикой. Моей преподавательницей по истории и литературе была Катюша Уварова, которая стала моим закадычным другом.* Раз в неделю у нас собиралась молодежь. Мы делали доклады, ставили спектакли, устраивали прогулки и жили дружной, веселой, молодой жизнью.

Мы прожили в Ессентуках два с половиной года. За эти годы гражданской войны Ессентуки были заняты то Белой, то Красной Армией. Жизнь и смерть, смерть и жизнь. И над всем — вера.

---

* Графиня Екатерина Алексеевна Уварова (род. 1896), в замужестве Пастухова, известный в Америке профессор русской литературы.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

# МОЯ ВСТРЕЧА С МОСКВОЙ в 1917 году

*Милица Лаврова*

Окончив гимназию весной 1917 года, осенью я собралась в Москву вместе с моей подругой по классу Натаней Кафьян. Мама сшила мне шубку на беличьем меху с шапочкой и муфтой, и я с трепетом предвкушала русскую зиму, которой никогда не видала, Москву и Университет. Мы должны были жить в домике священника у Драгомиловской заставы, за мостом. Меня вместе с немногими девушками без экзамена зачислили на историко-филологический факультет Университета, т.к. наша гимназия давала нам права мужских казенных гимназий.

На факультете меня сразу выбрали старостой первого курса, но никаких собраний, кроме постоянных больших студенческих сходок я не помню. Меня интересовала главным образом психология. Я ходила на лекции проф. Челпанова, но они меня не удовлетворяли. Гораздо увлекательнее были разные лекции по искусству. Но истинная любовь у меня была сама Москва, ее церкви, музеи и театры. Все свободное время я без устали ходила по улицам и переулкам Москвы, пропадала в музеях. Из церквей мне больше всего запомнилась одна торжественная служба в Храме Христа Спасителя со многими хорами и особенной, « московской » красотой служения. Чуть ли не каждый вечер я была в театре, благо студентам был льготный вход ! Больше всего я любила бывать в Художественном, с его особой атмосферой, отсутствием аплодисментов и тихо сходящимся занавесом с белой чайкой. Как будто сердце предчувствовало, что дни Москвы, старой культурной Москвы, сочтены.

После длинных насыщенных дней отрадно было возвращаться в тихий, ставший родным, домик наших хозяев, в почти провинциальную глушь Замоскворечья. Там нередко приходилось послушать удивительное речитативное пение священных народных песнопений странников, слепцов и бродячих монахов, собиравших лепту на свой монастырь.

Но постепенно университетская жизнь все больше и больше нарушалась и скоро настали дни нарастающих беспорядков и уличных боев, которые мы пережили в сравнительной незатронутости окраины города. Мы все же должны были

участвовать в ночных дежурствах вокруг дома. Когда бой кончился, я пошла в Университет и никогда не забуду зрелища, которое нашла в его залах. Там были сложены тела убитых студентов, сражавшихся против большевиков. Как обезумевшая ходила я вдоль их рядов, вглядываясь в их лица. Это были все лучшие сыны России, столько было лиц тонких, красивых — цвет нашей Родины. И как осиротевшая, я прощалась с ними за всех их матерей, сестер и невест, предчувствуя длинную вереницу других таких же верных сынов России, которые должны были последовать за ними. После этого я не могла не участвовать в их похоронах и до самого далекого кладбища шла за их простыми, некрашеными гробами, покрытыми еловыми ветками. Наверно тут я прошла, не зная их, мимо Коли, Сони и Мани Зерновых, которые стояли в цепи молодежи, поддерживающей порядок. Похороны коммунистов в красных гробах вспоминаются, как кошмарный сон.

Покинула я Москву, чтобы соединиться с моими родителями на Кавказе, лишь перед самым Рождеством. Очевидно, сообщение тогда кое-как наладилось, т.к. этого путешествия я совсем не помню.

Так и не пришлось мне видеть настоящую русскую зиму — снега в том году до Рождества было мало и сани, увозившие меня на вокзал, скребли по мостовой.

ПЯТАЯ ГЛАВА

# ПРОЩАЙ МОСКВА И НАВСЕГДА

*(Из воспоминаний М.М. Зерновой-Кульман, записанных Н.М. Зерновым)*

Шесть дней гражданской войны в Москве были страшным временем. Город был втянут в братоубийственную войну. В нашем доме в Хлебном переулке, как и в других домах, образовался комитет самоохраны. Все записались в него и по очереди дежурили у входной двери. Мне было 15 лет, я переживала это роковое время по Пушкински, повторяя его слова: « Все то, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья ». Мы с братом Володей часто выбегали из дома в наш большой двор и пересекали его. Нам доставляло острое удовольствие рисковать своей жизнью, слышать свист пуль, пробивавших деревянную ограду, отделявшую нас от соседнего сада.

Однажды, когда я сидела в нашей столовой, кусок шрапнели пробил стекло окна, он упал между двумя рамами, где мы держали провизию на холоду, и разметал сливочное масло по полу. Мама в страхе вбежала в столовую с криком: « Ты убита ? » Я же со смехом и в возбуждении ответила: « Совсем нет ! »

Я с вдохновением проводила ночные часы на дежурстве у парадного входа. Я читала « Отверженных » — Виктора Гюго, и мне казалось, что я участвую в таких же трагических событиях, какие он описывает. Один раз, уже под конец моего ночного дежурства, молодая и красивая горничная, служившая у Корали, живших над нами, попросила меня выпустить ее на улицу. Она хотела достать для своих господ молока. Я не советовала ей делать это, но она с задором ответила мне: « Я молодая, смерть не возьмет меня ». Я отперла для нее входную тяжелую дверь, и на моих глазах какой-то солдат с безумными, остановившимися глазами выстрелил в упор в нее. Пуля попала ей в живот, с каким страшным животным криком она упала у нашего порога ! Умерла она через два дня в ужасных муках.

По ночам над Москвой стояло огромное красное зарево от горевших домов, которых некому было тушить. На Тверском бульваре горел дом Ляминой, знаменитой портнихи, она была простая крестьянка, но, благодаря своему исклю-

чительному таланту, стала лучшей портнихой Москвы. Два раза к нам забегал Димка, он сражался на стороне юнкеров. В последний раз он сказал нам: « Все кончено, мы разбиты ». Мама предложила ему остаться у нас, но он отказался, так как не был уверен в людях нашего дома, и не хотел повредить нам. В эти дни я готова была отдать мою жизнь в борьбе против большевиков.

Через несколько дней после их победы в нашу квартиру ворвался еврейского вида юноша в кожаной куртке с огромным наганом в руках. Его сопровождали два русских солдата с винтовками и с несколько растерянными лицами. « Комиссар » вел себя самым угрожающим образом, он махал своим револьвером, подставлял его к лицу папы и мамы и требовал от нас сдачи всего оружия. Мама была сильно напугана. Я же, наоборот, была возмущена его поведением. У меня был маленький револьвер, я быстро спрятала его за радиатором нашего отопления. Мои родители заметили мой поступок и пришли в панику, меня же охватило такое негодование, что я набросилась на комиссара и стала кричать на него. « Как Вы смеете угрожать нам ? Вы — дурак, сейчас же уходите отсюда ». Комиссар был так ошеломлен мною, что он сразу потерял свою самоуверенность и так же быстро ретировался из нашей квартиры, как и ворвался в нее. Я чувствовала себя настоящей героиней.

Это было странное переходное время, новая власть еще не была уверена в себе. Через несколько дней после падения Временного Правительства состоялись похороны его последних защитников. Мы все были на них. День был солнечный, облака быстро неслись по светло-синему осеннему небу, то закрывая, то открывая его. Я говорила себе: « По синему небу проходят облака преходящего ». На небе и на земле была скорбная торжественность. На эти похороны собралась в последний раз вся коренная дворянская и интеллигентская Москва, все те, кто создавал русскую культуру, кто верил в либеральные идеи нашей литературы и искусства. Эта Москва пришла проводить до их могилы ту студенческую молодежь, которая погибла, защищая свободолюбивую Россию, воспетую Пушкиным. Отпевание происходило в церкви Вознесения на Никитской, там же, где когда-то венчался сам поэт.

Я стояла в цепи рядом с Соней, моей сестрой, крепко держась с ней рука за руку. Московская молодежь поддерживала порядок на улице во время похоронной процессии. Недалеко от нас стояла Каткова. Она была исключительно красива. Молодая, с бледным лицом и со светло-голубыми глазами. Ее муж был убит на войне в августе 1914 года.

За нашей цепью, напирая на нас, была густая толпа народа. Большевики хотели сорвать это прощание Москвы со своими детьми. Они пустили трамваи по Никитской, но, не-

смотря на их беспрерывные звонки, им не удалось пробиться через толпу. Наша живая цепь молодежи не пропустила их. Наконец отпевание кончилось, траурный кортеж вышел из церкви и двинулся на кладбище. За гробами шли профессора университета, множество студентов и представителей интеллигенции. Процессия пошла по Тверскому бульвару мимо Страстного Монастыря и памятника Пушкину. Это был незабываемый день, поворотный день в истории России.

Для нас это был также день прощания с Москвой. Та Москва, в которой родились мы и наши родители, навсегда сходила со сцены. Ее храмы, здания, бульвары, а главное — ее культурные водители были обречены на уничтожение. Похороны были 13 ноября, а 21 ноября мы покинули город. В эти последние дни я все же продолжала ходить в гимназию Хвостовой. Все мои подруги, как и я, были потрясены только что пережитыми событиями. Мы ощущали их как общий траур. На первом уроке истории Михаил Сергеевич Сергеев, наш любимый учитель, обратился к нам с речью. Он был очень взволнован, мы это сразу почувствовали по тому, как он порывисто вошел в наш класс. Он сказал нам: « Произошла страшная катастрофа для Москвы и для всей России. Русская интеллигенция поражена, перед нами суровое время. Мы все призваны к терпению и стойкости. Сейчас некоторые говорят о бегстве. Я считаю этот выход из трудного положения позорным. Я верю, что никто из вас не пойдет по этому пути ». Наступило молчание. Тогда я встала и заявила: « Я очень жалею, Михаил Сергеевич, что моя семья решила уезжать. Я Вас вполне понимаю, я сама никогда не покинула бы Москвы. Для меня это ужасное несчастье ». Мой учитель подошел ко мне очень близко и сказал: « Зернова, я не ожидал этого от вашей семьи ». Это был мой последний разговор с ним. Я узнала, что он покончил с собой в следующем году. Я была так взволнована его словами, что стала упрашивать моего отца оставить меня в Москве, ввиду предполагавшегося скорого возвращения остальных членов нашей семьи. Папа старался меня успокоить, уверяя, что к Рождеству мы все снова будем у себя дома. Самым поздним сроком нашего возвращения он считал весну. Он, как большинство москвичей, думал, что Ленин не сможет удержать власть больше, как на три месяца. Мама разделяла с ним его оптимизм.

В день нашего отъезда мы с Соней взяли извозчика и поехали помолиться перед иконой Нерукотворного Спаса в Дурновом переулке. Мы не могли покинуть Москвы, не сделав этого. Времени у нас было мало, но мы все же долго стояли перед этим огромным образом с его чудесным ликом Спасителя. Соня подошла к нему совсем близко, она как будто не могла оторваться от него. Я стала волноваться, зная, что нас ждут дома, но Соня продолжала стоять. Вдруг яркий

солнечный луч, пробившись сквозь облака, прямо упал на нее. Она вся просветлела и спокойно сказала мне: « Теперь я могу идти ». Мы бросились стремительно домой. Внутри себя мы нашли мир, спокойствие и счастье. Мама встретила нас с большим волненьем, допрашивала нас, где мы пропадали, но мы ей ничего не сказали.

На вокзал мы поехали вместе с Соней на маленьких извозчичьих санках. Когда мы проезжали мимо Страстного монастыря и памятника Пушкину, я горько заплакала и сказала моей сестре: « Мы никогда больше не увидим Москвы ». Соня начала меня успокаивать, говоря: « Что ты, что ты? Мы еще вернемся! »[1] Когда мы тайком проникли в еще темный и пустой поезд, неожиданно в окне появилось нежное и такое дорогое для меня лицо моей любимой подруги Веры Боянус. Я была поражена, как она одна прошла через эту жуткую солдатню и нашла нас на далеких запасных путях. Я делала ей знаки, прося ее вернуться домой, но она не уходила, смотря на меня своими любящими, красивыми глазами. Это была наша последняя безмолвная встреча.

Когда мы, после всех невероятных мытарств, наконец добрались до Ессентуков, которые показались нам земным раем, я сказала моему отцу: « Я готова сразу пройти еще раз через все испытания, чтобы только вернуться в Москву ».

## Зима 1917-1918 года

Из Москвы, потрясенной большевистским восстанием, мы попали в мирные, любимые Ессентуки. Наша мать нашла нам учителей и сама стала давать нам уроки по латыни и математике. К нам присоединились и другие учащиеся. Скоро у нас образовался кружок друзей из молодежи; Сережа Конюс, Таня Толстая, Маня Львова, Катюша Уварова, Наталья Бобринская, дававшая мне уроки по истории. В нашем доме часто бывали Чебыкины, Трубецкие, Ламсдорф, Капнисты, Новосильцевы, Дубасовы, Глебовы и Львовы. Это были все семьи, бежавшие из Москвы и Петербурга в надежде переждать революционную бурю среди казаков. Они все ютились по наемным квартирам, а наш просторный дом стал оживленным центром. По пятницам у нас устраивались лекции и концерты. Старая графиня Уварова прочла доклад по археологии, Игорь Платонович Демидов (ум. 1946), впоследствии помощник редактора « Последних Новостей » в Париже, говорил о русской культуре, Кисловский — о масонах. Мы, мо-

---

[1] Прим. Так и случилось, что обе мои сестры оказались правы: Старшая посетила Москву в 1966 г., а младшая умерла в 1965 г., не увидав России.

лодежь, увлекались гипнотизмом, устраивали спиритические сеансы, нас привлекало все мистическое и таинственное. Я прочла в кружке моих сверстников доклад о « Великом Инквизиторе » Достоевского и об « Антихристе » Владимира Соловьева; я сама выбрала эту трудную тему, а мне было тогда 15 лет. Мы начали ставить шарады, походившие больше на домашние спектакли с костюмами и декорациями. Одна из них была « Баснописец Крылов ». Эта мирная жизнь оборвалась сразу и бесповоротно — 10 марта большевики захватили Ессентуки.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

## ЕССЕНТУКИ в 1917-18 ГОДУ

*Н. Зернов*

Зиму 1917-1918 гг. мы провели на Северном Кавказе.

Странная, почти нереальная жизнь началась для нас в нашем родном доме. Все обычные связи с внешним миром стали постепенно обрываться. Мы очутились на клочке земли, на котором все еще царили тишина и порядок, и оставались вне ударов разъярившейся стихии революции, тогда как вокруг нас повсюду бушевала буря. Никакой организованной власти в Ессентуках не существовало, но в ней и не было особой нужды. В станице никто не грабил и никого не насиловал, продовольствия было вдоволь; ее многотысячное население продолжало жить по инерции, как будто не было ни мировой войны, ни большевистского захвата власти в обеих столицах. Железнодорожная связь с Москвой прекратилась вскоре после нашего приезда, но вначале поезда все же ходили до Ростова и Владикавказа. Однако и они действовали недолго. Наступило время, когда наш маленький поездок стал бегать только между Пятигорском и Кисловодском. Почта тоже закрылась, мы не получали ни газет, ни других известий. Мы не знали, что делается в остальной России, как развивается война. Мы питались лишь слухами, но они редко когда были достоверны. Весь окружающий нас мир потонул в тумане. Зато наша домашняя жизнь расцвела чудесными, неповторимыми красками.

Наш дом был полон молодежи, мы устраивали доклады, ставили спектакли, слушали музыку. Начались дружбы и увлечения, они проходили на фоне интереса к искусству и литературе. Отрезанность от университета давала мне много досуга.

Я занимался по анатомии, но главным препровождением моего времени стало чтение. В Ессентуках была хорошая библиотека, основанная моим отцом при санатории Вспомогательного Общества. Я мог читать часами, многих авторов я прочел целиком, среди них был ряд иностранных писателей в русских переводах.

Вопрос религии тоже встал перед нами; хотелось найти смысл всего происшедшего, обрести какую-то опору среди развалин зашатавшегося мира. Я приступил к чтению Библии,

начав ее с книги Бытия, и прочел ее всю до конца. Мы стали ходить в церковь. Службы в Пантелеймоновской церкви были молитвенны, они увлекали нас своей красотой. Ее настоятель, о. Иоанн Кормилин, был умный и благостный священник *. Церковь была всегда полна молящимися, пел прекрасный хор. Моей любимой службой была тогда всенощная, с ее таинственной полутьмой, мерцанием лампад и теплым огнем свечей. Сначала мы ходили в церковь, потому что нас привлекала поэзия православного богослужения, но постепенно вера, которая никогда не исчезала в нас, стала разгораться и занимать все больше места как в моей жизни, так и в жизни моих сестер.

Зима в Ессентуках очень красива. Обильный снег покрывает все своим белым саваном. Часто выпадают яркие, солнечные дни. Днем даже может быть жарко на солнце, но по ночам бывают сильные морозы. Мы любили ходить гулять в степь, шли по безбрежному, нетронутому снежному покрову. Сверху он был твердым от ледяной корки, по ней было легко и весело скользить, но иногда она ломалась под ногами, и тогда мы проваливались в снег и это особенно веселило нас. Небо было темно-синее, солнечные лучи искрились и слепили глаза.

Материально нам жилось легко, деньги потеряли свое значение, все вернулось к системе обмена. У папы развилась большая практика среди казаков, которые раньше никогда не обращались к нему за врачебной помощью. Они платили продуктами, и у нас появились мешки муки, окорока, бочонки с салом и маслом. Эта спокойная жизнь была лишь кратким затишьем перед бурей. Независимость казачьих областей оказалась недолговечной. Большевики захватили и Кубанскую и Донскую области, а затем проникли и на Терек.

---

* Он погиб в одном из большевистских лагерей.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

# КРАСНЫЙ ТЕРРОР

(10 месяцев под властью большевиков)
(10-3-1918 — 7-1-1919)

*Н. Зернов*

Советская власть заняла Ессентуки самым прозаическим образом. Старый ободранный грузовик с красным флагом, набитый до отказа вооруженными людьми, неопределенной национальности и происхождения, остановился на площади перед главным входом в курортный парк. Приехавшие из Пятигорска большевики объявили местным жителям, что отныне их станица является неотъемлемой частью советской социалистической республики. Маленькая кучка любопытных молча выслушала эту декларацию и разошлась по домам. Вновь приехавшие реквизировали гостиницу Метрополь и начали оттуда распоряжаться участью попавших в их руки людей.

На поверхности ничего не изменилось с приходом новой власти, все шло своим обычным чередом, мы вставали утром, обедали, ложились спать, все мы были заняты своим делом, отец лечил больных, брат и сестры ходили в гимназию, я занимался, читал, мать заведовала хозяйством и помогала нашему учению. У нас была прислуга, и мы не испытывали материальных затруднений. Наш дом был полон молодежи и его знакомые стены окружали нас. Но что-то безличное, темное и жуткое залило нашу жизнь. Ложась спать, мы не знали, не будет ли кто из нас арестован в эту ночь. Встречаясь друг с другом на улице, мы не были уверены, что все благополучно вернемся домой. Каждая вещь могла быть реквизирована, каждый стук у двери мог означать приход наших новых хозяев, имевших ничем не ограниченную власть над всеми нами. Мы оказались в руках людей, смотревших на нас, как на покоренных рабов, большинству же ессентучан они казались чужеземными поработителями.

Первым актом советской власти были повальные обыски у всех более зажиточных жителей. Шайки разнузданных и часто пьяных большевиков врывались в дома, требовали сдачу оружия, отнимали золото и драгоценности и искали запаса провизии. Последняя стала быстро исчезать с их при-

ходом, хотя до этого на Кавказских Минеральных Водах не было недостатка в провианте. Несколько раз они приходили к нам, рылись в наших шкафах и комодах и грозили нам репрессиями. К счастью для нас, эти начинающие чекисты были еще малоопытны в своем ремесле и нашей матери удавалось отвлечь их внимание от тех мест, где мы хранили наши запасы. Мне тоже доставляло немалое удовлетворение, что я так хорошо спрятал разобранные мною на части велосипеды, что наши завоеватели не смогли их найти.

Обыски были первым проявлением красной власти, второй и более жестокой мерой были контрибуции. Они налагались произвольно, без всякого учета финансового состояния плательщика и под угрозой немедленного ареста. Нашему отцу тоже пришлось заплатить крупную сумму. Жители старались всеми способами защититься от вымогателей. Так, один наш знакомый уплатил свою контрибуцию чеком, выданным им на банк, уже ликвидированный той же советской властью в Петрограде.

За контрибуциями последовала уже подлинная страшная угроза самой жизни, большевики начали арестовывать заложников, из числа « врагов народа ». Сперва таковыми оказались, главным образом, местные жители, несколько лавочников и более видных казаков. К ним же был причислен и грузин-аптекарь, меньшевик и бывший комиссар Временного Правительства. Заложников увезли в Пятигорск. Все недоумевали о причинах заключения этих мирных и никому не опасных обывателей и ожидали их быстрого освобождения, но оно не последовало. Вместо него появились на улицах прокламации, извещавшие население, что все заложники были ликвидированы в порядке проведения классовой борьбы. Эти плохо и наскоро отпечатанные листки серой бумаги перевернули для нас страницу истории, мы вступили в эпоху красного террора и тоталитарного строя.

Трудно передать тем, кто не пережил это на своем опыте, ощущение человека, попавшего в категорию лиц, подлежавших уничтожению ради достижения или коммунистической или нацистской утопии. Смерть в этом случае не является наказанием за какой-нибудь личный поступок. Она обуславливается происхождением жертвы [1].

Думаю, что евреи в гитлеровской Германии испытали то, что было нашим уделом под властью коммунистов на Северном Кавказе в 1918 году.

---

[1] Примечание. Латыш Лацис, верный сотрудник Ленина и один из основателей Че-Ка, так формулировал задачу террора: « Мы не уничтожаем единицы, а буржуазию, как класс. Не заботьтесь о доказательстве преступной деятельности или о показаниях обвиняемых. Их судьба определяется тем, к какому классу они принадлежат ». См. Новый Журнал. № 91 стр. 297.

Мы были вырваны из христианского мира, признающего личную ответственность и ценность каждого человека, и отброшены в до-христианский мир обожествленных вождей и покорных, безличных масс [2]. Впоследствии систематическое истребление « паразитов » и « врагов народа », ставшее обычным в коммунистических странах, притупило совесть человечества, но в 1918 году эти « сакраментальные » убийства, которые должны были быть « прыжком из мира необходимости в царство свободы » по учению Маркса, были новинкой и они производили потрясающее впечатление.

Число заложников стало постепенно расти, в их роковой круг начали втягиваться и приезжие из столиц. Наш отец подвергался большой опасности: он был либерал, общественный деятель, много сделавший для улучшения жизни в России, такие люди уничтожались большевиками в первую очередь. Еще в начале оккупации, красноармейцы приходили за ним, но тогда наша мать сумела убедить их отсрочить его арест. Вскоре после этого санаторий, основанный моим отцом, был обращен большевиками в лазарет, и он стал работать там, как главный врач. Началась эпидемия тифа, врачей не хватало. Несмотря на это коммунисты решили ликвидировать и отца как « врага народа ». Когда они пришли за ним, он уже лежал без сознания в сыпном тифе. Красные сочли ненужным расстреливать обреченного на смерть больного.

Среди всех этих жертв красного террора неизгладимое впечатление произвела на нас гибель молодого графа Гавриила Бобринского. Он был высокий, жизнерадостный юноша 19 лет, беззаботно разгуливавший по улицам Ессентуков в своей черной черкеске. Арестовали его случайно, во время одной из бесчисленных облав. Сначала его посадили в дом, обращенный во временную тюрьму. Мы его видели на балконе, беспечно болтавшего со своей стражей. Это случилось в начале террора, и его семья поняла серьезность положения, только когда его увезли в Пятигорск. Его мать, старая графиня Бобринская, известная общественная деятельница, носившая прозвище « Товарища Варвары », помчалась выручать сына. Красный следователь оказался евреем, он отрекомендовал себя студентом-юристом. Он потребовал крупной суммы выкупа и назначил срок в три дня. Графиня не имела денег, но ей удалось с большим трудом собрать их среди знакомых. Мой отец тоже помог ей. Однако следователь, убедившись, что мать деньги достала, потребовал дополнительного взноса, назначив для него предельный срок в два

---

2 Примечание. Борис Пастернак, в следующих словах, говорит о том же: « С христианством вожди и народы отошли в прошлое, личность, проповедь свободы пришли им на смену. Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью ». (Доктор Живаго стр. 423).

дня. В назначенный день несчастная графиня снова была с выкупом в его приемной. Молодой человек внимательно пересчитал деньги, похвалил мать за точность, спокойно положил их в ящик своего стола и так же спокойно заявил, что ее сын был расстрелян накануне.

Красный террор не знал пощады, обычные правила чести не применялись в классовой борьбе, всякий обман был оправдан. [3]

Жизнь каждого из нас оказалась в руках никому не известных проходимцев, случайно попавших на Северный Кавказ. Среди них почти не было терских казаков, зато многие были или преступники или садисты, потерявшие душевное равновесие во время войны и революции. Они управляли нами от лица пролетариата, не существовавшего в нашей области. Верховная власть принадлежала комиссарам, присланным из Москвы.

В Пятигорске таковым был юнец, поляк Анджиевский. Он с яростью избивал заложников, в особенности офицеров. В ночь 18 и 19 сентября 1918 года по его приказу было отрублено 155 голов у заложников. Палачи работали при свете костров. Среди убитых были два героя германской войны генералы Рузский и Радько-Дмитриев. Через девять месяцев в том же Пятигорске военно-полевой суд Добровольческой Армии слушал дело о « рядовом из мещан, католического вероисповедания, 24 лет, — Анджиевском ». Его поймали в Баку в тот момент, когда он садился на пароход, отходивший в Энзели. До своей неудачной попытки бежать в Персию, Анджиевский, в синих очках кутил в шантанах, метал банк в казино и покупал ковры и валюту *.

В Кисловодске царили Аксельроде и Александр Ге со своей красавицей супругой. Это была необычайная пара, непохожая на большинство комиссаров. Они производили впечатление культурных людей. Ксения Ге была певицей и интересовалась искусством. Она устраивала у себя приемы. Но все это однако не мешало московским комиссарам создать застенок в особняке Тер-Погосова, соседнем с их домом, где убивались заложники. В Кисловодске, не все обреченные на уничтожение жертвы погибали. Некоторые из них, вовремя отдавшие свои драгоценности красавице комиссарше, получали возможность бегством спасти свою жизнь. Супруги Ге не успели скрыться до прихода казаков. Ксения была присуждена к повешению. Перед смертью она попросила выкурить папиросу. Ее последние слова были: « сегодня мы, а

---

[3] Примечание. Согласно учению Ленина, нравственность всецело подчинена интересам классовой борьбы. Морально все то, что способствует победе пролетариата. Сочинения Ленина том 31, стр. 72, 66 - 68. Москва 1941-50. 4-ое издание.

* А. Ветлугин. Авантюристы гражданской войны. Париж 1921, стр. 34.

завтра вы». Советская власть увековечила ее память, поставив ей памятник в кисловодском парке.

Ессентуки, находясь между Пятигорском и Кисловодском, были предметом соревнования между этими центрами. Одно время нами владели две соперничавшие банды большевиков, которые занялись систематическим грабежом местных жителей. Каждую ночь, шайка грязных озверевших людей, окружала один из домов, сгоняла всех жителей в одну комнату и до чиста обирала их. Попытки сопротивления карались смертью, как контр-революция.

Ессентучане все же придумали своеобразную защиту. Когда грабители нападали на дом, то дежурные члены самоохраны старались поднять тревогу. Тогда все соседи выбегали наружу и производили невероятный шум и гвалт. Одни кричали, другие свистели, третьи били в кастрюли. Этими душераздирающими звуками жители старались защитить себя. Иногда это удавалось, каждая банда боялась другую, т.к. они не смогли поделить между собой районы станицы.

В течение нескольких недель мы все несли это ночное дежурство. Сидя в холодном саду, я переживал мучительные часы ожиданий, не послышатся ли где-нибудь крики о помощи, не окажется ли наш дом очередной мишенью грабителей. Эти изнурительные бдения давили не только страхом насилия, но еще более сознанием нашей общей беспомощности перед лицом наших гонителей, называвших себя представителями законной, народом избранной власти. Думаю, что это чувство обреченности является одной из причин того паралича воли к сопротивлению, которое столь часто наблюдается у жертв тоталитаризма.

В дни, когда происходила борьба между двумя шайками, наша семья пережила драматическую ночь. Однажды, около семи часов вечера, незадолго до ужина, я услыхал крик моей матери. Я бросился вниз в столовую, то же сделали другие члены нашей семьи. Сбежавшись вместе, мы оказались в плену у вооруженных людей. Они приказали нам сесть в ряд и соблюдать полное молчание. Три мрачных субъекта уселись против нас, направив на нас свои наганы. Начальник шайки заявил нам, что они не намереваются покончить с нами, а, наоборот, пришли защищать нас от нападения других разбойников. Начались часы ожидания решения нашей участи. У каждого из нас, наверное, проносились в голове те же мысли: попали ли мы в ловушку, или эти люди действительно не собираются убивать нас? Я лихорадочно строил всевозможные планы, как бы дать знать другим о том, что случилось с нами, но ни один из этих планов не представлялся практичным. Глядя на бесконечно дорогие лица моих родных, я утешал себя, что если нам предстояло погибнуть в эту ночь, то во всяком случае мы умрем все вместе. Так

тянулось время до полуночи. Около 12 часов высокий кавказец, увешанный оружием, вошел в нашу комнату и приказал его людям следовать за ним. Они исчезли так же бесшумно, как и вошли в наш дом. Мы были потрясены и озадачены. Мы так и не узнали, кто были эти ночные посетители и какова была цель их прихода.

Период ночных грабежей кончился внезапно. Из Пятигорска прибыл отряд красноармейцев, он ликвидировал местных бандитов. После этого все аресты и убийства стали происходить по приказу из центра. Ессентуки погрузились в кровавый туман, террор все ожесточеннее бил, и часто вслепую, свои невинные жертвы. Вскоре сыпняк начал косить население. Сначала люди умирали десятками, а потом и сотнями, их не успевали хоронить. Когда наш отец был позван к первому тифозному больному, я спросил его об этой дотоле неизвестной мне болезни. Он назвал ее смертельной. Слушая его, я не представлял себе, что мы оба перенесем ее, а я, кроме сыпного, еще получу и возвратный тиф.

Наступила страшная, холодная зима. Я старался, по возможности, не выходить из дому. Наша семья слилась в нераздельное целое. Упование на Божью помощь согревало нас. Мы старались в то же время морально и материально помогать нашим друзьям и знакомым. Среди казаков все больше росло недовольство их новыми красными хозяевами. Вольнолюбивые и привыкшие к самоуправлению казаки не могли долго терпеть насилия приезжих комиссаров. Еще летом, более решительные среди них стали уходить в отдаленные станицы и образовывать там партизанские отряды. Один из них захватил на несколько дней Кисловодск (15-27 сентября) и спас многих заложников. Однажды, несколько смельчаков, в папахах с белыми повязками, промчались по главной улице мимо нашего дома. Но все это были лишь отдельные и плохо организованные попытки к сопротивлению, не обещавшие успеха.

Мы были совершенно отрезаны от мира и не имели ясного представления ни о ходе войны, ни о том, что происходит внутри России. Некоторые наши знакомые надеялись на немцев, занявших к тому времени Украину. Большинство же считало, что только победа союзников вернет свободу России. Наконец до нас дошло известие, что война на западном фронте кончалась поражением Германии, Австрии и Турции. Все ободрились духом и стали гадать, как это событие отразится на нашем бедственном положении. Самые фантастические слухи поползли отовсюду. Говорили, что союзники прислали вооружение казакам. Нашлись очевидцы, которые видели даже танки в стане Белых. Рассказы о них производили особенно сильное впечатление, так как никто ничего точно не знал об этом устрашающем орудии. Многие ожидали, что

мощная и прекрасно оборудованная белая армия идет освобождать нас. Главным источником всех этих слухов были базарные торговки, непримиримые враги большевиков. Эти обнадеживавшие сведения стали постепенно подтверждаться некоторыми бесспорными фактами. Мы узнали, что соседние с нами станицы Бекешевская, Суворовская, Баталпашинск и Бургустан освободились от красных и туда начали перебегать молодые казаки из Ессентуков. Наши Московские друзья ушли туда же, но я не решился сделать этого, чтобы не подвергнуть еще большей опасности мою семью, мы были на виду у всей станицы.

Так жили мы, то окрыляясь надеждой, то охватываясь опасениями, что все рассказы о мощи белых лишь фантазии базарных торговок. Меня лично особенно одолевало одно недоумение: если казаки действительно хорошо вооружены, то почему они не занимают Минеральные Воды. Ведь было ясно, что банды красноармейцев могли терроризировать беззащитное население, но не представляли серьезной военной силы.

Наступило Рождество 1918 года, на второй день праздника наш отец заболел сыпным тифом. Нас всех охватила смертельная тревога, выдержит ли он эту страшную болезнь. Одновременно с этим несчастьем, фронт вплотную приблизился к нам. Из глубины занесенной снегом степи слышались далекие, но отчетливые удары полевых орудий. Казаки начали свое наступление, весь вопрос теперь был — успеют ли они прийти раньше, чем большевики расправятся с нами?

Второго января 1919 года в день памяти Преподобного Серафима Саровского (1759-1833), под покровом ранних сумерек, Ессентуки были заняты казаками. Среди них были и наши московские друзья. Они остановились на ночь у нас. Радость свидания была омрачена не только болезнью отца, но и известиями, принесенными ими. Никаких танков у казаков не было и в помине, они были малочисленны и плохо вооружены, и не могли пробиться к нам до сих пор не по соображениям высшей стратегии, как о том рассуждали досужие знатоки военного дела, а просто потому, что у них не было для этого достаточной силы.

Первое занятие Ессентуков продолжалось меньше суток. Красные подтянули подкрепления из Пятигорска и принудили казаков оставить станицу. Вернувшиеся большевики с яростью обрушились на население, но на этот раз их владычество было недолговременным. Седьмого января, новым ударом, генерал Шкуро (1886-1946) выбил коммунистов из всего района Минеральных Вод. * За этим последовало осво-

---

* А. Г. Шкуро. Записки Белого Партизана. Буэнос-Айрес. 1961.

бождение всего Северного Кавказа и эта свобода длилась до марта 1920 года.

Таков был наш незабываемый опыт десятимесячной жизни под красной пятиконечной звездой, символом только что рождавшегося советского тоталитаризма. Он обрушился на нас в своей самой примитивной форме, в виде красных банд, грабивших и убивавших мирное население. Но за этим стихийным разгулом стояла уже идеологически оформленная система партийной диктатуры. Несмотря на кратковременность нашей жизни под большевиками, мы пережили в Ессентуках подлинную встречу с советским строем. То моральное отталкивание от него, которое родилось у нас при первом соприкосновении с ним, было вначале более инстинктивно, чем продумано... Сознательное отрицание ленинизма созрело у нас позже, по мере вхождения в церковь. Она помогла нам увидать коренное противоречие между христианством, с его учением о свободе и ценности каждого человека и той псевдо-религией, которую большевики создали в России на основе марксизма.[4]

---

[4] Прим. См. Приложение Второе стр. 355.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

# ТОВАРИЩ ШКУРИН

*С. Зернова*

После большевистского переворота многие представители русских культурных классов и аристократии решили бежать на Северный Кавказ. Заняв Кавказ, большевики особенно жестоко с ними расправлялись. Я была потрясена всем, что я видела вокруг. Неужели в мире нет справедливости, нет правды ? За кого я могла ухватиться ? Где найти силы ? Я больше не могла так жить. Я должна была найти Бога. Я решила пойти к священнику. Я думала: « пойду к священнику, о нем говорят, что он « замечательный », спрошу его — верит ли он в Бога, посмотрю, что он мне ответит ».

Я пришла к Отцу Иоанну Кормилину и позвонила в дверь. Он сам мне открыл. Я никогда этот день не забуду. Он стоял передо мной и смотрел на меня внимательно и участливо своими темными, проникающими в сердце глазами.

« Вам что-нибудь надо ? » тихо спросил он.

« Да, я пришла, чтобы спросить у Вас . . . я хотела бы знать . . . верите ли Вы в Бога ? »

Он не удивился, не возмутился, он ответил все тем же тихим голосом, только его глаза как будто смотрели уже не на меня, а куда-то в глубину, вероятно в свое собственное сердце.

« Да, я верю в Бога ».

И мне вдруг ужасно захотелось плакать. Как будто мое сердце говорило мне: « как ты смееешь, ты дерзкая и глупая, ты спрашиваешь у священника, который отдал всю свою жизнь Богу, ты смеешь спрашивать у него — верит ли он в Бога ? »

И с зажатой в сердце тоской, я ему дерзко и цинично сказала: « я не думаю, что можно верить, но если Вы действительно верите — то научите меня, я ищу и не могу найти, я многих спрашивала и никто не может научить, может быть, научите Вы ? »

Он увел меня к себе. Он спросил меня — сколько времени я буду искать Бога ?

« А сколько времени Его надо искать ? »

« Всю свою жизнь », сказал он, « всю свою жизнь, до последнего Вашего издыхания, тогда Вы найдете Его. Мно-

гие ищут месяц или два и потом считают, что это не их вина, если они не нашли Бога, но когда человек ищет своего Создателя, он должен искать Его всю свою жизнь ... »

Я слушала его и перед моими глазами вдруг встала эта моя неизвестная, зовущая и, как мне казалось, прекрасная моя жизнь. Я увидала себя в ней, идущей по незнакомым тропинкам, в поисках Бога. В молодости зовет все большое; искать до последнего издыхания, всю жизнь, — я только вступала в нее тогда.

Я ничего ему не ответила, но я знала, что уйду от него не такой, какой пришла.

Он сказал, чтобы я исповедовалась и причастилась. Мне это было трудно. Я не хотела этого. Но я все-таки пошла. Во время исповеди я опять была дерзкой и вызывающей. Я говорила ему, что для меня причастие — это только « хлеб и вино », и что в молитве сказано, что если принимаешь без веры, то совершаешь еще больший грех. Или молитва лжет или он толкает меня на еще больший грех ?

Он слушал меня с какой-то особенной тишиной. « Молитва не лжет », сказал он, « принимать причастие без веры, это еще больший грех, но этот Ваш грех я беру на себя ».

« Я не хочу. Я сама несу свои грехи, я не хочу передавать Вам, и потом я вообще не верю, что можно передать грех ».

« Хотите вы, или не хотите », сказал он, « но этот Ваш грех я беру на себя ».

И я в глубине души знала о величии его духа. Я стояла перед ним жалкая, ничего не смыслящая и старалась показать свою независимость и гордыню.

Я причастилась, и на следующий день, с торжеством, пошла сообщить ему, что ничего не случилось, что « никакая вера не спустилась с небес в мою темную душу ».

« Приходите в церковь на каждую службу », сказал он, « приходите к началу и оставайтесь до конца ».

« Мне это скучно, я ничего не понимаю, я стою и рассматриваю публику, критикую ее или думаю о другом ».

« Боритесь с этими мыслями и повторяйте Иисусову молитву, говорите: « Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную », или другую: « я самая темная, я самая грешная, слава, слава Тебе, Господи ».

Я стала делать так. Мне казалось, что для меня это — гимнастика воли, стоять полтора часа и повторять ничего не значущие для меня слова. Мои мысли, большею частью, были далеко от церкви, но я повторяла Иисусову молитву с упорством, хотя и с внутренним протестом. « Когда-нибудь », думала я, « я расскажу своим друзьям, что я испробовала все, чтобы найти веру, и все же не нашла ее ».

Я не помню сколько недель прошло так, может быть

— 4, может быть — 5. Я приходила в церковь каждую субботу и каждое воскресенье. Я приходила к началу службы и оставалась до конца. Я как-то привыкла к Иисусовой молитве, она проникала в меня, и хотя я и повторяла ее механически, она больше не была мне трудна.

Однажды, в субботу, во время всенощной, когда хор пел « величит душа моя Господа », я не знаю — как это случилось, но я почему-то стояла на коленях и плакала. Я знала, что это по молитвам Отца Иоанна Кормилина, по молитвам того священника, который взял мой грех неверия на себя. Я плакала от невыносимого счастья, от света и веры, наполняющих меня. Мне было тогда все равно — жить или умереть, потому что я знала, что большего счастья не существует. Об этом трудно писать. Я думаю, что если самому через это не пройти, то понять невозможно. Это — прикосновение Благодати Божией. Почему-то, в также минуты, особенно ярко сознаешь, что нет разницы между жизнью и смертью, все равно — жить или умереть, и то и другое — одинаково прекрасно.

После службы я ушла в парк. Я ходила по темным аллеям, была весна, пахло распускающимися листочками, мягкий, весенний воздух касался моего лица. Я не могла остановить слез. Это были слезы любви и блаженства. Я любила все, каждую веточку, каждое дерево, каждого человека, которого я встречала или могла встретить на моем пути.

Только через несколько дней я пошла к Отцу Иоанну. Он посмотрел на меня и понял все. Я плакала, целуя его благословляющую руку и он не удерживал моих слез.

Так началась моя новая жизнь. Ее центром была церковь. Каждое слово церковной службы было ниточкой, связующей с Богом. После литургии я оставалась на все панихиды, на все молебны, и всего было мало. Днем я проводила целые часы одна в своей комнате, читая Евангелие и повторяя Иисусову молитву. Мое сердце пело и ликовало.

Я знала, что так не может продолжаться всегда, но я знала также, что то, что я испытала, не сможет изгладиться, запомнится мною на всю жизнь.

Однажды меня поразили слова в Евангелии: « раздай имение свое и следуй за мной ». Мне казалось, что эти слова обращены ко мне. У меня не было имения, но у меня были мои золотые вещи, мои « драгоценности ». Я решила отнести их Отцу Иоанну, чтобы он отдал их бедным. С какою радостью я собирала все подаренные мне родителями вещи, мои золотые часы, кольца, браслеты. Я сложила все в серебряную, старинную коробочку и понесла Отцу Иоанну.

Я помню, как он выслушал меня, взял мои вещи, подержал в руке и отдал мне обратно.

« Сказано также в Евангелии », сказал он, « милости хо-

чу, а не жертвы »; Вы не готовы еще, чтобы отдать все. Если Вы отдадите сейчас Ваши вещи — могут быть три результата: или Вы, придя домой, пожалеете о сделанном, или Вы скажете себе: « какая я хорошая », или Вы будете ждать знака с неба и говорить себе: « другие ничего не отдали и жизнь их идет так же, как моя, как будто Бог не увидел того, что я сделала, не оценил . . . » Вы успеете все отдать, но Вы раздадите тогда, когда Ваша любовь к ближнему будет так сильна, что Ваша правая рука не будет знать, что делает левая . . . »

Почти в то же время, другими путями пришли к вере мой старший брат и сестра. Я помню день, когда мой брат позвал нас в свою комнату. Мы называли ее « комната с балконом ». С этого балкона был виден Эльбрус, с его двумя белоснежными вершинами. Я помню то особое чувство, как бы предчувствие чего-то таинственного и зовущего, с которым я приходила в детстве на этот балкон, чтобы увидать Эльбрус.

Мой брат сказал мне и моей сестре, что он нашел Бога и это изменило и осветило всю его жизнь. Я никогда не забуду то счастье, которое охватило нас троих. Теперь мы все вместе, каждый день, бывали в церкви. Мы встретили там молодежь, которая, как и мы, приходила на все службы. Очень быстро мы все познакомились, у нас образовался свой кружок молодежи, мы уходили все вместе на прогулки в степь и там читали вслух Священное Писание, мы помогали друг другу и заражали других своим горением.

Кроме молодежи, были еще люди в церкви близкие мне. Особенно хорошо я знала высокую даму с карими глазами, она обыкновенно приходила с одним или двумя маленькими мальчиками — своими сыновьями. Меня поражала горячность ее молитвы, она часто стояла на коленях, клала земные поклоны и, казалось, не замечала никого вокруг. Я старалась встать рядом с ней и ее молитва помогала моей. Был еще один молодой человек, с тонким лицом и очень черными глазами. Приходя в церковь я всегда смотрела вокруг, чтобы удостовериться — здесь ли он. Он вероятно тоже знал меня, и когда наши глаза встречались, мне казалось, что его взгляд говорил мне: « как хорошо, что ты пришла, ты моя сестра, мы стоим вместе перед Богом ».

Один раз, когда я выходила из церкви, на нижней ступени лестницы стояла « та » дама. Я сразу почувствовала, что она ждет меня. Она смотрела на меня своими внимательными, ласковыми глазами. Во всем ее облике было так много мягкости и тепла.

« Я вас так хорошо знаю по церкви » сказала она, « как вас зовут ? » Я назвала свое имя.

« Пойдемте ко мне, мне хочется многое рассказать Вам ». Я пошла к ней. Это была княгиня Катя Голицына († 1940).

Она говорила мне о своей вере, о том как она стала православной, но больше всего — рассказывала мне о святом Серафиме. Она раньше была протестанткой, она с мужем жила в Петербурге, бывала при дворе и, после революции, они решили бежать на Кавказ. Сперва они поселились в Кисловодске. Сама Катя всегда верила в Бога, но не жила верой и мало задумывалась над религиозными вопросами. Только приехав в Кисловодск, потрясенная всем, что ей пришлось пережить, она стала сознательно искать ответа на многое, что ее мучило. Однажды она видала во сне маленького, сгорбленного старичка, который ласково смотрел на нее и говорил: « иди за мной ». Она рассказала этот сон своему мужу, но он не обратил на это внимания. К ее великому изумлению, на следующую ночь она опять видала тот же сон, и на третий раз опять. В этот день она пошла гулять со своим маленьким сыном. Вдруг пошел сильный дождь. Мальчик стал тянуть ее спрятаться от дождя в церковь. Она вошла в нее. Первое, что она увидала — была большая икона и на ней тот сгорбленный старичок, которого она три ночи подряд видала во сне. Не задумываясь ни минуты, она сразу пошла к священнику, рассказала ему свой сон, узнала, что « старичок » был Святой Серафим, и через несколько дней перешла в Православие. Теперь она была пламенно верующей, и церковь занимала главное место в ее жизни.

Катя дала нам читать « Великое в Малом » Нилуса и еще другие книги о Святом Серафиме. Он стал самым близким Святым для меня и для всей нашей семьи, и я навсегда благодарна ей за это.

Вскоре Кавказ был занят красными. Наступили страшные, темные дни владычества большевиков. В городе был террор, их банды врывались в дома, арестовывали и расстреливали без суда. После 7 вечера и до 9 утра населению было запрещено выходить на улицу. Наш дом был на виду. Мы ждали их с минуты на минуту. Кого заберут ? Что поставят в вину ? Будут ли искать моего отца или брата ? Мне было 18 лет, мне так хотелось жить, так хотелось любить весь мир. Мы держались только за Бога, только за Церковь. Рано утром мы перелезали через забор (калитка по правилам была еще заперта) и шли к обедне. Мы знали, что это опасно, моя мать так волновалась, когда нас не было дома, мы старались скорее вернуться, но без церкви мы не могли жить.

Мы были на Кавказе на особом положении, мы не были « беженцами », у нас был свой дом, а главное — много запасов провизии. Моя мать часто поручала мне носить нашим друзьям и знакомым что-нибудь из этих запасов — рис, сахар, муку. Это были дни беспросветной тьмы и большого света.

Один раз я шла к графине Капнист. У нее было пятеро детей, они тогда очень нуждались, я носила им все, что могла.

Около их дома я встретила какую-то женщину. « Уходите скорее », сказала она, « графа только что забрали, сейчас там обыск, могут забрать и вас ». « Графа забрали . . . » — мы знали тогда, что значат эти слова. Его взяли заложником. Каким заложником ? За что ?

Через месяц, из развешанных на стенах афиш мы узнали, что группа « контрреволюционеров-заложников » была расстреляна прошлой ночью. Среди них было имя графа Капниста. В то же утро я встретила в парке двух мальчиков — его сыновей. Они шли веселые и беспечные, увидав меня они сказали, что у них « все хорошо, что им обещали, что их отца выпустят, и они надеялись, что это будет сегодня или завтра ».

« Идите лучше домой и не оставляйте вашу мать », сказала им я. Я думаю, что у меня было мучительное выражение лица, они посмотрели на меня испуганно и кинулись бегом домой.

Я шла и плакала. Что сделать ? Как утешить ? Чем помочь ? Потом Ессентуки были захвачены какой-то другой бандой во главе с красным командиром Шкуриным. Начались новые обыски, новые реквизиции, грабежи и расстрелы. С этим Шкуриным у меня связано одно воспоминание, в нем страх и свет.

Однажды, после церкви, ко мне подошла Катя Голицына.

« Соня, милая, пойдемте ко мне », сказала она, « Вы одна моя надежда, я должна с вами говорить ».

Я пришла к ней. Она сказала мне, что накануне был арестован ее племянник, что его отвели в штаб Шкурина, что надо было действовать быстро, чтобы его спасти. Ей сказали, что единственно кто мог проникнуть к Шкурину — это молоденькая девушка, других он не принимал.

« Вы смелая, Соня », говорила мне Катя, « Вы одна можете помочь, пойдите к нему, попросите его, выдумайте что-нибудь, скажите, что это недоразумение, что он бедный учитель, что он не родственник наш, что у него друзья в Кисловодске, попросите перевести его туда. Если он будет там, его освободят за выкуп, я знаю там людей . . . »

« Хорошо, я пойду ».

« Неужели это правда ? Соня, голубушка моя, неужели вы пойдете ? » говорила она. « Но я не пущу Вас одну, я попрошу пойти с Вами старую княгиню Горчакову, она сейчас у меня, если ее не пропустят к Шкурину она подождет Вас на дворе его штаба, я знаю она мне не откажет ».

Княгиня Горчакова согласилась пойти со мной, хотя она очень боялась, я тоже боялась, я не думала, что я была смелая, но я уповала на Бога и я знала, что я должна была пойти, другого выхода не было.

Мы шли быстро и молча. Я мысленно повторяла фамилию ее племянника и все то, что я должна была о нем сказать.

Мы подошли к штабу. Весь двор был полон красноармейцами, они сидели группами или лежали прямо на земле. Всюду валялись пустые бутылки от вина и водки. Вид у всех был распущенный и пьяный. Я решительно пробиралась среди них. Княгиня Горчакова мне очень мешала, она испуганно вцепилась мне в рукав и мне приходилось тащить ее за собою, кроме того, у нее было выражение такой паники на лице, что солдаты стали обращать на нее внимание. Когда мы подошли к дому, она не выдержала; у нее от страха отнялись ноги и она села прямо на землю. Я оставила ее там и пошла одна.

Около « штаба » собрались, вероятно, любимые опричники Шкурина, они были так разнузданы, что на одно мгновение я заколебалась — не уйти ли мне, пока не поздно. Но уйти уже было невозможно. Они смотрели на меня и на сидящую на земле княгиню с удивлением и интересом. Я обратилась к одному из них и спросила, где бы я могла видеть товарища Шкурина, т.к. у меня « к нему дело ».

« Сама пришла ? » пьяно смеясь, ответил он. « Иди, иди к нему, он покажет тебе дело, он таких любит, а не понравишься — возвращайся к нам, у нас до тебя тоже дело найдется. А эта что ? », спросил он указывая на княгиню, « Товарищ Шкурин помоложе любит, она тоже с делом к нему ? »

« Я не иду, я ухожу, я подожду на улице », быстро проговорила княгиня и сразу вскочила и бегом кинулась к выходу. Солдаты провожали ее смехом и гиканьем. Я воспользовалась тем, что их внимание было отвлечено ею, и стала быстро пробираться по заполненной солдатами лестнице.

Я дошла до комнаты товарища Шкурина. Перед его дверью стоял караул из двух солдат с винтовками. Эти не были пьяными. Я повторила, что у меня к товарищу Шкурину дело. Они посмотрели на меня недоверчиво и не торопились впустить меня. Я долго ждала. Я знала, что Катя за меня молится и я старалась не бояться. Но я все-таки боялась, ужасно боялась.

Потом один из них сказал мне: « иди », открыл дверь и втолкнул меня в комнату. Комната была маленькая и вся заваленная бумагами и разного размера винтовками и револьверами . . . Шкурин почему-то стоял посередине. Он как будто не замечал меня. Я с изумлением его рассматривала. Он был высокий и молодой, одетый в светло-розовые атласные шаровары и небесно-голубого цвета шелковую гимнастерку, я таких еще никогда не видала. Но больше всего меня поразили его глаза, совершенно бесцветные, стеклянные, напоминавшие рыбу. Он смотрел на меня и как бы меня не видел.

« У меня к Вам дело, товарищ Шкурин », начала я,

« ваши люди по ошибке арестовали одного бедного человека, он служит учителем в одной семье, это Наумов. Я пришла сказать Вам, что это, вероятно, ошибка, он раньше был больной чахоточный, он оттого приехал из Москвы, у него в Москве осталась мать, она просила позаботиться о нем, только здесь некому позаботиться, я пришла попросить Вас перевести его в Кисловодск, там у него есть друзья, они будут посылать ему еду в тюрьму, а здесь он один ».

Шкурин смотрел в упор мне в глаза своим стеклянным, ничего не понимающим взглядом. Я опять повторила ему мою историю.

Наконец, медленно выговаривая слова, он произнес: « Наумов — ты сказала ? Кто он тебе ? »

« Никто », быстро проговорила я. Он улыбнулся, вернее — оскалил зубы, без выражения, без мысли.

« Иди за мной », сказал он.

Он повел меня по длинному, грязному коридору, поднялся по темной лестнице и остановился у какой-то двери. Вынув из кармана связку ключей, он отпер дверь, грубо втолкнул меня в комнату и вновь запер за мною дверь. В комнате было полутемно, она освещалась только маленьким люком в потолке. Я не сразу заметила, что в противоположном углу сидел на полу человек. Он обхватил колени руками и пристально смотрел на меня. Я подошла ближе и вдруг увидала его взгляд, его черный, прямой, блестящий, восторженный взгляд. Это был тот человек, которого я знала по церкви. Так вот кто он ? Это он, племянник Кати, которого она просила меня спасать ? Я быстро подошла к нему. « Вы меня не знаете », сказала я. Я так старалась, чтобы мой голос звучал спокойно и весело, я чувствовала инстинктивно, что только так я должна была говорить с ним. « Вы меня не знаете, но меня просили Ваши друзья похлопотать за Вас, потому что Вас арестовали по недоразумению, ведь не арестовывают бедных учителей, да еще больных чахоткой, я объяснила это товарищу Шкурину и просила перевести Вас в Кисловодск, там у Вас есть друзья и они могли бы приносить Вам еду, пока не выяснится Ваше дело. Я надеюсь, что товарищ Шкурин это сделает, я только для этого пришла, а товарищ Шкурин привел меня в Вашу комнату, он, вероятно, хотел, чтобы я Вас успокоила, чтобы сказала Вам, что о Вас хлопочут, чтобы Вы не заболели, как болели раньше ».

Потом я подошла к двери. Мои глаза встретились с стеклянным, мертвым взглядом, устремленным на меня через просверленную в двери круглую дырку. Мне было так страшно, так мучительно страшно. Я весело постучала в дверь.

« Товарищ Шкурин », сказала я, « отворите, пожалуйста, дверь, мне теперь пора идти, меня ждут дома, отворите пожалуйста, товарищ Шкурин ». Он отворил.

« До свиданья », сказала я Наумову и, стараясь не бежать, стала спускаться по лестнице. Шкурин догнал меня. Я еще раз попросила его не забыть перевести Наумова в Кисловодск.

« Дай мне твой адрес », сказал он, « я зайду к тебе ».

« Приходите, конечно; мой отец и мать будут рады встретить вас, мы угостим вас чаем, у нас есть чай », сказала я и быстро написала ему адрес, который я тут же придумала. Я протянула ему руку. Я не знаю, как и почему он выпустил меня. Я не знаю, почему на следующий же день он перевел Наумова в Кисловодск, может быть, в каждом человеке — даже в садисте — есть капля добра, только надо в это верить.

Я старалась медленно и спокойно пройти мимо его наглых солдат, я сказала им, что товарищ Шкурин обещал мне помочь, я каждому из них сказала « до свиданья », но когда я была на улице, когда я повернула в переулок, я так бежала, так бежала, и мне казалось, что они все сейчас погонятся за мной. Княгиня Горчакова не дождалась меня и я больше ее не видела.

Дома меня ожидали неожиданные события. Оказывается, в это утро товарищ Шкурин, командир красного партизанского отряда, ворвался в дом старой графини, Прасковьи Сергеевны Уваровой, и требовал, чтобы она выдала ему своих внучек. Она попросила его подождать и, выйдя из комнаты, предупредила их, чтобы они через сады и задворки бежали к нам: в нашем доме их уложили в кровать и решили сказать, что у них черная оспа, благо тогда черная оспа свирепствовала в станице. Потом графиня вышла к Шкурину и сказала ему, что смерти она не боится, а внучек своих ему не отдаст. Товарищ Шкурин ударил графиню Уварову прикладом, но внучек не нашел.

Только через несколько дней я рассказала ее внучке Катюше Уваровой про мою встречу с Шкуриным. Она сказала мне, что он был садист и палач и был известен тем, что не оставлял ни одну девицу, чтобы не привести ее к себе. Я не посмела ничего сказать моей матери. На следующий день я пробралась к Кате Голицыной, мы обе плакали от счастья, когда узнали, что Наумов был в Кисловодске. Через несколько дней удалось организовать там его побег. Этот случай еще больше связал меня с Катей.

## ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

# ВСТРЕЧИ С КАЗАКАМИ

*М. Зернова*

Вступительное замечание.

Воспоминания моей сестры были записаны мною с ее слов в 1963 году, когда болезнь лишила ее возможности писать самой. Они относятся к периоду, когда ей было 16 лет, но картины прошлого так ярко вставали в ее памяти, что она могла цитировать отдельные фразы из своих разговоров с казаками. Несмотря на свою отрывочность, эти воспоминания передают образ терского казачества — тех русских людей, которые ушли от крепостного ига в вольные степи, оставшись верными многим традициям до-петровской России. Терцы, в отличие от своих соседей Кубанцев, потомков Запорожцев, были преимущественно Великороссы и многие из них — старообрядцы. Вольнолюбивые и смелые, они были в массе своей уничтожены коммунистами, но тот дух свободы, который вдохновлял их в течение всей их бурной истории, остается неотъемлемой частью русского славного прошлого.

Встречи моей сестры с казаками, начавшиеся в 1918 году, продолжались до нашего отъезда из Ессентуков в 1920 году. Постепенно и остальные члены нашей семьи познакомились с казачьей молодежью. В нашем доме встречались как столичные, так и станичные наши друзья. Мы рассуждали о судьбах России, о Православии, об искусстве. Мы легко нашли язык с казаками и казачками, несмотря на то, что они были первым поколением, попавшим в гимназию, родители же их в большинстве случаев имели лишь низшее образование. Наш общий язык был нам дан нашей принадлежностью к Церкви. Те из нас, кто приехал из столицы, — лишь недавно обрели Церковь, станичники не уходили из нее.

Победа красных разбросала нас по всему свету, но узы дружбы сохранились у тех, кто, пережив ленинский и сталинский террор, не потерял своей веры.

*Н. Зернов. 25-X-68. Оксфорд.*

Над Россией шла черная буря. Исчезала вера в человека. В этом страшном мире, так внезапно обрушившемся на

нас, я искала опоры в вере, хотела найти абсолютное. Я видела много снов, таких ярких, что они казались видениями. Они открывали передо мною что-то до того незнакомое, манящее. Они глубоко волновали меня. В эти тревожные дни я читала Достоевского, меня особенно интересовал его подход к проблеме зла.

Мои брат и сестра стали ходить в Пантелеймоновскую церковь, находившуюся в центре курорта. Там был одухотворенный священник О. Иоанн Кормилин, пел прекрасный хор, но я не могла найти веры. Меня волновали мысли о русском народе, о противоречиях его характера. Я решила пойти в Николаевскую станичную церковь, где все прихожане были казаки и где никто из нас никогда не бывал.

Хотя наша семья проводила каждое лето в Ессентуках, мы мало знали местных жителей. Курорт и станица жили каждый своей жизнью, почти не соприкасаясь друг с другом. Мы часто проходили по широким и пыльным улицам станицы, направляясь на наши прогулки. Издали мы видели белые хаты с их большими дворами и тенистыми садами, но мы не имели ясного представления о людях, живших в них. Я была первая из нашей семьи, проложившая путь в этот незнакомый нам мир, и началось это с моего посещения станичной церкви. Большая, с зеленым куполом, она стояла на широкой площади в центре станицы и была окружена кладбищем. Как только я вошла в нее, меня сразу поразила разница в атмосфере между Пантелеймоновской и Николаевской церквами.

В переполненном храме я была одна одетая по городскому и поэтому сразу обратила на себя всеобщее внимание. Здесь все было по иному. Большой хор пел сильными, но безыскусственными голосами, церковные напевы были старинные, иногда вся церковь пела мощно и захватывающе. Настоятель, отец Иоанн Лелюкин, служил уставно, так же отчетливо читалась псалтырь. Народ молился чинно, налагая на себя широкое знамение креста и низко кланяясь в пояс. Я сразу окунулась в стихию народного благочестия, которая увлекла меня. Особенно поразили меня казачки, молодые и старые, с красивыми строгими лицами, в ярких платках. Они долго оставались в церкви после окончания службы, обходили ее всю, молясь перед иконами и разговаривая со святыми. Я так помню их шепот: « Матушка, Царица Небесная, помоги, спаси ! »

После этой первой встречи я стала часто ходить в Николаевскую церковь. Обычно я была не одна, вместе со мной приходила моя неразлучная спутница и друг, Татьяна Михайловна Толстая, внучка графа Льва Николаевича. Ей тогда было 15 лет. Пришло лето. Я продолжала молиться Богу, прося Его открыть мне Себя. Ответ пришел неожиданно.

29 июня я пошла в Николаевскую церковь с братом Володей. Мы опоздали на вечерню; шли крестины какого-то младенца. Мой брат никогда раньше не был на этой службе и с интересом стал следить за сложным обрядом, я же опять вся отдалась молитве. Я говорила: « Господи, дай мне веру, здесь, сейчас, крести меня так же, как этого младенца ». И я почувствовала глубокий мир. Крестины кончились. Мы пошли домой. Володя сказал мне: « Ты слыхала, это была девочка, и ее назвали Марией ». При слове Мария меня охватил восторг. Это был ответ на мой зов, моя молитва была услышана. Вера стала частью моей жизни. Был тихий летний вечер. Солнце зашло, но все было еще пронизано его золотым мягким сиянием. Я знала, что в этот день врата церкви открылись и я вошла в нее. Через несколько дней я сказала Соне о том, что произошло со мной. К моей великой радости, она не удивилась и ответила, что и она нашла веру. Наш брат Коля тоже прошел тем же путем. Ему много помог наш новый друг Сережа Конюс.

Началась новая жизнь, освященная Православием. Оно помогло мне сблизиться с казаками. Несколько встреч с ними особенно запомились мне.

### Казачка Домна

Мои первые знакомые были казачки. Они стали подходить ко мне после службы, расспрашивать — откуда я, почему хожу в церковь. Среди них было много красавиц. Они были ласковы со мною, но держали себя свободно, с сознанием своего достоинства. Чувствовалось, что они никогда не знали крепостного права. Их отцы и деды выбрали путь свободы и они были достойными хранительницами этого дара, дорого купленного их предками. Особенное впечатление произвела на меня одна из них по имени Домна. Ей было около 40 лет. Она не пропускала ни одной службы. Со строгим, прекрасным лицом, в красном платке на голове и с таким же на плечах, она вся отдавалась молитве. Она знала меня, и был у меня с нею однажды памятный для меня разговор.

Любимого священника, о. Иоанна, расстреляли большевики, временно служил у них о. Иаков, единоверческий священник [1], много пивший. На одной из служб он едва мог стоять на ногах, и это произвело на меня угнетающее впечатление. Домна заметила это и подошла ко мне. « Барышня, сказала она мне, вы не обижайтесь, я хочу вам кое-что растолковать. Мы простые, а вы ученая, но мы в церкви выросли, а вы нет. Вижу я, что смутил вас о. Иаков, а это

---

[1] Единоверцами называются старообрядцы, соединившиеся с русской церковью, но сохранившие свой особый устав и обряды.

напрасно. Было одному праведнику видение, что когда пьяный священник стоит перед алтарем, то ангелы вместо него приносят дары Богу. Достойным дано это видеть, а маловерные соблазняются и уходят из церкви, но мы в народе знаем, что не один священник служит Богу, а ангелы сослужат ему ».

## Девочка Васса

Казачке Вассе было 15 лет. У нее были большие черные глаза, живые и внимательные. Она была будущая настоящая красавица. Однажды она подошла ко мне и Тане после службы и сказала нам: « Приходите ко мне, я вам покажу мой сундук ». Мы пришли в ее хату. Она была сирота и жила со своей теткой. У них в доме царила особая чистота и уют. Она отвела нас в свою комнату, где стоял окованный сундучок. « Тут, сказала она, хранятся все мои сокровища. Я их никому не показываю, но вам их я открою ». К нашему изумлению он оказался полон священных книг. Чего тут только не было: и акафисты, и жития святых, и творения отцов церкви; были тут и иконки. Васса объяснила нам, что когда она остается одна, то она открывает свой заветный сундучок и читает свои драгоценные книги. Она была настоящей начетчицей, прекрасно знала богослужебный устав и церковные службы. Но она не хотела говорить об этом с посторонними. По какому-то особому целомудрию, она хранила в глубине сердца все, что узнала из своих любимых книг.

Однажды, когда мы шли с ней по станице, злая собака накинулась на нас. Я испугалась. Васса сказала: « А ты не бойся, прочти « Богородица Дево, радуйся », и собака отстанет от тебя ». Я часто потом поступала по ее совету и больше никогда не боялась собак.

## Казак Мирошников, староста Николаевской церкви

Самым выдающимся из встреченных мною казаков был староста Николаевской церкви, невысокий человек лет сорока с исключительно одухотворенным лицом. Он имел большой авторитет, его слушались и уважали. Он стал приглашать меня с Таней к себе и давать нам читать книги. Он открыл перед нами писания Святых Отцов. Первая книга, выбранная им, была книга творений Св. Исаака Сирианина (VI века); давая ее нам, он сказал: « Это книга нашей церковной красоты ». Эти слова о красоте поразили меня, но когда я стала читать Св. Исаака, я поняла почему именно этим словом он определил характер писаний этого великого учителя церкви.

Он любил разговаривать с нами и поучать нас, двух неопытных девочек. Часто он возвращался к Льву Толстому. Однажды он сказал нам: « Много зла сделал старый граф, он

старался оторвать русский народ от Церкви, а это значит — бросить его в бездну». Я объяснила, что Таня — внучка Толстого, на это Мирошников ответил: «Молитесь за вашего деда, ведь он как лев рыкал, умирая и сознавая, что много он навредил православным людям».

Мирошников прекрасно знал всю Библию и любил истолковывать ее. Он был пессимист и считал, что наступили грозные времена отступничества и гонений на верующих. Когда Ессентуки были освобождены казаками и мы были полны самыми радужными ожиданиями, он не разделял их с нами. «Напрасно вы радуетесь, Россия пропала, она в руках антихриста. Теперь царство Зверя. Гога и Магога идут на нас».

В доме Мирошникова царил удивительный порядок. В нем был сохранен в неприкосновенности церковный быт. Жили они состоятельно, обстановка была простая, но все было красиво, прочно и продуманно. Угощали они нас восхитительными пирогами. Жена его была тихая, мягкая женщина, она очень любила своего мужа. Детей у них не было, но они воспитывали двух приемных дочерей лет 16 и 18. Старшая из них скорее напоминала послушницу, она знала наизусть все церковные молитвы. Это была счастливая, дружная и строгая семья.

Перед нашим отъездом из Ессентуков, в начале 1920 года, в станице царило большое волнение. Все сознавали, что снова надвигается большевистская волна, грозившая гибелью многим казакам. Однажды я встретила Мирошникова у нас на улице. Я очень обрадовалась ему и сказала, что мы решили уезжать, но надеемся скоро вернуться. Он на это мне ответил: «Правильно делаете, что уезжаете, но это навсегда. Вы уже никогда не вернетесь». Он, а не я, оказался прав.

## Сторож единоверческой церкви

Моим другим учителем Православия был сторож единоверческой церкви. Высокий старик с длинной черной бородой, с проседью, он имел прозрачные голубые глаза, внимательно смотревшие на мир из под нависших густых бровей. Его глаза были совсем особенные, они казались сделанными из синего хрусталя. Он был исключительный, блестящий рассказчик, знавший множество житий святых, и мы заслушивались его часами. У него был служка лет 15-ти. Старик его очень любил, и когда мальчика расстреляли большевики, он очень горевал от этой потери. Под конец нашего знакомства он позвал меня к себе и сказал: «Я хочу тебе подарить лучшую после Библии книгу». Это было житие Варлаама и Иосафа. Он знал его почти наизусть. Запомнилась мне старинная картинка с надписью: «Варлаам, купец благий, камень веры явил драгий». Наш старик был для нас Вар-

лаамом, он открыл нам красоту Православия и мы, как Иосаф, на картинке, смотрели с восхищением на драгоценный камень, сиявший небесными лучами.

## Выбор священника

Был декабрь 1918 года. Я пришла в церковь, службы не было, казачки толпились и о чем-то переговаривались в маленьких группах. Одна из них подошла ко мне, отвела меня в сторону и сказала: « Службы не будет, О. Иоанна убили большевики ». Я была уже хорошо знакома прихожанам, и она поделилась со мной их горем. Она сказала, что накануне храмового праздника, зимнего Николы, отец Иоанн позвал к себе нескольких самых своих верных прихожан. Он сказал им: « Завтра будем служить молебен Св. Николаю, так вы пособите, молитесь о том, чтобы нас освободили казаки ». Женщина прибавила: « Один из нас был предатель: отца Иоанна арестовали и расстреляли на следующий вечер... А все мы были самые верные, все мы годами молились с нашим Батюшкой, все любили и почитали его ». Я была потрясена и тронута, что эта казачка открыла мне, еще девочке, пришедшей к ним из другого городского мира, тайну этого предательства и мученической смерти их пастыря.

Через месяц Ессентуки были освобождены ген. Шкуро. Начались поиски нового священника. Я с интересом наблюдала, как происходили эти выборы. Приход был большой и богатый, многие хотели получить его. Каждое воскресенье новый священник приезжал служить и проповедовать, но никто не покорил сердца прихожан. После службы шли разговоры: « Батюшка хороший и говорит на славу, но он не для нас ».

Уже в середине лета, приехал молодой священник о. Димитрий. Он был высокий блондин, скромный, скорее застенчивый. Двигался он быстро и порывисто, глаза у него были голубые и любящие. Он как-то особенно вознесенно подымал крест, и его музыкальный, ясный голос произносил привычные возгласы с тихим вдохновением. Под конец он сказал краткую проповедь. Она до сих пор звучит во мне. Он говорил: « Мы находимся в мире, как в бурном море, и эта буря и вокруг нас и внутри нас. Но есть скала, которая возвышается над волнами — это Церковь. Ее охраняют ангелы, они возносят на своих крыльях наши молитвы к Богу. Будем благодарить Его за то, что Он дал нам церковь ». Отец Димитрий покорил всех. Без споров, единогласно приход выбрал его и просил стать их священником. Все повторяли: « Это — красота », « Этот батюшка для нас ». И удивляла меня эта любовь казаков к красоте, как самому убедительному критерию истины.

## Джигит

Я любила сидеть с Таней на кладбище и заниматься в его тиши. Однажды мы возвращались домой после таких занятий, когда нас остановил проезжавший мимо молодой казак исключительной красоты. Это был настоящий джигит, с тонкой талией, стройный и гибкий. « Редко вы, городские, бываете у нас в станице », сказал он: « давайте барышни я вас подвезу ». Мы сели в его повозку и начался у нас разговор. « Чем вы занимаетесь »? — спросил он нас. « Учимся, готовимся к экзаменам в гимназии ». « Это хорошо, а вот мне не пришлось учиться. Но я был в плену у немцев и там я понял, какая разница между образованными и необразованными. Вы, наверное, презираете нас всех, да я и сам себя презираю, а мою жену совсем не могу выносить, она даже и говорить правильно не умеет ». Я начала горячо ему возражать: « Совсем не важно кто как говорит и кто был и кто не был в школе. Главное то, что мы все — православные, что у нас одна церковь, что мы верим и любим Христа ». Он вдруг весь загорелся от моих слов. « Церковь для меня огонь, сказал он, она заставляет меня плакать. Я сильный, молодой, мне стыдно плакать, но справиться с собой не могу. Церковь открывает мне Христа, а Его выносить не могу; я больше в церковь не хожу. А вот вы говорите, что Церковь может нас всех объединить, что в ней Истина. Я об этом не думал ». Этот незнакомый красавец казак стал мне вдруг бесконечно близок. Я стала его уговаривать не стыдиться своих слез, не уходить от Христа и от Церкви. Он тоже был, видимо, глубоко взволнован и вдруг сказал нам: « Такой разговор бывает лишь раз в жизни; подарите мне этот день. Я отвезу вас в степь в мой зимовник, накормлю вас там и в целости доставлю вечером домой ». Он был так молод, силен и обаятелен, что Таня и я не сговариваясь, не взглянув друг на друга решительно заявили, что нас ждут дома, что мы не можем ехать с ним. Он видимо нас сразу понял и больше не настаивал. А мне стало очень больно и стыдно; он просил нас дать ему этот царский подарок, а мы не решились этого сделать.

Я встретила его еще раз. Это случилось за несколько дней до нашего отъезда. Он шел по нашей Кисловодской улице, прямой, полный жизни. Я снова поразилась его особенной красотой. Он обрадовался мне. « Узнаете меня ? » спросил он с улыбкой. « Ну конечно, я так рада вас видеть », ответила я и прибавила: « я должна с вами проститься, мы, наверное, уедем, но я все же надеюсь, что когда-нибудь я снова увижу вас ». Он не удивился моим словам и пожелал мне счастливого пути; подумав, он прибавил: « а разговора нашего я не забуду никогда ».

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

# ГЕНЕРАЛ ШКУРО

## (Выдержки из дневника)

*М. Зернова*

Мы встретили Рождество 1918 г. в тесном кругу нашей семьи. Мне был особенно дорог мой бесконечно любимый папочка. Он был озабочен, но все же напевал свои любимые мотивы. На второй день Рождества папа заболел. У всех у нас защемило сердце: неужели это сыпной тиф !

27 декабря. У папы с утра температура 40 градусов, все упование на Бога. Доктор Дмитриев лечит папу, он созывает на завтра консилиум и надеется, что это не сыпной, а возвратный тиф. Это первая болезнь моего отца, я никогда не видала его лежащим в постели. Я сижу в моей маленькой голубой комнате, молюсь о нем, думаю о нем. Сегодня весь день откуда-то издалека слышится стрельба.

29 декабря. Очень холодно. У папы сыпной тиф, и еще осложнение в легких. У нас появилась сестра милосердия Таня Истомина, она ухаживает за папой, мы все сразу полюбили ее. Папе плохо, у меня физическая боль за него, она весь день не дает мне покоя. Была в церкви, сегодня там были похороны какого-то большевика, когда гроб вынесли из храма, оркестр заиграл траурный марш. Как они смеют это делать после пения « Вечная Память » ! Господи, если Ты спасешь папу, это будет чудо Твоей милости и любви к нам.

30 декабря. Стрельба приближается, она была сегодня совсем близко. Не смею надеяться, неужели казаки освободят Ессентуки ? ! Боюсь в это верить, и все же радость растет в сердце.

31 декабря. Была в церкви, читался акафист батюшке Серафиму, просила его помочь нам.

1 января 1919 года. Новый год, — что то он принесет нам ! Была в церкви, видела Таню Толстую, так обрадовалась ей, мне так нужна ее дружба.

2 января. Случилось то, чего мы так долго ждали и на что не смели надеяться: казаки заняли Ессентуки. Это был бы счастливейший день моей жизни, если бы только папа был здоров. Наша первая встреча с казаками случилась вечером, стрельба затихла, на улице не было ни души. Вдруг

мы увидали каких-то людей, медленно, с большой осторожностью шедших со стороны Кисловодска, они старались держаться близ заборов. Мы смотрели на них равнодушно, не догадываясь в наступившей темноте, что они наши долгожданные освободители. Вдруг в дом с радостным криком вбегает Володя: он смотрел через забор на этих незнакомцев и увидал Петю, он даже успел перекинуться с ним несколькими словами! Я сперва забыла все, мое сердце переполнилось чувством радости и благодарности Богу, но потом мысль о папе вновь вошла в него острым жалом. Мы бросились на наш балкон, выходивший на улицу, мы плакали и крестили их, таких дорогих, долгожданных. Соня побежала в сад к нашей калитке, к ней подошел один из казаков. Он был молодой, с белыми зубами, полный жизненных сил. Он стал шутить: « Да что это вы все попрятались? разве вы все большевики? » Соня ответила: « Мы еще не можем поверить, что мы снова свободны ». Она спросила его — останутся ли они в Ессентуках? Он засмеялся: « Да, останемся », ответил он, « если вы пустите нас к себе на квартиры ».

Стало совсем темно, мы стояли в саду. Вдали в станице было слышно пение, звучали казачьи голоса, такие знакомые, которых мы не слышали за все эти месяцы красного засилия. С нами стояла казачка Ксения, она всплескивала руками и все повторяла: « Ой, Господи, ой, Господи! »

3 января. Вечер, только что ушли казаки, скоро мы опять будем под властью большевиков, но хочу забыть об этом, буду помнить то прекрасное, что было пережито мною в эти дни. Сегодня, с раннего утра, мы с Таней побежали в станицу, мы успели побывать повсюду, главное мы видели самого Шкуро, этого замечательного человека. Он ехал в открытой коляске, маленький, с рыжеватыми усами и острым, вздернутым носом. Перед ним скакал верховой с черным знаменем, на котором была изображена волчья голова. Я забыла все на свете, мы с Таней бросились вперед и, как безумные, стали приветствовать его. Он нас заметил и, смеясь, в ответ стал кланяться нам, за ним то же стали делать и другие казаки. Это было счастье, которое бывает только во сне.

Потом мы снова увидали его, в этот раз у станичного правления. Мы подошли к толпе казаков, они кричали ура и кого-то качали, высоко подкидывая на воздух; я только могла заметить чьи-то красные шаровары, быстро взлетавшие вверх. Я спросила казака, кого это качают? Он с гордостью ответил: « Самого генерала ». Потом казаки плясали лезгинку, их высокие голоса звонко звучали в зимнем воздухе, и от этих звуков у меня все разрывалось внутри, и не верилось мне, что они снова могут покинуть нас и уйти в свои горы. Я не хотела обращать внимания на все разгорающуюся пе-

рестрелку, неуклонно приближающуюся к нам. Как я после узнала, большевики в панике бежали накануне в Пятигорск, но, узнав, что Ессентуки заняты лишь небольшим отрядом казаков, повели общее наступление. Генерал Шкуро принужден был отступить. Я вернулась домой. Мы наскоро простились с нашими друзьями, улицы снова опустели. Я стояла у загородки нашего сада и ждала, что-то теперь будет ? Вдруг мимо меня промчалась телега, нагруженная детьми и какими-то тюками, кто-то решил убегать в последнюю минуту. Наконец показался конный отряд отступающих казаков. В эту минуту я увидала Тамару Опатскую, мою одноклассницу по гимназии; она сперва метнулась вперед, потом побежала назад, видимо она совершенно потеряла голову и металась, не зная, что ей делать. Наконец она подбежала к уезжающим казакам и дрожащим голосом стала умолять их взять ее с собой. Их начальник Шкуро (но я не сразу узнала его) остановил свою лошадь и велел казаку помочь девочке. Ее посадили на ту же лошадь, на которой ехала сестра милосердия, потом казак снова ловко вскочил на свое седло, и всадники скрылись за поворотом улицы. Я осталась одна, и никто другой не видел эту трагическую прощальную сцену. Слезы текли по моим щекам. Итак, они снова ушли, но все же нам было дано счастье видеть их, слышать их голоса, слушать звон копыт их коней на камнях нашей Кисловодской улицы.

4 января. Сегодня я чудом спаслась от смерти. Папе стало хуже. Володя и я вышли на улицу, чтобы попросить доктора Дмитриева навестить папу. Мы шли оба с большим волнением по Курсовой улице. Прохожих не было, все сидели по домам, ожидая репрессий красных. Нам навстречу шел красноармеец. Увидав нас, он бросился ко мне и приставил ружье к моей груди. Я была так воспламенена против большевиков, что у меня отсутствовал всякий страх перед ними. Я с негодованием посмотрела ему в глаза и сказала: « Вы не смеете останавливать нас, так как мы идем звать доктора к больному ». Большевик злобно посмотрел на меня и закричал: « Знаю я тебя », и тут он произнес слова, которые послышались мне, как: « Ты кур реквизировала ». Это неожиданное и оскорбительное для меня обвинение так возмутило меня, что я с самым искренним негодованием могла только ответить ему: « ЧТО ? » Он так растерялся от силы моего гнева, что опустил свою винтовку и позволил нам уйти.

Когда мы были уже вдали от красноармейца, Володя, весь бледный от волнения, спросил меня: « Как это он мог узнать ? » — « Что узнать ? » сказала я с удивлением. « Да то, что ты так открыто выражала свою радость при въезде Шкуро в Ессентуки ». Тут только я поняла, что большевик сказал мне не « Кур реквизировала », а « Шкуро симпатизировала ». Мы стали громко смеяться неудержимым смехом молодости,

но в то же время я осознала, что Бог меня спас: если бы я правильно поняла его слова, я, конечно, не отреклась бы от моего преклонения перед Шкуро и его казаками, а это, наверное, был бы мой конец.

Вернувшись, большевики сразу начали аресты и расстрелы. Они ворвались в наш дом, хотели увести нашего отца, но найдя его в постели, и узнав, что он болен тифом, на время оставили его в покое. Вторичный приход казаков спас его жизнь.

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВ

## ЕССЕНТУКСКАЯ ГИМНАЗИЯ в 1918-19 году

*В. Зернов*

Покидая Москву, мы были так уверены в скором возвращении, что мы не взяли даже наших зимних шуб. Все же мысль о возможной перезимовке в Ессентуках возникла у нас еще летом и мы заранее подготовили там для этого наш дом, построив в нем печи и вставив двойные рамы.

Ессентуки поразили нас своей тишиной, не было праздничной курортной толпы лечащихся, но не было и распущенных дезертиров, которые окружали нас в течение всего пути из Москвы до казачьих областей. Улицы были пусты и гулки, в парке деревья с их оголенными ветвями не скрывали гор, вершины которых серебрились от инея. Все продолжало здесь жить по старому. Казалось, большевистская буря свирепствовала далеко от нас. Вскоре железно-дорожное сообщение сделалось затруднительным, а потом и совсем прекратилось. Надежды на возможность возвращения в Москву испарились. Мне надо было продолжать учение и я отправился с мамой в местную гимназию для поступления в четвертый класс. Нас принял инспектор. Это был провинциальный грузин Церетелли, с большими рыжеватыми усами; он носил поношенный учительский мундир. Ему, по-видимому, льстило, что сын известного доктора, приехавший из столицы, поступает в его гимназию, и он был заискивающе любезен с нами. Когда мы уже садились на ожидавшего нас извозчика, чтобы ехать домой, к нам подошел на улице аккуратного вида старичок с небольшой седой бородой, с ним были два мальчика. Он заговорил с мамой по-французски и объявил, что он « ситуаьен франсэ » и хотел бы иметь информацию о гимназии. Меня очень поразило слово « ситуаьен ». Это был Юрий Эдуардович Конюс со своими сыновьями, Сережей и Борисом. Они тоже недавно приехали из Москвы. Тогда все старались где-то найти опору, и милому Юлию Эдуардовичу, наверное, казалось, что его французское гражданство может защитить его от всероссийской разрухи.

Через несколько дней я отправился в гимназию. Она помещалась на окраине новой части Ессентуков, где курорт постепенно переходил в степь. Помещение было просторное, но непривлекательное, дом стоял посредине пустыря, обнесенного

проволокой и обсаженного тощими деревцами. Этот внешний вид соответствовал внутреннему состоянию гимназии. Классные комнаты и коридоры были с простыми деревянными полами и напоминали казармы, вся обстановка представляла резкий контраст с гимназией Поливанова, в которой и сам дом и классы и зал были красиво устроены. Но еще большую разницу составляли учителя и ученики. Поступив 13 лет в четвертый класс, я попал в среду мальчиков значительно старше меня. Большинство из них были казачата, крепкие и сильные, прекрасно ездившие верхом и летом работавшие со своими родителями на сборе урожая. Кроме них, были среди нас несколько сыновей лавочников и 5 или 6 мальчиков, как и я, приехавших из столиц. Вначале между нами и местными гимназистами была значительная разница во всем. Мы, столичные, учились лучше, но были маленькими и слабыми, одетыми в аккуратные гимназические формы. Казачата носили высокие сапоги, брюки-галифе, и часто приходили в бешметах и гимнастерках военного образца. Мне захотелось одеваться в том же роде, и я скоро из поливановца в черной куртке обратился в ессентукского гимназиста в высоких казачьих сапогах, одетого в синий френч и галифе.

Среди столичных гимназистов, одним из самых способных был маленький, рыженький и веснушчатый сын петроградского литератора. Он стал объектом все более и более грубых шуток и издевательств. Ему не только давали всевозможные еврейские имена, но он подвергался так же и физическим воздействиям, его и толкали и били. Наконец, кто-то придумал новую забаву. На переменах один из ловких казачат взбирался вверх по гимнастическому столбу и прикалывал к самому потолку кусок колбасы или свиного сала. Его волокли к этому столбу и заставляли лезть наверх. Он был слабосильный мальчик. Напрягая все свои силы, с искривленным ртом, он старался подняться наверх, под крики: « Вот жид полез за свининой ». Часто он получал для поощрения сильные удары сапог, от которых он подскакивал вверх, чтобы снова соскользнуть вниз. Иногда ему запихивали в рот кусок колбасы, который он со слезами на глазах поспешно съедал под хохот и шутки товарищей. Первое время, он держался в группе столичных гимназистов, но когда начались эти издевательства, мы, к нашему стыду, не поддержали его. У нас не хватило гражданского мужества встать на его защиту. Мы оставались безмолвными наблюдателями этих диких шуток, которых никто из нас, конечно, не одобрял. После одной из этих сцен он перестал ходить в нашу школу.

Прошло более 40 лет, однажды, в Париже, я был приглашен к тяжело больному глубокому старику, выходя от него я столкнулся с его сыном и сразу узнал в нем моего товарища по ессентукской гимназии. Мне стало стыдно за мое

былое малодушие. « Мы с вами встречались когда-то в Ессентуках », — сказал я, « Да, — ответил он, — это было так давно ». Было очевидно, что он не хотел вспоминать прошлого.

Нашим учителям было трудно справляться с учениками. Наш инспектор Церетелли, напоминавший своим видом скорее почтового чиновника, чем педагога, постоянно вызывал в свой кабинет провинившихся гимназистов, распекал и наказывал их. Своеобразная дисциплина поддерживалась у нас, но это была совсем другая дисциплина, чем в Москве. В Ессентуках все зависело от личности учителя. Они довольно часто у нас менялись, время было тревожное, никто не был уверен в своем будущем. Некоторые преподаватели не умели завоевать себе авторитета, и я искренне жалел их. Латынь, например, нам преподавал старик Иван Петрович, его все звали « Петровичем ». Как только он входил в класс, в него начинали бросать шарики, сделанные из бумаги, или кусочки мела, иногда он получал в спину удар тряпкой для стирания с доски. Ученики задавали ему дурацкие вопросы или нарочно коверкали латинские слова, чтобы вывести его из терпения. Рассердившись, он ставил всем двойки, но после, по просьбам учеников, вычеркивал их; иногда он бросался на казачонка и старался ухватить его за ухо, а тот, под хохот класса, ловко увертывался от старика.

Но были и другие преподаватели, которых боялись и уважали, и обычно они были любимыми учителями. Однажды к нам поступил новый учитель математики. Немолодой, грузный, заросший волосами, с большой мохнатой бородой, он напоминал медведя. Он носил почему-то зеленый студенческий сюртук и ходил в валенках, не снимая их даже в классе. Его необычайная фигура сразу вызвала сдержанный смех и насмешки. Не обращая на них внимания, он начал с увлечением немедленно объяснять нам какую-то теорему. Один из наших казаков, слывший остряком, начал издавать тонкий писк после каждой фразы нового учителя. Тот же продолжал свои объяснения, спокойно расхаживая по комнате и не обращая внимания на делавшийся все более пронзительным писк. Повсюду стали раздаваться смешки, вдруг наш медведь подошел вплотную к шутнику и начал на него кричать необычайно зычным голосом: « Вы мешаете мне преподавать, а своим товарищам учиться, я вас выброшу из класса, если вы посмеете повторить это безобразие ». Этого было достаточно, он сделался нашим любимым учителем. На его уроках царила всегда полнейшая тишина. Незадолго до нашего отъезда из Ессентуков у нас появился молодой преподаватель литературы, носивший офицерскую шинель. Он никогда не повышал голоса, все его слушали с вниманием и интересом, порядок во время его уроков никогда не нарушался. Когда, в 1921 году, я попал в Константинополь, я уви-

дал нашего учителя в той же шинели, продававшего газеты около фуникулера. Я хотел подойти к нему, но не решился. Мне было стыдно и за него и за наше общее русское унижение, к которому было не так легко привыкнуть. Закон Божий преподавал нам замечательный священник о. Иоанн Кормилин, погибший впоследствии в концентрационном лагере. Его уроки продолжались и во время болшевистского террора в 1918 году. Он нам читал каждый раз несколько строк из Посланий или Деяний Апостольских, объясняя их, он старался вызвать нас на разговор. В большинстве случаев его слова не доходили до учеников, но он пользовался всеобщим уважением.

Однажды, во время чтения шестопсалмия в его Пантелеймоновской церкви, он подозвал меня к себе и сказал: « подымись на хоры и скажи чтецу, что О. Иоанн ничего не понимает из того, что он читает ». Мне было 13 лет, читал же псалтырь наш преподаватель пения и музыки. Я пересилил свою робость и исполнил данное мне поручение. Учитель недовольно посмотрел на меня, откашлялся и начал читать медленно и внятно своим красивым тенором.

Я бывал в церкви почти каждую субботу и воскресенье, кое-кто из моих товарищей тоже приходил в церковь, но это был скорее повод для встречи с гимназистками. После службы гимназисты, лихо щелкнув каблуками, с провинциальной галантностью подходили к барышням и просили разрешения проводить их до дому. Когда я уже был в 6 классе, со мною заговорил мальчик года на два меня моложе. Он сказал, что видел меня часто в церкви. Его звали Дмитрий Крутень. Он знал до тонкости все богослужение и любил говорить о нем. Он сообщил мне, что хочет простоять на коленях всю литургию. В первый раз он не смог этого сделать, но потом добился своего. Он сделался членом нашего религиозного кружка. Впоследствии он принял монашество и погиб в советских тюрьмах.

Когда весной 1918 года в Ессентуках была установлена советская власть, то в нашей гимназии был организован совет ученических депутатов. Их никто не выбирал, несколько мальчиков из 6 класса образовали его. Председателем оказался гимназист, недавно приехавший из средней России. Он устроил свой кабинет рядом с учительской комнатой и очень любил, когда к нему обращались с просьбой переправить отметку, полученную за плохой ответ. Пятибальная система была сразу отменена и заменена « удовлетворительной » и « неудовлетворительной » оценкой. Ученики младших классов постоянно бегали к « председателю совета », но большинство относилось к нему или скептически или враждебно. Идея совета не привилась.

Во время террора мы не говорили между собою о поли-

тике, и я долгое время не знал на чьей стороне были симпатии учеников. Постепенно, по мере сближения с некоторыми из них, я стал узнавать, что эти сыновья терских казаков были всецело на стороне Добровольческой Армии. Многие из моих товарищей тайным образом выполняли какие-то опасные поручения. Некоторые из них, казавшиеся мне грубыми и хулиганами, неоднократно пробирались в станицы, освобожденные от красных. Между ними и курортами, занятыми большевиками, не было определенной границы и спорадически происходили сражения, о них мы узнавали по стрельбе, доносившейся к нам из степи. Из-за близости военных действий удаляться от центра было опасно. Все же однажды я с одним из товарищей решил пойти посмотреть, что стало с нашим маленьким домиком, выстроенным над оврагом в степи. До большевиков, мы любили ходить на этот участок и иногда ночевали там. Мы нашли что дом был цел, но окна и двери были выбиты, при приближении к нему нас встретила стая собак, рыскавших около остатков трупов. Мы быстро повернули назад, чтобы никогда туда не возвращаться. Красные расправлялись со своими жертвами на этом отдаленном от города месте.

После прихода к нам казаков многие ученики старших классов пошли добровольцами в Белую Армю, а те, которые продолжали учиться, нарядились в черкески и в другие костюмы военного покроя. Когда начались неудачи на фронте, в нашей семье стали думать об отъезде, но в гимназии я не мог говорить об этом. К отъезжающим там относились враждебно, как к трусам. Все продолжали на что-то надеяться, вопреки здравому смыслу. Нам удалось покинуть Ессентуки за несколько дней до вторичного прихода красных.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

## ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ

*Н. Зернов*

Приход казаков перевернул всю нашу жизнь, сразу исчезла та угроза смерти, которая висела над нами в течение десяти месяцев. Мы могли спокойно спать, не боясь ни арестов ни грабежей, и опять были свободными людьми в своей стране, в своем доме и городе.

Вся станица ликовала, казаки, нарядные и победоносные, разгуливали повсюду, со всех сторон неслись их залихватские песни.

Встал вопрос о моем поступлении в Добровольческую Армию. Я сознавал, что моим долгом было принять участие в борьбе с большевиками, но не знал как наиболее целесообразно это сделать. Никакого представления о военной службе я не имел, мое обучение в Москве было слишком кратким. Мы случайно познакомились с двумя офицерами, простыми, сердечными русскими людьми: с Василием Ивановичем Литвинцевым и Петром Михайловичем Кленом. Это знакомство решило мою судьбу. Они посоветовали мне присоединиться к их инженерной роте, обещая свое покровительство.

16 января 1919 года, взяв небольшой мешок с вещами, в теплой папахе и солдатской шинели, полученной еще в Москве, я покинул Ессентуки. Уезжать из родного дома было больно, меня ждала полная неизвестность. Десять месяцев красного террора, когда мы ежечасно стояли на краю гибели, сделали нашу взаимную любовь особенно горячей и трепетной. Наша мать всегда переживала тяжело разлуку и волновалась за всех отсутствующих. На этот раз она была совсем разбита предстоящим расставанием.

Первый этап моего пути был мне так знаком. Маленький поездок быстро доставил меня на узловую станцию « Минеральные Воды ». Там я пересел на первый воинский состав, шедший на юг по направлению к фронту. В теплушке, в которую я попал, ехали Кубанские казаки. Это была моя первая встреча с ними. Они отличались от Терских, так как были потомками Запорожцев и говорили по-украински. Кубанцы приняли меня с добродушной усмешкой. Моя юношеская фигура громко говорила о моей полной неопытности в военном

деле. Мои же спутники, наоборот, были испытанные воины. Крепко сложенные, хорошо одетые, они были полны воинской доблести и уверенности в себе.

Поля были покрыты ярко сверкавшим на солнце снегом, дверь нашей теплушки была широко открыта, казаки сидели на пороге вагона, свесив ноги наружу и щелкая семечки. Я подсел к ним подставив свое лицо под теплые лучи солнца. Поезд шел медленно по широкой равнине, на горизонте все яснее и выше вырезывалась цепь Кавказских гор. Там, где стаял снег, черная, плодородная земля дышала пробуждающейся жизнью. Все вокруг излучало мир, изобилие и благоденствие. А эти сильные сыны вольной степи ехали на братоубийственную войну, убивать своих земляков или быть ими убитыми. Как родилась эта безумная вражда, каким образом раскололась на части когда-то единая Россия ?

Казаки затянули свои излюбленные песни, пели они складно своими звонкими голосами, и эти мощные звуки еще больше разжигали в моем сердце боль от разлуки с домом и от сознания трагичности междоусобной войны. К полудню мои спутники сварили чудесную похлебку, в которой в изобилии находились куски малороссийского сала. Они радушно пригласили меня присоединиться к их трапезе. Все мы уселись вокруг чугунка и по очереди черпали из него своими ложками. Мне было хорошо среди этих испытанных воинов, говоривших на непривычной мне украинской мове.

Местом моего назначения была станица, расположенная на полпути между Владикавказом и Минеральными водами. Добравшись до нее я в первый раз в жизни попросил ночлега у незнакомых людей. Странно мне было стучать в дверь чужого дома и получить согласие на ночевку. Мои гостеприимные хозяева накормили меня и уложили спать на одной из скамеек.

Моя первая попытка вступить в ряды Добровольческой Армии привела меня к неожиданным результатам; вскоре после моего приезда, мои два друга, очутившиеся в той же станице, серьезно заболели. По всем признакам это был сыпной тиф. Госпиталя по близости не было, сердобольный командир разрешил мне попытаться доставить их обратно в Ессентуки, где им был обеспечен хороший уход в госпитале моего отца. Они еще кое-как держались на ногах, мне удалось погрузить их в теплушку и благополучно довезти их до желанной цели.

25 января 1919 года я был снова в моем родном доме. К счастью, мои друзья имели только сильную простуду, и оба скоро поправились. Мне не оставалось ничего другого, как возвратиться в мой отряд.

Накануне моего отъезда я вдруг почувствовал сокрушительный озноб. Это был сыпной тиф ! Случись это на день

позже, когда я уже был бы один вдали от дома, едва ли бы я выжил. Теперь я лежал хотя и в забытьи, но в моей комнате, окруженный любовью и уходом моей семьи.

Болезнь была длительная и тяжелая, с неприятными осложнениями на почки. Заболел я 5 февраля и только 20 февраля температура начала постепенно спадать. Физически я не страдал и даже мало бредил, но я так ослабел, что в конце марта, когда мне было разрешено встать с постели, я мог ходить, лишь опираясь на столы и стулья.

Весна 1919 года, была счастливым периодом. Наша семья была вся в сборе. Мы верили в скорое освобождение России от большевиков, надеялись зимой уже быть в любимой Москве и были вдохновлены героическим духом Добровольческой Армии, поднявшей высоко знамя русской чести и верности союзникам. Для нас Добровольцы была та часть молодежи, которая смело вышла на бой с разбушевавшейся, звериной стихией революции. Мы ее видели такой, как ее описал Пастернак в незабываемой сцене атаки белых на партизан.

« Мальчики и юноши из невоенных слоев столичного общества наступали редким строем, выпрямившись во весь рост, бравируя опасностью. Служение долгу, как они его понимали, одушевляло их восторженным молодечеством, ненужным, вызывающим » *.

Корниловцы, Марковцы, Алексеевцы и Дроздовцы, с их характерными погонами и нашивками, восхищали нас. Мы смотрели на них, как на представителей и глашатаев обновленной Родины, которая была готова сбросить иго как анархии, так и марксизма. Каждое утро мой брат или я бегали смотреть карту России, выставленную в окне Освага (осведомительное бюро Добровольческой Армии), где красным шнуром обозначалась граница между территориями, занятыми красными и белыми. Мы с трепетом следили за продвижениями передовых отрядов на север. Одно время линия фронта неуклонно продвигалась к Москве и мы были полны надежды, что наша столица скоро будет очищена от большевиков.

Мы жили вдали как от фронтов, так и от центров Белого Движения и мало знали о том, что происходит там, где решалась его судьба. Мы не подозревали, как непрочно было положение армии, не сумевшей снискать поддержку в широких кругах населения. Мы не знали, как мало было среди ее руководителей людей, способных правильно учитывать реальную обстановку и на этом основании строить свои отношения, как с крестьянством, так и с областями, отделившимися от бывшей империи.

Белое Движение было создано жертвенным подвигом лучшей части офицерства и учащейся молодежи, но их па-

---

* Пастернак. Доктор Живаго. Стр. 342.

триотизм не мог восполнить отсутствие у них политической зрелости и государственного опыта. Это было последнее испытание, которое не выдержала вольнолюбивая, героическая, но непрактичная русская интеллигенция.

Наш отец всем своим чистым сердцем верил в правоту Белого Дела. Он основал общество « Сотрудников Добровольческой Армии по восстановлению великой, единой, неделимой России ». С присущей ему энергией он собирал средства для помощи тем, кто сражался на фронте. Он продолжал быть главным врачом госпиталя, мы же, молодежь, все больше отдавали себя жизни в церкви, открывая все новые сокровища Православия. Обстановка, создавшаяся на Минеральных Водах, благоприятствовала нашему религиозному энтузиазму. На каждом курорте можно было найти выдающегося священника. В Ессентуках таким был отец Иоанн Кормилин, в Кисловодске — отец Алексей, замечательный молитвенник; на его службы приезжали люди из всех окрестностей. Мои сестры тоже часто ездили к нему. Нам казалось, что Россия была накануне духовного возрождения, что церковь, очищенная страданиями, сможет раскрыть перед покаявшимся народом светлый лик Спасителя мира и научит русских людей строить свою жизнь на братской любви и правде.

В мае месяце я настолько оправился, что вновь возник вопрос о моей отправке в армию. На этот раз, я решил сделать это более обдуманно. Среди офицеров, лечившихся у моего отца, был один авиатор. Он посоветовал мне поступить добровольцем во вновь формирующийся авиационный отряд. Получив от него рекомендательное письмо, я отправился в Екатеринодар. Жил я там в офицерском общежитии, осматривал город, главным образом церкви. Наконец мои планы осуществились, меня записали в новый отряд и я вернулся домой за вещами, уже видя себя летающим на самолете. Однако и теперь мне не удалось попасть в армию. 21 мая, за несколько дней до назначенного отъезда, я заболел возвратным тифом. Моя болезнь продержала меня дома большую часть лета. Во время моего выздоровления я особенно близко познакомился с членами нашего юношеского религиозного кружка. Мы почти каждый день встречались друг с другом. Северный Кавказ быстро заживлял свои раны, вокруг нас снова все дышало миром и благоденствием, продукты вновь в изобилии появились на рынке. Фронт был далеко от нас, в центральной России. Смущали меня только не прекращающиеся столкновения между кубанскими самостийниками, членами Рады, и верховным командованием Добровольческой Армии.

Эти роковые разногласия среди противников большевизма, которые окончились смертной казнью главарей оппозиции, несомненно предвещали распад и поражение белых. Но по моей

неопытности, я тогда не умел угадывать признаки надвигающегося кризиса.

Среди разных встреч, происшедших тем летом, наиболее трагической была встреча с нашим двоюродным братом Борисом Дмитриевичем Зерновым. Он был на четыре года старше меня и не был близок ни с кем из нас. Однако, когда он неожиданно приехал к нам в Ессентуки, мы почувствовали к нему сильную родственную близость. Он возмужал и помягчел. Видимо, он много пережил за эти два года. Приехал он к нам отдохнуть и проститься. Он был назначен адьютантом генерала Гришина-Алмазова, который должен был ехать в Сибирь для связи с Колчаком (1870-1920). Эта поездка оказалась роковой. Среди окружения генерала, очевидно, нашелся предатель, пароход на котором ехала миссия, был захвачен красными на Каспийском море, наш двоюродный брат застрелился, не желая попасть живым в руки чекистов. Его гибель была для нас предвестницей приближающейся катастрофы, о которой мы все еще не подозревали.

9 августа 1919 г. я в третий раз покинул Ессентуки, чтобы вступить в ряды Добровольческой Армии. На станцию меня пришли проводить многие из членов нашего кружка. Был уже вечер, мы горячо простились, надеясь, что Бог даст нам еще радость свидания в этом мире. Наконец подошел переполненный поезд, состоявший главным образом из теплушек, набитых солдатами. Я влез в офицерский вагон, куда обычно давался доступ вольноопределяющимся. Однако в этот раз комендант грубо напал на меня и потребовал, чтобы я немедленно покинул вагон. Я пробовал просить его оставить меня на ночь, кое-кто из офицеров пытались защитить меня, но комендант был неумолим. Из атмосферы любви и дружбы я попал в серый солдатский поток, в котором я был безличен и бесправен.

В Екатеринодаре я был зачислен в 9-ый Авиационный отряд и назначен заведующим одним из складов запасных частей самолетов. Весь наш отряд был размещен в поезде. Офицеры жили в классных вагонах, солдаты в теплушках. Я поместил мою койку в просторном вагоне американского типа. Мое положение в отряде оказалось лучше, чем я мог ожидать. У меня был целый вагон, чистая постель, еду я получал из офицерской кухни, обязанности мои были минимальны. Я был предоставлен самому себе и пока наш отряд находился в Екатеринодаре, много переписывался с семьей и членами кружка.

В начале сентября наш эшелон двинулся на киевский фронт. Осень была теплая, солнечная. Мы часто долго стояли на полустанках, ожидая встречных поездов. Я целыми днями сидел у открытых дверей своего вагона, вдыхая ароматный воздух уже убранных полей. Всюду царила тишина. Кто-то

говорил, что вокруг нас были повстанцы, не то петлюровцы, не то махновцы. Они взрывали железнодорожные пути и зверски избивали попадавших в их руки пассажиров. Против их возможного нападения были установлены пулеметы на крышах наших вагонов. Иногда мы упражнялись в стрельбе. Я, по неопытности, стреляя перебил телеграфные провода. Они оборвались с тонким, жалобным свистом.

Война продолжала казаться далекой и нереальной среди этих залитых осенним солнцем полей. Я жил в мире молитвы, предстоя перед Богом, прося у Него и Его святых помощи и заступления. Особенно горячо я молился Св. Серафиму Саровскому, почитаемому всеми нашими ессентукскими друзьями. Моя теплушка была моей кельей и моим убежищем.

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

# МИША РЕКАШОВ

*С. Зернова*

Прошли 4 месяца с того дня, как добровольцы освободили нас от большевиков. Они пришли 2-го Января 1919 года, в день Пр. Серафима. Рано утром мы были разбужены отдаленной стрельбой пулеметов. Потом они проходили по улицам и на их папахах ярко выделялись белые нашивки.

Прошли первые дни счастья и опьянения свободой, когда хотелось поклониться каждому встречному, каждого назвать братом. Жизнь постепенно вошла в свою колею. Был чудный весенний день. После первой грозы воздух был особенно прозрачен и чист. Я сидела на террасе, выходившей в сад; в моих руках была книга и я несколько раз собиралась взяться за чтение, но солнце было слишком ослепительно и слишком душист воздух, и мои мысли уносили меня куда-то очень далеко. Мне было 19 лет. Вдруг чей-то голос заставил меня прийти в себя.

« Вы очень глубоко задумались, простите, что я прерываю вас, я уже несколько минут стою здесь и смотрю на вас. Мне хочется догадаться о чем вы думаете ? »

Прямо передо мною стоял высокий юноша-доброволец, с открытым, веселым лицом и смотрел мне в глаза. Я смутилась от его неожиданного вопроса, но я всегда сразу отзываюсь на каждый порыв, направленный ко мне. « Я думала о том, как ярко блестят на солнце капельки дождя, и как от их блеска становится весело на сердце », сказала я. Мой собеседник стал вдруг мрачным. « Какая вы счастливая », ответил он, « как я вам завидую, я хотел бы уметь веселиться, оттого что блестят капельки дождя ». « Разве вы не веселый », — спросила я. Вместо ответа он стал весело смеяться. « Да, я веселый, я сегодня веселый, оттого, что блестят капельки дождя, оттого, что все так странно, оттого, что мы говорим с вами, как давние друзья, а вы не знаете даже кто я и не знаете моего имени, как же вы можете так говорить со мною?» « Я вам верю », сказала я. Он сделался сразу серьезным и немного торжественным.

« Спасибо вам за ваши слова. Я этого никогда не забуду. Вы увидите я этого никогда не забуду. Вы знаете — так странно, что вы об этом заговорили, это мое самое большое

мучение — если мне не верят. Когда я жил в Киеве, где мой отец был известным профессором, все двери были передо мной открыты, потому что у меня было имя моего отца, а теперь, здесь, я просто никому не нужный, никому не известный доброволец. « Они » расстреляли моего отца, убили моего брата, я бросил мать и ушел сражаться. Я хочу отомстить или умереть. Вы знаете зачем я пришел к вам ? Меня прислали к вам чтобы попросить дать нам ковры, украсить зал. Мы устраиваем концерт в пользу добровольцев. Я уже был вчера у вашей матери, но она не поверила мне, она сказала, чтобы я принес письмо от командира, она думала, что я могу украсть ваши ковры. Вот это письмо. Я шел сюда и ненавидел вашу мать и всех вас. Как вы смели мне не поверить ! Ведь я пошел умирать за всех вас. Но теперь я простил вам всем из-за того, что вы мне поверили. Я никогда не забуду этого ».

« Как вас зовут », спросила я. « Миша Рекашов », ответил он. « Приходите к нам пить чай сегодня ».

Миша пришел и стал приходить к нам каждый день. Нас было тогда десять больших друзей и он стал одиннадцатым. Он получил все наши ковры. Мы вместе украшали зал. Во время концерта он стоял среди хора и с горящими глазами пел: « Смело мы в бой пойдем за Русь Святую и, как один, прольем кровь молодую ».

Мы часто уходили далеко в степь и там сидели и говорили. Каждый был дружен друг с другом и все вместе. Была только одна область, где Мише было скучно с нами. Каждую субботу и воскресенье и каждый праздник мы все ходили в церковь, и для нас это было самой большой радостью. Мы ждали этого дня и ждали с нетерпением часа, когда зазвучит колокол, созывая нас в церковь. Миша не любил ходить в церковь. «Там скучно, говорил он, я не умею молиться». Большею частью он оставался на дворе, ожидая конца службы. Нас всех соединяла вера, и его неверие было для нас большим горем.

Наступил август месяц. Мишино ранение было залечено и он со дня на день ожидал, что его снова пошлют на фронт. Один раз, вечером, был опять концерт. Миша сидел рядом со мною. На сцене певец, в офицерской форме, пел песенки Вертинского: « Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на бой умирать ». Как напряженно мы слушали, как близко знал каждый из нас значение этих слов, « на бой умирать ». Во время антракта, мы только что собирались выйти в сад, как увидали быстро приближающегося к нам офицера, одетого в Корниловскую форму. Он остановился перед Мишей: « Вы вольноопределяющийся Рекашов ? » — спросил он, — « завтра на заре Вы выезжаете на фронт ».

В саду, в эту звездную августовскую ночь, Миша, не-

много бледный, но спокойный и решительный, прощался со всеми нами. Помню крепкое пожатие его руки, помню, как он отозвал меня в сторону и как-то смущенно сказал: « Попросите их всех, и Вы тоже молитесь за меня » и потом тихо прибавил: « На мне нет креста, дайте крест ». Я сняла с себя маленький серебряный крестик и дала ему: « Если меня убьют, сказал он, постараюсь вернуть обратно. Вы все были мне братьями и сестрами, спасибо вам ». Миша ушел в эту звездную, августовскую ночь. Мы тихо разошлись по домам. На следующий день мы собрались в церкви и служили молебен, но его уже не было с нами.

Наступила зима, холодная, снежная. Мы не забывали нашего одиннадцатого друга, и каждый, как умел, молился о нем. Помню, однажды, было особенно холодно. Я быстро шла по парку, мечтая поскорее добраться до дому. Аллеи были пустыми и заваленными снегом. Только по середине их была протоптана узкая тропинка. Навстречу мне, едва передвигая ноги, шел человек в высокой папахе, с усталым, изможденным лицом. Сразу видно было, что он только что вернулся с фронта. Поравнявшись со мною, он остановился, чтобы разойтись на узкой тропинке. Взглянув на меня, он спросил: « Не знаете ли Вы здесь случайно барышню по имени Соня Зернова ? » « Это я ». Он как будто бы и не удивился. Люди, приезжавшие с фронта, не удивлялись ничему. « Я привез Вам некоторые вещи », сказал он. « Я Корниловец, мы шли вместе в атаку. Меня ранило в руку, а его в ногу, я смог бежать, но помочь ему не смог. Он попал в плен к красным, его конечно прикололи, Корниловцев-добровольцев не оставляют в живых. Он успел только передать мне свою кожаную сумку и назвать город и Ваше имя, просил передать вам это и сказать, что он убит ».

Он больше ничего не мог рассказать мне о Корниловце, шедшем с ним рядом в атаку. В кожаной сумке я нашла записную книжку Миши, фотографию его матери и какие-то засушенные цветы.

Прошло еще несколько месяцев, фронт то приближался, то отдалялся от нас, все так же самые молодые и горячие уходили умирать, а другие скрывались в тылу. Однажды, вернувшись домой, я нашла на своем столе небольшой синий конверт, написанный незнакомой рукой. В письме были такие слова:

« Дорогие мои, теперь и я с Вами, и теперь я с Вами во всем и навсегда. Вы должны знать все, как было. Я лежал на поле с раздробленной ногой и ждал смерти. Красные приближались и я уже различал их лица. В последний раз, прощаясь с жизнью, я посмотрел на небо. Вдруг я увидал, как от земли подымались к небу ваши молитвы за меня. Дорогие мои, я не умею сказать, не умею описать этого великого

счастья, я знал, что я готов был умереть и знал также, что если Бог хочет, то Он сотворит чудо, и я буду жить. Но самое великое чудо было то, что я верил в Бога и плакал и славил Бога и любил весь мир. Дорогие мои, теперь я верю в Бога и в этом вся моя жизнь. Красные не убили меня. Они издевались надо мною, но пожалели меня, они сказали, что убьют меня потом. Но я был полон такого счастья, которого никто не мог отнять от меня. Красные держали меня 4 месяца в госпитале и каждый день издевались надо мною. Но я был свободен, потому что я мог молиться и молитва давала мне великое счастье. Однажды ночью город был захвачен белыми и они спасли меня. ВАШ МИША». Через несколько дней после получения этого письма мы бежали из Ессентуков, и с тех пор я больше не слыхала ничего о Мише Рекашове.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

## КИЕВ И ОТСТУПЛЕНИЕ НА БОРИСПОЛЬ

*Н. Зернов*

В середине сентября 1919 года эшелон 9-го Авиационного отряда остановился на Посту Волынском, — местечке, расположенном в нескольких верстах от Киева. Наши самолеты оставались в вагонах неразгруженными. Красавец город был лишь недавно занят Добровольческой Армией. До этого он уже побывал в руках немцев и их ставленника Скоропадского (1873-1945), и у Петлюры (1877-1926), и у большевиков. Белые, красные, синие, желтые и зеленые, все охотились за этим прекрасным городом, но 1919 год был лишь началом грядущих испытаний его жителей, достигших предела во время второй мировой войны, когда и немцы и сталинцы по очереди разрушали город и предавали на мучение его население *.

В мои посещения Киева он поразил меня и своей красотой и печатью оставленности. Он как будто отдыхал в этот короткий перерыв борьбы: вожди Белого Движения были на Дону и на Кубани, воинствующие украинцы в стане Петлюры, большевики укрывались в подполье. Местное население вело себя осторожно, оно изверилось в прочности власти своих быстро сменяющихся хозяев, но в городе царил мир, в нем не было карательных отрядов, никто не арестовывал заложников, нигде не расстреливались невинные жертвы. На улицах было мало движения, среди населения не чувствовалось нищеты, не было очередей и жители были прилично одеты.

Моим главным желанием было увидать знаменитые церкви Киева. Я решил, однако, отложить до следующих поездок мое паломничество в Киево-Печерскую лавру и тем лишил себя навсегда возможности поклониться этой святыне, зато Софийский и Владимирский соборы произвели на меня неизгладимое впечатление. София не была тогда еще реставрирована, но и в то время она была прекрасна со своими древними сводами и богатым барочным иконостасом. Ее сохранность, несмотря на все разрушения, пережитые Киевом,

---

* См. яркое описание Н. Павловой: «Киев войной опаленный» — Новый Журнал № 27 и 28 1951-2, Нью-Йорк.

является одним из чудес русской истории. Владимирский собор был для меня откровением возможности нового подхода к церковной росписи. Яркость его красок, выразительность изображений святых, богатство орнамента — все это восхитило меня. Долго я бродил по собору, любуясь и изумляясь его красотой. Владимирский собор, освященный в 1898 году, отразил художественное и богословское пробуждение русского Православия. В 1919 году я мало знал об этом движении, хотя бессознательным участником его я уже был в то время. В росписи собора приняли участие знаменитые художники — Васнецов (1848-1927), Нестеров (1862-1942) и другие. Они хотели сочетать торжественность и монументальность византийской традиции с эмоциональной романтикой и даже тенденцией к декадентству, стремясь одновременно, и вернуться к истокам восточной иконописи и вместе с тем обновить ее и выразить то новое мироощущение, которое было созвучно их эпохе. В свете современного понимания иконописного искусства такое сочетание может казаться более чем проблематичным. Все же Владимирский Собор остается ценным памятником искусства своего времени.

Мои надежды на дальнейшие посещения Киева не оправдались. Через несколько дней после моей последней поездки, я проснулся от пушечной стрельбы, к которой вскоре присоединилась ружейная и пулеметная перестрелка. Неожиданно начавшийся бой быстро приближался к нам. Не только я, но и весь наш отряд был захвачен врасплох, никто из нас не имел ни малейшего представления, каким образом мы оказались под обстрелом неприятеля. В это утро я в первый раз участвовал в бою, но совершенно пассивно, так как хотя у меня и была винтовка, но патронов для нее не оказалось. Единственно, что мне оставалось сделать, это лечь на пол моего вагона, чтобы пули пролетали над моей головой. Бой длился недолго, наш эшелон внезапно дернулся с места, колеса заскрипели, выстрелы стали затихать, — мы вырвались из окружения и на всех парах помчались к Киеву.

Это было первое октября, день Покрова Богородицы. Вскоре нам открылся вид на Киев. Во всех церквах раздавался звон колоколов, призывавший верующих к литургии. Очевидно, город находился в той же иллюзии безопасности, в которой были мы несколько часов тому назад. Контраст между свистом пуль, который все еще отдавался в моих ушах, и этим призывом к молитве был разителен. Я с болью думал: « Неужели этот прекрасный город снова очутится в руках коммунистов, снова заработает че-ка, польется кровь ее жертв ». [1]

---

[1] Мои опасения не оправдались. Наступление красных было остановлено, Киев остался в руках Добровольческой Армии до начала ноября 1919 года.

Наше прибытие на станцию Киева совпало с известием о прорыве фронта. Мы стали свидетелями панической и беспорядочной эвакуации города. Вагоны грузились какими-то бумагами, вокзал был забит отъезжающими, один поезд за другим спешно отправлялся на юг. Вскоре канонада начала ясно слышаться и в городе паника все увеличивалась.

Наш эшелон двинулся дальше. Тут я сделался свидетелем редкого зрелища — гонки поездов, которое, несмотря на его трагичность, увлекло меня своей необычайностью. Киев был одной из главных узловых станций России и в это утро по всем его запасным путям беспрерывным потоком двигались поезда, обгоняя друг друга. Сперва у каждого поезда был свой путь, постепенно все они слились в четыре основных линии, а под конец оставалась одна магистраль, ведущая к мосту. Он то и был целью гонки. Все воинские поезда стремились как можно скорее переехать Днепр. — У красных была речная флотилия и они могли в любой момент перерезать отступление. День был ясный, морозный, я стоял на площадке моего вагона и с захватывающим интересом наблюдал все перипетии этого необычайного состязания. Борьба обычно сосредоточивалась вокруг стрелок. Каждый поезд посылал к ним своих вооруженных солдат, чтобы обеспечить себе возможность первым проскочить на главный путь. Там шла перебранка с угрозами применить оружие. Никакого начальства не было, каждый был предоставлен самому себе. У нас был хороший паровоз и мы смогли обогнать нескольких соперников. Уже к вечеру мы переправились на другой берег Днепра и остановились на большой узловой станции.

В тот день, столь полный опасностей и волнений, я впервые получил приказ быть дневальным, то есть ответственным за охрану всего эшелона. Я имел только смутное представление о том, в чем состояли мои обязанности, но вооружившись винтовкой, я решительно приступил к выполнению этой новой для меня должности. Получив от дежурного офицера распоряжение отправить поезд без замедлений по линии, идущей на Одессу, я был в недоумении, как осуществить его. Помог мне машинист, с которым у меня установились дружеские отношения. Он объяснил мне, что я должен был получить от дежурного по станции пропуск для нашего эшелона. С трудом мне удалось разыскать этого человека. Он оказался и измученным и запуганным, его осаждала толпа офицеров. Они все кричали, что-то требовали и чем-то угрожали. Я сразу понял, что мне, солдату, ничего не удастся добиться от него. Вернувшись к нашему поезду, я снова обратился за советом к машинисту. По какому-то негласному сговору, мы решили рискнуть и двинуться в путь, не ожидая пропуска. Наш отряд стоял впереди других составов, магистраль перед нами была

свободна. Я перевернул стрелку, паровоз свистнул, и мы покинули забитый поездами железнодорожный узел.

Я чувствовал ответственность за этот самовольный поступок, мне было тревожно, но советоваться было не с кем. Скоро совсем стемнело. Измучившись за этот долгий день, я задремал у себя. Проснулся я внезапно, как будто от толчка. Наш поезд стоял. Схватив винтовку, я спрыгнул на насыпь. Феерическая картина открылась передо мною. Вокруг нас простирался огромный вековой бор. Стройные, черные стволы сосен были ярко освещены луной. В ее свете блестели рельсы, уходящие в обе стороны пути. Ночь была морозная, гулкая, прозрачная. Все находилось в сонном оцепенении. Только вдали, во главе нашего длинного состава, слегка попыхивал усталый паровоз, набирая пары. Я стоял как зачарованный этой величественной картиной. Мне казалось, что я один бодрствую во всей вселенной. Я попытался пройти вдоль насыпи, но почва была рыхлая, песчаная, ноги в ней увязали, и я решил возвращаться в свой вагон. Когда я начал подыматься в него, к моему ужасу я увидал позади нас огни быстро приближавшегося к нам поезда. Паровоз, бросая высоко искры в черное небо, двигался на нас, не подозревая о нашем присутствии. Я сразу сообразил, что уехав без пропуска, мы незаконно занимали магистраль. Что должен был я делать ? Добежать до нашего машиниста я уже не успел бы. Я мог начать стрелять из винтовки, но я боялся поднять панику среди испуганных и измученных людей, которая легко бы привела к перестрелке между своими. Мне ничего не оставалось, как ждать неизбежную катастрофу. Я отбежал от полотна железной дороги и как загипнотизированный следил за приближением двух фонарей, которые подобно глазам чудовища были устремлены на наш поезд. Через несколько секунд раздался мощный удар, звуки разбитых вагонов, лязг железа, шипение пара . . . Все эти дикие раздирающие звуки пронеслись по ночному лесу и он ответил эхом тысячи тревожных голосов. Густое облако пара и пыли закрыло от меня картину крушения. У меня было впечатление, что оба поезда были разбиты вдребезги. Я ожидал увидать страшную картину разрушения. Но когда пыль улеглась, то я, к моему величайшему изумлению, нашел себя стоящим перед пустым полотном железной дороги. Мой эшелон исчез без следа, только стальные рельсы блестели под лунным светом. Казалось, что крушение приснилось мне во сне !

Но, к сожалению, я вскоре убедился, что оно действительно произошло. Я увидал маленькие фигурки людей, бежавших к месту, где виднелась груда разбитых вагонов. Я тоже устремился туда. Странная картина предстала передо мною. Натолкнувшийся на нас поезд совсем не пострадал. Его пассажиры отделались лишь испугом. Конец нашего поезда тоже

стоял на рельсах. Только два товарных вагона были разбиты и они-то и загромоздили путь. Остальная часть нашего эшелона, включая офицерские классные вагоны, мою теплушку и вагоны с самолетами как бы растворилась в ночном тумане. Мне некогда было разгадывать эту тайну непонятного исчезновения. Вместе с другими я начал расчищать путь от обломков. Один из вагонов был складом авиационных красок, в другом случайно спал один из наших солдат. Он, непостижимо, оказался единственной жертвой катастрофы. Никто толком не понимал, что произошло, я был единственным свидетелем. Меня никто не спрашивал, и я никому не дал отчета. Уже перед рассветом, измазанный липкой краской, совсем без сил, я заснул в одной из теплушек.

Наступило утро — солнечное, ликующее. Оно принесло разгадку исчезновения главной части нашего поезда. Выяснилось, что когда наш эшелон затрещал от внезапного удара, машинист дал полный ход паровозу, тот, оторвав половину нашего состава, умчал ее до следующей станции. Только там паника улеглась и все догадались, что произошло ночью. Наш паровоз вернулся утром на место крушения и подобрал оставшуюся часть нашего отряда.

После дружной работы путь был окончательно очищен от обломков, сброшенных под откос, и мы смогли продолжать наше следование к месту нового назначения — к станции Борисполь. Так окончилось мое первое дневальство трагической смертью неизвестного мне солдата в ночь между первым и вторым октября 1919 года. Только чудом моя неопытность не повлекла за собой гибель других людей.

## ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

# СТОЛИЦА УКРАИНЫ В 1919 ГОДУ

*(Отрывки из писем Н. Зернова)*

Оксфорд, 20 сентября 1968.

На моем столе лежат почти истлевшие листки плохой бумаги, исписанные мелким, неразборчивым почерком. Это мои чудом сохранившиеся письма, написанные в сентябре 1919 года в теплушке авиационного эшелона. Я нашел их среди бумаг моей матери в Париже, после второй мировой войны. Несмотря на всю разруху гражданской войны, они дошли до моей семьи из Киева на Северный Кавказ и оттуда проделали наш долгий беженский путь до Франции, затерявшись среди нужных документов. Они полны моей любви к моим родным, юношеского восхищения красотой Киева, и содержат описание самого города. Здесь я привожу несколько выдержек из них.

« Дорогие мои, вчера я не писал вам, так как был дежурным и ехал на крыше вагона. Меня поражала неразоренность этой страны. Среди однообразных вспаханных полей удивительно красиво было одно озеро, окруженное густым лесом. Оно было так прекрасно и неожиданно, что показалось мне видением. Все время думаю о вас, вы так далеки ! »

7-IX-1919. « Наконец я в Киеве. Мне с Сережей (Назаровым) разрешили пойти в город, и мы пробыли там до вечера. День был чудесен, солнечно, тепло, настроение у нас было ликующее, ноги так и неслись вперед. Мы шли по гористым улицам, обсаженным деревьями. Весь город состоит из таких красивых улиц. Все в Киеве блещет, всюду образцовая чистота, публика одета нарядно, но офицеров почти не видно. Встретился нам, однако, взвод Павловского Гвардейского полка в прежней форме. Удивило меня множество людей с нерусскими лицами. Вначале мы даже недоумевали, где же Киев — Мать русских городов ? Берег Днепра очень высок, мы долго лезли наверх. У памятника Св. Владимира, с огромным крестом в руке, мы увидали один из самых зачаровывающих видов моей жизни. Синий, синий Днепр плавными изгибами окружал город, а вдаль уходили бесконечные леса, терявшиеся в тумане горизонта. Берег Днепра состоит из белых песков и это особенно эффектно. Внизу, на нижнем

берегу Днепра, расположился Подол. Он кажется совсем отдельным городом... В нем масса церквей... На другом берегу домов совсем нет. Это придает всему большую красоту.

Долго мы наслаждались этой поразительной панорамой. И вспомнилась мне зимняя Москва, с ее узкими темными улицами, но и с ее могучим Кремлем. Все-таки мощь русского духа в тебе, Москва, а не в Киеве. Ты создала великую нашу родину... Пошли к Софийскому собору. Перед ним удивительный памятник Хмельницкому. С одной стороны написано: « Богдану Хмельницкому — единая, великая Россия », а с другой — его слова: « Волим под царя восточного, православного ». Наши сердца радостно забились, прочтя это. Интересно, что было написано здесь во времена большевиков и самостийников...

Совершенно неожиданно мы попали на огромное торжество. В половине пятого, перед собором стали собираться крестные ходы со всех церквей Киева. А в пять часов под открытым небом началось молебствие перед мощами св. мученика Макария Каневского († 1678). Служил митрополит киевский Антоний (1863-1936). Великое это было зрелище. Огромные толпы народа, звон колоколов, напоминавший Москву, бесчисленные хоругви и столько священников, сколько я еще не видал в моей жизни. Много было монахов и монахинь. Мощи были вынесены в открытой раке на площадь. Молился я неважно, устал и развлекался наблюдениями за лицами священнослужителей. Только под конец стало мне лучше молиться. Очень жаль, что я ничего не знал о жизни этого мученика. Службу этому святому составил сам митрополит. Когда все вместе пели некоторые молитвы, было очень величественно. Мы успели достоять до конца и приложиться к мощам. Выходили мы из ограды собора под могучий звон софийских колоколов. Давно я не слыхал таких. Домой мы просто летели. Вечером мы сидели и делились воспоминаниями. Их было много и хорошие они были. Потом прочли Евангелие и пошли спать ».

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

## ПУТЬ ДОМОЙ

*Н. Зернов*

После отступления из Киева 9-ый Авиационный Отряд нашел свое временное пристанище на запасных путях станции Борисполя, расположенной на линии из Киева в Одессу. Сама станция стояла одиноко на безбрежной украинской равнине, в двух верстах от нее раскинулось богатое село с двумя церквами и белыми просторными хатами. Население было зажиточное, всюду были видны признаки материального благополучия. Казалось, что наш отряд был забыт на этих запасных путях. Самолеты, по прежнему, не разгружались, мы оставались в полном бездействии.

Стояла осень во всей ее красе. Долгие закаты, оранжевые и багряно-алые с зелеными просветами, медленно угасали на вечернем небе. Золотые и красные листья бесшумно падали на землю, серебрившуюся по утрам от ранних заморозков. Хрупкое очарование осени рождает чувство тонкой и острой печали. В Борисполе я испытал эту горькую чашу до конца. Осенняя тоска всецело завладела мной. Мое сердце разрывалось от красоты закатов и тревоги о моей семье. Писем я не получал и хотя сам писал часто, но было мало надежды, что мои письма доходят до дому. Я предполагал, что мои также страдают, ничего не зная обо мне. С фронта тоже никакие известия до меня не доходили. Я жил оторванным от всего мира. Планов на будущее я не строил, все мои мысли были сосредоточены на доме. В моем воображении я видел всех моих, собранных вокруг обеденного стола или вечером читающих какую-нибудь книгу в кабинете отца.

Острое сознание бессмысленности моего пребывания в Борисполе усугублялось признанием моей полной непригодности к военному делу. Я не умел обращаться с оружием и не имел даже элементарного понятия о строе. Я признавал, что мой долг был участвовать в борьбе с теми, кого я считал поработителями и растлителями моей родины, но я не мог представить себя убивающим других людей в этой братоубийственной брани. Я находился в безысходном тупике. Спасала меня вера, что Бог силен вывести меня из безнадежного положения. Я много молился, прося его сохранить невредимой мою семью и всех друзей по кружку. Я верил, что

чудо возможно и что мы все сможем соединиться еще раз. И невозможное совершилось, я вернулся в Ессентуки.

Мой путь домой начался с самой прозаической мелочи. Завтракая у себя в вагоне, я пробегал глазами строки сальной газеты, лежавшей у меня на столе. Вдруг мое внимание было привлечено черезвычайно важным для меня сообщением. Кусок газеты содержал приказ высшего командования Добровольческой Армии об отпуске студентов-медиков для продолжения прерванного образования. Этот клочок рваной бумаги был моей хартией вольности. Схватив его, я помчался к адъютанту отряда. Он ничего не знал об этом приказе и удивился моей находке, но согласился однако отпустить меня в Киев для получения полного текста приказа. Попав в столицу Украины я с волнением стал показывать продавцам газет мой отрывок бумаги. Один из них по шрифту догадался, в каком органе он был напечатан. В его редакции мне удалось достать столь важный для меня экземпляр газеты с датой и номером приказа.

Вернувшись в отряд, я с тревогой ждал решения моей участи. После длительных переговоров с начальством, адъютант выдал мне серую бумажку, на которой было отстукано на машинке, что вольноопределяющийся Николай Зернов посылается в распоряжение Военного Начальника города Ростова для зачисления его в студенты медицинского факультета.

Получив этот драгоценный документ, я почувствовал себя другим человеком, я был снова свободен и мог распоряжаться своим временем. Мне захотелось остаться еще на несколько дней в Борисполе и на свободе пережить красоту осени, тишину и размеренный ритм моего одинокого существования. Однако благоразумие восторжествовало, я понимал, что только что полученная мною свобода была ненадежна. Поэтому я сразу собрал в мешок все мои пожитки и стал ждать первой возможности двинуться в дальний и трудный путь.

В годы российской разрухи поезда были совсем особенные, ходили они без расписаний, никто точно не знал, когда на горизонте появится дымок паровоза, возвещающий о приближении поезда. Пуская снопы искр и густого дыма, страдая от плохого топлива, эти давно не ремонтированные локомотивы с трудом тянули длинные вереницы теплушек, тесно набитых людьми. Такой поезд медленно подползал к очередной станции и сразу же делался центром ожесточенной борьбы с нетерпением ожидавших его пассажиров. Пока паровоз набирал воду и грузился углем или дровами, толпа людей осаждала вагоны, стараясь проникнуть внутрь их или хотя бы примоститься на их крышах или буферах. Обычно тяжелые двери теплушек оставались наглухо закрытыми, а снаружи открыть их было почти невозможно. Только в тех случаях,

когда один из едущих покидал поезд, дверь раскрывалась и новые пассажиры втискивались в переполненный вагон. Публика в поездах была тоже особенная. Она сливалась в некую серую массу, мужчины и женщины были одинаково одеты в полушубки и валенки, и закутаны в платки. Все они везли с собою мешки и поэтому назывались мешечниками. Они образовывали всероссийское, безымянное братство. Их всех куда то несло, они все должны были переносить лишения и опасности пути, днями, а иногда неделями, ждать посадки на поезда, а потом в грязи, духоте и тесноте медленно пересекать в различных направлениях русскую равнину.

Я был в привилегированном положении в Борисполе. Мне не нужно было ждать отъезда в холодном нетопленном здании станции. Я мог, оставаясь в моей теплушке, спокойно жить до времени прихода поезда. К моему удивлению, он пришел в тот же вечер (первого ноября 1919 г.) Обычно я всегда предпочитаю прийти на вокзал заранее, « чтобы не опоздать ». На этот раз, я как-то не спешил, не подозревая, что подошедший поезд был последний, который мог доставить меня в Ростов. Долго и бесплодно я старался найти хотя бы открытую щель в одной из теплушек, но они все были наглухо закрыты и никто не отзывался на мои просьбы впустить меня. Я уже готовился возвращаться в мою теплушку, чтобы ждать следующего поезда, когда я увидал в конце длинного состава приоткрытую дверь. Я бросился к ней и каким-то чудом, уже на ходу взобрался внутрь товарного вагона. Дверь захлопнулась за мной. В теплушке царила непроглядная тьма; я коекак нашел место на полу для себя и для моего мешка. Все едущие были стиснуты до предела, стояла ужасная духота и вонь.

Ночью, под равномерное постукиванье колес вагона по расшатанному пути, чья-то сонная голова упала на меня, я тоже положил свою на невидимого соседа, люди и мешки перемешались друг с другом, все погрузилось в тяжелый сон, сопровождавшийся храпом, стонами и непонятным бормотаньем. Старый паровоз тащил тысячу изнуренных людей в обреченную столицу Украины. Утром мы прибыли в Киев.

Невыспавшийся, немытый и небритый, с пустым желудком, дрожа от утреннего холода, я оказался на платформе огромного киевского вокзала. В залах, в проходах, на платформе сидели, лежали и бродили толпы людей. Мужчины, женщины и дети ели, спали, искали в своей одежде паразитов, а главное — все ждали; как больные, лежавшие около Силоамской купели, они все чаяли, но не движения воды, а свистка паровоза. Но железнодорожные пути были заставлены пустыми вагонами с выбитыми стеклами и выломанными дверьми. Нигде не было видно никакого признака дви-

жения. С трудом я пробился в комнату станционного коменданта.

Толпа офицеров и солдат, энергично работая локтями, осаждала стол дежурного писаря, надеясь получить от него нужную информацию. Этот затурканный человек всем отвечал одной и той же фразой, что в ближайшее время отправка поездов в любом направлении не предвидится, и что следует ждать объявлений, которые будут даны в свое время. Хаос, царивший в Киеве, и полная разруха транспорта были неожиданным ударом для меня, я готовился к изнурительному путешествию, но не ожидал, что мне придется ждать, может быть, несколько дней поезда на Харьков, а оттуда и на Ростов. Удрученный я вернулся в громадный зал. На мое счастье, которое однако могло и погубить меня, я нашел место на скамейке. Заняв его, я набрался терпения для долгого ожидания, которое могло легко продлиться с неделю. Так прошел в полном бездействии длинный, серый, холодный и безнадежный день. Наступил вечер, кое-где зажглись фонари. В их тусклом свете картина тысячи людей, сгрудившихся в огромном зале, приняла фантастические очертания. Вдруг мое внимание привлек солдат с знакомыми нашивками авиации на рукаве, он пробирался с трудом через массу сидящих и лежащих тел. Видимо он шел к какой-то цели. Мне хотелось остановить и расспросить его об его планах, но опасение потерять место на скамейке погасило мой первый порыв. Только, когда его фигура почти исчезла из моего кругозора , я, с каким-то для себя неожиданным взрывом энергии, сорвался с моего места, схватил мой мешок и, к удивлению всех окружающих, пустился вдогонку за удаляющимся солдатом. Мне удалось догнать незнакомца, когда он был уже на платформе. На мой вопрос, куда он идет, он сообщил мне чудесную новость, что он возвращается в поезд своего авиационного отряда, отправляющегося в Харьков в эту же ночь. « Возьмите меня с собой », взмолился я. Солдат охотно согласился помочь мне. Он повел меня по бесконечным, черным, скользким шпалам запасных путей. Наконец, мы добрались до его эшелона, живо напоминавшего мне наш отряд. К моей радости я увидал, что к их составу был прицеплен живой, дымящий и пускающий пар локомотив. Комендант легко дал мне разрешение присоединиться к их команде. Я нашел свободную койку в вагоне третьего класса и, в счастливейшем настроении, расположился на ночлег. Произошло сказочное изменение в моей судьбе. Вместо того, чтобы изнывать в ожидании отправки на скамейке холодного вокзала, а потом бороться за получение места в поезде, я без всяких усилий и тревог мог без пересадок ехать до самого Харькова в чистом и просторном вагоне. Наш поезд почти сразу покинул Киев, и, убаюканный мерным покачиванием вагона, я заснул сладким,

безмятежным сном, благодаря Бога за Его великие милости. На следующее утро мы были уже далеко от Киева, наш путь лежал на Чернигов. По мере нашего продвижения на север, стало заметно холоднее, но в нашем вагоне стояла чугунка, в ней ярко трещали дрова, и от нее распространялся жар по всем отделениям. Ехать было легко и приятно, меня угостили вкусным обедом, и я блаженствовал весь день. К вечеру мы добрались до Чернигова. Вокзал сразу поразил меня своей непонятной пустотой. Я вышел прогуляться на платформу: на ней не было ни мешечников, ни солдат, ни железнодорожного начальства. Все куда-то исчезли, станция вымерла, только несколько казаков в полном вооружении встретили наш эшелон. Известие, сообщенное ими, как ножом отсекло от меня мое мирное состояние духа. Они объявили, что фронт был прорван, и большевики в любой момент могли захватить город. Перед начальником нашего отряда встал труднейший вопрос: для того чтобы достичь Харькова, наш поезд должен был сначала продолжить путь на север навстречу наступающим красным, затем ему нужно было повернуть на восток и продвигаться вдоль фронта, и только попав в Конотоп, мы могли считать себя в безопасности. Надо было решить: идти вперед рискуя попасть в руки большевиков, или возвращаться в Киев. Начальник дал приказ двигаться на север. Снова началось мерное покачиванье вагона, постукиванье колес, пыхтенье паровоза. Но все эти привычные звуки больше не убаюкивали; наоборот, они переплетались с острой тревогой: удастся ли нам проскочить до захвата линии красными. Для меня этот страх углублялся сознанием очевидного поражения Добровольческой Армии. Живя в Борисполе, я не читал газет и не имел понятия о бедственном положении всего Белого Движения.

Черная непроглядная ночь вскоре окутала наш одинокий поезд, медленно продвигавшийся навстречу беспощадному врагу. Поднялся сильный вихрь, он принес снежную вьюгу, самую страшную в моей жизни. Думаю, она и спасла нас, временно остановив наступление противника. Ветер свистел, стонал, завывал. Поезд дрожал от неистовых порывов. Бесконечные потоки снега то заметали линию сугробами, то оголяли рельсы. Наш паровоз начал поддаваться ударам непогоды. Его продвижение стало постепенно замедляться и, наконец, прекратилось совсем. Кончилось постукиванье колес, только буря еще сильнее завывала вокруг нас. Наверное, все мы задавали себе те же вопросы: почему мы встали, не хватает ли паров у локомотива, не занесло ли нас снегом или же путь уже разобран продвинувшимся за день неприятелем. Воображение рисовало торжество врага, захватившего целиком авиационный отряд. Пленных большевики не брали,

участь каждого из нас была бы заранее решена. В вагоне царило молчание, говорить не хотелось.

Первая остановка, к счастью, длилась не долго, паровоз сдвинулся с места, и у всех нас поднялся дух. Вскоре, однако, поезд опять остановился. Так тянулась эта ночь. Мы то стояли, то медленно двигались вперед. Я лежал на моей койке и напряженно молился, прося у Бога спасти нас. Все мое существо было охвачено горячей мольбой о помощи свыше. Я не думаю, что я особенно боялся смерти, более мучительно было думать о возможном торжестве красных, об их издевательстве и пытках, ожидавших нас, если мы попадем в их руки. Под утро я забылся глубоким сном. Я проснулся, когда уже было светло, к моему горю, мы снова стояли. Царила странная тишина, метель утихла, паровоз не подавал никаких признаков жизни, да и в вагоне не слышно было присутствия людей. Я долго не хотел открывать глаза и возвращаться к действительности. Рядом раздались тяжелые шаги солдата, я спросил его: « Почему мы стоим ? » Он радостно мне ответил: « Да мы уже в Конотопе ». Мы были спасены. Страшная линия, шедшая вдоль фронта, была уже позади. Наш поезд был последним, на следующий день большевики перерезали сообщение Киева с восточной Украиной. Вечером мы были в Харькове. Там я узнал, что приказ об отпуске студентов из армии был отменен сразу после моего отъезда из Борисполя. От своей части я уже был отрезан и потому решил вернуться домой и там выяснить мою дальнейшую судьбу. Остаток пути я совершил в переполненных вагонах, брал с боя места на пересадках. После Ростова стало легче, Кавказ уже был недалеко, тут я внезапно вновь заболел, на меня напал сильный озноб, казалось невозможным не доехать до дому после всего, что я уже пережил ! Все же я добрался до станции Минеральные Воды, там меня ждал пустой и чистый дачный поезд Кисловодской линии. Странно было сидеть в вагоне не сдавленным чужими телами, вырваться из потока разлагающейся армии. Тут озноб покинул меня и в Ессентуки я приехал здоровым, после девятидневного путешествия.

Ночь была морозная, звездная, снег хрустел под ногами, станица как будто вымерла, я не встретил по дороге ни одной души. Я почти бежал по знакомым улицам. Сердце сжималось при мысли о приближающейся встрече. Я задавал себе вопросы: все ли благополучно в семье ? знают ли мои что-либо обо мне ? Но вот и любимый дом, с улицы не видно огней. Я открываю знакомую калитку в сад, влетаю на темную террасу и начинаю стучать в дверь. Слышу чьи-то шаги и дорогой голос тети Мани, спрашивающий: « Кто там ? » и в ответ, ее радостный крик « Коля » ! Открылась дверь, все меня окружили, моя мать от волнения упала передо мною на ко-

лени, начались беспорядочные расспросы, слезы, поцелуи и все озаряющее счастье нашей чудом дарованной встречи. Я застал всех дома, кроме папы, который был у больного. У нас все было благополучно. Я не мог вдоволь насмотреться на любимые, радостные лица. Это был один из счастливейших вечеров всей моей жизни.

## СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

# ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ДОМА

*Н. Зернов*

Последние три месяца, проведенные в Ессентуках, были временем высокого духовного подъема, света, любви и дружбы, смешанных с сознанием гибели Добровольческой Армии и крушения наших надежд на возрождение России.

На фоне этих грозных событий мое неожиданное возвращение на Кавказ представилось мне в новом свете. То, что казалось лишь совпадением счастливых случайностей, открылось мне теперь, как узкий, но отчетливый путь, каждое звено которого было последней возможностью достичь родного дома. Я прошел по нему, не зная этого, часто действуя вслепую. У меня самого не было ни сил, ни возможностей добиться желаемой цели, если бы не эти « случайности ». Я верю, что мое воссоединение с семьей накануне крушения Белого Движения было даром Божьего милосердия, ответом на наши молитвы.

В Ессентуках, после моего неудачного опыта в авиационном отряде, я решил вернуться к медицинской специальности, использовавши мое звание студента медицины. Сдав нужный экзамен, я получил назначение работать фельдшером в хирургическом лазарете, оборудованном в санатории « Азау ». Он был предназначен для особенно трудных операций и для запущенных ран. Много насмотрелся я там жестоких страданий. Когда фронт приблизился, у нас появились и тифозно-больные, которым не хватало мест в других госпиталях.

Однажды к нам привезли трех скелетообразных красноармейцев. Они все были в сыпном тифу и без памяти. Мне поручили их обмыть и поместить в постели: они были совсем черные от грязи, а белье их было покрыто сплошным густым слоем вшей. Ничего подобного я раньше не мог себе представить. Одежду мы сожгли, а несчастных юнцов я вымыл и уложил. Сколько таких жертв междоусобной войны гибло во всех концах России ! Помню и другой случай: наш главный хирург, доктор Тихонович, перед операцией пленного красноармейца спросил его: « Кто же тебя подстрелил ? » — Тот ответил: « Да свои же ! » « А кто же для тебя свои ? », продолжал свои расспросы хирург. « Да вот в этом-то я и не разобрался » — последовал типичный ответ. Работа в госпитале

давала мне большое удовлетворение, я мог в меру моих сил облегчать страдания других. Все же свободное время я отдавал церкви.

В начале 1920-го года произошло событие, сильно повлиявшее на нашу религиозную жизнь. В нашем доме поселился священник необычайных духовных дарований. Это был отец Николай Кольчицкий (17 апр. 1890 — 11 янв. 1961). Попал он к нам случайно, со своей семьей он был эвакуирован из Харькова и искал пристанища. Он зашел к нам, наша мать была готова с радостью их принять, но предупредила его, что ее дочь серьезно заболела, и есть опасность, что у нее черная оспа, от которой на днях умерла одна наша знакомая. Отец Николай не только не побоялся возможной заразы, но по приезде отслужил молебен и дал моей сестре приложиться к его кресту. На другое утро у нее была нормальная температура.

Когда Отец Николай поселился у нас, ему было 27 лет. Он окончил Московскую духовную академию и был учеником о. Павла Флоренского (1882-1943), одного из самых выдающихся богословов нашей церкви. В Харькове о. Николай сразу снискал большую любовь своих прихожан. Когда падение города стало неминуемо, его увезли почти силой. В ночь отъезда он служил всенощное бдение, длившееся до утра, при переполненной церкви. Ему сказали, что его семья уже в вагоне отходящего поезда, и таким образом, окончив служение, он был принужден покинуть город.

Впоследствии Кольчицкий играл большую роль в московской патриархии, будучи настоятелем Елоховского собора в Москве, после второй мировой войны.

С первого момента нашего знакомства, его выдающаяся личность произвела на нас глубокое впечатление, но полностью мы его могли оценить только, когда он отслужил всенощную по приглашению настоятеля Пантелеймоновской церкви. Все мы тогда поняли, что в нашу жизнь вошел человек, доселе нам неизвестной духовности. Его прекрасный голос, сила его молитвы, даже его особая крестообразная манера каждения с низкими поклонами захватила нас. Вся церковь была тоже под впечатлением его служения.

Отец Николай согласился возглавить наш кружок. Он начал толковать нам Евангелие от Марка, раскрывая догматическое значение каждого стиха. Мы были вдохновлены ясной глубиной его мысли. Он привлек многих новых членов, среди них было несколько девушек казачек, настоящих подвижниц, подруг моей младшей сестры. Наше число возросло до 30 человек.

Через некоторое время о. Николай получил разрешение служить в маленькой единоверческой церкви, которая пустовала из-за отсутствия священника. Он пригласил наш юно-

шеский кружок помочь ему. Мы с радостью согласились. Первая служба была 2 февраля, на Сретенье. Кроме членов нашего кружка, в церкви почти никого не было. Наши девицы вычистили и убрали храм. Они же составили хор. Мне о. Николай поручил читать на клиросе. Я никогда раньше не принимал участия в богослужении и с трудом разбирался в славянском тексте псалмов и тропарей. Наша неопытность всецело покрывалась литургическими дарами о. Николая, его властными музыкальными возгласами, его проникновенной молитвой и блестящими проповедями. Он начал регулярно служить в этой заброшенной церкви, и она вскоре была переполнена молящимися. Церковный народ, так же как и мы, быстро и безошибочно признал исключительное пастырское призвание о. Николая.

Наша религиозная жизнь, столь ярко загоревшаяся под его влиянием, еще резче оттенила ту пропасть, которая разверзалась под нашими ногами. В нее мы не хотели смотреть, но наша семья силой надвигающихся событий все же встала перед роковым вопросом, что нам должно было делать в случае вторичного захвата большевиками Кавказских Минеральных Вод.

Из всех нас я яснее других сознавал нашу неминуемую гибель, если мы снова попадем в руки красных. Активная помощь нашего отца Добровольческой Армии, моя служба в ней вольноопределяющимся, наше видное положение в станице и участие в церковной жизни исключали всякую надежду избежать ареста и расстрела. Однако мысль о бегстве из Ессентуков была столь раздирающей, что мы все цеплялись за всякий предлог, чтобы не думать об отъезде. Мой отец продолжал упорно говорить о возможности улучшения положения на фронте. Я не разделял его оптимизма, но у меня не было плана, куда и как мы могли бежать. Никаких сведений о возможности эвакуации мы не могли получить, почта не действовала. Мы жили слухами, а они были самые противоречивые. Одни говорили, что братские славянские страны, Сербия и Болгария, радушно принимают русских беженцев; другие утверждали, что все порты Черного моря забиты беглецами, которые не могут попасть на пароходы, что там свирепствует эпидемия сыпняка, и что даже до Новороссийска добраться почти невозможно.

Положение нашей семьи было сложное: мы еще не начинали беженского существования, жили в нашем просторном доме, у отца была прекрасная практика, обеспечивающая нас всех, но главное — у нас не было внутреннего согласия по основному вопросу, должны ли мы были оставаться или бросать все и обрекать себя на полную неизвестность. Кроме того, с нами жили две сестры нашей матери с нашей двоюродной сестрой, и это еще более осложняло положение. Тетя

Маня, которая была для нас как бы второй матерью, решительно противилась отъезду. Она горячо убеждала отца оставаться, считая, что и большевикам нужны хорошие врачи и они пощадят его жизнь. Отец охотно слушал эти заверения, они утешали его, ему было больно оставить свой врачебный пост и, может быть, навсегда покинуть столь любимые им Ессентуки. Наша мать склонялась на его сторону. Больше всего настаивал на отъезде я, меня поддерживала теперь моя младшая сестра. Каждый день у нас продолжались бесконечные и бесплодные споры и мы теряли на них драгоценное время.

В сочельник во время всенощной мы передали друг другу шепотом страшную весть: « Раиса заболела »; это была условная фраза, означавшая падение Ростова. Приход большевиков стал неминуем, оставался только вопрос, как скоро они вновь займут Северный Кавказ. Рождество было омрачено этой угрозой, смертельный круг замыкался вокруг нас, а мы по-прежнему не могли прийти ни к какому решению и даже одно время собирались уехать вперед без нашего отца, безумно рассчитывая, что он может присоединиться к нам « потом ».

Наконец, помог нам принять окончательное решение профессор Кожин, начальник санитарного отделения. Он предложил нам место в своем поезде, отправляющемся во Владикавказ. Наши колебания сразу прекратились, перед нами были поставлены сроки, требовавшие от нас быстрых и конкретных действий. С нами должен был ехать другой доктор Смоличев с семьей, и это особенно нравственно поддерживало моего отца. Ему легче было оставить Ессентуки вместе с санитарным управлением, чем покинуть их по своей инициативе. Санитарный поезд не мог взять с собой наших тетушек и двоюродную сестру. Они решили остаться в нашем доме, в надежде сохранить его для нас, если мы когда-нибудь вернемся назад. (Мы все соединились вновь в 1923 году, когда во время болезни Ленина можно было получить разрешение на выезд за границу и мы смогли выписать их в Югославию).

17 февраля мы узнали что поезд профессора Кожина уйдет на следующий день вечером. С утра у нас шли беспорядочные сборы и волнения. Никто не знал, что нужно брать и что оставлять. Мы решили укладывать все наши вещи в мешки и брать только то, что мы могли нести на себе. Мне приходилось больше чем собираться самому, уговаривать родителей, которые впали в такое уныние, что были совсем неспособны готовиться к отъезду.

Отец Николай отслужил нам напутственный молебен [1]

---

1 Примечание.

Нам пришлось еще раз встретиться с Отцом Николаем, но при совсем иных обстоятельствах. В начале июня 1945 года он приехал делегатом

Св. Серафиму и Николаю Чудотворцу. Слушая его молитвы и обещание всегда помнить о нас, я горько плакал, прощаясь со всем, что составляло основу нашей жизни: Россией, церковью, родными и друзьями нашей молодости. В 6 часов вечера, погрузив наши мешки на подводу, мы покинули дом, ставший для нас за эти годы революции нашим дорогим другом. Было облачно и сыро, мостовая была покрыта липкой грязью, улицы были пусты, никто не обратил внимания на наш отъезд.

Все наши молодые друзья пришли на вокзал, и мы устроили прощальное собрание в пустой и запущенной зале первого класса. Мы все были согреты и вдохновлены нашей верой, дружбой и любовью друг ко другу. Последующая жизнь показала, что дружба наша не оборвалась за долгие годы разлуки. Только поздно ночью наш поезд двинулся с места.

Рано утром мы приехали на станцию Минеральные Воды. Наш поезд простоял там целых двое суток, и все наши колебания возобновились. Наша мать, которая всегда была организаторшей всех наших поездок, совсем пала духом. Она плакала и хотела возвращаться домой. В это время тетя Маня, узнав что мы застряли на Минеральных Водах, прислала к нам нашего друга Вовку уговаривать не делать безумных поступков и, пока не поздно, вернуться домой. В конце концов, победили мы — молодежь. Во время этого мучительного ожидания, находясь так близко от дома, большим утешением для нас было общество наших спутников по теплушке. Мы делились с ними нашей провизией и разговоры с ними отвлекали наших родителей хоть отчасти от тягостных мыслей. Вечером 20 февраля наш длинный санитарный поезд медленно двинулся с места и мы окончательно оторвались от нашего прошлого.

В середине ночи мы проснулись от едкого дыма — ось нашего вагона горела. Это было постоянное явление — вре-

---

от Московской Патриархии в Лондон вместе с митрополитом Николаем Крутицким (Янушевичем) (1892-1961). Моя младшая сестра и я с женой жили тогда в Англии. Мы с глубоким волнением и не без труда добились свидания с ним, надеясь услыхать от него, что происходит внутри церкви в России, о которой шли столь противоречивые слухи. Наше свидание произошло в отеле, где остановились делегаты. Внешне Отец Николай мало изменился за эти 25 лет, но внутренно, нам показалось, что это был другой человек. У него было холодное непроницаемое лицо, огонь, когда-то так ярко горевший в нем или погас или ушел глубоко внутрь. Он ни одним словом не обмолвился с нами о том, что он пережил за истекшие четверть века, да и нас он мало расспрашивал. Было ясно, что он не мог или не хотел восстановить те отношения, которые были у нас с ним в Ессентуках.

Нам не дано знать все то, что пережили те иерархи, которые взяли на себя руководство русской церковью в тяжкие годы ее испытаний. Но то, что отцу Николаю пришлось много вынести, было отчетливо запечатлено на всей его сильной и талантливой личности.

дители насыпали песок в коробки для смазки колес. Поезд продолжал идти, каждый момент мы могли сойти с рельс или нас могли отцепить и бросить на произвол судьбы. Но все обошлось благополучно. На следующей станции нам удалось потушить пожар и спасти нашу ось.

Последний день нашего пути до Владикавказа был озарен величием Кавказа, цепь его снежных вершин приблизилась к нам, под вечер они заалели в лучах заходящего солнца. Не хотелось отрывать от них глаз. Их покой и девственная красота подымали нас над нашей скорбью и тревогой. Еще ночь и мы добрались до Владикавказа.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

## ОБРЕТЕНИЕ ЦЕРКВИ

*Н. Зернов*

Заканчивая четвертую часть нашей семейной хроники, которая описывает события революции и гражданской войны, я хочу остановиться на том глубоком перевороте, который совершился во мне в те годы. Этот решительный перелом был вызван « обретением церкви ». Называя этим именем мое обращение к вере, я не хочу сказать, что до этого времени я жил вне церкви. Я всегда участвовал в ее таинствах и богослужениях, и, насколько я себя помню, никогда не терял веры в Бога и не переставал молиться. Все же 1918-ый год был для меня годом религиозного пробуждения, которое коренным образом изменило мое мироощущение и сделало меня иным человеком.

До этого времени в моем поведении и в моих поступках я руководился тем, что представлялось лично мне правильным или желательным. Евангельское учение о любви к ближнему и о самопожертвовании привлекали меня, но я не считал их обязательными для себя. Я не имел ясного представления о цели моей жизни, но надеялся прожить ее счастливо и интересно. Не было у меня и желания служить общему делу.

Революция нанесла сокрушительный удар этому самососредоточенному на себе мировоззрению. Она раскрыла передо мной страшную силу зла, о которой я не имел никакого представления, она также показала мне всю хрупкость земного существования. Жизнь каждого из нас могла оборваться в любую минуту. Но самым важным для меня была не встреча с буйством, внезапно охватившим часть русского народа, а с холодной, продуманной жестокостью и сознательным обманом главарей большевизма. Они, провозгласив независимость человечества от Божественной воли, стали сами бесконтрольно распоряжаться судьбой людей и налагать свои цепи на свободу мысли, веры и слова. Безнаказанность преступлений, совершенных Лениным и его последователями, видимое бессилие преследуемых христиан, заманчивые обещания коммунистов склонили многих поклониться красной пятиконечной звезде. Ее кровавый блеск был принят ими за зарю прекрасного утра, предвещавшую освобождение людей от материаль-

ной зависимости и социального неравенства [1]. Эти легковеры пренебрегли пророческими писаниями Достоевского и Владимира Соловьева, которые предвидели, что отвергнувший Бога человек сможет построить для себя и для жертв своей тирании только тюрьму [2]. Мне стало ясно, что русские гениальные мыслители были правы, что правда — не на стороне тех, кто насилием хочет загнать людей в свой утопический рай, а на стороне Того, кто учил, что « взявший меч — от меча погибнет ». К этим выводам я пришел вместе со многими моими сверстниками в результате всего пережитого в первые годы революции. Ее опыт убедил меня в реальности промысла Божьего и в практической мудрости христианства, дающего часто парадоксальные и, вместе с тем, единственно правильные ответы на самые трудные вопросы человеческого существования. Я поверил, что человек действительно создан Богом по образу и подобию своего Творца, как о том учит Библия, и что главный дар, полученный людьми, — это их неугасимая жажда любви, свободы и совершенства. Каждый из нас может исказить, придушить эти дары, но окончательно убить их не в наших силах.

Таким образом, мое обретение церкви родилось из двух противоположных процессов. Один из них был отрицательный: это было отталкивание от фанатизма, узости и жестокости тех, кто вступил в борьбу с церковью. Другой был положительный: это была радость и мир, рождавшийся от общения с Богом в молитве, и притягательная сила Евангельской проповеди о братстве и всепрощении. Особенно послания Апостола Иоанна помогли мне вначале вникнуть глубже в учение о Божественной любви. От чтения Священного Писания я, как и другие мои друзья, перешел к изучению творений Отцов Церкви, о которых я ничего не знал в гимназические годы. Я нашел в них исключительное знание о человеке, помогшее мне лучше понять как самого себя, так и события, участником которых я был. Церковь открыла мне смысл земного существования, как преодоления самости через опыт любви; любви, не ищущей своего, но отдающей вольно себя Богу и людям, и делающей нас личностями, способными приобщиться жизни вечной с ее Богопознанием и Богообщением.

---

1 Примечание.

Типичным примером подобного самообмана может служить известный левый журналист и литературный критик Иванов-Разумник (Разумник Васильевич Иванов, 1878-1946). В 1920 году, в Берлине, он опубликовал две книге — « Испытания в Грозе и в Буре » и « Инония », в них он приветствовал победу Ленина, как героический шаг эмансипированного человечества, порвавшего со своим христианским прошлым. В 1953 году в Нью-Йорке вышла его другая книга « Тюрьмы и Ссылки », в которой он описывает пытки и унижения, испытанные им в подвалах Че-Ка.

2 Примечание. Характерно, что « Три Разговора » Владимира Соловьева — строго запрещенная книга в Советской России.

В Церкви я осознал мою свободу, мою ответственность за каждый поступок. Церковь помогла мне понять единство человеческого рода и неповторимое место, принадлежащее в нем каждой личности, могущей характером своей жизни увеличить общую сумму добра или зла. Несмотря на то, что страдания и смерть являются земным уделом, Церковь свидетельствует, о конечном торжестве любви и добра, данном в победе Христа над смертью. Вера в Него стала для меня залогом спасения и тем светом, который не может поглотить никакая тьма.

Процесс нахождения Церкви происходил одновременно и параллельно и у меня, и у моих сестер и брата; я смутно догадывался об этом. Однажды, стоя на балконе, с которого мы могли любоваться Эльбрусом, я рассказал моим сестрам о моем новом отношении к Церкви. Они к моей радости ответили, что и они поняли все ее значение. Так мы все вчетвером вступили дружно в период испытаний, согретые и окрыленные обретенной верой.

Вначале наша религиозность была окрашена нетерпимостью, которая смущала и огорчала моих родителей. Они воспитывали нас в традиции либерального гуманизма с его оптимизмом и верой в прогресс и разумность человеческой природы. Мы решительно оттолкнулись от этого розового идеализма с его склонностью закрывать глаза на притягательную силу зла. Опыт большевизма вскрыл перед нами потрясающую картину жестокости, иррациональности и разрушительности людей. Но мы не стали ни циниками, ни пессимистами; христианское учение о грехе и раздвоенности личности вооружило нас на борьбу со злом, вдохновив нас образом целостного и праведного человека, получающего благодатную помощь в Церкви. Мы оказались более реалистичными, чем поколение наших родителей, так как мы лучше понимали богоборческую стихию коммунизма и потому не рассчитывали на их милосердие к несогласным с ними людям. Мы нашли общий язык с нашими родителями уже в изгнании, где жизнь и труд в Европе раскрыл перед нами новые горизонты.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ

# РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММУНИЗМ

*Н. Зернов*

Непосредственное ощущение, родившееся в нас с самого начала большевизма, что нашей Родиной завладели люди глубоко враждебные ее духу, поставившие своей целью уничтожение России, ради торжества интернациональной, пролетарской революции — не было нашей иллюзией. То, что мы впоследствии узнали о вождях партии и об их планах, подтвердило наши первоначальные догадки.

Основной парадокс русской революции заключается в переплетении в ней двух совершенно разных элементов: народного бунта и партийного доктринерства.

Отречение царя вызвало взрыв слепой страсти разрушения; широкие и преимущественно русские массы в порыве бунтарства пытались сбросить иго государства, которое в их сознании было связано с господством бар, с крепостным правом и с западной цивилизацией, чуждой и непонятной многим из них. Помещики и чиновники, офицеры и доктора все были включены в число « буржуев », « дармоедов » и « кровопийц », подлежащих уничтожению.

Это неорганизованное солдатско-крестьянское восстание было умело использовано профессиональными революционерами. Среди них командные посты вскоре оказались в руках лиц нерусского происхождения. И это было не случайно. Русская радикальная интеллигенция, столь слепо верившая в спасительную и возрождающую силу революции, была испугана страшным, звериным ликом анархии с ее самосудами и дикими эксцессами. Но это зрелище не оттолкнуло тех представителей национальных меньшинств, которые сознательно стремились к расчленению империи. В их задачу входили прежде всего подрыв боеспособности армии, окончательное поражение на фронте и уничтожение последних остатков государственного порядка. Они с огромной энергией занялись распропагандированием неискушенных в политической мудрости русских масс. Именно они стремились раздуть пламя народного буйства в мировой пожар коммунизма, а затем,

обуздав дикую стихию, втиснуть ее в узкое русло догматического марксизма.

В этом деле разложения страны главенствующая роль выпала на долю большевиков, руководимых Лениным-Ульяновым и Троцким-Бронштейном. Они верили, что являются благодетелями человечества, и в то же время горели острой ненавистью к России, олицетворявшей для них религиозные и охранительные начала в истории человечества. Коммунисты считали, что без уничтожения православной Руси интернациональный пролетариат никогда не сможет построить своего земного рая [1].

Победив, Ленин и Троцкий с необычайной энергией приступили к построению своей социальной утопии, и в этом деле они нашли своих наиболее горячих сотрудников в среде тех же представителей национальных меньшинств, которые раньше так успешно способствовали разложению армии и побуждали к самочинству русских крестьян и рабочих [2].

Но если русские долгое время не занимали руководящих позиций в Третьем Интернационале и не проявляли, за немногими исключениями, особых дарований в истолковании марксизма в его ленинской версии, то зато они оказались чрезвычайно благоприятной средой для укрепления полицейского, деспотического государства.

Конечно была, есть и будет иная, свободолюбивая Россия, Россия подвига и чести, та, которая три года в лице преимущественно своей молодежи боролась против большевиков под

---

1 Прим. Георгий Петрович Федотов (1886-1951), один из самых проникновенных исследователей русской революции, в следующих словах описывает ненависть Ленина к своей Родине: «Человеческий материал большевистской партии отличался фамильно-ленинскими чертами — небывалой силой ненависти и принципиальным аморализмом. Казалось, вся пролитая самодержавием кровь и страдания трех поколений революционеров сгустилась и отвердела в холодную и стальную злобу, которая, расширяясь в своем объеме, включала не только царя и царский строй, но и либералов и буржуазно-интеллигентскую Россию и меньшевиков и соглашателей и всех тех, кто был не с ними, с твердо-каменными и ортодоксами». Федотов продолжает: «В Ленине того времени (1917-18) была характерна его особенная ненависть к России».

«Ленин и особенно Троцкий менее всего чувствовали себя русскими революционерами. Подобно Радекам и Раковским они были бесплотные духи (бесы), жаждавшие воплотиться в любой стране. Они могли бы спуститься в тело Австрии или Германии, если бы Россия не развалилась первая». «И ЕСТЬ И БУДЕТ». Г. ФЕДОТОВ. ПАРИЖ. 1932. стр. 73-75.

2 Прим. Следует отметить, что, по всей вероятности, Ульянов-Ленин, хотя и типичный русский интеллигент по воспитанию, не имел русской крови. Его предки со стороны отца были астраханские татары, принявшие крещение. Его мать была дочерью доктора Александра Бланка (1802-1873) — бессарабского еврея, ставшего православным, женатого на Анне Грошкопф, одесситке, лютеранского вероисповедания. Как Александр Бланк, так и отец Владимира Ульянова получили потомственное дворянство. См. Д. Шуб. «Новый Журнал» № 63. стр. 286-291. Нью-Йорк. 1961.

знаменем Белого Движения, та Россия, которая защищала свои святыни и послала тысячи безымянных мучеников и исповедников в тюрьмы и красные концлагеря, та Россия, которая предпочитала гибель лжи и доносительству на своих друзей. Но героизм, мужество и верность этих русских людей, гонимых и заклейменных именем « врагов народа », еще более подчеркивает трусость и малодушие большинства. Эти лучшие люди России продуманно и систематически уничтожались и продолжают уничтожаться органами советской полиции на глазах у остального населения.

Русские, в своей массе, превзошли все другие народы в своей готовности нести бремя, наложенное на них, покорно исполнять требования их новых владык, предавать и доносить друг на друга. Без помощи многотысячной армии вольных и невольных информаторов и стукачей коммунистам не удалось бы так всецело завладеть миллионами людей. Ни один другой народ, попавший в их руки, не осквернил, по приказанию свыше, такого количества своих святынь и так легко не отрекся от своих лучших традиций.

Деспотизм советского строя повторяет некоторые отрицательные черты русского прошлого, но несмотря на это, марксизм является антинародным и нерусским явлением. Его лидеры в моменты кризисов стараются использовать любовь русского народа к своей Родине и выставляют себя патриотами, но делают они это для удержания своей власти над страной. В действительности они никогда не смогут преодолеть своей чуждости подлинной России. Недаром они заменили ее имя « Советским Союзом », и вот почему не прекращается и не может прекратиться борьба между творческой культурой, выросшей на почве Православия, и духом коммунизма.

ПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ

# КУЛЬТ ЛЕНИНА И СОВЕТСКИЙ АТЕИЗМ

*Н. Зернов*

Одной из самых противоречивых сторон советского строя является официальный атеизм марксизма и культ вождей партии, начавшийся при Сталине и перенесенный в настоящее время всецело на Ленина. Религиозный ореол окружающий его, приписывание ему непогрешимости и даже некоего бессмертия [1], всю эту мифологию партийная бюрократия старается всеми силами распространить среди населения, в особенности среди детей и юношества, заменив ею гонимое христианство.

Эта систематически проводимая политика указывает на то, что, вопреки теоретическому отрицанию религии, главари партии признают ее необходимой для широких масс опекаемых ими людей. Этот культ обожествленного вождя, как это было отмечено Борисом Пастернаком (1890-1960) в « Докторе Живаго » возвращает человечество в то рабство им же оботворенным тиранам и вождям, в котором оно пребывало до своего освобождения от этого идолопоклонства проповедью Евангелия [2].

Не случайно, что именно Ленин был выбран из всех вождей партии для роли нового божества. Он был типичный параноик и, за исключением моментов депрессии [3], находился в иллюзии, что ему дана власть водительства всего человечества.

---

1 Примечание. Популярные советские лозунги провозглашают: « Над Лениным время не властно » или « Ленин вечен, как жизнь ».

2 Примечание. « Века и поколения только после Христа вздохнули свободно. До Него было сангвиническое свинство жестоких, оспой изрытых Калигул, не подозревавших, как бездарен всякий поработитель ». Доктор Живаго. Милан. 1957. Стр. 10.

3 Примечание. Николай Валентинов (Николай Владиславович Вольский, 1874-1964), большевик с 1903 г., провел в тесном общении с Лениным весь 1904 год в Женеве. После большевистского переворота он был в течение семи лет редактором « Торгово-Промышленной Газеты », органа Высшего Совета Народного Хозяйства. Он покинул Россию в 1928 году. В 1953 году он издал в Нью-Йорке книгу « Встречи с Лениным ». В ней он дает следующее описание периодических резких перемен в настроениях вождя большевизма:

« Ленин, как заведенный мотор, мог развивать невероятную энергию.

Его одержимость своим мессианским призванием давала ему уверенность, что он имеет право уничтожить любого человека, ради будущего счастья и благоденствия всех людей. Ленин сочетал полную веру в непогрешимость своих социальных утопий с всепоглощающей ненавистью к своим соперникам. Он, как и Сталин, видел себя окруженным со всех сторон хитрыми и низкими врагами; всякое проявление к ним милосердия и даже уважения он рассматривал, как преступную слабость, как измену великому делу освобождения трудящихся от ига капитализма.

Строй, созданный им, отражает все типичные особенности психологии его основателя. Ленин провел большую часть своей жизни в удушливой атмосфере интернационального революционного подполья, отравленного предательством, интригами и соперничеством « вождей ». Шпиономания, принципиальное недоверие друг к другу, постоянные поиски скрытых врагов, потоки клеветы, изливаемые на них, сознательное искажение фактов ради более успешной пропаганды и циничное пренебрежение элементарными правилами морали все эти, всем знакомые, черты советского строя унаследованы им от Ленина. Сталин был его верным последователем, доведшим до логического конца учение о диктатуре, разработанное его наставником.

Для тысячей маленьких лениных, правящих Россией, авторитет их обожествленного вождя необходим для их бесконтрольной власти, для их права распоряжаться участью подвластных им людей, лишенных свободы веры, совести, слова и мысли. Объявив Ленина непогрешимым, члены партии его именем оправдывают те бесчисленные жертвоприношения людских жизней, которые они продолжают приносить во славу коммунистической утопии.

Советские бюрократы считают Иисуса Христа мифом, созданным угнетенным римским пролетариатом. Они отвергли евангельское учение о любви, милосердии и братстве всех людей и провозгласили доктрину Ленина о беспощадной классовой борьбе и красном терроре той истиной, которая одна способна обеспечить всеобщее равенство. Коммунисты

---

Он делал это с непоколебимой верой, что только он имеет право на дирижерскую палочку. В своих атаках, Ленин сам в том признавался, он делался как бешеный. Охватившая его в данный момент мысль, идея властно, остро заполняла весь его мозг, делала его одержимым. В них всегда был элемент неистовства, потери меры, азарта. Крупская (1869-1938) крайне метко называла это ражем (как она говорила, « ражью »). После каждого взлета или целого ряда взлетов ража начиналось падение энергии, наступала психическая реакция, агония, упадок сил, сбивающая с ног усталость. Ленин переставал спать и есть. Мучили головные боли. Лицо делалось буро-желтым, даже чернело, маленькие острые монгольские глаза потухали. Я видел его в таком состоянии. Он был неузнаваем. (стр. 210-13).

делают все возможное, чтобы закрыть от русских людей светлый лик Христа и заменить его Лениным, грозящим кулаком всем своим противникам.

Однако тот Ленин, которого советская печать превозносит на каждой странице как величайшего учителя человечества, не является исторической личностью, а специально изготовленной синтетической фигурой. Большевистская пропаганда создала для народного поклонения мифического Ленина, человека якобы с чутким сердцем, с открытым умом, готового выслушать каждого, обладающего чудесным даром знания правильного решения всех труднейших вопросов жизни. Этот лубочный Ленин — смесь русского домовитого хозяина и мирового добротвора, одетого в кургузый интеллигентский пиджачок с кепкой на голове и предлагается советским людям, как объект для их обожания и преклонения. Он подменяет подлинного Владимира Ульянова, безжалостного фанатика, богоненавистника и врага своей Родины и Церкви. Ленин, каким он был в действительности, оказался слишком разрушительным, радикальным и аморальным для популярного культа. Его жажда уничтожения привычных устоев еще могла найти отклик в первой стадии революции, но его фиксация на догматах диалектического материализма, его нескрываемый цинизм оказались чуждыми народному сознанию [4].

Вот почему советские бюрократы принуждены так часто переписывать портрет своего вождя. Этот портрет парадоксально становится все более похожим на того « боженьку », который был предметом ленинского сарказма и его постоянных злых насмешек. Советский подслащенный Ленин так же не похож на свой оригинал, как истинный Бог, Творец вселенной, не похож на ту Его карикатуру, которую так упорно навязывают русскому народу большевистские антирелигиозные пропагандисты.

---

[4] Примечание. Советские главари тщательно собирающие все документы, касающиеся Ленина, не решаются придать гласности его письмо, адресованное Дзержинскому и предлагающее арестовать в разных городах представителей православного духовенства, обвинив их в сокрытии церковной утвари, в независимости от их настоящаго отношения к этому вопросу, и на основании этого обвинения начать массовую конфискацию всего церковного имущества. Это письмо ходит по рукам в России, размноженное самиздатом.

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

## ОТСТУПЛЕНИЕ В ГРУЗИЮ И БЕГСТВО ИЗ РОССИИ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ

# ВВЕДЕНИЕ

*Н. Зернов.*

Двенадцать месяцев с февраля 1920 по март 1921 года были решающими в судьбах нашей семьи. Это было время крушения Белого Движения, ужасающей эпидемии тифа, гибели миллионов людей, преимущественно молодежи. Вся страна была охвачена горячкой и металась в муках и безумии братоубийственной борьбы.

Нас тоже захватила эта разруха. Наше молодое поколение в то время еще не вступало в самостоятельную жизнь, но именно нам пришлось взять на себя бремя ответственных решений, от которых зависела участь всех нас. Наша неопытность восполнялась горячностью нашей веры, твердым решением не расставаться ни при каких условиях и ясным сознанием невозможности признать над собою власть большевиков.

ПЕРВАЯ ГЛАВА

## СЕМЬ ДНЕЙ ОТСТУПЛЕНИЯ В ГРУЗИЮ

*Н. Зернов.*

Мы прожили во Владикавказе 12 дней. Они были полны хлопот, тревог, опасений. Первой задачей, вставшей перед нами по приезде, было найти пристанище в городе, до отказа набитом всевозможными учреждениями, лазаретами и остатками разбитой армии. Совсем чудесно вывела нас из, казалось бы, безвыходного положения моя младшая сестра. Она шла по улице, горячо молясь Николаю Чудотворцу, к ней подошел незнакомый осетин и предложил в своем доме большую, светлую комнату, в которой мы все поселились... Мы так и не узнали, почему он оказал нам такое гостеприимство.

Нашей следующей и гораздо более трудной задачей было найти способы попасть в Грузию. Для этого надо было добыть грузинские деньги, нанять подводы и получить разрешение на въезд в страну. Последнее было самым трудным, так как ходили упорные слухи, что грузины решили никого к себе не пускать, опасаясь возмездия большевиков. Наши родители проявили исключительную энергию; все дни они проводили в хлопотах. Тысячи других людей, как и мы, стремились как можно скорее покинуть обреченный город, всюду шла борьба за возможность уехать.

В эти дни в Владикавказе собралось все лучшее и худшее, что было в Добровольческой Армии. Там были те, кто оставался верным до конца своей борьбе с большевиками и кто смотрел на эвакуацию в Грузию, лишь как на этап, ведущий на другие фронты. Но там были и те, кто постоянно укрывался в тылу, занимаясь спекуляцией, и не желал рисковать своей жизнью. Рестораны и кабаки были переполнены темными личностями и подозрительными дельцами, шел разгул, часть офицерства и солдат пьянствовала на деньги, терявшие с каждым днем свою ценность. Но далеко не все поддались этому разложению. Контраст между морально опустившимися и высоко державшими достоинство русского имени бросался в глаза на каждом шагу. Шел Великий Пост, и церкви были полны молящимися. Незабываемое впечатление осталось у меня от Крестопоклонной всенощной в новом соборе. Большой храм был переполнен. Большинство молящихся были офицеры и солдаты. Они все

знали, что их ожидали или смерть или изгнание. В эту ночь они все молились горячо, их молодые и сильные голоса многократно повторяли священные слова: «Кресту Твоему поклоняемся Владыко и святое Воскресение Твое славим», при этом вся масса молящихся опускалась на колени. Это были сыны распятой России, прощавшиеся со своей Родиной. Печать креста и страдания лежала на каждом из них, но в них не угасла и вера в воскресение, в конечную победу света и правды и об этом пели их голоса в ту весеннюю ночь.

Постепенно наше положение стало выясняться. Эвакуация больных и раненых в Грузию была разрешена. Я получил место фельдшера в санитарном обозе. В то же время нашей матери, по счастливой случайности, удалось обменять часть наших денег на грузинские и нанять подводу для остальных членов семьи. Все складывалось для нас лучше, чем мы ожидали.

В эти дни, столь полные волнений, мы, молодежь, старались познакомиться с церковной жизнью Владикавказа. Мы обошли все его храмы, узнали, что настоятель старого собора о. Иоанн известен своей молитвенной жизнью. Он отслужил для нас напутственный молебен и тепло благословил на далекий путь.

**Первый день пути.** 5 марта. Ларс. (Отрывки из дневника).

В решающий день эвакуации госпиталей вся наша семья смогла влиться в общий поток отъезжающих. Мать с сестрами и братом выехали в нанятой нами подводе. Отец устроился в фургоне знакомых Кузнецовых, мне было поручено везти на арбе аптечные припасы. Я двинулся в путь в бодром настроении, нам была обещана военная охрана, питательные и перевязочные пункты должны были ожидать нас на каждой остановке. Ответственность за эвакуацию раненых была возложена на хорошо нам известных и энергичных проф. Кожина и др. Тихоновича. По заранее разработанному плану все госпитальные повозки, собравшись рано утром за городом у Кадетского корпуса, должны были построиться в стройную колонну и все вместе двинуться к границам Грузии. Однако, как только моя арба покинула склад, чувство беспокойства охватило меня. Мы сразу очутились в нескончаемом потоке самых разнообразных повозок, фургонов и городских экипажей. Все они двигались в одном направлении без всякого пордка, стараясь обогнать друг друга и скорее выехать на Военно-Грузинскую дорогу. Хаос еще более увеличивался множеством пешеходов с мешками и узлами на плечах, рассчитывавших найти сердобольных возниц уже на дороге. У меня все же оставалась надежда, что эта бесформенная масса будет приведена в порядок у Кадетского корпуса. Однако эти надежды оборвались совсем непредвиденным образом. Как только мы выехали за

город, послышались впереди какие-то странные крики. Они стали быстро приближаться к нам и вдруг мы увидали лавину с гиком мчащихся на нас повозок. Мой возница, дикий и грубый осетин Васо сразу повернул свою лошадь и безжалостно хлестая ее, тоже помчался назад. Мне оставалось только вцепиться в край повозки и стараться не выпасть из нее. Мы неслись с такой быстротой, что я удивлялся, как наша кляча могла проявить такую прыть. Люди и лошади были одинаково захвачены испугом. Сначала причина паники оставалась неизвестной, но вскоре стало раздаваться слово « ингуш », которое и объяснило эту злополучную скачку. Оказалось, что какие-то богатые торговцы спозаранку покинули город, в надежде занять лучшие места для ночлега. Шайка ингушей, почувствовавших свою безнаказанность, напала на них, отпрягла их лошадей и стала их грабить. Увидав голову обоза, ингуши дали залп в воздух и скрылись в горы. Передовые повозки приняли ингушей за красных, успевших отрезать путь в Грузию и помчались обратно, их примеру последовали остальные; так окончилась попытка правильно организовать эвакуацию госпиталей.

Мы очутились вновь на улицах только что оставленного нами города. Меня поразили лица жителей, высыпавших из своих домов, они смотрели на нас с каким-то злорадством. Год тому назад Добровольческую Армию встречали здесь, как освободительницу. Неужели, думал я, людская память так коротка, и человек всегда безжалостен к побежденному ! В это время мимо нас проскакал взвод казаков на резвых конях, а за ним прошел отряд старших кадет. Юноши шли стройно и дружно и пели боевую песнь Добровольческой Армии: « Смело мы в бой пойдем за Русь святую и как один прольем кровь молодую ». Слушая их, я задавал себе вопрос, где же была Россия — в этих героических юношах, или в серой уличной толпе, готовой склониться перед красными комиссарами так же покорно, как раньше они кланялись царским приставам.

Лихой отряд казаков и кадет одним своим видом прекратил панику, она улеглась так же быстро, как и возникла. Весь огромный обоз снова потянулся за город.

Мы вторично подъехали к Кадетскому корпусу. Там нас ждало начальство. Его было много, но беспорядка было еще больше. Все суетились, давали противоречивые приказания, никто не знал, кого нужно было слушать. Вместо обещанной охраны, способным носить оружие были розданы английские винтовки. Одну из них получил и я, но патронов для них не оказалось. Это бесполезное вооружение осталось в моей памяти символом нашего дезорганизованного отступления.

Несколько лошадей уже успело выйти из строя, мой возница воспользовался этим и заявил, что отказывается везти весь груз, порученный ему. Пришлось снять с его повозки

часть вещей, кто-то был послан в город искать другую подводу, а я был оставлен охранять сложенное на землю аптечное имущество. Обоз без всякого порядка двинулся дальше, вскоре последняя арба исчезла из вида. Я сидел один на груде ящиков и тюков. Тревога овладела мною. Вечерело. Я был совсем один, без денег, без провианта, с утра я ничего не ел. Вокруг меня не было никаких признаков жизни. Я наконец решил, что дальнейшее ожидание бесполезно, что подвода не приедет. Мне не оставалось другого выхода, как пешком догонять госпитальный обоз. Мне не легко было прийти к этому решению, совесть меня мучила, но я все же бросил остатки аптеки и быстро зашагал по пустынной дороге. Вокруг меня царила полная тишина. Казалось невероятным, что несколько часов тому назад здесь мчались повозки, бежали перепуганные люди и слышался топот лошадиных копыт.

Я шел, не зная, удастся ли мне догнать ушедший караван, боясь попасть в руки разбойников. Однако, пройдя всего несколько верст, я увидел конец обоза. Он почти не продвигался вперед. Подводы шли в три ряда, цепляясь и мешая друг другу, среди них путались пешие, многие из них были раненые и даже на костылях. Кадетский корпус тоже эвакуировался с нами, и маленькие кадетики, усталые и голодные, плелись, едва волоча ноги. Особенно угнетали бесконечные остановки. Только, когда далеко впереди замечалось движение, становилось легче — это обозначало, что рано или поздно двинемся и мы. Горная дорога, сдавленная между рекой и скалами, не давала возможности ни повернуть в сторону, ни вернуться назад.

Я нашел свою двуколку и пошел с ней рядом. На ней пристроилась наша знакомая сестра милосердия, Ираида Константиновна Апти, обрусевшая сиамская принцесса. Стемнело и похолодело, взошла луна, черные скалы стояли высокой стеной, внизу гудел и ревел Терек. Мы были одни из последних. Возницы нервничали, опасаясь ингушей. Уже поздно ночью мы дотащились до Ларса. Здесь нам были обещаны еда, перевязки для раненых и ночлег для всех. Но ничего этого не оказалось. Наоборот, нас встретил невероятный хаос. Госпитальный персонал куда-то исчез, начальства не было видно. Страдания раненых были ужасны, они стонали, просили дать им пить, умоляли о перевязках. С помощью нескольких добровольцев я начал сносить на носилках особенно тяжело раненных в закрытые помещения, но скоро нам пришлось отказаться от этой задачи, так как все дома были уже набиты раньше приехавшими. Выбившись из последних сил, голодный и морально измученный, я повалился на мою повозку. Но спать мне не пришлось. Как только я засыпал, холод пробуждал меня. Так я промучился вместе с тысячами других людей, оказавшихся под открытым небом.

Кончился первый день нашего страдного пути. В эту ночь меня все же поддерживала надежда, что самое страшное позади, что большевики нас не догнали, что санитарная организация будет приведена в порядок и стоянки, подобные Ларсу, не повторятся.

**Второй день пути. 6 марта.** Казбек.

С утра началась еще большая неразбериха. Возчики, наученные горьким опытом, старались выбраться первыми. Эти попытки создавали новые заторы, более легко раненные захватывали лучшие арбы, тяжело раненные и сыпнотифозные оставались позади. С юношеским энтузиазмом, я сперва старался внести какой-то порядок, бегал, суетился, кого-то увещевал, кому-то приказывал, но все мои усилия тонули в море бесконечно двигавшихся повозок, неуклонно стремящихся на юг. Я покинул Ларс снова одним из последних. Скоро перед нами открылась граница в виде железного моста, висевшего над черной пропастью Терека. На мосту стояли вооруженные люди в странных войлочных шинелях кирпично-розового цвета. Это была национальная грузинская гвардия, оплот социал-демократической грузинской Республики, которая управлялась меньшевиками.

Наша колонна подошла к мосту, но на него никого не пускали. После долгих переговоров первая повозка загромыхала над пропастью. Одним из условий пропуска было наше разоружение. Как только это стало известным, какие-то подозрительные личности, не то русские, не то кавказцы, выросли как из-под земли и стали за бесценок скупать револьверы и винтовки. Они особенно зарились на казачьи кинжалы и шашки с их золотыми и серебряными украшениями. Далеко не все были готовы за деньги расстаться со своим оружием, многие, въезжая на мост, бросали его в бурлящий Терек.

Наконец и до нас дошла очередь и я перешел границу. Противоположные чувства охватили меня. Горько было покидать любимый Терский край, но ободряла мысль, что между нами и красными встала защитная преграда. Она казалась в тот момент надежной, хотя я потом узнал, что мост охранялся лишь кучкой плохо вооруженных грузин и он даже не был настоящей государственной границей. До нее мы добрались только на следующий день.

Караван наш стал втягиваться в Дарьяльское ущелье, знаменитое своей грозной красотой. Все отвеснее и чернее становились скалы, все больше ярился внизу Терек, все круче вился подъем.

Мне удалось наконец примоститься на одной из аптечных повозок и даже каким-то образом стать на время ее возницей. Это обеспечило мне временный отдых от долгой ходьбы, от которой тело, немытое и голодное, ныло и плохо слушалось. Тяжелые английские боты давили ноги, губы растрескались

от холодной воды и болели. Ехать было облегчение, и постепенно душа стала отходить и отзываться на красоту природы.

А она была действительно прекрасна. Мы подъезжали к станции Казбек. Был прозрачный морозный вечер, ни единого облака. Величественный снежный гигант возвышался во всем его великолепии, осиянный закатом. Но не только гора привлекала мое внимание, я не мог оторвать глаз от древнего монастыря, прилепившегося к вершине острой скалы. Его церковь с пирамидальным куполом была вознесена к самому подножью снежного массива и своими резкими очертаниями господствовала над долиной. Я с восхищением смотрел на эту обитель и мысленно рисовал себе суровую жизнь монахов на этой голой вершине, открытой всем ветрам Кавказа. Неужели, думалось мне, они должны носить к себе наверх все припасы, даже воду ! Этот подвиг казался мне превышающим человеческие силы, он говорил о ревности их веры, о победе духа над плотью. Подъезжая к поселку, я так был захвачен красотой Казбека и дерзновением иноков, что забыл о наших невзгодах.

Увы, это длилось не долго. Попав в поселок, мы очутились во власти каких-то вооруженных банд. Они безнаказанно грабили прохожих, срывали погоны с офицеров. Тут я понял, что мы больше не являемся армией, хотя и отступающей, а бесправными изгнанниками, потерявшими свою родину. В середине селения я увидал толпу возбужденных и кричащих людей. Среди них было несколько растерянных санитаров, но они тонули в толпе, которая, как я вскоре убедился, состояла из сильно выпивших осетин. Они стаскивали раненых с повозок, и, что-то быстро говоря друг другу на своем гортанном языке, уносили их в неизвестном направлении. Я изумился их буйной деятельности, и у меня закралось сомнение, не большевики ли они, не хотят ли они прикончить ненавистных им белогвардейцев. Особенно поразил меня один гигант горец, он едва стоял на ногах от выпитого вина; несмотря на это, он с огромной энергией таскал больных и, видимо, не чувствовал никакой усталости. Он начал проявлять ко мне знаки необычайного внимания, и я не знал как отделаться от этого геркулеса. В результате этих коллективных усилий, большинство подвод были освобождены, даже сыпнотифозные были куда-то запрятаны. Вскоре выяснилось, что пьяные осетины, так энергично рассортировавшие по саклям больных, сделали это не из чувства сострадания к несчастным, но и не со злым умыслом, — они просто хотели заработать и теперь требовали по 50 рублей с каждого больного. На плате настаивали также хозяева домов. Ни у меня, ни у кого из окружающих не было ни единого грузинского рубля. Тут неожиданно появилось на сцене начальство. Сперва я увидел представителя министерства Внутренних Дел, первого агента Грузинского правительства, встреченного нами. Однако этот важный чиновник

упорно отказывался вступить с нами в какие бы то ни было переговоры, т.к., по его словам, его только что оскорбила какая-то русская беженка. Я стал горячо упрашивать его забыть об этом досадном инциденте и прийти нам на помощь, но, к сожалению, без результата. Позже нашлись Проф. Кожин и Др. Тихонович, но и они не имели денег, а казначей пропал без следа. Наши доктора, красные и измученные, метались, по улице, осаждаемые толпой осетин, которая становилась все более угрожающей. Сознавая мою полную беспомощность, я воспользовался неразберихой и, улизнув от моих преследователей, пробрался к моей повозке. Ночь была лунная и очень холодная. Огромный Казбек с величавым равнодушием смотрел на толпу голодных и измученных людей, тщетно искавших какого-нибудь пристанища. Только теперь мне стало ясно, что санитарное управление, несущее ответственность за эвакуацию раненых существовало лишь в моем воображении, и что надежда на полевые кухни и медицинскую помощь была моим миражем. Родителям удалось найти место в одной из переполненных саклей, я же всю ночь провел на своей арбе то впадая в тяжелое забытье, то просыпаясь от холода и тревоги, но не сознавая, что в это время моя старшая сестра подвергалась смертельной опасности и только чудом спаслась от гибели.

**Третий день.** 7 марта. Коби.

Утром началась комедия проверки грузинами документов. Она происходила в полном беспорядке. Кто-то из нашего начальства послал меня на край селения с приказанием задерживать все повозки с ранеными. Я со всем усердием приступил к исполнению этой неосуществимой задачи. Я орал, махал руками и силой останавливал арбы, но никто не хотел меня слушать. Охрипший, потный и измученный, я принужден был признать мое полное поражение. Моя арба выехала одной из последних. Небо было ясное, дорога медленно подымалась, по сторонам, на скалах высились мрачные развалины средневековых укреплений. Кое-где виднелись каменные сакли осетинских аулов. Все было черное, угрожающее и жестокое. Душа ныла от той злобы, грубости и эгоизма, которые, как мутная пена, покрывали наш несчастный эшелон.

Вечером мы прибыли в Коби. По счастливой случайности, все четыре аптечные арбы попали на один и тот же двор. Мы смогли запереть ворота и так оградить себя от грабежей. Всюду был полный хаос. Люди, лошади и повозки смешались в бесформенную массу; к довершению всех бедствий, поднялась метель. Снег сначала падал редкими снежинками, которые быстро таяли, но вскоре он повалил густыми хлопьями и все потонуло в сырой беспросветной мгле.

**Четвертый день.** 8 марта. Млеты.

Утро началось скандалом. Возницы требовали прибавки, а хозяин двора не хотел пускать нас без уплаты за постой.

Денег у меня не было, все же после крика и угроз все как-то уладилось и мы двинулись в путь. Погода совершенно испортилась. Дул пронзительный ветер, облака спустились до самой дороги, мокрый снег беспощадно бил в лицо. Дорога вилась черной узкой лентой между высокими стенами снежных сугробов. Лошади скользили и падали, приходилось подталкивать арбы. Наконец мы начали подъем на главный перевал Крестовой горы. Было жутко. Ветер свистел и завывал, снег валил густыми хлопьями, его глыбы, все увеличиваясь, угрожающе нависали со скал. Стало ясно, что мы находимся под угрозой снежных обвалов, которые могли не только закрыть перед нами дальнейший путь, но и похоронить нас под собой.

Наше продвижение все больше замедлялось и под конец в одном туннеле мы окончательно встали. Оказалось, что перед нами застрял другой огромный обоз, очевидно шедший на сутки раньше нас. Вскоре мы узнали, что госпитальные полевые кухни с их тяжелыми фургонами, запряженными четвернями не могут взять перевала, измученные лошади отказываются идти дальше. Тут мы впервые поняли, почему мы не имели раздачи горячей еды: наш питательный отряд ушел вперед, бросив раненых и больных! Одноконные повозки, включая наши аптекарские двуколки, оказались лучше приспособленными к трудному подъему. После долгих усилий они проложили объездной путь и стали продолжать подъем, оставив полевые кухни позади.

Дорога казалась бесконечной. Снег слепил глаза, забивался во все складки одежды. Все мое существо сосредоточилось на одном желании: двигаться вперед, несмотря ни на что.

Это упорство было вознаграждено, вдруг на левой стороне дороги вырос из тумана белый, большой крест. Он означал желанную вершину перевала. Мы достигли высшего пункта нашего многострадного пути. Все ободрились, хотя сначала мало что изменилось — тот же завывающий ветер, та же снежная буря, тот же узкий прорез дороги между сугробами. Все же постепенно начался спуск, сперва едва заметный, потом все более крутой. Сначала лошади лишь немного прибавили шагу, потом перешли в мелкую рысцу, а затем все мы помчались вниз с треском и криками и с опасностью перевернуться на поворотах.

Наш огромный бесформенный обоз, как лавина, ринулся вниз из мрака, тумана и снежных заносов в мир солнца, тепла и весенних цветов. Я с трудом удерживался на несущейся и прыгающей повозке и с восхищением следил за магическим превращением природы. Белая дорога стала сначала буреть; после одного из бесчисленных поворотов снег исчез совсем. По бокам шоссе, вместо сугробов, появились черные скалы, обмытые дождем. Вскоре прекратился и дождь, среди голых камней

показались редкие пучки травы. Она делалась все выше и гуще, и наконец ее мягкий ковер покрыл всю землю. Тут же появились и цветы.

Вечером мы приехали в Млеты, здесь нас встретил толстый грузинский комиссар в золотых погонах. Они произвели магическое действие на всех; грабежей не было, раненые успокоились, все почувствовали почву под ногами. Мне удалось найти саклю, в которой поместились мои родители. Наша мать находилась в величайшем волнении, никто не видал моей старшей сестры с самого утра. Я пытался успокоить ее, говоря, что сестра наверное идет в конце обоза, но мать не поддавалась на мои увещания, да и я сам был в большой тревоге. Страшно было думать, что она осталась одна там далеко в леденящей снежной буре, среди жестоких вершин. Но что мы могли сделать ? Ни один возница не согласился бы ехать ночью на перевал, возвращаться туда пешком было невозможно, оставалось только молиться и уповать на Божью помощь.

Ночью пришел какой-то новый обоз, но и с ним не было моей сестры, ее никто не видел. Уже далеко за полночь я вновь вышел на дорогу и к моей невыразимой радости увидел Соню. Она прошла весь перевал пешком и была какая-то особенная, даже не казалась усталой. Мы побежали успокаивать мать. Мое сердце было полно великой благодарности Богу, сохранившему в целости сестру среди страшных людей, снежных завалов и горных обрывов.

**Пятый день.** 9 марта, Ананур.

Многие возницы сбежали ночью. Кожин и Тихонович старались поправить дело, но казначей оставался неуловим, а без наличных денег наем новых повозок затянулся до позднего утра. Я уговорил мою сестру ехать дальше на моей арбе, поручив ей охрану имущества, а сам остался позади, чтобы помочь с отправкой раненых. Мне пришлось догонять обоз пешком. До следующей остановки Пассанаура было 12 верст. Я быстро двинулся в путь, так как боялся, что мой возница, не дождавшись меня уедет в Ананур, а до него было еще новых 16 верст. Я же легкомысленно отослал с ним мою шинель и остался в одной гимнастерке. Днем уже было тепло, а ночью все еще были морозы.

Эти 12 верст до Пассанаура дались мне не легко. Дорога была изумительно красива, вокруг меня была ранняя горная весна, но я должен был напрягать все мои силы, чтобы не упустить мою арбу. Каждая верста длилась бесконечно. Мои опасения оправдались, я нашел сестру, занятой помощью раненым, а Васо воспользовался этим и исчез со всем имуществом. Я начал упрекать сестру, чувствуя в то же время ненужность моих упреков. Кончились наши волнения счастливым образом. Мы нашли две другие аптекарских повозки и после долгих уговоров их возницы согласились отвезти нас обоих

в Ананур. Эти осетины оказались мирными и добрыми людьми и даже верующими христианами. Общение с ними было утешительно после всего того, что приходилось переносить от других возниц.

Уже темнело, лошади бежали мелкой рысцой. Возницы с опаской поглядывали по сторонам, опасаясь грабителей. Мы, четверо, были совершенно беззащитны на пустынной дороге. Но вокруг была весна, моя сестра ехала со мной, все было снова прекрасно. Уже в сумерках мы добрались до Ананура. Это был более благоустроенный городок, чем предыдущие стоянки. По счастливой случайности, мы сразу нашли Васо и его подводу. Все вещи и даже моя шинель были в сохранности. Другая счастливая случайность привела нас к дому, в котором остановились наши родители. Волнения и муки были забыты в радости нашей встречи. В первый раз мы все вшестером были вместе в одной комнате. Угнетал меня только стыд, что я рассердился на мою героическую сестру и так горько упрекал ее в Пассанауре.

**Шестой день пути.** 10 марта. Душет.

Утром мой возница стал настаивать на раннем выезде. Я пытался остановить его, так как из Пассанаура пришел приказ ждать главного обоза, но Васо стегнул лошадь, я уже на ходу едва успел вскочить на повозку и мы снова очутились в пути. По дороге нам встретились грузовики с грузинскими солдатами, они смеялись, что-то кричали и были распущенны, как красноармейцы.

Днем мы приехали в Душет и остановились в первом постоялом дворе, тут же была подвода наших родителей. Как только мы внесли наши мешки в отведенную нам комнату, кто-то сказал нам, что это воровской притон и ночью здесь всех безжалостно грабят. Начались волнения, мы хотели ехать дальше, но наши возницы решительно отказались запрягать лошадей. Как всегда, пришлось подчиниться их произволу. Зависимость от них еще более увеличивала наше унижение и чувство беспомощности. В Душете наш отец покинул нас, он уехал вперед, чтобы попытаться проникнуть в Тифлис, куда, по слухам, решено было никого не пропускать, а мы остались ночевать в нашем подозрительном духане. Это был день рождения моей младшей сестры. Наша мать откуда-то достала яблоко, давно не виданное нами. Мы разделили его на пять частей и так отпраздновали наше семейное торжество. Мы были счастливы нашей любовью, нашим единством и эта радость помогала нам забыть на время ту неизвестность, которая ожидала нас в конце нашего путешествия.

Здесь грузинская администрация оказалась на высоте. Она переписала всех наших возниц и удалила посторонних и подозрительных лиц. Успокоенные мы легли спать.

**Седьмой и последний день пути.** 11 марта. Мцхет.

Весь день продолжался спуск. Мы ехали быстро. Тяжело было то, что мы постоянно обгоняли пешеходов, умолявших их подвезти. Мой свирепый возница был неумолим, а я был не в силах бороться с ним и старался не смотреть на их измученные лица и не слушать их молящих голосов. Мысли сосредоточились на Мцхетах. Что-то нас ждет там, какое новое испытание у нас впереди ?

Но вот вдали показался величественный собор. Это были Мцхеты, — древняя столица Грузии, и ее главная святыня. Мы въехали в город, наша повозка повернула в переулок и остановилась под навесом какого-то двора. Конец пути, конец семидневных испытаний, опасностей и волнений. Вокруг нас текла обычная, прозаическая жизнь, люди были заняты своими делами, все, только что перенесенное нами, стало казаться сном. Не хотелось слезать с арбы и начинать новый этап нашего изгнания. До сих пор все было ясно: надо было двигаться вперед, все дальше и дальше уходить от красных, а что делать теперь ? Какие новые препятствия надо преодолевать, куда стремиться ?

Вскоре я нашел моих родителей. Отцу не удалось попасть в Тифлис. Доступ туда был закрыт всем русским. Никто ничего не знал, ходили лишь самые фантастические слухи. Говорили, что всех здоровых посадят в концентрационный лагерь, а больных или отправят в Сурам или вышлют в Поти. Кто-то советовал нам сразу же ехать в Персию, так как Грузию все равно на днях займут большевики. Какие-то спекулянты шныряли повсюду, скупая за бесценок золотые вещи. Все были измучены и нервны. Мы тоже все вдруг почувствовали бесконечную усталость и стали ссориться по пустякам. К вечеру, как во Владикавказе, моей сестре опять удалось найти комнату для ночлега. Хозяин потребовал 50 рублей с человека за ночь, но мы все-таки взяли ее вместе с доктором Чекуновым и с И.К. Апти. Я решил спать на открытом балконе для экономии, но и это стоило мне 10 рублей за ночь.

Все мы рано легли спать, В голове мелькали образы только что пройденного пути, мост через Терек и казацкие шашки и кинжалы, летящие со свистом в бурный поток, потрясающая красота залитого луной Казбека, занесенный снежной метелью крест перевала, бесконечный спуск, крики и мольбы раненых, ругань возниц, жертвенность одних, малодушие и подлость других, буйные сыпнотифозные, раненые идущие на костылях, мальчики кадеты, русские, грузины, осетины; пьяный гигант, таскающий раненых, добрые возницы христиане... Сколько пережито за эти семь длинных дней, таких насыщенных и страданиями и красотой и верой в промысел Божий.

ВТОРАЯ ГЛАВА

## ВСТРЕЧИ НА ПУТИ

*С. Зернова*

Мне было 20 лет, когда мы покидали Россию. До этого я ни разу самостоятельно не вылетала из « гнезда ». Добровольческая Армия была разбита, мы отступали в Грузию с ее последними отрядами и с обозом раненых. Из Владикавказа длинной вереницей тянулись арбы. Распределительный пункт для эвакуации был в нескольких верстах от города, около Кадетского корпуса. Туда двигались все.

Как только наш фургон выехал на Военно-Грузинскую дорогу, нас догнал Профессор Кожин и попросил меня вернуться, чтобы привезти перевязочный материал, забытый на складе, а так же захватить еще теплых вещей и одеял. Мне дали телегу с молодым возницей-казаком и велели ехать как можно скорее. Я должна была встретиться с нашими у Кадетского корпуса.

Когда мы приехали на склад, я была поражена количеством остающихся вещей — всюду лежали груды одеял, теплых фуфаек и сапог, все полки были завалены всевозможными лекарствами и перевязочным материалом. Заведующий складом встретил меня враждебно. Он с трудом согласился выдать мне два тюка с марлей и отказал в выдаче одеял, говоря, что ордер мой написан недостаточно ясно. Я робко сказала, что больше половины раненых совсем раздеты, но он даже не ответил мне и, приказав погрузить на мою повозку марлю, запер склад и ушел.

Я была очень несчастна, чувствуя, что я плохо исполнила поручение и сознавая свое бессилие и одиночество. Мы двинулись в обратный путь. К счастью, мой возница был веселый и молодой, он бойко погонял лошадей и дружелюбно посматривал на меня, как будто ожидая, что я первая начну говорить.

« Вы тоже уедете ? », спросила его я.

« Нет, барышня, и смотрю на Вас — чего это вы все бежите? Ну что большевики ? Ведь тоже люди. Там у них много наших молодых казаков. Вы не верьте, что они разбойники какие-то. И куда это едут все ? Как будто грузины лучше ? »

Я молча слушала его. Все вокруг мне казалось таким нереальным и мучительным. Спорить с ним я не хотела. На

сердце у меня была пустота и тупая боль. Порой мне казалось, что все это сон, что я проснусь опять в нашем доме в Ессентуках и жизнь будет опять мирная и надежная. Потом передо мной вставали картины из нашей жизни во Владикавказе. Путешествие в теплушке, поиски комнаты в незнакомом городе, случайная встреча моей сестры с каким-то горцем, который привел нас к себе, устроил всех шестерых на диванах, одеялах и матрасах, а сам спал в маленькой холодной передней на голом полу, укутавшись в свою бурку. Такой странный и очаровательный человек. Он окружил нас заботой и вниманием, нашел для нас подводу и, убедившись, что мы выедем благополучно, простился с нами и ушел в горы. Вероятно мы никогда больше не увидим его.

Я вспоминала последнюю службу в соборе. Был вынос креста. Церковь была полна военными, люди стояли плечом к плечу и все пели: « Кресту Твоему поклоняемся Владыко » . . . Я стояла рядом с каким-то молоденьким офицериком, он пел и плакал, и, казалось, что всех нас соединяла какая-то электрическая нить, и единственное, что нам оставалось — это поклониться кресту и принять его.

« Господи, думала я, — только бы поскорее сдать эти тюки и попасть в нашу подводу, и быть с папой и мамой, только бы не потерять их, только бы быть всем вместе . . . »

Вскоре мы обогнали какого-то солдата. Увидев нас, он кинулся за нами, что-то крича и размахивая руками. Мы остановились.

« Сделайте милость, сказал он, — довезите мою поклажу до пункта », и он положил в нашу повозку свой мешок с вещами. Мы предложили подвезти и его, но он упорно отказывался, говоря, что « мигом дойдет пешком ».

« Садись, братишка », сказал ему наш возница, « а то мы ведь последние, ты запоздаешь и узелок пропадет ».

Эти доводы его убедили и он примостился на самом краю нашей телеги. Это был фельдфебель, маленького роста, скуластый, с загорелым, широким лицом. В его фигуре было что-то трогательное и смиренное. Я думаю, что таких, как он, можно встретить только среди русских солдат. В нем была особенная простота и готовность отозваться на малейшую просьбу, чтобы услужить или помочь другим.

Сперва мы ехали молча, каждый погруженный в свои мысли. Наш казак непрестано хлестал лошадей и мы громыхали и высоко подпрыгивали по замерзшей и ухабистой дороге. Я посмотрела на фельдфебеля и вдруг увидала, что у него катятся по лицу слезы. Я не ожидала, что такой, как он, мог бы плакать. Его слезы вывели меня из оцепенения, мне вдруг захотелось закрыться от всего, что несет нам жизнь, и тоже плакать, как маленькой девочке.

« Барышня », сказал он, « что же это делается ? Всю жизнь

свою служил и сражался за веру, царя и отечество, и вот, теперь, веры нет, царя нет и родину покидаем ». Он как будто не замечал, как по его лицу катились слезы.

« Господи, думала я, что-же это действительно делается ? Куда мы несемся ? Что нас ждет впереди ? »

« Зачем вы уезжаете », спросила я его.

« Господа мои раненные, с ними и уезжаю ».

« А потом что ? »

« А потом, поправятся господа, уедем опять сражаться за веру, царя и отечество . . . »

Я слушала его и верила с ним, что все само собой образуется, поправятся эти неизвестные мне господа и вернется вера, царь и отечество . . .

Первые, кого я увидала около распределительного пункта, были мама и брат, они стояли и ждали меня. Какое счастье было увидать их дорогие лица. « Теперь я уже ни на минуту не расстанусь с ними », думала я. « Что бы ни случилось, только бы быть вместе, тогда ничего не страшно ».

Фельдфебель Вавилин взял свой узелок и побежал искать своих « господ ». Наш возница свалил на землю привезенные нами тюки, повернул тележку и таким же галопом ускакал в обратный путь.

Вокруг царил невообразимый беспорядок, всюду на носилках раненые и больные, одних грузили в арбы, других куда-то уносили. Ни у кого нельзя было чего-нибудь добиться. Старший врач, верхом, весь красный и потный, носился от одной группы повозок к другой, кричал, суетился, но очевидно сам не знал, как организовать отъезд. Сперва мы терпеливо ждали каких-то распоряжений, т.к. было сказано, чтобы никто не выезжал, пока все не будет погружено, но время проходило и ничего не двигалось. Постепенно люди стали действовать самостоятельно, стараясь незамеченными выехать на дорогу. Мой отец также приказал нашему вознице двигаться в путь. Мы подсадили в подводу нескольких маленьких кадет и стали медленно выбираться с площади, запруженной носилками с ранеными, телегами и лошадьми. К несчастью, старший врач заметил нас и, подъехав, просил моего отца « разрешить его старшей дочери ехать на другой арбе и оберегать ящики с лекарствами ». « Ваша дочь может ехать на ней, только если она будет одета сестрой, сказал он, пусть она наденет косынку; гражданское население мы не берем ».

Мне надели на голову косынку и посадили в нагруженную ящиками с лекарствами арбу, которая должна была следовать за повозкой моей семьи. Мне было сказано: ни в каком случае, ящики не открывать и не выдавать никаких лекарств.

Мы ехали медленно. Мой возница был сонный, худощавый осетин с длинными черными усами. К счастью, он все время спал и я была предоставлена сама себе и своим грустным

мыслям. Я завидовала сестре и младшему брату, которые ехали все вместе и могли разговаривать и утешать мальчиков-кадетиков.

Наш обоз сразу растянулся на несколько верст. Вскоре я заметила, что мою арбу обогнали другие повозки и я уже не ехала сразу за нашими. Но они, конечно, не могли быть далеко . . . Мое сердце все время сжималось от тоски и одиночества. Я вспоминала, как мы когда-то ездили по этой же Военно-Грузинской дороге на автомобиле с начальником Терской области, генералом Флейшером, большим другом моих родителей. Как различны были эти две поездки . . .

От холода и грусти я почти не замечала окружающей нас красоты. Небо было ослепительно синее и горел и искрился на солнце снег. Дорога вначале была еще довольно широкая и нас все время обгоняли другие арбы и небольшие отряды верховых. Мой возница спокойно спал, его лошади, по-моему, спали тоже. Я грустно и одиноко сидела на ящиках с аптекой и не смела пошевельнуться, чтобы не разбудить моего осетина. Вскоре наша повозка осталась далеко позади всех. В это время мы поравнялись с группой раненых офицеров, которым не хватило места в арбах и которые решили уходить пешком. Один из них был на костылях и с трудом передвигал ноги. Для меня они были герои, сражавшиеся за Родину. Как могла я, молодая и здоровая, ехать, когда они шли пешком.

« Садитесь, мы вас подвезем », сказала я им и, перегнувшись через спящего осетина, схватила возжи и остановила лошадей. Офицер на костылях стал взбираться на повозку, другие ему помогали. В это время проснулся наш возница. Увидав раненого офицера, он пришел в ярость, стал кричать и требовать, чтобы тот слез, говоря, что он подрядился везти только одного человека. Мы все старались его убедить, говоря, что на костылях невозможно пройти такой длинный путь, но он не хотел нас слушать. Тогда я предложила, что я пойду пешком, а раненый поедет вместо меня. Но едва я успела выпрыгнуть на дорогу, как наш возница схватил кнут и, с искаженным от злобы лицом, стал бить раненого офицера по лицу. Потом, не дав нам времени опомниться, он сбросил его с повозки, хлестнул лошадей и ускакал.

Я кинулась к лежащему на земле раненому, мы все подняли его и помогли ему опять встать на свои костыли. На его лице был красный рубец от хлыста. Я не могла на него смотреть, мне казалось, что этого я не прощу никогда, что каждый осетин ответит мне за то, что один из них посмел ударить по лицу раненого русского офицера.

Мы продолжали наш путь пешком. Мы шли медленно и почти все время молча. Со мной они все были ласковы, но я была под впечатлением происшедшего и мне ни с кем не хотелось говорить.

Так начиналась моя жизнь в изгнании — я потеряла порученную мне аптеку, потеряла моих родителей и прошла пешком, вместе с остатками Добровольческой Армии, большую часть Военно-Грузинской дороги.

Эти шесть длинных дней и ночей были как бы воротами, вводящими меня в самостоятельную жизнь. Я ничего не боялась, потому что я верила в Бога, но я непрестанно спрашивала Его, почему в мире так много несчастий и горя, и в ответ я получала мгновения такого ослепительного счастья, что я могла только благодарить и славить Его за все.

Вскоре я услыхала, что где-то кричат: « сестра, сестра ». Я с недоумением поняла, что это зовут меня, это была моя белая косынка. Я побежала на зов. 10-летний мальчик из отступающего с нами Кадетского Корпуса попал под автомобиль, ему раздробило ногу и он звал сестру. Когда я увидала его, он лежал уже в арбе, весь забинтованый и просил, чтобы сестра дала ему судно. Где я могла достать судно ? Впереди и сзади безостановочно двигались арбы, но не было ни одного доктора, ни одного санитара, ни одной сестры. Я обещала мальчику, что достану, принесу откуда-нибудь и побежала вперед, от арбы к арбе, спрашивая у раненых — не подумал ли кто-нибудь из них и не взял ли с собой такое необходимое приспособление. После долгих бесплодных поисков, мне сказали, что где-то впереди есть повозка, на которой известкой на парусиновой покрышке нарисован крест — у них есть оно, но они никому не дают. Я нашла их повозку и, откинув покрышку, заглянула внутрь. Мои глаза встретились с их глазами. У одного из них были карие глаза, добрые и ласковые, они смотрели на меня через очки и улыбались, у другого глаза были серые, странные, строгие и в чем-то поражающие. Я смущенно сказала им, что мне было от них нужно.

« Конечно, возьмите », сказали мне « карие глаза », « только не забудьте вернуть, это теперь такое сокровище ».

Я побежала отыскивать моего мальчика. Все повозки были одинаковые, все закрыты парусиной, так трудно было найти ту, где лежал он. Когда я наконец нашла его, он горько плакал. « Уже поздно », прошептал он, « я не мог больше терпеть ».

Что мне было делать ? Как помочь ему ? У меня не было ни перевязочного материала, ни простынь, чтобы переменить его, и я не умела найти слов, чтобы его утешить, мне только хотелось плакать вместе с ним . . .

Рядом, из другой арбы меня звал чей-то голос: « сестра, дайте мне », и потом из третьей арбы и из четвертой. Так началась моя работа. Я помню, когда я побежала опять разыскивать повозку с белым крестом на парусиновой покрышке, чтобы вернуть им их « сокровище », когда я отвернула покрышку и встретилась с ними глазами, они улыбнулись мне, эти две пары глаз, и сказали: « приходите всегда, когда вам надо ».

« Какие они милые », думала я.

Вечером мы подошли к первой стоянке. Возницы сами перетаскивали раненых в дома и под навесы. Было очень холодно. Их клали прямо на пол, без матрасов, одного к другому. Со всех сторон я слышала один и тот-же зов: « сестра, сестра » . . . Если просили пить, я приносила им воду в маленькой кружке, бывшей у меня с собой; если же просили судно — к моему ужасу здесь в поселке, среди бесконечного количества повозок, я не могла найти моих друзей с белым крестом. Мне некогда было негодовать и сердиться на плохую организацию, некогда было раздумывать, надо было что-то решать самой.

Здесь была одна маленькая лавочка, я побежала туда, чтобы купить что-нибудь, заменяющее судно. Лавочка была набита народом. Там было душно, жарко и накурено. Я с трудом пробралась к прилавку и сразу почувствовала, что я погружаюсь в жуткую и враждебную атмосферу. Когда меня заметили, шум и говор затих и все глаза были обращены на меня. К моему изумлению и ужасу моя просьба была встречена громким хохотом и грубыми насмешками. Но я слыхала лишь одно слово, один зов, которым я была окружена весь этот день: « сестра ». Оно звенело в ушах, оно было стеной, защищавшей меня от этого грубого и жестокого мира.

Я опять обратилась к человеку за прилавком и, вытащив все бывшие у меня « керенки », просила продать мне пустую банку от консервов. Очевидно мои « керенки » соблазнили его и, получив мою жестянку, я бегом кинулась к тем, кто меня ждал. Теперь никто уже не думал о том, чтобы перевязывать раны, доставать лекарства или пищу. Были две вещи — вода и моя банка от консервов.

Наступила ночь, холодная, лунная. От блеска снега было светло, как днем. Я сидела на полу в помещении, набитом ранеными. Вдруг отворилась дверь и чей-то громкий голос спросил: « Есть тут хоть одна сестра ? ». Я сразу вскочила. « Идите за мной », сказал он. Это был доктор Каменский, который был один из организаторов эвакуации. По дороге я старалась объснить ему, что я не настоящая сестра, что я только случайно попала сюда, но ему это было безразлично. Он сказал, что ему поручено довезти одного больного, которого необходимо спасти, что он все время дежурит у него, но его вызывают к умирающему, и он поручает мне своего больного на эту ночь.

Он привел меня в такую же, набитую ранеными и больными комнату. В углу сидел, прислонившись к стене человек в разорванном халате и со странной улыбкой на лице. Оказалось, что это был выздоравливающий от сыпного тифа, у которого были припадки безумия, когда он хотел убежать и покончить жизнь самоубийством. Доктор велел мне сесть против него и держать его за халат, чтобы не дать ему убежать. Это была жуткая ночь. Он все время, улыбаясь, смотрел на меня. У меня

не было сил держать его крепко. Два раза он вырывался и убегал. Первый раз я сумела поймать его еще в комнате, но во второй раз он выскочил на снежную поляну перед домом и кинулся бежать. Я побежала за ним. Он был босой. При ярком лунном свете, я гонялась за ним по глубокому снегу, молясь, чтобы Бог помог мне его догнать. К счастью, он скоро потерял силы и упал. Я помогла ему встать, привела его в нашу душную комнату и посадила снова в залитой лунным светом угол.

На рассвете меня пришел сменить доктор Каменский. Я ему страшно обрадовалась. « Вам удалось спасти его ? », спросила я. « Кого ? » — « Умирающего ». « Какого умирающего ? », раздраженно спросил он. « Я думала Вас вызвали к умирающему ». « Вы думали ? Вы, может быть, думали, что я собираюсь работать еще по ночам ? И так никаких сил не хватает при таких организаторах, как в Добровольческой Армии —, сказал он, — за этого сыпнотифозного мне хоть деньги хорошие заплатили, чтобы довезти его целым ».

Я молча смотрела на него и думала: « зачем он мне все это говорит ? Но, может быть, он говорит нарочно, чтобы скрыть от меня, что он работал всю ночь ? »

« Здесь есть еще сестры ? » спросила его я.

« Есть еще две сестры, только я сам не мог их вчера найти. Да Вам зачем ? Хотите их запрячь в работу ? Какая тут работа, все равно ничего сделать нельзя ».

« Вы можете мне дать, пожалуйста, марлю и бинты и какие-нибудь лекарства ? », попросила я.

« Хотите работать ? », насмешливо сказал он, « ни бинтов, ни марли нет, могу дать Вам банку соды, давайте им глотать по чайной ложке, если будут просить морфий, говорите, что это морфий ».

Я поняла, что он не хотел или не мог помочь.

Я вышла на улицу. Из-за снежных гор всходило солнце. Медленно и ровно поднимался огненный шар, заливая все потоками золота. Красота была такая поражающая, что я не верила, что я стою на земле. Снег искрился и горел, и мне казалось, что я вся окружена пламенем, который пронизывает меня всю и наполняет восторгом мое сердце. На дороге, на снежных полянах, на всех откосах, стояли арбы и повозки с ранеными, они все тоже были розовые от лучей солнца. « Господи », думала я, « как прекрасна жизнь . . . »

Умывшись обжигающим, рассыпчатым снегом, я побежала к моим больным. У меня вдруг появилась какая-то уверенность в себе и внутренняя свобода. Первое, что я увидала на поляне — была повозка с белым крестом. Я подбежала к ним и откинула брезент. Это были они, это были мои новые друзья с « карими » и « серыми » глазами. Я сама не ожидала, что так им обрадуюсь.

« С добрым утром », сказала им я, « я так рада, что нашла вас, я думала вчера что потеряла вас навсегда ».

« С добрым утром », ответили они мне, и их глаза сияли радостью и лаской.

« Вас не переносили в дом на ночь ? » спросила я.

« Нет, мы не рискнули, Вавилин сказал, что там еще хуже ».

« Вавилин ? Кто это Вавилин ? »

« Это наша нянюшка . . . »

« О, я его знаю », сказала я, « так это Вы его « господа » ? Мы с ним вместе выезжали из Владикавказа. Он сказал, что когда его « господа » поправятся, он опять пойдет с ними вместе сражаться за веру, царя и отечество. Вы в это верите ? »

Они оба молчали. Тогда я вдруг поняла, что не надо было задавать им этот вопрос. Мне стало стыдно и грустно. Они, вероятно, заметили это, и один из них прибавил: « Мы верим, что « солнышко » будет часто заглядывать к нам и согревать нас ». Его слова залили мне сердце теплой волной.

Весь этот день я работала, как на крыльях. Мне все было легко. Я не часто подходила к их повозке, но одно чувство, что я могу прийти к ним, что я увижу их радостный взгляд, давало мне силу и бодрость.

Вскоре у меня появилось еще два помощника — фельдфебель Вавилин, которого послали мне его « господа », и девочка Оля. Олю я встретила в то же утро, она шла пешком с группой раненых и, увидав меня, кинулась ко мне, прося разрешить ей работать со мной. Я ей обрадовалась еще больше, такое было счастье встретить хоть одно женское существо, среди бесконечной вереницы мужчин. Оле было 16 лет, но на вид ей можно было дать гораздо больше. Ее отец был расстрелян большевиками, и она решила отступать с белыми. Она сама не знала куда и зачем она идет и чувствовала себя, вероятно, еще более потерянной и беспомощной, чем я. Я видела, что она за меня « держится », и это придавало мне силы.

С утра распространился слух, что красные послали нам вдогонку отряд. От этого у всех было еще более нервное и напряженное настроение. Всем хотелось скорее отправиться в путь, чтобы добраться до границы Грузии.

Наконец мы подошли к этой желанной границе. Серой длинной вереницей потянулись повозки по железному мосту над гремящим Тереком. Почти все они останавливались на середине моста, из их глубин высовывались шашки, кинжалы и револьверы и с тонким свистом и звоном летели в Терек.

Я смотрела на все это издали, затаив дыхание, и каждый летящий в Терек револьвер отзывался восторгом и гордостью в моем сердце. Мне казалось величайшим позором, что грузины отнимали оружие у русских офицеров и солдат, которые этим оружием защищали « честь » и « свободу » России. Разве не

была Грузия частью той же России, думала я, разве, жертвуя своей жизнью за Родину, Добровольческая армия не жертвовала ею за тех же грузин ?

Я кинулась отыскивать повозку моих друзей. Они были уже по ту сторону моста. « Вы не сдали им оружия ?, они не обыскивали Вас ? » — с волнением спросила я. « Нет, они нас не обыскивали », — сказали они и, посмотрев на меня внимательно и ласково, прибавили: « не грустите, не все еще погибло, есть еще Крым, мы еще уедем сражаться . . . »

Я стояла, погруженная в свои мысли, и смотрела на проезжающие через мост все новые и новые повозки.

В это время я увидала мою сестру. Она бежала ко мне, радостно делая мне какие-то таинственные знаки. Она выглядела совсем девочкой, несмотря на свои 18 лет, с ее тоненьким личиком и горящими от восторга глазами.

« Соня, ты знаешь », быстро проговорила она, « у всех отнимают оружие, но Коля решил ни за что не отдавать своего револьвера. Я тоже думаю, что отдавать — это позор. Я пронесла его, меня не обыскивали ».

« Тогда оставь мне этот револьвер, я его спрячу ».

Она посмотрела на меня возмущенно и торжествующе. Неужели я могла подумать, что она так наивна, что во второй раз пройдет мимо пограничной стражи с револьвером в кармане ?

« Я спрятала его под камень, в надежное место, жди меня тут, мы сейчас вернемся », крикнула она мне, убегая.

Наконец я увидала моего брата. Он шел быстрыми шагами в своей серой папахе и шинели вольноопределяющегося. Моя сестра пробиралась за ним. Я видела, как они поравнялись со стражей и спокойно прошли мимо, в то время как грузинские солдаты были заняты осмотром какой-то арбы.

Я радостно встретила их и мы, счастливые и довольные отправились искать то « надежное место », куда моя сестра спрятала револьвер. Сперва она уверенно повела нас к какой-то кучке камней, которую мы стали переворачивать и разгребать. Револьвера под ними не оказалось. Мы долго и упорно искали, переходя от одних камней к другим. Наконец, после долгих, бесплодных поисков, мы двинулись в путь. Я старалась утешить мою сестру, уверяя ее, что главное было то, что мы не « сдали своего оружия », но она была в отчаянии и с тоской смотрела на каждую кучку придорожных камней.

Когда, позднее, я пошла рассказать моим друзьям « историю с револьвером », они окончательно успокоили и утешили меня.

« Передайте Вашей сестре », сказали они, « что мы достанем ей новый револьвер ».

« Вы правда можете достать ? », радостно спросила я, « но где Вы можете достать ? »

Они весело переглянулись и один из них вытащил из под одеяла и протянул мне блестящий револьвер. Я была в полном восторге.

« У Вас тоже есть ? », спросила я у его друга. Он молча смотрел на меня смеющимся, ласковым взглядом. Я поняла, что и он не сдал своего оружия. После этого они оба окончательно сделались для меня героями.

К вечеру мы пришли в какой-то, казалось, брошенный жителями аул. Здесь в первый раз раздавали пищу раненым. Опять откуда-то появился тот же доктор Каменский. Он был верхом на лошади, никого не слушая, он раздраженно давал приказания и кричал на больных. Было велено разместить раненых по домам, т.к. возницы не хотели, чтобы они оставались на ночь в их повозках. Только после этого было обещано раздать горячий рис.

У нас были носилки, и мы с Олей и Вавилиным стали выгружать больных. Как и в прошлую ночь, люди вываливались из повозок, ползли по снегу, звали на помощь, торопились, стараясь занять в домах лучшие места. В этой работе Оля была моей незаменимой помощницей; необычайно сильная физически, она никогда не уставала и ее не пугали тяжелые носилки.

Было уже совсем темно, когда мы кончили переносить больных и раненых. Сперва мы их складывали в большую залу в школе. Когда она была полна, мы стали разносить их по домам и сараям. В некоторых домах было так мало места, что люди лежали почти друг на друге. Крик, шум, стоны, бред стояли не перестающим гулом в моих ушах, но над всем раздавался все тот-же зов: « сестра », он и теперь был сильнее и властнее всего.

Самыми мучительными больными были сыпнотифозные и дизентерийные. Мы не знали, что с ними делать, куда их положить. За один день их белье и одежда пришли в такое ужасающее состояние, что страшно было к ним притронуться и близко к ним подойти. Был один такой больной; он лежал на полу в грязи и зловонии, у него были безумные, никого не узнающие глаза, лицо его обросло жесткой щетиной, у него был запекшийся открытый рот. Он мотал головой и охрипшим голосом повторял: « пить, пить . . . » И я его вдруг испугалась, я сделала вид, что не слышу и не подошла к нему, не дала ему пить. А я воображала, что я им была, как сестра. Я не знаю, дал ли ему кто-нибудь пить, может быть, он умер в ту ночь, я его больше не видала.

Среди работы ко мне подошел Вавилин. « Барышня », сказал он, « Вас там очень зовут в большую залу, очень все волнуются, что Вы не идете, почтительно просят вас прийти ».

Я побежала в большую залу. Через окна в комнату проникал бледный лунный свет и освещал людей, лежащих на полу

прямыми и тесными рядами. Их было так много, что невозможно было ни пройти между ними, ни различить, где кончалось одно тело и начиналось другое.

Когда я вошла, вдруг сразу наступила полная тишина и я почувствовала, что все глаза были обращены в мою сторону. Я с недоумением смотрела вокруг, не зная, что они от меня хотят. « Сестра », послышался чей-то голос, « мы все решили не есть, пока первая не съедите вы, мы тут греем для вас тарелку риса и стакан воды с вином ».

Тут я увидала, что перед каждым стояла тарелка уже остывшего и слипшегося риса. Они не съели его, когда им его раздавали, чтобы выразить мне так свою благодарность. Мы все два дня ничего не ели и один вид еды наполнял всех таким нетерпением, что я знала, что им не легко было ждать. А они ждали меня почти три часа. В углу на маленькой свечке подогревалась моя порция.

Я стояла посреди них и, вероятно, в наступившей темноте белела только моя косынка и не было видно ни устремленных на меня глаз, ни моего растроганного лица. Я стояла перед ними и ела. Горячий рис и вино давали мне чувство физического тепла и счастья, а сердце мое переполнялось любовью и благодарностью к этим людям. В этот момент мне казалось, что я могла залечить все их раны, утешить все их горести, отдать им все, что бы они у меня ни попросили. И вдруг передо мной опять встало лицо того умирающего тифозного, которому я не дала пить. « Попросить у них прощения », промелькнуло у меня в голове: « сказать им, что я не заслужила их благодарности и забот » . . . Но в это время в комнату вбежала Оля, чтобы сказать мне, что меня зовет доктор.

Я вышла на улицу. Доктор Каменский ждал меня около последнего дома на окраине аула. Луна была такая яркая, что я издали могла различить его темный силуэт. Было в этом докторе что-то неприятное. Маленький, черный, с надутым и недовольным лицом, он вдруг откуда-то появлялся, распоряжался всем грубо и неумело, не терпя возражений или просьб, и исчезал опять, не принеся никому ни помощи, ни утешения. Мне казалось, что он распространял вокруг себя какую-то серую тоску.

« Сестра, ужинали Вы или нет ? » раздраженно спросил он меня.

« Да », сказала я, « я ела рис ».

« Вот это хорошо, вот это очень хорошо », продолжал он все тем же тоном, « конечно, вы прежде всего позаботились о себе, а знаете ли вы, что в этих двух домах никто ничего не получил и люди лежат голодные ? Вы это знаете или нет ? »

— « Я не знала », сказала я, « но ведь не я раздавала рис, я даже не видела кто его приносил ».

« Не Вы ? Но Вы сестра или нет ? Если вы не сестра — то

убирайтесь вы к черту, а если вы сестра, то вы отвечаете за все. Вот здесь два ведра, потрудитесь отправиться к котлам и принести еду ».

Я молча взяла ведра и пошла. Надо было выйти из селения, пробраться среди повозок, пересечь поле и, выйдя на большую дорогу, идти по ней до маленького постоялого двора, где ночевали возницы и где варилась в котлах пища. Я не помню, как я прошла этот длинный путь. Мне казалось, что внутри меня все горит. То я вспоминала залитую лунным светом залу и лежащих на полу людей, и тогда мне казалось, что я могу пройти версты и версты, только бы сделать что-нибудь для них, то вдруг в моих ушах начинали звенеть слова доктора: « если вы не сестра, то убирайтесь вы к черту », и тогда сразу мне делалось холодно и хотелось плакать.

На постоялом дворе все было тихо и сперва я думала, что все спят, но, подойдя ближе, я увидала деревянный барак, из которого доносился шум, смех и громкие голоса. Я пошла туда и отворила дверь. Там пировали наши возницы — в комнате было жарко, дымно и накурено.

« Я пришла узнать не осталось ли еще риса для больных? » спросила я у стоящего у двери человека.

« Рису ? Какого рису ? » переспросил он, смотря на меня ничего не понимающими пьяными глазами. Я вдруг поняла, что все они были пьяны, что я напрасно пришла и что мне надо было как можно скорее уйти. Но в это время поднялся один из грузин, он был высокий, худой, с длинными, седыми усами. « Рису хочешь ? », сказал он, « есть рис, пойдем, дам тебе рис, для всех твоих больных дам рис ».

Я смотрела на него недоверчиво и испуганно, что-то подсказывало мне, что мне надо было бежать. Но как вернуться с пустыми ведрами, когда там лежат голодные люди, может быть, он действительно мне даст какую-нибудь еду... Мы вышли на двор. Я шла за ним робко и неуверенно. Он подошел к небольшому темному сараю, открыл дверь и стал манить меня рукой.

« Нет, не надо, не надо риса », быстро проговорила я и бросилась бежать. Он побежал за мной. Не успела я выбежать на дорогу, как он, как кошка, прыгнул на меня сзади и повалил на землю.

« Пресвятая Богородица, спаси меня... Святой Серафим, помоги мне... Святой Серафим... »

Я не знаю откуда у меня взялись силы. Он был весь какой-то громадный, тяжелый и костлявый. Я молилась и боролась с ним. Наконец мне удалось выскользнуть из под него и освободиться от его рук. Я вскочила и бросилась бежать. Я бежала по скользкому, ледяному, залитому лунным светом полю и молилась святому Серафиму. Он бежал за мной. Молитва давала мне силы, мне казалось, что мои ноги почти не прикасались к

земле. Было очень скользко. Вскоре я услыхала как он спотыкнулся и грузно упал, бранясь и крича мне что-то вдогонку. Теперь я была спасена.

Едва переводя дыхание, я добежала до повозок и остановилась там вся дрожа. « Господи », думала я, « где теперь мама, знает ли она, чувствует ли, что я здесь одна ? Если бы только кто-нибудь был рядом, какой-нибудь человеческий голос, чья-нибудь человеческая рука ».

Было что-то мертвенное и жуткое в этом ярком лунном свете и окружавшей меня тишине.

Вдруг я увидала в одной из повозок маленький огонек папиросы. Через мгновение я была около них; отогнув брезент, я наклонилась над ними и услыхала теплый, мягкий голос:

« Неужели это вы ? Я так о вас думал. Вы совсем не спите. Где вы были ? Вы плачете ? »

Я стояла, прислонившись к холодному обручу их арбы и плакала.

« Что с вами ? Кто вас обидел ? О, если бы только я мог встать и защитить Вас . . . »

« Ничего, ничего », проговорила я, « я так рада, что вы не спите, ничего, я убежала, он ничего не сделал . . . »

« Мы не можем Вас дать в обиду », говорил он почти шепотом. « Вам теперь надо идти спать, завтра будет опять трудный день, вам надо идти спать . . . »

« Да, я пойду, спасибо, я пойду ».

Подходя к дому, я столкнулась с моей сестрой. Это была мгновенная, чудесная встреча. Она как будто знала, что со мной что-то случилось. Мы бросились друг к другу и обе заплакали, но я ничего не объяснила ей. Мы сразу расстались, она вернулась к моим родителям, а я пошла в дом, где были раненые. Когда я вошла, чей-то голос окликнул меня: «Сестра, это Вы? Оля ждала вас, она рядом в другом доме, там есть для вас одеяло ». Я пошла туда и, найдя ощупью спящую Олю, легла на полу, рядом с ней и, завернувшись в кусок оставленного мне одеяла, мгновенно заснула крепким сном.

Наступил еще один день. Погода испортилась. Стоял рыжеватый, мокрый туман. Казалось, что небо тяжело и безнадежно нависло над землей.

Мы с Олей встали как только начало светать и сразу принялись за работу. Надо было торопиться переносить раненых обратно в их повозки. Вавилин раздобыл еще одни носилки и убедил возницу своих « господ » помогать нам. Это был почти единственный из всех возниц, проявивший какуй-то человечность, остальные только в первый день соглашались переносить больных. Теперь же они молча стояли в стороне и угрюмо смотрели как мы с Олей таскали носилки. Я старалась не встречаться с ними взглядом, чтобы их не « смущать ». Мне

казалось, что им должно было быть ужасно стыдно нам не помогать . . .

Вообще, в этот день все переменилось. В это утро, темное, холодное и безрадостное, все сразу как будто очнулись. Для наших возниц мы сделались выброшенными из жизни, никому не нужными остатками несуществующей уже армии, от которых они хотели поскорее освободиться. Они, вероятно, сознавали, что вернувшись во Владикавказ, они могут ответить « красным » за сношение с нами, а главное — деньги, которыми мы платили, превратились в никому ненужную бумагу.

Сперва общее мрачное настроение повлияло и на нас с Олей, но я не могла долго выдержать этой давящей атмосферы, я стала инстинктивно с ней бороться. « Оля, говорила я, — будь веселой; Оля, улыбнись мне, посмотри какие все мрачные, мы с тобой не будем такими ». И Оля сразу же улыбалась и смотрела на меня благодарными и преданными глазами.

Но была одна вещь, которая меня ужасала. Это была ругань. Или вернее то, как часто и много все упоминали слово « черт ». Мне казалось, что « он » вообще невидимо всем распоряжается, злорадствует и ликует над человеческим горем; чтобы с ним бороться, надо было излить на всех этих людей любовь, заразить их бодростью и верой, надо было непрестанно молиться Богу, просить Его помощи. А вместо этого, они призывали темные силы. И я вступила в борьбу с этим.

Раз, когда мы с Олей шли с носилками, мы поравнялись с одним раненым, который дополз до одной арбы и, увидав, что это была не его, а чужая, — « О, черт », раздраженно проговорил он. « Оля поставим, пожалуйста, носилки, отдохни немножко », сказала я и кинулась к нему. « Послушайте, подождите немного, мы сейчас поможем вам, мы сейчас вернемся, я знаю, где стоит ваша арба. Только обещайте мне никогда не говорить слово « черт ». Он смотрел на меня изумленно и непонимающе. « Обещайте, обещайте, скорее » быстро повторяла я, « мы сейчас к вам вернемся, только обещайте ». « Черт возьми, обещаю, если хотите. Что за оказия такая ! » Я спешила обратно к моим носилкам, чтобы поскорее вернуться к нему. Но стоило мне услыхать это слово, я опять бежала и просила: « Обещайте, обещайте не говорить ». Большей частью мои слова принимали добродушно и с улыбкой, иногда с недоумением и некоторым раздражением, как будто хотели сказать: « Не от радости мы « его » поминаем ».

Вскоре после этого Оля позвала меня к одному из раненых для перевязки. Это был хорунжий Уральского полка, совсем молодой, смуглый, с синими глазами и с черными ресницами и бровями. Он был одним из наших любимых раненых. У него было тяжелое ранение в живот, требующее частых перевязок. У него сильно скакала температура и мы мало надея-

лись, что он выдержит этот долгий и утомительный переезд. Меня и Олю поражали в нем его терпение и кротость. Он никогда не жаловался, никогда ничего не просил и всегда терпеливо ждал, когда мы сами подойдем к нему.

Мы особенно полюбили его после его рассказа о своей лошади: « Сестра, сказал он, вы еще молодая, вы не знаете, но лошадь все чувствует, все понимает (это было после того, как он ужасно волновался об одной лошади в обозе, которая сломала ногу), у меня была любимая лошадь, она была со мной во всех боях, такая красавица, серая, в яблоках. Она знала не только мой голос, она чувствовала, когда я был близко. Как она радовалась мне, как перебирала своими тонкими ножками. Нас вместе ранило гранатой в конной атаке, она упала и придавила меня. Вы знаете, что она сделала, сестра ? Из последних сил она поднялась, чтобы я мог вылезти из под нее. Я тогда подполз к ней .... я никогда не забуду ее глаз. Это был человеческий взгляд, полный страдания и любви. Я сам застрелил ее. Я сам закрыл ей глаза. Но знаете, сестра, это было самое большое горе моей жизни ».

Тогда, после перевязки, мучительной и сложной, он лежал в своей арбе бледный, с полузакрытыми глазами и с крепко сжатым ртом, а мы с доктором ушли к другим больным. Но я не смогла совладать со своим чувством, повернула с полдороги и опять побежала к нему. Он лежал все так же, как будто смотря внутрь себя и не замечая окружающего. Под влиянием охватившей меня жалости, я погладила его тихо по руке. Я не знаю, как я посмела. В те годы я была особенно сдержанной, особенно боязливой в выражениях своих чувств. Если бы у меня было время задуматься, я никогда не решилась бы на этот жест. Он открыл глаза и тихо мне улыбнулся. И вдруг я, также не задумываясь, быстро произнесла слова, которые, вероятно, казались мне словами утешения: « Знаете, — сказала я: — смерть — это не страшно. Смерть это тоже жизнь. Мы все умрем, но после смерти будет рай, будет прекрасный рай ». « Я знаю », — чуть слышно прошептал он.

Как только все раненые были погружены, мы двинулись в путь. Часа через три мы должны были прийти в аул, откуда начинался перевал. Говорили, что там нас ждал весь, ушедший вперед, обоз. У меня, при мысли об этом, радостно билось сердце. Там я надеялась найти нашу подводу, увидать маму, папу, братьев и сестру. Пусть потом я опять буду продолжать пешком мой путь, но главное — увидать их, знать, что они все живы, что я не одна.

Наша часть обоза двигалась ужасно медленно, какие-то повозки останавливались, перепрягали лошадей, о чем-то спорили. Я отстала вместе с ними, меня позвали к тяжело раненым, они просили морфий, я давала соду, говоря, что это морфий, они верили и успокаивались. Это было единственное

лекарство, бывшее у меня. Я давала не каждому и только после их усиленных просьб, и это еще больше укрепляло их веру в то, что это был действительно морфий. Мне казалось, что за эти дни я стала опытной и совсем взрослой.

Когда мы пришли в назначенный для сбора поселок, почти весь обоз уже спешно отправился в путь. Я бросилась искать наших. Пройдя все селение, я вышла на большую дорогу и долго стояла там, пропуская мимо одну подводу за другой, в надежде увидать их дорогие лица. Наконец я решила вернуться в селение, боясь, что они ждут меня там.

Вдруг, к моему великому счастью, я увидала на краю дороги знакомую фигуру профессора Кожина. Он стоял, держа под уздцы свою лошадь и разговаривал с какими-то лежащими на снегу людьми. Я радостно кинулась к нему. Он, видимо, тоже мне обрадовался. « Наконец-то, — сказал он, — ваша мать с ума сходит, разыскивая вас; она уверяла меня, что чувствует, что вы погибли. Я поеду сейчас успокоить ее, они вас не нашли в селении и уехали вперед, но почему вы здесь ? Где аптека, которую я вам поручил ? Вот что значит давать ответственные поручения молодым барышням ».

Я пыталась объяснить ему что произошло с аптекой, но ему некогда было меня слушать. « Хорошо, хорошо, — сказал он, — вы потом мне расскажете » — и, обратясь к лежащим на снегу раненым, он проговорил: « Господа, я поручаю сестре вас устроить. Сестра, их возница довез их сюда и удрал, поручаю вам найти другую арбу и погрузить в нее всех оставшихся. Докажите, что вы умеете ответственно относиться к делу ».

« Да, конечно, — сказала я, — я постараюсь . . . а наши все здоровы ? Мама здорова ? Вы скажете им, чтобы они не волновались ? Скажите им, что я работаю. А где я их найду ? »

« Я им все скажу, я их успокою », проговорил он, влезая на лошадь. « За Крестовым перевалом у нас будет большая стоянка, они будут там ждать вас, приходите прямо в главное управление. Так не забудьте, я вам даю ответственное поручение; докажите, что вы настоящая сестра . . . »

Он уехал. Тут только я увидала, что лежащие на снегу раненые держали меня за платье. Мне стало смешно и весело.

« Почему вы меня держите ? — сказала я, — пустите меня, я пойду доставать вам арбу ».

« Слава Богу, — думала я, — наши живы и здоровы, еще один перевал, и мы увидимся, теперь осталось так мало . . . »

Но раненые не хотели меня отпускать, они боялись, что я уйду и брошу их. Тогда я торжественно дала им « честное слово », что, если я не найду повозки, я вернусь к ним и с ними останусь. Они поверили, и я быстро побежала в селение.

Обоз уехал. Вокруг было тихо. Нигде не было никаких признаков жизни. Селение казалось совсем мертвым. Я пошла

из одного дома в другой. Только в одном на мой стук отворилось окно и какой-то старик, выслушав меня, сказал: « идите скорее к комиссару, он один вам может помочь, только спешите, он должен уехать навстречу красным, может быть вы еще застанете его », — и он указал мне его дом.

У меня похолодело сердце. « Навстречу красным , — думала я, — Господи, помоги мне »; я молилась, прося у Бога помочь мне найти этого комиссара, найти арбу для раненых, устроить их всех . . .

Я постучала в дверь, указанную мне — никто не ответил. Я вошла в дом, прошла через комнаты и вышла во двор. Во дворе я увидала высокого молодого горца, в кожаной куртке и высоких сапогах. Он седлал лошадь и, видимо, очень торопился. Я бросилась к нему. Он выслушал меня, взял хлыст и сказал: « идите за мной. У Вас есть деньги ? » « Нет », ответила я. « Как же вам поручают нанять арбу и не дают денег. Вы говорите, что у них был возница, он их бросил и уехал обратно ? Это не может быть. Никто не уехал обратно, я первый еду « им » навстречу. Их возница должен быть здесь, мы его найдем ».

Мы пошли с ним опять из одного дома в другой. Он всюду, прямо без стука, открывал дверь и проходил во двор. Всюду было пусто, не видно было ни лошадей, ни людей; даже старик, показавший мне путь, пропал куда-то. Я начинала терять надежду. Что я буду делать с девятью ранеными, ждущими меня и верящими, что я их спасу ?

Мы подошли к последнему дому, прошли во двор — никакого признака жизни. Я была в отчаянии. Мы опять вышли на улицу. Вдруг мой спутник весь насторожился — откуда-то доносилось заглушенное ржание лошадей. « Это не мой конь », — тихо сказал он и быстрыми шагами направился к одному из домов. В глубине двора мы увидали небольшой сарай, двери его были тщательно закрыты и задвинуты большим металлическим болтом. Через минуту мой спутник стоял уже в сарае и выводил оттуда двух спрятанных там лошадей. В глубине, за арбой, мы нашли и притаившегося там возницу. Это был горец, старый, с крючковатым носом и с злыми, маленькими глазами. Они долго и громко объяснялись на непонятном мне языке, стараясь перекричать друг друга. Два раза мой комиссар хватался за револьвер и наконец, замахнувшись нагайкой, стал хлестать возницу по плечам и спине. Я думала, что они убьют друг друга, но возница как-то сразу успокоился и, как ни в чем не бывало, стал запрягать лошадей.

« Он повезет вас, — сказал мне комиссар, — оставайтесь здесь, а я должен торопиться », и он быстро скрылся за дверью.

Как только он ушел, мой возница сразу же ввел лошадей в сарай и снял с них всю сбрую. Я бросилась на улицу. К

счастью, я сразу увидала высокую фигуру комиссара, быстро шагающую по снегу. Я догнала его, схватила его за руку и умоляла вернуться со мной.

Услыхав мой рассказ, он пришел в такую ярость, что я думала, что он убьет и меня, и возницу, и лошадей. На этот раз он остался со мной до конца. Лошади были запряжены и он попрощался со мной только тогда, когда последний раненый был положен в арбу и мы двинулись в путь. Их было девять человек, из них двое сыпнотифозных, они все лежали один на другом, но они были радостные и счастливые. Я тоже была радостная и счастливая. Я шла рядом пешком, держась за их повозку.

Вскоре после выхода из поселка, дорога на несколько верст шла под гору и только потом начинался главный горный перевал. Как только мы дошли до спуска, возница хлестнул лошадей, и через несколько минут арба скрылась с моих глаз. Я кинулась за ними бегом. В начале мне было как-то особенно весело и легко бежать по белому снегу и чувствовать свою молодость, силу и счастье от того, что все устроилось и что я скоро буду опять со всеми своими, окруженная их заботой и любовью.

Потом пошел густой снег. Мелкие, холодные, крутящиеся снежинки слепили мне глаза, попадали в рот, залезали за воротник. Я уже не могла бежать и устало шла вперед, не различая больше дороги. Вокруг меня была белая стена. Мне было холодно, и я вдруг вспомнила, что все эти дни я почти ничего не ела. Я шла наугад, то проваливаясь в снег, то выходя опять на твердую дорогу.

Мне казалось, что прошло очень много времени. Ветер и снег все усиливались. Чтобы защититься от них, я старалась повернуться к ним спиной и скоро совсем сбилась с пути. Со всех сторон была одинаковая белая, снежная, крутящаяся завеса и я как будто тоже крутилась вместе с ней, теряя постепенно силы и впадая в отчаяние. И вдруг мне стало казаться, что так просто лечь в этот белый и мягкий снег и заснуть. В этом желании сна был такой покой и легкость. Все остальное было безразлично, я никого не вспоминала, ни о чем другом не думала.

Снег все падал и падал. Он теперь казался теплым, туманным и совсем не враждебным. Я понимала, что у меня не было сил догнать обоз и, потом, зачем догонять, когда я так устала, когда можно заснуть и укутаться в снег. Мне казалось, что мне надо только немножко отдохнуть, немножко полежать и все тогда будет ясно.

Я легла на снег, прижавшись к какому-то сугробу. Было очень холодно и у меня мучительно болели руки и ноги. « Это ничего, — думала я, — это сейчас пройдет, вот только выдержать еще несколько минут и все будет хорошо, еще немного

потерпеть и снег станет теплым и не будут больше болеть пальцы, только еще немного потерпеть...» Я лежала так в снежном сугробе, закрыв руками лицо и повернувшись к земле. Я помню, что у меня было ощущение, что надо спрятать в снег лицо, прижаться к холодному, белому савану.

Я не знаю, сколько времени я так лежала. Может быть я заснула, или может быть это не был сон, а был полный упадок сил, когда уже перестаешь сознавать окружающее. Меня привело в чувство что-то теплое, заливающее мне лицо. Это были слезы, они лились горячим ручьем, откуда-то из глубины, потрясая меня всю и согревая. И было странное чувство, что источник этих слез в сердце. И вдруг ясно и мягко встал передо мной образ святого Серафима. Я почти не смею об этом писать. Его образ встал вместе с чувством теплоты в сердце, вместе со слезами. Мне трудно точно выразить, что это было. Я не молилась, я просто знала об его живом присутствии, и оно несло покой, тепло и легкость. Я встала и пошла. Мне казалось, что я вижу его светлый, старческий образ где-то перед собой, в крутящемся снеге, что он указывает мне путь. Я чувствовала во всем теле какую-то особенную легкость и гибкость, и уверенность в сердце, что я уже больше не одна.

Я думаю, что почти каждый из нас испытал в своей жизни чудесную помощь, только мы, большей частью, называем такую помощь Божью «счастливой случайностью» или еще каким-нибудь иным именем. Мы в таких случаях подбираем ничего не объясняющие слова. Что мы знаем о жизни? Что мы знаем о том, почему один из нас гибнет, а другой продолжает жить? Чьими молитвами или за какие грехи, или какой назначенной нам свыше судьбой?

Я шла теперь уже по-новому, потеряв ощущение времени, не испытывая ни холода, ни усталости. И вдруг я увидала в нескольких шагах от меня идущего мне навстречу человека. «Он идет спасать меня», промелькнуло в моей голове. Мне казалось, что по-иному не могло быть, что в этом снежном вихре я могла встретить только человека, идущего меня спасать. Я так оторвалась, после всего пережитого, от обычной жизни, что я находилась в ином плане бытия, где совершалась моя судьба. Я не знаю, обрадовалась ли я ему тогда, но теперь я так рада, что могу писать о нем, вспомнить каждое его слово, вновь благодарно и бережно пережить все, что он внес в мою жизнь в этот день. Есть дни, которые важнее и значительнее долгих годов нашей жизни. Раньше я думала, что так бывает только в книгах, но подлинная жизнь фантастичнее и страннее всякой книги.

Когда я его увидала в нескольких шагах от себя, я остановилась и ждала. Он тоже сперва остановился, но потом кинулся ко мне навстречу и схватил меня за руки.

« Я знал, — говорил он, — я знал, что найду вас. Но неужели это вы ? Неужели я вас нашел ? »

Потом он почему-то снял с головы папаху, серую, низкую, каракулевую, так, что снег стал падать ему на голову. Я смотрела на него, на его светлые, немного вьющиеся волосы, на белые снежинки на его волосах и думала о том, что я никогда не видала его раньше, но что я почему-то его знаю и даже знаю звук его голоса. Я попросила его надеть папаху, потому что было холодно. Он надел, удивленно на нее посмотрев, как будто ему самому было странно увидеть, что он стоял с открытой головой. Потом он крепко взял меня за руку и повел. От его руки в мою руку вливалось тепло. Вначале мы почти не говорили, снег слепил нам глаза и ветер был такой сильный, что трудно было говорить. Он вел меня все время в гору и, как мне казалось, в сторону от дороги. Потом ветер немного утих и перестал идти снег. Тогда я решилась заговорить с ним.

« Кто вы ? » спросила я, « куда вы шли ? »

« Я шел искать вас », сказал он просто.

« Меня ? Но вы ведь меня не знаете, почему вы знали, что я осталась позади ? »

« А где вы могли остаться, как не позади ? Спасать, помогать, вытаскивать. Я видел, что вы делали все эти дни. Мне тоже, как и вам хочется спасать, только вы спасали таких, на которых не стоило терять время и силы, а я пошел искать вас, понимаете, — вас. Вы от меня ничего не можете скрыть, потому что я все видел, я следил за вами всю дорогу ».

« Что вы видели ? »

« Видел, когда осетин ударил того офицера по лицу, и вас тогда видел ».

« Не надо об этом говорить », сказала я.

« Почему не надо ? »

Он вдруг крепко сжал мою руку. « А это больно ? » спросил он. « Что больнее ? » « Оба больно », — ответила я, — « но то — больнее ».

« Вы еще маленькая девочка », сказал он. « Вы еще хотите спрятаться от того, что больно. Вы говорите: « Не надо говорить ». Нет, надо говорить, надо бороться, надо идти навстречу тому, что больно, тому, что страшно. Надо идти напрямик, как мы идем сейчас. Только так можно жить. Хотите я убью возницу, чтобы вам не было больше больно ? »

« Нет », сказала я. « Я не хочу, чтобы вы убивали осетина. Теперь все равно уже ничего не спасешь ». Он посмотрел на меня пристально и строго и прибавил: « Да, ничего не спасешь, все погибло, Россия погибла ».

« Россия погибла », — в этих словах была для меня тогда такая раздирающая боль. « Зачем мы еще живы, — думала я, — зачем мы как будто цепляемся за жизнь, когда ускользает почва, на которой мы стоим, когда вокруг нас пустота и мгла ».

Мы долго шли, то карабкаясь в гору, то спускаясь на дорогу.

« Кто вы ? » наконец спросила его я. « Почему вы знаете здесь все тропинки ? »

Сперва он не хотел мне говорить. Он считал, что мне не нужно это знать. Но я очень просила его. Тогда он, рассказал, что уже год, как живет здесь в горах, оттого знает все пути и тропинки. Он приехал издалека, из Южной Америки, чтобы вступить в Добровольческую Армию. Он надеялся еще что-то спасти. Я спросила его, совсем ли он русский. Он ответил, что не знает, вероятно все же совсем русский, так как дороже России у него ничего нет, хотя сам родом из Прибалтики.

Мы долго шли по дороге. Он уже не держал меня за руку. Я шла рядом с ним и думала о моем спутнике, думала о том, что он так странно вошел в мою жизнь. Под конец я спросила его, что он будет делать теперь ? « Уеду опять », — сказал он. У меня вдруг от этих слов сжалось в тоске сердце.

« Темнеет », тихо сказала я.

Он вдруг наклонился ко мне заботливо и нежно.

« Вы устали », проговорил он. « Подождите, посидите здесь. Я пойду на разведку ». Он ушел.

Я сидела на снежном сугробе и со страхом смотрела как надвигалась тьма. Я молилась и просила у Бога помощи.

Вскоре я снова увидала его. Он бежал ко мне радостный и веселый. Он повел меня вперед и помог мне влезть на высокий снежный сугроб. Передо мной открылась дорога. На ней сплошной черной массой стоял наш обоз. Казалось, что он дожидался нас. Вдали виднелись огоньки селения.

И опять мы побежали напрямик. Он вывел меня к самым задним повозкам нашего обоза. Там мы узнали, что весь обоз уже два часа стоял на дороге, так как встречный автомобиль занесло снегом и его не могли вытащить и освободить путь. « Это для нас, это ради нас », думала я. « Потому что Бог творит чудеса ».

Когда мы подходили к селению, мой спутник предложил, что он пойдет искать моего отца и мать.

« Но почему вы знаете, что у меня есть отец и мать ? » спросила я.

« Потому что вы вся — выхоленная », сказал он.

И мы шли и смеялись. Нам казалось тогда, что мы смеялись над этим словом. Теперь я думаю, что мы смеялись от счастья жить . . .

Когда мы пришли в селение, была поздняя ночь, но там никто еще не спал. Повсюду стояли арбы и двигались люди. Главное управление было в здании школы. Мы пошли туда. Я сразу столкнулась с моим братом.

« Соня, слава Богу, мы все думали, что ты погибла. Бежим скорее к маме ».

Я остановилась, чтобы проститься с моим спутником. Он стоял в стороне и пристально смотрел на нас. Я подошла к нему и протянула руку.

« Как я могу отблагодарить вас за все ? » сказала я. « Я вас увижу завтра ? »

Он посмотрел на меня и сказал: « Завтра на рассвете я уйду теми же тропинками обратно в горы ».

Я была в отчаянии. « Не уходите », — попросила я. « Вы такой мой друг » . . .

Он быстро посмотрел на меня и сказал: « Если бы вы согласились уйти со мною, я думаю, я мог бы предоставить вам все, что вы захотите в жизни ».

« Я не могу, я не могу оставить моих родителей ».

« Да, конечно, быстро проговорил он, это было бы безумно, спасибо вам ». Еще раз, в последний раз, его рука сжала мою руку. Мне хотелось, чтобы он не отпускал меня никогда, но надо было идти, меня ждали мои родители. Когда я входила в их саклю, рядом с заливающей сердце радостью жила тоска от разлуки с ним.

Для меня наступили спокойные дни. Я больше не расставалась с моими. Я была под их защитой. Я то шла пешком, то подсаживалась на их подводу. Откуда-то появились несколько сестер и санитаров, я им помогала, как могла, за мною всюду следовала Оля, она подружилась с нашей семьей. Все стало легко и просто. Я не была больше одна среди чужих, но я не была счастлива, моя нить с ранеными была порвана. Я вспоминала моего спутника. Где он теперь ? По каким тропинкам он идет по горам среди обрывов ?

Наш обоз двигался не спеша, опасность со стороны красных миновала. Вокруг была ранняя весна, откосы были покрыты подснежниками, крокусами и фиалками. Трудно было поверить, что вчера еще мы шли через метель и снег. Воздух был мягкий и душистый, на арбах были сняты покрывавшие их брезенты, раненые подставляли лица под теплые лучи солнца, и казалось, что все устроится, что все будет хорошо.

На седьмой день мы пришли в Мцхет. Это был конечный пункт нашего путешествия. Нас встретил грузинский медицинский персонал и стал распоряжаться всем. Беспорядок царил такой же, как и во Владикавказе; все кричали, возмущались, бранились, раненых грузили на поезда и куда-то увозили. Мы были потеряны и не знали, что нам было делать, а у меня было лишь одно страстное желание вернуться домой, проснуться в своей комнате, в тишине и благополучии нашей прошлой, счастливой и навсегда ушедшей жизни.

## ТРЕТЬЯ ГЛАВА

# ВЛАДИКАВКАЗ И ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА

Отрывки из воспоминаний Марии Михайловны Зерновой-Кульман, записанные Н. Зерновым.

10 дней жизни во Владикавказе были прощанием с Россией. У меня было чувство, что уходишь от подвига, от самого важного и нужного, но в то же время было желание жизни, острое сознание, что под большевиками нас ожидает мученичество и смерть.

Помня слова о. Николая Кольчицкого, сказавшего нам перед отъездом из Ессентуков, что в каждом городе и даже селе есть свой угодник Божий, я ходила по владикавказским церквам прося у Бога, чтобы этот святой открылся мне. Нашла я и женский монастырь. В нем была послушница Акулина, которая ухаживала за мной, когда я болела брюшным тифом в Ессентуках, в 1913. Я не застала ее. Она была в отъезде, в Нальчике. Монахини приняли меня с большой лаской. Когда я спросила их, есть ли угодники во Владикавказе, то они сказали, что в их церковь ходит юродивая Параскева, имеющая дар ясновидения. Придя на службу, я увидела необычайную женщину. Она вошла в церковь, держа икону в руках. Не глядя ни на кого, она встала на свое привычное место и погрузилась в молитву. Когда она шла, то все кланялись ей и встречали ее с благоговением. Я узнала ее адрес. Мне хотелось увидеть ее, просить ее молитв и указаний. Я долго стучала у ее двери. Она не открывала, я была очень огорчена. В день отъезда, когда вещи уже грузились на арбу, я еще раз бросилась к ней, но опять не было ответа на мой стук. Я поняла, что мое желание проникнуть в мою судьбу, узнать, что с нами всеми будет, не осуществилось. Мы выбрали наш путь изгнания и должны были нести все последствия его.

**Казбек.**

Мы нашли место для ночлега, но я не могла заснуть. Чувство необъяснимой мучительной тревоги за мою сестру Соню охватило меня. Я оделась и вышла наружу. Ночь была страшная в ее ледяной бесчеловечной красоте. Был сильный мороз. Светила полная яркая луна. Казбек — синий, величест-

венный — возвышался над нами. Небо было отверсто, огромные горы уходили в неприступные выси. Я стала молиться, но моя молитва падала вниз, я чувствовала свою полную оставленность. Я пыталась останавливать проходящих, спрашивать их, не видали ли они « сестру Зернову ». Никто из них ничего не знал о ней. Неожиданно я увидела идущего д-ра Каменского и, с надеждой на помощь, я бросилась к нему. Он ответил мне такими отборными ругательствами, о которых я до тех пор не имела представления. Я тут поняла, что только Господь может помочь мне в моей смертельной тревоге. Я еще больше ушла в молитву. Может быть никогда, — ни раньше, ни позже — я так не молилась, как в эту ледяную застывшую ночь. Я внутренне обещала себе всегда любить мою сестру, всегда помогать ей и охранять ее. Только бы сейчас, здесь, среди этих гор и снегов ничего страшного, непоправимого не случилось с ней. Я не знаю, как долго я так молилась, и вдруг я увидела ее, она шла одна по ледяной дороге, ярко освещенной луной. Я бросилась к ней, плача от счастья. Моя молитва была услышана, благодать излилась сверху. Мне стало так тепло и легко. Я хотела узнать, где была моя сестра, что случилось с ней, но она только сказала: « я расскажу потом » — и в радости свидания я не стала настаивать на моих расспросах. Главное, она была жива и снова с нами, и за это от всего моего сердца я благодарила Бога.

**Сережа Смагин.**

Мы уже спускались в Грузию, начиналась весна. Наша медленно плетущаяся арба поравнялась с маленьким кадетиком, с трудом продвигавшимся вперед. Я заметила, что он горько плакал, глотая слезы и стараясь скрыть их от посторонних. Я спрыгнула с повозки и, подойдя к нему, спросила: « Почему ты плачешь, мальчик ? » Он с удивлением взглянул на меня и ответил: « Я натер себе ноги, мне очень больно идти ». Я посмотрела на него и увидела, что он шагал в тяжелых больших ботах. Он был тщедушный, некрасивый, рыженький, весь покрытый веснушками. Он был поражен каким-то глубоким горем. Я сказала ему: « садись рядом со мной, мы потеснимся ». Он сначала не мог поверить, что я говорю это серьезно, а потом так изумился моим словам, что все время повторял: « Это невозможно, это невозможно ». Я посадила его рядом со мной, и начался у нас незабываемый разговор. Он сказал мне, что зовут его Сережей Смагиным, что ему 9 лет, что их, всех кадет, разбудили ночью во Владикавказе и велели сразу отправляться в путь. Маленькие кадеты умоляли дать им возможность проститься с родителями, и многие из них от этой разлуки так страдали, что один из его одноклассников даже пытался броситься в Терек, но его вовремя удержали.

Рассказав все это, Сережа стал мне говорить о себе. « У меня есть младший брат », сказал он. « Он высокий и красивый, его все любят, а я уродец, на меня никто не обращает внимания, и я знаю, что так со мной будет всю мою жизнь ». Мне он стал бесконечно дорог, и я начала горячо говорить ему о Боге, о вере, о том, что Господь всех нас любит и зовет нас к себе. Он слушал меня жадно, с напряженным вниманием, и когда я кончила, он удивил меня своим ответом, таким необычайным в устах девятилетнего мальчика. Он сказал: « Я мистик, я шел и всю дорогу молился Богу, прося его открыть мне себя, и вот теперь он помог мне ». Я была глубоко взволнована этими словами моего маленького спутника. Мы доехали до Мцхета. Там Смагин нашел свой кадетский корпус, мы простились. Я не думала, что мне придется еще раз встретиться с ним. Но это случилось.

Прошло много лет. В 1932 я попала в Белград. Я пошла в русскую церковь и встретила там много старых знакомых. Кто-то случайно упомянул мне имя Смагина. Я сказала, что знала мальчика с этой фамилией. Мои знакомые указали мне на студента, стоявшего недалеко от нас. Я сразу узнала его, и тут произошел наш второй разговор. Он хорошо помнил меня. Он рассказал мне, что он кончил кадетский корпус в Белой Церкви, поступил в университет на филологический факультет, и пишет стихи. Ему удалось списаться с его матерью, которая жила в Ленинграде. Потом он прибавил: « В жизни человека есть три женщины: мать, жена и муза, и Вы моя муза. Вы подобрали меня на дороге, когда я был в отчаянии, в детском отчаянии, самом страшном из всех. Я тогда потерял родителей, дом, Россию — все, что я любил и знал. Я всем моим существом взывал к Богу, прося Его дать мне ответ кто Он, и вот вы пришли ко мне и помогли мне. Вы открыли передо мной свет. Все эти годы я жил и учился, окрыленный тем, что я понял, сидя рядом с вами на арбе по дороге в Мцхеты. После этого я больше Сережи не встречала.

**Человек-зверь.**

Это было в Млетах. Обоз раненых и обмороженных остановился вдали от селения. Я проходила мимо него и была потрясена стонами и воплями, несущимися из повозок. Особенно один голос еще совсем молодого офицера, наверно мальчика семнадцати или восемнадцати лет, кричавший « мама, мама », перевернул меня. Я была так потрясена, что бросилась к нему и стала говорить: « Я найду для вас помещение, потерпите, вы не останетесь на морозе ». Я кинулась обратно в селение. Все дома были переполнены, но неожиданно, как чудо, я встретила высокого осетина в черкеске, который сжалился надо мной и обещал принять раненых в свою саклю. Радостная, я

побежала назад, но тут я вспомнила, что мне нужно найти кого-нибудь, чтобы перенести раненых в селение, и здесь произошло второе чудо. Я увидела нашего друга Сережу Назарова. Обрадованная, я бросилась к нему, и мы понеслись к страдальцам. Другой помощи было неоткуда ждать, и мы вдвоем понесли на носилках первого раненого. Было холодно, я стала скоро изнемогать. Несколько раз я падала в снег, и тогда раздавался душераздирающий стон раненого. Я была в ужасе. Мне казалось, вся ночь стонала, все дома, все камни, все сугробы были пропитаны невыносимой болью. Все же мы дотащили первого раненого до моей сакли, и тут, к моему изумлению, я нашла, что обещанное мне убежище уже было битком набито здоровыми офицерами и солдатами. Видимо кто-то услышал, что есть еще один свободный дом и захватил его. Мне было 18 лет, я не могла поверить, что люди могут быть так безжалостны друг ко другу. Я громко закричала: « Как вы могли это сделать ? Это помещение оставлено для раненых, пустите их сюда ». В ответ на мои слова раздался хохот, страшный хохот. Какие-то голоса кричали из темноты: « Вот какая нашлась сердобольная барышня, заботится о раненых. Да убирайтесь отсюда с ними вон. Здесь им нет места ». Меня охватил не гнев или возмущение, а ужас, холодный ужас перед той бездной зла, которая открылась передо мной. Это был мой новый и незабываемый опыт звероподобности человека.

**Смерть на пути**

Это было уже после перевала в Грузии. Кто-то остановил меня и сказал: « Здесь умирает человек, постойте около него ». Он лежал на земле и тяжело дышал. Я стала на колени и взяла его голову в свои руки. Я чувствовала всем своим существом, как его жизнь уходит из него. Я поняла в первый раз тайну дыхания и как в нем душа человека. Он еще мог с трудом говорить. « Сестрица », обратился он ко мне, « последняя просьба, когда вернетесь в Россию, навестите мою мать ». Тут его голос оборвался. « Где она, как ее имя ? » закричала я. Было поздно. Он еще раз вздохнул, и наступила смерть. Как таинственна и священна смерть, как величественна последняя просьба человека перед его отходом в иной мир.

**Мцхеты. Конец пути**

Мцхеты — чудесный священный город. Два монастыря на вершинах двух гор, а внизу рвется Кура. Легенда рассказывает, что когда-то, давно, была протянута цепь от одного монастыря на другой и святые подвижники ходили по ней навещать друг друга. В Мцхетах мне удалось найти для нас комнаты. Странно, и здесь и во Владикавказе я сделала невозмож-

ное: в переполненном до отказа городе я обеспечила кров для всей нашей семьи. Запомнились мне два очень разные эпизода этой нашей первой встречи с Грузией. Я пошла стирать наше белье на Куру. По неопытности, я намочила все его сразу и вдруг с ужасом поняла, что у меня не хватит сил выстирать его в холодной быстро несущейся реке. А тут были все наши простыни, полотенца, все что нам нужно было для ночлега. Я пришла в отчаяние, не зная, что делать с этой тяжелой холодной грудой. Я начала молиться, и силы вернулись ко мне. Грело яркое солнце. Я разложила недомытое мной белье на чистых камнях горного потока, и оно стало так быстро высыхать, что вечером я смогла принести его домой.

Второе воспоминание — встреча с женским монастырем св. Ольги. Это был благоуханный обломок старой России, еще пощаженный неукротимым огнем революции. С этим монастырем была связана София Владимировна Олсуфьева, урожденная Глебова. Все, кто ее знал, считали ее святой женщиной. Она часто бывала в Оптиной пустыне. Монастырь был маленький, и русские монахини бедствовали, отрезанные от всего мира. Он был расположен на откосе горы в лесу, за рекой. Я узнала о нем случайно. Монахини невыразимо обрадовались мне. Они встретили меня, как ангела. Я была первая их связь с Россией и с тем миром, который, казалось, провалился в небытие. У них была прекрасная маленькая церковь. На аналое лежала икона Божьей Матери, убранная весенними цветами. Игуменья рассказала мне необычайную историю этой иконы. Она шла однажды по лесу с послушницей и увидала доску, лежавшую на земле. Что-то подтолкнуло ее взять ее. На ней ничего не было: ни изображения, ни надписи. Послушница с удивлением спросила: « Зачем вам эта грязная доска? » Матушка игуменья не знала, что ответить, но все же отнесла ее в свою келью и положила ее около икон. Читая свое келейное правило, она стала невольно обращаться и к этой темной доске. Так прошло несколько дней. Как-то утром послушница, чистившая келью игуменьи, заметила на доске неясные очертания. На следующий день они стали лучше видны, и скоро можно было различить икону Божьей Матери. Ее перенесли в церковь. Там лик окончательно просиял. Икона не только обновилась, но и заиграла всеми красками. Монахини были обнадежены этим пришествием Пречистой в их бедствующую обитель. Я была несколько раз в этом монастыре. В нем царили свет и любовь, согретые молитвой.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

## ЧЕТЫРЕ ГОРОДА: СУРАМ, БОРЖОМ, ТИФЛИС, БАТУМ

*Н. Зернов*

Год, проведенный в Грузии, является одним из самых ярких периодов моей жизни. Он был полон незабываемыми переживаниями, его озаряли такие взлеты и угнетали такие страхи и волнения, что смотря на него теперь с почти полувекового расстояния, мне трудно поверить, что все испытанное в Грузии уместилось в двенадцать месяцев.

Наша жизнь в ней совпала с коротким периодом ее самостоятельности. Социал-демократы (меньшевики), которые правили страной, оказались довольно умелыми администраторами. Порядок был ими восстановлен и хотя вокруг Грузии все было охвачено большевистским пожаром, в стране царило сравнительное благополучие. Поэтому с внешней стороны наша жизнь протекала почти нормально — мы могли жить, где мы хотели, никаких документов у нас никто не требовал. Хотя мы еще были на территории бывшей империи, но чувствовали мы себя уже изгнанниками и это подготовило нас к эмиграции. Главное, что отделяло нас от местных жителей, был наш опыт красного террора. Они, не испытав его, не могли понять ни нашего страха вновь очутиться под властью большевиков, ни нашей уверенности в недолговечности их свободы. Большевики не могли допустить существования благоустроенного и независимого государства рядом с нищетой и разрухой, созданными ими. Последние месяцы, проведенные нами в Тифлисе, прошли под знаком неизбежного конца Грузинской свободной республики. Кольцо вокруг нее постепенно сужалось и это неблагоприятно отразилось на ее материальном благополучии. Мы испытали голод в Тифлисе и все агонии умирающего города.

В Грузии мы жили в четырех очень не похожих друг на друга местах и наша жизнь в них была так же отлична. Мы бедствовали в Сураме, процветали в Боржоме, мучились в Тифлисе и прощались с родиной, ютясь в вагоне на запасных путях станции в Батуме.

В Сурам мы попали случайно. Наши попытки пробраться в Тифлис из Мцхет окончились неудачей, зато нам, молодежи, была предложена работа в госпитале в Сураме, куда эвакуи-

ровались раненые и больные, привезенные из Владикавказа. Мы ободрились духом, надеясь вернуться к нормальной жизни. Действительность оказалась совсем иной. В этом маленьком городке в центре Грузии имелся огромный военный госпиталь для солдат, психически пострадавших во время войны. Он находился в самом плачевном состоянии. Грузинское правительство отпускало весьма скудные средства на его содержание, рассматривая его, как обломок рухнувшей империи. Бараки не ремонтировались, доктора и сестры милосердия получали нищенское жалование, пища выдавалась скудная и малосъедобная. Она состояла преимущественно из отвратного супа, варившегося из легких и из красных бобов. Нам отвели пустой барак с протекающей крышей и разрешили получать обед из общего котла. Мы попали нежеланными гостями в этот озлобленный, мрачный и голодный мир. Так началось наше беженское существование.

В Сураме я еще раз столкнулся со странным доктором Каменским. Он и здесь, как на Военно-Грузинской дороге, постарался сделать нашу жизнь еще более трудной, с непонятным упорством он урезывал наши пайки хлеба и отказывался выдавать мое жалование. Это была моя единственная встреча в жизни с человеком, готовым вредить другим без видимой пользы для самого себя. Из-за него моя мать и я должны были съездить в Батум, чтобы добиться восстановления меня в праве получения жалования. Высшее санитарное управление было уже на пароходе, готовом отплыть в Крым, но нам удалось все же получить удовлетворение нашей просьбы. Батум был в то время оккупирован Британскими войсками и они произвели на меня огромное впечатление своей дисциплиной и безукоризненной чистотой своих палаток и обмундирования, Особенно поразили меня индусские солдаты, бородатые с бронзовыми лицами. Британская империя казалась тогда непобедимой владычицей мира, оплотом порядка и монархии.

Эта поездка в Батум была встречей с ярким, красочным отрезком жизни, столь непохожим на наше серое и скудное существование в Сураме. Мы — молодежь, однако, не унывали. У нас была трудная, но и ответственная работа в госпитале, мы нашли многих друзей среди раненых, у нас горела надежда, что в Крыму создается новый и лучший оплот против большевизма и нам удастся скоро туда попасть. Состояние наших родителей было иное, и им было невыносимо тяжело. Без занятий (моего отца не пригласили работать в госпитале), без денег, без знакомых, в голоде и холоде, они тосковали по Ессентукам и их тамошней кипучей деятельности. Только с наступлением весны наше положение стало улучшаться, отец познакомился с местным доктором, который стал приглашать его на консультации. Наладилась связь с Тифлисом. По совету наших знакомых Зданевичей, мы решили снять дачу в Бор-

жоме и открыть там прием больных. Это был для нас большой финансовый риск, но план оказался правильным. Врачебная практика у отца быстро развилась, нашлись состоятельные пансионеры, поселившиеся у нас. Мы зажили почти нормальной жизнью. Наша семья оказалась окруженной друзьями, как нашими сверстниками, так и людьми поколения наших родителей. Не только относительное материальное благополучие делало нашу боржомскую жизнь счастливой; источником ее вдохновения были радужные известия, доходившие к нам из Крыма о начавшемся духовном возрождении там и о рыцарской личности высокого генерала в черной черкеске. Мы мечтали ехать в Крым. Сам Боржом исключительно красив, и мы наслаждались прогулками по его лесистым горам, прорезанным быстро текущей Курой.

Скоро пролетело лето, наступила холодная осень, Боржом опустел, слухи, долетавшие из Крыма, становились все более тревожными, надежда на переезд туда исчезла. Перед нами встал снова вопрос, куда же двигаться дальше ? Единственный выход был Тифлис. Зданевичи пригласили нас поселиться в их квартире, и мы перехали 11 октября в дом № 13 в Кирпичном переулке. [1]

Уехали мы в Тифлис со смешанными чувствами тревоги и надежд. Страшило нас политическое положение Грузии, дни ее независимости, казалось были сочтены. Правда, ходили обнадеживающие слухи, что Англия и Франция помогут демократической маленькой стране; сами Грузины уверяли, что они как один человек будут бороться за свою независимость, но крупные отряды красной армии на границах не давали повода к оптимизму. Что же касается нас, то наш отец, после удачного опыта в Боржоме, хотел открыть грязелечебницу и этим обеспечить наше существование, мы же, молодежь, думали о продолжении нашего образования и предвкушали участие в богослужении в многочисленных церквах столицы.

В начале наши планы стали осуществляться. Была налажена доставка целебной грязи из Ахталы в нашу квартиру. Я был принят на сельскохозяйственный отдел Политехникума (медицинский факультет был на грузинском языке и поэтому доступ мне туда был закрыт). Сестры поступили на курсы французского языка, брат — в гимназию. Наша жизнь, казалось, потекла по нормальному руслу, но в действительности мы очутились в агонизирующем городе и вместе со многими его жителями мы стали идти ко дну, постепенно спускаясь все ниже в жуткую нищету. Жить в умирающем городе — особое, непередаваемое переживание. Город, как человек, борется со

---

[1] Примечание. У Зданевичей было два сына Илья — поэт и Кирилл — художник, его жена Валерия Владимировна Валишевская вышла вторично замуж за Паустовского († 1968).

смертью, но каждый день приносит свежие доказательства угасания жизни: меньше движения на улицах, больше закрытых магазинов, длиннее очереди перед съестными лавками, чаще встречаются люди с печатью изнеможения на лицах. Наша семья оказалась одной из жертв погибающего города. Практика моего отца не развивалась, двое или трое больных, пожелавших брать грязевые ванны, не могли окупить расходов. Скопленные нами за лето бумажные деньги быстро теряли свою ценность. Мы начали ощущать и голод и холод. Наши гостеприимные хозяева тоже стали бедствовать.

Внешне распорядок нашего дня продолжал быть нормальным. Утром мы пили чай, но без сахара и без хлеба, днем обедали, но главное блюдо было — бобы без масла; ужин состоял тоже из каких-нибудь овощей, сваренных на воде. Мясо стало недоступной роскошью, только иногда у нас появлялись маленькие отрезки синей и твердой буйволины. Кроме хронического недоедания мучил всех нас холод. Маленькая печурка не могла согреть промерзших стен квартиры.

Мысли об еде делались все настойчивее. Они вызывали во мне негодование на мою слабость. Я высоко ставил аскетику с ее воздержанием от сна и пищи, но наши молодые организмы не слушались нас и настойчиво требовали питания. Случайные порезы не заживали, пальцы пухли от холода, мучительно было вставать с постели, всякий труд — физический и умственный давался с усилием. Мы все легко раздражались и эта повышенная нервность вызывала частые столкновения по пустякам.

Но не голод и холод были главной причиной страдания, а гнетущая тревога, что мы попали в ловушку и не сможем избежать вторичного пленения у большевиков. Азербайджан и Армения были уже захвачены красными, и после поражения генерала Врангеля, в ноябре 1920, не оставалось сомнения, что такая же участь ожидает и Тифлис.

Мы узнали о падении Крыма 16 ноября, эта весть потрясла нас; последний луч надежды угас, но на этом безотрадном фоне мы были обрадованы известием о чудесном спасении многих тысяч русских, достигших благополучно берегов Турции. Мы надеялись, что среди них были и наши друзья, уехавшие раньше в Крым. Перед нами встал вопрос: есть ли у нас какая-нибудь возможность такого же спасения ?

Единственной связью между Грузией и внешним миром оставались в то время рейсы французского пароходика « Сиркасси », который раз в неделю приходил из Константинополя в Батум. Чтобы попасть на него, нужно было иметь заграничный паспорт, визы и валюту, а всего этого у нас не было и в помине. Главное мы не имели никакой связи с заграницей, мы также не знали никого и среди иностранной колонии в Тифлисе, а без помощи со стороны мы не могли двинуться с

места. Наш месячный бюджет состоял из 10 тысяч рублей, а английский фунт накануне падения Грузии стоил на черном рынке до сорока тысяч ! Рассуждая объективно, у нас не было никакой возможности уехать из Грузии, но мы не теряли надежды. Я жил в великом напряжении духа, почти в постоянной молитве, то окрыляемый верой в возможность чуда спасения, то впадая в уныние от сознания непреодолимых препятствий, стоявших на нашем пути. Мои терзания усугублялись отсутствием понимания родителями трагичности нашего положения. Мне было 22 года, я привык смотреть на отца и мать, как на лиц несущих ответственность за судьбу нашей семьи, но теперь приходилось мне самому брать на себя решенье. Я был уверен, что захват Тифлиса красными приведет рано или поздно к нашей гибели, но мой отец снова, как в Ессентуках, не хотел глядеть в глаза правде и всячески старался убедить себя и всех нас, что наше положение не так безнадежно. Ему было уже 63 года, и мысль о дальнейшем бегстве страшила его. Он продолжал мечтать о возвращении к мирной жизни, говорил о неизбежной эволюции большевиков, о том, что они должны понять, что России нужны честные и самоотверженные труженики. Он верил, что мы вернемся в Москву, и хотел, чтобы я всецело отдался подготовке к возобновлению моего изучения медицины. Я же знал, что это самообман и что прежняя жизнь никогда не восстановится и что мы находились в смертельной опасности, от которой только чудо могло спасти нас.

Мои сестры и я в эти страдные Тифлисские дни жили в церкви в подлинном смысле этого слова. Мы бывали ежедневно на богослужениях, знали всех священников, церковный народ и святыни Тифлиса. Мы не одни горели верою, она пылала ярко в городе, до края переполненном страданием. Тифлис, схваченный в тиски голодом и холодом, светился небесными огнями. Несколько выдающихся священнослужителей окормляли свою страждущую паству. Особенно близок нам был о. Иосиф Орехов. Он излучал вокруг себя тихий свет и любовь. Мы узнали позже, что после второй мировой войны он был освобожден из ссылки и умер епископом Воронежским (14 янв. 1961 г.) .

Кроме русских церквей, столица Грузии имела ряд и своих древних храмов, включая величественный Сионский собор. Для нас была полная неожиданность отличие грузинского благочестия от русского, которое мы до тех пор считали единственным подлинным православием. Еще более непривычные формы церковной жизни мы нашли у армян. Открытые алтари, оригинальное, очень мелодичное пение, красочные восточные облачения — все это привлекло наше внимание. Несколько раз мы были в церкви женского монастыря, там в богослужении участвовали дьякониссы. Они имели великолепные облачения, на головах у них были белые покрывала, спускавшиеся до

края их риз. Они, как дьяконы, выносили Святую Чашу для причастия. Их пример убедил меня, что женщины могут успешно принимать участие в литургическом богослужении.

Армянские церкви были полны сравнительно благополучно выглядевшими молящимися, но русские церкви отличались обилием юродивых, нищих, стариков и старух, людьми, окончательно выбитыми из обычной жизни. Бедность и горе вокруг них не поддавались описанию. Мои сестры, горя верою, не боялись встречи с нищетой и старались помочь этим обломкам крушения.

Несмотря на нашу бедность и на крайность взглядов нас — молодежи, наша квартира в Тифлисе продолжала быть местом встречи разнообразных и интересных лиц. Сыновья наших хозяев были футуристы, Кирилл — художник, Илья — поэт. У них собирались их единомышленники — молодежь радикальных настроений; я относился весьма критически к их взглядам, считая их лишь иной версией безбожного коммунизма. Кирилл Зданевич собирал картины тогда никому не известного грузинского самородка Нико Пиросманишвили (1862-1918) и все наши комнаты были увешаны его произведениями [2]. Редко вечер проходил у нас без гостей. Иногда и мы ходили в дома наших более обеспеченных знакомых. Скромные угощения, предлагавшиеся там, как, например, бутерброды с колбасой, казались нам верхом гурманства. Наши разговоры обычно касались России и ее будущего. Наши рассказы о большевиках почти всегда слушались с недоверием. Мы были выходцы из другого мира. У меня появились друзья среди студентов сельско-хозяйственного института. Один из них, Николай Сергеевич Херасков, был ярый толстовец. Мы с ним вели горячие споры, стараясь обратить друг друга в свою веру. Я чувствовал себя сильнее, так как имел за собою опыт коммунизма, о котором мой приятель ничего еще не знал. Он был представитель той провинциальной интеллигенции, с которой я раньше не встречался. Другим моим другом был Борис Алексеевич Гиевский. Он и его две сестры обладали исключительной религиозной одаренностью, подобно которой, позднее, я нигде не наблюдал. В это же время я пытался вернуть в церковь друга нашего отца — Александра Аполлоновича Мануйлова (1861-1929), бывшего ректора московского университета и министра просвещения во Временном Правительстве. Он был выдающийся представитель либеральной интеллигенции и, как многие другие, трагически переживал крушение своих надежд. Он охотно разговаривал с нами на религиозные темы, ему, видимо, было интересно встретиться с молодежью, так всецело

---

2 Примечание. Кирилл Зданевич был впоследствии арестован и сослан большевиками, а его коллекция была конфискована советской властью.

живущей церковью. Он поражал меня своим умом, своей широкой образованностью, но и своей бескрылостью.

Совсем другие отношения установились у меня с Александром Викторовичем Ельчаниновым (1881-1934) [3]. Он был близок с о. Павлом Флоренским (1882-1943) и с Владимиром Францовичем Эрном (1881-1915). Эти три друга были исключительно даровитыми людьми, а Флоренский был гений, способный творить в самых различных областях, как математика, техника, искусство, филология, философия и богословие. Его ссылка и смерть в концентрационном лагере лишили Россию плодов его исключительных дарований.

Знакомство с Ельчаниновым ввело меня в мир того религиозного возрождения, которое началось в столицах в начале столетия. Сам Александр Викторович был одно время секретарем религиозно-философского общества имени Владимира Соловьева в Москве. Когда мы его встретили, он преподавал словесность в гимназии Левандовского, в которой училась моя будущая жена Милица Владимировна Лаврова. Он произвел на нас глубокое впечатление, но мне не было легко найти правильное отношение к тому мировоззрению, которое он олицетворял. Я был увлечен писателями, которые с подозрением смотрели на религиозное возрождение и отождествляли православие с мистикой, отрицавшей ценность культуры. Эти мои колебания отразились в моем дневнике. Второго февраля 1921 года я писал: « Очень важное знакомство с Ельчаниновым, он связывает меня после трехлетнего перерыва с тем московским религиозно-философским и поэтическим направлением, к которому я и шел и от которого уходил в те годы. Теперь я пожалуй совсем ушел от него, но я не знаю — не нужно ли мне туда еще раз вернуться ».

У Александра Викторовича была замечательная библиотека; в ней были все те книги, которые я не успел прочесть в Москве. После моего первого посещения его дома, я унес с собою « Столп и Утверждение Истины » Флоренского, книгу, сыгравшую большую роль в моей жизни. До сих пор я читал или творения святых отцов или русских аскетических писателей, как Феофана Затворника (1815-94) или Святителя Игнатия Брянчанинова (1807-67). Увлекались мы также такими авторами, как Поселянин или Сергий Нилус. Флоренский

---

[3] Примечание. А. В. Ельчанинову удалось покинуть Грузию в 1921 году. Он поселился с семьей на юге Франции, где занимался педагогической деятельностью. В 1926 году он принял священство и приобрел известность как выдающийся духовный руководитель, в особенности молодежи. Он принимал большое участие в работе Рус. Студ. Христианского Движения. После его преждевременной смерти его жена издала записи его мыслей и наблюдений.

« Записи Свящ. А. Ельчанинова ». Париж. 1935 и 1962. Немецкий пер. 1964. Английский пер. 1967.

ввел меня в иной мир высокой культуры и творческого подхода к церковной традиции. Несмотря на мой консерватизм и подозрительное отношение ко всему, что исходило от интеллигенции, я был покорен им.

4 февраля 1921 года я писал: « Я нахожу в Столпе и Утверждении Истины удивительные жемчужины. Но я не могу постичь всей глубины книги. Там, где начинается философия, я отступаю ».

В то же время мы познакомились с замечательной женщиной — Елизаветой Юрьевной Скобцовой (1891-1945) [4] впоследствии ставшей монахиней Марией. Она была поэтессой, богословом и общественной деятельницей. Принадлежала она тогда к социалистам-революционерам и в первое наше знакомство была отвергнута мною самым решительным образом, как активная революционерка. Оценил я ее необычайные дарования уже в Константинополе, где мы снова встретились.

Мой дневник того времени полон наивных признаний и юношеской нетерпимости. Но через все рассуждения о нашей судьбе, о безвыходности положения пробивается одно ясно осознанное убеждение, что в нашей вере мы нашли такое сокровище, которое дороже всех других ценностей. Так 16 декабря я писал: « У нас не действует электричество, прекратилась вода в водопроводе, кончились дрова, и нам не на что их купить, но у нас есть вера и она лучше всех земных благ ».

Так же ясно было для меня, что у нас не могло быть ни согласия, ни примирения с коммунизмом. В тот же день я писал: « Многие пугают нас нищетой и унижением в изгнании, но ко всему можно привыкнуть. Единственный подлинный ужас это большевизм ». Никакой труд и никакие материальные лишения не страшили нас, мы не могли примириться с потерей духовной свободы и подчинением тирании безбожной власти.

Так мы жили — раздираемые страхом, согреваемые любовью, окрыляемые надеждой и твердо веря в Промысел Божий.

---

4 Примечание. Е. Ю. Скобцова сыграла большую роль в жизни русской эмиграции. Она приняла монашество с именем Марии в 1932 году и отдала себя кипучей церковнообщественной работе. Одно время она была секретарем Рус. Студ. Христ. Движения. Она так же основала общество « Православное Дело ». Погибла она в немецком лагере, сосланная туда за свою помощь евреям.

Ею были изданы следующие книги: Жатва Духа 1 и 2 том. Париж. 1927. А. Хомяков. Париж. 1929. Владимир Соловьев. Париж 1929. Достоевский и Современность. Париж. 1929. Мать Мария. Биография и стихи. 1947. Стихи. Париж. 1949. Об этой выдающейся правосланой подвижнице вышло две книги на английском языке. Stratton Smith. The Rebel Nun. London 1965; Sergei Hackel. One, of great Price. London 1965.

ПЯТАЯ ГЛАВА

## ГОСПИТАЛЬ В СУРАМЕ

*С. Зернова*

Мы остались жить в Мцхете. Вокруг была дикая красота Грузии, громадные серые горы, старинные монастыри и развалины церквей. Мы много гуляли, на целые дни уходили в окрестные монастыри, я писала дневник и вновь переживала прошедшие дни. Мы жили в полной неопределенности, сведения из России приходили редко, они были сумбурны и разноречивы. « Союзнический дессант », которого все так ждали, как будто откладывался . . . Мой отец написал в разные медицинские центры Грузии и ждал ответов, ответы не приходили. Наконец, после долгих размышлений и обсуждений, было решено, что мы поедем в маленький городок Сурам, куда была эвакуирована часть отступавших с нами раненых и где мои братья, сестра и я могли бы работать в госпитале.

Мы выехали из Мцхета рано утром, простившись с друзьями, которых успели приобрести за эти дни. Днем мы уже были в Сураме. Наш приезд туда был очень грустный. Госпиталь находился за городом, в убежище для умалишенных. Там на большой поляне было расположено несколько старых деревянных бараков, где были размещены раненые, на другом участке, на некотором расстоянии друг от друга, стояли маленькие сарайчики, наскоро сколоченные из досок, — они предназначались для буйных. Один из таких сарайчиков, в две маленькие комнаты (если можно было их назвать комнатами) был отведен для нас. Такого убежища никто из нас не ожидал. Но когда нет выбора — приходится принимать все молча. Так приняли эту новую жизнь и мы, хотя я видела, как тяжело это было моим родителям.

Я так хорошо помню день нашего приезда в Сурам. Была весна, небо было высокое и безоблачное. Мой старший брат сразу же побежал все обследовать, я решила остаться дома и быть с моей матерью. Мы разложили вещи, расставили узкие деревянные кровати и сидели с ней на большом камне, у входа в наш сарайчик. Солнце уже спускалось, вокруг была тишина; мне не хотелось ни о чем думать, хотелось сидеть так рядом с моей матерью, молча понимать всю безвыходность нашего

положения и находить силы в любви, в спаянности и крепости нашей семьи.

Потом вернулся мой брат. Он был оживленный и веселый.

« Соня », сказал он, « идем скорей со мной, тебя, оказывается, тут знают и очень ждут, особенно ждут тебя двое, очень милые, я обещал им сразу тебя привести; они говорят, что ты тоже их знаешь и что ты их вспомнишь, если я скажу, что у них была повозка с белым крестом ».

« Ты их знаешь ? », спросила моя мать.

« Да, знаю ».

« Ты хочешь сразу к ним пойти ? »

« Да, если можно ».

« Иди, конечно ». И я пошла к ним.

Они лежали в длинном досчатом бараке, как всегда рядом. Они ждали меня и оба напряженно смотрели на дверь. Я стояла перед ними смущенная и счастливая. Около их кровати на ящике стоял букет фиалок; они сказали, что собрали эти цветы для меня в лесу, ночью.

« Но вы ведь не можете встать, как же вы уходите в лес ? »

« Это ничего », ответили они, « мы каждую ночь улетаем в лес на коврах-самолетах . . . »

Я слушала их и хотела верить их сказкам. Потом я просила их рассказать мне об их жизни, о докторах, об условиях, в которых находились все больные, но они не хотели, они говорили, что мало что изменилось, что докторов нет, но без них и лучше, что я сама увижу все.

Со следующего дня я начала работать. Мне поручили два главных барака, соединенные узенькой галерейкой. В этой галерейке стояло мое кресло и оттуда я могла видеть и слышать все. Но я редко оставалась там, сестер и санитаров было мало. Я, как и раньше, жила не останавливаясь, в постоянном движении от одной кровати к другой, стараясь отозваться на каждый зов; как и раньше я давала соду вместо морфия, и больные верили, и им казалось, что у них утихает боль. Только мои друзья с « белым крестом » никогда не просили моей помощи, за ними ухаживал фельдфебель Вавилин. Его поставили на работу в кухню, но он постоянно прибегал к своим «господам».

Каждое утро я подходила к ним на несколько минут и они рассказывали мне про свои « ночные приключения », они уводили меня в мир чудес, и я ждала этих минут и хваталась за них. Вероятно, нам троим нужны были эти фантазии, они отрывали нас от действительности. А она была суровой. Бараки были грязные, больные, сыпнотифозные и тяжело раненые лежали все вместе, без лекарств, без белья и перевязочного материала, при госпитале не было операционного зала, раненые были засыпаны вшами, и не было ничего, чтобы сделать дезинфекцию. Кормили нас кукурузными лепешками и несъедобным буйволиным мясом и не к кому было обратиться за помощью.

Для меня самым мучительным было возвращаться поздно вечером в наш сарайчик, ложиться на деревянную кровать, покрываться тяжелым, жестким и негреющим одеялом и мучительно ждать — не поползет ли по тебе какое-нибудь насекомое, несущее, может быть, « сыпняк » и во всяком случае — бессонную ночь. Кроме этого, была еще одна мучительная сторона нашего существования, это — наши соседи. В окрестных сарайчиках были заперты буйные сумасшедшие, каждый день их выпускали на прогулку, они бродили вокруг, мрачные, небритые, в полосатых халатах, и с любопытством заглядывали, через щели, в наши комнаты. За этими больными должен был следить санитар, но почему-то этого санитара никогда не было, и мы жили под постоянным страхом их буйных припадков и диких выходок.

Однажды, после ночного дежурства, я провела утро дома и только после полдня возвращалась на работу. Был весенний, теплый, солнечный день. Я шла вдоль зеленых лужаек и чувствовала свою молодость и то особенное счастье, которое заполняет нас, когда нам 20 лет, когда вокруг цветет весна и когда мы знаем, что мы кому-то нужны.

Вдруг, позади себя я услыхала топот коня. Это был всадник в военной форме. Поравнявшись со мной, он остановился. Он был смуглый, молодой, грузинского типа, с культурным и мужественным лицом. Вероятно, он хотел спросить у меня дорогу, но, увидав меня, он не сразу начал говорить. Он смотрел на меня внимательно и удивленно, как будто рассматривая меня и обдумывая что-то. Я была смущена. Его лошадь преграждала мне путь и я не знала, как уйти.

« Подождите, не уходите », сказал он. « Где вы живете ? Откуда Вы ? »

« Мы здесь живем », сказала я.

« Как здесь ? Как Вы можете жить здесь ? Здесь дом для умалишенных ». Я опять попыталась уйти, но его лошадь опять преградила мне путь.

« Подождите, не уходите » сказал он, « Вы не знаете здесь Доктора Зернова ? я его ищу ».

« Я его дочь », сказала я и показала ему дорогу к нашему сарайчику. Он хотел, чтобы я пошла с ним, но я не пошла. Он приложил руку к папахе и повернул коня.

Мне не хотелось вечером возвращаться домой. Я вернулась поздно. Моя мать сказала мне, что у нас был гость и что он опять приедет на следующий день, и она просила меня быть дома. Он был военный врач — полу-грузин, полу-русский — он занимал большой пост в Сураме, его мать была старинной пациенткой моего отца; она случайно узнала, что в Сурам приехал доктор Зернов и послала своего сына разыскивать нас. Он предложил нам переехать в их поместье, в город. Они предоставляли нам целый дом, и он настаивал, чтобы мы переехали

как можно скорей. Я сказала, что у нас не хватает сестер и что я должна остаться работать в госпитале, но он не уступал.

На следующий день он сделал инспекцию всех бараков и заявил, что переведет всех хирургических больных в городскую больницу, тогда я смогла бы продолжать мою работу, но он не соглашался отложить наш отъезд, он не мог допустить, чтобы мы жили в таких условиях в « его » стране. На следующий день мы переехали в их поместье.

Наш новый дом стоял на холме, в большом саду, уходящем в лес. В том же саду, во флигеле, жил доктор А. Д. Шалыгин и его мать. Они оба окружили нас вниманием и заботой, слишком большим вниманием и слишком большой заботой; это волновало мою мать, она знала опасность такого внимания, когда в семье 20-летняя дочь . . .

Наконец наступил день, которого я так ждала. Все раненые были переведены в городскую больницу. Это было большое, каменное здание, с отдельными комнатами и с специально инсталлированным операционным залом. Сразу за госпиталем начинались поля, а с другой стороны был лес, через который вела дорога к нашему дому.

Доктор Шалыгин пришел сказать мне, что я назначена главной « операционной сестрой ». С какой радостью я подходила к этому зданию. В моей новой работе, в операционной, я иногда подавала инструменты, но чаще всего давала наркоз. В госпитале никто ничего не умел делать, я всему училась дома, по книжке, спрашивая указаний у моего отца. Вместо хирурга оперировал студент 5-го курса, нам было приказано называть его доктором. Я считалась опытной и знающей сестрой. Моя сестра и два брата работали там же, моя сестра — тоже сестрой, один мой брат — фельдшером, другой санитаром, ему было всего 16 лет.

Когда не было операций, я просиживала часами в операционной, стерилизуя материал и приготавливая инструменты, или поднималась в верхние этажи к ампутированым или только что оперированым; они радовались каждому, кто к ним приходил; я не уставала слушать их рассказы об их доме и семье. Я теперь редко видела моих друзей с « белым крестом », и они больше не рассказывали мне сказки.

Однажды оперировали одного из раненых, которого я особенно хорошо знала; он волновался перед операцией, ему казалось, что он умрет, что больше не увидит свою семью, свой родной город и Волгу. Я успокаивала его, как могла, он был рад, что я, а не кто-нибудь другой давал ему наркоз. Я положила маску на его лицо и просила его считать. Наш « доктор » был нетерпеливый и раздражительный, он знал, что больные и сестры ему не доверяют и, вероятно, чувствовал, что к этому раненому я отношусь с большой заботой.

« Спит больной ? », спросил он резко.

« Нет, не спит ».

« Лейте хлороформ, мне некогда ждать ».

Я медленно, капля по капле, наливала на маску сладковато и дурманно пахнущую жидкость, мне было все равно; доктор сердился и грозился вырвать у меня бутылку и вылить весь хлороформ сразу, но я не уступала, я знала, что он не посмеет это сделать, — он так сделал один раз, больной заснул, и я не знаю, удалось ли его разбудить. Мой раненый продолжал считать, постепенно путая цифры и впадая в крепкий и спокойный сон. Я держала его голову, не давая запасть языку, я открывала ему веки, чтобы наблюдать не расширен ли у него зрачок и не отравляет ли его хлороформ, я следила за его пульсом. Скоро я стала считаться специалисткой по наркозу. Я изучила каждую деталь в этой области, но мои главные знания заключались в моей интуиции. Я интуитивно ощущала каждого человека, которому я клала маску на лицо. Доктор мог кричать, мог давать мне указания, я его не слушала, я — знала, что надо было делать, и мои пациенты спокойно засыпали и спокойно просыпались после операции. Так спокойно проснулся и тот больной, его предчувствия обманули его, он не умер. Я встретила его много лет спустя, его жизнь была тяжела и беспросветна; он не увидел ни свою семью, ни любимый город, ни Волгу.

Каждый день, я рассказывала моему отцу о всех моих больных и спрашивала его совета. Один раз « доктор » остановил меня, когда я уже уходила и спросил — откуда у меня такой опыт. Я сказала ему про моего отца. С этого для он совсем переменился ко мне и во всех тяжелых случаях, когда он не знал как поступить, он просил меня переговорить с моим отцом.

Раз к нам в госпиталь привезли старика грузина с надрезанным горлом, у него была сложная болезнь, причиняющая ему страшные муки, и он решил покончить жизнь самоубийством и надрезал себе горло кухонным ножем. Он корчился от боли, кричал что-то по-грузински и умолял его убить. У него был страшный вид. Доктор бился с ним полтора часа, но так и не смог ему помочь. Тогда, прямо из операционной, он просил меня бежать к моему отцу и спросить у него, что надо делать.

Я бежала через лес, стараясь забыть страшный образ старика. Мне кажется сейчас, что у меня не было к нему сострадания, был только ужас и желание не знать и не видеть этой страшной стороны жизни. « Этого я не могу принять, думала я, у меня нет достаточно любви; человек не может быть создан таким, я не хочу знать этого уродства . . . »

Я бежала по лесу, зеленому, свежему, душистому, вырвавшись из наполненного испарениями, кровью и криками жили-

ща человека. Я бежала и несла в себе ужас образа этого старика.

Мой отец был дома. Я так помню его спокойное, полное доброты лицо. Он сразу сказал мне, что надо было сделать, я бежала обратно, опять через лес, по той же дороге, поворачивая в знакомые тропинки. « Если это ему поможет, думала я, — я забуду сразу этого старика и никогда в жизни его не вспомню таким, как я его видела, лежащим на столе, в корчах от боли, с перерезанным горлом . . . » Совет моего отца помог сразу, ему сделали впрыскивание и через какие-нибудь 20 минут старик лежал спокойный и счастливый, и « доктор », не стесняясь, с изумляющим меня цинизмом, хвастливо рассказывал, как он спас жизнь своего пациента.

Так проходила моя жизнь: с утра госпиталь, вечером — наш дом, наша семья.

Однажды утром мы пошли с моими братьями и сестрой в старинную грузинскую часовню, в соседней от нас деревне. Там был престольный праздник и туда собирался отовсюду народ. С каким внутренним трепетом я входила в прохладный полумрак этой старой церкви. Есть поверье, что если в первый раз приходишь в церковь на престольный праздник, то все, о чем мы горячо помолимся — Бог услышит и исполнит. Бог, конечно, всегда все слышит, о чем мы горячо молимся, но мы прислушивались ко всем этим поверьям и принимали их.

Темная часовня, протяжное восточное пение и празднично настроенный народ наполнили мне душу тишиной и радостью. Мы возвращались домой бодрые и веселые, вспоминали наших друзей в Ессентуках, говорили о вере, о неизвестном будущем, о судьбе России и, как всегда, о Крыме. Туда должны были скоро перевезти всех раненых, и перед нами вставал вопрос — поедем ли мы с ними или останемся в Грузии.

После долгих обсуждений и по совету наших друзей мы решили нанять дом в Боржоме и брать пансионеров. Для меня было большим горем расставаться с моими друзьями — ранеными.

Мы уезжали в 5 утра. Было ясное, тихое утро. Нас провожал доктор Шальгин и мой брат. Через два дня они должны были приехать к нам в Боржом.

Однажды, в Боржоме, когда мы ушли гулять в лес, я спросила моего брата, что он делал в то утро, после того как он проводил нас.

« Я пошел в госпиталь », сказал он.

« Но так рано, все еще спали ».

« Нет », сказал он, « так странно, в саду на скамейке сидел один из раненых, один из твоих друзей, из повозки с « белым крестом », я спросил его — почему он так рано встал, он сказал, что хотел слышать свисток поезда, увозящего тебя . . . »

ШЕСТАЯ ГЛАВА

## НАШИ ДРУЗЬЯ В БОРЖОМЕ

*С. Зернова*

Боржом, полный громадных, величественных, сказочных лесов, в них почва покрыта мягким, зеленым мохом, в котором тонет нога, а сосны и ели и буки как будто касаются неба. Иногда мы находили на стволах деревьев маленькие, вырезанные крестики и они приводили нас к развалинам монастырей или пещер, где жили когда-то отшельники. Мы уходили в эти леса и бродили часами, мечтая о будущем, вспоминая нашу жизнь в России и тоскуя о ней. Особенно часто я уходила в лес с моей сестрой, мы лежали на зеленых полянах, окруженные соснами и елями, смотря в глубину бездонного неба, живя нашей дружбой и захватывающей нас мечтой. Эта мечта была — Крым. Там Россия боролась за свою свободу и честь, и нам казалось, что наше место там — может быть, в безнадежной, но героической борьбе. О чем только не переговорили мы с ней в эти долгие прогулки по лесам, вокруг Боржома . . .

Мы нанимали в городе довольно большой дом. Я помогала моей матери вести хозяйство и заботилась о больных. Среди них был один еврей Ефим Моисеевич Дубсон, с ним мы особенно подружились, он был одинокий, средних лет и всегда был благодарен, если мы разговаривали с ним и интересовались его жизнью. Один раз, это было вечером, была сильная гроза, мы все собрались на крытой террасе, разговор сперва, как всегда, зашел о России, о будущем мира, о судьбе всех нас, оставшихся в Грузии, потом мы перешли на религиозные темы. Мы говорили о Боге, о силе веры, о чудесах и о реальности темной силы. Хотя Ефим Моисеевич смеялся и уверял, что он ни в Бога ни в черта не верит, но мы чувствовали, что у него была бессознательная тоска о Боге; он сам все время возвращался к этим темам и это особенно сближало нас с ним. « Ваши дети, говорил он моей матери, это бриллианты в 30 каратов ». Мы смеялись над этой характеристикой, считая ее типичной для такого делового человека, каким был Ефим Моисеевич, но сами тоже искренно любили и ценили его. Мы также любили другую нашу пансионерку евреечку Ривочку. Она была болезненное, некрасивое и несчастное существо, она горячо привяза-

лась к нам, и наша дружба с нею и с Ефимом Моисеевичем давала нам тепло и радость.

Однажды мы узнали, что в Боржом приехали на отдых из Тифлиса артисты Художественного театра и для нас это была громадная радость. На следующий же день они пришли к нам. Они нам обрадовались, так же как и мы им. Мы бывали у них, вместе ходили на прогулки и жадно слушали их рассказы, их воспоминания и их идеи о театре. Особенно мы подружились с О. Л. Книппер. Один раз Ольга Леонардовна попросила меня и мою сестру показать ей развалины, где жили отшельники. Мы ушли в лес, разыскивая деревья, на которых были вырезаны кресты и стрелки, и наконец, после долгих поисков добрели до нашей цели. Это было что-то вроде каменной пещеры, с отдельными кельями, с небольшими отверстиями вместо окон. Вокруг была тишина и величие леса. Мы долго молча сидели там и, мне казалось, что молитва неизвестных отшельников, как небесный свод, окружает эти развалины.

Ольга Леонардовна встала первая: « пойдемте, девочки, уже поздно », сказала она. Действительно было поздно. Мы не заметили, как пролетело время. Очень скоро наступил вечер и, сразу за ним — полная тьма. Мы шли, едва различая деревья и не зная точно в какую сторону идти. Страх Ольги Леонардовны передался и нам. Мы боялись, что потеряли направление и, может быть, погружаемся в глубину леса и тогда, даже утром, не сможем найти пути.

Мы шли наугад и очень долго. Вдруг вдали мелькнул и скрылся огонек. Мы боялись верить нашему счастью. За ним показался другой, третий, и через несколько минут мы увидали внизу перед собой, весь Боржом, светящийся огнями. Мы взялись за руки, Ольга Леонардовна опиралась на нас и мы вели ее вниз, по тропинке, счастливые и веселые.

Этот случай еще больше сбизил нас с ней. Она смотрела на нас своими блестящими, черными глазами и, встречая нас, брала за руку и хотела чтобы мы шли рядом с ней, как будто было что-то, что знали только она и мы и что связывало нас крепко и таинственно.

Встречались мы почти каждый день, и каждая встреча с ними была для нас источником вдохновения. Но тоской, мечтой и зовом был Крым.

Вторым нашим другом стала М. Н. Германова. С ней приехал Шахид Сураварди — ее верный спутник и ценитель ее таланта и ее красоты. Его мы знали по Ессентукам, и мы встретились с ним, как с братом. Мария Николаевна слыхала о нас от него, мы же всегда мечтали увидать ее и с нетерпением ждали дня нашего знакомства.

Она, наконец, пришла лечиться к моему отцу, я открыла ей дверь. « Кто Вы ?, — спросила она, протягивая мне руку, — Соня или Маня ? »

« Я — Соня », сказала я.

« Мне кажется, мы уже друзья, ответила она, я так много о Вас слыхала от Сураварди ».

Эти слова сразу покорили меня. Быть другом с Марией Николаевной Германовой, видеть ее, слушать ее, знать, что она принадлежит Художественному Театру — самому прекрасному театру, все это наполняло мое сердце таким вдохновением, таким счастьем ! С ней и с Сураварди мы тоже встречались почти каждый день. Особенно я помню один случай: Мария Николаевна пригласила мою сестру и меня к себе. Мы сидели на большой белой террасе дворца Вел. Князя Николая Михайловича (1859-1919), который был предоставлен им для жизни в Боржоме. Был тихий вечер. Небо было все золотое от закатных лучей солнца. Мария Николаевна сидела в лонгшез, у ее ног, на каком-то коврике — ее верный индус Сураварди. « Сурс », говорила она своим певучим, грудным голосом, « расскажите нам что-нибудь, расскажите какими Вы нас видите; если верить в перевоплощение душ, — кем мы были ? Вы все знаете, Сурс ».

И Шахид, наклонив немного голову, с таинственной, ласковой и грустной ульбкой говорил: « Я вижу Вас, Мария Николаевна, Вы прекрасная царица, я вижу Вас в пустыне, окруженную рабами и рабынями, они несут над Вами золотой балдахин, а вокруг бесконечная, знойная пустыня и пески, и пески. И вдруг на Вашем пути Вы встречаете оазис, и в том оазисе два тонкие, молодые дерева, на одном из них белые, а на другом — розовые цветы, эти деревья — это Соня и Маня . . . Вы наклоняетесь к ним и уходите дальше, а перед Вами опять пустыня, без конца и без границ ».

« Подождите, подождите, Сурс, перебивает его Мария Николаевна, — а где же Вы ? »

« Я — Ваш верблюд », смотря на нее преданными глазами, говорит Шахид.

Мы сидим и слушаем и ловим каждое их слово, каждое выражение их лица и живем ими. Все это молодость, все это вдохновение молодости. Прошло 15 лет. Я гостила у моей сестры в Женеве. В Париже я основала благотворительное общество, которое старалось устраивать на работу русских беженцев. Мне сказали, что в одном из лучших отелей Женевы остановился Пакистанский министр, который ищет русских молодых людей, желающих поехать в Пакистан преподавать в университете русский язык. Я решила пойти к нему. Он меня не принял. Он был слишком « важный », чтобы принять неизвестную ему русскую беженку. Я это ожидала, но все же решила попросить передать ему мою карточку, на которой я написала цель моего посещения.

И вдруг я вижу, бежит по лестнице и кидается меня обнимать и целовать Шахид Сураварди — Пакистанский министр . . . .

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

# ЦЕРКВИ СТОЛИЦЫ ГРУЗИИ

*С. Зернова*

Тифлис — это очаровательный город. Для меня в 1920 году он был городом, полным церквей. Как часто мы бродили там по улицам, выискивая церкви. Мы входили в каждую из них, погружаясь в ее полумрак, и в каждой из них видели новый, прекрасный дом Божий. Мне казалось, что я смотрю на Тифлис как бы с высокого холма и вижу все церкви, и что, сколько церквей в нем, столько веревочек, связующих город с небом. . .

Грузия в то время была, как маленький остров, посреди бушующего океана. Что могло ее спасти ? Окруженная со всех сторон « красной » Россией, она пыталась убедить себя и других, что она « независимая Грузинская Республика » со своей культурой, своей армией, своим языком. Она старалась ввести этот язык, требуя от всех его изучения. Тогда и мы, как и все, покорно купили грузинские учебники. Мой младший брат поступил в гимназию и как будто начал что-то понимать по-грузински. Все же остальные не делали никаких видимых успехов. Эрти, ори, генацвалэ, шени-чиримэ, — это, кажется, все, что мы твердо знали.

Нам всем было ясно, что дни Грузии сочтены, и все же и мы жили какой-то безумной надеждой на спасение. Некоторые грузины еще верили в « союзников »; у союзников были посольства и консульства в Тифлисе, и им казалось, что союзникам нужна независимая Грузия, и что они будут защищать ее.

Зима была холодная. У нас не было отопления. В моей комнате вода в кувшине за ночь превращалась в крепкий лед. Продукты было трудно достать, и главное, — не было денег. Мы жили у друзей, пациентов моего отца. Я помню вечера. Все молча сходились в холодную столовую, тускло горела коптилка, на столе перед каждой тарелкой лежал маленький кусочек мокрого кукурузного хлеба. Хозяйка дома (Валентина Кирилловна Зданевич), небольшого роста, в пенсне, с длинным черным шнурком через ухо, аккуратно распределяла каждому его порцию супа из красной фасоли. Все ели молча, не смотря друг на друга. Все были голодные. Голодным тоже быть стыдно. Это понять может только тот, кто сам голодал. Но самое

странное это то, что мне и сейчас стыдно об этом вспоминать, не хочется писать об этом... Но все это не было главным, главное была наша напряженная духовная жизнь. Во всех церквах ежедневно бывала служба, и туда приходил и молился народ. В церкви мы все друг друга знали, и молиться было легко, потому что если твоя молитва оскудевала, то молитва того, кто стоял рядом, поднимала и несла твою. Мы все были как одно большое братство — церковный народ. Мы знали счастье молитвы, то особое чувство благодати, которое посылается нам иногда. Я не знаю, почему и когда оно приходит, но вероятно каждый, кто верит и молится, испытал когда-нибудь в своей жизни эту благодать. Бог посылает ее как дар с неба, как драгоценный, но редкий дар. Тогда же, в Тифлисе, это было почти все время, и поэтому все испытания нам были легки.

В церкви нам давали адреса больных и нищих. Если мы сами были голодны и если у нас не было денег, то другим было еще хуже, другие были настоящие нищие. Я помню квартиры, чердаки, подвалы, куда мы ходили, почти всегда, вдвоем с моей сестрой. Иногда мы приносили им немного хлеба, если могли достать; иногда просто приходили, чтобы сказать, что о них знают и постараются помочь. Почти всюду нас принимали так радостно, что потом весь день я несла в сердце счастье от встречи с этими людьми. Но иногда нищета и горе были безысходными, и мне и сейчас страшно о них вспоминать.

В ту зиму у меня было много необычайных встреч. Однажды на улице меня остановил Ефим Моисеевич, живший у нас летом. Он обрадовался мне, сказав что давно ищет нас в Тифлисе.

Он был болен и через несколько дней должен был ложиться на операцию. Но у него была другая забота. « Вы помните, — сказал он, — когда я жил у вас в Боржоме, один раз вечером мы говорили на разные темы, на высокие темы о разной философии, о религии, — и потом Вы спросили меня: « А Вы в Бога верите ? » Я сказал: « Кто Его видел — Бога ? », Вы ничего не ответили, а потом опять спросили: « А в черта верите ?» Я стал смеяться и говорил, что Бог еще, может быть, и есть, а черт только в сказках, а Вы сказали: « Вы не смейтесь, он у Вас на плече сидит... » И вот с того самого дня у меня на плече какая-то странная тяжесть, как будто прилипло что-то, и не покидает ни ночью, ни днем ». И он просил помолиться о нем и просил дать ему наш адрес и обещал, если останется жив, прийти и что-то в а ж н о е нам рассказать.

И мы все молились за него, и я чувствовала мою вину перед ним, что так ему сказала. Скоро он пришел к нам. Операция его прошла хорошо, он был веселый и счастливый и рассказал то, что обещал. Когда он был маленьким мальчиком, он был тяжело болен, надежды на выздоровление не было никакой. Его

отец и мать покрыли ему лицо платком и ушли, чтобы не видеть как он будет умирать. Но у него была русская нянюшка, она пожалела его и послала телеграмму о. Иоанну Кронштадтскому. Через несколько часов пришла ответная телеграмма: « Молюсь, веруй, будет жить ». Нянюшка показала телеграмму его мамаше и они побежали к мальчику. Он сидел на своей кроватке, был веселый и совсем здоровый. На нас всех этот рассказ произвел большое впечатление, и мой брат сказал ему, что ему надо креститься. Но Ефим Моисеевич только руками махал: « Молчите, молчите, не сейчас, может быть потом, но это сейчас невозможно. Уеду в Харбин, там увижу; я ведь знаю, что надо. Спасибо, что молились . . . , а тот « черный » ушел с моего плеча . . . только бы не вернулся опять . . . », говорил он.

Мы долго потом за него молились, тогда это было так просто; теперь молишься только за своих близких, или иногда за тех, чье имя вдруг зазвучит в сердце . . .

В Тифлисе была одна церковь за городом, в предместье « Дидубэ », в ней была чудотворная икона Божьей Матери. Об этом храме было поверье, что если приходить в него в течение семи понедельников и о чем нибудь специально молиться, а потом обходить три раза вокруг церкви с этой молитвой, — то молитва будет услышана. Я так люблю эти поверья, и верю им.

Каждый понедельник по холодным и темным улицам Тифлиса мы шли через весь город в эту маленькую церковь, чтобы там у прекрасной, старинной иконы стоять и молиться, погружаясь в благодать, покой и тишину. Я никогда не забуду лица людей, которых мы встречали там, не забуду их глаз, устремленных на икону с упованием и надеждой. Некоторые из них, проползали на коленях длинный путь вокруг церкви.

Я просила у Божией Матери спасти нас от рук коммунистов, не дать нам опять попасть к ним . . . [1]

---

[1] Примечание. ПОСВЯЩЕНИЕ, НАПИСАННОЕ СОФИЕЙ ЗЕРНОВОЙ НА ЕВАНГЕЛИИ, ПОДАРЕННОМ ЕЮ СВОЕЙ СЕСТРЕ МАРИИ В ТИФЛИСЕ В НОЯБРЕ 1920 г. Моей дорогой сестре Мане в память семи понедельников, когда мы с трепетом и радостью ходили с тобою в Дидубэ.

Маня, ты всегда будешь помнить ту божественную благодать, которая простирается на каждого кто вступает в храм и преклоняет колена перед этим образом, полным чудесной, умиротворяющей и божественной красоты. И стоять бы нам с тобою там, и стоять. И мы с тобой твердо знаем, что каждый понедельник сходит на землю Пресвятая Богородица, и там в Дидубийской церкви Она выслушивает каждую просьбу, утишает каждую скорбь. И выходим мы с тобой из церкви и идем, прижавшись друг ко другу с великой радостью и с тишиной в сердце. И такая любовь у меня тогда к тебе, так хорошо смотреть на блаженную улыбку на твоем лице. Ты будешь всегда помнить нашу жизнь в стране Богородицы, наши страдания за далекую, дорогую родину. Мы на счастливом острове, и с двух сторон два великие страдания: Ессентуки и Крым. Там все

И потом вдруг, однажды утром, пришла эта весть: Крым пал. Крым занят красными. Белая Армия разбита.

Никогда не забуду этот день. Я убежала из дому; я бежала по улицам Тифлиса, заглушая звучащие в сердце слова: « Крым пал. Погибли все. Неужели погибли все ? В гражданской войне не бывает пощады » . . .

Я бежала в собор. Там, на коленях перед иконой Георгия Победоносца, с упованием и надеждой я повторяла, и просила, и верила, и повторяла опять: « Спаси их, унеси их на твоем Белом Коне . . . »

И потом пришел на душу покой.

Через несколько дней мы узнали, что Армия была эвакуирована в Константинополь. Каждый корабль представлялся мне тогда « Белым Конем Георгия Победоносца . . . »

И опять шли длинной вереницей холодные, темные, беспросветные дни. Не было больше надежды на Крым, не было никакой надежды ни на что земное, но все упование до конца, без конца, без границ — было на Бога.

Однажды случилась странная вещь — моя сестра и брат встретили на улице моего двоюродного брата; он приехал из Константинополя по каким-то коммерческим делам. Он был как бы посланник из иного, свободного мира. Он не знал, что мы в Тифлисе и радовался нашей встрече не меньше, чем мы. Он скоро уехал, но перед отъездом посоветовал познакомиться с известным ему, секретарем Английской Миссии. Это знакомство решило нашу судьбу.

Я несу в своем сердце благодарное воспоминание о нашей жизни в Тифлисе, — это ежедневное, ежеминутное ощущение руки Божией, ведущей каждого из нас.

---

дорогое нашему сердцу и туда несутся наши молитвы. Нет слов, чтобы выразить то блаженство, когда прикладываешься к иконе Пресвятой Дидубийской Божией Матери. Будем молиться ей и бесконечно благодарить Ее за все милости к нам грешным.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

## УМИРАЮЩИЙ ГОРОД И ЕГО ЖЕРТВЫ

*М. Зернова*

Тифлис — смесь Европы и Азии. Неповторимая поэзия Грузии. Город полный своеобразного аромата.

В нем были чудесные церкви. Чаще всего я ходила в церковь Св. Феодосия Черниговского. Настоятелем в ней был отец Михаил Гриднев. Эта церковь была всегда открыта. Около свечного ящика обычно сидела дочь священника, ее звали Лиза. У нее были светящиеся глаза и она всегда что-то читала. Службы в церкви были каждодневные, пела вся церковь: просто, дружно и молитвенно. Я подружилась с Лизой Гридневой, через нее я познакомилась с Губановыми и с Борисом и Галей Гиевскими.

Лиза хотела стать монахиней. Она была готова к этому. В ней была простота всецело отданной Богу жизни. У нее я встретила двух замечательных старушек: Катерину Павловну и Варвару Алексеевну. Я стала часто к ним ходить. У них я нашла огромную библиотеку духовных книг. Они почти голодали, я старалась им помочь, но я тоже была нищей. Все же на гроши, скопленные экономией на еде, я смогла купить у них несколько книг: « Рассказы Странника », « Беседа Св. Серафима с Мотовиловым », « Великое в Малом » Нилуса, « Тихие Обители для измученной души », бывшего спирита Быкова и « Жизнь Софии Болотовой — Игуменьи Шамординского монастыря ». Эти книги были для меня подлинным открытием, они ввели меня в мир русского благочестия, столь ярко расцветшего накануне революции. В той же церкви — Св. Феодосия — увидела я однажды странницу Параскеву. Я пригласила ее ко мне — у меня была отдельная комната. Она была почитательницей отца Иоанна Кронштадтского и отдала ему все свое большое состояние. На ее средства он построил « Дом Бедных », а сама она стала бездомной странницей. Один раз она сказала мне: « У тебя брат хороший, избранный, надо молиться о нем ». Параскева юродствовала. У нее была своя стихия. Раз, во время службы, она подошла ко мне и сказала: « У меня заболело сердце об Алексее — Человеке Божием, пойду, поставлю ему свечку ».

« Русь убогая » была представлена в Тифлисе странни-

ками. Один из них носил большой мешок с камнями, — странный, с тяжелым лицом, он объяснял, что эти камни — грехи его и других людей. Другой странник имел тонкое лицо и исключительно прозрачные глаза. Он говорил с большим вдохновением, его охотно слушали. Он призывал толпу к покаянию, так как антихрист уже пришел и завладел русской землей. По слухам он был раньше офицером. Неожиданно он исчез, кажется, ушел на Афон.

Казанская церковь была совсем иной, чем Феодосьевская: она была народной церковью, всегда переполненной молящимися, со множеством икон плохой росписи. Противоположным ей был собор Александра Невского. Шестопсалмие на всенощной в этом храме читал один из артистов: отчетливо и красиво, но не по церковному. В этой церкви большинство молящихся были люди с образованием. Священником в ней был талантливый проповедник. Запомнилось мне навсегда начало одной из его проповедей 1 октября: «Какое чарующее слово — Покров . . . . »

В этой церкви со мной случилось особое происшествие. Однажды, я горячо молилась Батюшке Серафиму Саровскому, прося дать мне какой-нибудь знак. После окончания службы ко мне подошла незнакомая женщина и подарила мне иконку Св. Серафима.

По понедельникам я ходила с Соней в Дидубэ, (пригород Тифлиса). Там было не русское, а грузинское Православие, столь отличное от нашего. Служили там по-грузински. Женщины молились с десятью свечами, которые они прикрепляли к ногтям своих пальцев. Некоторые из них обходили церковь на коленях три раза — в благодарность Богу.

Особой была моя встреча с девочкой Ниной. Я обратила на нее внимание из-за ее необычайного одеяния. У нее не было никакого платья, она была закутана в тряпки красивых и ярких цветов. Ей было лет девять, она не пропускала ни одной службы и пела своим звонким, чистым голоском молитвы, которые знала наизусть. Когда я стала расспрашивать ее, я узнала, что ее отец чиновник. Он потерял после революции свое место, и вся семья жила в такой бедности, что им пришлось продать всю свою одежду. Их было пятеро детей, другие дети не имели ничего, чтобы прикрыть свою наготу, и потому сидели всегда дома, а Нина покрывалась тряпками и так могла ходить в церковь. Питались они одним супом, который выдавали американцы голодающему населению.

Нищета в Тифлисе в ту зиму была невообразимая; глядя на нее, сжималось сердце и холодели руки. С семьей девочки Нины я познакомилась через Лизу Гридневу, и с ней вместе мы навещали других обездоленных людей. Одна женщина лежала разбитая параличом в подвале. Ее фамилия была — Кологривова. Она выглядела «живыми мощами». Все ее

имущество состояло из Библии и Часослова. Она постоянно их читала. Она ни на что не жаловалась. Ее никто не навещал, кроме Лизы и меня. В ее голом и ледяном подвале стоял ужасный смрад. Когда я приходила туда, я старалась, чем могла, облегчить ее страдания, я обмывала ее, но я не могла сделать многого для этой мученицы. Питалась она только чаем и бесплатным супом. Она просила меня простить ее за то, что мне приходилось чистить ее. « Да благословит Вас Господь ! », говорила она. С ней было светло: она была примиренная и благодатная.

Совсем другой была старуха, которую я увидала, стоявшей в очереди за супом. Из всех стариков, старух и детей она выделялась печатью уродства и порока. У нее нос был провалившийся от сифилиса, волчанка разъела ее лицо, вместо глаз, у нее были зияющие раны. Все с отвращением сторонились от нее. Один раз, получив суп, она поскользнулась и разлила драгоценную жидкость. Толпа зрителей захохотала, видя беспомощные потуги несчастной старухи. У меня пронеслась мысль: « Во имя Христа я должна помочь ей ». Я подняла ее. « Кто вы ? » сказала она. « Вы ангел » . . . Своим хриплым и жутким голосом она стала умолять меня не оставлять ее и проводить до ее дома. Я не могла уйти от нее и, вся содрогаясь, вошла в ее жилище. Она провела меня в большую, совсем пустую, комнату. В ней стояли только две кровати, на одной из них лежал молодой человек. Он был чрезвычайно худ, горящие глаза, черная бородка, очень красивое молодое лицо. Он был потрясен, увидав меня, очевидно никто не заходил в их комнату. Страшная старуха стала шамкая говорить: « Это ангел . . . Я упала, она подняла меня ! » Молодой человек, не слушая ее, обратился ко мне с вопросом: « Кто Вы ? Как Вы пришли сюда ? Мы совсем оставлены всем миром. Вы первая решились проникнуть в наше логовище . . . » Я начала расспрашивать его и узнала, что он был учителем в гимназии. Когда он заболел туберкулезом, он постепенно докатился до крайней нищеты. Я старалась, как могла, его ободрить, обещала снова навестить. Мы были с Соней у него два или три раза, приносили ему еду, но у нас самих ее не хватало. Однажды, придя домой, я нашла его сидящим в моей комнате. Он был в большом возбуждении, бросился ко мне и стал умолять меня спасти его. Он говорил: « Вы два ангела, вы озарили мою жизнь новым светом, я не могу вернуться домой, вы ведь видели мою мать, — она ужасна . . . Она потеряла глаза и голос, я не вынесу жизни с ней. Я уже примирился со смертью, но встретив вас, я воскрес. Я верю, что смогу выздороветь, . . только не прогоняйте меня ! Я прибежал к вам, как к моему последнему пристанищу ».

Я очень испугалась, я совсем не знала, что мне делать, и стала уговаривать его вернуться домой, говоря: « Сейчас уже

ночь, Вам негде ночевать здесь. Мы к Вам придем и все обсудим». Нам удалось убедить его идти домой. Убитый и покорный он покинул нас. Мы его больше никогда не видели, так как через несколько дней бежали из Тифлиса. Он так и остался на моей совести . . .

## ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

# РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ В ТИФЛИСЕ

*В. Зернов*

Осенью 1920 года я поступил в 7 класс русской мужской гимназии Общества Преподавателей. К тому времени почти во всех учебных заведениях Тифлиса преподавание уже велось на грузинском языке, только в моей гимназии сохранился русский язык, хотя и в ней грузинский язык и грузинская история были обязательными предметами. Учеников в гимназии было мало, большинство из них были русские или армяне, местные жители города, только несколько мальчиков были как я — недавние беженцы из России. По составу учеников и учителей она сильно отличалась от ессентукской. Там учились дети вольного казачества и с ними было трудно справиться учителям. Среди казачат бывали постоянные потасовки, а иногда и свирепые драки. Они рассказывали мне, как еще недавно, в станице зимою происходили кулачные бои, — одно из главных развлечений ее жителей. Мои ессентукские одноклассники прекрасно танцевали лезгинку и отплясывали казачка. В тифлисской гимназии все было тихо и чинно. К грузинам большинство относилось сверху вниз, с маленькой насмешкой, но без враждебности. Красного террора здесь еще никто не переживал и многие думали, что большевики, наверное, не так свирепы, как о них говорят. Учитель русского языка декламировал нам Блока и утверждал, что прогресс в истории совершается в период революций и поэтому они необходимы. Я пробовал ему возражать, но сочувствие учеников было на его стороне. Меня поддержали только два товарища, беженцы из России. Материалные условия нашей жизни были очень тяжелые. Наше питание состояло из красной фасоли и кукурузного хлеба. По виду он напоминал бисквитный пирог, но это была лишь иллюзия зрения, он вызывал чувство тяжести своим полусырым тестом, но не утолял голода. Я спал на складной кровати в нетопленной столовой. Как только тушился свет, начиналась в моей комнате отвратительная возня и писк крыс. Несмотря на упорную борьбу с ними, мне не удавалось избавиться от них, они пробегали по моей постели и однажды одна из них пренеприятно укусила меня в щеку. Голод и холод не мешали мне усилен-

но заниматься, надо было догнать пропущенное второе полугодие 6 класса и кроме того, выучить грузинский язык.

Накануне рождественских каникул один из моих одноклассников пригласил меня поехать к нему в гости в Кахетию, я с радостью согласился. На одной из маленьких станций в гористой области меня встретил кучер с санями, запряженными парой лошадей. Мы помчались по снежной дороге. К моему величайшему удивлению он привез меня в настоящую помещичью усадьбу. Большой дом, с жарко натопленными печами, прислуга, а главное старорежимное изобилие еды. Мне казалось, что я нахожусь во сне, передо мною стоял большой кувшин молока, к чаю подавался настоящий белый хлеб, варенье и масло и все в неограниченном количестве. Родителям моего товарища принадлежал завод глауберовой соли и они ни в чем не нуждались. Рабочие завода смастерили нам санки и мы с увлечением скатывались на них с крутых гор, до тех пор пока они не разлетелись на части на крутом повороте. Я думаю, никогда — ни раньше, ни позже — еда, тепло и домашний уют не доставляли мне такого наслаждения. Вместе с тем я ни за что не хотел показать, что мы живем в Тифлисе в совсем других условиях. Наступил день моего отъезда, выходя из дому я увидал большую корзину грецких орехов, — недоступную для нас роскошь. Наверное я посмотрел на них с особым вниманием и мой друг, провожавший меня, предложил взять их с собою. Я решительно отказался, хотя мне очень хотелось взять хотя бы немного, чтобы отвезти домой. Не то самолюбие, не то стыд не позволяли мне принять подарок. « Ну вот, хотя бы на дорогу », сказал мне мой хозяин и сунул в карман пригоршню орехов. Вернувшись домой я с гордостью угостил всех грецкими орехами, вещественным доказательством существования царства изобилия, в котором я прожил несколько дней. Это было последним видением ушедшего быта. Через месяц мы бежали из Грузии.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

## АНГЛИЙСКАЯ МИССИЯ

*С. Зернова*

Наступил январь месяц. У нас совсем не было денег. На семейном совете решили, что я пойду узнать в Английской Миссии — не возьмут ли они меня секретаршей. Я, конечно, не была никакой секретаршей, но я говорила по-английски и умела одним пальцем печатать на русской машинке.

Меня сразу принял секретарь Миссии Мистер Уайт. Это он познакомился с моим двоюродным братом на пароходе. Я смотрела на его добрые, ласковые глаза и думала: « Может он почувствует, как мне нужна работа. Работать у них значило жить и помогать другим ».

Прошло много лет . . . И теперь, когда люди приходят ко мне за помощью и просят найти работу, я иногда вспоминаю день, когда я пришла в английскую Миссию, и я стараюсь тоже понять и почувствовать какую надежду они возлагают на меня. Секретарь не спросил меня, что я умею делать, он просто сказал, что берет меня на службу.

Каждое утро, в 9 утра, я должна была быть в отделении Миссии. Я была там всегда в 8, чтобы « не опоздать ». Я приходила на работу, и работы никакой не было. Я сидела в моем бюро и ждала. Часов около 11-ти приходил Меджор Пиндер, коммерческий представитель; я слышала, как он открывал своим ключом входную дверь и прямо проходил в свою комнату. Я начинала мучительно ждать. Я боялась, что он меня позовет и поручит написать какое-нибудь письмо, которое я не сумела бы напечатать. Я тоже боялась, что он меня совсем не позовет и поймет, что я ему не нужна, и я потеряю « мою работу ». Так прошла неделя. Он ни разу не позвал меня. Когда я возвращалась домой, дома меня ждали и забрасывали вопросами — как шла моя работа, какие сведения о положении Грузии имели англичане ? как относилось ко мне мое начальство ? Но я упорно молчала. Я знала, что огорчала мою мать и моего отца этим молчанием, но я боялась, что еще больше огорчу их, если они узнают, что я сижу одна целый день, в трепете и страхе, чувствуя, что или они забыли про меня или держат меня « из милости ».

Прошла еще одна неделя. Я так же каждый день, в 8

утра, была на своей работе, так же во время перерыва съедала принесенный из дому кусок кукурузного мокрого хлеба, и сидела до 5 часов, напряженно прислушиваясь, — пройдет или не пройдет в свое бюро Меджор Пиндер ...

В конце второй недели он зашел ко мне и молча передал мне конверт с моим двухнедельным вознаграждением. Я ждала, что он попросит меня больше не приходить, но он приветливо улыбнулся мне и сказал: « До понедельника ».

Я открыла конверт только дома, при всех, я принесла мои первые заработанные деньги. Для нас это была громадная сумма. Теперь, когда зарабатываешь немного больше или немного меньше, — это не представляет особой разницы, но даже теперь когда я вспоминаю, как мы открывали этот конверт и как доставали из него деньги — я ощущаю радость. Мы разделили эти деньги и отложили часть их для раздачи тем, кто был беднее нас, кто голодал еще больше. На следующий же день мы с сестрой понесли им колбасу и хлеб. Их благодарность и наше счастье я никогда не забуду.

Прошло еще две недели. Однажды утром я, как всегда, в 8 часов подходила к Миссии. У меня был ключ от входной двери и я, обыкновенно никем не замеченная, проходила в мое бюро. Но на этот раз происходило что-то странное: все двери были широко открыты, служащіе выносили чемоданы, ящики, папки с документами, пишущие машинки и грузили все в автомобили.

Я остановилась вдали и смотрела. Меджор Пиндер распоряжался всем. Он все время беспокойно посматривал на часы. Мне как-то особенно врезался в память этот его быстрый и нервный взгляд на часы ...

Он вдруг увидел меня и сразу попросил меня войти с ним в дом.

« Как я рад, что Вы сегодня пришли рано », сказал он. « Я не знал, где Вас найти, через час нас здесь уже не будет. Мы только что узнали, что « красные » в 15-ти верстах от Тифлиса, город может каждую минуту быть занят, но этого еще никто не знает. Вот здесь для вас деньги, возьмите, пожалуйста, все это. Вы понимаете, что нам это больше не нужно, а Вам может пригодиться ... »

И он положил передо мною наполненный грузинскими деньгами чемоданчик. Я молча выслушала его, отодвинула чемоданчик и сразу пошла к выходу. Что я могла сказать ему ? Для нас приход красных был конец всему, конец жизни. Те деньги, которые две недели назад казались бы мне огромным богатством и счастьем — были теперь ненужной бумагой, не имеющей ни цены, ни смысла.

« Скорей, скорей домой », думала я, выходя из Миссии. Меджор Пиндер, вероятно, не ожидал, что я так стремительно уйду; он сам растерялся и ничего мне не сказал, но потом он

бросился за мной, догнал меня уже на улице, взял меня за руку и привел обратно в дом. Я его так хорошо помню, он был немолодой, высокий, толстый, в золотых очках, с добрыми немного выпуклыми глазами. Я не ожидала, что он будет так расстроен моим отказом.

« Послушайте меня, — сказал он, — мне дорога каждая минута, но я даю Вам слово, слово английского офицера, что, если Вы не возьмете этих денег, — я не уеду. Вы не знаете, что может произойти, — эти деньги могут спасти Вас. Если бы Вы были одна, мы взяли бы Вас с собой; я понимаю, что Вы рискуете, оттого что Вы работали у нас, но я знаю, что у Вас есть родители и что Вы их не оставите. Я прошу Вас, не осложняйте моего положения и возьмите эти деньги . . . »

Мне было теперь уже все равно. « Конечно », — думала я, — осложнять его положение, . . пусть уезжает спокойно . . . эти деньги . . . мы оставим их кому-нибудь . . . мы уйдем пешком. . .»

Я взяла чемоданчик и пошла домой. Я помню, недалеко от нашего дома я столкнулась с моей сестрой, она шла куда-то веселая и беспечная. Увидав меня, она остановилась и удивленно спросила: « Соня ! Ты уже возвращаешься ? Ты не больна ? »

« Нет, но красные в 15-ти верстах от Тифлиса, Английская Миссия уезжает ».

Она ничего не сказала, она стала только совсем бледной, настолько бледной, что я думала, что она упадет. Дома мы вызвали сперва моего старшего брата и рассказали ему все, потом было решено, что мы с ним пойдем на вокзал, чтобы принести точные сведения о положении.

Мы вышли на улицу. Вокзал был далеко на окраине города. Мы думали доехать на трамвае. Но город как-то вдруг весь замер. Как будто пронеслось над ним веяние смерти. Мы шли быстро через весь город, шли молча, каждый со своими думами, со своей тревогой и молитвой.

Было уже около полудня, когда мы добрались до вокзала. Он был окружен грузинскими войсками. Никого не пропускали внутрь. Но я пробралась к охране и объяснила им, что я служащая Английской Миссии, что мне необходимо видеть моего начальника, они поверили и пропустили обоих нас. Поезд еще стоял. Это был длинный поезд. С ним уезжали все иностранные посольства. На вокзале было не много народа, но там царила та особая, напряженная тишина, которая бывает в природе перед бурей. Люди стояли группами, молча и мрачно смотрели на плотно закрытые двери вагонов. Только в одном из них дверь была полуоткрыта, и какой-то высокий молодой англичанин давал распоряжения носильщикам, быстро втаскивавшим в вагон последние ящики и чемоданы. Когда все было погружено и они крепко задвинули дверь, англичанин побежал в здание вокзала. Мы с братом, как и другие, следили за

ним глазами. Пробегая мимо нас, он пристально взглянул на нас, потом вернулся и быстро проговорил: « Скорее бегите за мною, я вас видел в Миссии, я знаю Вы у нас работали, Вам опасно оставаться, мы не оставляем своих служащих, скорее бегите за мной ». Мы кинулись внутрь вокзала, там в зале 1-го класса, окруженный густой толпой, стоял начальник Английской миссии полковник Стокс, он быстро писал что-то на отдельных листах бумаги и раздавал их окружавшим его людям. Мы с трудом протиснулись к нему.

« Она работала у нас, — быстро сказал наш спутник, — можем ли мы ее взять ? » — « Разве есть еще место ? », раздраженно спросил полковник. — « Места нет, но мы ее как-нибудь возьмем » . . . — « Хорошо, берите ». — « Но нас шестеро », робко проговорила я. — « Шестеро ? — переспросил он и почему же Вы молчали ? У нас нет места, чтобы взять шестерых ».

Но наш спутник вмешался опять . . . « Если Вы разрешите, я могу выбросить несколько ящиков с багажом, я думаю, я могу взять шестерых ».

« Делайте, как знаете, но покажите мне их, где они — эти шесть ? » — « Они в городе », едва слышно произнесла я. « Вы насмехаетесь над нами », крикнул Стокс, мы уезжаем через 5 минут. Вы берете мое время. Вы понимаете, что Вы делаете ?»

У меня, вероятно, был очень несчастный вид. Он посмотрел на меня и замолчал. « Что я могу сделать для Вас ? » спросил меня наш спутник. На его лице было выражение острого сострадания и глубокой человечности.

« Ничего, спасибо, я Вам очень благодарна, спасибо ! »

Мы быстро пошли к выходу. По дороге мы с братом решили скрыть от наших родителей, что поезд уже ушел. Мы решили сказать им, что англичане готовы взять нас с собой, т.к. мы знали, что только это могло их заставить покинуть дом.

Придя домой, не смотря родителям в глаза мы только просили их скорее укладывать необходимые вещи, скорее выходить, чтобы не « опоздать » . . . Я всовывала в мешки какие-то вещи, не в силах сообразить, что надо было взять с собой и что оставить, но стоило мне выйти из комнаты, как моя мать вынимала все, что принадлежало ей и моему отцу, убеждая нас уезжать без них.

« Вы молоды », говорила она, « вам жить жизнь, вас англичане устроят, вы уезжайте, а мы останемся, — ваш отец и я, мы не покинем родину . . . » И мы вновь заставляли их все укладывать, убеждая что мы все равно никогда не расстанемся, и что мы должны торопиться, потому что « англичане нас ждут ». Наше положение еще больше осложнила наш друг Валентина Кирилловна Зданевич. Она горячо убеждала нас « не быть безумцами, не губить себя ». « Большевики могли в любую минуту войти в город », говорила она, « если они

встретят вас, бегущих на вокзал, они наверно прикончат вас тут же на месте». Все эти колебания кончились внезапно, когда в нашей квартире появились сильные «муши», которых каким-то образом удалось нанять в последнюю минуту брату-гимназисту ! Всем вдруг стало ясно, что жребий брошен и путь к отступлению закрыт.

Солнце было уже низко, когда мы вышли на улицу. В городе царило волнение. Все окна и ставни были закрыты. Встречные смотрели на нас враждебно. Какой-то прохожий крикнул нам вдогонку: «Буржуи . . . бегут . . .» Вдалеке слышалась артиллерийская стрельба . . .

Мы шли бесконечными улицами через весь город, и каждый из нас молился. Я молилась святому Серафиму, и на душе был великий покой. Если отдаешь свою жизнь до конца в руки Божии — наступает покой. Я знала, что Бог все может. Что Бог может послать Ангела Своего, чтобы спасти нас. И я знала, что если будет 50 поездов, но не будет на то воли Божией, то все равно ничто нас не спасет. Я смотрела на брата и на сестру и знала, что они так же, как и я молились, так же, как и я уповали на Бога, и принимали все.

Вокзал, как и прежде, был оцеплен войсками, но теперь вокруг него стояла плотная толпа. Никого не пропускали через кордон. К счастью я увидала того офицера, который пустил нас утром, он узнал меня и позволил мне пройти. Я надеялась найти начальника станции и убедить его пропустить нас всех. Я знала, что сейчас мои отец и мать узнают всю правду, что поезда нет, но это было неважно, главное было сделано, — уже не было пути назад.

Первое, что я увидела на вокзале — был поезд ! Все тот же поезд, с крепко задвинутыми дверями, тот поезд, который должен был уйти несколько часов назад. Вокруг него разыгрывались раздирающие сцены. Трудно описать все то, что я увидала. Женщины с детьми, военные в форме, какие-то старики и люди, потерявшие голову, — все это кидалось из стороны в сторону, стараясь влезть или на крыши вагонов или примоститься на буферах. Я помню одну женщину на коленях перед англичанином, она обнимала его ноги и умоляла спасти ее и двух ее девочек. Я помню еще кого-то с мешочком золотых монет: он пересыпал эти деньги из руки в руку, и как безумный кидался от одного вагона к другому. Крики, плач, толпа людей, человеческие фигуры, повисшие на закрытых дверях. Животный страх в глазах у всех. Во всем этом был такой неописуемый ужас, такое глубокое человеческое отчаяние. Страх перед приходом «красных» был — мистический страх, поэтому он переходил все границы, он подавлял, он заставлял людей терять их человеческий образ.

Я стояла на перроне и с ужасом смотрела на окружающее. Вдруг я увидала моего англичанина и кинулась к нему.

« Пожалуйста, помогите мне ! дайте мне записку, что я работала у вас, чтобы моих родителей пропустили на вокзал ». « Но что вы будете делать на вокзале ? — спросил он, — наш поезд последний, больше не будет поездов ».

« Это ничего, мы будем знать куда идти пешком по линии железной дороги, мы пойдем сразу, как только ваш поезд уйдет ».

Он быстро вынул из кармана листок бумаги с английским гербом и написал мне пропуск. [1] Я побежала с этой драгоценной бумажкой к выходу. Я показала ее, и нам всем разрешили пройти. От англичан еще ждали спасения, и их слово имело большую силу. В это время чей-то голос заговорил в рупор, призывая к спокойствию и дисциплине, прося всю публику отойти от вагонов иностранных посольств и объявляя, что к поезду прицепляют специальный состав для желающих уезжать.

Через несколько минут вагоны были поданы, и все ринулись к ним. Люди влезали через окна и двери, торопились, плакали от счастья . . . Нам тоже удалось войти всем вместе в ближайший вагон. Посадкой заведовал взвод молодых грузинских юнкеров. Среди них мы заметили нашего друга Сережу К., он особенно хорошо знал мою сестру. Он тоже увидал нас и подошел к окну нашего купе. Купе было так полно народом, что было трудно пробраться к окну и понять, что он хотел нам сказать. Он как-то странно и скорбно смотрел и делал знаки, чтобы кто-нибудь из нас вышел. Выйти было не легче, чем проникнуть в этот вагон, но в такие минуты чувствуешь и инстинктивно знаешь как надо поступить и кого слушать. Через минуту я была рядом с ним.

---

[1] Примечание. Нашим спасителем оказался Томас Фредерик Уолтон (род. 1882 г.), известный среди русских под именем Фомы Фомича Вальтона. Он родился в России, где его отец строил мельницы в разных городах Малороссии. Учился он в гимназии в Керчи, но закончил свое образование в Англии. Вернувшись в Россию в 1899 году, он вскоре попал в Баку. Начав работать там как счетовод, он стал управляющим одного из нефтяных промыслов. Большевики арестовали его, но по требованию рабочих он был освобожден. Получив бессрочный отпуск, он смог уехать в Грузию в октябре 1920 года, где ему был предложен временный пост помощника консула в Английской Миссии. Когда нависла угроза над Тифлисом, он должен был эвакуироваться со своей русской женой и только что родившейся дочкой с первым дипломатическим поездом. К нашему счастью, он задержался, так как ему была поручена упаковка и отправка имущества Миссии.

До второй мировой войны Уолтоны жили в Румынии, им удалось вернуться в Англию во время войны.

Письмо Уолтона, давшее нам возможность пробраться на вокзал через военный кордон, хранится у меня. Вот его содержание: « Предъявительница сего М-ль Зернова, служащая Английской Миссии эвакуируется с Миссией в Батум, вместе с родителями, поэтому просим пропустить их вещи ».

Другим Англичанином, много помогшим нам, был Джон Вильямович Уайт (ум. 1945), исполнявший должность консула и секретаря в Тифлисе.

« Выходите из вагона », шепотом быстро произнес он, « эти вагоны не прицеплены, поезд сейчас уйдет, а они останутся, — все это сделано для успокоения публики. Когда все увидят, что это обман, может быть бунт, лучше выйдите сейчас и уходите вперед. Как только поезд двинется, Вы можете сразу же по линиям уходить пешком. Мы тоже будем уходить ».

Мы потихоньку, один за другим, вышли из вагона. Мне было мучительно стыдно за себя, за уезжавших, за голос, говоривший в громкоговоритель, за жалких, несчастных людей. . . Но некогда было размышлять. Мы ушли вперед и стояли молча у переднего вагона и ждали когда поезд уйдет.

Послышался свисток, и вдруг в одном из вагонов раздвинулась дверь, из нее выскочил все тот же высокий англичанин и, размахивая руками и крича что-то, кинулся к нам. Подбежав ко мне, он схватил меня за плечи, и, толкая вперед, прокричал: « За мной, бегите за мной, все шесть ».

Мы карабкались в открытую щель двери, а он, стоя позади, кричал: « Это мой отец, моя мать, мои братья, мои сестры . . . » Позже я узнала как это вышло, что поезд был еще на вокзале, когда пришли мы все. Оказалось, что большевики повредили путь и его чинили все это время. Мы стояли в переполненном вагоне, не было места, чтобы сесть или лечь, и у каждого из нас сердце было переполнено благодарности Богу. Бог все может . . . Бог может послать Ангела своего чтобы спасти нас.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

# РОКОВОЙ ДЕНЬ

*Н. Зернов*

Наше спасение от большевиков 17 февраля 1921 года составляет самую необычайную страницу нашей семейной хроники. То, что по здравому рассуждению представлялось невозможным, все же осуществилось.

События, приведшие нас к этому избавлению, начались с неожиданной встречи с нашим двоюродным братом в понедельник 14 декабря 1920 года. В этот холодный и сумрачный день я встал поздно с тяжелым чувством не то зависти, не то обиды. Накануне мы узнали, что наши знакомые Офросимовы получили возможность покинуть Грузию. Им были обеспечены и визы и деньги для проезда за границу. Их счастье еще сильнее подчеркнуло безнадежность нашего положения. Я горько сетовал на то, что нам неоткуда было ждать поддержки. Сестра Маня предложила мне пойти в то же утро в паломничество к Божьей Матери в Дидубэ. По дороге туда мы вдруг заметили едущего на извозчике двоюродного брата Анатолия Сергеевича Зернова (1882-1942). Мы его не видали с Москвы, и эта встреча была для нас огромным событием. Он несколько раз приходил к нам и мы жадно слушали его рассказы о том мире, о котором ходили столь противоречивые слухи. Он приехал на несколько дней из Турции и возвращался в Константинополь. Он ничем не поддержал нашего желания вырваться туда. Наоборот, он, как и многие другие, говорил, что Ленин принужден будет пойти на уступки и советовал нам возвращаться в Москву. Мой отец слушал эти разглагольствования, для меня же они были примером полного непонимания сущности ленинизма. Когда он уходил от нас в последний раз, я пошел провожать его и снова горячо просил помочь нам уехать из обреченной Грузии. Тогда он рассказал мне, что на пароходе по пути в Батум он познакомился с секретарем английской Миссии и посоветовал обратиться к нему.

Наступил сочельник, Соне исполнился 21 год. Рождество мы отпраздновали дружно и церковно. Так мы подошли к 1921 году, переломному для нашей семьи. Накануне его, 20 декабря мы узнали, что английская Миссия ищет секретаршу. Было ясно, что конкуренция будет огромна, так как

найти работу в Тифлисе было невозможно. Все же, помня рассказ нашего двоюродного брата, мы решили, что Соня должна попытаться получить это место. На следующий день мы вдвоем отправились в Миссию. Шли мы с волнением и с молитвой, зная как мало у нас шансов. Неожиданно, секретарь миссии мистер Уайт предложил Соне эту работу. Я ждал на улице решения нашей судьбы. Соня вышла ко мне сияющая от радости. Я как на крыльях помчался домой.

У нас завязалась нить с внешним миром.

Дома у нас было большое ликование. Хотя жалованье предложенное сестре было небольшое — 20 тысяч грузинских рублей, но оно все же могло прокормить нас. Однако наша радость длилась не долго. В субботу 12 февраля Советская Армения напала на Грузию. То, чего мы так все время боялись, наконец случилось. Вопреки здравому смыслу, нашей первой реакцией на эту катастрофу были попытки себя успокоить разными вздорными слухами и надеждами. Говорилось, что грузины легко справятся с армянами, что Англия и Франция не допустят гибели демократической Грузинской республики, что Турция воспротивится захвату всего Кавказа красными, а главное хотелось думать, что Армения, хотя бы советская, это не Россия. И мы продолжали нашу обычную жизнь.

Так подошли мы к памятному дню 17 февраля 1921 года. Начался он обычно. Накануне были тревожные вести о неудачах на фронте, но к вечеру они были опровергнуты и мы успокоились. Брат как всегда ушел в гимназию, Соня в английскую Миссию, я остался дома для занятий. В 11 часов к нам неожиданно прибежала потрясенная княгиня Дадиани; она сообщила нам, что красные будут через несколько часов в Тифлисе и что с трех часов ночи происходит секретная эвакуация города.

У меня все похолодело внутри. Пока княгиня рассказывала нам все это, раздался новый звонок. Я открыл дверь — это была моя сестра. Она сказала: « они уехали ». Эти слова были, как наш смертный приговор. Моей первой реакцией было, что все погибло, но выслушав ее поспешный рассказ, мы на семейном душу раздирающем совете решили сделать все возможное для того, чтобы бежать из Тифлиса. Мы с сестрой бросились на вокзал, остальные члены семьи обещали собрать вещи. Мы мчались почти бегом, путь лежал через весь город, население еще не знало о прорыве фронта и контраст между внешним спокойствием улиц и нашей внутренней агонией еще острее резал меня. Дипломатический поезд был еще на вокзале. Мы добрались до членов Миссии и хотя они сказали нам, что уезжают через 5 минут, мы все же решили сделать все возможное, чтобы всем вместе вернуться на вокзал.

Дома мы нашли родных в полной растерянности. Наши

друзья уговаривали нас оставаться, но мы с сестрой продолжали настаивать, что мы должны идти на вокзал и что лучше нам всем вместе погибнуть, чем ждать ареста большевиками. Мы победили. В 3 часа одиннадцать человек, шестеро нас и пять мушей, так называются в Грузии уличные носильщики, нагруженные нашим багажом, покинули Кирпичный переулок. Четыре часа позже, несмотря на все казалось бы непреодолимые препятствия, мы, сдавленные со всех сторон, сидели на наших мешках в теплушке, прицепленной к поезду иностранных миссий. Нам удалось в третий раз избегнуть большевистского плена.

По дороге в Батум я старался понять, как произошло наше спасение. Все события этого памятного дня, когда, несмотря на все наши колебания, растерянность и ошибки, мы все же вырвались из обреченного Тифлиса, вставали перед моим изумленным духовным взором. Многое мы узнали уже только в поезде: и то, что грузины смогли ненадолго остановить наступление красных и то, что отправка дипломатического поезда, взявшего нас, задержалась из-за повреждения пути. Мое сердце было переполнено благодарности всем тем, кто так великодушно оказал нам помощь. Но все же я ясно сознавал, что ни стечение благоприятных обстоятельств, ни добрая воля отдельных лиц, ни наши собственные усилия не могли спасти нас. Я видел, что наше спасение было провиденциально. В такие дни укрепляется вера, что в жизни ничего нет случайного и что наша судьба в руках Божьих.

Ехали мы в Батум очень долго, бесконечно останавливаясь на станциях. Ходили различные слухи: то оптимистические о полном поражении красных, то о возможном захвате Батума местными большевиками до нашего приезда туда. В нашей семье наступила острая реакция на все пережитое. Отец настаивал, что его долг — вернуться в Тифлис. На одной из станций он вылез из нашей теплушки, и мы с трудом втащили его в уже двинувшийся вагон. Все мы были измучены и раздражены. Англичане продолжали благодетельствовать нам, приносили пищу, ободряли наших родителей. Наш вагон был полон интересными людьми. Многие недавно бежали от большевиков и рассказывали об ужасах все более разгорающегося красного террора. Строились планы на будущее, все предполагали искать убежища в Европе. Мы одни не имели ни денег, ни паспортов, ни виз.

В воскресенье 20 февраля мы наконец добрались до Батума. Наши спутники перебрались в город. Мы остались одни в теплушке. Наши благодетели, Уолтон и Уайт, снова помогли нам. Они достали для нас разрешение поселиться в классном вагоне, стоявшем на запасных путях. Сразу к нам стали приходить знакомые, раньше уехавшие из Тифлиса. Начались новые тревожные разговоры о том, что делать, куда двигаться?

Мой отец был настолько потерян, что продолжал настаивать на возвращении. Мысль о загранице и привлекала и пугала меня своей полной неизвестностью. Мы бродили по городу, заходили в церкви. В одной из них был чудесный образ Святого Серафима, это утешало и ободряло нас. Погода была отвратительная, шел все время мокрый снег.

Вечером, в четверг 24-го февраля, наша судьба была решена: англичане решили взять нас с собой до Константинополя. На другой день мы узнали, что Тифлис пал. Батум был полон беженцами.

На рейде стояли военные суда разных наций в ожидании эвакуации своих граждан. Наш отъезд состоялся в понедельник 28 февраля.

В 2,30 дня началась посадка, погода разгулялась. Никогда раньше не виданные мною английские матросы быстро и молодцевато подвезли нас к красавцу крейсеру Калипсо (он погиб во вторую мировую войну). Мы поднялись на палубу, была сделана перекличка. Все женщины были направлены в одну стоорну, мужчины англичане были размещены по каютам, а мы, несколько русских, были отведены в салон матросов. Вечером, когда стемнело, наш крейсер снялся с якоря. Прощай Россия! Увидим ли мы когда-нибудь нашу родину? Что-то ждет нас впереди?!

Мы погрузились в новую, столь странную для нас, жизнь английского крейсера. Всюду изумительная чистота, быстро шагающие парами матросы, свистки, беготня проворных ног, отрывистые и непонятные слова команды, странная пища в поражавшем нас изобилии (красное консервное мясо, безвкусный белый хлеб). Переход до Константинополя взял около суток. Море было зеркальное, вдали были видны горы, покрытые снегом, но было уже тепло. Одно время Калипсо развил свою максимальную скорость (36 узлов) — это было феерично, он весь дрожал от усилий, брызги обдавали его нос, а за кормой подымались каскады пенящейся воды.

Накануне нашей новой жизни у меня был удивительный разговор с сестрой Маней, мы оба прощались с Россией, со всем тем, что до этого составляло нашу жизнь. Об этом разговоре я хочу рассказать словами моего дневника.

«Вторник 1 марта 1921 года. Сейчас вечер. У нас была необычайная встреча с Маней. Мы сидели на корме Калипсо. Воцарилась необыкновенная тишина. Это не был больше крейсер, а птица, летевшая по морю и уносившая нас. Калипсо даже не колебался, только винт слегка трещал. Закат потух, берег Малой Азии потонул во мгле. Мы с Маней остались совсем одни. Даже шагающие фигуры матросов стушевались. Странный начался у нас разговор, нам даже страшно стало, так близко и непосредственно соприкоснулись наши души друг ко другу. Помимо слов, мы общались, угадывая то, что было

на уме у другого. Мы говорили о России, о вере, о нашем пути. Какая дивная сказка — наш путь на Запад. Как будто Богородица позволила нам уехать, а Батюшка Серафим и Николай Чудотворец исполнили ее волю. Горели звезды, море и ночь охватили нас благодатным покровом. Последний момент нашей беседы был особенно прекрасен. В наших сердцах одновременно зазвучали слова молитвы « Царю Небесный ». Мы были глубоко взволнованы и подлинно соединены друг с другом ».

На другое утро мы увидели Босфор. Это была среда 2 марта 1921 года.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

## БАТУМ. « КРЕЙСЕР КАЛИПСО »

*С. Зернова*

Мы приехали в Батум. Я вижу его как в тумане, кажется, был ветреный, облачный день. Море было серое, далекое и чужое. И на душе было серо и пусто. Почему мы здесь? в этом чужом городе ?

Англичане предложили нам жить в вагоне 1 класса. Где-то все еще теплилась надежда, что все переменится и мы опять вернемся домой, слишком невероятным казалось, что мы вдруг так выброшены из жизни . . . Батум был как пустынная приморская деревня. Что мы будем здесь делать ? Прошла неделя. Надо было как-то устраивать жизнь, мы разобрали взятые нами наспех вещи и отдали стирать наше белье. Вдруг после полдня к нам кто-то постучался. Это был мистер Уайт. « Мы сегодня уезжаем, сказал он, — но никто не должен об этом знать. Будьте через час на пристани, за вами пришлют катер ». Он ушел.

Мы с братом кинулись в город за бельем. Мы быстро шли по пустынному бульвару. Надо было спешить чтобы вовремя быть на пристани. На скамейке сидел какой-то солдат. Мы прошли мимо, а он пристально смотрел нам вдогонку. Когда мы возвращались, он все сидел на той же скамейке. Когда мы поравнялись с ним, он неожиданно встал и шепотом спросил: « Когда уезжают англичане ? » Мой брат немного замялся, не зная сперва что ответить, но, посмотрев на его оборванную шинель и подозрительный вид, решительно ответил: « Мы не знаем, кто и когда уезжает ». Солдат недоверчиво взглянул на нас и сказал: « Ничего, ничего, это так, на всякий случай, я был в том же поезде, что и вы и видел вас, я думал, может вы будете знать. Я здесь сижу на этой скамейке, я всегда здесь, даже ночью. Если узнаете, что англичане уезжают, то скажите мне — вы спасете мне этим жизнь ! Я все караулю, боюсь пропустить, тогда все пропало! Вы оба молодые, поверьте мне, скажите, если будете знать. Вас-то они возьмут, — говорил он, уже обращаясь ко мне, — ведь вы работали у них, они не оставляют своих служащих, я на вас буду надеяться; я здесь все время буду сидеть, на этой скамейке, не забудьте, не обманите меня ». « Мы ничего не знаем » — подтвердила я. « Да, да, хорошо, спасибо — я

на всякий случай спрашиваю », — проговорил он и пошел обратно сесть на свою скамейку. Мы увидали, что он сильно хромал, у него была перевязана нога и через повязку просачивалась кровь.

Что нам было делать ? Кто был этот солдат ? Почему он знал, что я работала у англичан ? Может, он был специально подослан красными, чтоб взорвать английский крейсер ? Могли ли мы подвести англичан, которым мы были всем обязаны ? Они просили никому не говорить об отъезде; как же сказать об этом первому встречному ? Но если правда все то, что он нам рассказал ? Если можно спасти его жизнь ? Он поверил нам, а мы ему лгали ! « Коля, что делать ? » « Мы не имеем права говорить ». « Да, я это все знаю, но мне кажется он не провокатор, я ему верю, что же нам делать ? » Я обернулась. Солдат сидел по-прежнему на скамейке и пристально смотрел нам вслед. « Коля он смотрит на нас ! » Вдруг мой брат, не раздумывая, быстро наклонился ко мне и прошептал: « Беги, скажи ему, что мы уезжаем через полчаса ». Я кинулась к скамейке, но солдат уже ринулся мне навстречу. Я едва успела сказать: « уезжаем через полчаса », — он поймал мои слова налету и сразу кинулся куда-то бежать. [1]

Мы с братом молча и быстро шли вдоль пустынного бульвара, как будто стараясь скрыть от самих себя наш поступок. « Господи, — думала я, — какое мучение решать самой и не знать, что правильно и что неправильно. Господи, одна надежда на Тебя, сделай так, чтобы все было хорошо ».

## Крейсер Калипсо

Мы помещены внизу, в столовой, — женщины и дети. Мы лежим на полу на одеялах, принесенных нам матросами и офицерами. Они сняли их со своих коек. Плачут дети. Некоторые матросы пришли к нам и укачивают младенцев, носят их на руках. Я лежу закрыв глаза, тихо и незаметно вытираю слезы. Мне кажется, что я не плачу, только слезы почему-то текут через закрытые глаза. Когда вечером мы стояли на палубе и в последний раз смотрели на уходящую в даль русскую землю, мне кажется, я тоже не плакала, только все время текли слезы. Утро. Часть крейсера, которая была сначала отведена для нас, была вчера отгорожена канатом, но сегодня капитан приказал снять канат и мы можем осматривать весь крейсер. Нам сказали, что женщины и дети в первый раз попали гостями на их корабль, и что капитан хочет все

---

[1] Примечание. Мою встречу с этим солдатом уже в Константинополе я описала в восемнадцатой главе.

сделать, чтобы нам было хорошо и чтобы мы не грустили. Он приказал пустить Калипсо полным ходом и перед носом корабля вода стояла, как стена, — только, разве это может развеселить.

Офицеры Калипсо устроили чай и пригласили русских барышень. Нас было трое, Наташа — по фамилии Тамара, моя сестра и я. Они подарили нам карточки с видом Калипсо, они угощали нас сладкими пирожками и старались нас развлечь. Один из них был особенно милый, он не старался утешать и ничего не спрашивал, он только смотрел таким взглядом, что я знала, что он понимает все.

Когда мы подъезжали к Константинополю, море было тихое, зеркальное, оно переливалось всеми красками, отражая солнце и небо. Моя мать волновалась, где и как мы проведем первую ночь, так как у нас не было денег. Она хотела, чтобы я попросила у одного из английских офицеров в долг хотя бы один фунт, но я не согласилась. Она говорила, чтобы я не была гордой, чтобы я смотрела на это проще, что на следующий день мы сможем продать золотое кольцо и вернуть деньги. Я ответила, что я все равно не попрошу. Англичане спасли нам жизнь, мы не должны сразу же просить у них денег. Моя сестра и брат тоже считали, что не надо просить. Если придется провести ночь на улице, мы лучше сделаем это. Моя мать не была с нами согласна, но она не говорила по-английски и потому не могла сама просить англичан. Я думала тогда, что я никогда и ни у кого, во всю мою жизнь не попрошу денег.

Калипсо высадил нас в Константинополе и сразу ушел. Мы долго стояли на пристани и смотрели на уходящий крейсер. Мы стояли, пока он не скрылся с глаз. Он был для нас как мост между Россией и чужим миром. Он исчез, и мы остались одинокие и брошенные. Вокруг была шумная, пестрая толпа. Надо было куда-то идти и что-то решать, но у нас не было денег. Тогда, мой младший брат подошел ко мне и дал мне маленький белый конверт. « Что это », спросила я, « Это письмо, — ответил он, — меня просил передать тебе его один лейтенант с нашего крейсера, он сказал отдать только тогда, когда крейсера уже не будет видно ». Я раскрыла конверт, в нем лежали 5 английских фунтов. На маленьком листке было написано: « Простите, что я вам даю эти деньги так, что вы не сможете отказаться их принять. Когда ваш брат передаст вам это письмо, наш крейсер уже будет далеко в море. Поверьте мне, что я никогда не решился бы просить вас принять эти деньги от меня, но эти 5 фунтов были присланы мне моей матерью, когда я получил чин офицера и я их хранил с тех пор. Я уверен, что если бы вы знали мою мать, то вы не отказались бы взять от нее эти деньги. Я только

жалею, что они должны прийти к вам через мои руки. Я прошу вас не возвращать их мне до того дня, пока к вам не вернется ваша родина. Лейтенант Оливер».

Я никогда не могла его забыть. Я знала, что ему было так легко и просто «сунуть» в руку одного из нас фунт или два; мы были оборванные, жалкие, никому не нужные, мы были как нищие, а он написал такое замечательное письмо, полное такого тонкого благородства. Если бы только мы умели всегда поступать так, как поступил он! Там на пристани, в Константинополе, среди шумной и чужой толпы я дала себе торжественное обещание — что что бы ни случилось со мной в жизни, я никогда не произнесу ни единого слова против Англии и навсегда останусь другом той страны и того народа, среди которого мог встретиться человек с таким великодушием.

Прошло 30 лет. Один раз в Париже меня вызвали в Министерство Внутренних Дел к шефу Иностранного отдела. Он мне объявил: «Вы всегда думаете о других, а теперь мы подумали о вас. В ответ на ваше прошение о французском подданстве, мы решили дать вам его. Но чтобы вы знали, что Франция хочет иметь вас гражданкой нашей страны, вы не должны платить нам ни одного франка». С этими словами он передал мне декрет. Тогда я вспомнила лейтенанта Оливера.

Кончилась Вторая Мировая Война, которую мы пережили в оккупированном Париже. Мы ждали, что произойдут перемены на нашей родине и что мы сможем туда вернуться и я верну мой долг. Однако ничего не переменилось. Россия не была освобождена, но зато мне была дана другая страна и потому пришло время отблагодарить морского офицера. Я написала письмо лейтенанту Оливеру и послала его в Английское Адмиралтейство. Три месяца я не получала ответа, наконец он пришел. Оливер писал, что мое письмо побывало у целого ряда «лейтенантов Оливер», пока не нашло его, капитана в отставке, живущего со своей семьей в имении и занимающегося садом. Он просил меня не возвращать ему денег, так как это не был долг или подарок, а лишь попытка выразить его сочувствие лицам, попавшим в столь тяжелое положение. Он хотел знать, как сложилась жизнь нас всех. Я ему ответила, что принимаю 5 фунтов и не возвращу их ему. К Новому Году я послала ему подарок — небольшое блюдечко из массивного серебра, оно могло служить пепельницей. Я бросила на него 5 русских золотых и дала ювелиру припаять их так, как они были брошены. Они лежали совсем естественно — так, что мой маленький племянник, увидав их, наклонил блюдечко, чтобы стряхнуть их на руку. На другой стороне блюдечка я дала выгравировать: Батум 1921 — Париж 1951. Лейтенанту Оливеру от Н.С.М.В. Зерновых. Крейсер

Калипсо». С этим подарком я написала письмо, прося капитана Оливера поставить блюдечко в своей гостиной так, чтобы все приходящие к ним видели его и изумлялись, почему у него лежат так русские золотые, и в ответ на их вопросы, он должен будет рассказывать каждому о событии его молодости, и все смогут узнать об его благородстве.

Капитан Оливер, получив мою посылку, написал мне, что это блюдечко — самый прекрасный подарок, который он и его семья получили в своей жизни.

## ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

## « СИРКАССИ »

*М. Лаврова*

Жизнь в независимой Грузии была нелегкая, но все же в 1919 году я вновь поступила в только что открывшийся университет, в этот раз на естественный факультет. Занятия в университете налаживались медленно, вводился обязательный грузинский язык, которого я не знала. Я стала мечтать поехать учиться в Европу. Никто, кроме родителей, не поддерживал меня в этом « неосуществимом плане »: нужны были очень большие деньги даже только на один билет (обмен на валюту достигал астрономических размеров), а мы уже давно жили впроголодь; еще невозможнее было получить визу. Однако я, наподобие чеховских сестер, — все твердила: « В Париж, в Париж ! », только с той разницей, что мне помогали молодое упорство и поддержка родителей. Я преклоняюсь перед их жертвенностью и верой. Они начали продавать все, что могли, из остающихся еще вещей: рояль, ковры, картины. Они не устрашились ни предстоящей разлуки, ни риска отпустить молоденькую, неопытную свою дочку, совсем одну, без денег, в далекую, неизвестную Европу. Они были глубоко верующими людьми и вверяли меня Божьему попечению . . .

Визу я получила совсем неожиданно: раз где-то случайно я познакомилась с женой грузинского консула, собиравшейся ехать в Париж к мужу со своей маленькой дочерью. Я рассказала ей о моей мечте попасть учиться в Париж. Она была увлечена моей горячей решимостью и предложила помочь мне с визой. В тот же день она позвонила французскому консулу и попросила его дать мне визу как нянюшке ее дочери. Виза была разрешена ! Все это случилось так быстро, « несбыточная мечта » вдруг стала безотлагательным и бесповоротным, решающим всю жизнь шагом. Хотя я не ехала с моей благодетельницей (и никогда потом ее не встретила и не могла поблагодарить), все же надо было пускаться в путь как можно скорее, чтобы использовать визу. С трудом мы нашли достаточно денег, чтобы на них купить самый дешевый билет до Франции на маленьком французском пароходике « Сиркасси », уходящем из Батума через несколько дней; нашлись какие-то друзья, у которых была знакомая в Париже, они дали мне к ней рекомендательное письмо. Эти дни спешных сборов про-

шли, как в угаре. Я была плохо одета, из американских складов мне достали подержанный костюм, мама его переделала, работая по ночам, и он казался мне верхом элегантности. Вещей у меня было, к счастью, очень мало, денег в кармане оставалось около ста французских франков... Как я простилась с моими, как уехала, — я не помню. Память иногда милостива и покрывает забвением то, что не легко вспоминать. Все же я оставляла папу и маму в независимой Грузии, мы могли переписываться, мы могли снова увидаться...

В Батуме, не успела я сесть на пароход, как пришла ужасная весть, что Тифлис взят большевиками. Наш небольшой пароход заполнился беженцами (не платящими за свои места!). Передо мной встал мучительный вопрос: ехать ли дальше или вернуться к моим родителям, ведь наша разлука могла теперь быть навеки! Я решила ехать! Во время плавания я сидела все время одна на высоком узком носу «Сиркасси», глядя как он разрезал синюю гладь, и не оглядывалась назад...

Это решение определило судьбу всей нашей семьи. Я смогла позже помочь моим родителям вырваться в Европу. Сестра моя тоже присоединилась к нам.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

# ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВНЕ РОДИНЫ

*Н. Зернов*

Рано утром 2 марта 1921 года красавец крейсер Калипсо плавно вошел в узкий и извилистый Босфор. Мы с волнением и восхищением смотрели на его причудливые берега с их крепостями, дворцами и садами. Вскоре показался и сам город, раскинутый подобно Риму на семи холмах, украшенный куполами мечетей и стройными силуэтами минаретов. Весь рейд был усеян пароходами, среди которых выделялись грозные контуры военных судов. Между ними беспрерывно сновали катера и колесные пароходики, перевозившие людей из Константинополя в Скутари и на Принцевы Острова. Мы были поражены открывшейся перед нами единственной по своей красочности панорамой. Ее необычайность еще более усилила чувство тревоги, охватившее меня и моих родителей. Мы старались предугадать, что могло нас ожидать в этом чуждом восточном мире. Испытав уже в Тифлисе и голод, и холод, мы боялись попасть в еще худшие условия в этой незнакомой стране, без языка, без средств к существованию. Мы начинали нашу жизнь в изгнании нищими, бесправными, бездомными.

Действительность оказалась к нам более милостивой, чем я опасался. Перед самой нашей высадкой кто-то из англичан дал нашему отцу 50 турецких лир, сестра Соня тоже получила 5 английских фунтов *. Таким образом нам были обеспечены кров и еда хотя бы на несколько первых дней. После споров и расспросов мы решили искать пристанища в самом городе, а не на островах, где, как нам говорили, было легче и дешевле найти помещение.

Военный катер быстро доставил нас на пристань Галаты. Матросы ловко перенесли наш багаж на берег. Могло казаться издали, что на этом нарядном катере, под британским вымпелом прибыли знатные иностранцы, но в действительности в бурный поток восточной толпы были выброшены шестеро растерянных русских беженцев, одетых в старомодную одежду и нагруженных неуклюжими мешками.

Галатская пристань, где мы очутились, служила одновре-

---

* См. ее рассказ об этом в главе двенадцатой.

менно одной из коммерческих артерий города. У нас кружилась голова от разницы между только что покинутым умирающим Тифлисом и всем тем, что теперь окружало нас. Там были пустые улицы, заколоченные окна магазинов без товаров, бедно одетые люди, очереди перед лавками с съестными припасами, здесь же мы закрутились в красочном, шумном водовороте. Вокруг нас были красные фески турок, черные чадры турчанок, бурнусы арабов. Греки, негры, армяне, левантийцы, и представители всех европейских наций проходили мимо нас. Звенели трамваи, гудели автомобили всех цветов и марок, торговцы зазывали своих покупателей, кофейни были полны народу, всюду были горы товаров, поражало обилие и разнообразие плодов земли. Краски, звуки, запахи, движение, жизнь во всех своих проявлениях дурманила нас. Наши глаза разбегались от этого необычайного зрелища. Особенное впечатление произвели на меня военные патрули союзных держав. Стройно маршировали, как будто проглотив аршин, высокие британцы, быстро семенили ногами подвижные французы; почти бегом проходили итальянцы, тут же были и американские и греческие матросы.

Нас сразу окружила толпа подозрительных личностей. На всевозможных языках они стали предлагать нам свои услуги и хватать наши мешки. Мы решительно отказались от их помощи. Когда они оставили нас в покое, мы могли обсудить наши планы. Было решено, что отец и Соня пойдут разыскивать нашего двоюродного брата Анатолия Зернова, а остальные будут ждать их возвращения. Ожидание длилось долго. Недалеко от нас находилась английская база. Какой-то сердобольный англичанин, с повязкой Красного Креста на рукаве, заметил нас и принес нам крепкого английского чая. Он посоветовал нам сдать на хранение наши мешки в их базу. Это участие совершенно незнакомого человека очень ободрило меня. С самого начала нашего бегства из Тифлиса англичане проявляли исключительное доброжелательство к нам, совершенно бескорыстно оказывая нам всевозможную помощь.

Наконец, наши вернулись. Мой двоюродный брат ограничился общими советами, но также дал адреса некоторых из наших старых знакомых, которым удалось эвакуироваться из Крыма. День уже клонился к вечеру, надо было искать ночлега. Какой-то тип, говоривший по-русски, уверил нас, что может указать нам дешевую комнату недалеко от пристани. Мы решили довериться ему. Он отвел нас в грязный, подозрительного вида отель. После долгой торговли хозяин согласился пустить нас всех шестерых в одну комнату за 2 лиры в ночь. Это было дешево, а для нас это было самое главное. Вскоре, усталые от всего пережитого, в тесноте, но все вместе, мы погрузились в крепкий сон. Так началась наша жизнь за рубежом.

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

# НАША ЖИЗНЬ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ И РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ

*Н. Зернов*

На следующий день мы все с раннего утра кинулись разыскивать знакомых и собирать сведения о том, как русские живут в этом необычайном городе. Советы и сочувствие, как старых так и новых друзей, помогли нам. Мы получили карточки на бесплатные обеды, обещания достать нам временную работу, а главное нашей матери удалось вскоре найти нам помещение в центре города. За 65 турецких лир в месяц мы сняли комнату и чердак в квартире русского зубного врача Вальтера. Главным преимуществом нашего устройства была возможность для моего отца принимать больных в кабинете хозяина, когда он работал в клинике. О нашем приезде скоро узнали бывшие пациенты отца, его врачебная практика стала развиваться, остальные члены семьи тоже начали подрабатывать, мой брат получил стипендию в русской гимназии. Мы могли существовать.

Семь месяцев в Царьграде были самым фантастическим периодом нашей жизни в изгнании. Мы, как и большинство русских беженцев, не чувствовали почвы под ногами, мы жили в каком-то нереальном мире. Ни турки, ни греки не существовали для нас; за все это время мы не познакомились ни с одним местным жителем. Мы были всецело погружены в русскую стихию.

Наша внешняя обстановка соответствовала тому бивуачному положению, в котором находились все наши знакомые. Мы ютились в небольшой комнате с одним окном, выходившим на двор. Большая часть ее была занята двумя двуспальными кроватями, на которых спали мои родители и мы с братом. Посреди комнаты стоял большой стол, это было все ее убранство. Сестры спали на чердаке под самой крышей. Летом мы все страдали от жары. Чердак раскалялся от солнца, свежий воздух не проникал к нам со двора. Другим нашим бичом были клопы. Старые, деревянные дома кишели ими, мы вели постоянную и бесплодную борьбу с ними. Наша комната служила нам не только спальней, она была также и нашей кухней и столовой, больше того — она была и нашей гостиной, где мы принимали все растущее число гостей. Вспо-

миная прошлое, мне теперь трудно представить, как мы могли выдерживать их непрерывный поток. Обычно у нас вечером собиралось три, четыре посетителя, но часто их было и гораздо больше. 17 сентября, в день именин матери и старшей сестры, у нас было 40 гостей, на этот раз нам пришлось просить наших хозяев разрешить принимать гостей в их гостиной.

Общество, собиравшееся у нас, было самое разнообразное. К нам приходили единомышленники нашего отца, либералы общественники, были церковные люди, с которыми мы познакомились уже в Константинополе, было и много молодежи, прошедшей через огонь и испытания гражданской войны. Все они неоднократно глядели в глаза смерти и теперь радовались своему избавлению от красных. Для русских бездомных людей, наше убогое и тесное жилище было местом отдыха и семейным очагом. Мы были рады всем приходящим, для каждого у нас был готов стакан чая, а главное у нас никогда не прекращалась живая, а часто и горячая беседа о России, о церкви, о значении Православия и о причинах неудачи Белого Движения. В эмиграции было много разных элементов; были и люди, вывезшие деньги за границу, были и те, кто проматывал свою жизнь в кабаках и притонах, были и циники и опустившиеся. Но наши друзья были иными — это была жизнеспособная, здоровая молодежь, любившая родину и готовая служить ей.

Мы встретились в Константинополе с основной массой русских изгнанников и они вдохновили меня. Когда я в первый раз попал на главную улицу Пера, меня поразила густая русская толпа. Русских было так много, что нас можно было принять за хозяев города. Казалось, что мечта славянофилов осуществилась и Константинополь стал русской столицей. Я с интересом вглядывался в эти русские лица. Подавляющее большинство составляла молодежь в самых разнообразных военных формах. Среди них было несомненно очень много одаренных людей, впоследствии обогативших жизнь тех стран, в которых они обосновались. На них лежал особый отпечаток культуры и света, это был цвет свободолюбивой России, это были люди, сделавшие свой выбор, не сдавшиеся на милость победителей, оставшиеся до конца верными своим убеждениям. Это придавало им силу и бодрость и какой-то особый, позже уже не повторимый подъем. Эмигрантские будни, плохо оплачиваемый труд, боль отрыва от родины, все это пришло позже. В Константинополе русские еще не были беженцами, они были частью России, временно, как многим казалось, оказавшейся на берегу Босфора.

В 1921 году была еще Русская Армия в Галлиполи, был и ее главнокомандующий — генерал Врангель. Среди союзных дредноутов, крейсеров и миноносцев, стоявших на рейде,

выделялся красивый силует яхты « Лукул », резиденции генерала. На корме Лукула гордо развевался Андреевский флаг. Рядом с Лукулом находился штаб главнокомандующего, помещавшийся на пароходе « Великий Князь Александр Михайлович ». Насколько Лукул был строен и подтянут, настолько его сосед выглядел неряшливо и печально. Генерал Врангель олицетворял героизм Белой Идеи. Его присутствие ободряло всех. Он редко сходил на берег, но каждый раз когда мы встречали его, мы чувствовали радость и гордость, что он и его верные галлиполийцы не сломились под тяжестью поражения и продолжают дело защиты чести Родины, начатое генералом Корниловым и его доблестными соратниками.

В центре всеобщего внимания была тогда армия, находившаяся в Галлиполи. Она все еще представляла военную силу, с которой многие считались. Говорилось о ее переброске в Венгрию или на Балканы. Кронштадтское восстание подняло дух у многих, оно указывало на продолжающееся сопротивление большевикам в самой России и возобновление вооруженной борьбы не было исключено.

Состав русского Константинополя был исключительно разнообразен, в нем были представлены все народности юга; грузины, армяне, татары, донское, кубанское, терское и уральское казачество, караимы, евреи и горцы Кавказа. Политические деятели были смешаны с бывшими дипломатами, спекулянты с учеными, промышленники с лицами свободных профессий, но большинство все же была молодежь студенческого возраста, офицеры и солдаты разбитой армии. Город был полон всевозможными учреждениями и организациями, одни из них были эвакуированы из Крыма, другие начали возникать уже в изгнании. Красный и Белый Крест, Земгор, Академическая Группа, Союз Нефтепромышленников и различные политические организации занимали среди них видное место. Все они еще жили по инерции, надеясь возобновить свою деятельность на родной земле.

Трудно теперь представить, как существовали все эти бездомные русские. Найти постоянный заработок было почти невозможно, турки были готовы выполнить за гроши любую физическую работу. Но русские не погибали, как-то умудрялись не умереть с голоду. Помогали бесплатные обеды, выдававшиеся Международным Красным Крестом. Торговали газетами, марками, старыми вещами, вывезенными из России, где-то подкармливались, где-то ночевали, делились своими скудными средствами друг с другом. Еда стоила дешево; с началом теплой погоды, можно было спать на открытом воздухе. Всякий хотел отложить заботу о завтрашнем дне. Только ближе к осени настроение стало меняться.

Русские потянулись на запад, кто подписал контракт на работу на заводах во Франции, кто смог уехать в Париж,

многие получили стипендии в чешских университетах, кто добыл визы на въезд в Югославию или в Болгарию. Константинопольская эпопея подходила к концу. Русский Царьград рассеялся как призрак, но было время, когда этот город принял изгнанников в свое лоно, как своих долгожданных гостей. Он, как и мы, был унижен и поражен. Восток привык к нищим, может быть поэтому и русские чувствовали себя более дома на берегах Босфора, чем в благоустроенных и процветающих городах Запада.

К этому последнему периоду нашей жизни в Турции относится наше знакомство с семьей Клепининых и с их родственницей Анной Николаевной Гиппиус (1881-1942) [1]. Оно оставило большой след в нашей жизни. Оба брата Клепинины были замечательными людьми и сыграли роль в судьбах эмиграции. Старший Николай Андреевич (1899-1939) был конногвардеец, талантливый и высоко образованный человек [2]. Его жизнь оборвалась трагически и преждевременно: он присоединился к крайне левому крылу Евразийцев. Вместе с Эфроном, мужем Марины Цветаевой (1892-1941), он был вовлечен в убийство, организованное советскими агентами, и они оба принуждены были, спасаясь от ареста, бежать в Советский Союз. Эфрон был там расстрелян, Клепинин погиб в концлагере. Второй сын Дмитрий (1904-1943) тоже погиб в концлагере, но не в советском, а в немецком. Он не обладал блеском своего брата, но у него были иные качества. Он был человеком кристальной чистоты и исключительного мужества. Он принял священство. Во время оккупации немцами Парижа он начал помогать гонимым евреям. Арестованный, он мог спасти свою жизнь, обещав прекратить свою запрещенную деятельность, но он отказался это сделать. Умер он от истощения в немецком концентрационном лагере накануне своего возможного спасения. Молодые Клепинины и их друг, Игорь Иванович Троянов (род. 1900-), тоже принявший впоследствии священство, жили нашими интересами и разделяли наши взгляды. Мы близко сошлись с ними и решили вместе ехать в Сербию. Мы образовали религиозно-философский кружок, который собрал вокруг нас живых церковных людей. Мы возобновили наше знакомство и с Александром Викторовичем Ельчаниновым и его женой Тамарой и с Елизаветой Юрьевной Скобцовой, которые произвели на нас такое сильное впечатление в Тифлисе. Не хватало времени и сил ближе узнать тех одаренных людей, которых мы встречали вокруг церкви. Наш отъезд в Сербию оторвал нас от них. Большинство из них уже не встретились с нами в этой жизни.

---

[1] Примечание. А. Н. Гиппиус, сестра Зинаиды Гиппиус, (1869-1945) написала «Житие Св. Тихона Задонского». УМСА-Press, Париж. Б. Д.

[2] Примечание. Н. Клепинин. «Св. Князь Александр Невский». УМСА-Press. Париж. 1927.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

## ЦАРЬГРАД В 1921 ГОДУ

*Н. Зернов*

Мы жили в Константинополе в русской замкнутой среде; все наши интересы были сосредоточены на судьбах России. Но ни я и никто из наших знакомых не мог избежать встречи с этим изумительным, неповторимым городом. Мы попали в Царьград в один из необычайных моментов в его длинной и трагической истории, полной разительных контрастов. Он все еще был столицей, но уже исчезнувшей империи; султан продолжал жить во дворце, его министры занимали свои посты, но ни он, ни они уже больше никем не управляли. Власть принадлежала союзникам, их патрули обходили побежденный город, их флаги победоносно развевались над главными зданиями. Никто не знал, что ожидает Царьград, будет ли он возвращен туркам, станет ли он вольным городом или столицей возрожденной эллинской империи. Но пока кто-то и где-то занимался его судьбой, сам город продолжал жить своей кипучей жизнью.

Мы успели застать последние следы его вековой славы, столицы оттоманской империи. Временная оккупация союзниками придала ему особый хотя и обманчивый блеск, а присутствие русских изгнанников подчеркивало превратность судьбы народов — то победителей, то побежденных.

Сам город разделялся на несколько резко отличных частей. Его сердце было в Стамбуле, заселенном преимущественно турками и почти еще не затронутом европейской цивилизацией. Стамбул был сказочный город. Он был застроен высокими деревянными домами, с резными решетками на окнах, закрывавшими от нескромных взглядов их женских обитательниц. Его узкие улицы следовали прихотливому узору, то упираясь в тупики, то неожиданно оканчиваясь у входа в мечети. Его гордостью и украшением были эти величественные здания, с огромными куполами и высокими минаретами. Их окружали просторные дворы, с фонтанами посередине и с крытыми галереями. В них царила молитвенная тишина и отрешенность от суеты и забот мира. Молчаливые фигуры турок сидели и лежали под их аркадами, наслаждаясь прохладой их сводов. Даже знаменитые крытые базары не нару-

шали спокойствия города. В их полумраке тонул шум толпы, острые запахи пряностей и восточных ароматов уносили в далекое прошлое, в нишах стен и в глубине своих лавок виднелись молчаливые торговцы, курившие кальян и изредка обменивавшиеся замечаниями со своими посетителями. Стамбул никуда не спешил, над ним все еще веял дух пораженной Византии. Величественные стены Второго Рима еще окружали город. В центре его по-прежнему возвышалась Айя София с ее уносящимся в высь сводом, этим непревзойденным достижением архитектуры. О той же славе христианского искусства говорила Кахрие Джами. Работы по очистке и реставрации ее фресок не были начаты в наше время, но и то немногое, что было доступно зрению, позволяло судить о исключительной силе творчества, которым обладала Византия накануне ее разрушения полчищами магометан.

Длинный галатский мост соединял Стамбул с Пера и Галатой. Он был переходом между двумя отличными мирами, повиновавшимися разным ритмам. Стамбул был погружен в созерцание прошлого. Пера и Галата жили сегодняшним днем. Стамбул остановился в раздумьи, Пера и Галата неудержимо неслись вперед, стараясь обогнать друг друга. Их улицы кишели международной толпой, все куда-то спешили, что-то покупали и что-то продавали.

Всюду были крики, толкотня и неразбериха востока.

Эти контрасты между различными частями Константинополя рождались из-за противоположных характеристик его населения, в особенности турок и греков. Насколько последние были подвижны, шумливы, предприимчивы и упоены своей победой, настолько турки держали себя со сдержанным спокойствием, не заискивая у союзников, но и не проявляя к ним видимой враждебности. Они, казалось, готовы были принять с фатализмом решение своей участи, полагаясь на неисповедимую волю Аллаха. Греков они презирали и не пускали их, ни в Айю Софию, ни в свои мечети. К русским, наоборот, они были дружески расположены. Мы могли беспрепятственно посещать все мечети и созерцать величие храма Премудрости Божьей. Мы часто слышали от турок слова: « туркрусс кардаш », то есть, что мы братья. Мы были действительно братья по несчастью, разбитые и униженные среди ликующих победителей.

Мне хотелось понять турок, этих вековых врагов Православной Церкви. Их лица отличались простотой и даже душевной чистотой, но у них отсутствовала духовность. По сравнению с ними христианский мир был неизмеримо сложнее и богаче как в своих взлетах, так и в падениях.

Символом оккупации города и ее видимым доказательством служили военные корабли, стоявшие на рейде при входе в Босфор. Они ярко выражали национальные особенности союз-

ных держав. Английские гиганты сияли на солнце своей безукоризненной чистотой. Казалось, что ни одна пылинка не смела сесть на их начищенную поверхность. Французские и итальянские суда во многом уступали в чистоте английским, еще более по-домашнему выглядел греческий крейсер « Аверов », на палубе которого матросы сушили свое белье.

Я был покорен Царьградом, старался впитать в себя аромат его жизни и понять его вековую тайну [1]. Когда у меня было свободное время, я отправлялся на исследование города. Плана у меня не было, я еще не был знаком с профессией туриста, но зато у меня был бесплатный проезд на трамваях. Русские в военных и полувоенных формах имели эту привилегию, которой пользовался и я. Обычно я просто ехал до конца линии, трамвай привозил меня или к зеленым, холмистым берегам Босфора, с его свежим морским ветром и ослепительным блеском темно-синих вод, или к старым крепостным стенам. Там город оканчивался сразу. Пройдя под сводом башен, я попадал в совсем другой мир, где царила тишина, аромат трав и жужжание пчел. Бури и революции нашего времени казались такими мимолетными около этих огромных вековых укреплений. Душа отдыхала около этой нетронутой природы после тесноты и постоянного напряжения нашей жизни, после щумной, душной и пыльной Пера.

В самом Стамбуле было тоже много тихих мест. Глухие, турецкие кладбища с покосившимися памятниками говорили о вечности. О том же напоминали незастроенные кварталы, поросшие дикой травой, которые встречались в самых неожиданных местах столицы. Они были результатом самообороны города против постоянной угрозы пожаров. Узкие улицы, высокие деревянные дома, загоравшиеся как сухие спички, делали борьбу с огнем невозможной. Для того, чтобы спасти Стамбул от возможного уничтожения, правительство запрещало строить на месте пожарища, погорельцам взамен давалась земля в других частях города. Таким образом пустыри служили препятствием для распространения огня. Они придавали Стамбулу особую меланхолическую задумчивость. [2]

---

1 Прим. Таким был Царьград, когда толпы русских бездомных изгнанников встречались на каждом углу улиц. После второй мировой войны мне пришлось несколько раз побывать в Константинополе. Я увидал совсем другой город. Узкие романтические улицы сменились широкими и прозаическими проспектами, исчезли и высокие деревянные дома. Вместо столицы, Константинополь сделался провинциальным городом с потугами на современность. Только море да небо, да величавые стены остались все теми же. Они продолжали говорить своим безмолвным языком о былом величии Царьграда.

2 Прим. Кроме пустырей, жители города имели и другие средства для борьбы с пожарами. Одним из них были ночные сторожа. Они обходили улицы города и, в случае пожара, будили спящих, выкрикивая районы города, где загорелся огонь. Мы часто просыпались от этих

Но конечно, очарование города заключалось не только в его памятниках архитектуры, его узких улицах и тишине мечетей, но и в поразительной панораме, с которой ничто не могло сравняться во всей Европе. Вид на Босфор, на Принцевы острова, на азиатский берег и Скутари поражал, пленял и вдохновлял. Константинополь был действительно город-царь, единственный, неповторимый, так что даже бездомный изгнанник мог чувствовать себя приобщенным к его славе. Для меня же, кроме всего остального, Царьград был еще и древним центром Восточного Православия. Я искал в нем остатки его святынь, я хотел в нем глубже понять истину нашей Церкви, но странно, она открылась мне не в ее греческом воплощении, а в русском, которое нашло свое временное пристанище в бывшей столице Византии.

---

мрачно звучащих криков: «Огонь, огонь»! («Янгын вар»). Были в Константинополе и пожарные, но совсем не похожие на европейских. Мы часто видели их. Почти голые и босые, они быстро бежали к месту несчастья, помогая себе ритмическими возгласами. На плечах они несли небольшие насосы, а в руках у них были топоры и другие инструменты. Их главной целью было не столько тушение пожара, сколько разрушение соседних зданий, для предотвращения распространения огня. У них была репутация ловких грабителей и жители боялись их не меньше самого пожара. Звали их Тулумбаджи.

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

# ЕПИСКОП ВЕНИАМИН СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ

*Н. Зернов*

Приехав в Константинополь, мы — молодежь — сразу стали знакомиться с церковной жизнью в этом временном центре русского рассеяния. Мы впервые встретились там со всем разнообразием внутри православных течений. Много помог нам разобраться в них наш новый знакомый Тихон Александрович Аметистов (1884-1941), часто бывавший у нас. Полковник генерального штаба, он до войны окончил Петербургскую Духовную Академию. Остроумный рассказчик, он был хорошо знаком с бытом и настроениями духовенства. Его меткие и иногда критические характеристики иерархов, его описание синодального управления открыли перед нами те стороны церковной жизни, о которых мы до сих пор не имели никакого представления. [1]

В то время в городе было 6 русских церквей: посольская, при госпитале в Харбие, при русской гимназии в Топ-Хане, и три часовни на верхних этажах Афонских подворий: Пантелеймоновского, Андреевского и Ильинского. Все эти храмы были полны молящимися. Потрясенные катастрофой, потерявшие свою родину, русские искали в церкви утешение и ободрение. Она оставалась частью родной земли, их последней связью с отчизной.

Возглавляли церковную жизнь в Константинополе несколько выдающихся архиереев и ряд даровитых священников.

В посольской церкви, куда собиралось высшее общество, царил Архиепископ Анастасий Кишеневский (Грибановский 1873-1965). Это был подлинный князь церкви. Он высоко держал епископское достоинство, его службы отличались особенной торжественностью, но сам он мало соприкасался с массой беженцев. Его противоположностью был епископ Дамиан Царицынский Говоров (умер в Болгарии в 1936 г.) Он служил в Харбийской церкви, где вскоре образовался при-

---

1 Примечание. Впоследствии Т. А. Аметистов заведовал епархиальными делами в Париже, при митрополите Евлогии (Георгиевском) (1868-1946), и принимал деятельное участие в спорах об юрисдикциях, которые возникли в зарубежной церкви. Он издал книгу: « Каноническое положение Православной Русской церкви за границей ». Париж, 1927.

ход, объединивший казачество и менее образованные круги эмиграции. Сам еп. Дамиан был типичным провинциальным архиереем, снискавшим популярность в этой среде. Архиепископ Феофан Полтавский (Быстров) (1873-1943) был ученый аскет, отрешенный от мира. Со склоненной вниз головой, с едва слышным голосом он иногда служил на одном из афонских подворий. Казалось, что он не замечает окружающих и весь погружен в молитву. От него исходила только ему присущая сила, которая приковывала внимание к этому хилому старцу. Так же аскетически был настроен епископ Серафим Богучарский (Соболев), который был, однако, гораздо моложе архиепископа Феофана. Он вскоре уехал в Болгарию, где окормлял русские приходы до своей смерти в 1949 году.

Все эти епископы произвели на нас большое впечатление своими различными дарованиями, но покорил нас епископ Вениамин Севастопольский Федченко (1882-1962). Когда я встретил его, ему было 39 лет и он был в расцвете своих сил. Происходил он из деревенской среды и, несмотря на свое академическое образование, внешне напоминал русского крестьянина. У него было широкое лицо, небольшая русая борода и очень светлые голубые глаза. Было в нем спокойствие, внутренний ритм мужика-хозяина. Чувствовалось, что его предки жили около земли, сеяли, пахали, косили. Это же выражалось во всех его движениях, в его руках, слаженных, аккуратных, в устремленности его походки. Было в нем что-то легкое и веселое. Он был весь собранный, но порывистый, а иногда прорывался в нем экстаз, как будто разверзалось перед ним небо, — тогда он устремлял свой взгляд в надмирное и голос его начинал звучать по особому, почти пронзительно.

Он был талантлив. Иконописец и церковный поэт, он был также увлекательный рассказчик, уносивший своих слушателей в мир чудес, знамений и духоносных прозрений. В манере его повествований была контрастность, он переходил от одной краски к другой и увлекал людей самых разных толков: молодежь, ученых, богословов, интеллигентов-радикалов, а также и иностранцев. Для них он был воплощением русского старца, знакомого им по литературе. Он был еще и вдохновительным регентом, загоравшимся церковным пением и зажигавшим других; под его руководством всякий церковный хор неуловимо подчинялся и нужному ритму и нужному духу. Он нам рассказывал, как однажды, во время пасхальной заутрени, мальчики, певшие в хоре под его управлением, стали приплясывать в такт победоносного пасхального канона.

Владыка Вениамин принадлежал русской земле, со всей ее полярностью. Он то подымался к небу, то погружался в глубины народной стихии. В нем было что-то и от старца и от демагога. Он не только увлекал других, но и сам увлекался

той силой, которая давалась ему над его слушателями. Он жил церковью, ей посвятил он все свои силы. Вера у него была подлинная, всецелая. Может быть, самым большим его даром была его пастырская ревность о людях. Он умел с теплым, личным вниманием встречать человека и принимать нужды других в свое горячее, отзывчивое сердце.

Несмотря на все свои выдающиеся способности, владыка не оказался строителем церкви за рубежом. Он, как метеор, пролетел над нею. Не умея и не желая посвятить себя будничной работе, он с огнем и энтузиазмом отдавал себя различным заданиям, но не доканчивал ни одного из них. Его деятельность отличалась неожиданными зигзагами: то он возглавлял оппозицию крайним монархистам на первом Карловацком соборе в 1921 году, то он был настоятелем строгого монастыря в Петковице, то законоучителем в кадетском корпусе в Югославии, то руководил униатами, вернувшимися в лоно православия в Карпатской Руси, то был ректором Богословского Института в Париже, а затем там же представителем местоблюстителя Сергия (Старогородского, 1861-† 1944) для Европы. Переехав в Америку он стал его Экзархом. Во время второй мировой войны он отдался порыву патриотизма и после ее окончания вернулся на родину. Там он переменил несколько епархий из-за столкновений с советской администрацией. Начал он с Риги (1948-52), потом был переведен в Ростов (1952-53), а оттуда — в Саратов (1954-57). Кончил он свою жизнь в Псково-Печерском монастыре. В своих исканиях лучшего служения церкви и России он метался от одной крайности к другой.

Когда я познакомился с ним в Константинополе, у него было много врагов и много почитателей. Одни не могли простить ему его несбывшихся пророчеств о возрождении России, которые вдохновляли его проповеди в Крыму, другие осуждали его за его критику Врангеля, после поражения Белых Армий, тогда как раньше он восхвалял главнокомандующего. Для меня, однако, были важны не его политические убеждения, а тот образ подлинного пастыря церкви, который я нашел в нем.

Только раз в моей жизни я встретил человека, которому я готов был отдать себя всецело на послушание. С первого нашего разговора он стал для меня учителем и наставником. Я ждал с волнением каждой нашей встречи, каждое его слово глубоко западало в мою душу. То, о чем я мечтал со времени моего сознательного прихода к вере, наконец осуществилось — я нашел старца. Но Владыка отказался им быть для меня и наши отношения сложились по линии дружбы между учителем и учеником, а не по линии старца и послушника. Владыка не хотел лишать меня моей свободы, он не старался переубеждать меня, но общение с ним постепенно

расширило мой горизонт, сделало более терпимым и убедило в необходимости получения высшего богословского образования. Теперь я вижу всю мудрость этого отношения. С помощью Владыки, я также познакомился в то время с реальностью церковной жизни, с ее практическими задачами и с неизбежными в ней конфликтами.

Владыке же я обязан началом моего интереса к западному христианству. Сам он не был экуменист, но у него был живой ум, с присущей ему открытостью на все стороны жизни, он хотел ближе узнать инославие. С этой целью он одно время даже поселился у иезуитов. Посещая его там, я встретил отца Станислава Тышкевича (1887-1962). Он был первый римо-католический священник, с которым я познакомился. Вначале я отнесся к нему с большим подозрением, считая, что все иезуиты должны быть врагами Православия. Постепенно, однако, я переменил мое мнение, убедившись в его искреннем желании помочь русской молодежи. Мое невежество всего касающегося западного христианства было в то время так велико, что я был искренно удивлен, узнав от Тышкевича, что Римская Церковь часто канонизирует новых святых, многие из которых принадлежат к азиатским и африканским народностям.

Многому я научился у епископа Вениамина, но больше всего я ему обязан тем, что он заинтересовался мною и помог мне найти внутреннее равновесие в тот критический переходный момент, когда все мы, оторвавшись от Родины, напряженно искали основы, на которой мы могли бы строить нашу новую жизнь за рубежом.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

# ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ

*Н. Зернов*

## Церковное Собрание (« Собор »)

Епископ Вениамин был в центре церковной жизни в Константинополе. Он часто служил, много проповедовал, устраивал религиозные собеседования. Вокруг него группировалось все наиболее живое и одухотворенное среди русских. Ему же пришла мысль созвать « собор » и начать пастырские курсы. Благодаря моей близости с ним я принимал самое горячее участие во всех этих начинаниях. Это был мой первый опыт церковно-общественной работы.

В среду 22 июля 1921 года, после торжественной литургии, отслуженной в греческой церкви Св. Троицы на Пера епископом Вениамином и греческим митрополитом, открылся собор, или вернее съезд русского духовенства и мирян, находившихся в Константинополе и его окрестностях.

Первое собрание было устроено в греческой консерватории, на нем присутствовал генерал Врангель и все видные представители русской колонии. Дальнейшие заседания происходили в Харбие. Председательствовал епископ Вениамин. Он был душой съезда, задачей которого было подготовить программу для всеэмигрантского собора, предполагавшегося к созыву осенью того же года. Это совещание проделало полезную работу. Были заслушаны сообщения с мест, был утвержден приходской устав, признана необходимость открытия высшей богословской школы, одобрена организация церковных общин и намечена программа работы для духовного возрождения России. Этот последний вопрос возбудил особенно живые и даже страстные прения. Самое сильное впечатление на всех произвели выступления Владимира Николаевича Ильина (род. 1891), впоследствии игравшего большую роль в интеллектуальной и духовной жизни русского Парижа. Перед нами был человек всесторонних знаний, блестящий оратор, умевший выставлять слабые стороны своих противников. Он захватил мое воображение, я никогда раньше не слыхал подобных речей. Он говорил, весь извиваясь телом, то странно закидывая голову назад, то склоняясь в сторону.

Его остроумная и беспощадная критика материализма, его защита свободы Церкви от контроля государства помогли мне оформить мои мысли на эти же темы.

Другим видным членом собрания был Иоасаф Всеволодович Никаноров († 1939). Он недавно приехал из Петрограда и постоянно ссылался на свой опыт работы там в организации союза приходов. В начале революции союз приходов представлял большую положительную силу. Приходы были выражением церковно-общественной самодеятельности и пользовались особой популярностью в рабочих районах столицы. Они были разгромлены большевиками вместе с убийством Петроградского митрополита Вениамина (Казанского) в 1922 году.

Большие споры на съезде вызывали противоречивые сведения о духовном состоянии Галлиполийцев. Некоторые священники, приехавшие оттуда, описывали настроение армии в героических тонах, другие, наоборот, говорили о моральном упадке и разложении людей, живущих в тягостном бездействии и полном незнании своего будущего.

Интересен был доклад архиепископа Евлогия, рассказавшего съезду о своем участии в международной интерконфессиональной конференции в Женеве в 1920 году. Его сообщение открыло передо мной новый мир экуменического движения. Он пробудил во мне интерес, который занял впоследствии первенствующее место в моей жизни.

Съезд закончил свою работу 4 июля. В середине его заседаний было организовано паломничество к священному источнику в Балуклии. Там была отслужена литургия, после которой все причастники имели общую трапезу. Это был чудесный день, полный света и вдохновения. В первый раз мы все встретились с православными греками, которые с теплым радушием приняли и угощали нас. Это паломничество также помогло созданию внутренней связи среди членов совещания. Мы все сблизились друг с другом, почувствовали себя едиными через приобщение Святых Таинств. Когда жара спала, паломники пошли с пением молитв в Влахерн, освященный явлением св. Покрова Божией Матери. Велико было удивление турок, видевших впервые процессию христиан, свободно поющих свои песнопения на улицах города, покоренного Исламом. Духовный подъем, вызванный церковным съездом, сделал возможным устройство пастырских курсов в Константинополе.

## Пастырские Курсы

Запись на курсы была открыта 14 сентября 1921 года. Владыка Вениамин поручил мне записывать свои впечатления о кандидатах и я в течение двух дней делал это. Передо мной прошло около 70 человек. Моя оценка их в большинстве случаев совпадала с той, которую делал сам инициатор курсов.

В конце каждого дня мы сравнивали наши заключения. Это был для меня ценнейший опыт, я познакомился с теми русскими, которые хотели посвятить себя служению церкви.

Сорок человек было принято на курсы, двадцати семи было отказано в приеме. Я разбил неудачников на две группы: меньшинство (5) были опустившиеся личности, неизвестно почему захотевшие попасть на курсы. Остальные же производили впечатление людей, желавших найти заработок при церкви, но духовно равнодушных. Среди них было несколько семинаристов. Они казались еще более других закрытыми к идейному служению христианству.

Принятые отличались большим разнообразием: десять из них имели высшее образование, шесть, совсем молодых, только что окончили среднюю школу, девять имели лишь низшее образование. На курсы записались также семь женщин. А мотивы и ценз остальных, принятых на курсы остались для меня неопределенными.

Эти цифры показательны. Они указывали на начавшийся перелом в отношении к религии среди интеллигенции. Все чаще те, кто раньше отрицательно относился к церкви, готовы были служить ей и принять сан священника. Русская эмиграция получила многих лучших своих пастырей из лиц с высшим образованием, до революции принадлежавшим к самым разным профессиям.

Занятия на курсах начались 22 сентября с большим подъемом. Я с увлечением слушал лекции. Преподавали нам: епископ Вениамин, Ильин, Никаноров и несколько священников. Однако успех курсов длился недолго. Владыка вскоре уехал в Сербию. Его преемник протоиерей Григорий Ломако (1884-1959), будущий настоятель Александро-Невского собора в Париже, переменил и название и дух курсов и они быстро захирели. Это произошло уже после нашего переезда в Югославию.

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

## КОНСТАНТИНОПОЛЬ И ГАЛЛИПОЛИ

*С. Зернова*

Константинополь тогда был самым необычайным городом мира; такой же была наша жизнь в нем.

Материально, вначале нам было очень трудно. Мы продали кольцо с большим сапфиром, получали бесплатный паек на питательном пункте, устроенном « союзниками ». Но скоро мой отец получил работу врача в Белом Кресте и каждый из нас начал как-то зарабатывать. Моя сестра водила гулять двух греческих девочек. Она очень горячо относилась к своим обязанностям, заранее обдумывала темы для их разговоров и приучала их к церковным службам. Ее питомицы горячо ее полюбили.

Мы жили в Константинополе, как в каком-то дурмане. Все мы были опьянены фантастической красотой города, весной, молодостью, свободой; мы вырвались от смерти к жизни, но смерть была еще так близка, что казалось, что эта жизнь должна опять оборваться, что она нам дана на краткий миг, который надо прожить, не пропустив ни одного мгновения.

Мы жили бедно, но широко и гостеприимно, у нас была семья и она была как магнит, который всех притягивал. К нам приходили каждый день, наша мать всех принимала, всех кормила. Говорили только о России, пели только добровольческие песни. Какой молодостью и силой звенели все голоса, как каждый из нас верил, что так это не может кончиться, что жизнь и смерть слишком переплетены в судьбе каждого из нас, и каждый был готов идти опять на смерть за Россию ! Все эти офицеры и добровольцы Белой Армии были мальчики, которые в мирное время были бы еще гимназистами и студентами. Для всех нас, как и в Грузии, центром нашей жизни была церковь. В ней был источник сил.

Часто мы, молодежь, большой гурьбой устраивали прогулки, ездили на острова, бродили по турецким базарам, заходили в мечети и снова и снова в прекрасный храм Айя София.

Один раз мы ушли большой компанией на целый день на прогулку. Когда мы вернулись, моя мать сказала мне, что приходили какие-то два господина и просили, чтобы она пока-

зала им свою дочь. Моя сестра была дома и вышла к ним. Они долго смотрели на нее, потом один из них сказал: « нет, не она », и спросил нет ли еще одной дочери, узнав, что есть вторая, он обещал прийти на следующий день и очень просил меня быть дома.

Они пришли на следующий день. Я открыла им дверь. Я с удивлением смотрела на них. Я их не знала. Один из них был уже пожилой, другой моложе, оба очень хорошо одетые и не выглядели беженцами, как все те, кто окружал нас. Более молодой мне очень обрадовался и быстро проговорил: « она, она, та самая . . . » Он смотрел как-то исподлобья и я не узнала его. Потом они быстро ушли, не захотели даже войти в комнату и оставили нас в недоумении. Они вернулись через несколько минут и принесли с собой огромное количество разных пакетов, полных сладостей, фруктов и вкусных вещей. У нас никогда еще не было такого пира.

Эти незнакомцы оказались Иван Федорович и его сын Константин Иванович Скрипинские, они были нефтепромышленниками из Баку. Иван Федорович давно уже жил в Константинополе и смог вывезти туда свое состояние, его сын был тот солдат, который сидел на скамейке в Батуме и которому мы с братом решились сказать, что англичане уезжают через полчаса. Он знал английского матроса на нашем крейсере и через него проник в трюм и выехал в Константинополь.

Иван Федорович подружился с моими родителями, он часто бывал у нас, но никогда не приходил без того, чтобы не принести какие-нибудь угощения. Константин Иванович просил, чтобы я давала ему уроки французского языка, это было нам большой финансовой помощью. Способностей у Константина Ивановича к языкам не было никаких, он оправдывал себя тем, что русскому гражданину излишне изучать основательно « басурманские » языки, и хотел только суметь заказать обед в ресторане, нанять комнату в отеле и спросить — как пройти на какую-нибудь улицу. Он был большой оригинал, высокий, плотный, сутулый, смотрел всегда исподлобья, говорил быстро и невнятно и обладал какой-то особенной деликатностью. На мои уроки он приходил исправно, никогда их не пропускал, но имел особую манеру платить мне за них. Деньги были всегда приготовлены в конверте, но этот конверт К.И. старался всегда положить незаметно или под книгу, или еще под какой-нибудь предмет, так, чтобы я этого не видела. Иногда, если это ему не удавалось, он долго держал руку в кармане пиджака и все не уходил, ожидая удобной минуты, когда я отвернусь и он сможет быстро сунуть куда-нибудь свой конверт. Его « деликатность » сразу передалась и мне и я, уже с начала урока переживала тот момент, когда ему придется прятать от меня плату за урок. Он краснел, смущался, я тоже краснела, смущалась и делала вид, что ничего не за-

мечаю. Меня он называл « Руфь » (кажется, это была героиня романа Джека Лондона — Мартин Идэн), но никогда ни о чем со мной не говорил и не вспоминал тот день, когда в Батуме я ему сказала об отъезде англичан.

Один раз я нашла в его конверте совсем не ту сумму, о которой он условился с моими родителями. На следующий день я приготовила ему конверт с лишними деньгами и решилась заговорить с ним об этом. Но он отказался их принять.

« Нет, нет, Вы их возьмите, — быстро говорил он, — это особые деньги; Вы теперь будете всегда их получать, когда у меня будут вечера, как вчера. Вы — как моя совесть. Я теперь так решил — когда я кучу, когда мы тратим и бессмысленно бросаем деньги, я потом, когда плачу счет, половину истраченного буду класть в конверт и буду приносить Вам, Вы раздавайте, кому хотите, Вы там знаете, кто нуждается. Не кутить — я не могу, а потом мучает совесть, так вот я и придумал такой выход, думаю — отнесу деньги ей, Руфь знает кому отдать, а мне на совести легче . . . »

С тех пор, после каждого кутежа К.И. я имела деньги, чтобы раздавать. Это было большое счастье — помогать незаметно тем, у кого не было ничего, кроме бесплатных « обезьяньих » консервов раз в день. С К.И. наши отношения после этого стали проще, и он уже не так старательно прятал под книгу свой конверт.

В нем и в его отце был тот купеческий размах, о котором нам рассказывали мои родители. Скрипинские и были купцами из Архангельска и только позже переехали в Баку. И говор их был какой-то особенный, на « о ». О своих кутежах он мало мне говорил, но вероятно он кутил широко, потому-что на другой день после кутежа его способность усвоить французский язык резко падала, а сумма в конверте очень возрастала.

Когда я теперь вспоминаю то время, мне кажется, что я опять там на солнечных улицах Константинополя. Какое странное свойство человека переноситься мысленно в прошлое и так ярко вновь ощущать прожитую жизнь. Вот снова я иду по этим улицам и ищу глазами тех, кто мне нужен. Там за углом будет стоять русский офицер, высокий и молодой, он продает фиалки. Мне стыдно за него, что он стоит в своей белой гимнастерке, и что у него погоны и что он « просит ». Я куплю у него фиалки и заплачу гораздо больше, чем они стоят, и я помогу еще многим и они оплатят свою комнату и обед и расскажут мне о своих горестях, и все это из-за Константина Ивановича и его кутежей . . .

Так, один раз вечером, когда у нас как всегда была молодежь, кто-то тихо постучал в дверь. Я пошла отворять. Передо мной стоял офицер в гусарской форме, высокий, подтянутый с очень милым, открытым лицом. Он хотел видеть

меня, но он не хотел войти. Он протянул мне письмо. Оно было адресовано ему. Там было написано: « если тебе будет очень плохо, пойди к Софии Михайловне Зерновой; я знаю, что если только у нее будет возможность — она поможет тебе ». Письмо это написал ему один из раненых, который отступал с нами по Военно-Грузинской дороге.

« Что я могу сделать для Вас ? » — спросила я.

Он объяснил мне, что приходит ко мне в последнюю минуту, когда он потерял надежду найти где-нибудь помощь. На следующий день утром уезжал в Египет английский пароход, который соглашался взять его без визы, если он принесет 25 фунтов. В Египте его ждала женщина, которую он любил, на которой он должен был жениться. 25 английских фунтов . . . Это была такая огромная сумма для меня . . .

«Я постараюсь», — сказала я, «придите завтра в 11 утра». На следующий день, рано утром, я побежала к моему ученику. Это было в первый раз, что я просила у него денег. Мне было очень трудно. Он посмотрел на меня, как всегда исподлобья, и спросил только: « к какому сроку » ?

Я шла домой и думала — неужели он достанет, неужели успеет, он даже не знает для кого эти деньги, он ничего не спросил, он, может быть, думает, что это для меня . . . »

Без четверти одиннадцать Константин Иванович был у меня. Я не успела как следует открыть дверь, он просунул конверт, маленький голубой конверт, и, не сказав ни слова, стал быстро спускаться по лестнице.

Ровно в 11 ч. пришел мой гусар. Я передала ему конверт. Он тоже не сказал ни слова, он только поцеловал мне руку и побежал, чтобы не опоздать, но я до сих пор помню его благодарный взгляд. Как много счастья может внести в нашу жизнь такой взгляд. А мое сердце было полно благодарности к моему странному угрюмому ученику.

Когда мы уехали из Константинополя, мы потеряли Константина Ивановича из вида. Наши пути разошлись. Спустя 12 лет, однажды я столкнулась с ним лицом к лицу на 5-ом авеню в Нью-Йорке. Какая это была радостная встреча ! Я не знала, в какую страну уехал он, и он не знал где были мы. Тогда, в каком-то маленьком ресторанчике мы сидели с ним, забыв время, и он рассказывал мне свою фантастическую жизнь.[1] Он уже не смущался тогда, только по-

---

[1] Примечание. Жизнь К. И. Скрипинского сложилась действительно необычайно. Попав в Америку он там потерял свое состояние во время знаменитой банковской катастрофы. Не зная английского языка, он стал зарабатывать на жизнь подметанием улиц в Нью-Иорке. Однажды одна американка уронила пакет, он догнал ее и подал ей потерянную вещь. В благодарность незнакомка попросила его зайти к себе, они познакомились и подружились. Вскоре они поженились. Брак оказался счастливым, но длился недолго. Жена вскоре умерла от рака, оставив К. И. значительное состояние. Когда я встретила его, он был снова одинок и потерян в огромном Нью-Иорке.

прежнему смотрел исподлобья. Но мы говорили, как настоящие друзья.

И того гусара я тоже встретила еще раз в жизни. Он был уже женат, работал в английской фирме и, по делам, приехал на три дня в Белград. В этот вечер один друг нашей семьи праздновал свои именины и пригласил меня, мою сестру и моих братьев в нарядный, вечерний ресторан. Там было оживленно и шумно, играл оркестр и мы все очень веселились. Среди обеда лакей принес и положил около моего прибора букет роз. Мои друзья сказали, чтобы он отнес их обратно, но я хотела видеть кто сидит за тем столиком, откуда мне прислали розы. Я увидала моего гусара и приняла цветы. Когда мы уходили, он ждал меня при выходе. Он сказал, что никогда не забудет, как он был у меня в Константинополе на улице Ага и как он бежал на пароход с голубым конвертиком в кармане. Этот конвертик решил его судьбу. Он хотел вернуть мне теперь эти деньги, но я просила отдать их комунибудь, кто нуждается. Я шла домой и думала: « Как все странно в жизни, почему именно сегодня он пришел в этот ресторан и почему именно сегодня пришла туда я ? Может быть, это случайно ? Но я думаю, что ничего случайного в мире нет ».

В молодости мы жили горением духа и постоянным желанием помочь друг другу. Каждый, кто приходил к нам, был для нас в чем-то единственным, нам посланным и мы любили в нем тот невидимый « образ Божий », на который у нас теперь, так часто, закрыты глаза.

Когда мы жили в Грузии, мы мечтали о Крыме, о « геройской Белой Армии », которая была там; теперь часть ее была в Константинополе, но я была уверена, что самые настоящие « герои » были посланы союзниками в Галлиполи. Моя мечта была попасть в Галлиполи.

Среди лиц, бывавших у нас, к нам часто приходил Всеволод Фохт.[2] Он служил во Французском штабе по связи с Добровольческой армией. Он был красив, самоуверен, всесторонне образован, говорил по-французски, как француз, носил нарядную форму французского офицера с аксельбантами на плече (это производило на нас большое впечатление), и всегда много и интересно рассказывал. В это время мой отец работал в госпитале Белого Креста и его просили поехать в Галлиполи для ревизии госпиталей. Я просила Фохта выхлопотать моему отцу пропуск и включить в этот пропуск и меня. Это было не легко. В Галлиполи никого не пускали, кроме офицеров связи и официальных лиц. Но Фохт обещал постараться. Через несколько дней он пришел торжественный и

---

[2] Прим. Впоследствии он хотел стать монахом. Жил в Индии. Умер в Палестине во время Второй мировой войны.

довольный и принес пропуск моему отцу, на котором было указано, что его будет сопровождать его дочь. Я была в восторге. Правда, вся эта поездка чуть не провалилась, т.к. на следующий день ревизия была отменена и таким образом отменена и поездка моего отца, но я умолила моих родителей отпустить меня одну. После долгих колебаний они согласились.

На маленьком катере « Донец », нагруженном продовольствием, я отправилась в путь. Солнце уже закатывалось и золотило море. Недаром залив около Константинополя называется « Золотой рог ». При закате солнца море делается, как расплавленное золото. Я стояла на палубе, смотрела на красоту моря и была охвачена чувством особого счастья — я ехала смотреть Армию, геройскую Армию, которая могла спасти Россию . . .

Я ехала одна, мне было 20 лет. Скоро ко мне пристал какой-то турок. Я пробовала от него уйти, но он упорно шел за мной. И вдруг я увидала на другом конце катера двух офицеров в белых гимнастерках с русскими погонами. Они пристально смотрели на меня и, вероятно, догадались, что я русская. Они сразу подошли ко мне и взяли меня под свою защиту. Они окружили меня вниманием и заботой, устроили мне ночлег на мешках с мукой, на палубе, положили рядом со мной какую-то старую гречанку, а сами легли — один в моих ногах, другой у моей головы. Я мало спала в эту теплую августовскую ночь, я смотрела на звездное небо, прислушивалась к тихому плеску волн о борт нашего катера и думала, думала.

На следующее утро мы были в Галлиполи. Мои спутники доставили меня в штаб армии, где я должна была просить пропуск, чтобы посетить лагеря.

« Обратитесь к генералу Кутепову, говорили они, генерал Штейфон комендант, гроза лагеря, наверно откажет в пропуске он отказывает всем, а особенно такой, как вы, — молоденькая барышня, приехала одна, родственников здесь не имеет. Если вас примет генерал Кутепов — то надежда есть ».

Комендатура — было небольшое двухэтажное здание. Перед дверями стояли на карауле два молодых юнкера. Обо мне доложили. Я с трепетом ждала ответа — пропустят или не пропустят.

Через несколько минут ко мне вышли ген. Кутепов († 1930) и ген. Штейфон († 1945) *. Кутепов — коренастый, среднего роста, с добрыми темными глазами и небольшой бородкой, смотрел на меня с любопытством и, как мне казалось, с напускной строгостью. Штейфон был небольшого роста, с холодными голубыми глазами. Во всем его облике было что-то непроницаемое.

---

* М. В. Штейфон, Кризис Добровольчества, Белград 1928.

« От каких оккупационных властей приехали вы, от английских или французских ? » — спросил меня Кутепов.

« Я — ни от каких, я от себя » — робко ответила я.

« Зачем вы приехали ? »

« Смотреть Русскую Армию . . . »

Они переглянулись и ушли совещаться. «Русская Армия» — они вероятно сознавали тогда, что ее уже не было . . . Через несколько минут они вернулись, посадили между собою на их единственный дряхлый автомобильчик и повезли меня за несколько километров от города, в лагеря на « смотр Армии ».

« Как же вы думали попасть сюда, ведь лагерь далеко от города ? » — спрашивал меня, по дороге, Кутепов.

« Пешком, я умею ходить ».

И когда мы шли от одного лагеря к другому, генерал Кутепов за мою « хорошую ходьбу » обещал записать меня в свой Преображенский полк . . . Он подарил мне маленький черный, галлиполийский крестик, который я бережно храню. Генерал Штейфон был сдержан и сух.

Я никогда не забуду этот день. Была палящая жара. Каждый полк был расположен отдельно, в белых палатках. Палатки стояли на раскаленном песке, вокруг — ни одного дерева, ни одной зеленой травки. Перед палатками, на земле, были выложены из мелких камней значки каждого полка. Генерал Кутепов мне все объяснял, знакомил меня с командирами полков, говорил о тяжелых условиях их жизни, о дисциплине, о стремлении сохранить кадры, не дать молодым впасть в уныние или опуститься. Я помню с каким энтузиазмом встречали нас, какие все были молодые и подтянутые. Смотря на них, я еще больше верила в спасение России.

Потом они отвезли меня в госпиталь Белого Креста, где я должна была ночевать. Вечером они пригласили меня в свою « ложу », в устроенный Галлиполийцами театр.

В тот вечер, сидя в их « ложе », под открытым небом, усыпанным яркими звездами, я слушала молодые сильные голоса юнкеров и мое сердце было переполнено любовью к каждому из них и внезапно охватившей меня тоской. Что-то ждало всех нас . . . Они пели мою любимую песню:

Пусть свищут пули, льется кровь,
Пуст смерть несут гранаты —
Мы смело двинемся вперед,
Мы — русские солдаты.

Не плачь о нас, Святая Русь,
Не надо слез, не надо,
Молись о мертвых и живых
Молитва нам — отрада.

На следующий день я вернулась в Константинополь. Мой отец и мать молча слушали мои рассказы о Галлиполи и не разрушали моих иллюзий. Я говорила им, что Русская Армия, это не « обломки крушения », это — молодая Россия, та Россия,

в которую мы верили, которой жили, но которую не мог понять и оценить западный « бездушный » мир. Моя сестра, мой верный друг, переживала все со мной и « горела », может быть, еще больше, чем я.

Когда теперь я встречаю русских беженцев, русских « шоферов такси », я думаю: « неужели это были они — те юноши, полные веры и горения духа, которых я видела в Галлиполи и Константинополе ? Неужели это были их молодые голоса, которые я слушала в тот вечер, в их театре, сидя в ложе с генералом Кутеповым и Штейфоном ?..

Приближалась осень. В России не было никаких перемен. Мы постепенно становились « беженцами ». Вставал вопрос — куда уезжать, как устраивать жизнь ? Молодым и способным учиться давали стипендии и предлагали поступать в университеты в разные страны Европы и Америки. Большинство уезжало в Чехию, в Прагу. У В.Н. Лермонтовой был на Антигоне большой дом — общежитие, собравшее всех ее родственников и друзей, молодых офицеров. Мы там часто бывали. Она звала нас с собою во Францию, в Лилль.

Моему отцу предлагали место главного врача при Абиссинском Императоре. Это казалось « авантюрой » и поэтому привлекало нас — молодежь. Мне почему-то представлялось, что в Абиссинии мы будем охотиться на тигров и бродить по джунглям, я вспоминала стихи Гумилева и мечтала об Абиссинии... Но по-настоящему нас тянула Сербия, это была православная страна и во главе ее стоял сербский Король, окончивший свое образование в России. Мы решили ехать в Сербию.

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

# РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ НА БОСФОРЕ

*В. Зернов*

В 1921 году хозяевами Константинополя были его победители, страны « антанты ». На рейде стояли серые громады военных судов союзников. В городе на каждом шагу встречались солдаты и моряки — британцы, американцы, французы, итальянцы и греки. Но больше всего из иностранных военных было русских. Хотя они далеко не были победителями, но все же, по Сан-Стефановскому договору (1878), русские имели право носить свою форму на турецкой территории. Большинство русских несло на себе печать своего поражения: потрепанные шинели, рваная обудь, но наряду с этим были и подтянутые военные в красивых безукоризненных формах. Константинополь жил своей жизнью — днем улицы, полные толпы и криков, по вечерам с высоких минаретов — тоскливое, поэтичное пение муедзинов. На этом причудливом фоне русская эмиграция начинала свою зарубежную жизнь: церковные приходы, комитеты, клубы, учебные заведения, питательные пункты, врачебная помощь.

Я стал хлопотать, чтобы поступить в гимназию. В одном комитете, где мне нужно было получить какую-то справку, я разговорился с другими ожидающими там беженцами. Мы только что прибыли из Батума, и всем хотелось узнать новости о России. Один из собеседников заключил наш разговор с нескрываемым злорадством: « А здорово англичане в Батуме хвост поджали ! » В этой фразе была и гордость за Россию, хотя бы и враждебную, и оправдание ущербленного самолюбия, что не только Добровольческая Армия, но и могущественная Англия « потерпела поражение ».

Я был вскоре принят в 7 класс русской гимназии Союза Городов. Она помещалась в огромном запущенном дворце одного из турецких вельмож, расположенном в Топ-Хане, на берегу Босфора. Если помещение нашей гимназии с ее внутренними садами, переходами, террасами и фонтанами было необычайно, то и вид учеников был еще более необыкновенен. Наряду с мальчиками в гимназических курточках, тут были и юноши в кадетских гимнастерках и девочки в институтских пелеринках и более великовозрастная молодежь в различных

военных формах; пехотных, кавалерийских, морских, но преимущественно в английском обмундировании. В нашей гимназии училось более 500 человек, ученики старших классов прошли через гражданскую войну, многие из моих одноклассников были значительно старше меня. Среди них выделялся своими успехами Копьев, прозванный нами « корифеем ». Он был первым по всем предметам, хотя и занимался меньше других. Каким-то образом он умудрился сохранить старую серую гимназическую форму. Впоследствии я узнал, что он не только кончил в Москве юридический факультет, но и был опытный репетитор во многих семьях. Мы все усиленно учились, так как наш 7 класс не имел летних каникул; наоборот, мы должны были пройти ускоренным темпом программу 8-го класса, чтобы получить осенью аттестат зрелости. Наряду с ученьем, мы все с болью переживали трагедию России. Хотелось продолжать борьбу за то, что нам было дорого — за свободу Родины.

Трудно было охватить все, что произошло с Россией. Многим из нас казалось, что в мире действуют таинственные, темные силы. Несколько учеников 8-го класса, включая меня, решили вступить в борьбу с этими неуловимыми врагами. Мы основали « Общество Объединения Русского Юношества ». Его официальной задачей была просветительная и культурная работа, но нашей скрытой истинной целью была борьба с врагами России, и прежде всего таковыми нам представлялись масоны. О масонах никто из нас ничего достоверного не знал, но мы все читали « Протоколы Сионских Мудрецов », очень популярное тогда произведение, и это был чуть ли не единственный источник нашей информации. Мы считали, что скауты тоже масонская организация, и поэтому не принимали их в наше общество. Мне было поручено сделать доклад о скаутизме и масонстве. Задание оказалось трудным, так как сведений о их деятельности мне собрать не удалось, но это не поколебало нас в нашем убеждении. Организаторы нашего общества решили начать пропаганду монархических идей среди наших гимназистов. На собранные нами деньги мы приобрели книгу Краснова « От двуглавого Орла до Красного Знамени ». *
Первый ученик, которому мы дали прочесть эту книгу, зачитал ее. На этом наша « культурно-просветительная » работа и закончилась. Мы были наивны и неумелы, но готовы отдать себя на служение Родины. Осенью я получил аттестат зрелости с серебряной медалью. Мы переехали в Белград, где я поступил на медицинский факультет.

* П. Н. Краснов (1869-1945).

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

# ПОИСКИ ПУТЕЙ ЖИЗНИ

*Н. Зернов*

Крушение надежд на освобождение России, наше чудесное спасение от большевиков и опасения за наше будущее в изгнании потрясли всех нас. Эти переживания больше всего отразились на родителях и на мне. Сестры меньше задумывались о нашей судьбе; они были привлекательны, окружены поклонниками, сами увлекались и радовались жизни. Брат ушел в свое гимназическое учение, я же отдался напряженным поискам ответов на вопросы, как о моем личном пути, так и о причинах постигшей всех нас катастрофы. Я постоянно возвращался к теме — почему так легко развалилось российское государство, казавшееся столь мощным, как объяснить ту одержимость, которая захватила нашу страну и почему так неудачно окончились все попытки военной силой восстановить порядок в России.

Я принадлежал к тому поколению, которое было вовлечено в революцию на пороге своей зрелости. Мы поэтому искали виновников обрушившихся на нас несчастий среди наших учителей и отцов, в особенности среди тех либералов и радикалов, которые с оптимизмом и энтузиазмом приветствовали переворот и ожидали от него осуществления своей мечты о свободе. Думские деятели, социалисты разных толков были в наших глазах разрушителями империи и пособниками коммунистов. С задором юности я заявлял, что таким лицам, как Керенский или Милюков, не следует подавать руки. Я, конечно, не сознавал, что говоря так, я следовал традиции нетерпимости, свойственной радикальной интеллигенции, которую я так сурово критиковал.

Однако ни Милюков, ни другие либералы явно не сочувствовали тому страшному взрыву зла, который потряс нашу страну. Ничто не выражало его природу с такой силой, как зверское и подлое убийство царской семьи. Главари партии, организовавшие его, действовали как профессиональные преступники, они сделали все, чтобы замести следы своего злодеяния и скрыть его от народа. Их поведение в этом деле, жестокое гонение на христиан, начатое ими, их призывы к беспощадной расправе с противниками, их систематическая

ложь и клевета, все это вскрывало такие глубины человеческого падения и аморализма, о которых не подозревали наши либеральные отцы и к которым один Достоевский прикоснулся в своих пророческих творениях. В поисках найти объяснение этой страшной силы зла многие из русских того времени обратили свое внимание на секретные общества масонов, широко распространенных по всему миру. Никто из наших знакомых ничего точно о масонах не знал, но разговоры о них постоянно велись повсюду, и находилось не мало людей, которые были убеждены, что русская революция, убийство царской семьи и гонение на церковь — часть зловещего плана захвата власти над всем миром масонскими ложами. Эти досужие домыслы указывали не только на политическую незрелость, но и на то психологическое потрясение, от которого страдали многие русские. Я с братом тоже верил, что масонство сыграло роковую роль в судьбах России; эта идея долгое время мешала нам подойти более трезво к изучению источников большевизма.

Мой отец был глубоко огорчен моими настроениями, его смущало мое огульное осуждение Европы, как обреченной на упадок, мое резкое отталкивание от всех форм либерализма и мое нежелание вернуться к изучению медицины. Я заходил в такие крайности, что отрицал вообще необходимость для меня дальнейшего образования и хотел стать монахом, но не ученым, а простецом, отдавшим себя в послушание старцу.

Перечитывая дневник того времени, я вижу перед собою юношу, всецело живущего церковью, нетерпимого к тем, кто не соглашался со мною и увлекавшегося дружбой с единомышленниками. Посещение церковных служб, чтение аскетической литературы, беседы с духовенством и, в особенности, с монахами наполняли мою жизнь. В этой сосредоточенности на религии был несомненно элемент убегания от тревожной реальности, но все же над всем преобладал подлинный порыв к Богу, живительный опыт молитвенного общения с Ним и сознание теплого заступничества святых. Все мы с особой радостью ощущали благодатную помощь преподобного Серафима Саровского, которого мы чтили со времени нашего обретения Церкви.

Стараясь теперь понять мою психологию той эпохи, я вижу, что она отражает не только нашу растерянность и ушибленность революцией, но и правильную интуицию, которая отсутствовала среди либеральных политиков старшего поколения. Та молодежь, которая, как и я, вернулась в церковь, сознавала, что захват власти большевиками над Россией означал коренной переворот в истории человечества, начало новой эпохи, которая впоследствии получила имя тоталитаризма. Это было первое массовое и сознательное восстание людей против Бога и их попытка построить на земле их соб-

ственными усилиями свой безбожный рай. Мы правильно ощущали религиозный пафос революции, т.к. она затронула глубинные проблемы о конечной цели земной жизни, о природе добра и зла, о праве коллектива распоряжаться судьбой его отдельных членов. Все наши беспомощные разговоры о масонском заговоре и о символе пятиконечной звезды, противостоящей святому кресту, были неудачной попыткой формулировать наше убеждение, что большевизм вырос на почве секуляризированной европейской культуры и что он укоренен в убеждении, что человек один хозяин своей судьбы. Мы лучше чем наши отцы, понимали, что путь назад отрезан и что мы не вернемся к прошлым формам социального и политического устройства.

Споры с родителями как о нашем устройстве в Европе, так и на политические темы были очень мучительны. Я горячо любил отца и мать, вся их жизнь была в нас — детях. Мы старались избегать спорных вопросов, но часто вновь возвращались к ним, и это вызывало неизбежные столкновения. Вскоре они перешли из области абстракции на весьма конкретную почву, а именно выбора той страны, куда мы могли получить доступ. Этот вопрос был тесно связан с проблемой высшего образования для нас четверых.

В середине лета русский Константинополь был обрадован добрым известием, что чехословацкое правительство решило предоставить нескольким тысячам русских изгнанников стипендии в своих высших учебных заведениях. Прага, Брно, Пшибраны открыли свои двери русским студентам. В Константинополе образовалась академическая комиссия, которая занялась проверкой необходимых квалификаций для приема в университеты. Мы все четверо, прошли успешно через эту проверку и были включены в список студентов, принятых на стипендии. Кроме того, наши родители были приглашены возглавить студенческое общежитие в Праге. На нас смотрели, как на ценную, культурную силу, которая могла помочь в сложном деле устройства нескольких тысяч студентов в новой стране, ни языка которой, ни нравов они не знали. Казалось, что вопрос о нашем устройстве получил самое благоприятное решение, так как и визы и проезд в Чехию нам были обеспечены, но я решительно восстал против плана нашего переселения в Прагу. К этому времени у меня созрело твердое решение изучить православное богословие, а таковое не преподавалось в Чехии. Страна, которая привлекала меня была Сербия. Там предполагалось открыть Русскую Духовную Академию и я всем моим сердцем стремился туда. Ходили слухи, что во главе Академии встанет Архиепископ Феофан Полтавский (Быстров) и это особенно восхищало меня, так как он был известен своей аскетической жизнью. Все, что касалось переезда в Сербию, было однако чрезвычайно про-

блематично. Академия еще не существовала, визы получить туда было очень трудно и денег на длинное путешествие у нас не было. Наши семейные совещания долгое время не приводили нас ни к какому решению; они еще более осложнились, когда мы узнали, что Иезуитский Орден дает тоже стипендии русским в университете в Лилле, куда собираются ехать многие из наших друзей, преимущественно молодежь из дворянских семейств, группировавшаяся вокруг Варвары Николаевны Лермонтовой. Мои сестры и брат увлеклись этой идеей, их особенно привлекала Франция, но нашим родителям не было места в Лилле, да и я не мог осуществить там моего желания православного богословского образования.

В связи с этими планами переезда на запад перед нами встал вопрос о паспортах. После долгих переговоров, Голландское Посольство, по инициативе своей королевы, согласилось выдавать русским документы, на которых можно было ставить визы. Такие документы получили и мы, так началось наше странничество по Европе [1].

Несмотря на различные желания у членов нашей семьи, мы все упорно искали такого решения, которое могло бы удовлетворить всех нас и постепенно стало ясно, что наш путь лежит на Сербию. После долгих и по временам казавшихся бесплодными хлопот, мы наконец получили право на въезд в Югославию и 14 октября мы покинули Константинополь. Наше решение оказалось вполне правильным. Все мы четверо успешно окончили там университет, а наш отец смог применить свой опыт врача для улучшения условий лечения на курортах Сербии. Мы полюбили эту родственную нам страну, нашли в ней многих друзей и наконец, мы положили там же основание для всей нашей деятельности в эмиграции, основав в Белграде студенческий христианский кружок. Русское Студенческое Христианское Движение за рубежом, сыгравшее значительную роль в жизни Православной Церкви и экуменического движения, родилось в разных центрах русского рассеяния, в том числе и у моей будущей жены на мансарде в Париже и в нашем « ковчеге » на Сеньяке. Так мы называли тот барак, в котором ютились мы четверо вместе с другими пятью русскими студентами в Белграде и где собирался наш православный кружок.

Наша жизнь в эмиграции вступила в свое подлинное русло только после нашего переезда в Сербию.

---

[1] Прим. До 1936 года, когда мы с женой получили британское подданство, то есть в течение 15 лет, мы постоянно были заняты хлопотами о визах, которые с трудом и проволочками ставились на различные документы, выдававшиеся бесподданным беженцам.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*Н. Зернов*

Хроника Зерновской семьи, как это было указано в введении, отличается от другой мемуарной литературы своей полифоничностью. В ней участвуют восемь авторов, и эта ее особенность имеет и положительные и отрицательные черты. Каждый участник хроники пишет по своему; его язык, стиль, выбор того, что он включает и что выпускает из своих воспоминаний, отличает его от других. Это делает рассказ неровным и в некоторых местах создает повторения. В то же время полифоничность расширяет поле наблюдения и придает большую объективность в передаче пережитого.

Русская предреволюционная литература содержит много хорошо известных портретов «лишних людей», людей безвольных, скучающих, не находящих применения своим силам. В противовес им часто выставлялись бунтари и революционеры, одержимые страстью разрушения, готовые жертвовать и своей и чужой жизнью для осуществления своих социальных утопий. Хроника семьи Зерновых описывает другой тип русских людей, целеустремленных, любящих жизнь, увлекающихся своей работой, борющихся за улучшения социальных условий, но не прибегающих к насилию, и все же умеющих достигать положительных результатов. Каков же был удельный вес этой трудовой, творческой интеллигенции? Конечно она была малочисленна. Ее свободолюбие, ее вера в социальную справедливость, ее уважение к человеческой личности выделяли ее как из массы крестьянства, только начинавшего освобождаться от тяжелых последствий крепостного права, так и из среды государственной бюрократии, часто опасавшейся проявлений общественной инициативы. Отличалась она и от крайних революционеров, для которых партийные программы были выше интересов родины. Хотя по сравнению со всем населением эти русские гуманисты и либералы были в меньшинстве, но их число быстро возрастало и они оказывали все большее влияние на все стороны жизни — политической, экономической и социальной. Их авторитет тоже возрастал.

Ряд исследователей России отмечает перелом, совершившийся в кругах интеллигенции после революции 1905-1906 года. Многие ее представители начали освобождаться от своих антигосударственных тенденций и политической безот-

ветственности. Страна вступила в полосу быстрого и всестороннего развития, требовавшего умелого использования всех ее интеллектуальных и материальных ресурсов. Возглавляли этот многообещающий процесс обновления как раз люди, созвучные авторам хроники и единомысленные с ними. Это были люди, работавшие для светлого будущего своей родины, боровшиеся за политическую свободу и равноправие всех граждан империи. Они были противниками официальной бюрократии, и понятно, что для них еще более неприемлемы были большевики с их партийной узостью, догматизмом и нетерпимостью. Коммунисты с особой ненавистью обрушились на этих представителей либеральных и прогрессивных течений, и подавляющее большинство их погибло в красных застенках.

Но несмотря на свое поражение, эта трудолюбивая и свободолюбивая Россия не исчезла. Раздавленная и загнанная в подполье она продолжает существовать. Ее голос, хотя и придушенный, звучит в подневольной советской литературе, он прорывается в попытках молодежи найти свой подлинный язык, вместо повторения партийных, всем надоевших лозунгов; наконец ее присутствие ощущается в том все растущем желании среди культурно пробужденных русских восстановить связь с прошлым, вернуться к пониманию исторической преемственности и спасти те памятники русского дореволюционного искусства, которые уцелели от большевистского разгрома.

Но конечно, полнее и ярче всего этот христианский гуманизм выражает себя в той русской подпольной литературе, доступ к которой советские правители пытаются закрыть русским людям, но которая достигает их при помощи « самиздата ». Эта литература включает в себе самое талантливое и значительное из всего написанного за последние 50 лет на нашей родине.

Все эти факты позволяют надеяться, что те убеждения, которые вдохновляли авторов хроники, и та деятельность, которой они отдавали себя, не только отражают прошлое России, но являются также и указанием на возможные пути ее будущего развития.

В заключение, я хочу поставить вопрос: « Из какого источника черпали авторы этой книги силы для своего положительного отношения к жизни, для своей веры в конечную победу добра и правды ? » Их собственный ответ состоял из слов: « Православная Церковь ». Они выросли в ее лоне, были воспитаны в ее учении, они вдохновлялись и укреплялись им. Тот оптимизм, та энергия, которые окрыляли их в их профессиональной работе, та жертвенность, которая побуждала их отдавать свое время на общественное служение и тот дух свободы, которым дышали они в своих семьях, дружных и

счастливых, все это они получили от Церкви. Она научила их верить, что человек призван Богом строить свою жизнь на любви и уважении к ближнему, созданному по образу и подобию его Творца; что дар свободы, полученный людьми, делает их ответственными не только за свои поступки, но и за судьбы всего человечества, и что каждый может понять смысл своего земного существования, следуя заповедям Христа. Это православное учение о Боге и человеке было двигательной силой для авторов хроники и сама она является в конечном итоге благодарным свидетельством об истине той Церкви, которая воспитала их и помогла им найти свое место в мире.

*9 октября 1968 года. Оксфорд. Англия.*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

A. ROSSEELS PRINTING C°
Vaartstraat 70 - B 3000 Louvain
☎ (016) 219.62 — Belgium